

МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

12

МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ



**Editorial board: Jean Bonamour, Elda Garetto, John Malmstad,
Richard Pipes, Marc Raeff, Dmitri Segal**
Editor: Vladimir Alloy

МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

12

ATHENEUM

ФЕНИКС

МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1993

ББК 63. 3(2)
М62

М62 **Минувшее: Исторический альманах. 12.—М.; СПб.:
Atheneum: Феникс. 1993. 520 с., ил.**

ISBN 5-85042-013-4
ISBN 5-85042-001-0

Настоящее издание является репринтным воспроизведением исторического альманаха "Минувшее", выпускаемого парижским издательством "Atheneum". Цель его — введение в научный и общественный оборот неизвестных материалов по русской истории и культуре XX века. В 12 выпуске: воспоминания очевидцев о корниловском деле, о судьбе интеллигенции в годы революции, о кабаре "Бродячая собака", о С. А. Есенине, документы по истории Православной церкви и об отношениях Сталина с РАППОм, неопубликованные труды Л. П. Карсавина, В. Н. Лосского и Вяч. И. Иванова, письма З. Н. Гиппиус, историко-литературные материалы из "секретных" фондов СССР, дневники поэта М. А. Кузмина. Значительная часть публикуемых текстов подробно откомментирована.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся отечественным прошлым.

М $\frac{4702010206-001}{Д20(03)-93}$ -93 без объявл.

ББК 63.3 (2)

ISBN 5-85042-013-4
ISBN 5-85042-001-0

© "Atheneum", 1991

ВОСПОМИНАНИЯ

В.В. Вырубов
ВОСПОМИНАНИЯ О КОРНИЛОВСКОМ ДЕЛЕ

Публикация Н.В. Вырубова

Василий Васильевич Вырубов, потомок древнего боярского рода, родился в 1879 г. в Грузии, где его отец был при наместнике Кавказа, вел. кн. Михаиле Николаевиче. Мать его, княжна Евдокия Александровна Львова, родственница бывшего главы Временного правительства кн. Георгия Евгеньевича Львова.

Родовое имение в селе Колтовское, Пензенской губернии, переходило по наследству из рода в род от жены Иоанна Грозного, Колтовской.

Образование В.В. Вырубов получил сперва домашнее, с учителями, а впоследствии поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. По окончании университета он отбыл воинскую повинность в кавалергардском полку, откуда вышел корнетом.

По ранней смерти отца В.В. пришлось с 16-летнего возраста принять участие в управлении родным имением. Занимаясь имением, он стал интересоваться общественной деятельностью.

С молодости В.В. был выбран мировым посредником, а потом в земство. До войны 1914 г. В.В. играл активную роль в Пензенском земстве. С ранних лет он был либералом и оппозиционером предрержащим властям. С наступлением войны он становится членом Главного комитета земского городского союза, сначала в Пензе, затем в Варшаве, а потом — при ставке Главнокомандующего, генерала Алексеева, заведующим земскими делами на Западном фронте.

После февральской революции В.В. назначен при князе Львове товарищем министра внутренних дел (министром был сам кн. Львов), а с июня 1917 г. — заново при генерале Алексеева, впоследствии при генерале Духонине — в качестве помощника по гражданской части.

После октябрьской революции В.В. по поручению Колчака вместе с кн. Львовым участвовал в переговорах в Америке, в Лондоне и в Париже, куда он прибыл в конце 1918 года. В 1919 г. в Париже он в качестве гене-

рального секретаря русской Делегации участвовал на Версальской конференции.

Впоследствии в Париже вместе с Маклаковым он принимал деятельное участие в организации помощи русской эмиграции, главным образом как представитель Временного комитета Всероссийского Земского союза, оставаясь до самой смерти (в 1963 году) членом правления Земгора.

После конца белого движения в 1922 г. В.В. продолжал играть видную роль во всех общественных предприятиях русской эмиграции, особенно в начинаниях культурного характера. При этом он не состоял ни в каких политических организациях, сохраняя свою независимость, которой придерживался всю жизнь.

Выступление генерала Корнилова против Временного правительства явилось поворотным пунктом огромного значения в развитии русской революции; оно несомненно будет поэтому в течение многих лет привлекать к себе внимание историка. Само собой разумеется, я в следующих ниже воспоминаниях не ставлю себе задачей историю «Корниловских дней»; я ее предполагаю в общих чертах известной читателю. Но мне довелось быть непосредственным свидетелем и порою близким участником этого исторического события в целом ряде важных его моментов. Думаю, что мой рассказ о них может быть интересен читателям и полезен будущему историку.

В первых числах августа 1917 года я прибыл с фронта в Петроград. Приезд мой был связан со следующим делом: в правительственных кругах оживленно обсуждался вопрос о необходимости согласования действий трех работавших на фронте больших общественных организаций: Земского Союза, Союза Городов и Красного Креста. Для этой цели предполагалось подчинить все названные организации одному специально назначенному Комиссару или Уполномоченному. В качестве кандидата на указанный пост намечался, еще в бытность главою правительства князя Г.Е. Львова, я. Я занимал в ту пору должность товарища министра внутренних дел, но охотно готов был принять новое назначение для того, чтобы посвятить всецело свои силы служению армии, с которой я тесно сжился во время трехлетней работы на фронте. Сочувствовал моему назначению и Верховный Главнокомандующий ген. Корнилов; но он требовал, чтобы в качестве комиссара по общественным организациям я был всецело и непосредственно подчинен ему. Между тем военное министерство, или, вернее, часть его высших чинов, отстаивала то мнение, что

комиссар по общественным организациям должен зависеть и получать инструкции не от Верховного Главнокомандующего, а от военного министра. Этот вопрос — одно из отражений вечного и пагубного спора двух высших инстанций русской* армии — и должен был разбираться на заседании Временного правительства.

Прибыв с фронта в августе, я остановился в Зимнем Дворце, в предоставленной мне квартире дворцового коменданта полк. Зейме, — и в тот же день сделал доклад Временному правительству. Однако, решение по указанному выше вопросу не было принято сразу. Дело в том, что вопрос этот и не мог собственно быть решен до выяснения другого, гораздо более важного вопроса, который как раз тогда особенно остро занял Временное правительство: речь шла о перемене Верховного Главнокомандующего. По разным причинам, изложение и обсуждение которых не входит в задачу настоящих моих воспоминаний, Временное правительство, или, по крайней мере, глава его А.Ф. Керенский, намеревалось заменить генерала Корнилова другим лицом. Назывались имена разных кандидатов. Но первым и главным из них являлся генерал Алексеев, в согласии которого стать Верховным Главнокомандующим в революционное время можно было, однако, сомневаться. Этот вопрос должен был разрешиться в Москве, куда как раз уезжало правительство — на памятное «Московское совещание». В Москву было предложено выехать и мне, что я и сделал /.../** августа.

В Москве тогда жил мой родственник и друг, кн. Г.Е. Львов, уже находившийся не у дел. К нему обратился А.Ф. Керенский с просьбой уговорить генерала Алексева принять пост Верховного Главнокомандующего. Вдвоем с Георгием Евгеньевичем мы посетили ген. Алексева, и он сравнительно легко сдался на наши доводы. Должно сказать, Алексеев с своей стороны находил, что Л.Г. Корнилов по характеру присущего ему военного дарования и темперамента, а также по размерам своих стратегических познаний и опыта, не годится для должности Верховного Главнокомандующего. Алексеев вообще очень строго судил боевые таланты большинства своих современников. Так, из немцев он высоко ставил только Гинденбурга и Людендорфа, а к стратегии Макензена, например, относился скептически. Корнилову М.В. Алексеев предполагал поручить командование од-

* Как известно, аналогичное явление наблюдалось во время войны и в армиях других держав. [Прим. автора].

** В подлиннике пропущена дата. — Публ.

ним из фронтов. Было решено, что к 20 августа Алексеев приедет в Петербург для окончательных переговоров с правительством по поводу своего назначения. Мне Михаил Васильевич предложил занять должность уполномоченного Временного правительства по заведыванию общественными организациями на правах товарища военного министра, с обязательством руководиться на фронте указаниями Верховного Главнокомандующего. Эта компромиссная формула должна была удовлетворить военное министерство. Я с своей стороны готов был служить на любых началах и, зная прежнее прекрасное отношение ген. Алексеева к общественным организациям, не сомневался в том, что и впредь сумею избежать трений в своих отношениях со Ставкой.

Добавлю, что и лично ко мне, во все время моей работы на фронте, генерал Алексеев относился очень хорошо. В частности, из одного эпизода я имел возможность убедиться в том, что Михаил Васильевич питает ко мне доверие. Эпизод этот не имеет отношения к Корниловскому делу; тем не менее, я позволю себе его рассказать, ибо он связан с событиями столь же интересными в историческом отношении, сколь мало известными. Это было осенью 1916 года. Настроения армии в ту пору достаточно хорошо всем памяты. Озлобление против Царского Села, в частности против Императрицы Александры Федоровны, достигло крайнего предела. Идея военного заговора, основанная на сознании всемогущества армии, носилась в воздухе. Так, молодой общественный деятель, служивший на фронте, гр. П.М. Толстой довольно откровенно высказывал в ту пору мысль, что с царем нужно покончить. В более тесном кругу он даже развивал свой план покушения: заговорщики должны были на аэроплане подлететь к Николаю II во время его обычной прогулки в окрестностях Могилева и застрелить царя. Речи эти выслушивались в военных кругах и нередко встречали сочувствие.

Я состоял тогда председателем Комитета Земского Союза на Западном фронте и представлял Земский Союз в Ставке Верховного Главнокомандующего. Непосредственным моим начальником был кн. Г.Е. Львов. Однажды, в 20-х числах октября 1916 года, я получил от князя Георгия Евгеньевича письмо, в котором он извещал меня о своем близком приезде в Ставку. Я встретил Г.Е. Львова на вокзале и отвез его на автомобиле к ген. Алексееву, по приглашению которого князь приехал. Они очень долго разговаривали наедине. Сущность их разговора заключалась в следующем. Алексеев предлагал Г.Е. Львову прибыть в Ставку в день, который будет им, Алексеевым, для того назначен. Князя должно было сопровождать 2-3 видных общест-

венных деятеля либерального направления из земских кругов. В Ставку ожидался в ту пору приезд Александры Федоровны. Алексеев предлагал арестовать царицу, заключить ее в монастырь, поставить государя перед совершившимся фактом и предложить ему утвердить правительство, включающее в себя кн. Львова и близких к нему людей. Алексеев ставил условием, чтобы самому Николаю II, которого он искренно любил, не было причинено никакого зла. Он был против насильственного отречения и кандидатуры Михаила Александровича. Г.Е. Львов принял предложение Алексеева и тотчас снова выехал в Москву. Вечером того же дня (помнится, 25-го октября) меня вызвал в свой кабинет ген. Алексеев. Вид у него было плохой и настроение нервное.

— Вам князь Львов сообщил, о чем мы с ним говорили нынче утром? — кратко спросил он меня.

— Нет, — отвечал я.

Это было только наполовину верно, но я, разумеется, не мог ответить иначе. Алексеев, очевидно, так и понял: мои близкие отношения с Георгием Евгеньевичем ему были известны.

— Так передайте князю Львову в спешном порядке, что для дела, о котором мы с ним говорили, я назначил день: 30 октября.

Выйдя из кабинета генерала, я немедленно послал в Москву доверенное лицо для выполнения возложенной на меня миссии. Но судьба не пожелала осуществления заговора. На следующий день Алексеев опасно заболел и слег в постель. Через какую душевную драму он прошел в те дни, я судить не могу. Знаю только, что государь посетил его во время болезни, когда генерал находился лишь в полусознательном состоянии, и долго — против своего обычая — оставался у него в спальней, сидя на постели больного. Произошло ли что между ними, мне неизвестно. Вскоре спустя Алексеев получил отпуск и уехал лечиться в Крым. Туда выехал к нему кн. Г.Е. Львов и имел с ним там продолжительную беседу, содержание которой мне тоже неизвестно. От Георгия Евгеньевича я узнал только, что Алексеев изменил взгляды и высказывается против переворота, опасаясь революции и крушения фронта.

Возвращаясь к воспоминаниям о Корниловском деле. Замечу, что в краткие дни своего пребывания в Москве я услышал от одного лица, занимавшего там довольно ответственный пост, о каком-то заговоре, будто бы составленном против Временного правительства военными и монархическими кругами во главе с вел.кн. Михаилом Александровичем. Я не придавал этому сообщению никакого значения, зная, что лицо, от которого я его слы-

шал, настроено крайне нервно и вдобавок, по собственным его же словам, усиленно «подкрепляет себя в работе шампанским». Сведения о заговоре были им в ту пору сообщены и председателю Временного правительства.

Из Москвы я уехал на короткое время к жене и детям в село Спасское-Лутовиново (известное имение И.С. Тургенева), а оттуда к 20 августа вернулся в Петроград. Вопрос о назначении Алексева уже был решен положительно. Трудность заключалась лишь в том, как бы возможно деликатнее, не обижая Корнилова, сместить его с поста Верховного Главнокомандующего и поручить ему должность командующего фронтом. Был найден следующий выход из положения. У Корнилова в ту пору вышло столкновение с одним из комиссаров, который обвинял его в «искажении фактов». Временное правительство поручило разобратить это дело Алексеву, носившему тогда несколько неопределенное звание (придуманное, кажется, во Франции для Жоффра при его отставке) «генерала, находящегося в распоряжении правительства». Алексей, от которого исходило это предложение, должен был сместить Корнилова, представив последнему его «понижение» по службе как необходимую для правительства уступку требованиям «левых кругов». В качестве же компенсации для самолюбия Корнилова, комиссара, с которым у него вышло столкновение, предполагалось одновременно уволить совершенно. К таким компромиссам Временному правительству приходилось прибегать весьма нередко. Вместе с Алексеевым должен был уехать на фронт и я, причем на меня Керенским возлагалось поручение: «примирить Ставку с Правительством».

Перед самым отъездом, 25 августа, я зашел к Керенскому за полномочиями и от него узнал, что в Петроград только что приехал с фронта Б.В. Савинков. Разумеется, мне необходимо было предварительно его расспросить о положении дел, и я тотчас же отправился из Зимнего Дворца к нему в дом Военного министра на Мойке. Под аркой Генерального Штаба я неожиданно встретил В.Н. Львова, который немедленно на меня набросился со своей обычной неуравновешенностью.

— Где Керенский? — закричал он.

Я с недоумением ответил, что Керенский находится в своем кабинете во Дворце.

— Довольно мы его терпели! — закричал Львов. — Давно пора его свергнуть!

— И то говорят, скоро будет «Вахрамеева ночь», — сказал я, — уж не собираетесь ли вы, Владимир Николаевич, принять в ней участие?

На этом наш разговор кончился.

Я повидал Савинкова, но содержания беседы с ним в точности не помню. Во всяком случае ничего особенно важного он мне не сообщил. В 7 час. вечера Керенский вызвал меня по телефону во Дворец. Мне пришлось ждать некоторое время в приемной. Вдруг дверь кабинета, где принимал председатель Временного правительства, растворилась и из нее вышел В.Н. Львов. Я вошел в кабинет. Керенский, настроенный крайне нервно, сразу подал мне бумагу, написанную от руки почерком Львова. В ней заключались общеизвестные условия, которые генерал Корнилов ставил Временному правительству. Керенский сказал мне, что намерен лично переговорить со ставкой по прямому проводу, и потребовал, чтобы я в качестве свидетеля присутствовал при этом разговоре. Мы условились, что я отменю ожидавший меня на вокзале поезд и затем приеду к прямому проводу. Здесь, однако, вышло недоразумение. Кн. Г.Е. Львов в бытность свою премьером говорил со Ставкой с Главного Телеграфа, и я предполагал, что разговор будет происходить там, а потому и отправился, отменив поезд, на Главный Телеграф. Между тем оказалось, что Керенский имел в виду дом военного министра на Мойке, откуда также можно было соединиться с фронтом. Вследствие этого я приехал на Мойку с опозданием и при общеизвестном историческом разговоре Керенского со Ставкой не присутствовал. Керенский тут же показал мне ленту разговора. Мы спустились вниз. В одной из комнат первого этажа находился В.Н. Львов. Керенский показал ленту и ему. Познакомившись с ней, Львов с радостным видом заметил: «Вот видите, Александр Федорович, я вам спас жизнь». Смысла этого замечания я не понял, а спрашивать объяснения считал неудобным.

Мы вернулись в Зимний Дворец. Керенский прошел со Львовым в свой кабинет. При разговоре я не присутствовал; был при нем только С.А. Балавинский, занимавший тогда пост вице-директора Департамента полиции. В результате разговора Керенский велел Миронову, исполнявшему должность начальника политической полиции, арестовать Львова. Вслед за этим распоряжением я вошел в кабинет и почти одновременно прибыл туда вызванный Керенским по телефону Н.В. Некрасов. Лента разговора со ставкой была показана и ему и, по-видимому, она произвела на него весьма сильное впечатление. Керенский спросил его мнение о событиях и о мерах, которые следует принять. Некрасов ответил уклончиво, что ему необходимо несколько минут уединения для решения вопроса о том, «пойдет ли он с Александром Федоровичем до конца», — и действительно, к общему недоуме-

нию, он «уединился». Керенский, обращаясь к Балавинскому, сказал, что, вероятно, придется арестовать и Савинкова. Удивленный Балавинский стал отговаривать и предостерегать от такой решительной меры председателя Временного правительства. В эту минуту произошел театральный эффект: было доложено о приходе Савинкова.

— Тем лучше, — сказал Керенский, — я ему сейчас ребром поставлю вопрос: с кем он?

Савинков вошел. Он был очень спокоен и холоден. Керенский вкратце изложил ему положение вещей и затем спросил его в упор:

— Я хочу назначить вас командующим войсками петербургского округа. Принимаете ли вы это назначение?

Я не мог не подумать, что такой способ испытания человека, которого за минуту до того предполагалось арестовать, поистине связан с некоторым риском для Временного правительства.

Савинков изъявил полную готовность принять предлагаемый ему пост. Одновременно вернулся в кабинет и Некрасов, который объявил, что успел обдумать положение и «готов идти с Александром Федоровичем до конца». Экстренно было созвано заседание правительства. На нем я не присутствовал. Как известно, было принято решение предоставить Керенскому всю полноту власти: ему, так сказать, давалась *carte blanche* для спасения Республики.

За ночь стали приходиться известия одно грознее другого. Войска Корнилова быстро двигались на Петроград и цель этого движения была в точности неизвестна. В столице носились слухи о монархическом заговоре, и не будет преувеличением, если я скажу, что не один из видных политических деятелей стал ощущать в тот день запах веревки. Но и мужественные люди, не боявшиеся лично за себя, испытывали в те часы мучительные колебания. Нетрудно было понять, что такое означает для армии, для России открытый конфликт ставки с Временным правительством (теперь нам достаточно известны грозные исторические последствия Корниловского выступления). В Зимнем Дворце происходили непрерывные и хаотические заседания правительства. Предлагались разные меры, в том числе и совершенно нелепые. Так, Некрасов, внезапно почувствовавший крайнюю решительность, по получении известия о приближении Корниловских войск отдал по телефону распоряжение пустить им навстречу пустые паровозы, чтобы произвести крушение на пути. Если бы это бессмысленное распоряжение было приведено в исполнение, то легко

себе представить, что могла произвести в ответ разъяренная дикая дивизия. К счастью, товарищ министра путей сообщения, старый инженер Ливеровский, когда ему было доложено телефонное распоряжение Некрасова, подумал, что произошла какая-то ошибка, и лично приехал для ее разъяснения в Зимний Дворец. Некрасов при всех довольно бессвязно, но повышенным голосом повторил ему свое распоряжение: пустить немедленно серию пустых паровозов, произвести страшное крушение на пути!..

— Вы, Николай Виссарионович, очевидно сошли с ума, — резко ответил ему Ливеровский. — Такие распоряжения не выполняются.

С другой стороны, Филоненко, тоже появившийся в Зимнем Дворце и неожиданно оказавшийся ожесточенным противником Корнилова, хватаясь за голову, предлагал рыть окопы на Невском.

Замечу, что один Некрасов, злой гений Керенского, несет на себе ответственность за опубликование знаменитого правительственного сообщения, в котором Корнилов объявляется изменником. Некрасовым был составлен текст этого сообщения, и я лично был свидетелем того, как Керенский категорически предложил ему этого сообщения не опубликовывать. По неизвестным мне соображениям, Некрасов самовольно разослал свою телеграмму по всей России. Таким образом мосты были сожжены.

Вечером того же дня я повидал генерала Алексева. Он наотрез отказался принять пост Верховного Главнокомандующего. Это еще осложняло и без того достаточно трудное положение правительства.

28 августа у Ф.А. Головина по моей инициативе состоялось небольшое частное совещание для обсуждения создавшегося положения. На это совещание прибыли П.Н. Милюков и Ф.Ф. Кошкин. Возникла мысль о том, чтобы передать ген. Алексеву должность председателя Временного правительства. Предполагалось, что только назначение Алексева способно остановить Корнилова и пресечь в самом начале гражданскую войну со всеми ее грозными последствиями. Было решено, что я поеду к Керенскому и попрошу его принять Алексева и Милюкова. Я отправился в Зимний Дворец, но у дверей кабинета главы правительства молоденький дежурный адъютант почему-то категорически отказался меня впустить. Вспоминаю при этом инцидент, не лишенный комической стороны. Мне в молодые годы случалось бывать во Дворце и меня знал стоявший у кабинета Керен-

ского старый дворцовый лакей, хранитель традиций императорского времени. Он неодобрительно покачал головой и укоризненно сказал адъютанту:

— Эх, Ваше Высочество... Их Высочество здесь бывали, когда Ваше Высочество еще сюда не пускали.

Я велел доложить о себе председателю Временного правительства и был немедленно им принят. Керенский находился в состоянии крайнего возбуждения. Не буду передавать подробностей нашего свидания, имевшего весьма драматический характер. Скажу только, что мне стоило величайшего труда убедить главу правительства принять Милюкова и Алексева. Встреча их состоялась поздно ночью. Я при ней не присутствовал. Знаю только, что из нее ничего не вышло. Мне неизвестно, что именно ответил Керенский на предложение передать власть Алексеву. Но предложенное Милюковым его (Милюкова) посредничество* в «споре» двух сторон — правительства и ставки — он отклонил категорически, заметив, что нет двух сторон, а есть законная власть и восставший против нее мятежный генерал. Милюков вернулся на квартиру Головина, где мы его ждали, поздно ночью, — и тотчас сел писать передовую статью.

Я еще видел Керенского в эту памятную ночь. Обстановки ее я никогда не забуду. Из своей квартиры, находившейся, как сказано выше, в Зимнем Дворце, по огромным, мрачным дворцовым залам я прошел к Главе Временного правительства. Во дворце, где в предшествующие недели, еще накануне, толпились днем и ночью сотни людей, в ожидании разных свиданий, переговоров, приемов, на этот раз не было ни души. Шел зловещий слух о том, будто через несколько часов в город — и в первую очередь во Дворец — войдет дикая дивизия, первые эшелоны Корниловских войск... Зимний дворец был пуст. Керенский, одинокий, оставленный, лежал на диване в кабинете. Отдаю ему справедливость: при всей своей обычной нервности, он сохранял присутствие духа и о своей личной участи не беспокоился. Керенский сказал мне, что по всей вероятности будет образована Директория, в которую должны войти он, Авксентьев, я и еще два лица. Автором этого предложения был М.И. Терещенко.

— Что вы об этом думаете? Согласны ли вы войти в состав Директории? — спросил меня Керенский.

Предложение меня удивило. Я ответил, что сам в Директорию не войду, ибо для нее не считаю себя подходящим. По су-

* Еще раньше аналогичное предложение сделал в Зимнем Дворце В.А. Маклаков. [Прим. автора]

шеству же мысль с таким органе представляется мне в создавшей обстановке заслуживающей внимания*.

Кажется, тогда же Керенский сообщил мне, что предложено вручить ему пост Верховного Главнокомандующего. По мнению армейских комиссаров, его назначение способно было бы несколько успокоить солдатские массы, не доверяющие больше генералам царского времени. Само собой разумеется, Керенский не предполагал вмешиваться в оперативные функции высшего командования. Фактическим главнокомандующим должен был быть ген. Алексеев, которого требовалось убедить занять пост начальника Штаба. С этим новым проектом я поехал к Алексееву на Фурштатскую, в квартиру графа Келлера, где он тогда жил. Получив, как и следовало ожидать, отказ генерала Алексеева, я вернулся в Зимний Дворец и сообщил Керенскому результаты своей миссии. Керенский взволнованно заметил, что согласие Алексеева совершенно необходимо, и предложил мне снова ехать к генералу и попытаться его убедить.

— Один я не поеду, — сказал я решительно. — Если хотите, поедем вместе.

После недолгого колебания Керенский согласился ехать со мной. Мы отправились к Алексееву, которого встретили у входа его квартиры: он возвращался с ранней утренней прогулки. Генерал молча пожал нам руки. Мы прошли в его спальню — и там Алексеев взволнованным повышенным голосом сказал:

— Ну, так вот что. Уж если вы ко мне пришли, так выслушайте же от меня всю правду...

И он произнес горячую речь, облеченную в довольно резкую форму. Смысл его слов заключался в том, что революция развратила армию — при полном попустительстве Временного правительства обоих составов. В первую же очередь несет ответственность за развал фронта и гибель дисциплины нынешний глава правительства — «Вы, Александр Федорович Керенский».

Мы не прерывали генерала. Керенский, бледный, как полотно, молча слушал речь Алексеева, нервно опершись обеими руками о спинку кровати. Когда Алексеев кончил, Керенский сказал тихим голосом:

— А все-таки Россию спасти надо...

Наступило молчание, которое продолжалось минуты две. Затем Алексеев кратко произнес:

— Я в вашем распоряжении.

* Добавлю, что через несколько часов то же предложение войти в состав пятичленной Директории повторил мне Н.Д. Авксентьев. [Прим. автора].

Мы поехали во дворец. Там ген. Алексеев поставил свои условия. Первое из них заключалось в том, что он не желал иметь никакого дела с Некрасовым, которого он презирал и ненавидел. Затем, посты военного и морского министра должны были заниматься военными*. Были предложены кандидатуры ген. Верховского и адмирала Вердеревского. На первого из них Алексеев согласился очень неохотно, заметив, что он дурного мнения и о военных способностях, и о моральных качествах Верховского. Наконец, в качестве третьего условия, Алексеев требовал уничтожения должности Верховного комиссара. Связь Ставки с гражданской властью должна была поддерживаться через меня, причем мне поручалось немедленно ехать вместе с Алексеевым в ставку генерала Корнилова**. Все эти условия были приняты Временным правительством. Мысль о Директории отпала и А.С. Зарудный тут же написал текст указа о назначении Керенского Верховным Главнокомандующим. Алексеев отправился к прямому проводу для разговора с Корниловым (разговор их общеизвестен). Мы условились с Михаилом Васильевичем встретиться через несколько часов на вокзале, где нас должен был ждать заказанный по телефону специальный поезд.

На вокзал меня отвез на своем автомобиле Терещенко. Мы прошли на перрон. Специальный поезд состоял из трех вагонов, первый из которых предназначался для генерала Алексева (уже занявшего в нем место), второй для меня.

— А для кого третий вагон? — спросил у проводника М.И. Терещенко.

— Для господина Филоненко, — ответил проводник.

Терещенко побледнел и, взяв меня под руку, быстро отвел в сторону.

— Вы понимаете? — сказал он взволнованно. — Это заговор. Филоненко со своими людьми едет в одном поезде с вами.

* Замечу, что прежде (в начале революции) ген. Алексеев держался другого мнения. Едва ли многим известно, что А.Ф. Керенский был назначен военным министром с одобрения ген. Алексева. Между тем это факт несомненный, как я доподлинно могу засвидетельствовать: 1-го мая, вслед за уходом А.И. Гучкова из состава Врем[енного] правительства, я ездил по поручению кн. Г.Е. Львова в Ставку для того, чтобы выяснить, кто, по ее мнению, наиболее подходил бы для занятия должности военного министра. После непродолжительного совещания высшего командного состава, ген. Алексеев от его имени высказался за кандидатуру политического деятеля — не военного, причем первым кандидатом предложил Керенского, а вторым Пальчинского. Этот ответ и был мною привезен в Петроград. [Прим. автора]

** 30-го августа я был назначен помощником начальника штаба Верховного Главнокомандующего. [Прим. автора]

Ясное дело, в дороге вы с Алексеевым будете схвачены и выданы кому следует. Надо немедленно вызвать охрану.

О Максимилиане Филоненко в ту пору в кругах Временного правительства уже сложилось вполне определенное мнение. Все говорили, что он ведет скверную двойную игру — не то за Корнилова, не то против него — дабы в соответствующую минуту наверняка оказаться горячим сторонником победителя. Опасения Терещенко, в которых не было ничего невозможного, подействовали и на меня. Мы прошли в какой-то служебный кабинет вокзала для того, чтобы по телефону вызвать военную охрану для поезда*. В кабинете за рабочим столом сидел незнакомый нам молодой господин в мундире инженера. Не стесняясь его присутствием, Терещенко вызвал по телефону ген. Барановского и потребовал присылки на вокзал военной охраны, кратко сообщив о предполагаемом заговоре Филоненко. В эту минуту молодой инженер, поневоле слушавший телефонный разговор, быстро встал и направился к нам.

— Простите, господин министр, — сказал он волнуясь. — Здесь вышло очевидное недоразумение. С поездом ген. Алексева еду я, инженер Евгений Филоненко. Моя служебная обязанность сопровождать поезд ген. Алексева. Но я никаких заговоров не устраиваю и вообще политикой не занимаюсь.

Таким образом «недоразумение» было рассеяно. Я простился с Михаилом Ивановичем и занял место в своем вагоне. Поезд должен был двинуться рано утром. Незадолго до его отхода на вокзал прибыл генерал Крымов, только что приехавший из авангарда Корниловской армии. Он прошел в вагон ген. Алексева и после недолгого разговора с ним куда-то уехал. Наш поезд двинулся. Забегая несколько вперед, замечу, что к вечеру того же дня, в Витебске, я получил телеграмму, извещавшую меня о самоубийстве Крымова. С этой телеграммой я вошел в вагон генерала Алексева. Михаил Васильевич дремал лежа на диване. Я разбудил его.

— Михаил Васильевич, — сказал я, — получены известия о Крымове...

— Что? Он застрелился? — совершенно спокойно спросил меня Алексеев.

— Застрелился после разговора с Керенским, — подтвердил я изумленно.

* Охраны в поезде не было никакой по желанию ген. Алексева: он находил унижительным и невозможным брать с собой охрану, отправляясь в русскую армию. С ним в вагоне находился только его сын.

Алексеев помолчал.

— Да, он утром сообщил мне, что застрелится, — сказал он тихо.

Верстах в шестидесяти от Петербурга мы въехали в «авангард наступающей армии Корнилова». Алексеев вышел на площадку вагона и был немедленно узнан: его встретило громкое «ура». Генерал сказал небольшую речь. Смысл ее заключался в том, что между правительством и Ставкой вышло недоразумение, которое он уполномочен разрешить. Речь Алексеева произвела прекрасное впечатление. Мы отправились дальше. В Витебске после вышеописанного инцидента с телеграммой Алексеев пожелал переговорить со ставкой по прямому проводу. Вдвоем с ним мы проехали в штаб Двинского округа. Хозяинничавшие там местные комиссары, люди темные и довольно тупые, выразили желание присутствовать при разговоре генерала по прямому проводу. Хотя Алексеев не предполагал сообщать ничего секретного (помнится, он хотел только уговориться о встрече), желание комиссаров было очевидно неприемлемо. Военной силы, повторяю, с нами не было никакой, и я должен был вступить в переговоры с комиссарами. Демократическая поддевка, которую я неизменно носил на фронте, и обращение «товарищи» действовали — и Алексеев беспрепятственно прошел в комнату, где находился прямой провод. Мы остались в соседней комнате, откуда однако была слышна громкая диктовка Алексеева. При этом вышел забавный инцидент. Подошедший в Ставке к прямому проводу генерал Лукомский пожелал удостовериться в том, что с ним действительно говорит Алексеев, а потому задал предварительный контрольный вопрос:

— Какой армией Ваше Высокочество командовали на маневрах 1913 года?

— Я командовал третьей* австрийской армией, взявшей Пултуск, — громко продиктовал ответ Алексеев.

Можно себе представить ужас комиссаров, которые, естественно, вопроса Лукомского не слышали. Нелегко было убедить их в том, что перед ними точно генерал Алексеев, а не переодетый германский агент.

Из Витебска мы проехали в Оршу. Там вышел новый инцидент. Один молодой общественный деятель, бывший тогда в чине не то подпоручика, не то поручика, но занимавший ответственное место в военном кабинете Керенского, прислал Алексееву

* За точность не ручаюсь, но, помнится, ответ был именно таков. [Прим. автора]

в Оршу телеграфную инструкцию. Рекомендовалось при помощи войск Двинского округа взять приступом Корниловскую ставку. При этом молодой поручик давал знаменитейшему из русских полководцев ценные стратегические указания относительно того, как следует брать высоты, окружающие Могилев. Ярость, в которую пришел ген. Алексеев, с трудом поддается описанию: в таком состоянии я ни прежде, ни потом ни разу не видал спокойного и уравновешенного Михаила Васильевича. Он приказал мне немедленно вызвать к прямому проводу самого Керенского. К счастью, распоряжение это оказалось невыполнимым, ибо прямой провод внезапно испортился. Часа через два Алексеев «отошел», и я убедил его, не обращая внимания на пустяки, продолжать начатое дело.

1-го сентября утром мы прибыли в Могилев. На вокзале М.В. Алексеева встретили ген. Лукомский и несколько других лиц высшего командного состава Ставки. Алексеев уединился для продолжительного разговора с Лукомским. К Корнилову же был командирован мой помощник Морковин. По странной игре случая, сопровождавший нас в этой экспедиции против Корнилова мой старый сотрудник Морковин (правый эсэр, оборонец) приходился шурином генералу Корнилову и был с ним с давних пор в тесной дружбе*. Это делало его как бы предназначенным для первого разговора с восставшим генералом. Разговор Морковина с Корниловым продолжался не очень долго. Как из него выяснилось, Корнилов был крайне раздражен против Алексеева. Он категорически заявил Морковину, что Алексеев сам принимал участие в его «заговоре» и потому не имеет никакого морального права участвовать в ликвидации этого заговора.

— Пусть Алексеев пожалует сюда, — сказал он, отдавая свою саблю Морковину. — Я ему все выпою. А обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Пустить себе пулю в лоб я всегда успею.

С этим щекотливым ответом Морковин вернулся на вокзал. Алексеев выслушал его, по внешности спокойно, но внутренне, кажется, был смущен. Не решаюсь утверждать положительно, но думаю, что в утверждении Корнилова была некоторая доля правды: в тот момент, когда он поднимал восстание, он, по моему, имел так или иначе основания думать, что ген. Алексеев, если не формально, то душой на его стороне.

* Замечу для сведения будущих Ленотров русской революции, что семьи Керенского, Корнилова, Юденича, Покотилло были связаны старинными отношениями родства, дружбы или тесного знакомства (по Туркестану). [Прим. автора]

Михаил Васильевич велел подать автомобиль и отправился в дом Верховного Главнокомандующего, предложив мне ехать вместе с ним. В одной из комнат дома нам попался член I-й Думы Аладьин, принимавший, как известно, близкое участие в Корниловском заговоре. Алексеев приказал мне арестовать его (что я и сделал), а сам прошел в кабинет Корнилова. Как я потом узнал от Морковина, разговор обоих вождей русской армии принял весьма бурный и драматический характер. Через некоторое время Алексеев вышел из кабинета и направился в помещение прямого провода. За ним последовали оба генерал-квартирмейстера ставки: генералы Плющик-Плющевский (очень взволнованный) и Романовский (оставшийся совершенно спокойным), и я. Алексеев соединился по прямому проводу с Петербургом. Подошедший к проводу военный министр Верховский сказал Алексееву, что Временное правительство «требует решительных мер против Ставки». Не отвечая ему на это, Михаил Васильевич попросил позвать к проводу Керенского, которому и передал, что Ставка «взята» и что никаких мер против нее не требуется.

Вслед за этим Алексеевым были отданы следующие распоряжения: Корниловский полк (остатки легендарной 49-й дивизии) был выведен из Могилева и, помнится, отправлен на фронт, а сам Корнилов переведен «под арест» сначала в какую-то гостиницу около Ставки, а затем через день или два в Быхов. При нем были оставлены, не то в качестве стражи, не то в качестве почетного конвоя, фанатически преданные ему текинцы. Вслед за тем ген. Алексеев проехал в совет солдатских депутатов и сказал там речь на тему о необходимости соблюдения порядка и дисциплины, о внешнем враге, о критическом положении родины и т.д. Говорил он минут пятнадцать, довольно нескладно, но имел несомненный успех. Настроение в совете тогда еще не было большевистским и скорее склонялось в пользу Временного правительства. Увы! продолжалось это недолго: вскоре мы почувствовали на фронте, какую роковую роль сыграло выступление Корнилова и какую огромную услугу оно оказало большевикам. Вслед за Алексеевым говорил я — еще нескладнее — и имел бурный успех, вероятно, за поддевку: меня на руках отнесли в автомобиль. Из совета мы проехали в Георгиевский батальон. К нему Алексеев относился крайне отрицательно (для чего имел основание) и там говорил в совершенно ином тоне. Георгиевцы заявили о своей лояльности.

Таким образом, было без выстрела ликвидировано Корниловское восстание. Далее должен был начаться процесс генерала Корнилова. Добавлю еще несколько слов о нем.

Читатель, вероятно, не удивится, если я скажу, что, при самом отрицательном отношении к Корниловскому восстанию, я чувствовал глубокое уважение (и даже более того) к моральной личности генерала Корнилова. Это был человек не только благороднейший в лучшем смысле слова, но и поистине обаятельный. О его легендарной храбрости не приходится и говорить. Корнилов был так храбр, что, когда это было нужно, позволял себе избегать опасности: ему просто не приходило в голову, что опасности можно бояться. Английский военный агент, ген. Баррер, дал ему следующую характеристику: «*soeur de lion, tête de bélier*». С ее второй частью можно вообще спорить, но, к сожалению, приходится признать, что в политическом отношении она была близка к истине. Наивность Корнилова в государственных вопросах была почти безгранична. Если существовал в мире человек, совершенно не созданный для политики, то это был именно генерал Корнилов, политическое выступление которого решило судьбы русской революции.

Я посетил Корнилова в его Быховском заключении. Он был очень нервен. Здоровье его расстроилось. Страдая невралгией руки, он должен был постоянно брать ванны, а в доме, который служил ему «тюрьмой», ванны не было. На мой вопрос, не нуждается ли он в чем-либо, генерал ответил, что ему самому ничего не нужно. Просил только позаботиться о его товарищах по заговору. Разговорившись о заговоре, Корнилов неожиданно сказал мне, что его погубили кадеты. Он назвал нескольких известных имен, — между прочими и Родзянко, которого тоже причислял к кадетам.

— В Москве, — говорил Корнилов, — они уверяли меня в том, будто за мной пойдет их партия, а за нею и вся страна. Я им верил. Я думал, что они знают настроение страны. Они меня подвели и погубили...

Здесь от себя мне, понятно, остается лишь сказать: «за что купил, за то и продаю».

Предстоявший процесс Корнилова был, разумеется, крайне неприятен и тем общественным кругам, которые менее всего сочувствовали августовскому восстанию. Незавидно было и положение Временного правительства. С точки зрения закона, Корнилов был несомненно государственный преступник, причинивший огромное зло Республике, и дело его должно было идти на рассмотрение того самого суда, который, по его же требованию, был введен на фронте для бунтовщиков и ослушников. Но предание Корнилова этому суду означало смертный приговор. Многие действительно в ту пору находили, что правительство

должно быть последовательным и поступить с Корниловым так, как желало поступать с мятежными солдатами большевистского или просто шкурно-демобилизационного типа. Помню, один мой приятель, старый боевой офицер, Якушкин, человек кристальной чистоты души, говорил мне, что ради спасения армии Корнилов должен быть казнен. Но вместе с тем для всех нас, включая членов Временного правительства, и даже иных людей, стоящих левее его, Корнилов был не только — слава и гордость русской армии, но и честнейший человек, которым в его действиях руководили исключительно бескорыстные патриотические мотивы. И перед всеми мучительно вставал вопрос: как быть с Корниловым?

Особенно тяжелую душевную драму переживал тогда, — быть может, отчасти, по указанным выше мотивам — ген. Алексеев. Вечером 5 сентября, накануне ожидавшегося приезда в Ставку Керенского, Алексеев вызвал меня к себе и сказал мне, что считает свою задачу законченной с момента ликвидации «заговора» и намерен теперь же сложить с себя звание Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, ибо участвовать, хотя бы только морально, в суде над Корниловым и в его осуждении он находит для себя невозможным.

Это сообщение ген. Алексева я, по его предложению, повез на следующее утро в Оршу, куда я выехал встретить Главу Временного правительства. Оно произвело на Керенского ужасное впечатление, еще гораздо более сильное, чем я мог думать. Он долго не мог оправиться.

В вагоне Керенского, где еще находились его beau frère генерал Барановский, моряк Муравьев и адъютанты, мы проехали в Могилев. Помню, что Керенский с усмешкой показывал нам тогда только что полученное им постановление какого-то схода крестьян, кажется, Казанской губернии. Крестьяне писали: «Товарищ Керенский, держите знамя революции, а мы тебе поможем. Намедни разгромили имение такое-то». Это имение принадлежало родной тетке Керенского.

Через несколько часов на вокзале в Могилеве ген. Алексеев встретил Керенского и подтвердил ему свое непоколебимое решение покинуть пост начальника Штаба. Желая по-прежнему быть полезным делу обороны, он соглашался либо принять назначение русским военным представителем во Франции, либо готов был оставаться в распоряжении правительства в качестве консультанта по важнейшим стратегическим вопросам. Далее он советовал возможно скорее созвать Учредительное Собрание и в первую очередь предложить ему амнистировать Корнилова, по-

сле чего он, Алексеев, мог бы принять должность — Верховного Главнокомандующего.

Возник вопрос о назначении преемника Алексеву. Имелось три кандидата: генералы Головин, Черемисов и Духонин. За первого стояли некоторые члены Временного правительства. Алексеев высказался против кандидатуры Н.Н. Головина, хотя признавал за ним большие военные качества. Еще гораздо решительнее он возражал против выдвигавшегося Барановским ген. Черемисова, замечая, что Черемисов — человек ничтожный и способный на все. Кандидатом Алексева был Духонин, который, по его мнению, соединял в себе стратегический талант, абсолютную честность и большую личную храбрость. Авторитет Алексева был так велик, что его мнение сразу восторжествовало и назначение Духонина было решено.

Мне казалось, что сам Алексеев согласился бы остаться Начальником Штаба, если бы у него была уверенность в том, что Корнилов не будет предан военному суду. Желая вырвать у правительства соответствующее заверение, я в ночь на 9 сентября отправился за этим к Керенскому. Разговор наш продолжался несколько часов, и при крайней нервности, свойственной нам обоим, принимал не раз бурный характер. Мне не удалось добиться изъятия дела из ведения военного суда*, но я в конце концов добился формального заверения, что Корнилов казнен не будет и что правительство будет ходатайствовать перед Учредительным Собранием об амнистии для бывшего главнокомандующего ввиду его выдающихся прежних заслуг. В заключение разговора Керенский вдруг меня спросил: «Неужели вы думаете, что я был бы способен подписать смертный приговор?»

От Керенского я немедленно отправился к ген. Алексеву; но, к большому моему разочарованию, он и при этих условиях отказался остаться Начальником Штаба, сухо заметив, что не доверяет обещаниям Керенского. Его преемником был назначен Духонин.

Сообщил я о намерениях правительства и самому Корнилову, который равнодушно ответил, что амнистии для себя не желает.

В связи с очень беспокоившим Петербургский совет вопросом об охране генерала в Быхове, приезжал туда член комиссии Шабловского и представитель совета рабочих и солдатских де-

* Имея дело с юристом Керенским, я особенно старался использовать мнение Шабловского, который находил, что восстание Корнилова было направлено против п р а в и т е л ь с т в а и потому подлежит не военному, а гражданскому суду. [Прим. автора]

путатов Либера. Должен сказать, что своей тактичностью он произвел на всех очень хорошее впечатление. Он был весьма сдержан и вежлив. Помню забавную подробность. Либера задал между прочим Корнилову следующий вопрос (очевидно, в надежде получить отрицательный ответ):

— Предполагали ли вы, в случае овладения Петроградом, арестовать совет рабочих и солдатских депутатов?

— Предполагал, — хладнокровно подтвердил Корнилов.

Либера развел руками.

— Неужели весь совет хотели арестовать? Может быть, только отдельных его членов?

— А ваша как фамилия? — неожиданно спросил Лавр Георгиевич.

— Либера.

— Вот вас непременно, непременно арестовал бы, — как бы с сожалением сказал Корнилов.

Гораздо менее благоприятное впечатление произвел в Ставке приехавший туда в половине сентября новый верховный комиссар Станкевич. Напоминаю, что Керенский формально обещал Алексею упразднить должность Верховного комиссара. Не знаю, забыл ли он о своем обещании или должен был уступить требованиям слева, но назначение нового Верховного комиссара само по себе произвело в Ставке весьма дурное впечатление. Станкевич был по существу человек порядочный, но из него били ключом «революционный долг» и «революционная совесть». Революционный долг и революционная совесть побуждали его, вопреки здравому смыслу и категорическим требованиям Ставки, разъяснять солдатам каждую стратегическую операцию (разбор этих операций писал для него полковник Ковалевский). Они же были причиной крайне резкого столкновения его с Корниловым. Замечу, что и Шабловский, и Либера, и я не смотрели на Корнилова как на обыкновенного заключенного, и вели себя соответствующим образом. Так, я всякий раз, когда желал видеть Корнилова, посылал к нему спросить, может ли он меня принять. Станкевичу революционный долг предписывал поступать иначе. Хотя у него едва ли могло быть дело к Корнилову, он, вопреки моим уговорам, отправился в Быхов и вошел к арестованному генералу без предупреждения, даже без стука в дверь. Корнилов встал и попросил его оставить комнату.

— Я — Верховный комиссар, — заявил Станкевич.

— Это мне все равно, — резко ответил бывший Главнокомандующий. — Но если вы сейчас не уйдете, то я прикажу текинцам тут же вас застрелить.

Станкевич вышел и хотел возбудить дело о покушении на жизнь Верховного комиссара. Мы, однако, убедили его этого не делать. Повторяю, он наверное не желал зла ни Корнилову, ни кому бы то ни было другому на свете вообще. Он только больше чем нужно руководился велениями «революционного долга».

Ход корниловского дела в комиссии Шабловского достаточно известен, и я едва ли мог бы сообщить об этом что-либо новое. Воспоминания мои о Духонинском периоде Ставки и о ее последних днях уже частью были напечатаны на страницах «Голоса Минувшего».

Б.Н. Лосский
НАША СЕМЬЯ В ПОРУ ЛИХОЛЕТИЯ
1914-1922 годов*

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Завершивший воцарение советской диктатуры разгон Учредительного Собрания в ночь с 5-го на 6-е (18/19 января), последовавший за ним обстрел (по примеру «кровавого воскресенья» 1905 г.) сочувствующих ему демонстрантов и 7(20) января зверское убийство Кокошкина и Шингарева ворвавшимися в Мариинскую больницу матросами — потрясли и возмутили интеллигенцию, которая собралась в большом числе на торжественное погребение первых жертв большевистского террора. В бабушкиной гимназии была по ним отслужена панихида, за которой, должно быть, следовали речи учителей. Но что стоит совершенно ясно в моей памяти, это сыгранный на рояле по-видимому приведенным старшей сестрой одиннадцатилетним Митей Шостаковичем (тогда еще учеником гимназии Шидловской) его «Траурный марш памяти жертв Революции», по всей вероятности, навеянный кровопролитиями последних дней⁶¹.

Январские события отразились и в нашем домашнем мире. Как-то вечером у нас появился господин с седеющей бородкой и прожил, ночуя в отцовском кабинете, неделю или две полным инкогнито. Однако Володе скоро удалось разгадать, вспоминая висевший в столовой в первые недели февральской республики лист с портретами членов Временного правительства, что нашим неожиданным гостем был Федор Измайлович Родичев. Улучив удобный момент, мы задали об этом вопрос встретившейся

* Окончание. Начало воспоминаний см.: «Минувшее». Т.11. С.119-198.

в коридоре бабушке, чем ее сильно встревожили, и получили утвердительный ответ с приказанием хранить об этом строжайшую тайну под страхом его и нашей гибели.

С Родичевым и его семьей нас связывала не только партийная деятельность отца, но и факт, что за первое десятилетие века бабушкину гимназию кончили их две дочери, София и Александра. То, что он нашел себе убежище в нашей связанной с гимназией квартире, где жизнь была ключом, наверное помогло ему сбить со следа разыскивавших его членов ЧК. За время пребывания Родичева у нас приходила раз или два его жена и, конечно, она же доставила ему черный нагольный тулуп с идущей к нему шапкой, что, с несколько разросшейся бородой, позволило ему принять вид «простолюдина», чтобы перебраться куда-то по железной дороге. Несколько позже до нас дошел слух, что в пути ему случилось быть арестованным вместе с обличенными в «спекуляции» мужичками-«мешочниками», причем он назвал себя Родионовым, растянулся спать на скамье и, по скором освобождении, пустился в дальнейший путь⁶².

Естественным образом условия жизни продолжали ухудшаться. Шли на убыль количество, выбор и качество продовольствия. Вспоминаются, например, из ржаной муки макароны и сопровождающая их в устах Петровны рифма «пугающие вороны». Из газовых уличных фонарей стал зажигаться только один на два, а скоро и на три. Дома электричество действовало с трех часов полудни, а иногда отсутствовало и вечером. Рядом с этим, курьезным образом, в редующих магазинах появились на известное время, следом за «похабным» (как выражались) Брест-Литовским миром, кое-какие немецкие мелкие товары: вспоминаются акварельные краски и писчебумажные принадлежности.

В гимназии учение продолжало идти по дореволюционным нормам: с общей утренней молитвой, для которой бабушка давала на рояли ноты (кажется соль и си) для пения в два голоса «Царю небесный», «Отче наш» и «Богородице дево», между которыми читалось соответствующее дню Евангелие, продолжались (как и во всех других школах) уроки Закона Божьего и по углам классов и зал висели иконы.

Продолжающему преуспевать если не в точных, то в гуманитарных науках Володе подвезло особенно со всеобщей историей, которую в его классе преподавала Александра Михайловна Петрункевич, об учености, педагогическом таланте и популярности которой я уже говорил. Оценила и она его качества в такой мере, что на своей словесной шкале способностей учеников возвела его в степень «столпа и надежды», — титул, каким наградила она и

Таню Пассек. Прибавлю, что в Мусе Шостакович она узрела «надежду на столп». Всех троих ее преподавание и обаяние так покорили, что вместе с ее уже давнишней поклонницей Асей Афанасьевой они образовали кружок ее почитателей. Ася даже скомпоновала и собиралась изготовить для ношения значок с расположенными крестообразно инициалами А.М. Она же написала трактат, в котором противопоставляла духовным взлетам обожаемой учительницы вескую поступь Князькова, уподобляемого «слону в фарфоровом магазине». Но довольно скоро этот культ личности оказался обреченным на истощение. Не доведя курса до конца учебного года, А.М. покинула Петербург, направляясь куда-то на юг, наверное, с четой Полей⁶³ и кузиной гр. Паниной. Ее отъезд ознаменовался пролитием слез учениц, Муси Шостакович во всяком случае.

26 апреля, дней через десять после зачетного испытания, на Музыкальных курсах Гляссера прошел весенний ученический концерт. Вспомню здесь не столько мой «дебют» как скромного исполнителя «Менуэта» из XX-ой, сколько вдумчивую интерпретацию Митей Шостаковичем V-ой сонаты Бетховена.

Этой же весной наша семья сошлась ближе с их семьей, достаточно известной читателям из биографий композитора. Не только с уже хорошо знакомой с бабушкой и матерью Софьей Васильевной, самой в свое время ученицей Консерватории и ревнительницей музыкального образования своих детей, но и с ее мужем, приветливым и веселым Дмитрием Болеславовичем, инженером Палаты мер и весов. С ними даже сговорились, что проведем вместе лето в рекомендованном им кем-то соседнем с Павловском поселке Этюпе. Туда мы все, четверо родителей и шестеро детей, весело съездили для найма дач. У Володи с Мусей и у Маруси с Зоей было достаточно тем для разговоров об их клас-сных делах, а у меня с Митей о школе Гляссера. Так же было интересно слышать от него рассказы о происходившем в покинутой нами гимназии Шидловской, особенно о стычках с братьями Керенскими его одноклассников Розенфельда-Каменева и Бронштейна-Троцкого. При этом во всех разговорах с ним и его сестрами можно было оценить присущее их семье чувство скорее добродушно-веселого, чем едкого, юмора.

Дачи были сняты, но, не знаю, по какой причине, в летних планах Шостаковичей произошли перемены и каникулы в Этюпе нам в их соседстве, к сожалению, провести не довелось.

Чтобы догадаться, как в русскую топонимию вошло так необычно звучащее название поселка, в котором мы провели три лета, достаточно заглянуть в мемуары баронессы Оберкирх, придворной дамы супруги Павла I, Марии Федоровны. В них не раз упоминается Étupes, летняя резиденция герцогов Вюртембергских, миниатюрный Версаль в их княжестве Монбелиар, вкрапленным во французские земли на юге от Белофора. Там в августе 1782 года чета наследников Екатерины, ««графов Северных» (comtes du Nord) в пору их путешествия по европейскому западу провела август 1782 г. у родителей великой княгини⁶⁴. По всей видимости, Марии Федоровне захотелось увековечить память об этом у себя, поселив рядом с Павловским парком в названной Этюпом деревеньке несколько семей вюртембергских крестьян. Поселок расположился на первой версте шоссе, ведущего от теперь сильно поврежденных Чугунных ворот к селу Федоровскому, по прямой линии, ориентированной на центральный корпус под куполом отдаленного на две версты дворца. К концу прошлого или началу нашего века, когда Павловск окончательно занял привилегированное положение в плеяде излюбленных петербуржцами дачных мест, этюпские землевладельцы сочли выгодным выстроить вдоль по шоссе около дюжины дач.

Мы там застали примерно пятое и шестое поколения вюртембергских переселенцев, из которых только последнее потеряло знание немецкого языка. Во всяком случае он не дошел до детей нашего женатого на русской хозяйина, Якова Клементьевича Шефа, — Лизы и Тины (хоть и крещеной Христиной). Сам же Яков Клементьевич любил «отводить душу», говоря на языке дедов с нашей Аденькой. К нашей семье он относился с приличной почтительностью, не в пример соседу — Дромметеру, уже осознавшему полностью и с грубой заносчивостью материальное превосходство сельского хозяина над обреченным на голодовку горожанином, каковы бы ни были его звание и профессия. На его двух дачах поселились, возможно, что следом за нами, знакомые и приятные нам семьи родителей бабушкиных учениц: на месте Шостаковичей — аптекаря Гаккеля и дельца Цесарского.

За землей Шефа шла земля Шарлотты Ивановны Риттер, дородной вдовы лет сорока-пятидесяти, которую можно было видеть эффектно выезжавшей в шляпе на двуколке, должно быть на воскресное богослужение в лютеранской кирке или шествовавшей по нашей дороге, по выражению отца, «барахтаясь сама в себе». И среди ее дачников оказалась семья родителей бабушкиных учениц: трех или четырех сестер Савельевых. У нее же дотеле нам неизвестный инженер в вицмундире и фуражке Хржон-

стовский, большой любитель музыки, иногда певший в два голоса с одной из двух дочерей, довольно «бельфамистой» блондинкой, к великому наслаждению безуспешно за ней ухаживавшего Гаккеля. Полезнее будет прибавить, что, если не ошибаюсь, в число риттеровских дачников входили и Титовы: тетя Адя и кузен Андрюша. Возможно, что у них же была и комната проводившей с нами последнее лето бабушки Лосской.

Были знакомые и в самом городе Павловске. На лето там обосновалась на одухотворенное вплоть до обета молчания вкупежителство группа петербургских теософов под эгидой возглавительницы русской части общества Анны Алексеевны Каменской⁶⁵. Среди них была и продолжавшая преподавание у бабушки Елена Ивановна Киль, приходившая каждое утро в Этюп заниматься со мной и братом немецким языком. Там же проживал и приходил к нам в гости Виктор Григорьевич Вальтер, первая скрипка оркестра Мариинского театра, обслуживавшего летом Павловский вокзал, к которому вернусь ниже. Там же проводила каникулы семья Середонина, хранителя зоологического (скорее чем этнографического) музея на Васильевском острове. А из Царского (не говорить же «Детского»!) Села приезжал раза два И.А. Гляссер — давать мне урок музыки и сойтись ближе с нашей семьей.

Навещали нас также приезжие из Петербурга. Особенно помню появление у нас на сутки и живописные, как всегда приправленные юмором рассказы традиционного машуковского и митинского гостя Д.В. Болдырева, остановившегося ненадолго в невольской столице между двумя пребываниями в Перми, где он преподавал философию в университете⁶⁶. Приезжал раз С.А. Алексеев с сыном Вовой, супруги Канделаки с четверья детьми и раза два С.А. Князьков, из застольных разговоров с которым помню его невозмутимую реплику на бабушкино патетическое восклицание по адресу власть имущих: «Мария Николаевна, ну какие они дьяволы, просто жюлики» (с «ю» вместо «у»).

По нашей просьбе он привез нам на пользование лучшую монографию Павловска, написанную химиком-искусствоведом В.Я. Курбатовым и изданную изящным «карманным» томиком Общиной святой Евгении. Пользуясь ей как путеводителем, мы с братом хорошо ознакомились, благодаря подаренному нам весною тетей Верой ее дамскому велосипеду, с памятниками Павловского парка, среди которых нам пришелся больше всего по сердцу прячущийся в роще-лабиринте Новой Сильвии нео-греческий храм «Супругу благодетелю», возведенный в 1808/1809 г. Тома де Томоном для Марии Федоровны в мало кому дорожую память Пав-

ла I. Решетка двери была открыта и можно было приблизиться к «плачущему мрамору» Мартоса: аллегорической коленопреклоненной фигуре Печали, обнимающей гробовую урну на фоне силуэта черного обелиска, над барельефом, изображающим античное погребальное шествие. Все это было в исправном виде в начале лета. Когда же ближе к концу июля мы привели родителей разделить с нами восхищение мавзолеем, нас ожидало удручающее зрелище: поврежденные узоры входной решетки, запиханные между цепями, несущими подвешенный к своду светильник-амфору, еловые ветви, обломанные пальцы на руке статуи, непристойные «графити» на хитонах женских фигур барельефа.

Наряду с подобными увечьями, нанесенными Павловскому парку мерзкими озорниками, вспомню об одном, обусловленном и в конечном счете оправданном самой жизнью местного населения: прямая сократительная тропа, настойчиво пробивавшаяся пешеходами несмотря на запрещения и вбитые в ее концы колышки, между устьем дворцовой аллеи и началом шоссе за Чугунными воротами, через лужайку перед «Храмом дружбы». Мы были наверно единственными обитателями Этюпа, не позволявшими себе ею пользоваться и обходившими газон по начертанной создателями английского парка огибающей газон дорожке. Признаюсь, только летом 18-го, так как в следующие года это бы явилось совсем бессмысленным донкихотством.

Как-то провели мы с родителями очень содержательный день и в царскосельских парках, знакомясь, с путеводителем в руках, с некоторыми из их строений, проникать в которые еще было можно, обращаясь в индивидуальном порядке к услугам сторожа-проводника старого времени, кое-что знавшего, но объяснявшегося не слишком изысканно: «Этот, понимаешь, кумпол, понимаешь», и прочее в том же роде. Помнятся главным образом неоготические затеи николаевского времени: «Белая башня» (превратившаяся за последнюю войну в руину), «Шапель» со статуей Христа, немецко-назарейского стиля, и «Монбеж», он же «Арсенал», в который не вернулась еще на свое место коллекция оружия, эвакуированная, как и сокровища Эрмитажа, в еще недавнюю пору угрозы немецкого нашествия. Не знаю, в какой мере сохранялся за последовавшие годы исчезнувший из памяти теперешних путеводителей особенно нас занявший «Детский остров»: место игр (при Николае I) будущего Александра II и его малолетних братьев, конечно под призором Жуковского. Кому же как не сладчайшему Василию Андреевичу можно было приписать поощрительное наименование одного из концов этого клочка земли «мысом доброго Саши»? На острове наверно играл в 1850-х или 1870-х

годах один из последних государей, о чем только и могла свидетельствовать проложенная вдоль по его берегу полуигрушечная железнодорожная линия со стрелками и семафорами, по которой наверно бегал карликовый поезд.

Как не вспомнить еще о живописной сценке на «Большом капризе», искусственной скале с идущей по ее хребту дорожкой сквозь венчающую ее беседку с крышей пагоды на восьми коринфских колоннах? Расположившись на одном из окружающих ее сидений, скрестя ноги, как «китайский болванчик», Володя использовал свой талант щурить глаза, придавая лицу подлинно монгольские (Тихменевский атавизм?) черты и выражение, что довершило дальневосточный декоративный ансамбль павильона к нашей забаве и развлечению прохожих.

Как в Царском Селе, так и в Павловске уже летом 18-го дворец был открыт для коллективных посещений, и нам посчастливилось познакомиться с его интерьерами, присоединившись к интеллигентной группе, которая его осматривала под культурным руководством вошедшего в роль как бы теперь сказали «экскурсовода» — проживавшего на соседней дедовской даче внука Карла Брюллова.

Жизнь у сельских хозяев скрашивала, хоть и не слишком, наш пищевой обиход покупаемыми у них в очень ограниченном количестве мукой, овощами и молочными продуктами. Благодаря им мы утром пили подбеленное подобие кофе и ели с маслом по одному тоненькому ломтику хлеба, полагавшемуся каждому. О мясе к обеду не было бы речи, если бы родители, пользуясь советом и содействием царскосельского ветеринара Топчиева (друга не возвратившихся с лета 17-го из Крыма Метальниковых) не наладили пользования кониной. Она пропускала через мясорубку, на чем-то жарилась и подавалась на стол под названием «минутного мяса», иногда чередуясь с какой-нибудь из каш. Не надо было делать комплиментов об их изготовлении властвовавшей последнее лето на нашей кухне Петровне, чтобы не оскорбить ее профессиональной гордости бывшей «кухарки за повара» и не вызвать выражение презрения к бывшим «господам», так просто лишившимся своего требовательного вкуса: «Слышать не могу...» и пр. Ей явно доводилось сокрушаться о своем утерянном смысле жизни. Очень скромным дополнением к нашему продовольствию служили плоды собственных трудов на грядках клочка земли, уделенного для нашего семейного огорода: мелкие овощи, включая редиску, еще не вышедшую из пищевого обихода, но уже вошедшую в словарь экстремистов, как презрительный эпитет для либералов, красных снаружи, белых внутри.

Наряду с дворцом и парком очень многим поспособствовал нашему художественному образованию Павловский вокзал: не железнодорожная станция, конечно, а смежный с нею знаменитый концертный зал, унаследовавший свое наименование от процветавших в XVIII и начале XIX в. в Европе мест публичных развлечений, называемых *vauxhalls*⁶⁷. Там мы впервые услышали симфонические концерты, которые в этом году давались оркестром Мариинского театра в 85-87 человек под управлением Николая Малько, иногда Е.Вольф-Израэля. Там и началось наше знакомство с симфониями и увертюрами Бетховена (которые мы с матерью предварительно разыгрывали в четыре руки) и творениями Вагнера, Рихарда Штрауса, Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова и Скрябина. Помню, между прочим, концерт произведений Глазунова, который дирижировал сам, не как обыкновенно принято, а шевеля палочку только кистью неподвижной, поднятой до уровня шеи руки.

На некоторые концерты (когда исполнялась IX симфония Бетховена с хором Архангельского или Патетическая Чайковского) приходила и бабушка, по примеру далеких прошлых лет, рассказывая, как она видела в этом зале приплясывавшего перед пультом Иоганна Штрауса со своей неизменной скрипичей, а в зале известных тогдашнему Петербургу старушек-сестер Апрельевых, кивающих в такт королю вальсов головами в чепцах с колыхающимися франжами и улыбающихся, вспоминая доброе время своей молодости⁶⁸.

Интересное о прошлом Павловска можно было слышать и в передаче бабушкой рассказа одной из ее собственных бабушек — рожденной Марковой или Языковой, которая провела детство в Паловске при Павле I. Ее родителям случилось быть разбуженными в шестом часу утра стуком трости в ставню и, открывши ее, видеть короткую фигурку императора в треуголке и слышать его уведомление: «ваша корова ушла со двора и гуляет по улице». Заботы рыцарственного монарха о делах своих подданных или острастка пекущегося о порядке в стране оберполицмейстера? Наверное, проявление обеих черт проблематической природы сына Екатерины.

Не будет неуместным вспомнить и о третьем рассказе бабушки, связанном если не с Павловском, то, в моих мыслях, с проведенным в нем летом 18-го. Восходя к своему восьмилетнему возрасту, бабушка вспоминала, как в начале марта 1855 г. ее родители, придя с улицы домой, уединились в своей комнате, чтобы дать волю слезам после дошедшего до Москвы известия о смерти Николая I. В моей же памяти стоит балкон Этюпской дачи и

сидящая за столом, скрывая лицо руками, бабушка, явно сраженная вестью о недавно совершенном в Екатеринбурге царевбийстве.

Еще в бытность нашу на даче вошла в силу коренная реформа среднего образования, с национализацией частных учебных заведений, унификацией программ преподавания и введением совместного обучения. В этой переделке женская гимназия Стоюниной превратилась в «10-ю советскую единую трудовую школу 1-го городского района» с оставлением за бабушкой ее возглавления в звании «председательницы». Переменилось и обозначение классов: от *a* до *d* первой ступени вместо от младшего пригготовительного до III-го класса и от I-го до IV-го второй ступени вместо от IV-го до VII-го, с упразднением VIII-го класса. Следует однако прибавить, что этот новый порядок в разговорную практику нашего поколения не вошел, и мы до конца нашего гимназического учения вели счет классов до семи. Что же до перемены программы, то она отметилась только упразднением Закона Божия, обычая утренних молитв и присутствия икон в стенах школы.

Также созрела к тому времени реформа правописания и первый урок русского языка в средних и старших классах был посвящен приобщению к его нововведениям. Им должно было, разумеется, подчиниться и старшее поколение, что отец сделал, только обратившись к коллеге-языковеду С.К. Буличу за оправдательными объяснениями по каждому пункту, и, будучи ими удовлетворен, принял новую орфографию и остался ей верен, не в пример другим членам семьи (Володе и мне в их числе), до конца своих дней.

Введение совместного обучения не отразилось на школьной жизни Володи, оставшегося до самого выпуска единственным мальчиком своих VI-го и VII-го классов. В моем же, тогда IV-ом, к моему полному удовлетворению «нашего полку прибыло», и у меня в нем очутилось пятеро товарищей, из которых стоит уделить внимание двоим: Алеше Животову, брату одной из бывших бабушкиных учениц, воспитывавшемуся до того в одном из кадетских корпусов, что известным образом сказывалось на его повадке и голосе. Он был красивой наружности, достаточно сознавал это и любил всячески рисоваться; для него хочется позаимствовать из словаря Короленки эпитет «ахтёрщик». Главное же место уделяю недавно скончавшемуся академику Александру Иосифовичу, для меня — Шуре Шальникову, проявившему себя

по поступлении деятельным членом нашей классной общины, стяжавшему популярность даже в соседних классах и вошедшему в жизнь нашей семьи как близкий, не только мой, но и Володин товарищ⁶⁹.

Исключительно ценным событием в Володином и моем классах было появление как учителя русской и всеобщей истории С.А. Князькова, возобновившего свое преподавание в гимназии после отъезда А.М. Петрункевич. Остаются для меня ярким воспоминанием его скрашенные юмором уроки, посвященные Персии, древней Греции и русскому XVIII веку.

Тоже оказались национализированными музыкальные курсы Гляссера, переименованные в Фортепьянную студию.

Может быть, в связи с этой переменной, в начале осени Игнатию Альбертовичу и группе его учеников была предоставлена длинная бархатная скамья за колоннами переднего правого угла зала бывшего Дворянского Собрания (на Михайловской, ныне площади Искусств) на один из предвещавших создание Государственной Филармонии симфонических концертов. На нем довелось присутствовать не только мне, но и Володе и только что поступившей в класс Ольги Федоровны Марусе. Шли VIII и IX симфонии Бетховена под вдохновенным управлением Сергея Кусевицкого, точно плававшего в звуках наэлектризованного его дирижерской палочкой оркестра. Митя и его сверстник Леня Дидерихс сидели по обе стороны учителя и жадно следили за развернутой на его коленях партитурой. Они же, подойдя в перерыве к эстраде, разглядывали внимательно музыкальные инструменты, обмениваясь догадками об их названиях. Могло ли тогда придти в голову Мите, что завтрашнему залу Государственной филармонии предстояло в будущем посвящение имени Шостаковича? Думаю только, жалея Игнатия Альбертовича, что к тому времени наверно уже созрел у Мити и у Муси план перебега из его школы к бывшей в свое время учительницей их матери профессору консерватории А.Розановой. Случился он в самом конце того же года, а главной причиной этому шагу, по крайней мере, по доводам, приводимым Софьей Васильевной, был гневливый характер Гляссера, с уроков которого, по ее словам, ее дети приходили домой чуть ли не в слезах.

Хорошо запомнилось празднование в этом году бабушкиных именин в день Покрова Богородицы, 1/14 октября. Ему предшествовала накануне своего рода «всенощная», как бы отслуженная пришедшими вечером друзьями-теософами, конечно, под предводительством А.А. Каменской. Как им и подобало, это радение

прошло под знаком синтеза всех религий. Сперва симпатичный типограф-скрипач Иосиф Антонович Лесман провозгласил с чуточку польским акцентом: «Адзин и нет другого», кажется, от лица юдаизма. Это утверждение продолжила татарочка пересказом в оригинале и русском переводе речитатива муэдзина на минарете: «Аллах велик (Алла экбар), Аллах велик, нет Бога кроме Бога» и пр. Потом пианистка Гиришович воспроизвела на рояле «Чертог твой» Бортнянского и не помню какие еще подобранные на божественную тему песнопения, после чего все собой покрыл индуизм и пение хором стихов Рабиндраната Тагора «Мне служит тот, кто пострадал при жизни». Самому же дню агнела был положен утвердившийся и на следующие годы обычай: коллективное поздравление собравшихся в большом зале учеников с поднесением в качестве подарка яблочного пирога, подобия тортов и других сладостей, приходившихся весьма кстати как пособие к угощению сменявшихся целый день за нашим столом поздравителей, число которых переходило иногда за сотню.

Неделю спустя, на долю нашей семьи выпало тяжелое, потрясшее всех испытание. Маруся слегла в постель, и по мнению нашего домашнего и гимназического врача, ее болезнь была сочтена за бродившую тогда по всей Европе «испанку». Сделанное же поздно исследование горла выявило дифтерит в последней стадии, и Маруся умерла на утро дня рождения матери, 26-го октября.

Хочу отметить, что удрученная так же глубоко, как и родители, бабушка, потерявшая в 1882 году из-за той же болезни двенадцатилетнюю дочь Лину (Елену), не забыла распорядиться, чтобы двери гимназии были немедленно закрыты для учеников, ввиду общей дезинфекции.

Мы же с Володей, подавленные случившимся и домашней атмосферой, пошли бродить, больше молча, по облетевшему Летнему саду, где в моих глазах сам воздух казался подернутым черной дымкой. По нашем возвращении домой Володя стал жаловаться, что ему больно глотать. Сразу же вызвали доктора, и по его предписанию брат был в тот же день отправлен в больницу Вилье на Выборгскую сторону, где подвергся антидифтеритной прививке и провел недели две вместе с Аденькой, которой, по любезности дирекции, была дана возможность там ночевать.

Мне же вместе с няней и годовалым Андрюшей оказала на время дезинфекции гостеприимство, в «доме с тупиком» на Загородном, машинистка бабушкиной канцелярии, Анна Петровна Смирнова.

Оттуда мы ходили на Кабинетскую, когда совершались похороны Маруси, на которых присутствовали, вопреки опасению заразы, некоторые из ее подруг, в их числе Зоя и сопровождавшая ее, утиравшая платком слезы, Муся Шостакович. Прибавлю, хоть и мало кстати, что после этого мне больше не случилось видеть на козлах катафалка старого типа с обитым серебряным глазетом гробом возницу в белом фраке и цилиндре, потому что подошло время закрытия «бюро похоронных процессий» и упрошения практики участвовавшихся погребений.

Похоронена Маруся была на Волковом кладбище, на нашем семейном месте, рядом с могилами деда Стоюнина и прабабушки Тихменевой, в могиле только что здесь упомянутой «тети Лины»⁷⁰.

Не знаю, в какой мере могло заинтересовать наше старшее поколение в эту пору семейной скорби совершившееся 11-го ноября столь важное для судеб Европы перемирие. Во всяком случае, не помню никаких о нем разговоров.

С приближением зимы наступила, подобно сказанному летописцем осажденной Троице-Сергиевой лавры, «теснота великая, хлебная и дровяная» и было решено уплотниться всем семейным кругом до конца холодов на бабушкиной половине квартиры.

Около 20-го декабря состоялся второй для меня зачетный концерт у Гляссера, на котором блистали отсутствием Муся и Митя Шостаковичи. Следуя весеннему выпускнику Юрию Харламову, последним (то есть лучшим по оценке учителя) исполнителем явилась бабушкина ученица Мура (Марианна) Граменицкая. Тоже в последний раз, потому что очень скоро и она, вместе с младшей сестрой Галей, по примеру друзей Шостаковичей и под теми же предлогом и невысказанной, но понятной целью выйти на большую дорогу музыкальной карьеры, — покинули школу Игнатия Альбертовича для поступления в консерваторию.

Кончу отрадным воспоминанием о первом знакомстве с гением Шалапина, в его коронной роли Бориса Годунова. Им дополнился уже богатый вклад в художественное образование, которое мы вынесли из восемнадцатого года.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

Зимние холода стали сказываться как на нашем, сведенном на три комнаты обиталище, так и на гимназии, где с дореволюционной нормы 18° (переходя с привычного русским старожилам Реомюра на общепринятый Цельсий) температура спустилась

на 10°. В нашем доме начали фабриковаться жестяные, легко накалявшиеся печурки-«временки» предприимчивым, сделавшим на этом цветущее дело Зельцером. В школе уже с поздней осени ученики не снимали пальто. Мы же с Володей спускались в свои классы как ходили дома, нося сверх курток и светеров, он — черный лодэн-разлетайку, я — служившую отцу в молодости длинную коричневую пелеринку с крылаткой, сидевшую на мне как капуцинская ряса. К тому же я завел экстравагантное обыкновение опоясывать ее цепью, какими привязывают дворовых собак к будке, а несколько раз даже прицепил под полу шпагу прадеда Тихменева.

Продовольствие шло на убыль, да и могло ли быть иначе с разгравшейся на юге гражданской войной и увеличивавшейся транспортной и общей разрухой? Мясо сошло почти совсем на нет. Его в слабой мере заменяла рыба: сельдь или дотоле петербуржцам неизвестная вяленая вобла с Волги, когда она не оказывалась червивой. Происходили изредка и парадоксальные сюрпризы: так, например, случалось несколько раз не лакомиться, а просто питаться черной, зернистой или паюсной икрой, не всегда зная, на что ее намазать. Также редел сахарный песок и паллиативным ему дополнением служили выдаваемые в малых количествах сменявшие друг друга леденцы, повидла, декстрин или подобные нуги. Всё это именовалось «чаевое довольство», на Аденькином языке «удовольствие».

Из жизни города вспоминается начавшаяся прошлой осенью, но по счастью слишком далеко не зашедшая, кампания свержения неугодных властям уличных бронзовых и возведение в честь предшественников и деятелей Революции гипсовых памятников. Так, между прочим, исчез еще не «реабилитированный» Петр I в виде «царя-плотника», строившего баркас на невской набережной против восточного павильона Адмиралтейства⁷¹. Та же участь постигла, вряд ли к большому сожалению бабушки, стоявшую перед Мариинской больницей (ныне «имени Куйбышева») фигуру гонителя деда Стоюнина — принца П.Г. Ольденбургского, в энергичной позе, наверное в такой он отчеканивал деду: «Таких, как вы, надо вешать головой вниз!». На его пьедестале очутился выкрашенный под бронзу Володарский, однако очень скоро одна его нога рассыпалась трухой, обнажив одну из державших статую деревяшек, что придало недавно убитому вождю вид калеки, просящего милостыню. Тоже не повезло и трухлявым бюстам вызывающе глядевшего Лассаля на лестнице Городской думы, и — где-то недалеко — Герцена и Добролюбова. Последнему скульп-

тор придал также никак ему не свойственный, как говорил с возмущением отец, заносчивый вид.

Тогда же совершилась правильно надуманная историко-художественной комиссией, но плохо принятая широкой публикой разборка заслонявшей вид на западный фасад Зимнего дворца садовой ограды с богатой кованой решеткой «рококо 1900» на цоколе. Она нашла себе впоследствии новое применение где-то на окраине, а деревья сада последней царской семьи продолжают стоять на краю Адмиралтейского проезда и даже находят оправдание своему существованию в нашу пору «озеленения городов».

Новое появилось и в области, как говорилось, «знаков оплаты»: с ростом инфляции малые количества рублей стали эквивалентами исчезнувших копеек, роль которых перешла на выпущенные к весне, в замену банковских билетов с царскими портретами и в дополнение к керенкам, первые изданные Советами бумажки, окрещенные «ленинками»: размером около четырех на пять сантиметров и стоимостью, если не ошибаюсь, в один, три и пять рублей. Что же до хранимой и скрываемой обывателем золотой и серебряной монеты, то она стала предметом, кажется, не очень успешных для властей обысков.

Более памятна угроза другого рода обысков вслед за декретом о срочной сдаче населением, под страхом чуть что не расстрела, всякого рода оружия. Не желая никак услуживать правительству, мы, как и многие, предпочли отделаться другими путями от ставших опасными предметов. Кроме зарытого отцом в роще у Этюпа браунинга⁷², это были по большей части «военные трофеи» вроде австрийского тесака, спущенного в трубу вентилятора в нашем этаже (и уткнувшегося кончиком в вентилятор двумя этажами ниже) или немецких разрывных пуль, которые отец забросил, как бы забавляясь метаньем камушков, в пруд перед павловским Храмом дружбы. По неосторожности других, так же настроенных обывателей, разрывных пуль оказалось немало в городских садах, и было известно несколько случаев их разрыва в руках игравших с ними детей и подростков, между прочим двух учеников гимназии Шидловской, которые лишились нескольких пальцев. Рассказывая нам об этом, уже чувствовавший себя пианистом Митя Шостакович прибавил, что для него такое увечье было бы равносильно смерти.

Мы тогда общались с ним и с Мусей, заведя обыкновение ходить вместе с Шурой Шальниковым забавляться в их компании на пустыре против их дома 9 на Николаевской (ныне улица Марата) невинными играми вроде жмурок или горелок. Но скоро к нашей кучке присоединились враждебно настроенные против

нас, пришлецов, «туземцы» (между ними сын злополучного генерала Рененкампа), и пошли ссоры почти вплоть до рукопашной, на чем и прекратились наши хождения на Николаевскую.

Не безразличным для старшего поколения было известие о смерти, 5-го февраля, Василия Васильевича Розанова, завершившего свою жизнь у Троице-Сергиевой лавры. Он в свое время немало общался с отцом и его четыре дочери учились в бабушкиной гимназии. От одной из них, Веры, и пришла весть о его кончине с рассказом о его последних днях, в течение которых он был соборован. Наверно из ее же письма или писем до нас дошло сообщение о факте, ярко характеризующем сотканную из противоречий «с проблесками гениальности», по словам отца, натуру Розанова, который сам, как об этом где-то слышал Володя, заявлял, что он «у Бога чудачок», и в этом качестве предостерегал противников «не трогать Василия Васильевича». Так сказать, в обратном направлении, этот далеко не безобидный «чудачок», пожавший большую известность своими юдофобскими писаниями, должно быть, движимый мистическим страхом перед предстоящим за них ответом, собирался (если не ошибаюсь, по словам дочери) завещать иллюзорные авторские гонорары за посмертные издания своих литературных трудов организациям, пекущимся об еврейских детях. Таким же противоречивым оказалось и его отношение к бабушке: году в 1912-м он разразился на столбцах «Нового Времени» резкими нападками на ее гимназию (что, правда, не помешало ему просить, несколько недель спустя, принять в нее его младшую дочь)⁷³, в последние же дни жизни от него можно было слышать, что «Стоюнина — великая русская женщина». Помнятся еще разговоры о том, что смерть отца повергла Веру в такое отчаяние, что она покончила с собой. Слышал от кого-то, что одна из ее сестер, кажется, Надежда, пользовалась (наверно в годах 30-х — 50-х) известностью как книжный иллюстратор в области классической литературы⁷³.

1919 год отметился кризисом в религиозном сознании брата-богослова. Его можно характеризовать стихом Лонгфелло о морском отливе и приливе: «the lowest ebb is the turn of the tide». Уже с 16-го года у Володи было заметно нарастание скептического, даже насмешливого отношения к урокам Закона Божьего. Теперь же, когда в страстную среду вечером настоятель бывшей церкви Первой гимназии, сдружившийся с нами после похорон Маруси, о.Иоанн Слободской, которого наш отец величал по батюшке Павлиновичем, исповедовал у нас на дому членов семьи с несколькими гимназистками, Володя признался родителям и удрученной бабушке, что, потеряв веру и не желая лицемерить, говеть не

сможет. Последовал разговор наедине с отцом, после которого он пошел на исповедь, причастился и, конечно, был со всеми на пасхальной заутрене. Не знаю, в какой мере благодаря отеческим и пастырским напутствиям или, вернее, внутреннему процессу духовной жизни, уже к Пасхе следующего года в нем совершилось, поначалу оттененное известной долей романтизма, религиозное возрождение. Таким образом, можно утверждать, что с младенчества до смерти брат не провел года, а к концу жизни даже недели без принятия святых Тайн.

О новых распорядах, изменивших, кроме программы преподавания, ход жизни гимназии, не буду здесь распространяться, посоветовав читателю обратиться к рассказу о них бабушки в седьмом томе «Минувшего»⁷⁴. Здесь же вспомню об установившемся обычае школьных годовых спектаклей, даваемых не как раньше каждым классом отдельно, а в расширенном масштабе, объединенными усилиями учеников четырех старших классов и, главное, под опытным руководством профессиональных актеров. В этом году были поставлены «Ученые женщины» Мольера, с Володей, проявившим раз навсегда для школьных спектаклей сценический талант, — здесь в роли добродушного отца семейства, и Таней Пассек — младшей дочери Генеритты. Одним из почетных зрителей представления был Гляссер, и тут произошла, не без известного замешательства, его первая встреча с покинувшими его месяца три назад Мусей и Митей Шостаковичами.

Установилась также, на сей раз по счастливой инициативе (бывали же иногда и такие) властей практика даровых, вечерних и дневных представлений в государственных театрах с распределением билетов по школам для раздачи ученикам. Помнятся виденные таким образом за эту зиму и весну четыре представления. Из них два в Александрино: «Не все коту масленица» Островского с участием в роли свахи излюбленной девочками-подростками, теперь забытой писательницы Чарской, и «Женитьбу Фигаро» в прозе Бомарше с блестящим составом исполнителей: роли героя пьесы — Горин-Горайновым, Керубино — Ведринской, Розины — Стаховой, Альмавивы — кумиром девиц Вивьеном. Помню даже одну из них вскочившей за его автографом на сцену, и других, менее решительных, выстроившихся с той же целью или просто для созерцания в две шеренги на Театральной, ныне улице зодчего Росси, в ожидании выхода разгримировавшихся после представления артистов. Прибавлю, что на одном из антрактов меня весело окликнул оказавшийся в театре с группой «шидловцев» Олег Керенский. Не помню, удивило ли меня, что он еще не скрылся с горизонта, как отец, а, видимо, еще прожи-

вал вместе с матерью и братом уже не в Зимнем дворце, конечно, а наверное в неотдаленном от нас «доме с тупиком» на Загородном.

Видели и две оперы в Мариинском театре: «Орфея» Глюка с тенором Пиотровским и, главное «Евгения Онегина», на которого попали ученики не только моего, но и Володиного класса, в связи с чем встают весьма живописные воспоминания.

Начать с того, что мне, как и Шуре Шальникову, достался билет, приведший нас в бывшую «бабушкину ложу», что разбудило во мне приятное воспоминание о нашем в ней пребывании в качестве абонентов два года назад. Оно удвоилось, когда неожиданно для нас в ней появилась Таня Пассек, с другой Володиной товаркой, как будто не совсем к нему равнодушной Олей Ширяевой. Достался билет и брату, только не в ту же ложу, а на хорошо от нее видное место по другую сторону зала. Оттуда он наверное смотрел в нашу сторону не меньше, чем на сцену. Во всяком случае увидел с негодованием, как оказавшийся в непосредственном соседстве с двумя красивыми девицами «актершик» Животов расточал перед ними свои шармерские ресурсы, что их по всей видимости забавляло. Этого оказалось достаточно, и когда мы с Шурой встретили его, выходя из театра, он объявил нам, что во время поединка Ленского с Онегиным в нем созрело намерение вызвать дерзновенного Животова на дуэль. На каком оружии? Это обсуждалось на пути домой в «полупрозрачной тени» белой ночи на набережных Крюкова канала и Фонтанки. Вынесено было неясное решение раздобыть, хоть и неизвестно где, пару пригодных для дела шпаг.

Состоявшийся вызов на проблематический поединок Животов отклонил, найдя без труда разумные аргументы, после которых его было бы трудно обвинить в трусости. Инцидент сошел бы на нет, если бы Володя, получив от Оли Ширяевой альбом для написания чего-нибудь на память, не вернул ей его с нарисованными в сопровождении довольно прозрачных комментариев силуэтами двух фигур со скрещенными шпагами. Вскоре после чего в нашу комнату ворвались как две фурии обе подруги и, объявив, что поняли все намеки, осыпали не находившего ничего ответить в свое оправдание Володю упреками в смехотворном безрассудстве. После чего мы долго бродили по берегам Фонтанки, конечно, в обществе Шуры Шальникова, с которым мы созерцали стоявшего на нижней ступени спускавшейся к воде гранитной лестницы новоявленного Гамлета, размышлявшего на тему «быть или не быть». К вечеру эта проблема приняла новую форму. Прежде чем лечь спать, Володя поднял как бокал чернильницу с крас-

ными чернилами и, провозгласив по примеру Сальери «Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы», опорожнил ее и в виде закуски проглотил один или два кружка зеленой акварельной краски. Не знаю, какой недуг одолевал его ночью, потому что пробудился только на каких-нибудь две секунды от разговоров суетившегося у его постели старшего поколения. Наутро Володя в гимназию не спустился, а мы с Шурой не преминули разболтать шестиклассникам о его вечернем подвиге, не распространяясь о причине, к великому волнению обеих невольных «виновниц» прошедшего.

С весенними месяцами связывается не слишком отрадное воспоминание о поездках с родителями в соседний с Павловском поселок, кажется, Глазово, где какая-то учительская организация сняла и разделила на участки большой огород, на котором до Революции некий Мячкин разводил землянику для петербуржцев. Нашим же делом была посадка на отведенных нам грядках овощей, главным образом картошки — для сбора осенью, после ухода за нашей плантацией летом.

Из-за нужд огорода, никак не перечивших родительскому обычаю проводить каникулы там же, где и в прошлые года, на лето 19-го была заблаговременно снята та же дача у Шефов в Этюпе. Только переезду туда около 1-го июня помешало одно сильно всех встревожившее обстоятельство. С появлением сырых овощей стала свирепствовать эпидемия дизентерии, и Андрюша, на исходе второго года, заразился и долго болел ею, что позволило нам перебраться в Этюп только с двух или трехнедельным запозданием. Первыми поселились на даче отец и наше поколение с няней. Вскоре к нам присоединился кузен Андрюша Титов, к началу или середине июля приехала мать, а к концу — бабушка, всего недели на две. Зажили уже совсем не по-барски, как еще в прошлом году: без прислуги и кухарки, занятой не прекращавшимися, начиная с этого лета, полуденными завтраками в гимназии. Помню, что до приезда матери дневную и вечернюю еду часто приходилось варить отцу на появившемся в нашем быту примусе. Приходилось также участвовать, во исполнение декретов, в ночных дежурствах на дороге перед дачами. Случилось даже раз провести бессонную ночь со всюю деревней, когда с участием или без участия поджигателей горел ее первый двор и от него летели на соседние дворы, вплоть до нашего, искры и головни, которые надо было тушить.

Обрушилось несчастье и на нашу семью: в свою очередь схватил дизентерию Андрюша Титов. Его пришлось перевезти в Петербург, в больницу, где он вскоре умер.

Принимали все же и этим летом гостей из Петербурга. Также раза два-три приходил из Царского Села Гляссер, уже окончательно переселявшийся с женою с Владимирского проспекта в дом своего друга, бывшего фортепьянного фабриканта Дидерихса, дом, которому предстояло вскоре превратиться в «детскосельскую» музыкальную школу под его управлением.

Павловский парк (где запретная тропа через лужайку мимо Храма дружбы успела превратиться в широко протоптанную дорогу), конечно, продолжал нас привлекать, но прогулки по нему сократились из-за отсутствия велосипеда, который мы из опасения обысков-реквизиций, разобрали по частям, расовав их по разным углам квартиры и чердака.

Дворца не посещали, хотя там и происходили (кажется, уже этим, а не следующим летом) занятия «Семинария по изучению Павловска», основанного В.Я. Курбатовым и И.М. Гревсом. Должно быть по инициативе последнего, было предложено и отцу вести там беседы о философии века Просвещения, но он это приглашение отклонил, должно быть сознавая, что они были бы слишком «сбоку-припеку» в этом эфемерном искусствоведческом институте.

На симфонических концертах в Павловском вокзале побывали только мы с братом и всего раза два: первый, с Бетховеном на программе, под управлением сменившего Малько Г.Фительберга, второй — с появлением у пульта будущего директора-основателя Государственной Филармонии Эмиля Купера.

Должно быть в августе, распространилась весть об аресте Князькова. Он попал, как говорилось, в «западню» на квартире тогда известного кадетского деятеля, Вильгельма, кажется, Ивановича Штейнингера. На ней, как мы узнали позже, собиралось периодически какое-то негласное общество, предполагаю, что масонская ложа. Условным знаком, что очередному сеансу ничего не угрожает, была полуспущенная на одном из обращенных к улице окон. Говорили, что одной из первых реакций Штейнингера, когда к нему вломились чекисты, была попытка поднять занавеску, что было ими замечено и запрещено. Таким образом, все приходившие на собрание попались им в лапы. Их было человек десять, если не больше, из которых мне запомнились только имена Князькова и брата Вильгельма, Килиана Штейнингера.

Скоро мы узнали, что приблизительно в день этой облавы приходили чекисты и на нашу квартиру за отцом, и на ответ, что

он был на даче, их набольший повторил эти слова с презрительной интонацией, как бы издеваясь над еще не отвыкшими от буржуазных привычек интеллигентами. По счастью, сыскной аппарат в то время не был достаточно налажен, чтобы дело перешло в павловский комиссариат. Благодаря этому, отцу не пришлось разделить судьбу Штейнингеров и Князькова.

Первый триместр нового учебного года — в седьмом, выпускном классе для брата, в пятом для меня с Шальниковым — прошел в значительной мере под знаком усиливавшихся правительственного террора и голода.

Местом заключения членов штейнингерского кружка была смежная по Шпалерной улице с развалиной Окружного суда тюрьма, где политические арестанты содержались вместе с уголовными преступниками. Не помню, удалось ли бабушке осуществить свое намерение встретиться с Максимом Горьким, чтобы просить его походатайствовать за Князькова перед властями, с заведомо слабыми шансами на успех. Гимназия и друзья С.А. завели обычай передачи ему продовольственных посылок (довелось раз постоять в очереди на тюремном дворе и мне), но довольно скоро хождения на Шпалерную прекратились по причине расстрела нашего учителя и его товарищей по аресту.

Находившуюся в квартире Князькова библиотеку с небольшим архивом усилиями учеников удалось в спешном порядке, упреждая реквизицию, перенести в гимназию, в бывший «класс языков» на нашем этаже⁷⁵. Там ее разбором занялась с помощью нескольких учениц Мария Алексеевна Умова, преемница А.М. Петрункевич не только в должности учительницы истории, но и в качестве дамы сердца, и более того: невесты Сергея Александровича.

Возвращаясь к волне террора, вспомню проживавшего с женою около двух последних лет на шестом этаже, против детского сада, адвоката Корбэ, с которым у нас близкого общения почему-то не завязывалось. Как-то раз Володя и я, возвращаясь откуда-то вместе с бабушкой, начали подниматься по лестнице, потому что пускать в ход, правда уже приходящий в негодность лифт, даже для бабушки бывший швейцар Антон Матвеевич себе в обязанность больше не вменял. На междуэтажной площадке появился спускавшийся с лестницы Корбэ, сопровождаемый двумя вооруженными чекистами. Поравнявшись с ним, бабушка бросила на него многозначительный взгляд с явным намерением выра-

зять ему свое соболезнование. На что один из чекистов реагировал по-своему, крикнув что-то, приставя свой револьвер к ее виску, и опустил руку, только вняв отчаянной мольбе арестованного «оставить в покое старуху». Потом бабушка говорила, что возникшее в ней чувство внезапно надвинувшейся непредотвратимой гибели вызвало поднышающую к затылку волну холода. Вскоре увели и жену Корбэ, а через несколько дней после того все стало ясным, когда пришли чиновники опечатывать их квартиру.

Вспоминаю еще, как мы шли по улице с отцом и с нами поравнялись допотопная полицейская карета с решетчатым окном на задней стенке и идущие за ней два милиционера с винтовками. За окном же была видна фигура арестанта, державшегося за решетку и уныло глядящего перед собой, как бы прощаясь с внешним, сравнительно «вольным» миром. Помню лицо явно сокрушенного этим зрелищем отца, переживавшего соболезнование к узнику или «смертнику», и, наверно, чувство тяготеющей над ним самой угрозы подобной участи.

По этому поводу вспомню, что, если не у самого отца, то за него у матери появилось желание избежать этой угрозы путем тайного перехода через финляндскую границу, как он делался некоторыми интеллигентами, с великим риском для себя и для оставленной семьи. Помню ее рассказ об одном случае удачного разрешения этой проблемы: жена перебежчика пошла в городской морг, в камеру «неопознанных трупов», и, выбрав и «опознав» один из них, заявила властям о смерти мужа и похоронила его заместителя.

Было в октябре и краткое чаяние коренной перемены положения, когда армия Юденича подступила вплотную к Петербургу, заняв его юго-западные окрестности. Помнится перегородившая Чернышевскую, ныне площадь Ломоносова, баррикада из дров, свидетельствовавшая о том, что красная армия готовилась отстоять красный Питер квартал за кварталом. Не берусь судить о том, в какой мере делу обороны содействовало «трудовое население», которое девять лет спустя художник Александр Дейнека прославлял на своей, ставшей козырем советской живописи картине «Защита Петрограда». Во всяком случае, меньше чем в 1941-44 годах жители осажденного фашистами Ленинграда.

Дома родители волновались за Володю, полагая, что принадлежа к категории 16-летних юношей, ходивших с начала года на допризывные строевые упражнения на Семеновском плаце, он окажется мобилизованным. Обращались даже к знакомому военному врачу за советом, как поступить, чтобы, учитывая его небольшой сердечный порок, он бы мог быть зачислен в санитарные

части, но с отступлением на запад армии Юденича до дополнительных призывов дело не дошло.

Во время белой оккупации, как рассказывал после нее Глясер, Дидерихс принял в свой дом с распростертыми объятиями нескольких офицеров добровольческой армии, которые принесли с собой в благодарность мясные консервы, что по тому времени почиталось за манну небесную. Однако в конечном счете это обошлось ему дорого: восемью или девятью месяцами советской тюрьмы.

Иначе ощущалось присутствие белой армии в семье скончавшегося за год перед тем о.Стефана Фокко, потому что его сын Борис, мой сверстник, служил в железнодорожной милиции и, не успев эвакуироваться с соратниками, должен был прятаться дома, опасаясь быть выданным оккупантам доносчиками, каких наверно уже оказалось достаточно.

Лет пятнадцать спустя, в Лондоне и Париже, сбежавшая с Соловков бывшая хранительница петергофских дворцов Т.Сапожникова рассказывала об одном происшествии анекдотического порядка, которому пора войти в «малую историю» российского Версаля. Увидев в соседстве с Большим каскадом мраморное погрудное изображение бородатого божества, должно быть Нептуна, и решив, что это бюст Карла Маркса, солдаты-белогвардейцы сочли своим патриотическим долгом сбросить его в море с пристани Монплезира. После ухода оккупантов, Сапожникова не замедлила начать хлопоты о возвращении на свое место скульптурного украшения парка перед местными властями, которые проявили полное безразличие к этому делу. Наконец ей пришла в голову мысль подать рапорт о возмутительном поступке белогвардейских захватчиков с бюстом Карла Маркса, после чего в самом скором времени изображение Нептуна было извлечено из неглубокого у берега моря посланными на место преступления красноармейцами. Однако дело этим не кончилось. Благонамеренные власти решили, что памятнику Карла Маркса подобает не стоять мало заметным среди садовых скульптур, а красоваться на одной из городских площадей, и понадобился новый рапорт хранительницы дворцов верноподанным комиссарам, чтобы бородатое божество вернулось на предназначенное ему место у Большого каскада. Если бы о происшедшем рассказывала не она, всю эту эпопею можно было бы причислить к разряду забавных вымыслов.

Что же до продовольственных проблем, напомним о нашем огороде под Павловском, куда мы ездили несколько раз в сентябре собирать и отвозить в рюкзаках домой плоды наших трудов,

количество которых весьма мало оправдывало затраченные на них время и силы.

Ничего хорошего, конечно, не скажешь об общем пищевом снабжении с увеличившимися хвостами перед бывшими булочными и, неизвестно почему так называвшимися, «кооперативами» для получения по карточкам «восьмушки» (около 250 гр.) хлеба на человека и других съестных, уже больше не «припасов». Не знаю, что из всего этого заметил приехавший посмотреть на Россию и достижения выведшего ее из жалкого дореволюционного существования советского режима английский Жюль Верн Герберт Джордж Уэллс. Много говорили о данном ему Наркомпросом банкете с приглашенными на него, одевшимися как могли приличнее отечественными литераторами. Ходила по рукам копия с русского оригинала письма, которое (якобы) вручил британскому собрату Амфитеатров. Оно раскрывало ему драматическую действительность жизни русской интеллигенции и, между прочим, приглашало его снять мысленно с воззрившихся на давно ими невиданную снедь застольников сюртуки и жилеты, чтобы увидеть их заплатанные или дырявые рубашки. Не пойму только, как мог Амфитеатров решиться на такой неосторожный, угрожавший ему тюрьмою жест.

Уэллс привез с собой двух сыновей, которым была устроена встреча и игра в футбол, должно быть на дворе б.Тенишевского училища, со школьниками их возраста, которым они говорили «товарич». Об этом мне рассказывал Юра Губель — один из перешедших в школу на Моховой однокашников по гимназии Шидловской, распущенной в конце прошлого учебного года. Отмечу по этому поводу, что, если память меня не обманывает, принадлежавший к их числу Митя Шостакович поступил именно осенью 19-го, а не 20-го года в бабушкину гимназию, где давно учились, как уже было не раз сказано, его обе сестры.

Также, если не путаю, к концу этого или к началу следующего года произошла значительная перемена на продовольственном плане. Началось с того, что категории обывателей, к которой принадлежал преподавательский персонал высших учебных заведений, предстояло лишение большинства пищевых карточек, то есть обречение трудно сказать на какую участь. Помню, как по этому поводу отец прочел вслух из «Правды» или «Известий» и подлые стишки какого-то подхалима, пародирующие распространенную в 10-х годах простонародную песенку о новобранце, прощающемся с друзьями: «Последний нынешний денечек», за чем следовала фигура «профессора кислых шей», варящего в послед-

ний раз свою кашу, прежде чем — как только и оставалось заключить — перейти к ожиданию голодной смерти.

Не знаю, во что бы это нововведение вылилось, если бы Максим Горький, пребывавший в это время в первом периоде милости у советской власти, не совершил украшающего его память дела для русского просвещенного мира: основание ныне здравствующего Дома Ученых, разместившегося во дворце вел.кн. Владимира Александровича, выходящего парадным двором на Миллионную, ныне улицу Халтурина, и фасадом в стиле флорентийского Palazzo Strozzi на Дворцовую набережную. Главной и самой ценной функцией этого учреждения за первые годы его существования было распределение между семьями научных работников дополнительных продовольственных пайков: раз в неделю, с нашим чередом по четвергам. Года полтора спустя, право на это пособие было признано и за бабушкой.

В жизни гимназии 1919/20-й учебный год, и только он, прошел под знаком сожительства со вселенными в нее, должно быть главным образом из-за недостатка топлива, двумя другими училищами. Приходилось предоставлять помещение после трех часов бывшей женской, принявшей много мальчиков гимназии Лохвицкой-Скалон, а часам к семи вечера — какой-то начальной школе для детей из малообразованных семей, может быть, даже самих работавших днем на фабрике. Из чего можно заключить, что на третий год революции до слияния классов общества в стенах «единых трудовых школ» дело еще далеко не дошло. Посмею ли прибавить «по счастью для сохранившего свой культурный уровень класса интеллигенции»?

Это можно было достаточно ясно ощутить, когда большое количество зрителей «трудового» типа оказалось в зале Малого, ныне Большого драматического театра имени Максима Горького на Фонтанке, на представлении для школьников «Сверчка на печи» Диккенса в исполнении появившейся на небольшое время в Петербурге труппы Московского Художественного театра с Хмарой среди актеров, — других имен не помню. Если нам, гимназистам, появление на берегах Невы спутников Станиславского, завоевавших симпатии культурного мира, было своего рода откровением, то присутствующим на спектакле представителям «народных масс» оно ничего не говорило, и с их стороны чувствовалась непонятно чем вызванное враждебное, издевательское настроение. Достаточно вспомнить вышедшего до открытия занавеса к рампе артиста, начавшего после не слишком поспешного водворения тишины пролог о чайнике, заведшем песню минуты, скажем, на три до вступления в нее сверчка, прерванного замечанием какого-то

выражавшего в этом сомнения холуя. На что артист, не меняя добродушного тона своего монолога, как бы охотно согласившись с непрошенным собеседником, сделал ему уступку: «ну, через четыре-пять минут».

Вспомню еще об одном «откровении» культурного порядка, которое принесло посещение старшими классами богатой галереи западной живописи во «дворце-музее» Юсуповых на Мойке: ведь до вновь-открытия Эрмитажа оставался еще год.

В деятельности отца 19-й год отметился выходом в свет в Петербурге книги «Основные вопросы гносеологии» и в Лондоне английского перевода «Обоснования интуитивизма» (1906): «The Intuitive Basis of Knowledge». Также университетскими курсами: о той же гносеологии и о типах мировоззрений с введением в метафизику, чем как бы выделялся пройденный им путь от теории знания к спиритуалистическому миропониманию.

ДВАДЦАТЫЙ ГОД

К этой главе подошли бы в качестве эпитафии уже цитированные выше слова Лонгфелло о переходе от отлива к приливу: «the lowest ebb is the turn of the tide», потому что условия жизни зимой двадцатого года спустились на самое дно — до начала их очень медленного улучшения с лета.

На улицах к тому времени перестали зажигаться последние газовые фонари и, должно быть из опасения грабежей, заперлись двери многих подъездов, — кроме нашего, поелику он был и гимназическим. Таким образом, многие парадные лестницы уступили свою роль черным, выходящим на двор или в подворотню, куда у прохожих завелось обыкновение ходить как в общественную уборную. Тоже лучше не вспоминать об уборных в квартирах, когда вода в трубах не поднималась выше средних этажей. Отопление, как гимназии, так и наше, свелось на три-четыре комнаты обиталица собственноручно напиленными и наколотыми на дворе березовыми и осиновыми дровами. Их хватало только на то, чтобы температура в классах и комнатах, в зависимости от температуры на улице и количества раздобывавшегося топлива, поднималась в лучшем случае до десяти, в среднем до шести, а иногда спускалась до трех градусов Цельсия. В этих условиях приходилось часто не вылезать даже дома из пальто, а на внешней стороне пальцев образовывались раны, которые за неимением лучшего русского слова, назывались, кажется, не только в нашей семье, «анжелюрами». Напомню, что уже с прошлой зимы топились не

кафельные печи, а жестяные «временки», прозывавшиеся также «буржуйками» и годившиеся для варки пищи. Что же до последней, то главным, что единственным блюдом на обед и ужин была пшенная каша, к которой, конечно, ни в какой мере не была применима поговорка «кашу маслом не испортишь». Кашу иногда заменяла картошка или сопровождал суп из картофельной шелухи. Как-то раз или два случалось насыщаться «дурандой», в просторечии жмыхами для корма скота. Хлеб был сухой и горьковатый от заметного в нем присутствия мякины или, не знаю, в силу чего, вязкий как глина. Не помню точно, какова была его порция на день, но вспоминаю о вечере, когда двухлетний Андрей, перед сном повторяя за отцом молитву Господню, когда дошло до «хлеба насущного», обернулся к нему со словами «а сегодня хлеба не было».

Чтобы избавиться хоть на время и по крайней мере меня с братом от житья впроголодь, послал нас недели на три в провинцию, родители списались с тетей Викторией Онуфриевной Троицкой, проживавшей с семьей в Мстиславле (Могилевской губ.), где ее муж был ветеринаром. Для этого понадобилось недели две хождения по дюжине инстанций для получения, на основании медицинского свидетельства о необходимости перемены мест, права на железнодорожный билет и путешествие с ним в предварительно указанном поезде. И все же, когда после долгого стояния в хвосте мы дошли до последнего контроля вороха документов перед выходом на перрон Царскосельского вокзала, где в нужном нам поезде пассажиры уже начинали заполнять стоя площадки, оказалось, что какая-то формальность не была должным образом выполнена, и нам в путешествии было отказано. Наше отчаяние перешло по приходе домой в раздражение на радость бабушки, мудро рассудившей, что ночь, проведенная стоя на площадке неопленного вагона, при внешней температуре, спустившейся ниже тридцати градусов, угрожала нам по меньшей мере отморожением ног. Да и долгий перерыв в классных занятиях ничего хорошего обещать не мог.

Сожительство двух гимназий, нашей и Лохвицкой, выражавшееся между прочим во встречах уходящих и приходящих в три часа учениц и учеников одной и другой, оказалось не вполне удачным. Началось с довольно безобидных разговоров о школьных порядках и учителях, но не обошлось без юмористических замечаний по адресу одного из них, преподававшего и там и там, претенциозного и самовлюбленного социолога Гонтаева, а также их суетливой начальницы, которая в самом скором времени пришла жаловаться бабушке на все, о чем ей рассказали их «честные маль-

чики», взявшие на себя благородную роль доносчиков. Результатом было какое-то мероприятие с обоюдного согласия, должно быть, перемена в расписаниях уроков, благодаря которой «междушкольные» встречи больше места не имели.

Что же до сценок из жизни вечерней народной школы, то вспоминается, например, «шкетик» (на языке того времени) лет десяти, залезший на найденную где-то поблизости стремянку, чтобы демонтировать со стены одной из площадок лестницы арматуру освещавшей ее дополнительно лампочки, и прекративший свое занятие только на бабушкин энергичный окрик.

Было еще одно постороннее вторжение в стены гимназии: ее нижнему залу довелось служить местом собраний учрежденного в 18-м году «Домового комитета бедноты» для обсуждения, под председательством далеко не бедного слесаря Ионова, вопросов жилищного порядка. К 20-му году доступ к нему был дан и представителям «буржуазного» населения дома. Из нашей семьи на его собрания спускались только мы с братом, находя даже развлечение в соприкосновении с зощенковским домашним фольклором.

На нашей же матери, в ее роли бабушкиной ближайшей сотрудницы, лежала докучная повинность регулярного посещения собраний представителей школ в Наркомпросе для получения беспорядочных правительственных инструкций. Также приходилось и ученикам (в начале 20-х годов в подавляющем количестве ученицам) собираться от времени до времени в большом зале для выслушивания присланных властями более или менее образованных агитаторов, по общему стилю времени начинавших свои речи словами «Когда 25-го октября...» и сопровождавших их отбиванием такта (вроде как бы вбиванием в голову гвоздей) проблематически «мозолистой рукой».

Особенно запомнилось, хоть это и звучит нелепо, несостоявшееся выступление какого-то квалифицированного представителя комсомола. Накануне у него был об этом телефонный разговор с бабушкой, как будто из конца в конец обоюдо-корректный, но не приведший к соглашению о часе собрания, потому что бабушка категорически воспротивилась тому, чтобы оно произошло во время присутствия гимназии Лохвицкой, во избежание новых инцидентов. Этот хорошо обоснованный и ясно мотивированный отказ страшно раздосадовал организаторшу проектировавшегося сеанса, ученицу шестого класса Бравую, которая созвала сходку старших классов, долженствовавшую вылиться в своего рода «митинг протеста». За ее раздраженным сообщением о том, как в ответ «мило с нею разговаривавшему» оратору М.Н. «не со-

изволила позволить» собрание в гимназии, последовали и другие неприязненные выпады против бабушки, после которых Володя, заявив себя лично оскорбленным, направился демонстративно к выходу из зала. К нему присоединились товарки-одноклассницы, за ними последовали и ученицы других классов, а оставленная почти в одиночестве организаторша митинга сочла разумным принести бабушке свои извинения.

Все это достаточно ясно свидетельствует о том, как мало проникал в гимназическую среду насаждавшийся властями официальный менталитет. За все наше время «коммунистических ячеек» в ней составить было не из кого, даже в классе, где ратовала Бравая, хотя там и были ее единомышленницы вроде ученицы Франк-фуртер, заявившей учителю географии, употребившему слово «Россия», что такой страны больше не существует. Появился в том же классе, но довольно скоро исчез, не видя никакой пользы в учении, единственный парнишка, Остапкович, сын и помощник парикмахера на Загородном. От него Володе случилось слышать категорическое заявление о неуместности всякой критики «существующей власти». А через некоторое время после его исхода, когда ученики и учителя кончали скудный завтрак в «нижнем» зале, там появился и он в сопровождении трех или четырех парнишек. Один из них встал на страже у входной двери, чтобы не выпускать никого из зала. Другой объявил о их намерении завербовать всех в какое-то новооснованное общество мало определенного просветительного характера, перед которым «он должен был дать отчет» о своей деятельности рекрутировщика. Третий спутник Остапковича достаточно хорошо свидетельствовал о культурном уровне общества, называя себя «рататáрщиком»⁷⁶. Кроме насмешек, эти просветители, разумеется, ничего не встретили и ушли, не завербовав ни одного охотника к ним присоединиться.

В Володином классе «новые идеи» старалась насаждать Лида (если не ошибаюсь) Тагер, дочь довольно видного врача. Она хорошо справлялась на сцене с главными ролями и явным образом стремилась играть их и в жизни гимназической общины. В 19-м году она картинно выступала за всех перед приходившими извне пропагандистами в качестве оппонента-обвинителя, в 20-м же надумала призывать всех на службу «общему делу». Часто к ней присоединялся вынырнувший откуда-то Сама Крыжанский, с которым мы когда-то были в детском саду. И он и она разъезжали по городу на извозчиках, что тогда было явлением исключительно редким. Как-то раз, реагируя на одно из ее выступлений, классная воспитательница (последняя из суровых лесгафтичек в ба-

бушкиной гимназии) Серафима Васильевна Теренина напомнила по какому-то поводу, что года четыре назад ей случилось «поймать за руку» шарившую в раздевалке по карманам пальто ученицу. Лет десять спустя, в Праге, бабушка назвала нам имя этой предприимчивой особы...

В моем же классе комсомол был представлен (опять не помню имени) Цимберг, которая умилялась на Юлиана Отступника, взяла под свою защиту Иоанна Грозного на посвященном ему своего рода диспуте на уроке русской истории, а на уроке всеобщей истории провозгласила Магомета предтечей коммунизма. Недаром год спустя, после опроса ее по логике, у отца сложилось мнение, что у нее «кашеобразная голова». Однако был у нее и здравый смысл, чтобы не пускаться слишком настойчиво в обреченную на фиаско политическую агитацию. Ею хотелось бы заняться другой однокласснице, Тамаре Груздовой, говорившей Ирине Троицкой (внучке Римского-Корсакова) «я тебя распропагандирую!», но не знавшей, как к этому делу приступить за полным отсутствием ума. Возвращусь к Цимберг, чтобы признать за ней качества безобидной товарки и небезынтересной собеседницы на литературные и другие неполитические темы.

Годовая вечеринка осуществилась под талантливым руководством бывшей бабушкиной ученицы Бругер, по мужу или театральному псевдониму Волотовой, сформировавшейся в труппе Гайдебурова. По ее удачной инициативе нашла свое исполнение сцена из «Некуда» Лескова, в которой Лиде Тагер досталась роль молодой монашки, рассказывавшей двум девицам-институткам о приведшей ее к покаянному постригу смерти мужа. За ней следовала известная пьеска Крылова «Урок дочкам», — которых играли Оля Ширяева и Нина Гузарчик, отца их изображал Володя, субретку Дашу Таня Пассек, казачка Сидорку — я, а няню Василису — созданная для юмористической сцены Женя Виленкина, о которой будет речь ниже. Потом исполнялся в лицах, под пение Чоглокова, пошловатый романс начала 10-х годов, «Шли по улице Мадрида три красавицы небес», т.е. те же Оля, Нина и Таня. В заключение же прошла с особым успехом хореографическая пантомима на тему «Восемь девок, один я», собственно говоря тоже «девка», переодетая парнем.

Из нашего домашнего, как уже было сказано, остуженного и голодноватого существования вспоминаю, что все же пшенной каши как-то хватало и на приходивших просто «на огонек», как водилось в дореволюционное время, неожиданных сотрапезников. Среди них вспоминаю уже названного о.Иоанна Слободского, в котором отец ценил высокую литературную культуру, как пе-

реводчика сатирических, применимых к новым временам эпиграмм Марциала, как поэта, автора «Венца сонетов» во славу Богородицы, начальные стихи которых исходили из общей, объединявшей их «Магистральной». Приходила давно нам близкая Ася Афанасьева, служившая тогда в каком-то из комиссариатов, где очередным предметом ее страстных увлечений был доктор с чешской фамилией Матоушек.

Особая же симпатия нашей семьи уделялась Аскольдову-Алексееву, явно отягощенному заботами о детях. Раз он говорил о своей дочке Саше (тогда лет двенадцати), лечившейся от чего-то в больнице, упомянув, что даже по «свежему» белью бегали паразиты. Одно из ее отчаянных писем кончалось словами «я больше не могу». Рассказывая это, Сергей Алексеевич якобы зачем-то обернулся и, как заметила бабушка, утер навернувшиеся на глаза слезы. Помнится тоже, что, говоря о практической стороне их домашнего быта, он признался, что ему не хватает терпения подшивать на живую нитку (как тогда делалось в России) выстиранные верхние простыни к одеялам. Или об отоплении: должно быть, чтобы приносить домой дрова, его сын Вова попытался было наняться грузчиком на привозившие их баржи, но получил ответ «нам нежилых не надо». В это время деятельность С.А. было преподавание философских предметов в старших классах средних школ и ведение курса в Университете. По этому поводу вспоминаются отголоски рассказов, что лекции он читал как бы засыпая, на что отец замечал, что свойством его друга было выражать свои мысли, как бы погружаясь в них (прибавлю, что наверно откинув, как он часто это делал, голову) и почти забывая о собеседнике или, как в данном случае, об аудитории⁷⁷.

Что же до ученой деятельности отца, то кроме объявленного осенью университетского курса с введением в метафизику и выхода в свет «Сборника задач по логике», она ознаменовалась публичным выступлением на тему «Бог в системе органического миропонимания», которое нашло себе отклик даже в художественной литературе среди «Коротких рассказов» Юрия Тынянова⁷⁸. С ним также связаны имени двух корифеев литературы: Александра Блока и, главным образом, Андрея Белого. О последнем известно, что, покинув Москву в феврале 20-го года, он поселился в «Доме Искусств», среди его обитателей — художников и литераторов, прозванных «обдисками». Целью его оказавшегося недолгим пребывания на берегах Невы было создание Вольной философской Ассоциации, которую он характеризовал в своих воспоминаниях как «большое культурное дело... ассоциация людей, связанных в искании новой *Культуры* (мысли, общественности,

искусства)»⁷⁹. Полагаю, что поставив основанное им общество под знамя философии, Белый счел самым уместным привлечь к его деятельности отца, попросив его прочитать в нем скорее самую первую, чем одну из первых публичных лекций. Во всяком случае, помнится, что шли мы на нее вместе с родителями и Шальниковым как будто еще по заснеженным улицам, то есть никак не позже марта месяца.

«Домом Искусств» в наше время было большое здание дворцового типа с закругленным углом, на Невском у Полицейского моста, возведенное в 1760-х годах в стиле раннего классицизма Вален-Деламота для полицмейстера Чичерина и перестроенное внутри, век спустя, для семьи приобретшего его основателя и владельца знаменитых и поныне в обеих столицах «магазинов Елисеева»⁸⁰. К этому времени относится его большой зал с живописным плафоном, изображающим танцующие пары в костюмах разных эпох, и по углам — с четырьмя одетыми в хрусталь торшерами. На один из них, стоявший близко от председательского стола, я вскарабкался примерно на полметра, чтобы лучше смотреть через плечи уже заполнивших зал стоящих (за исключением свободных сидячих мест) слушателей. Помню, что какой-то стоявший рядом интеллигент с черной бородкой буркнул мне недружелюбно: «провалитесь вы с треском!» Но я не свалился и устремил все внимание на садящегося за стол рядом с отцом Андрея Белого в черной ермолке вроде татарской тубетейки, которому недоедание, и как теперь явствует из его воспоминаний, тоскливые личные переживания, придавали аскетический вид.

Продолжу рассказываемое вперемежку с необычно живым и метким, хоть и не всегда точным повествованием Тынянова, начало которого как-то весело воскрешает передо мною образ отца, приступающего к чтению лекции: «В Доме искусств профессор Н.О. Лосский положил на стол часы, беспредметно улыбнулся и прочел лекцию о Боге как системе органического целого». Из чего по крайней мере явствует, что книга «Мир как органическое целое» была в ту пору достаточно известна, чтобы о ней помнил Тынянов, писавший свой рассказ лет через пять-десять после лекции отца.

В перерыве, желавшие взять слово подходили к председателю, заносившему их имена на список, по которому им давалось слово во второй части сеанса. Первым оппонентом выступил некий молодой, элегантно по времени выглядевший Штейн, и, блистая мудреными философскими терминами, пришел к заключению, что кроме недоумения у такого, как он, мыслящего человека лекция вызвать ничего не могла. Затем выразил свое недоумение

и другой слушатель, кажется, инженер: как возможно, чтобы «царь философии» опустился до обскурантизма? Потом литературовед Иванов-Разумник (с которым мы еще знакомы не были), встав на позицию не то байроновского героя, не то Ивана Карамазова, высказался в направлении не отрицания Бога, а его неприятия в случае, если бы он захотел низойти на него, не спросивши на то предварительного разрешения. Не помню позабавившего Тынянова «толстого и белого» толстовца, который «признался, что Бог для него любовь». Зато позабавил нас всех, как и его, официозный идеологический агитатор, доктор Шапиро, у которого недоумение переходило в негодование: как же, ведь он пришел слушать лекцию о Боге в системе «материалистического» миропонимания и что же услышал? Но тут же услышал от слушателей поправку: «органического», конечно, не дошедшую до его явно посредственного понимания, и пошел нести ерунду, вроде «что же до пресловутой любви к ближнему, разве вы проявите ее, смотря на волка, попавшего под поезд?» Следом за этим и подобными высказываниями по залу стали пробегать волны смеха, что привело незадачливого оратора к печальному заключительному заявлению, смысл которого был: «Товарищи, я говорил во многих собраниях и еще нигде меня не держали за дурака». Знаю, что моя формулировка его сетования грешит карикатурностью, приближаясь к духу рассказа Тынянова о том же докторе Шапиро и о сменившем его оппоненте, о котором скажу свое слово потом:

«Встал маленький старик, покрытый, как власяницей, огромным башлыком. Он был в форме военного врача и дрожал как ребенок. Он крикнул, повернувшись к залу: Товарищи! Дряхлым деревянным голосом семидесятих годов старик закричал о Бюхнере. Тотчас начался скандал. Осыпаясь свистом и хлопками, как листьями, квадратный как идол, старик моргал плотными веками и с мужеством, все реже и реже, кричал. Его детский башлык был обшит позументом. Тогда-то и послышался крик, тонкий и женственный. Повиснув на шпингалете, плавая одною рукою по воздуху, человек просил слова, жалобно и громко. Фамилию! — Пискаревский — кричал человек. — Как? — Пискаревский! Он раскачивался в воздухе над толпой, то нырял, то опять показывался. — Товарищи, — крикнул он певуче, — я сам был социал-демократом... Он нырнул. Ему тихонько свистнули, и сразу многие зашумели, требуя соблюдения тишины. Пискаревский выплыл. — Товарищи! — протяжно и быстро прокричал он. — Когда-то я и сам был... — Долой! — сказал кто-то нерешительно. Ему закричали: — Безобразие! Быстро вращаясь вокруг своей оси шпингалета, Пискаревский колебался. — Я тоже был социал-

демократом, — прокричал он в последний раз и поник. Он нырнул и исчез навсегда. Его более не было. Профессор Н.О. Лосский, забытый всеми,пил воду».

Заявлю прежде всего, что до такой бурной степени возбуждения атмосфера диспута не дошла. Она, по всей видимости, была нужна Тынянову для динамики его повествования, для лучшего контраста с его заключением, как нужны композитору *crescendo* и *diminuendo*. В более конкретном порядке замечу, что общепринятая в пору творчества Тынянова форма обращения лектора или оратора к слушателями словом «товарищи» не нашла еще в те годы употребления среди интеллигентной публики. На собрании в Доме Искусств я это слово слышал только из уст комичного доктора Шапира и никак не от сменившего его кандидата на выступление. Своею фамилию произнес не он сам, а давший ему по списку слово Андрей Белый, причем бьюсь об заклад, что она мне в память запала вернее, чем Тынянову: не Пискаревский, а Пигулевский. Тоже хорошо помню небольшую и довольно тщедушную фигурку повисшего на шпингалете симпатичного полячка. Свое обращение к собравшимся он начал, подняв согнутую в локте левую руку и собрав ее короткие пальцы наподобие чашечки тюльпана, вопросом: «Что привело вас сюда?» и повел речь, конечно, желая дать на это ответ, предваряя его заявлением, удержанным Тыняновым, что «он тоже был социал-демократом», но возжаждал общения с ценностями высшего порядка, как наверно и все пришедшие на лекцию. Но из их рядов стали доноситься приглашенья говорить ближе к теме, к ним присоединился председатель, и одухотворенный оратор, пожав плечами, согласился замолчать. Что же до отца, то «забытым всеми» ему быть не приходилось, потому что прения продолжались. Он вспоминает сам о нескольких рослых молодцах-матросах, из которых один заявил, что Бог и боги это он и его товарищи⁸¹. Может быть, кому-нибудь из них, если не из им подобных, и принадлежал появившийся вскоре на столбцах «Известий» или «Правды» глупый репортаж, где говорилось о публике, аплодировавшей лекции «профессора» (в кавычках) и смеявшихся над ней авторов, хорошо сознающих, что веры заслуживают только пять внешних чувств.

Говорил, конечно, и сам Андрей Белый, дополняя свои слова (пережиток антропософского периода?) какой-то необычной жестикующей. Так, например, глагол «писать» у него сопровождался горизонтальным движением в воздухе воображаемого пера. Из его заумных построений помню только перпендикуляр, опускаемый с вершины пятиконечной звезды на прямую, соединяющую противоположные ей углы, в чем сказывался, как мне представля-

ется, с одной стороны, сын математика Бугаева, а с другой (предполагая звезду как повсюду красной) — автор сборника стихов «Христос Воскрес», плода парадоксально-мистического восприятия Октябрьского переворота, как и «Двенадцать» Александра Блока. Ему же и посвящены последние строки повествования Тынянова, сводящего свою сонату с *allegro vivace* на *andante*, ведущее к ее заключению и центру тяжести: «Так я в первый раз увидел Блока». Обращу внимание только на одну деталь этого финала: как-то решительно не помню в елисейском зале мраморных колонн, на одну из которых поэт мог опираться ладонями, и спрашиваю себя, не был ли это в действительности один из торшеров, может быть, даже тот, за который цеплялся я, не подозревая, в чем очутился соседстве.

Как-то не помнится, чтобы гражданская война на Юге и польское вторжение в Белоруссию и Украину сильно волновали петербуржцев, уже достаточно утомленных правительственным гнетом. Врангелевская армия была слишком далеко, чтобы на нее возлагать большие надежды, а нашествие исконного врага на русские земли воспринималось в лучшем случае не-пораженчески. Все же верный своему обычаю ежедневно читать газеты, отец внимательно следил за «оперативными сводками» и держал семью в курсе военных действий. Помню даже, как двухлетний Андрей раз сообщил мне сенсационным тоном, что «поляки взяли Динск»; не знаю, как ему могли представиться эти незнакомые люди и предмет. Помнится еще, что в газетных сообщениях промелькнула среди имен польских командиров фамилия Лосский. А через несколько дней, вернувшись из университета, отец рассказал, что там ему представился незнакомец, объявив ему, что он интересуется польской генеалогией и хотел бы лучше знать о роде Лосских, его «пшидомке», гербе и проч. Можно было опасаться, что незнакомец был сыщиком от Чеки, но за этим интервью, слава Богу, ничего не последовало и отцу не довелось на сей раз разделить участь коллеги О.А. Добиаш-Рождественской, просидевшей, наверно ни за что ни про что, несколько недель в тюрьме.

Чека (прабабушка КГБ) помещалась в памятном нам здании бывшего Градоначальства, против Адмиралтейства, №2 по Гороховой, позже недаром переименованной в улицу Дзержинского. Мимо этого здания люди проходили неуверенно, как бы с опасливым предчувствием, а я, с зимы 20-го, с тягостным, донныне стоящим в глазах воспоминанием. Вижу себя поравнявшимся с его воротами в серое утро с пронзительным ледяным ветром. И тут ворота внезапно распахиваются, может быть, всего на полминуты, чтобы выпустить на заснеженную улицу низкие дровни со

стоящими у облучка двумя парнями и лежащим на дне, угадываемым по контуру и общим формам, скрываемым белой простыней человеческим телом с выбивающейся из-под покрывала прядью длинных светлых волос.

Кажется, этой же зимой появились сотенные (если не ошибаюсь) бумажки с портретом Ленина, и вскоре позвались «косыми» из-за монгольского разреза глаз главы государства, именовавшегося в просторечии «Косым». Их тоже называли «ходями» из-за китайских букв переведенного на десяток языков девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Красовался на бумажке и куфический шрифт надписи по-арабски, в которой, по отзыву ориенталистов (настоящих или вымышленных), слово «пролетарии» читалось как «паршивые верблюды». Отсюда уже недалеко до ходившего анекдота о кавказском базаре и расценке на нем денежных знаков: старорежимных с царскими портретами, керенок с Думой под куполом и «косых» с серпом и молотом на обороте, которые принимались «с рожам — ахотно, с баня — (жест руки, выражающий колебание), с атмычка — нет».

Отрадным явлением времени было зарождение, вне классической триады Мариинского, Александринского и Михайловского театров, труппы одаренных артистов, выступавшей поначалу в театральном зале Консерватории. Особый успех пожинал Шиллеровский «Дон Карлос». В нем импонировал уже (мне, по крайней мере) декор, созданный архитектором Шуко: заменяющая отсутствующие кулисы несменяемая монументального вида арка с дополнительным к общему занавесом на первом плане сцены и, в ее глубине, быстро сменявшаяся с дюжиной «картин», подразделяющих пять актов, декорация, написанная с изумительной перспективной убедительностью даже для интерьеров с плафонами. В титульной роли красовался жеппе premier Максимов, кумир девиц, из которых некоторые преследовали его по вечерам на улице криками «Максишечка-душечка!» Гораздо более значительной, для более серьезных зрителей, была игра исключительно талантливого Монахова, претворенного здесь в хмурого Филиппа II. К нему безуспешно обращал мелодические взлеты речи («О, дайте мне свободу мысли, государь!») временный перебежчик с александринской сцены Юрьев. В последней картине навела страх фигура слепого Инквизитора-Музалевского, медленно приближавшегося к обреченному герою драмы под звуки усиливавшейся ее эффект музыки сотрудничавшего с труппой композитора А.В. Гаука⁸². В том же театре произвела на нас впечатление своим римским декором «постановочная» пьеса забытого автора, «Разрушитель Иерусалима».

Конечно, не оставались без внимания и музеи, которые бывали не раз предметом школьных экскурсий. Хорошо помню посещение Русского музея под руководством уже виденного летом 18-го года в Павловском дворце внука Карла Брюллова. С произведениями же западного искусства можно было знакомиться, в ожидании открытия Эрмитажа после возвращения его эвакуированных ценностей, — в ставших музеями и просуществовавших в этой форме до 1924 г. дворцах: Аничковском, где располагалась в еще обставленных апартаментах Александра III его личная художественная коллекция, и, кроме уже названного Юсуповского, в Строгановском и Шуваловском дворцах, как и в «Фонтанном доме» Шереметевых.

Искусствоведение стало для меня предметом увлечений, и я, уединяясь в задних нетопленных комнатах квартиры в соседстве с отцовской библиотекой, принялся за чтение всего первого издания *Истории русского искусства* Игоря Грабаря, с особым энтузиазмом ее третьего тома, посвященного архитектуре петербургской эры. С той поры не только каждый памятник, но и большинство домов нашей столицы стали предметом моего внимания и соображения о их стиле и времени постройки.

Музыка шла своим чередом. Обосновавшийся с осени в Царском Селе Гляссер приезжал раз, вряд ли два в неделю по приглашению матери Лёли Познер, которая тоже училась у него уже около года, — давать уроки ей, мне и еще некоторым петербургским ученикам на их квартире в доме на Рузовской улице, в котором парадоксальным образом действовало центральное отопление. Насилу понимаю, как со всеми фортепьянными упражнениями, чтениями, а также пилкой дров, еженедельными хождениями в далекий Дом Ученых и прочими внешкольными занятиями — хватало времени на приготовление и повторение школьных уроков.

Сверх того, с обещавшим весну прибыванием дня, мы с Володей завели обычай предвечерних прогулок, к которым очень часто присоединялся ставший с нами почти неразлучным Шура Шальников⁸³. Пора сказать несколько слов о довольно необычном характере нашей с ним дружбы. Только встретившись и пообщавшись с ним в 1978-79 гг. и переписываясь с ним до его смерти в 1986 г., я осознал полностью, каким он обладал нежным, жаждущим дружеского общения сердцем. И нам с братом довелось быть одним из главных, если не главным предметом его привязанности, нами недостаточно ценимой из-за правдивости его натуры и связанных с нею не всегда для нас лестных высказываний. Тоже разделяло нас мироощущение: у него чисто материалистическое

и утилитарное в целях блага человечества, коему могут служить только естественные и точные науки. Про его отношения со спиритуалистом и гуманитарием Володей можно было сказать: «меж ними все рождало споры и к рассуждению влекло». А были и более прямые препирательства, из которых приведу в пример одно, достаточно характерное для обеих сторон. Как-то гуляя втроем, мы садимся передохнуть, кажется, на монументальную каменную скамью в Павловске. Володя, слегка скрестив ноги и глядя в сторону, подносит как бы в раздумьи согнутый указательный палец к губам, что дает повод к обвинительному замечанию Шуры: «ты сидишь в неестественной позе», на что следует оправдательный ответ брата: «Как в неестественной, если Микель-Анджело изобразил так же Лоренцо Медичи?»⁸⁴

К весне у Володи появились довольно удачно перекроенное из чего-то демисезонное пальто, доставшаяся от отца кепка и от матери (в молодости наездницы) манежный хлыстик, который он брал с собою на прогулки. За все это уличные мальчишки величали его «пижоном». Мне же вслед напевали «блин, блин» из-за оставшегося с детства берета вместе с пелеринкой, как у французских школьников первой четверти века, и, для полноты картины, с употреблявшимися когда-то отцом кожаными гетрами и оттопыренными карманами брюк в подражание моде на «галифе». К слову скажу, что какая-то наверно чисто советская «мода» существовала для не требовавших много материи женских головных уборов, принявших в этом году форму чепчиков с загнутыми «голландскими ушками» на каркасе.

Наши прогулки совершались по установившемуся трафарету: по Загородному, Владимирскому и «солнечной стороне» Невского проспекта, вплоть до Адмиралтейства, а на обратном пути с поворотом на Троицкую, ныне улицу Рубинштейна, до Пяти углов. Дело было в том, что в ее начале, справа, стоял белый дом с тупиком, в котором жила Таня Пассек.

Ей Володя к этой весне посвятил и написал в альбом стихи: якобы перевод с некоего *Valdamour de L., troubadour de la belle Provence*, а по существу — вариант на тему пушкинского «Бедного Рыцаря», поскольку он всегда сознавал себя паладином. Помню их начало, некоторые фрагменты и заключение: «Вы презираете меня, синьора / о, презирайте, мне ведь все равно. / Меня не поразит стрелой холодность взора, / моя любовь угадала так давно». Далее речь шла об угрюмой внешности и нелюдимом нраве трубадура, чему противопоставлялись его воинские подвиги, совсем в стиле пушкинского рыцаря: «...когда, Мадонну призывая, / я ваше имя поминаю. / При вашем имени, синьора, /

бледнеет гордый сарацин» и, в рифму: «...до Афин. / Оно звучит подобно эху / в ущелье Ронсевальских скал / звучит от Тира и до Леха, / от Корнуэлса до Фарсал. / Ты не забудешься, Лаура, / ... кровь / пока не смолкли трубадуры, / пока в сердцах горит любовь».

Все это было с великим воодушевлением продекламировано в гимназии на большой перемене, со ступенек лестницы — сидевшей на площадке, где собирався своего рода клуб, восплаваемой «Лауре», которая приняла с дружеским благоволением торжественно протянутый ей в заключение альбом. Вскоре в чем-то другом альбоме появилось четверостишие, посвященное на сей раз новоявленному трубадуру, кажется, Таней Купервассер. Помню его, начиная со слов: «... мрачность взора / его кумир — Наполеон, / мечта его — синьора».

Этому кумиру Володя воздал честь, прочтя в своем классе на уроках истории два реферата: о Бонапарте-генерале и Первом консуле (император Наполеон остался только в проекте). Могу судить о их достоинстве — дельное изложение, облеченное в романтически-литературную форму — потому что брат их прочел тоже в семейном кругу и даже у «Микробов» и бабушки Лосской.

Более того: два года спустя, наша общая учительница истории, уже упомянутая М.А. Умова, попросила Володю, уже студента, повторить первую часть своего реферата в моем классе. Что он и сделал с достаточно большим успехом, чтобы одна из моих товарок коварно спросила меня, мог ли бы я написать что-нибудь подобное, на что я предпочел дать ей какой-то уклончивый ответ.

Кажется, что к весне 20-го следует отнести небезынтересное правительственное мероприятие по направлению к осуществлению интегрального социализма: введение бесплатности в почтовую корреспонденцию, во всяком случае для писем. Результаты этого нововведения не заставили себя долго ждать: почтовые ящики наполнились не только нефранкированными конвертами, но и бесчисленными записочками на сложенных клочках бумаги с адресом на внешней стороне. Можно себе представить, как обременилась работа почтальонов, из-за чего, наверно, главным образом даровой режим удержался много если до осени.

Эта же весна ознаменовалась горестным событием в нашей семейной хронике. Не покидавшая постель с первых месяцев года Аденька скончалась, наверно, в мае. Ее похоронили на протестантском участке Волкова кладбища, после богослужения в лютеранской капелле. Пастор Зандерс в своей речи у гроба принес дань ее долголетию и преданному служению бабушкиной семье и

школе: «Waren Sie treu bis Tod!» С тех пор мы с родителями проводили утра пасхального воскресенья не только на Марусиной, как повелось с прошлого года, но и на Аденькиной могиле.

Лето провели, разумеется, в Этупе, у тех же Шефов, хотя по какой-то причине в их второй даче, рядом с участком Шарлотты Ивановны Риттер, где поселились, не знаю в какой мере ей выгодные дачники: молодая чета комиссаров, с которой «добрососедских отношений» завязывать было незачем. К нашему семейному составу — трое братьев, родители, бабушка и взявшая на себя кухню няня — прибавилась дочь одной добровольной сотрудницы гимназической столовой, Розы Зиновьевны Троцкой, Зина, ученица, наверное лучшая, четвертого, следующего за моим класса. Ее отец, занимавший какое-то «теплое» место, кажется, в железнодорожной администрации, был любителем искусства, в особенности керамики. Руководствуясь существовавшими тогда печатными иностранными справочниками, он только что издал, вместе с неким Ф.Фогтом (заправским «пижоном»), очень ценное «пособие для любителей и коллекционеров»: «Марки фарфора, фаянса и майолики — русские и иностранные», которым мне случается пользоваться и теперь.

Для своего четырнадцатилетнего возраста Зина была очень развита: могла блистать многими приобретенными из чтения знаниями по всеобщей истории, искусству и литературе и проявляла очень живой характер и критический склад ума. Последнее не без эксцессов в сторону неделикатности по отношению к нам, на что мне случалось резко реагировать, когда дело доходило до непочтительных высказываний по адресу бабушки. Но в общем жили мы с ней дружно и весело, часто в общении с другими однокашниками, семьи которых проводили лето в Павловске, как Познеры, или окрестных дачных местах, как Тярлево или Глазово, где оказалась и семья Тани Пассек, что, конечно, отразилось на маршруте наших прогулок.

Наезжали также и петербуржцы: раз как-то младшее поколение Шостаковичей в поисках молочных продуктов и, не раз конечно, Шура Шальников. Приезжала и Ася Афанасьева, которая оказалась в какой-то полутеатральной группе, мобилизованной для участия в много тогда нашумевшем массовом спектакле, сопровождавшем второму созыву Коминтерна. Сценою ему служила стрелка Васильевского острова, а главной частью декора томоновская Биржа, но не в своем натуральном, классическом аспек-

те, а как-то видоизмененная в духе ныне восхваляемого «русского авангарда». Известно, что к осуществлению этой небезынтересной затеи был причастен Юрий Анненков. Помнится рассказ Аси, может быть, именно о его проекте, согласно которому колонны портика, соответствующим образом задрапированные, должны были принять вид, кажется, черных факелов с бутафорскими языками пламени. Автору проекта было предложено (все по ее словам) его принятие с некоторыми упрощениями, на что он гордо ответил: «все или ничего». Что было осуществлено, наверно, рассказано в неизвестных мне историях советского искусства.

Возвращаясь к Асе, думается, что под ее руководством мы дали обитателям Этюпа свой спектакль под открытым небом: сцену из «Майской ночи» Гоголя и шараду. Одному из ее слогов соответствовало карикатурное изображение заседания в правительственном учреждении и, кажется, тут-то как раз и остановились проходившие мимо по дороге и привлеченные необычным зрелищем соседи-комиссары; однако никаких неприятностей за этим не последовало.

Хорошо помнятся Володины именины (15/28 июля), на которые в гости пришло около пяти его одноклассниц. Среди них была Таня Пассек, но не было Оли Ширяевой, на днях унесенной дизентерией. Память ее мы почтили утром, отстояв панихиду в Тярлевской церковке, выстроенной в начале века в вошедшем перед войной в моду нео-псковском стиле.

Что же до моих именин, то их справили с некоторым запозданием, потому что на Бориса и Глеба (24 июля/6 авг.) выпала школьная экскурсия на взморье с купаньем и (небывалая оказия!) катаньем на парусных яхтах по «Маркизовой луже».

Обосновавшаяся на окраине Царского Села школа Гляссера превратилась уже в местную консерваторию, с классами не только фортепьяно, но и скрипки, других инструментов и пения. И я и Леля Познер не только брали в ней этим летом уроки, но и выступали на зачетном концерте.

Не изменяя своему обычаю, отец следил за газетными новостями, которые не вызывали в семье интереса, даже когда в июле красная армия приближалась к предместьям Варшавы. Он говорил нам: «Запомните имя Тухачевского, — он должно быть станет нашим Бонапартом или даже Наполеоном».

К отцу приходила раза два из Павловского дворца-музея одна из его научных сотрудниц, престарелая девица, фамилии которой не могу вспомнить, — как будто что-то вроде Круглова. Не знаю, была ли она раньше знакома с отцом или желала завязать с ним знакомство в косвенной связи со своей текущей работой над гра-

фическим материалом к соседствующей с психологией «Физиогномии» Лафатера. Во всяком случае, она пригласила нас в дирекцию музея и вынула там из комода три или четыре толстых альбома in Folio с вклеенными в них рисунками разнообразного содержания, по большей части мало известных художников XVIII века, из которых многие послужили моделью для гравирования иллюстраций трактата цюрихского мыслителя⁸⁵. Пересмотрев их с интересом, мы прошли с великим удовольствием под предводительством Кругловой по апартаментам дворца и его картинной галерее. Тут должен не без смущения и удивления на себя признаться, что в эти годы мы еще не начали ценить достоинства мастеров французской живописи XVIII века и разделяли с Зиной презрительно-насмешливое отношение не только к Грезу, но и к Гюбер Роберу.

Предметом же нашего безоговорочного признания была живопись и графика Мира Искусства. С удовольствием читали Зина и я только что вышедшие монографии Сомова и Рериха, хотя и тут ее критика не щадила за якобы манерность изложения их автора «из молодых да раннего» Сергея Эрнста.

Из жизни Павловского вокзала вспоминается только хореографический вечер с сольными выступлениями Вилль, Люком и какой-то третьей известной балерины (кажется, всех с толстыми икрами) и придавшей ему много колориту фольклорными танцами пользовавшейся тогда большой популярностью пары Орлова и Лопуховой.

Летом 20-го завершился «этюпский период» наших каникул.

Новый учебный год открыл и новый период в существовании гимназии. Осознавая на исходе своего 74-го года трудность продолжать ее нераздельное возглавление, бабушка пришла к решению уступить почти полностью власть найденному для этого преемнику, не покидая участия в деле своей жизни. И здесь следует отдать должное ее мудрости, — не убоюсь употребить в данном случае это слово. Дело в том, что с 1915 г. в гимназии преподавал физику Борис Павлович Афанасьев, человек лет сорока, дельный и энергичный, но проявлявший резко независимый, почти бунтарский нрав в педагогическом совете и перед самой бабушкой. Ему-то она и передала бразды правления, сознавая пользу положительной стороны его качеств для внутреннего строя гимназии и защиты ее интересов перед некультурными властями.

Положительным явлением для старших классов было появление двух новых преподавателей: динамичного географа Ивана Александровича Стадницкого и, главное, талантливой учительницы всеобщей истории Марии Лазаревны Каган-Шабсай (рожд. Ауэрбах), бывшей ученицы бабушкиной гимназии и Высших женских курсов⁸⁶.

Хроника гимназии и нашей семьи отметилась погребением, все на том же Волковом кладбище, старейшего члена «прислужьего мира», уже не раз упоминавшейся бабушкиной ровесницы Евгеньи Лазаревны Широковой. Она хворала уже с весны и была переселена из своей слишком уединенной комнаты (своего рода «часовни») на четвертом этаже в смежную с кухней бывшую «людскую». Туда незадолго до ее смерти приходили ее соборовать, в нашем присутствии, настоятель и дьякон излюбленного ею Митрофаньевского подворья, после чего властительница кухни Петровна, перенявшая на сей раз от нее дар духовиденья, но сомневавшаяся в ее святости, утверждала, что слышала во время церковного обряда за дверцами общавшегося с этажами гимназии подъемника для блюд шум, производимый в его пространстве нечистой силой, пытавшейся завладеть душой завтрашней новопредставленной.

Занятия музыкой шли своим чередом, но в Петербург для них Гляссер уже не приезжал, вверив всех своих бывших учеников выпускнику 1918 г. Юрию Харламову. У меня же завелось обыкновение ездить в Царское Село и возвращаться из музыкальной школы в полной темноте, зажигая иногда карманный фонарик (благо дядя Микроб снабжал нас своими батарейками-«светлячками»), так как воспетые Анной Ахматовой «скрежещущие» фонари на бульварах «пленительного города загадок» давно были из строя. В Петербурге же в этом отношении наступило известное улучшение, ибо каждому дому было вменено в повинность завести над воротами электрическую лампочку. Это значительно облегчало хождение по улицам, по крайней мере когда не прерывалась подача тока. А в нашем доме она с этой осени стала постоянной благодаря «забронированному» проводу, обслуживавшему амбулаторию, недавно разместившуюся в соседнем доме бывшей Губернской Земской Управы.

Самым значительным для семьи событием начала учебного года было поступление Володи в университет. Со свойственным ему рвением он записался сразу на многие курсы, в первую очередь по части уже издавна его привлекавшей рыцарственной медиевистики, связанной с нею латыни, но также эллинистики, итальянского языка и пр. Чтобы слушать все лекции в находив-

шемся за три версты от нас университете, не пропуская домашнего (а другого и не могло быть) обеда, нужно было проделывать пешком по двенадцати верст в день. Результатом его усердия было сказавшееся через несколько недель обострение сердечного порока, и хождения на Васильевский остров пришлось разредить.

В университете Володя очень скоро свел знакомство, не замедлившее перейти в тесную дружбу, с второкурсником Алексеем Степановым, нашедшим свой путь в русской истории, избран главным учителем профессора Заозерского. Этой же осенью его младшая сестра Женя поступила в бабушкину гимназию, в класс Зины Троцкой, что нас сблизило настолько, что не один брат, но и я стали частыми гостями их семьи.

Степановы проживали в здании Технологического института, где отец «Лексика» состоял профессором какой-то ветви химии. От матери семейства, Христины Нильсовны, уроженки Дании, что сказывалось на ее говоре, моложавой и красивой блондинке, дети, особенно Женя, унаследовали скандинавскую наружность. Лексик выделялся очень высоким ростом, что давало уличным мальчишкам повод обращаться к нему с просьбой «Дяденька, достань воробушка».

Над воспоминанием о театральных впечатлениях года господствует фигура Шаляпина в роли Дона Базилио, хотя, как мне показалось, играл он ее как бы наполовину, ленясь претвориться полностью в живописного героя творения Бомарше и Россини на представлении для школьников в нетопленном Михайловском театре и сознавая, что появление на сцене самого Федора Ивановича было уже достаточно важным для них событием.

Пошедшая в гору труппа Монахова водворилась в бывшем Малом театре на Фонтанке, превратившемся в Большой Драматический, ставший в какой-то мере соперником академических театров. После Дона Карлоса мы там видели Короля Лира в декоре Добужинского, распространившемся и на занавес, принявший вид фронтисписа с картушем, в который художник вписал со всем своим графическим талантом фигуру льва-короля с ключами его гарпиями, Гонерильей и Реганой, и распростершейся у его ног голубкой-Корделией. Титульную роль вел со всем подобающим ей патетизмом мастер на вокализы Юрьев. Не помню, кого там играл Монахов, который хорошо вспоминается как преступный Франц Мор в «Разбойниках» Шиллера и, особенно, как озлобленный Шейлок в «Венецианском купце» Шекспира. Тут почти главным предметом всеобщего восхищения, выразившегося аплодисментами при поднятии занавеса, была как будто

сама Венеция, перенесенная на сцену Александром Бенуа, который, как известно из его биографий, был и главным режиссером постановки. В этот же вечер я, могу сказать, «сподобился узреть во плоти» также и самого корифея Мира Искусства, с лицом, обрамленным редееющими с начинающейся проседью волосами и короткой черной бородкой. Он продвигался справа налево по предшествовавшему нашему ряду кресел партера, говоря себе тихо вслух их номера, отыскивая места, соответствующие билетам, которые держал в руке.

В семейном быте никаких значительных перемен не помню. Разве что ставшее постоянным электрическое освещение благоприятствовало заключающим день традиционным посиделкам под отцовское чтение вслух: стоявших на очереди «Идиота» Достоевского и за ним до того не читанных пьес Шекспира.

За ужином — все еще, кажется, «пшениным» — приблизительно те же периодические сотрапезники. В их числе Аскольдов-Алексеев, раз даже с недавно вернувшейся из Москвы супругой Елизаветой Михайловной. Из разговоров помню ее похвалу дочке Саше, в которой она усмотрела (прибавлю: «по-видимому от нее унаследованный») сценический талант, после того, как слышала ее тонко нюансированное исполнение на школьном спектакле какой-то из женских ролей в «Снегурочке» Островского. Может быть, тогда же Сергей Алексеевич рассказал о причастности их Вовы к воспетому его стихами литературному кружку «Костер», недавно образованному его товарищами-выпускниками гимназии Лентовской. К тому же кружку принадлежал наверно и другой много обещавший юный поэт-идеалист, Липавский, о котором я совсем недавно узнал от его родственницы второго или третьего поколения, что, не находя в эпоху ждановщины исхода своему одухотворенному творчеству, он ушел в детскую литературу, как Нестеров в портретную живопись.

С наступлением зимы, ходячими темами петербургских разговоров завладели два несколько мрачно-живописных явления общего порядка. Первое — ночные посещения окрестностей, вплоть до дворов жилищ Павловска, откуда-то взявшимися рыскающими волками. Второе, уже в черте заснеженного города, на его окраинах: снимающие с оробелых прохожих шубы и пальто, облеченные в простыни «мертвецы». Говорили тоже о «мертвецах на ходулях» и (чего не сумею объяснить) «мертвецах на пружинах». Замечу только, что 20-й год завершался эзотерически, подобно гоголевской «Шинели».

День Нового года увенчался памятной вечеринкой старших классов, осуществленной на сей раз не под руководством профессиональных актеров, а по замыслу подружившихся учительниц истории — Марии Алексеевны Умовой и Марии Лазаревны Каган-Шабшай. Замыслу, согласно которому перед зрителем должны были пройти сцены, напоминающие об античном мире, средневековье и новом времени, представленные в соответствующих им самодельных костюмах на общем для всего спектакля фоне. Каждой сцене предпосылалось семиклассницей Элитой Петровой характеризующее эпоху вступительное слово.

Началось с «живой картины», воплощавшей геркуланумских, написанных на мраморе «молодых женщин, играющих в кости»⁸⁷. Из пяти исполнительниц вспоминаю Бравую и Муру Граменицкую. Также посвящался классической древности явно свидетелемствовавший о создавшемся с довоенного времени дункановском течении в русской хореографии, медленный танец трех босоногих «гречанок», носительниц ваз. К этому же первому разделу присоединялась и патетическая сцена из «Антигоны» Софокла в переводе Зелинского, где игравшая титульную роль Леля Познер пререкалась с Володей, принявшим образ грозного Креона, чему поспособствовал раздобытый в костюмерной академических театров чернобородый парик.

Живой картиной для Средних веков послужила по-своему живая миниатюра XV века, изображающая интерьер богатого чертога с тремя знатными дамами в высоких головных уборах («gennins»), сидящих перед накрытым столом, к которому слуги, обутые «à la roulaïne» с заостренными носками, подносят блюда с лакомыми яствами⁸⁸. Одной из дам была Ирина Троицкая, внучка Римского-Корсакова. Хозяйку же дома, принимающую гостей сидя посреди них, должна была изображать моя другая одноклассница, Марианна Мроз, но этому помешало одно небезинтересное, ибо характерное для времени, обстоятельство. Семья Мроз⁸⁹ проживала в Павловске, и оттуда в день нашего праздника Марианна направлялась с родителями в Петербург, везя с собою сделанный для нее сложный головной убор. Но тут случилось, как в эту пору не раз происходило, что за недостатком дров (которые уже года два как заменяли уголь для топки паровозов) поезд остановился на полпути, и не помню, смогла ли она вообще появиться на вечеринке. Устроителям же спектакля, после волнующего ожидания, удалось найти ей заместительницу в прекрас-

ном лице пришедшей на праздник, по дорогой памяти прошлых лет, Тани Пассек, университетской студентки, как и Володя. Костюм нашелся, но не доставало головного убора, и она заняла место хозяйки пира, блистая красотой, с распущенными волосами.

Новому времени была посвящена, для начала прошедшая с большим успехом двухактная комедийка Сервантеса «Два болтуна» в переводе Островского. Сеньору-болтуню изображала стяжавшая себе с прошлых годов сценическую популярность Женя Виленкина, а роль гидальго-болтуна Рольдана выпала на мою долю. Вспомню, что для нее я был украшен закрученными сверху «усиками трех мушкетеров», по выражению нарисовавшего их гримера, каковым оказалась приятельница Умовых, Вера Ильинична Репина, уже не молодая, как на известном портрете, писанным с нее отцом.

Завершилась историческая часть вечера XVIII веком, представленным в его эпикурейском аспекте картиной Ланкре, изображающей галантную компанию, собравшуюся в саду вокруг танцующей — вправду танцующей — пары⁹⁰. Не помню, какая из учениц переделалась в кавалера, даму же в фижмах изобразила с известным брио наша летняя товарка Зина Трощкая. Тут следует прибавить, что все три показанные «живые картины» сопровождал закулисный фортепьянный аккомпанемент, выбор пьес для которого был возложен на Митю Шостаковича. Игривый этюд Шопена шел более-менее к игре в кости геркуланумских девиц, как и подобранная для средневековой миниатюры музыка. Что же до танца на картине Ланкре, для которого было бы так нетрудно найти что-нибудь подходящее по стилю у Рамо или другого французского композитора XVIII века, то ему пришлось согласоваться с совсем не родственным «Экосезом» Бетховена.

Если после театральных номеров имели место номера концертные, то их исполнителями были те же Шостакович и Мура Граменицкая.

Так же прочно запечатлелась в памяти предпринятая дня четыре спустя нами с братом экспедиция вместе с Лексиком и Женей Степановыми за рождественскими елками в соседнее с Павловском Тярлево. Срубив их в лесу у дороги, ведущей от поселка к одноименному полустанку, и не дождавшись на нем обратного поезда, мы направились пешком в Царское Село. Но и там оказалось, что никакого поезда на Петербург не предвиделось. После чего в уже наступившие рано зимние сумерки нам только и оставалось побрести к Петербургу по железнодорожному полотну. Где-то на полпути, наверное у Средней Рогатки, стоял как будто собиравшийся тронуться товарный поезд. На нашу просьбу при-

нять нас на площадку заднего вагона стоявший на ней кондуктор ответил: «можно бы, только замерзнете». Действительно, зима «шла на мороз», в воздухе стояло около двадцати градусов и было разумнее сохранить в теле калории, которые ему давала пешая ходьба. Побрели дальше, обмениваясь изредка вялыми обрывками разговора, посреди пустынной равнины, помнится, окаймленной справа вдаль небольшими рощами, откуда, наверное, как meshesлось, доносился заглушенный расстоянием звук, который можно было со страху принять за вой появившихся в нашем краю волков. К слову сказать, в последней из этих рощ мы узнали Волково кладбище, на месте Волкова поля, известного читателям «Ледяного дома». Вскоре после железнодорожные колеи стали разветвляться, превращаясь в запасные пути и, наконец, пройдя от Тярлева около двадцати пяти верст, мы взошли по ступенькам на один из перронов Царскосельского вокзала, где, в довершение нашей радости, встретили наших родителей, пришедших наугад, не зная, что о нас думать.

Ко второй половине учебного года Володины университетские занятия достаточно «утряслись», чтобы пришло время отвести место его о них рассказам и, в более общем порядке, о жизни петербургской *alma mater* в начале 20-х годов.

Как уже было сказано, главным предметом внимания брата была медиэвистика. Представительницей ее чисто-исторического аспекта на берегах Невы была ученица по парижской *École des Hautes Études* Фердинанда Лота, добрая знакомая нашей семьи, уже не раз названная Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, по наружности «тень Данте с профилем орлиным»⁹¹. Главной темой ее курса (или курсов) были проблемы, связанные с крестовыми походами. Во всяком случае, помню брата, трудящимся над сюжетом «Замки и рыцарское общество Палестины» для доклада в ее семинаре. Также важным предметом практических занятий с нею была средневековая латинская палеография⁹².

Более широким хронологическим диапазоном и охватом гуманитарных дисциплин отличалась эрудиция Ивана Михайловича Гревса⁹³. Ее он выносил в 21-м году и за стены университета, и мне хорошо памятли его три публичные лекции в Доме Литераторов (тогда где-то вблизи Литейного и Бассейной, ныне ул. Некрасова) о распаде античного паганизма в первые века нашей эры. К их многочисленным слушателям старшего и нашего интеллигентского поколения присоединились и мы с братом и некоторыми школьными товарками, среди них Лелей Познер и Зиной Троцкой, рядом с которыми назову и ставшую воспитательницей младших классов, бывшую выпускницу гимназии и Высших Жен-

ских Курсов «Таню» Быкову⁹⁴. С тех пор в моей памяти стоит благородная внешность И.М.: обрамленное седой бородкой лицо с прямым, почти «греческим» носом, продолжавшим линию лба, часто обращаемое не прямо, а как-то вкось к аудитории. Особенно важно отметить, что его университетское преподавание привело Володю к знакомству с писаниями западных отцов церкви в передаче известного труда аббата Migne «*Patrologia latina*» и с творениями представителей средневековой религиозной и гуманитарной мысли. Еще дальше в эту область медиевистики его вовлекли курсы Льва Платоновича Карсавина о западном богословии и мистицизме, не без неожиданных едких выпадов по адресу официальной идеологии и пререкжащих властей. Эти занятия требовали усердствования знания латыни на курсе Петуховой и введения в итальянский язык под живописным руководством флорентийца Лоренцони. Тут знакомились ближе с «Божественной Комедией» Данте, скандируя ее терцины, звучные, по выражению учителя, «как колоколь». Тоже отдавалась дань новым поэтам, и брат твердил дома стихи Кардуччи: «...rovero fiorelino, rovero amore!» С усугублением в начале года политического кризиса в Италии, ученикам Лоренцони доводилось слышать от него декларацию: «*sono fascista*». Могу к этому прибавить слышанное из его разговора с отцом на дворе Дома ученых, источника продовольственных благ. Осведомленный, как повелось, из «Правды» и «Известий» о советских и заграничных делах в подобающем освещении, отец спросил у коллеги-итальянца, как разворачивается в его стране социализм, за чем последовало его торжествующее заявление «Ни такой народ!».

Также входила в Володины занятия небольшая доля эллинистики с курсами о греческой скульптуре Б.В. Формановского⁹⁵ и, главное, о литературе, где блистал, в последний учебный год перед своим водворением в Польше, Фаддей Францевич Зелинский⁹⁶. Как не помнить его зевсоподобную наружность и осанку, как и выпренную речь сквозь неразжимаемые зубы? Его слушателям был тоже известен овладевавший им плач при чтении цитат из глубоко его волновавшей древней поэзии. Раз, по рассказу брата, его курс проходил в темной из-за отсутствия электричества аудитории, но как раз когда он кончал декламировать дрожащим голосом какой-то особенно патетический пассаж из Илиады, свет зажегся, и ему пришлось спешно и раздосадованно утирать струившиеся по щекам слезы.

Прибавлю, что за все время Володиных университетских занятий Россия и ее история оставалась за пределами его интереса, не в пример почти только ею в то время и жившему Лексикю Сте-

панову. Из группы же коллег брата по медиевистике стоят упоминания Всеволод Владимирович Бахтин⁹⁷, ставший членом какого-то спиритуалистического кружка, как будто сугубо тайно воскресшей масонской ложи. Он был одарен живым чувством юмора, как и весельчак Сергей Александрович Ушаков⁹⁷. Вместе с Володей они были главными затейниками латинской летописи, повествовавшей о делах университетских средневековедов, как учеников, так и учителей. Раздобыли даже где-то старый пергамент и, начертав на нем палеографически часть своей хроники, представили сфабрикованную хартию как найденный ими подлинный документ Ольге Антоновне, которая, по их словам, не сразу обнаружила, что поддалась их мистификации. Возможно, что сотрудниками летописи были также Матвей Александрович Гуковский⁹⁸, кажется, уже почти выпускник, и Владимир Сергеевич Люблинский⁹⁹. Прибавлю наконец имена будущей супруги последнего и, позже, преемницы Добиаш-Рождественской по курсу палеографии Александры Дмитриевны Стефанович¹⁰⁰ и будущей свойственницы брата Раисы Ноевны Блох¹⁰¹.

Несколько в стороне от этой группы учащихся студентов стояла закончившая высшее образование Е.Ч. Скржинская. О ней будет пока довольно сказать, что обывателями университета, разместившегося в здании «Двенадцати коллегий», вытянувшегося чуть ли не на четверть версты, случалось видеть, выходя из аудиторий в знаменитый того же протяжения коридор, Карсавина, катающегося по нему на дамском велосипеде. Причем было известно, что обладательницей этого средства передвижения была вышеназванная особа, к каковой, как считалось, обращались его исходящие из богословских предпосылок стихи, что-то вроде «в тебе двуединство, во мне триединство». Отсюда шло и сообщение латинской хроники, предметом которого были (если передаю точно) «*Leo, Platonis filius cum duomitare sua*»¹⁰².

Тоже вспоминаются обрывки сенок из заседаний профессорского совета, главным образом, по словам участвовавшего в них отца. Наверное, о его коллеге по философской кафедре и старом друге И.И. Лапшине, положившем, по своей давно ставшей притчей во языцех рассеянности, недогоревшую спичку на шумно запылавший, драгоценнейший по тому времени коробок. Или о Ф.Ф. Зелинском, гордо заявившем на слова кого-то из коллег о необходимости соблюдать большую осторожность в сношениях с властями, что не подобает никак вдохновляться принципами шекспировского сэра Джона Фальстафа. Или о другом олимпийце, маститом семидесятилетнем Н.И. Карееве, величественно уснувшим на совете, и чьем-то (не Карсавина ли?) на

это замечании вполголоса соседу: «не будите льва, проснется осел».

Что же до вторжений официальной идеологии в жизнь факультетской общины, то в моей памяти, с рассказов Володи, они стоят как явления незначительные. На менталитете названных профессоров они не сказывались вовсе, как о том свидетельствовала тематика их преподавания. То же можно сказать и о их учениках, которым приходилось время от времени отстаивать натиск студентов-пропагандистов на сходках, в заключение которых звучали с одной стороны «Интернационал», а с другой возгласы: «рабскую песню долой» и еще не преданный забвению «Gaudeamus». Думаю, что года три спустя, в пору возраставшего могущества ГПУ, на подобные выпады уже никто бы не решился.

В гимназическом и домашнем быте особенных перемен к лучшему еще не произошло, во всяком случае с отоплением. Дров с центров снабжения прибывало все еще очень мало. К тому же привозившие их ломовики оставляли на дне саней четверть, а то и треть груза, огрызаясь на замечания принимавших его заявлением: «дрова возить, а самому дров не иметь, так это свои засмеют». Случалось, что в особенно морозные дни в канцелярии замерзали чернила. Не говорю «в классах», потому что уже год как ученики пользовались не перьями, а еще как-то существовавшими карандашами и вместо тетрадей, раздобываемых где было возможно, иногда наполовину исписанной бумагой¹⁰³.

Не лучше обстояло дело с обувью, если не хуже, поскольку снашивалось в конец все, что оставалось от лучших времен. Как характерное для поры явление вспомню, что приобщившаяся вместе с мужем к сапожному ремеслу делопроизводительница Анна Петровна Смирнова собрала вокруг себя кружок желающих просветиться учителей и родителей учеников. В него вошла и наша мать, чтобы изготовлять, главным образом для трехлетнего Андрея, всякую обувь, вроде башмачков из непрочного сафьяна с переплетов подносимых в свое время бабушке хвалебных «адресов», или подобия валенков из найденных где-то обрезков сукна.

С продовольствием очень заметного улучшения еще не наступило, хотя за бабушкой и было признано право на получение пайка из Дома ученых, куда мы ходили каждый четверг. Помню, каким высоко оцененным подарком был фунт коровьего масла, преподнесенный нам побывавшей на Украине Татьяной Давыдовой Каменской, бывшей ученицей отца и будущей научной сотрудницей Эрмитажа¹⁰⁴. Достаточно сказать, что примерно на то же количество такого же масла, купленного у появившегося

как-то на кухне «мешочника», ушел разом весь только что полученный отцом гонорар, наверное, за «Сборник задач по логике».

За молочными продуктами, яйцами и овощами ездили от времени до времени в Этюп к Шефам. Как и их соседи-земледельцы, к которым также приезжали на поклон петербуржцы, часто предлагая в обмен на пищевые припасы предметы городского обихода, наши летние квартирохозяева пребывали в полном довольстве и мать семейства заявляла с самоумилением: «только для себя и живем».

О повышении, по крайней мере на несколько лет, благосостояния этюпской землевладельческой общины (о немецком составе которой будет, пожалуй, нелишним напомнить) достаточно свидетельствовала только что осуществленная по ее частной инициативе и за ее счет проводка электрического тока от павловской сети, путем водружения вдоль первой версты Федоровского шоссе, от Чугунных ворот до поселка, наверное, больше чем двадцати столбов, не говоря об изоляторах и метраже проволоки. В эту пору строительного маразма подобное предприятие представлялось парадоксальным явлением, хотя на столбцах газет уже заводилась речь об электрификации России, скорее в порядке чаяний, чем осуществлений. Правда, в письме из Торжка, где в 1916 году даже железнодорожная станция освещалась керосином, Ваня Романов сообщал мне, что пишет его при свете электрической лампочки. Прибавлю, что на газетном языке времени электрификация именовалась поначалу электрофикацией, вызывая насмешливые замечания отца о культурном уровне властей и прессы.

Возвращаясь к жизни гимназии, вспомню об одном удивительном мероприятии Наркомпроса, явно вдохновленном принципом равенства всех граждан трудовой республики перед проблемами образования. Не знаю, во все ли средние школы или только в недостаточно политически сознательные, вроде нашей гимназии, были делегированы, в качестве своего рода инспекторов-наблюдателей за работой педагогического и административного персонала, полуграмотные фабричные рабочие обоого пола, которым, казалось бы, полезнее было бы служить государству стоя у станков. У нас таких надзирателей и надзирательниц оказалось около шести, но нужно сказать, что не понимая, по всей видимости, в чем заключалась их миссия, они в установившийся ход школьной жизни никак не вмешивались и больше сидели смиренно в канцелярии или служебных помещениях, а в классах, во всяком случае моем и, наверное, других, появляться не отваживались. Да и продлилось это умное министерское нововведение много если до середины весны.

Отраднее будет вспомнить об обогащении нашей гуманитарной программы, по счастливой инициативе новой учительницы всеобщей истории М.Л. Каган-Шабшай, курсом истории искусства — совместно для двух старших классов. Для осуществления его наш директор Борис Павлович предоставил аудиторию, снабженную большим эпидиаскопом в уже ему отчасти подведомственном Технологическом институте, в конце Загородного, примерно за версту от нас. Сильно отмеченная воспоминанием о преподавании Гревса на Высших Женских Курсах и путешествии под его предводительством по северной половине Италии, Мария Лазаревна приобщила и своих учеников к средневековому искусству Равенны, Пизы, Флоренции, Ассизи и Сиены, о чем мне еще недавно случилось делиться с Лелей Познер благодарным воспоминанием.

Также не без приветствуемой бабушкой инициативы Марии Лазаревны и вошедшей с ней в дружбу М.А. Умовой завелся было обычай ежемесячных (далее второго месяца не возобновившихся) собраний двух старших классов, в послеурочное время, посвященных главным образом музыке, вокальной и в особенности фортепьянной, так блестяще представленной в школе талантами Шостаковичей и Граменицких. Старшая, Марианна, совмещала тогда свои занятия в выпускном классе с учебой в Консерватории и уже властвовала над многими сердцами своей царственной красотой¹⁰⁵. Помню ее бравурное исполнение Восьмой рапсодии Листа, а также — вместе с ее консерваторским коллегой и компаньоном по второму роялю Исайей Рензиным¹⁰⁶ — концертной сюиты Рахманинова, кончающейся пасхальным колокольным перезвоном. Из программы прошлогодней выпускницы Муси Шостакович¹⁰⁷ помню только нетрудный и, я бы сказал, прекраснотушный Контреданс Бетховена, который она держала как бы про запас для исполнения «на бис» или в гостях — на просьбу сыграть что-нибудь. Зато водворилась в памяти Аппассионата в скорее проникновенной, чем страстной интерпретации Мити, ставшего «стоюнинцем» после закрытия в 1919 г. гимназии Шидловской.

Как ему полагалось по возрасту, он считался учеником пятого, следующего за моим, класса. Говорю «считался», потому что на деле он был почти всецело поглощен занятиями не в классах гимназии, а в Консерватории, не только на курсах фортепьянной игры, как Мура Граменицкая, а также, главное, — на уроках импровизации и композиции. К концу зимы наш директор Борис Павлович заявил родителям-Шостаковичам, что такого рода совместительство продолжаться не может, и было принято решение, наверно по настоянию бабушки, подвергнуть четырнадцати-

летнего Митю своего рода досрочно-выпускным испытаниям, скорее условным, чем действительным, чтобы выдать ему хоть какое-нибудь удостоверение о пребывании в средней школе. Но, увы, даже на подготовку к этим экзаменам, «полюбовным», по крайней мере со стороны преподавателей гуманитарных предметов, Митя достаточно времени не нашел, и из-за категорического veto учителя математики С.И. Полнера никакого свидетельства ему выдано не было. Могу сказать с уверенностью, что на этом его среднее образование прекратилось¹⁰⁸.

Не буду реагировать на уверения биографов Шостаковича о его всестороннем, распространяющемся на все науки даровании. Зато присоединяюсь к ним полностью, даже «с лихвой», в признании за ним необычайно живого ума и столь сильно сказавшихся на его музыкальном творчестве знаний, любви и тонкой чуткости в области поэзии, прозы, русского языка, словообразования и юмора, качеств, хорошо объясняющих его проявившийся позже интерес к творчеству Лескова и, в свое время, дружбу с Зощенкой.

По этому поводу вспомню, как мы с ним раз веселились, устанавливая воображаемую династию, составленную из вереницы смехотворных мужских имен и имен-отчеств, заимствованных из «Шинели» Гоголя и, забыл из каких, повестей Тургенева или комедий Островского: Акакий, Моккий, Соссий, Хоздозат, Гулий Ивлич, Сысой Псоич, Псой Стахич и т.п.

Также вспомню, как этой же зимой, идя с перекинутым через плечо мешком полученных в каком-то кооперативе луковиц, я встретился с Митей недалеко от их дома на Николаевской и, поднявшись по его приглашению в их квартиру, провел с ним до прихода Софьи Васильевны очень приятный час. Сначала ему захотелось поделиться со мною содержанием явно его впечатлившего мне неизвестного рассказа Куприна, где дело шло о японском шпионе, выдававшем себя с большим успехом за русского, несмотря на свою дальневосточную наружность, относительно которой отшучивался, говоря «Рожа овечья, душа человечья». Потом, наверно побуждаемый более постоянным увлечением, сев за рояль и аккомпанируя себе, он спел мне несколько крикливо, но безупречно верно арию Хиври из «Сорочинской ярмарки» Гоголя-Мусоргского, весело акцентируя припев «Черт тебя Брудыус!»

Наступление весны 21-го связывалось в моей памяти неразрывно, хоть и неожиданно с пятидесятилетием провозглашения Парижской коммуны: «Quand vient le printemps»... Ему соответствовало крушение, 18 марта, несбыточных чаяний петербуржцев на избавление от кремлевского ига, которое, как казалось,

предвещали двенадцать дней Кронштадтского восстания. Помнится двор Технологического института, где мы были в гостях у Степановых, и посередине кучка обывателей, увлеченно о чем-то разговаривавших, опасливо оглядываясь по сторонам, и оживлявшихся, когда доносились от времени до времени глухие звуки отдаленных пушечных выстрелов. Также царило возбуждение, в преобладающей мере сочувственное, происходящему на переменах в гимназии, где «осведомленные» откуда-то товарищи чертили схематическую карту взморья с Кронштадтом и его тянущимися к берегам спутниками-фортами, присоединившимися к восстанию, прежде чем стать этапами продвижения карательной экспедиции. К 20-му же марта улицы запестрели афишами, изображающими баррикаду с поднявшимися на нее «мертвецами Парижской коммуны», явно помогшими с того света советской власти покорить мятежных кронштадтцев, превратившихся на столбцах газет из «красы и гордости Революции» в презренных «клевшиков»¹⁰⁹. О последовавшей вскоре затем расправе над повстанцами помнится рассказ кого-то из знакомых о виденных открытых грузовиках, везущих их куда-то, должно быть на полуостров Лисий Нос, ставший еще с дореволюционного времени традиционным местом казней. Некоторых скрывали накинутые как чехлы на головы сразу нескольких человек брезенты, совсем как в одной из сцен появившегося четыре года спустя знаменитого фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Спрашиваю себя, не способствовало ли отчасти его зарождению свежее воспоминание о послекронштадтских репрессиях.

Было этой весной и другое памятное совпадение дат: Светлое воскресенье пришлось на 1-е мая, когда, по установившемуся революционному обычаю, всем школьникам надлежало шествовать процессией по указанному маршруту, за красным флагом. Однако на сей раз их оказалось необычайно мало. Зато утро Фомина воскресения отметилось небывалым стечением народа в стенах и около Александро-Невской Лавры, потому что, наверное по инициативе Митрополита Вениамина, там собрались с иконами и хоругвями все приходы города, включая, конечно, и наш, пустившийся в путь от подъезда Первой гимназии. В Лавре мы были с Лексиком Степановым и вместе с ним смотрели с высоты ограды Лазаревского кладбища (ныне «Некрополь XVIII века»), как после митрополичьей обедни в Троицком соборе, куда наверно проникнуть удалось много если восьмой части пришедших, выстроившиеся в колоссальный крестный ход религиозные общины направлялись к выходу на Старо-Невский, чтобы шествовать до последнего сборища на площади у Казанского собора.

В самом конце вытянувшегося чуть ли не на километр крестного хода выступал Лаврский клир в блистательном подборе золотых риз и посреди него благословлявший окружающих дикирием и трикирием Митрополит. Присоединившись к толпе, следовавшей за крестным ходом, мы прошли по обоим Невским, где окна и балконы были заполнены зрителями. На одном из них, наверно, принадлежавшем какому-нибудь официальному учреждению, стояли его служащие и, желая выказать свою неприязнь к происходящему, затыкали уши, дабы все видели, что до них не доходят пасхальные песнопения. Но были также неожиданные и тем более ценные проявления сочувствия и солидарности: так, поравнявшись с католической церковью Святой Екатерины, можно было видеть вышедшее с хоругвями на ее паперть польское духовенство. Что же до православных хоругвей, то они выстроились в колоннадах Казанского собора, огибая площадь, на которой был отслужен молебен. Немудрено, что это скопление на Невском около пятидесяти, как говорили, тысяч человек, было принято властями, и не совсем без основания, за антисоветскую демонстрацию. О ней и заговорила казенная пресса, утверждая, что участниками крестного хода были озлобленные представители бывшей буржуазии, проститутки и вообще отбросы общества. За всеми этими образаемыми к дуракам словами стояло усиленное событием 8-го мая опасение власти перед ширящейся популярностью церкви, опасение, послужившее, думается, одним из стимулов для поднявшейся к концу осени повышенной волны гонений на нее.

Назову и одно незлобное правительственное мероприятие на пути к осуществлению социализма, показавшее себя таким же недейственным и потому кратковременным, как в прошлом году опыт даровой почты. На сей раз дело шло о даровом трамвае. Главным недостатком перемены явилась необходимость сократить раза в четыре число остановок, чтобы вагоны не переполнялись пассажирами на расстояния, не превышавшие около восьмиста метров. Так, например, соседними с остановкой на Загородном у Пяти углов стали остановки у Царскоевского (ныне Витебского) вокзала и на углу Владимирского и Невского. И несмотря на это, идущие слишком редко трамваи оказывались заполненными, а перед остановками вырастали хвосты, как перед кооперативами. В трамвай входили, как повелось издавна, с задней площадки, а на переднюю, служащую для выхода, допускались только плохо переносящие стояние в хвосте увечные. По этому поводу вспомню, по возможности без ехидства, о Мите Шостаковиче, осужденном на постоянное пользование трамваем, чтобы добраться с Николаевской до Консерватории. Раз мы его встре-

тили идущим по улице с толстой тростью. На наш недоуменный вопрос, на что ему она, он ответил, что пользуется ею для входа на переднюю площадку в качестве «хромого».

Нашему художественному воспитанию много поспособствовал открывший наконец свои двери Эрмитаж, где мы побывали не раз, как и в Русском музее, со Степановыми.

Из гимназических экскурсий вспоминается посещение Публичной библиотеки, куда наш класс сводила Мария Лазаревна, которая там исполняла какую-то работу вне своего школьного преподавания. Наверно благодаря ей, наша группа проникала даже в директорский неоготический «кабинет Фауста», где за «стильным» письменным столом восседал Эрнест Львович Радлов¹¹⁰.

Также памятны коллективные поездки в окрестные императорские поместья, начиная с Царского Села. Там провели очень содержательное утро в Екатерининском дворце и парке, полуторавековые липы которого еще высились в непосредственном соседстве с его садовым фасадом¹¹¹. По интерьерам нас водила явно бывшая светская дама (не смольнянка ли?), и ее комментарии носили чисто исторический характер, без всяких подачек официальной идеологии. Прием школьных групп был довольно хорошо налажен и для него был отведен находившийся в соседстве с дворцом особняк, в свое время принадлежавший, как говорили, приведшей ко двору Распутина Вырубовой. Там нам досталась в обеденное время не Бог весть какая закуска и моим соседом оказался Митя Шостакович. Сообщу в угоду его советским биографам «старого закала» слышанное от него вольнодумное суждение о том, как мог убивший Авеля Каин подвергнуться всеобщему гонению, когда единственными людьми на земле были его родители Адам и Ева и их еще малые дети.

Кроме Екатерининского дворца осмотрели, под руководством еще одного руководителя старорежимного склада, бывшего сенатора Фролова, превращенный в музей дворец князей Палей, «ретроспективная» архитектура которого еще вмещала старинную мебель и художественные коллекции, с которых в 1928 г. началось разбазаривание за границей русского культурного наследия. Александровский дворец видели только снаружи, хотя нашим предводительницам, обеим Мариям, учительницам истории, и удалось в него проникнуть, оставив нас играть, не без негодования, в пятнашки и горелки перед статуями удалых парней, играющих в свайку и в бабки. Жалею, что так и не удалось увидеть частные апартаменты царской семьи, еще остававшиеся в том виде, в котором она их покинула летом 17-го года¹¹².

Больше чем об экскурсии в давно нам известный Павловск, вспоминается о поездке двух старших классов в Петергоф. Предводителями ее были М.А. Умова и присоединившаяся к ней как-то причастная к жизни гимназии г-жа (имени-отчества не помню) Петрова из семьи вращавшихся вокруг Двора Черемисиновых¹¹³, наверное смольнянка, говорившая с аристократическим, сбивающим на английский акцентом и называвшая Элитой свою старшую, уже в начале года встреченную нами дочь Елизавету, и Каташей — младшую, Екатерину.

Путь по железной дороге был совершен, для меня впервые, в товарном вагоне, по-тогдашнему «теплушке», сидя на полу. Поманив меня к себе пальцем, г-жа Петрова просветила меня, рассказав, что на знаменитые петергофские фонтаны вода спускается самотеком с Дудергофских высот, и они могут бить непрерывно, что является большим преимуществом Петергофа перед Версалем, где дорогостоящие *grands jeux d'eau*, питаемые подъемом воды из Сены, действуют только в определенные дни и часы. Однако на зрелище петергофских фонтанов нам рассчитывать не приходилось, потому что после примерно трехлетнего перерыва им предстояло снова забить, поначалу вкривь и вкось, только летом или осенью.

Подойдя с вокзала к Верхнему саду, некоторые из группы — Володя и я в их числе — бросились в восторге бегом к Большому дворцу, но были грубо остановлены возмущенными нашей резвостью сторожами и ими обозваны «курсантами». Очевидно, это были нежаловавшие занимавшихся солдатской «словесностью» красноармейцев бывшие слуги старого режима. Также их окриками сопровождалось и наше скользящее шествие в уже заведенных, но еще не нашедших своего теперешнего названия «тапочках» по залам дворца. После закуски в одном из его боковых корпусов, наверное «фрейлинском», гуляли по парку и по предложению г-жи Петровой дошли до берега Ольгиного пруда, где против великокняжеских дач на островах стояла бывшая дача Черемисиновых, с которой у нее связывались дорогие воспоминания детства и юности. На пороге дачи ее встретили служившие до революции ее семье сторож и сторожиха. Поцеловав руки своей бывшей барыне и ее дочерям, они ухитрились раздобыть достаточно посуды, чтобы напоить, может быть, в две очереди, советским чаем всю нашу разлегшуюся на прибрежном лугу ораву.

Предаваясь воспоминаниям о счастливых временах, г-жа Петрова не преминула рассказать о благоволении к ее родителям обитавших на островах великих князей, благодаря которым дети

пользовались привилегией кататься по озеру на дворцовых лодках; стоило только крикнуть с берега: «Матрос, шлюпку». Но по детской резвости, полагая, что на расстоянии слова теряют свою внятность, а также, что служащим при дворе морякам не было свойственно чувство обиды, кричали: «Матрас, шляпку».

Делясь на обратном пути с Марией Алексеевной впечатлениями проведенного дня, я сказал, что «нет худа без добра», и наверное грубые с посетителями блюстители порядка во дворце были надежными стражами его сокровищ, на что она ответила, что наша экскурсоводка жаловалась ей на происходившие пропажи: вырезанные и украденные куски шпалер или других ценных тканей, не говоря об экспроприированных для собственного употребления ответственным за дворец комиссаром сапог Николая I.

Менее просветительный характер носила поездка в Стрельну, где можно было видеть только снаружи большой дворец Петра I, превратившийся не в музей, а в детдом, сказал бы, в колонию малолетних преступников, потому что во время нашей прогулки по парку на нас летели камни по милости его 12-15-летних обитателей. Утром купались в море (девочки и мальчики порознь, иное бы не пришло в голову ученикам нашей гимназии), а после закуски были побалованы приставленными к бывшему яхт-клубу лодочниками прогулкой на парусах по заливу. Пассажирами яхты, на которую попал я, оказались г-жа Петрова с Элитой, и мне запомнился урок *savoir vivre*, данный светской матерью некокетливой дочери. Войдя в каюту, где было зеркало, первая бросила скороговоркой второй наставительное повеленье: «пользуйся случаем» — и та торопливо принялась оправлять свою прическу.

Из театральных представлений стоят в памяти «Князь Игорь» на Мариинской сцене и, в первом акте оперы, исполнитель титульной роли верхом на содержимом на бывших дворцовых конюшнях белом коне покойного Государя, «Шут Тантрис» в Александринке, с Изольдой — Ведринской и ее пажем — Стаховой, и в Большом Драматическом — «Слуга двух господ» Гольдони с Труфальдино — Монаховым, разбудившим на случай свой талант актера-комика начала века.

Еще вспоминаю из семейной и гимназической хроники о расширении деятельности матери на преподавание в новооснованной на Загородном школе грамоты для рабочих и служащих разных учреждений. В число ее учениц попала и больших успехов не обещающая, но воодушевленная самим фактом известного обновления жизни уже не раз упоминавшаяся как бабушкина горничная Аннушка Рябухина, ставшая гимназической уборщицей (как наша няня «дровяным вахтером»). Ей уже приближался пятидесятый

год. Была у нее издавна, как мне думается, в том же порядке идей, и более важная забота: выйти замуж, — как будто не столько для вступления в супружескую жизнь, сколько для всего, связанного с днем венчания: «хоть день да мой!».

Итак, одним весенним вечером, когда мы еще сидели за ужином, в дверях столовой появилась Аннушка и объявила о своем намерении сочетаться браком с не знаю откуда взявшимся, кажется, из фабричного мира, менее «молодым» женихом. Не без смущения вспоминаю о диком смехе, обуявшем нас с братом при этой новости, тем более, что, упрекнув нас за несерьезность, Аннушка попросила нас быть ее шаферами, а также отца и бабушку ее посаженными отцом и матерью. К несчастью, когда настал так долго жданный «ее день», Аннушкина истерическая натура взяла верх, и она проплакала все время, не только когда сослуживцы ее наряжали под венец, но и когда отец вел ее под руку наискосок по Кабинетской в Митрофаньевское подворье, когда перед аналоем священник наставлял ее «возвеселиться яко Ревекка», на обратном пути об руку с недоумевающим мужем и даже на скромном пиршестве с каким-то напитком, символизировавшим вино. Как полагается, новобрачные должны были поцеловаться после общего заявления «горько». За ним последовало весьма справедливое замечание пригубившего свадебный нектар трехлетнего Андрея: «не горько, а кисло».

Ученая и преподавательская деятельность отца ознаменовалась выходом в свет его «Гносеологического введения в логику» и, с начала учебного года, курсами и практическими занятиями о философии Фихте, Шеллинга, Гегеля, материализме, гилолизме и витализме. Ими, как увидим ниже, и завершилась его профессура в Петербургском университете.

Провести лето, как повелось, в Этюпе возможности почему-то больше не оказалось, и мы, может быть по соображениям материального порядка и наверно по чьему-то дружескому совету, поселились минутах в десяти от станции Павловск II¹⁴, не в дачном поселке, а в эстонской или латышской деревеньке Гуммала Сари. Не скажу, чтобы она оправдывала свое название, которое, как нам его кто-то перевел, звучало бы по-русски «божественный остров». Да и жилье наше состояло не больше чем из двух комнат и пространства со столом на лужайке перед выходящими на улицу окнами большой избы, обитаемой в своей дворовой части семьей хозяина, Карла Давидовича Розита.

Не помню, служила ли для изготовления пищи какая-нибудь другая печурка или все сводилось к уже третьему году как вошедшему в наш обиход примусу. Кухней занималась главным образом мать, потому что на это лето наша няня после двадцатилетнего перерыва, уехала в деревню к родственникам Советовым куда-то недалеко от станций Плюсса и Струги-Белая по Варшавской ж.д. Также не было с нами, родителями и сыновьями, бабушки Стоюниной, явно предпочитавшей провести каникулы более комфортабельно на Кабинетской.

Наш хозяин, по профессии настоящий крестьянин, хоть и не в русском духе, имел обо всех вещах точное представление и в просвещении со стороны отнюдь не нуждался. Помню, к примеру, как стали при нем говорить о цыганах, и отцу представилось полезным сообщить, что их племя наверно ведет свой род из Индии, на что он безапелляционно возразил: «Ничаво падобнаго, это порода такая». Случалось, что когда после обеда, сидя на лужайке, мы слушали с наслаждением отцовское чтение «Пикквикского клуба», Карл Давидович присоединялся к нам, садился на заваленку избы, закуривал папироску и, сплюнув на сторону попавший в рот табак, заводил разговор вроде «саводни бариш сделал», за чем следовал рассказ о выгодно проданном утром теленке. Однако к концу каникул роман Диккенса нам дочитать все же удалось.

Были зато интересные и приятные соседи, молодожены Жирмунские: тридцатилетний Виктор Максимович (наш будущий свойственник через жену брата), уже выдвинувшийся как инициатор германистики на кафедру Университета (думается, что по его совету мы и очутились в Гуммала Сари), и его много если двадцатилетняя жена, рожденная Яковлева, красивая, «невинного» вида блондинка — настоящая Гретхен из «Фауста» — наверно уже занятая мыслью о надвигающемся к поздней осени материнстве, чем должно быть и объяснялось особое, нежное внимание, которое она уделяла нашему четырехлетнему Андрею. Помню, что раз они привели к нам гостивших у них родителей. Отец В.М., Максим Савельевич, был видным врачом-ларингологом.

Приходили и обитатели соседних с нами мест, как тетя Адя, проводившая лето в деревне вместе с одним из петербургских детдомов, где она в то время служила воспитательницей. Также, к волнительной радости нашей с братом, Иван Михайлович Гревс, игравший, кажется, и в этом году руководящую роль в семинарии по изучению Павловска. Наверное тоже и Гляссер, до царско-сельской школы которого от нас было каких-нибудь полчаса ходьбы по большой дороге. В ней, кстати, я проводил почти каж-

дое утро, пользуясь его разрешением упражняться там на рояле. Приезжали тоже из Петербурга школьные товарищи, главным образом неизменный Шура Шальников.

О Павловском вокзале как-то ничего не вспоминается, но помнятся музыкальные сеансы, два или три, на какой-то окрестной даче, где проводили каникулы отцовские коллеги-естественники (фамилий не помню), завязтые меломаны-дилетанты. Они завели обычай собираться раз в неделю для научных обменов мнений или для домашних концертов, даваемых ими самими или приглашенными, кажется, жившими по соседству профессионалами. Вспоминается благородная фигура пожилой, давно соседшей с оперной сцены певицы Медеи Фигнер, лихо спетая ее сыном (или племянником) ария Германа, кончающаяся словами «сегодня ты (в его произношении ”ти“), а завтра я», и блестяще сыгранная старым скрипачом Гарпом очень меня увлекшая соната Бетховена с отголосками Марсельезы, посвященная подававшему либеральные надежды молодому Александру I, — «дней Александровых прекрасное начало»... Что же до собраний научного порядка, то пришлось и отцу, ближе к концу августа, провести на них беседу на философско-естествоведческую тему в духе дорогого ему витализма. Как и следовало ожидать, прения прошли под знаком воинствующего позитивизма. Один из оппонентов заявил, что понятие «преображение» может быть приемлемо только как результат «естественного отбора», на что отец ответил, что для него оно тождественно с предметом приближающегося праздника Спаса Преображения. Через некоторое время до нас дошло стороной, что один из самых ярких критиков отцовских взглядов изготавил для одного из следующих собраний пародийную комедию, главными героями которой были «Сверхдобро» и «Сверхзло».

Во избежание недоразумений спешу заметить, что термин «сверхдобро» в доктрине отца никакого места не имеет, а к термину «сверхзло» он прибег, кажется, всего раз или два, и то в кавычках, в статье «О природе сатанинской»¹¹⁵, которую он только что закончил, а мы с матерью и братом переписали начисто (в чем за себя не ручаюсь) в трех экземплярах под его диктовку с черновика.

Статья была написана для сборника, посвященного памяти Достоевского, по случаю столетия и сорокалетия со дней его рождения и смерти. Напомню ниже, сколькими литературными юбилеями был ознаменован 21-й год, а сейчас только замечу, что летом и осенью их список печально и трагически обогатился на будущие времена именами двух корифеев русской поэзии. О смерти

первого из них, Александра Блока, мы узнали от бывшего его знакомым, кажется, даже другом Жирмунского, ездившего на его похороны, 10 августа, на Смоленское кладбище. Тогда же стало известным о начале так называемого Таганцевского дела, которому предстояло две недели спустя разрешиться расстрелом, среди других представителей интеллигенции, Гумилева, скульптора кн. Ухтомского и университетского коллеги отца, профессора Лазаревского.

Отозвались деяния властей и на служебном положении отца. Помнится, что еще на даче мы узнали о предпринятой Наркомпросом чистке среди университетской профессуры, о его отставке с кафедры философии, но в виде воздаяния за невзгоды его революционной юности — причислении к преподавательскому персоналу, наверное, новооснованного Исследовательского института¹¹⁶.

К тому же, по убеждению отца, именно вследствие этих событий, у него под конец нашего пребывания в Гуммала Сари начались жестокие приступы желчно-каменной болезни и после совершенного с невероятным трудом переезда в Петербург, он слег в постель на несколько недель.

Нам же с братом начало сентября принесло бесценное обогащение в области отечествоведения через не книжное, а прямое общение с монументальным наследием допетровской Руси, общение, которое еще не могло возникнуть в наши отроческие годы перед церквями Торжка. Теперь же администрация, ведавшая школьными экскурсиями, дала возможность ученикам старших классов гимназии совершить под предводительством учительницы истории поездку на неделю в Псков.

Нетрудно себе представить, как велик был наш энтузиазм. Но к нему присоединилась тяжкая забота о нужной для путешествия обуви, так как наша пришла в полную негодность. У меня даже явилась мысль использовать для поездки давно хранившиеся у нас, из любви к фольклору, лапти, чтобы носить их со скреживающимися вокруг онуч веревками. Однако, узнавшая об этом столь мало «барском» намерении властная кухарка Петровна пришла в негодование и (как не отдать честь ее великодушию?) одолжила мне свою пару башмаков. Володю же, не менее мило-стиво, снабдила полуботинками Мазяся.

Путешествие во Псков совершилось не без сюрпризов. То, что нашей группе был предоставлен прицепленный к пассажирскому

поезду товарный вагон, имело то преимущество, что ночь можно было провести лежа, хоть и на полу без всякой подстилки. Хуже было проснуться утром отставленными на станционные запасные пути Луги и провести целый день в этом безынтересном местечке, почтенном стихами Пушкина «хуже б не было сего городишки на примете...» Приятнее было добраться после второй ночи в теплушке и суточного запоздания — до Пскова и разместиться в отведенном для школьных экскурсий помещении в Спасо-Мирожском монастыре, еще не покинутом монахами. Правда, их оставалось всего трое-четверо вместе с архимандритом, служившим как-то попросту, без торжественности в соборе XII века, среди строгих фресок на синем фоне. Помню и одного старца-монаха, занимавшегося каким-то женским рукоделем, как будто вязанием чулок для городских заказчиц. Наше жилье и кухню с хорошей для изголодавшихся петербуржцев едой обслуживали послушники, главным образом, добрейший, примерно сорокалетний, рыжий «дядя Яфим». Для утреннего умывания спускались под горку на Великую, любуясь на широко раскинувшийся над противоположным берегом древний белокаменный город.

С его судьбами и памятниками нас познакомил, умно и талантливо, некий Владимир Агаевич, должно быть местный эрудит, из речений которого помнятся периодически возвращающиеся «п-сковичи, знаете ли...». К чести нашей группы, могу сказать, что его воодушевленным повествованиям она уделяла самый живой интерес¹¹⁷.

Стоят ярко в памяти хождения по городу, посещение живописного рынка со съехавшимися на него окрестными крестьянами и, при закате солнца, их лодки, спускающиеся по реке к озерам, или, в сумерки последнего вечера, подъем на надвратную звонницу и прогулка по примонастырским лугам с веселыми громкими разговорами, которым положил конец как бы выросший из земли милиционер с винтовкой, напомнив нам, совсем не грубо, что мы находимся у проходящей «только» в восемнадцати верстах эстонской границы.

По возвращении в Петербург надо было подать нашим учительницам сочинения о виденном. Я, как и Зина Троицкая, написал о псковской архитектуре, а Володя, в котором созрел историкософ, настроил (или хотел настроить) трактат под глубокомысленным заглавием «Кремль, как историческое оправдание Пскова».

За наше недельное пребывание в Пскове никаких почтовых (не говоря о насилу существовавших между городами телефонных сношениях) новостей из дому не было. Потому не мудрено,

что приближаясь к Кабинетской с остановки снова платного трамвая, я, как наверно и Володя, спрашивал себя со страхом, в каком состоянии мы увидим (да и увидим ли?) тяжело заболевшего отца. Но, слава Богу, увидели его только сильно похудевшим, в постели.

Стрессий следом за летней засухой голод в Поволжье начал отражаться на жизни Петербурга появлением на улицах просящих милостыню крестьян. Представляли угнетающее зрелище сидящие у тротуаров женщины с малолетними детьми. Конечно, вскоре неурожай сказался и на издавна скаредных хлебных пайках. Говорю, разумеется, о черном хлебе, потому что белый был забыт настолько, что когда навестившая нас после долгого пребывания в северных провинциях бывшая учительница гимназии преподнесла нашему Андрею булочку, он пришел в замешательство и спросил, с какой стороны ее начинать есть.

По счастью, начали приходиться из заграницы продовольственные и вещевые посылки, первым делом от уехавшей весной в Ревель или в Ригу семьи Познер. С одной из них пришли Лелины туфли на не очень высоких каблуках, и Володя довольно долго ходил в них в университет.

Также начала свою благотворительную, можно даже сказать спасительную деятельность (ошельмованная старосоветскими историками как якобы шпионская) «Ара» — American Relief Administration. Ею, например, были учреждены столовые для малокровных детей младшего и среднего возраста, и в одну из них, открытую в бывшей кондитерской Конради на углу Звенигородской и Загородного, мы водили каждый день Андрея. После еды детям давали на дом булочки, которые заставляли надкусывать, чтобы их не носили продавать на рынок.

Особенно ценным для нашей и многих других интеллигентских семей предприятием «Ара» было учреждение продовольственных складов, на которых, по внесению заграничными друзьями известной суммы долларов, выдавались их русским адресатам стандартные посылки с белой мукой, рисом, сахаром, жестянками сгущенного молока и другими консервами. Раза три мы были благодетельствованы получением оттуда американских солдатских башмаков.

Следует вспомнить, что лето 21-го ознаменовалось двумя важными событиями в отечественной истории: завершением гражданской войны с утверждением советской власти на всей территории, по крайней мере, европейской России и введением по мысли умудренного горьким опытом Ленина, новой экономической политики, прозванной нэпом.

Замирение страны не внесло в ее жизнь, по крайней мере в глазах обывателей, заметных перемен. Только появились в пригородных деревнях ходившие от дома к дому за милостыней продуктами демобилизованные красноармейцы. Кстати о солдатской форме: к этому времени мы стали замечать сменявшие традиционные фуражки «буденовки», долженствовавшие (как теперь известно, по идее Кустодиева) напоминать своим силуэтом древнерусские шлемы-шишаки, но нами с братом недружелюбно прозванные «свиными рылами».

Что же до нэпа, то он в первое время проявлялся, главным образом, оживлением рынков, на которых бывшие «спекулянты», или «стрекулянты», приобрели гражданское право. На них появились, рядом с обычными продуктами, новофабрикуемые товары вроде тянушек-«ирисок». Послышались лихие выкрики парнишек: «Каму кури-кильной бумаги» или «папирос Джаакондра» в оболочке с изображением леонардовской Моны-Лизы. Тоже появились в вольной продаже прозванные обывателями «спички шведские, головки советские, пять минут вонь, потом огонь»¹¹⁸. С развитием частной торговли поползли вверх и цены. Уже осенью слово «миллион» стало настолько ходячим, что обратилось в «лимон», хотя появившийся на рынке давно забытый фрукт и продавался еще только за каких-нибудь двадцать тысяч.

Появилось вообще много отвечающих меняющемуся образу жизни речений и стал понемногу расцветать, готовя пищу для вдохновения Зоценки, советский обывательский фольклор. Он как-то скрашивал, пошловато, но невинно, фон повседневной действительности, несколько приглушая доселе царивший на нем почти безраздельно страх перед правительственным террором.

Здесь уместно будет вспомнить о возникшей уже к середине осени реакции на создавшийся новый менталитет в стремящемся к сцене кружке Аси Афанасьевой, который нашел себе покровителя, а ей очередной предмет обожания, в лице нового *jeune premier* Гайдебуровского театра Шимановского, довольно красивого актера лет двадцати пяти. В пору четвертой годовщины водворения Советов их труппа (человек с двадцать) выступила в каком-то из театральных залов с пьесой своего изготовления под заглавием «Октябрьские думы». Ее открыл вступительным словом иначе в ней не благоволивший участвовать Шимановский, лирически воодушевленно, слегка вставая на носки и разводя опущенные руки, как готовые распуститься для полета крылья. От самого представления в памяти остались только фрагменты. Занавес открылся, кажется, на пустую сцену, из-за кулис которой слышались голоса городских обывателей. Сначала торгующая

на рынке женщина жалобно предлагала свой товар: «Ириски, ириски... а вот спички шведские, головки советские», после чего две бывшие дамы обменивались сенсационными слухами «Ленин? — на Марс улетел», «а Троцкий? — курицей запел». Дальнейшее действие развивалось в том же духе обличения характеризующего новое время духовного убожества, за чем следовал не помню как выраженный зов на возвращение к героическому духу времени военного коммунизма и, в заключение, — вдохновенное пение «Интернационала». Не знаю, в какой мере эти идеалисты-почитатели существующей власти возрадовались осуществлению своих чаяний, когда лет семь спустя за них взялся Иосиф Сталин.

В Асином кружке состояла еще одна из бывших учениц гимназии, но была из него выставлена, вероятно, за недостатком революционного романтизма. Что же до самой Аси, то когда она как-то появилась у нас, — бабушка процитировала ей слышанную от одной крестьянки поговорку: «уж ты больно кадишь, всех святых опалишь».

6-го ноября (24 октября ст.ст.) было торжественно отпраздновано сорокалетие бабушкиной гимназии. К этому дню главный зал был украшен драпировками и гирляндами. Также были украшены и классы, каждый по вольной инициативе занимавших его учеников. Тут можно было хорошо отдать себе отчет в том, что с детьми ниже двенадцатилетнего возраста поднимались более разношерстные поколения, все менее и менее отмеченные дореволюционной культурой. На стене одного из младших классов красовались стихи, что-то вроде «Слава всем мозолистым рукам, слава каждой капле пота...» В том же или другом классе, как мы узнали стороной, чуть не появился на стене портрет Ленина, принесенный одной девочкой, но ею же и разорванный на слова кого-то из товарищей, что он к празднику отношения не имеет. По счастью, скандала из-за этого не произошло.

Празднество совершилось в два приема, в двух разных помещениях. Началось примерно в третьем часу в особняке бывшего, кажется, купеческого клуба на Кабинетской, где, как мы видели в 15-ом году, помещался лазарет, а теперь происходили в его большом зале, более вместительном, чем наши гимназические, концерты и всевозможные собрания. Сперва прозвучал под управлением нового учителя пения Михеева, регента церкви Первой гимназии, сочиненный им гимн, начинавшийся словами: «Привет гимназии родной в ее пору сорокалетия». Потом, естественным образом, произнес вступительную речь директор Борис Павлович, поведав на своем языке преподавателя физики об основании

и судьбе «данной гимназии», и в заключение обратился к бабушке — для большей торжественности не на «вы»: «Спасибо тебе, Мария Николаевна». Последовали речи, если не от правительственных учреждений, то от некоторых частных объединений вроде сформировавшегося для случая «Стоюнинского комитета», от бывших и теперешних учениц и учеников, не только в прозе, но и в стихах. В виде номера общекультурного порядка, недавно вернувшийся в Петербург после долгого пребывания в провинции Яков Яковлевич Гуревич, преобразившись из литератора-дилетанта в мыслителя, преподнес собравшимся широко задуманный и длительный взгляд с птичьего полета на проблемы просвещения.

Зато довелось ему проявить себя во всей красе и даже стать центральной фигурой на вечеринке в гимназическом зале, где стараниями кружка родителей учеников было организовано (редкое для времени явление) чаепитие, за которым последовал концерт с участием исполнившей романсы Чайковского и Мусоргского известной певицы Бутомы-Назановой и, в качестве пианистов, Граменицкой и Рензина. Затем эстрадой завладел Яков Яковлевич и обворожил публику своим искрящимся талантом рассказчика, карикатуриста-имитатора и фольклориста. Вспомню о частушке с чередующимися на русском и французском языках куплетами, которую мы с братом внесли в репертуар наших собственных дурачеств. Также оказался он на заключившем праздник балу дирижером вальса с *grand rond*, под его парадоксальную команду: «*Avancez en reculant*» и «*Reculez en avançant*».

За Гуревичем-комиком стоял кандидат на трагика. Уже несколько лет назад, когда он изображал что-то у нас в гостях, в его юморесках проходили речения вроде «Яков, Яков драматург» или «Я грозный гений — драматург!». Из этой области его творческих проявлений мне известно только одно: прочитанная им у нас по рукописи вскоре после гимназического праздника драма под заглавием «Маков-сын». В ней дело шло о попавшемся на чеканке фальшивой монеты разжалованном из офицерского чина сыне жившего чувствами воинской чести старого оставного генерала. Не знаю, попал ли когда-нибудь «Маков-сын» на сцену или в печать и остался ли в вообще какой-нибудь след от литературных опытов «Якова-драматурга»¹¹⁹.

Пребывание в Пскове поспособствовало сближению меня, Володи и Шальникова с учениками и ученицами идущего за моим новым шестого класса. В нем, кроме Зины Троцкой, учились Лена Долгинцева и Тамара Хмельницкая, обе стяжавшие позднее известность на литературном поприще¹²⁰. Был и подвергавшийся всеобщим, не очень злым насмешкам, оторванный от действи-

тельности, восхищенный размахом Октябрьской революции, которая ему наверное представлялась как осуществление финала XI симфонии Бетховена, Бена Дымшиц, почти наверное отождествимый с вошедшим в Советскую энциклопедию государственным и партийным деятелем Венямином Эммануиловичем Дымшицем¹²¹. Назову еще «трех Жень», с которыми мы с братом особенно подружились и долго переписывались из-за границы: конечно, Степанову, не раз упомянутую Виленкину и Файнберг, у которой мне довелось побывать в Петербурге полвека спустя, незадолго до ее смерти. Упомяну также вошедших в круг наших более-менее приятелей, двух парнишек, одолеваемых каждый своими комплексами: Гогу Губина и (имя забыл) Бенедиктова.

Были общения тоже и с пятиклассниками, из которых позже «вышли в люди» Валя Крошкина, в замужестве Фалеева, заслуженная сотрудница Русского Музея, специализировавшаяся на народных тканях, Федя Пашенко, поработавший в области скифологии, а в области точных наук — Женя Порай-Кошиц, академик, как, если не ошибаюсь, и его младший брат. Жене случилось играть на рояле вальс во время перемен, которые в этом учебном году приняли характер танцулек.

К столетию со дня рождения Достоевского наша гимназия оказалась в числе средних школ, куда приехал знавший его отлично (как и бабушка) Анатолий Федорович Кони. Благодаря властям, бывший сенатор, ставший профессором уголовного судопроизводства, пользовавшийся, страдая сильной хромотой, привилегией (ставимой ему в упрек некоторыми непонятливыми интеллигентами) — располагать «государственным» экипажем с кучером. Бабушка его встретила как давнего знакомого¹²², а отец довел под руку по лестнице до большого зала. Помню, что собравшиеся ученики старших классов слушали почти с затаенным дыханием его лекцию и чтение фрагментов из романов Достоевского, им самим и сопровождавшей его причастной к литературе дамой. Также выступал с ним и Н.П. Анциферов, недавно написавший еще не вышедшую, принесшую ему известность книгу «Душа Петербурга». Расположив к себе юную аудиторию мягко и певуче произнесенным обращением «Друзья мои», он повел речь о Петербурге Достоевского и его домах, способных, по его выражению, «нашептывать» черные мысли своим обитателям. Его словам об угрозах петербургской стихии вторил бушующий за окнами ноябрьский западный ветер. Прибавлю кстати, что в эти самые часы Володя смотрел с набережной на «рвущуюся к морю против бури» и угрожавшую кинуться на «омраченный Петроград» Неву.

«Литературный», как мы его назвали, год ознаменовался между прочим семисотлетием со дня смерти творца «Божественной Комедии». Приняв этот юбилей близко к сердцу, Володя читал с особым интересом художественно изданную книжку «Данте и музыка», которую преподнес отцу желавший с нами сблизиться автор, писавший под псевдонимом Игорь Глебов композитор и музыковед Борис Асафьев.

Ближе к концу года исполнилось сто лет со дня рождения Некрасова, а 25 декабря умер Короленко. Их память была почтена гимназией уже в следующем году.

Можно говорить о 21-м годе и как о «музыкальном», потому что в мае месяце была учреждена Государственная Филармония с Эмилем Купером во главе. С самого начала зимнего сезона мы завели обычай ходить по меньшей мере раз в месяц, иногда вместе со Степановыми, на симфонические концерты в чудный зал б.Дворянского Соборания.

Побывали тоже раз или два в зале все того же клуба на Кабинетской, где одно время давались по инициативе какой-то общественной организации камерные концерты в целях популяризации классической музыки, с участием первоклассных исполнителей, по-видимому заинтересованных дополнительным заработком или пайком. Помню слышанные там арии из опер и романсы в исполнении Тартакова с оригинально преподанным аккомпанементом Бихтера.

Еще о музыке: я еще продолжал брать, примерно до середины зимы, уроки у Гляссера, наверное, не чаще чем раз в две недели, так как из-за разрежения железнодорожного сообщения приходилось ночевать на диване в его школе. Ужин проходил по-семейному, под эгидой Ольги Федоровны на верхнем этаже их квартирки, прозванной «голубятней». Хорошо его помню в травянистого цвета тужурке из фортепьянного чехла, игравшим на рояле для моего и своего удовольствия до десяти часов, после чего я спускался спать. Его клонило рано ко сну, но в середине ночи он просыпался и до утра не спал, или думал, что не спал.

Теперь о театре и искусствах: в Большом Драматическом шли «Доктор поневоле» и «Смехотворные прелестницы» Мольера в декоре Александра Бенуа. Произошла приведшая нас в благоговейный трепет встреча в гостях у Степановых — с их приятелем Константином Сомовым, и на выставке современных художников в Зимнем дворце вызвала наше смешливое удивление картина «Прогулка над городом» пребывавшего последние месяцы в России Марка Шагала¹²³.

Не помню, случилось ли отцу в этой первой, да и во второй половине учебного года преподавать в Исследовательском институте, куда его перебросили из университета. Большую часть сентября он провел, как было сказано, в постели¹²⁴. После чего, на моей памяти именно этой осенью, он был приглашен читать вечерние лекции в основанном до Революции Народном университете, в фабричном районе у Шлиссельбургского тракта, версты за две-три от нас, откуда возвращаться приходилось поздно, пешком через захолустья¹²⁵.

К этому времени снова расширился наш домашний круг. Вернулась в него Катя Полякова после двухлетнего пребывания в средней России — в деревне у своей долго перед тем не виденной матери. Она привезла с собой много живописных рассказов в лицах о крестьянских нравах и, увы, свои «достоевские» комплексы, в которых приходила исповедоваться отцу. Изменив свою профессиональную формацию, которую прежде ориентировала на архитектуру, она вверилась своему главному таланту, поступив на курсы театрального искусства.

Также появилась у нас совсем неожиданно и поселилась дотоле нам никак не известная дальняя родственница из Киева, Наталия Яковлевна Горунович, из семьи, находившейся в свойстве скорее с Пржиленцкими, чем с Лосскими. Путешествие в Петербург она совершила в невероятнo тяжелых условиях: стоя в набитом пассажирами коридоре вагона чуть что не от Киева до Москвы, в соседстве с дамой, у которой во время пути на руках умер младенец. Выйдя с Николаевского вокзала на Невский, она стала, не зная, что предпринять в совсем ей незнакомой столице, спрашивать у интеллигентного вида прохожих, не известно ли им, где живет профессор Лосский и находится гимназия Стоюниной. И по провиденциальной случайности один из встреченных у Гостиного двора направил ее на Кабинетскую улицу.

Наташа Горунович была красивой девицей-шатенкой, которой шел двадцать третий год, выпускницей гимназии Жекулиной и студенткой Киевского университета. Как выяснилось позже, с ее слов, причина ее переселения была чисто сентиментального порядка. В Киеве у нее завязался роман с молодым филологом Борисом Александровичем Лариным. В него же безумно влюбилась и одна ее подруга, которой она его по великодушью «уступила», и супруги уехали в Петербург. Но чувство взяло свое и привело также ее на берега Невы. Не знаю, скоро ли по приезде ей довелось увидеть предмет своей любви. Поначалу она поступила в университет и там, не знаю, в какой мере серьезно, занялась римскими поэтами; помню, что говорила о Катулле. Кроме того,

и она, и более-менее сошедшаяся с нею Катя помогали няне, занятой главным образом кухней, вести домовое хозяйство.

В самом конце года, перед самым Рождеством, появились в Петербурге и более близкие, давно не виденные родственники с отцовской стороны: его сестра, «тетя Маня» Шмидт, гостившая у нас летом 17-го в Карташевской, и племянник, кузен Борис Троицкий, моряк красного флота, которого мы до того видели одиннадцатилетним гимназистом, когда проводили в 909-м году лето в Витебской губернии.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД

Как и в прошлом году, начало января ознаменовалось школьным праздником. На сей раз в форме маскарада, в котором приняли участие ученики не только старших, но и средних классов, восходя до десятилетнего возраста. Неизменно преданный своему рыцарскому средневековью брат облекся в оклеенные серебряной бумагой картонные латы и шлем. Я же, из любви к александровской эпохе, явился в отцовских синем вицмундире и длинных белых кальсонах от Эсдерса, кружевных жабо и манишке, материнских лайковых перчатках, с черепаховым лорнетом, завитыми тупеем волосами и намалеванными на щеках пушкинскими бакенбардами¹²⁶.

Выряженными появились и некоторые преподаватели: помню Быкову в сарафане, Марию Лазаревну в кимоно и, если не Марию Алексеевну Умову, то ее сестру Катю в образе учителя музыки 1840-х годов, с волосами, подобными напоподобие шевелюры Листа, висящей на шнурах нотной папкой с надписью «Musik», выдававшую себя за «современника Баха — Бузони»¹²⁷. Но самый большой эффект произвела фигура химика Кононова, достаточно невысокого, чтобы влезть в подлинные, музейной ценности доспехи японского самурая, со спущенным на лицо забралом широкого, похожего на опрокинутое блюдо, шлема.

Программа вечера составила из чередовавшихся с общими танцами в зале небольших спектаклей, которые являлись плодом творческих опытов учеников. Так, было представлено эфемерной группой, в которую входили мы с Шальниковым, написанное возглавлявшим ее Володей, якобы средневековым хроникером, читаемое с кафедры житие «праведного» монаха с показом контрастирующих с повествованием относящихся к нему сценок, стоявших ближе к «Декамерону» Бокаччио.

Вспомню еще о совместном творении шестиклассниц Лены Долгинцевой и Тамары Хмельницкой. Поскольку обе они проявили позже свои таланты в мире литературы, будет небезынтересным воскресить в памяти пролог их представленной в нескольких сценах поэмы: «Где-то и когда-то, близко иль далеко, может быть недавно, может быть давно, меж людей таких же, как всегда и всюду, жил поэт...» Из других номеров вспомню один, для которого Женя Степанова костюмировалась под Гольбейновский портрет Анны Болейн, и инсценированную пятиклассниками пресловутую поэму Немировича-Данченко «Трубадур», с Валей Крошкиной в виде «поселянки».

Был и весьма живописный, программой никак не предвиденный номер: стремительное появление в зале, ближе к концу праздника, во время одного из спектаклей, директора Бориса Павловича, который тут же залез под потолок на «рейку» («шведскую стенку») и прервал декламирующую что-то девицу советом: «Шепелева, говорите громче». Спустившись несколько позже на пол, в порыве необычайной веселости, он потребовал по какому-то поводу от пришедшей в качестве зрительницы певицы Бутомы Названовой «дать ему свою лапу», что она сделала с большой готовностью. Позже узнали, что до школьного праздника Б.П. добрался после новогодней пирушки с коллегами-технологами, достаточно хорошо снабженными лабораторным спиртом, чтобы превращать его в самогон. Потому прав был один из школьников, заявивший категорически, наблюдая за выходками директора: «Нахлестался... вдрызг».

Столетний юбилей рождения Некрасова был отмечен учениками старших и средних классов двумя послеобеденными сеансами с чтением его стихотворений и инсценировками фрагментов его поэм. Помню и посвященную его памяти лекцию Кони, кажется, в служившем культурным целям зале подворья Троице-Сергиевой лавры с еще не обезличенным фасадом нео-московского стиля 80-х годов, на Фонтанке, в непосредственном соседстве с необарочным дворцом Белосельских-Белозерских, в ту пору «домом Нахимсона». Это были полные жизни воспоминания о последних годах жизни поэта-народника, собраниях членов редакции основанных им «Отечественных Записок» или о дружеских обедах, на которых он рассказывал своим сотрудникам и приятелям забавные истории, мило прося свою жену, бывшую служанку, покинуть на время столовую, когда повествуемое выходило за пределы приличного. Спросившему его как-то другу «кому же, собственно, на Руси жить хорошо?» — он, чуть подумав, ответил: «пьяному».

Также почтили память обогатившего своей кончиной, вместе с Блоком и Гумилевым, «литературный» 21-й год Короленки, — вечеринкой под знаком его художественного творчества с «исканием правды», осуществленной под умным руководством учителя словесности Савича, похожего на Достоевского.

В этом учебном году проходила в нашем классе и всеобщая история литературы с новопоступившим талантливым и живым преподавателем, американизированным херсонским или нежинским греком Алфеем Ильичом Харнасом.

Менее отрадно было вторжение свыше для просвещения нас в дотеле неведомой «политграмоте» молодого субъекта в военной шинели необычного покроя, как будто с рукавами-раструбами, о культурном уровне которого достаточно свидетельствовали речения вроде «я только констатирую ту факту». Началось с Французской революции и прославления санколотов, «которых так называли, потому что у них не было красивая штанишка». Восхвалялся Марат, чтобы убедиться в благородстве мыслей и поступков которого довольно было бы посмотреть на его вдохновенное лицо. Но тут пришлось и ему самому смутиться, когда он увидел на иллюстрации какой-то брошюры, услужливо протянутой ему нашей классной коммунисткой Цимберг, жутко-уродливую образину «друга народа», и он должен был признаться, что представлял его себе несколько иначе. Также пришлось ему допустить, что при его большой занятости в преподавание вкрадываются неточности, когда на его рассказ о «народовольцах» и никогда не имевшей места «казни» Веры Засулич, пришедшая в класс послушать его урок бабушка прервала его, чтобы заметить, что, по всей видимости, дело шло о повешении Софии Перовской. Что же до его «занятости», то в нее, как он сам этим хвастливо-цинично поделился с классом на другом уроке, входило между прочим осуществление проекта убрать со своего пути, через донос кому-то по знакомству, в чем-то с ним соперничавшего сотоварища. На что возмущенный Шальников, веря или не веря в то, что говорил, заявил подлецу, что за подобные дела попадет и он куда следует. Вскоре после этого сеансы политграмоты сошли сами собой на нет.

В связи с поступательным движением правительственных гонений на веру вспоминаю, что наша церковь Первой гимназии оказалась уже с прошлой осени, если не с лета, закрытой и что даже ею пытались завладеть «обливанцы», в которых, как и в других сектантах, власти поначалу видели своих фактических союзников в борьбе с доминирующим традиционным православием. Однако благодаря усилиям приходского совета церковь для нас

снова открылась, вероятно, не без содействия еще не преследуемого лично митрополита Вениамина, который вскоре почтил наш приход своим приездом и служением всенощной.

Последний раз мне довелось его встретить в конце зимы, еще на свободе, выходявшего в сопровождении другого духовного лица из-под свода надвратного храма Александро-Невской лавры, куда я направлялся с матерью, и, к ее справедливому возмущению, не успел сообразить скинуть с головы шапку.

Новым настоятелем нашего прихода, уже больше года не возглавлявшегося кажется покинувшим Петербург о.Иоанном Слободским, стал не знаю откуда пришедший молодой священник, который завоевал себе всеобщее расположение, хотя и не походил на выпускника богословской академии, не носил бороды, а главное, из-за одежного кризиса, рясы, которую несколько парадоксально заменял френч.

Наша последняя зима в России прошла в гораздо лучших материальных условиях, чем в прошлые года, главным образом из-за довольно часто получаемых заграничных посылок, непосредственно или через склад «Ара». Среди их отправителей должно упомянуть, кроме Познеров, кажется, уже перебравшихся из балтийских стран в Берлин, и, не помню как с нами связанную в прошлом, проживавшую в Лондоне семью Плотниковых.

Тоже мы уже не зимовали в трех комнатах, а распространились на обе столовые: «маленькую», где поселились няня и Наташа Горунович, и разъединенную с ней бабушкиным кабинетом (где разместился мой — седьмой выпускной класс), «большую» столовую, куда была перенесена из жилых комнат плитка, на которой няня стряпала более сытные и разнообразные, чем раньше, обеды и ужины. В их меню входили нередко оладыи из заграничной белой муки. В связи с ними вспоминается, по фонетической ассоциации, что нашим домашним врачом последних двух лет был ставший другом доктор Аладинский, импрессионистически прозывавшийся няней «лыска в очках». Раз или два, прощаясь с ним, когда он уходил от отца, бабушка приглашала его остаться обедать с нами, прибавляя, едва ли очень кстати: «у нас, кстати, оладушки».

А навещать отца доктору пришлось, к сожалению, часто, потому что в посту его стал одолевать новый приступ желчнокаменной болезни. На сей раз ему даже предписывалась серьезная операция, с удалением не только желчного пузыря, но и желчного протока, в котором застрял камень. Но прямым чудом, через два часа после предварительного визита хирурга, камень вышел из протока сам и припадки прекратились¹²⁸. Все же для упрочения

нормального состояния печени доктора советовали отцу предпринять трудные хлопоты в целях поездки на лечение в Карлсбад. Направив в Москву прошение об иностранном паспорте, он одновременно написал, а Ольга Антоновна и ее сестра Мария Антоновна перевели на чешский, письмо знакомому с 1917 г., ставшему президентом Чехословакии Масарику — с просьбой о разрешении въезда в страну, и оно было дано отцу без затруднений.

Улучшение условий жизни ясно характеризуют отцовские Воспоминания:

«Благодаря улучшившемуся питанию силы русской интеллигенции начали возрождаться и потому явилось стремление отдавать часть их на творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голодом и холодом, когда не ходили трамваи и не было извозчиков, профессора могли только дойти пешком до университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и вновь основать журналы»¹²⁹.

Стали воскресать издательства. От одного из них, может быть Сойкина, где он до Революции был одним из заправил, приходил к отцу с каким-то предложением И.Я. Перельман, которому, как автору очень нас в свое время забавлявшей своим остроумным изложением «Занимательной физики», я был очень рад быть представленным. От издательства Брокгауз-Эфрон приносили, наверно в порядке вступления в сношения, только что вышедшую, увлекающую меня до сего дня книгу Н.П. Анциферова «Душа Петербурга».

Раз, не знаю, по какому поводу, появился и обедал у нас одному отцу знакомый и давно с ним не встречавшийся поэт Георгий Чулков. Он поделился с нами некоторыми из своих находок для предпринятого им обширного собрания материалов, относящихся к жизни и творчеству Тютчева (изданных им год или два спустя). Помнится особенно его сообщение о неприязненных, стихотворных и устных суждениях поэта о Николае I, который в его глазах был «не царь, а лицедей» и в день смерти которого, вернувшись домой, застав своих домочадцев в слезах и узнав о причине их горя, сказал: «А я думал, что Бог умер». На что бабушка, вспоминая о 1855 годе, рассказала Чулкову о том, как ее родители и многие русские оплакивали скончавшегося государя¹³⁰.

Появился раз и незнакомый отцу Перетяткович, человек в становившихся уже совсем редкими инженерной форме и фуражке, и принес, с просьбою ознакомиться с нею, рукопись трактата о чем-то вроде взаимоотношений музыки со зрительным миром.

Во всяком случае, в сопровождавших его текст графических схемах я очень скоро распознал транспозицию в изломанные линии нотных иллюстраций только что приобретенной в благословенном книжном магазине «Петрополис» «Музыкальной хрестоматии» (если не ошибаюсь в заглавии) русского музыковеда Ливерия Саккетти. Позже, уже за границей, мне случилось узнать от композитора Чеснокова, встречавшего в свое время Перетятковича-прозорливца, что он уже был накануне открытия, кажется, путем математических выкладок, «интеграла творчества».

Тоже приходил новоявленный Гете, выпускник средней школы, принести на прочтение рукопись настроенной им своего рода третьей части Фауста, что отец сделал, но отзыва никакого предпочел не давать.

Пожалуй, самым интересным был визит Гайдебурова, который пришел просить отца принять участие в чествовании двухсотого представления «Свыше наших сил» Бьёрнсона, прочтя доклад о философском значении этой драмы на торжестве, которое предвиделось после спуска занавеса. Отец, усмотревший с первых представлений этой драмы религиозную глубину, о которой, надо полагать, автор «социальной трилогии» не помышлял¹³¹, согласился с большой готовностью. Несколько позже у нас появился один из членов труппы, чтобы дать отцу, с какими-то необычайно «интересными» интонациями, уточненные сведения о программе вечера.

На одном из предыдущих представлений в течение того же сезона побывали вместе с родителями и мы с братом, потому и у нас были свежие и в общем хорошие впечатления от пьесы и ее постановки с четою Гайдебуровых, вложившей весь свой талант в воплощение образов пастора и его больной жены. Хотя и вспоминается без особого удовлетворения слишком бьющая на религиозный эффект заключительная сцена, в которой герой драмы очень шумно испустил дух (причем у меня, как у недостойного зрителя, вкралась в мысль ассоциация с пустеющей от прокола автомобильной шиной), падая перпендикулярно, чтобы изобразить крест; на лежащее на полу тело умершей, несмотря на его молитвы, супруги.

Ближе к «200-му представлению» выяснилось, что на нем для семьи докладчика места хватит только после спектакля, на юбилейное торжество. Правда, когда мы с матерью и братом, выждав в фойе конец пьесы, вошли в зал, нам были указаны освободившиеся места в самых первых рядах. Правда тоже, что и нашу долю досталось зрелище не лишенное живописности. В самом деле, занавес открылся на сцену, преобразенную в своего

рода амфитеатр с задрапированными ступенями, на которых расположились в нарочито-непринужденных позах, полусидя, полулежа, переодевшиеся в городское платье члены труппы, наверное в полном составе, слушать себе похвалы, а никак не обращенные к зрителям философские лекции. Диссонанс внесло уже то, что по просьбе отца организаторам вечера пришлось поставить перед амфитеатром («гаремом», как его прозвала мать) столик, может быть и лампу, чтобы он мог иметь перед глазами конспект, если даже не текст доклада. Нечего говорить о его содержании: это был явно «не в коня корм» для собравшейся разношерстной публики, и не удивительно, что в зале все время раздавался нетерпеливый кашель и скрип злобно приводимых в движение сидений складных кресел.

Что же до других выступлений, то следует в первую очередь назвать речь товарища Ядвиги, председательницы Союза безбожников, которая истолковала, со свойственной ее соратникам грубостью выражений и жестов, пьесу Бьёрнсона в обратном, если не еще более удаляющемся от мысли автора направлении, превратив ее в инструмент антирелигиозной пропаганды.

Выступал тоже возглавитель какого-то другого официозного объединения, что-то вроде «партинструктора», и приветствовал труппу словами «В вашем театре наши товарищи находили того кое-чего, чего им не давали другие театры», причем сложенные щепоткой пальцы правой руки давали понять, что в этом «кое-чего» и был «самый цимес» ценимого пролетариатом искусства.

Потом вышел на сцену анархист: патриарх с длинными седыми волосами и бородой, и для начала счел уместным вынуть из кармана пальто листик какой-то старой газеты и прочесть отрывок из репортажа начала века, никак не поощрявшего сценические дебюты Гайдебурова. Затем, поплыв по течению своей подлинно анархической мысли, он устремился куда-то ввысь, вслед за Россией, которую он сравнивал с запущенным к небу камешком, на чем был прерван приглашением организаторов вернуться на землю к теме праздника или уступить место следующему оратору, что он и сделал.

Тут появилась на помосте еще молодая фигура Питирима Сорокина. Будущий знаменитый директор Департамента Социологии Гарвардского университета уже завоевал себе в интеллигентном мире довольно широкую известность свободолобивым духом своих публичных выступлений, на которых он не стеснялся в выражениях. Раз, говоря (по словам брата) перед каким-то собранием университетских студентов и услышав их одобрительный

хотел на его сатирический выпад против негуманных и некультурных властителей, он обратился к слушателям слова гоголевского Городничего: «Что смеетесь, над собой смеетесь!», за чем последовали пессимистические аплодисменты и, будто бы, его не очень лестная реплика: «Что хлопаете, на свою глупость хлопаете!» Во вместительную кладовую его ума входили знания самого разнообразного характера, потому не стану размышлять, на этом ли вечере, как вспоминалось отцу, или при других обстоятельствах Сорокин ссылался на святого Нила Сорского¹³². Здесь же помню его стоящим, держа в левой руке дрожащие листочки с набросанными на них заметками, взглядывающим поверх очков на публику, с протянутой к ней опрокинутой ладонью правой руки и ведущим свою речь к забытому отцом категорическому заключению: «а вместо чуда — дохлая ворона».

В стенах того же театра и в течение того же сезона мы с братом и с Шальниковым высоко оценили деликатно прочувствованную и изящную постановку весело начинающейся драмы Мюссе «С любовью не шутят».

В Большом Драматическом театре видели прошедших с большим успехом «Слугу двух господ» Гольдони и шекспировского «Юлия Цезаря» с Монаховым в диаметрально противоположных ролях венецианского Фигаро Труфальдино и сурово-властного основателя Римской империи.

Как уже было сказано, с осени 21-го в наш обиход вошло иногда более чем ежемесячное хождение на концерты новооснованной Государственной филармонии, чаще всего под управлением Эмиля Купера, — в зале Дворянского Соборания, где усугубилось наше знакомство с классической музыкой. В состав Филармонии вошел не только большой симфонический оркестр, но и хор бывшей Императорской Певческой Капеллы, возглавлявшийся регентом Климовым. Его талант хорошо проявился в широко задуманной программе концерта русского церковного пения допетровской эры, от ранне-средневековых одноголосных «знаменных распевов» до двенадцатихорной оратории дьяка Титова. Стоит отметить, что когда после исполнения первых номеров в зале начались аплодисменты, Климов их остановил, мотивируя это как мог, — не установившейся до Революции традицией молчаливого одобрения «духовных концертов», а тем, что в средневековой Руси пения рукоплесканиями не приветствовали. Особое место на вечере заняла костюмированная инсценировка новгородского «Пещного действия» (кажется, XVI века), вокруг изготовленной для случая «Вавилонской печи» наподобие той, что хранится в иконном отделе Русского Музея. Не буду распростра-

няться о живописных деталях этого представления. Тоже под управлением Климова прозвучал впервые для нас с братом дотоле нам памятный из драмы Пушкина Реквием Моцарта. К этому откровению мы готовились с таким энтузиазмом, что даже взяли билеты не на стоячие места между колонн на хорах, а на средние ряды партера. Но перед началом концерта я стал жертвой своей прирожденной рассеянности, признаюсь со смущением, уже во второй раз при подобных обстоятельствах. Уже пройдя через входной контроль в зал и засунув, не знаю куда, остаток своего билета, я натолкнулся на практиковавшуюся тогда дополнительную проверку и, не находя билета, был выведен в вестибюль исполнявшим роль главного «вышибалы» известным своим служебным усердием высоким татаринном в пальто кофейного цвета. Когда я стоял там, роясь с отчаянием в отделениях бумажника и в карманах, передо мною вдруг появился Митя Шостакович и со словами «а, здравствуй, Боря» протянул мне руку, в которой я ощутил присутствие бумажки, — явно талона билета¹³³. Понимая, что оставить при себе я его не смогу, я от него отказался, вскоре после чего нашелся мой собственный талон, и я с ним вернулся на свое место. Исполнение в этот вечер Реквиема Моцарта оказалось нашедшим свой моральный смысл, так как взошедший на эстраду Климов объявил слушателям только что пришедшую весть о кончине Артура Никиша, попросив почтить стоя и молча память знаменитого капельмейстера, ставшего по providенциальному совпадению предметом песнопений о «вечном упокоении». Но молодая жизнь взяла свое, когда, расходясь по домам, мы шли дыша бодрим морозным воздухом вместе со Степановыми и другими приятелями между высоких сугробов, громоздившихся рядом с обледеневшей мостовой пустынного ночного Невского. Играли в снежки и вели себя громко, хоть и совсем безобидно, что, впрочем, не помешало перегнавшему нас стоя на дровнях парню-ломовику припустить ходу и, оглянувшись на нас с почтительного расстояния, крикнуть: «мародеры»!

Рядом с симфоническими вспоминаются два камерных концерта специфического «выходящего из ряду вон» характера. Первый — в зале Дома Искусств на углу Невского и Мойки, где в 1920 г. заседала «Вольфила»¹³⁴, а на сей раз в уютной полутьме, должно быть из-за отсутствия тока, известный в то время музыкант и музыковед Ван Орен провел беседу о смычковых инструментах XVII века и иллюстрировал ее игрою со сформированным им ансамблем на *viola de gamba*, *viola bastarda*, кажется, на *viola di bordone* и *viola d'amour*. Говоря о Доме Искусств, забавно вспомнить манерную фигуру, если не ошибаюсь, одного

из членов его правления — Валериана Чудовского, кажется, выпускника Александровского лицея, превратившего себя в беспредметного интеллектуала. В 19-м году нам случалось встречать его в Павловском парке, раз гуляющим с молодой женщиной, блистая перед ней своей культурой, судя по слышанному обрывку разговора, «...это было, когда я читал Шопенгауера...» У него почему-то плохо действовала правая рука и, по словам знавшего его отца, он при встрече говорил ему: «к сожалению, не могу осуществить рукопожатия». Когда я пришел на концерт и, по совету отца и от его имени, должен был обратиться к Чудовскому с просьбой дать мне возможность на нем присутствовать, он был занят разговором с дамой-брюнеткой лет за тридцать, которая довольно резко требовала от него каких-то услуг, на какие имели право лица, связанные с жизнью Дома. Зная по открытке Общины св.Евгении портрет Анны Ахматовой работы Альтмана, я решил, что узрел воочию автора только что вышедшего «*Appo Domini*». Так, в том же доме два года назад, я мог бы узнать и Александра Блока¹³⁵.

Что же до второго камерного концерта, то он диаметрально контрастировал с первым, потому что источником звука на нем был не ансамбль вышедших из употребления старинных инструментов, а инструмент, только что появившийся на свет в связи с текущими достижениями в области радиофонии, инструмент пока еще в форме прототипа, перед которым, как тогда могло казаться, открывалось широкое будущее. Создателем его был молодой физик и музыкант-любитель (полагаю, скрипач), носивший французскую фамилию Термен, которую года два спустя обрусил в «Теремин». Звук из своего инструмента он извлекал на расстоянии, через эфир, движением приближаемой, удаляемой и колеблемой ладони. На нем он исполнил, не помню, с аккомпанементом ли рояля, несколько номеров соло или дуэтом с привлеченными к делу знакомым скрипачом и певицей Боровик. При этом особенно ясно чувствовалась абсолютная чистота сравнимого с дистиллированной водой звука нового инструмента, идущая об руку с его бездушным характером, сильно ощутимым рядом с разнообразно «загрязненными» тембром звуками старых инструментов и человеческого голоса. Должно быть, именно по этой причине инструмент Термена и не нашел (если не ошибаюсь) себе большого места в дальнейшей жизни музыки¹³⁶.

Случалось, конечно, посещать Эрмитаж. Тоже после нескольких недель закрытия для перемены экспозиции и, может быть, для ремонта — дело в то время давно не виданное — вновь открылся Русский музей. Живописной чертой его обновления была

раздача сторожам происходивших из дворцовых гардеробов придворных ливрей, кажется, синих с красным бордюром и серыми гетрами, помнится, без особой заботы о том, в какой мере они подходили по размеру их новым носителям.

Была и одна интересная, хотя к искусству в общем не относившаяся выставка в одном из публичных зданий на Васильевском острове. Предметом ее была Новая Земля, откуда только что вернулась исследовательская экспедиция, которую сопровождали два или три художника, в их числе уже пожилой акварелист Альберт Бенуа, один из старших братьев Александра Николаевича. Он привез с севера много пейзажей с удачными световыми эффектами, глядя на которые, как я потом слышал, его родные говорили, что путешествие за полярный круг очень усовершенствовало его мастерство. При нашем посещении выставки художник комментировал их, делясь с публикой своими яркими впечатлениями от арктической природы, и даже закончил свою беседу химерическим пожеланием всем слушателям увидеть ее воочию. После него известный писатель-этнограф В.Г. Тан-Богораз увлек собравшихся живым, приправленным юмором рассказом о нравах новоземельских жителей и, в особенности, их упряжных собак.

Надеюсь, что читатель-библиофил не найдет излишним сообщение, что этой зимой в высшей степени интересно и полезно обогатились моя и Володина библиотеки, благодаря бабушке, предложившей нам изъять для своего пользования из стоявшей в канцелярии библиотеки деда Стоюнина интересующие каждого из нас книги, каких оказалось достаточно. Само собою разумеется, основным элементом библиотеки была русская и западная литература, но входил в ее состав и любопытный антиквариат. Стоит назвать для примера первые издания (XVI и XVII веков) иллюстрированного описания Московии Зигмунда Герберштейна¹³⁷ или «Contrat Social» Руссо. Интересно тоже, что многие старые книги были подарены деду его учеником графом Владимиром Паниным или его вдовой Анастасией Сергеевной, также ученицей деда и подругой бабушки¹³⁸. Не исключена возможность, что некоторые из этих книг принадлежали в свое время екатерининскому вельможе Никите Панину. В их число могли входить заинтересовавшие меня книги, связанные с именем Петра Великого: его «Журнал или поденная записка», «Подлинные анекдоты» Штелина и «Деяния» Голикова. Переходя же в XIX век, помнится одна из рукописных версий «Горе от ума» с забавными неавторскими дополнениями: «Горе без ума» и, как отголосок юмора эпохи, — сообщение о «литографированном плане города», в ко-

торый грозились превратиться плешь одного часто падавшего на мостовую любившего заглядывать в рюмку обывателя. Также вспоминаются перелистываемые с наслаждением томики ежегодников Бестужева-Марлинского и Дельвига — «Полярная звезда» и «Северные цветы». Предметом же вожделения брата были старые заграничные издания. Среди них помню несколько «Эльзевиров», как подобает in-12, с описаниями европейских стран¹³⁹.

Продолжалось общение с Шостаковичами, у которых мы с братом и Шальниковым провели несколько приятных вечеров. Бывали у нас и Муся с Митей и, конечно, играли по нашей просьбе на рояле. Она свой всегда готовый для исполнения в гостях «Контреданс» Бетховена-Сейса, а он — свои собственные произведения. Помнится его сюита не то прелюдий, не то вариаций. После каждой из них бабушка, воспитанная на Глинке и воспринимавшая даже Чайковского как не вполне приемлемого модерниста, говорила скорее благожелательно, чем убежденно: «Интересно...». Более же доступным нашему общему пониманию оказывалось до сих пор ласкающее мой слух грациозно-лирическое «скерцо».

Но скоро Шостаковичей постигло великие горе. Отец и кормилец семейства, милейший Дмитрий Болеславович, имевшей по службе право на «провизионку», вернувшись с зимней поездки в провинцию за пищевыми продуктами¹⁴⁰, может быть в не оправдывавшем свое название «тепушка» товарном вагоне, слег в постель и 24 февраля умер от пневмонии. С Володей и Шальниковым мы присутствовали на отпеваниях на дому и на похоронах в Александро-Невской Лавре. Даже случилось так, что Шуре пришлось помогать гробовщику снимать мерки с покойного. Обе панихиды служил священник Вертоградский, должно быть, знакомый семье как отец одной из учениц Гляссера. Пели, как за ними водилось «безукоризненно и бездушно», три или четыре черницы из Новодевичьего монастыря. Помню коленопреклоненную фигуру Софии Васильевны, как и ее ответ докучавшей ей участливыми соболезнованиями даме: «Я сейчас как каменная». Также обрывок ее сговора с батюшкой о предстоящей погребальной службе и его слова: «можно и одну панихиду, только сиротливо для души-то будет». Слова, произнесенные не вотще, потому что на следующий день после того, как хор из пяти-шести монахов встретил пением подходящую к воротам Лавры процессию, в одной из ее угловых церквей была отслужена заупокойная литургия. Церковь если и была натоплена, то насилу, и София Васильевна, боясь, что Митя простудится, надела к нашему смущению ему на голову меховую ушанку. Помню припавших к лицу и сложенным рукам отца детей, когда уже поднимали над гробом крышку. Помню и само погре-

бение, как будто на Лазаревском кладбище (превратившемся гораздо позже в «Некрополь XVIII века»), и речь о «редеющих рядах нашей интеллигенции», с другими перлами общественной риторики, произнесенную с лучшими намерениями предававшейся литературным занятиям женой знаменитого хирурга Грекова. Также запало мне в память, как около месяца спустя, идя в валенках по еще густо заснеженному Старому Невскому, я видел далеко за собой с трудом шагавшую в зимних калошах по сугробам Софию Васильевну, только что посетившую могилу мужа.

С первой весной нэпа стали особенно ощущаться признаки возрождения дореволюционного быта. Перед Пасхой вновь появился на Конюшенной (ныне улице Желябова) вербный торг, хоть и не помню на нем, кроме вербочек с пушистыми «кошачьими лапками», ни одному ему традиционно присущих тестяных на меду коврижек, ни разнообразного вида свистулк и прочих, забавлявших нас в детстве изделий¹⁴¹. Стала кочевать по площадям новосооруженная карусель, должно быть, движимая по старинке вручную и, кажется, размалеванная примитивными орнаментами. В том же порядке вещей вспоминаю, как, гуляя по Невскому с братом и Шальниковым, мы были поражены зрелищем едущего навстречу трамваям подобия автобуса и пришли в такой восторг от этого свидетельства возрождения цивилизации, что оптимистически пожали друг другу руки.

Появились на Невском (как будто уже прозванном Непским проспектом) и доступные нуворишам чайные вроде «Ягодки», которую украсил живописью кто-то из крупных мирискусников, кажется, Добужинский. Также не гнушались выступать в них и видные (как маститый комик Давыдов) актеры — после представления в соседней Александринке, а то и между двух выступлений на сцене в той же пьесе, как это случилось (не всегда без скандала) с Ведринской, появившейся в одном кафе в костюме трагической героини лермонтовского «Маскарада».

Хождения в Дом Ученых, конечно, продолжались, несмотря на бедность пайков. Недаром привезший туда какие-то продукты, должно быть, ими хорошо обеспеченный молодой ломовик, оглянув презрительно стоявший на дворе хвост потребителей, крикнул: «крохоборы».

А количество этого «сброда» к тому времени увеличилось: в него вошли и некоторые литераторы, среди которых помню имя Чуковского. Появилась в Доме Ученых и Анна Ахматова, с кото-

рой имела дело недавно принятая туда на службу кузина Наташа Горунович. Там же одним из отделений заведовал и наш свойственник Михаил Иванович Алтухов, отец «дяди Микроба».

Небезынтересным событием балетного сезона было новое появление на Мариинской сцене пребывавшей в четвертый раз с начала века в России, не желавшей расставаться с подмостками Айседоры Дункан¹⁴². О ее недавнем выступлении с новыми созданиями своего хорео-мимического творчества рассказывал продолжавший навещать нас для «отвода души» на разные, часто сатирические темы Виктор Григорьевич Вальтер¹⁴³. На сей раз он поделился с нами тем, что ему довелось видеть и слышать из глубины оркестра, когда ему позволяло это его первая скрипка. Одним из творений Айседоры было создание образа Венеры, призывающей в свой грот вагнеровского Тангейзера. Все, чем он мог насладиться, были манящие руки богини любви и ее «жирное колено». Также было объявлено со сцены воплощение чего-то вроде «неродившейся души», на что из зала последовало уточнение: «пятидесяти лет и в пять пудов веса».

Придя к нам в другой раз, тот же Вальтер возвестил, что, по его наблюдениям, Ленин перешел в небытие и что за него правительственные распоряжения подписывает «какая-то Цурюпа». Вскоре пошли слухи о болезни вождя революции (с частым ее уточнением: прогрессивный паралич... грехи молодости), его отстранении от государственных дел и заточении в Юсуповской подмосковной Архангельское. Говорили, что он лишился речи и только повторяет (непонятно, каким образом): «что я сделал с Россией?!» и что ему даже являлась скорбящая за нее Богородица.

Шла всюю кампания изъятия церковных ценностей под предлогом помощи голодающим¹⁴⁴. Вспоминается виденная перед собором Владимирской Богоматери толпа, главным образом женщин в платках, смотревших, выражая громко свое возмущение, на милиционеров, взламывающих запертые двери храма и врывающихся в них, не снимая шапок-буденовок.

За изъятием церковных ценностей пошли систематические поиски драгоценных металлов и камней в царских и других богатых могилах. Об их результатах общественность осведомлена не была, что способствовало рождению самых разнообразных и нелепых легенд, особенно о гробнице Петра Великого, грозный лик которого так устроил комиссаров, которые собрались было отколоть от его камзола рубиновый или янтарный аграф, что они бросились в бегство. Вторая версия, по которой прогневанный царь погрозил нарушителям своего покоя кулаком, стала настолько популярной, что родила другую легенду. Стали гово-

рить об очевидцах вывешенного на запертых воротах Петропавловской крепости извещения со штемпелями и официальными подписями, что «Петр I при раскрытии его гроба кулака не показывал».

Много говорилось, конечно, о начавшихся в Москве и Петербурге, якобы исходивших от изъятия церковных ценностей и наверняка ведших к смертному приговору, процессах над патриархом Тихоном и митрополитом Вениамином. О первом до нас дошел, не знаю, в какой мере достоверный, эффектный рассказ появившегося для знакомства с отцом неизвестного нам москвича, некоего Каптерева. По нему на первом собрании революционного трибунала в зале с верхним светом, представ перед судьями, вызвавшими его по мирским имени и фамилии, подсудимый изрек что-то вроде: «Аз, недостойный раб Божий Тихон, патриарх Московский и всея Руси» — и в ту же секунду зал осветился ослепительной молнией и содрогнулся от оглушительного удара грома.

Суд над митрополитом Вениамином и подвластным ему духовенством совершался в колонном зале Филармонии. Брату и нескольким его университетским товарищам удалось раздобыть пропуск на одно из заседаний трибунала, которое произвело на них удручающее впечатление. Мне же раз случилось увидеть безмолвную толпу, вытесняемую отрядом милиции на Невский проспект с Михайловской, ныне улицы Бродского, где заседало Шемякино судилище.

Гонению на церковь сопутствовало и преследование религиозной философии. Так, был запрещен уже набранный к печати 4-й номер журнала «Мысль», редактировавшегося отцом и Радловым органа Петербургского Философского общества. В нем должна была выйти оставшаяся неизданной критика теории знания большевика Богданова, автора «Философии живого опыта». Зато увидели свет отцовские двухтомная «Логика» и «Современный Витализм».

В начале весны семья наша была обрадована письмом давно вышедшей из нашего кругозора литераторши Варвары Васильевны Тимофеевой, писавшей под псевдонимом Боловино-Починковская и состоявшей наверно уже более десяти лет хранительницей пушкинской усадьбы Михайловское. Поводом для письма была мысль о приближающемся двадцатилетии свадьбы родителей, и ему сопутствовали рукописные страницы живо и остроумно написанных воспоминаний о их венчании, 16/3 июня 1902 г., в русской церковке городка Веве на берегу Женевского озера, венчании, на котором она присутствовала среди других съехавшихся на него друзей¹⁴⁵.

Кстати о свадьбах: весной 22-го сочелась в нашем домашнем кругу браком со своими избранниками Катя Полякова и Наташа Горюнович.

У Кати, как ей и подбало, все началось и, увы, к осени кончилось под знаком Достоевских надрывов. Уже о своем намерении выйти замуж она объявила в какой-то полувраждебной форме, что впрочем ей не помешало скоро потом просить отца, бабушку и нас с братом быть ее посаженными родителями и шаферами. Венчание сошло чин-чином, конечно, в церкви Первой гимназии, а свадебное угощение в большой столовой, с подругами и коллегами Кати по ее театральной студии, из которых с нами был знаком только ставший ее мужем начинающий режиссер Щербаков.

Более сложным было дело Наташи. Как уже было сказано, осенью 21-го ее привел из Киева в Петербург прерванный роман с Б.А. Лариным, женившимся на одной из ее подруг. В невестинской столице ею сильно увлекся филолог Франковский¹⁴⁶, находя случай встречаться с нею, водя ее в театр или на концерты и даже став нашим частым гостем. Она принимала его ухаживания с кокетливой благосклонностью, но отстранила его весной, когда ей удалось возобновить свой роман, на сей раз в полной мере, с Лариным. Дело зашло достаточно далеко, чтобы привести его к разрыву с супругой с целью жениться на Наташе. Однако, не помню почему, должно быть, из-за несогласия супруги, процедура развода обещала быть длительной и о законном (гражданском, не говоря о церковном) оформлении брака речи быть еще не могло. Все же, благодаря широте в общем очень строгих нравов бабушки, это «оформление» совершилось в чисто моральном аспекте у нас, за праздничным ужином в расширенном семейном кругу.

Из последних проведенных на школьной скамье месяцев вспоминаются два двух- или трехдневных пребывания нашего и шестого класса в Старом Петергофе, как говорили, «на мызе», в какой-то опустошенной богатой усадьбе, чуть ли не бывшей великокняжеской даче, в большом тенистом саду. Она была предоставлена властями в распоряжение для каких-то неопределенных научных целей — нашему учителю естествознания Кузнецову, который устроил в ней что-то вроде лаборатории. Повинностью учеников было слушать его не занимавшие много времени и небызырительные уроки, иллюстрацией для которых служили флора и фауна сада. Прочее же время шло на игры и прогулки. Помню, как мы раз попали на еще никак не использованную бывшую виллу князей Лейхтенбергских-Романовских и, войдя из сада в ее открытую дверь, увидели в одном из парадных покоев единст-

венный не вынесенный из него, по-видимому за недостатком технических средств, предмет: мраморную «Подбоченившуюся танцовщицу» Кановы¹⁴⁷.

Приближение выпускных испытаний заставило нас с Шальниковым заняться серьезно подготовкой к ним. Раз даже просидели вместе целую белую ночь, приводя в порядок свои знания истории нового времени. Темой главного письменного экзамена оказались философские учения XVIII века и их влияние на политическую жизнь Европы в пору просвещенного абсолютизма и французской революции.

Недели две спустя, совершился выпускной «акт» в форме дружеского чаепития педагогов и учеников, с приветственно-напутственной речью Марии Лазаревны, после которой учителя попросили своих питомцев высказать критические замечания о их преподавании, что, разумеется, было сделано с самой большой готовностью. Вечером собрались снова, на бал, продлившийся до 3-х часов утра.

Был бал и накануне, после годового представления, снова под талантливо-изобретательным руководством Бруггер-Волотовой, как в 1920-м году¹⁴⁸. Темой спектакля было «Кентервильское привидение», превращенное из повести Оскара Уайльда, переведенной Чуковским, в двухактную комедию Женями — Виленкиной и Файнберг. Волотова дала представлению больший объем, рельеф и разнообразие, дополнив оба действия вступлением и интермедией с балетными номерами вроде стилизованного изображения игры в теннис или забавного танца двух негритосов, обычным делом которых было раздвигать и сдвигать занавес. Как и балету, действию на сцене сопутствовал в известные моменты музыкальный фон с исполнением на невидимой фисгармонии, кажется, Катей Умовой, фрагментов произведений авторов XVI и XVII веков. На Шальникове лежало, как обычно, техническое оборудование сцены, со световыми эффектами и подмостками, раздвигавшимися для появления из-под них привидения, то есть Володи, облеченного в саван в первом и в латы во втором акте. Другими исполнителями были: в роли лорда — Мила Белоголовая, мистера и миссис Отис — я и Женя Степанова, их дочери Виргинии — Женя Файнберг, хулиганчиков-сыночек — Федя Пашенко и Женя Порай-Кошиц, а прислуги мисс Эмни — Валя Крошкина, ныне Фалеева. Замечу кстати, что среди участников представления были будущие три академика и одна из хранительниц Русского музея. Также прибавлю для биографа брата-богослова, что в его жизни на редкость удачное исполнение роли Кентервильского привидения было последним сценическим выступлением.

Проводить каникулы на «божественном острове» Гуммала Сари не тянуло, и местом летнего отдыха оказалось выбранное ничего общего с пребыванием на лоне даже пригородной природы не имевшее Царское Село с его прямыми улицами и бульварами, хоть и с более чистым, чем в пыльной столице воздухом. Большим преимуществом перед прошлыми годами было то, что мы поселились не внаем к «домохозяйевам», а путем полюбовного сговора, слившись с семьей вдовы о.Стефана Фокко¹⁴⁹. После его смерти в 1918 или 1919 году семья продолжала занимать нижний этаж «церковного дома», в соседстве с собором, на углу Оранжевой и Колпинской улиц, перед просторным светлым двором. В верхнем, втором этаже проживала семья настоятеля собора, в свое время не раз чинившего неприятности своему сослуживцу о.Стефану, должно быть, не разделяя его либеральных взглядов. Как и прочие жилища Царского, дом был невысок, но устроен внутри по-городскому: пользовался с начала века электричеством и всеми благами водопровода, оборудованного нашим собственником М.И. Алтуховым¹⁵⁰.

Семья Фокко состояла из матери (забыл ее имя-отчество), сына Бориса, старше меня на год, и двух дочерей, моей однолетки Любы и Верочки, сверстницы Андрея, которому только что минул пятый год. Матушка-попадья была превосходной хозяйкой и занималась с помощью приходящей старой бабы кухней, что освобождало полностью мою мать от забот о нашем прокормлении. Сидели за стол все вместе, на выходящей на двор веранде.

Из разговоров с «матушкой» выяснилось, что она была родом из Белоруссии и что преподавателем школы или института, где она училась во второй половине 80-х годов в Витебске, был друг семьи бабушки Лосской, Николай Макарович Миловзоров¹⁵¹. Это удвоило ее заботливость о недавно восставшем от болезни отце и удовлетворение его все более и более улучшающимся в ее доме видом.

Ее Борис, как уже было сказано, поступил после смерти отца, бросив гимназию для заработка, — на службу в железнодорожную милицию¹⁵², но по-видимому, вернулся года через два на школьную скамью¹⁵³ и летом 22-го собирался, как и я, поступать в университет. Не очень было понятно, на какой предмет, потому что полицейская служба, как казалось, сильно поспособствовала сведению у него на ноль интереса ко всему, что касалось культуры. Также в стороне от него оставалась и всякая политическая, даже официальная идеология. Было однако желание похо-

дить на что-то вроде комиссара, выражавшееся одно время в ношении, до запрета, ключей в револьверной кобуре. Зашло дело и дальше, с попыткой поступить, «так, чтоб потрепаться», на службу в ГПУ, в чем ему было отказано как сыну священника. А как, должно быть, хотелось носить форму и подавать, употребляя его вокабулер, «рапорты» по начальству об исполнении служебных обязанностей. Все это нас с братом только забавляло и не мешало быть с ним в самых приятельских отношениях.

Мало похожей на брата была Люба, о которой вспоминаю как о скромной, серьезной и красивой девице. Лицом она должна была походить на отца, потому что в ней с радостью распознала родственную по крови «гречанку» София Фокионовна Лесман, приехавшая на лето в Царское вместе с Иосифом Антоновичем, девятилетним сынишкой Володей и Еленой Ивановной Киль¹⁵⁴.

Что же до маленькой Верочки, хорошо сошедшейся с Андрюшей, помню, что она по крайней мере раз в день прибегала ко мне со словами «раскатайте меня на качелях» и говорила неисправимо «маку» вместо «могу».

Установилось добрососедское общение со знакомыми царско-селами. Приходил не раз Гляссер, иногда с женой, а ко мне в частности — его ученик, Леня Дидерихс, потенциальный жуир, который до Революции был бы типичным представителем «золотой молодежи». Тоже приходила бывшая учительница французского в бабушкиной гимназии, Эмилия Федоровна Васенко, рожденная Термен, не без изъявлений гордости за успех физико-музыкальных выступлений ее племянника Левы.

Приезжали и петербуржцы, среди которых особенно помню только что оформивших перед законом свой супружеский союз Лариных: еще более похорошевшую Наташу и самоуверенного Бориса Александровича, уже вставшего на путь филологии и лексикографии с недавно появившимися в печати «Семантическими этюдами»¹⁵⁵. У него с отцом шли интересные разговоры, в которых, между прочим, обнаруживались его менее отрицательные взгляды на дореволюционные порядки. На слова отца о социальной несправедливости, заключавшейся в обязательности для желающего получить высшее образование крестьянского сына выхода из земельной общины, он не замедлил возразить, что кандидату на интеллигентные профессии и не имело никакого смысла оставаться «в миру».

Также раз появился нашему поколению совсем не знакомый родственник со стороны матери, должно быть, сын одной из сестер деда Стоюнина. В воспоминании осталась его русая борода, поношенная старорежимная фуражка и, из его разговоров, —

что жил он с кем-то из близких родственников на Василеостровском взморье и работал, кажется, в портовом ведомстве, — все это в каком-то для нас совсем чуждом мире.

Бабушка присоединилась к нам примерно к середине июля, а до того провела несколько недель тоже в Царском Селе, в санатории Дома Ученых, занявшем одну из великокняжеских дач и возглавлявшемся доктором Эберманом, кажется бывшим директором клиники Александровской общины. Там она разделяла комнату с какой-то (имени не помню) известной ветераншей Революции, в компании с интересными людьми. Культурная жизнь протекала в доме интенсивно, и нам не раз случалось в него ходить на вечеринки с лекциями и музыкой. Среди пансионеров оказалась Христина Нильсовна, мать Лексика и Жени Степановых¹⁵⁶, которую уже подтачивал туберкулез. Также был им уже затронут и пребывавший там наш «дядя Микроб», к которому часто приезжала тетя Вера и приходила работавшая где-то в соседстве тетя Адя¹⁵⁷. Все трое приходили к нам и даже приводили своих новых, желавших встретиться с отцом знакомцев.

Так появился у нас памятный мне по прошлогодней школьной экскурсии, водивший нас по дворцу Палей — бывший сенатор Фролов. Нашим родственникам импонировало то, что за последние годы он прочел якобы около тысячи книг и написал к каждой из них резюме на проблематическую помощь ученым. У нас он повел небезынтересные разговоры о Царском Селе, Павловске и об ухищрениях картиноторговцев для продажи неподлинных Рембрандтов. К тому же, пытался блеснуть своей причастностью к философии, в чем отец не усмотрел ничего, кроме самодовольного врехоглядства.

Также не доставил отцу полного удовлетворения визит приведенного дядей Микробом местного лютеранского пастора, симпатичного молодого немца. По его убеждению, мировое зло входило в состав самого мироздания как Божьего творения, что, конечно, лейбнице-лосская теодицея (не знаю, что на это сказали бы заправские богословы) осуждала как недопустимую ересь.

Не помню, на какой праздник, на Троицу — если она в этом году приходилась на июнь — или (что кажется поздноватым) на Сергия Летнего, 5/18 июля Володя с университетскими товарищами — Степановым, Бахтиным и, кажется, Ушаковым — и я с Гогой Губиным («Pugna et socius eius», как об этом поведала вскоре латинская хроника)¹⁵⁸ совершили паломничество в Сергиеву пустынь, на 18-й версте Петергофского тракта. Предпринято оно было настоятелем и приходом Спаса на Сенной (человек сорок пятьдесят, больше женщин). В путь пустились накануне, до позд-

него заката солнца, и до цели дошли к его восходу, часам к пяти утра. После Нарвской заставы, на уровне Путиловских заводов, на нашу группу, возглавляемую священником, полетели со стороны гулявших перед заводскими воротами парней-рабочих издевательства и даже камни, но ближе к Автову встречные пореди и подобрили. Там Лексик обратил мое внимание на тогда еще не замененные бетонными «жилмассивами» большие избы, построенные по одной и той же ампирной модели при Александре I, кажется, для поселенных здесь крестьян, наверно, огородников. Потом полуночный светло-синий полумрак начал рассеиваться и пространно по сторонам прямой дороги с монументальными екатерининскими верстами расширилось. Налево показался небольшой белый дворец и часы на его фронтоне или аттике как-то задумчиво пробили в предутренней тишине четыре часа.

Рядом с пустынью совсем близко от берега залива оказался пруд, и многие паломники, мы в их числе, подошли к нему вымыть лицо и руки, прежде чем идти к ранней обедне. Как раз в это время из-за морского горизонта подымалось солнце, и стоявшая недалеко от нас баба, понявши, где оно проводит ночь, заметила деловито: «а чай много воды набирает». Помнится растреллиевская архитектура пятиглавого храма¹⁵⁹, на колокольню которого мы взобрались после литургии, чтобы полюбоваться с нее на взморье. При этом Бахтин вспоминал о недавно совершенном с Володей более утомительном восхождении на верхушку Исаакия: «винтишь, винтишь...»

К этому времени зарождалась, если уже не рождалась, пресловутая Живая церковь. Ее возникновению предшествовали, как мне вспоминается, в разных приходах по-разному, опыты их настоятелей сделать богослужение более доступным пониманию все увеличивавшегося множества мирян, иногда заменой, частичной или полной, церковно-славянского языка русским¹⁶⁰, иногда, для более тесного, непрерывного общения клира и предстоящих — службами с открытыми от начала до конца царскими вратами, и прочими подобными, осуждаемыми ортодоксальными верующими новшествами. Без всякого сомнения, в это поветрие втянулся бы и о.Стефан Фокко, если бы оставался в живых.

Больше всего привлекал к себе внимание приход и полные страстным, доходящим до истеричности динамизмом проповеди священника Александра Введенского. Одну из них слышал Володя и, имитируя жесты и интонации взвинченного пастыря, восклицал чуть визгливо: «Смерти нет, она побеждена!» Полезно будет воспроизвести здесь, что пишет об основателе Живой церкви отец:

«В книге священника Кирилла Зайцева "Православная церковь в Советской России" (Шанхай, 1947) сказано, что А.Введенский — "крещеный еврей" (стр.116). Не знаю, какой безответственный антисемит ввел в заблуждение св.Зайцева и пустил в ход такую нелепую выдумку. О происхождении этого Введенского мне подробно рассказал священник Пищулин, учившийся вместе с Введенским в Витебской гимназии и бывший его другом, но разошедшийся с ним, когда Введенский стал живоцерковцем. От Пищулина сообщил мне, что Александр Введенский был сыном директора Витебской классической гимназии. Отсюда ясно, что не только священник Введенский, но и отец его не мог быть крещеным евреем. Живой характер Александра Введенского, экзальтированное богослужение его Пищулин объяснял струею африканской крови в его теле. Его мать была дочерью истопника Михайловского дворца. Истопник этот был родом из Эфиопии».

Вокруг личности живоцерковника возникало много других недоразумений. Нередко путали его с учителем отца, профессором философии Александром Введенским. А упомянутый Пищулин, священник из интеллигентов (ходивший в ярко-красной рясе, как будто переделанной из бархатного дамского платья или занавески), рассказал нам однажды следующее: идя где-то по пригороду, он услышал за собой ускоренные шаги догонявшего его по дорожке человека и, оглянувшись, увидел бабу, свирепо замахнувшуюся лопатой, которая должна была через секунду обрушиться на его голову. Увидев его лицо, воинственная незнакомка опустила оружие со словами: «Простите, батюшка, а я-то вас приняла за Введенского».

Один из активных очагов обновленческого движения образовался в Колпине, вокруг настоятеля местного прихода свящ. Боярского, который появился около 1-го июня в Царском Селе, где выступил публично, уже как своего рода эmissар рождающейся или родившейся Живой церкви и Введенского. Из его беседы о церковных делах, собравшей большую разношерстную аудиторию, стало известно (для нас впервые) о происшедшем в Сремских Карловцах отщеплении от российской церкви митрополита Антония Храповицкого. Как бы взваливши на его голову ответственность за все, к чему вел суд над патриархом Тихоном и другими иерархами, он заметил, не вполне без основания, что совершившийся в Сербии канонический раскол наверняка отразится неблагоприятно для судимых священнослужителей на ходе текущего процесса. Говорил тоже об изъятии церковных ценностей и об отношении к нему духовенства, один из ответственных представителей которого заявил, что конечно была бы благим дея-

нием жертва в пользу голодающего Поволжья, но можно ли совершать ее, доверяя светским властям, «этим...» — докладчик не произнес эпитета, сказав, что «за это ему грозил бы арест».

А изъятие шло своим, неутомимым чередом. Еще в начале лета можно было любоваться в Казанском соборе на его серебряный ампирный иконостас и амвонную балюстраду, перелитые в начале 1830-х годов по рисунку Константина Тона из церковной утвари, награбленной в 1812 г. Наполеоновской армией и потерянной ею до перехода через Березину. Во всяком случае, дорогая соратникам Кутузова икона Казанской Божьей Матери получила ее, согласно надписи, стоявшей на иконостасе, как *Усердное приношение войска донского*¹⁶². В июле же или августе двери собора закрылись «по причине ремонта», и когда недели через две вновь открылись, на месте серебряного иконостаса с колоннами, так чудно гармонировавшего с классической архитектурой Воронихинского храма, стояла наскоро сколоченная ажурная перегородка из деревянных брусьев и перекрещенной дранки, на которой убого повисли вынутые из монументального обрамления иконы, поскольку этот термин может быть применим к произведениям живописи эпохи классицизма.

В связи с церковным кризисом стали размножаться публичные собрания и диспуты на более или менее к нему относившиеся религиозные темы. Профессор Виппер, тогда известный гимназистам выпускных классов как автор учебника всеобщей истории, а университетским людям как историк дорогого ему Протестантизма, проводил с академическим педантизмом параллель между отколом живоцерковников от московской патриархии и прениями Мартина Лютера с папским престолом, как бы усматривая во всем этом рождение Реформы на лоне Восточной Церкви.

На диспутах появлялся тоже юный Михаил Корцов в самодельном головном уборе по образцу Вавилонской башни, уже стяжавший себе известность богопротивными листовками со статьями или заметками, подписанными, для иллюзии плюрализма, не только его фамилией, но и ее переделкой в «Цроков», «Мишей» и прочими псевдонимами. Из них, между прочим, явствовала причина его нападок на религию, доходящих до богоборчества. Будучи евреем, возжаждавшим обращения в православную веру, он выразил свое желание принять крещение оказавшемуся недостойным своего сана попу, который глубоко поразил его впечатлительность, дав ему согласие в возмутительно грубой, цинично-наплевательской форме.

Участвовал в собраниях иногда и Николай Клюев, рассказывая на голос благочестивого странничка об образе «святого Хри-

стофора с песьей головой» на «тябле» (ярусе) виденного где-то иконостаса. Его говор интерпретировала следившая юмористическим оком за церковной хроникой, познакомившаяся с нами этим летом Ольга Форш, изобразившая позже в повести «Сумасшедший корабль» быт Дома Искусств.

Очень замеченной была — увы, и властями — состоявшаяся в переполненном зале бывшей Городской Думы публичная лекция Л.П. Карсавина, не помню, на какую религиозно-философскую тему. Главными оппонентами были тот же Виппер и занявший университетскую кафедру отца нахал Боричевский¹⁶³, подписывавшийся «профессором» под своими издевательскими по адресу представителей «буржуазной науки» статейками в «Правде». На этом собрании он, между прочим, заявил, что «в философии столько голов, столько умов», на что Карсавин в своем ответе оппонентам, уделив внимание выступлению «профессора Виппера», сказал, что возражения «товарища Боричевского» его укрепляют в мысли, что в философии умов меньше, чем голов, и был покрыт смехом и обильными аплодисментами слушателей. Присутствовавший с товарищами на этом выступлении любимого учителя Володя посвятил ему вскоре широковещательное стилизованное описание, перенеся как мог действие и персонажей на четыре века назад, в средневековую ратушу.

Кроме Ольги Форш, нашим новым знакомцем стал в августе царскосел Иванов-Разумник, памятный нам оппонент отца на его лекции в Доме Искусств¹⁶⁵. На сей раз отношения установились настолько хорошие, что он раз пригласил к себе бабушку и отца для встречи с Ключевым¹⁶⁶ и поднес им свою только что вышедшую книгу «Творчество и Критика». Также появлялся у нас в августе приехавший из Петербурга, раньше знакомый только с отцом Питирим Сорокин. Из его тогдашнего, еще не вполне университетского вокабулара запало в память слово «пинжак».

Вспоминается наконец и еще одно мимолетное знакомство в Петербурге, где оказались на короткое время бабушка и мы с братом. Неожиданно появилась на Кабинетской приехавшая из Москвы бабушкина, может быть около трех десятилетий с нею не встречавшаяся школьная подруга, — г-жа Фортунато, одна из дочерей громогласного Владимира Васильевича Стасова¹⁶⁷. Она занимала высокий пост хранителя памятников или музейных ценностей Кремля, тогда, если не ошибаюсь, недоступного для простых смертных. Тем более заманчивым было сделанное ей нам с Володей приглашение провести у нее неделю-две для знакомства с достопримечательностями Москвы. Для этого стоило претерпеть невзгоды железнодорожного транспорта, и мы стали

с удовольствием подумывать о совершении осенью путешествия в первопрестольный град.

Пришло письмо с юга, наверно из Крыма, от давно пропавшей с нашего горизонта Александры Михайловны Петрункевич, пребывавшей там вместе с супругами Поль и, должно быть, с С.В. Паниной¹⁶⁸. В письме она между прочим писала о их намерении пуститься в скором времени в «артистическое турне», что было понято родителями, и совершенно правильно, как намек на проект бегства в свободный мир.

Приходили письма и из-за границы, не помню определенно, от каких друзей. Появились даже посылаемые кем-то из них печатавшиеся в Берлине русские книги. Помню, что наше внимание привлекли стихи памятного нам как мальчишка, отныне поэта Глеба Струве.

Вообще в материале для чтения недостатка не ощущалось, потому что в книжном шкапу о Стефана были представлены многие из властителей дум интеллигенции начала века. Помню только имена литераторов, с которыми довелось лучше ознакомиться: Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Леонида Андреева и Андрея Белого — как автора увлекшего нас с братом «Петербурга».

Для поступления в университет, который начала наполнять все менее и менее просветившаяся в идущей к упадку средней школе молодежь, были введены с этого года предварительные экзамены: на факультет Общественных наук, в сокращении ФОН, — по истории, литературе и «политграмоте». Для последней понадобилось прочесть, впрочем не без интереса, какое-то пособие к экономике, кажется, Бухарина.

Хорошо помнятся Володины именины со Степановыми среди гостей, и мои, удвоенные причастностью к ним тезки Бориса Фокко. Тут произошла интересная встреча Гляссера с И.А. Лесманом, прибавлю кстати, недавно принятым в оркестр Мариинского театра на должность второй скрипки. Оба музыканта побаловали собравшихся, каждый по-своему: первый — сев за рояль, а второй — взявшись за свой инструмент, принесенный для исполнения чего-нибудь не нуждающегося в фортепьянном аккомпанементе. Не помню, нуждается ли в нем «Мазурка» виртуоза-скрипача Генрика Венявского, которую Иосиф Антонович воодушевленно сыграл под конец музыкального дивертисмента. Во всяком случае, мне кажется (если не обманывает идеализирующая память), что зараженный проснувшимся у Лесмана чувством польского национализма Гляссер этот аккомпанемент ему дал экспромтом более-менее по памяти.

Однако не все протекло на нашем празднике под знаком пре-
краснодушия. К гостям присоединились, тоже экспромтом, при-
ехавшие из Петербурга друзья: доктор Аладинский, его супруга
и приведенный ими для знакомства недавно появившийся из Си-
бири приятель атлетического сложения. Им были рады, и его раз-
говор, не помню о чем, слушали с интересом, пока он не заметил
на Лесмане теософский значок в форме скорее шестиконечной чем
пятиконечной звезды и не понес несусветную ахиною об ее един-
стве с коммунистической красной звездой, марксизмом, юдаиз-
мом, масонством и прочими сатанизмами, свалившимися на бед-
ную голову России. На все это Иосиф Антонович возражал сдер-
жанно и миролюбиво, но, конечно, без всякого положительного
результата.

Когда же после ухода Лесманов стали прощаться и Аладин-
ские, воинствующий сибиряк заявил торжественно, почти проро-
чески, что-то вроде: «Вот увидите, что произошедший спор не
пройдет даром, ни мне, ни, может быть, и вам». Это было 6-го
августа.

Как я уже сказал, у отца была с весны чехословацкая виза
на курс лечения в Карлсбаде¹⁶⁹. Оставалось дожидаться своевре-
менно испрошенного паспорта на временный выезд за пределы
РСФСР. Потому его не удивило и не очень взволновало получе-
ние 16 августа вызова явиться, по всей видимости, для выполне-
ния соответствующих формальностей, на Гороховую 2, где поме-
щалось ГПУ. На следующее утро он туда отправился в сопровож-
дении матери, не преминув все же с нами попрощаться; помню,
что я еще лежал в постели.

За пропуском в главное здание родителям нужно было обра-
титься в дом напротив, и выдан он был одному отцу. Мать же,
прождавши долго и напрасно его выхода из номера 2, отпра-
вилась на Кабинетскую, где узнала, что накануне на нашей квартире
был длительный обыск. Присутствовавшая при нем няня расска-
зывала между прочим, что когда чекисты рылись в комнате, где
жили мы с братом и она им сказала, что мы много читаем и на-
верное будем учеными, один из них презрительно процедил: «Это
еще бабушка надвое сказала, учеными или сапожниками». И ду-
мается, что действительно на нашу долю верных кандидатов на
«лишенство» не выпало бы ничего хорошего, если бы мы не уеха-
ли с родителями за границу.

Дополняя «Воспоминания» отца слышанным от него в свое время, уточню, что он понял, что арестован, когда, представившись в приемную, услышал слова вроде «позвать охранника!». Общая арестантская камера, куда его отвели после первого допроса, должна была, как он предполагал, служить казармой для городских, когда в здании до революции помещалось Градоначальство. Там у него в какой-то мере «отлегло от сердца», когда среди всякого рода заключенных он увидел Карсавина, Лапшина и других знакомых. Также оказался среди них и уже приобретший навык тюремного быта, непричастный к «делу» граф В.П. Зубов, основатель и до того времени директор Института Истории Искусств (в своем особняке на Исаакиевской площади). Он протягивал уже без отвращения свой котелок за полусъедобным супом¹⁷⁰.

Связи с тюремным заключением отца участились наши поездки в Петербург, главным образом для передачи ему пищевых и бельевых посылок. Раз я был в городе вместе с матерью и, зачем-то отлучившись от нее, увидел на расстоянии, как попавшаяся ей навстречу жена д-ра Аладинского необычайно оживленно ее в чем-то убеждала: по всей видимости, в том, что отец пострадал из-за разговоров, шедших у нас на даче две недели назад. На что мать наверно возражала, что не могло же три десятка петербургских интеллигентов быть арестовано из-за спора Лесмана с их другом-сибиряком. Все это, конечно, тем более безуспешно, что, по словам Аладинской, оказался под арестом и сибиряк, хоть и совсем независимо от «нашего дела».

Ходить на Гороховую для передачи мне случилось дважды, причем на второй раз безуспешно, так как выяснилось, что всю группу интеллигентов перегнали в памятную нам с расстрела Князькова тюрьму на Шпалерной. Трехкилометровый переход скорым шагом с узлами в руках или на спине, под грубые окрики конвойных был мучителен для многих, особенно для отца, у которого к тому времени начались сердечные припадки.

В тюрьме арестантов разместили по одиночным камерам, но по недостатку места по два и по три в каждую. Из тогдашних рассказов отца помнится, что поначалу его единственным сожителем был (кажется) гражданский инженер Козлов и только позже два других: почвовед Одинцов и ботаник-поляк¹⁷¹. Дверь была заперта на два поворота ключа, что казалось естественным, но в какой-то вечерний час к ним присоединялся третий, что воспринималось как нелепый символ угнетения. Бывало еще, что приходилось среди ночи просыпаться от зажженного света — для контроля присутствия всех заключенных. Раз как-то произвели на

всех удручающее впечатление крики внезапно сошедшего с ума узника.

Посылки от родных разносили по камерам «отделенные», то есть прикомандированные на помощь тюремщикам заключенные из мелких уголовных: им доводилось вверять, дождавшись своей очереди и дойдя до верхней площадки лестницы, пакеты для отца. Была при тюрьме и довольно богатая библиотека, составившаяся, как думается, из книг освобожденных, пересланных или расстрелянных арестантов. Главным же благом была возможность нечастых свиданий заключенных с членами их семьи, что позволило родителям встретиться несколько раз.

Довольно скоро заговорили и о московских арестах и о том, что всем обвиняемым в принадлежности к «потенциальным друзьям возможных врагов советской власти» предстоит высылка за пределы РСФСР и их семьям возможность следовать за ними за границу¹⁷². По этому поводу не могу не вспомнить, как, сидя у парикмахера, все того же известного с 1920 г. придурковатого, но много о себе мнившего парнишки Остапковича¹⁷³, я сообщил ему про это, на что он мне возразил с важностью осведомленного человека: «Ничего подобного... всех расстреляют... определенно...»

Вспоминается и другое, уже выходящее из области «черного юмора» дело, несколько связанное с тем, что между родственниками заключенных установилось близкое общение, в частности у нас с семьей Карсавина. Раз как-то к матери явилась незнакомка, назвала себя Скржинской и просила передать через отца Льву Платоновичу, что его не должна озабочивать мысль об изгнании за границу, потому что она готова за ним следовать повсюду¹⁷⁴. Порученье это, конечно, было важно исполнить, но представляю себе, как это было тягостно родителям. Из горьких разговоров с моей матерью Лидии Николаевны, жены философа, явствовало, что и она была в курсе дела. Кстати, о семье Карсавиных, о которой будет не раз идти речь: у них было три дочери, в то время шестнадцатилетняя Ирина, двенадцатилетняя Марианна и много если годовалая Сусанна. Также о самом Льве Платоновиче, каким он себя изображал товарищам по заключению. На раздраженный вопрос следователя, чем он объясняет свой большой успех у публики, он невозмутимо ответил: «Моим ораторским талантом».

Перспектива отъезда за границу не была еще достаточно ясна, и представлялось благоразумным, чтобы «на всякий случай» я продолжал ориентироваться на университет и прошел вступительные испытания на ФОН. Отведенная для них зала со столами для экзаменаторов, по два по три на каждый предмет, была полна

обступившими их претендентами на поступление, из которых, как помнится, была принята только треть, много если половина. Приятным сюрпризом было узнать за одним из столов нашего гимназического преподавателя Алфея Ильича Харнаса¹⁷⁵ в роли экзаменатора по истории, задавшего мне вопросы о Новгородском княжестве и о Герцене. На экзамене по словесности довелось отвечать о Достоевском и о «Мертвых душах» Гоголя. Что же до экономики и политграмоты, то дело обошлось не без некоторых осложнений. Сначала я подошел к столу, за которым сидел еще один бывший учитель бабушкиной гимназии, Евгений (кажется, Евгеньевич) Энгель, года полтора как возвысившийся в ранг профессора, который, по мнению отца, должен был сыграть значительную роль в его увольнении из университета. Уже его недоброе лицо с ленинообразной бородкой внушало опасение, и экзаменовал он строго, зарезав при мне умоляюще ссылавшегося на свою принадлежность к «Партийной школе» ученика. А чего же было ожидать мне, уже «компрометируемому» своей фамилией (да и как было об этом не подумать раньше)? Словом, я перебежал к другому столу, за которым только что сел более благодушного вида «профессор», положив перед собою, почему-то на красную тряпочку, часы. Узнав мою фамилию, он меня спросил, почему я представляюсь к экзаменам, когда нашей семье предстоит уезжать за границу, на что я ответил, что боюсь «оказаться между двух стульев», если не поедем. На его первый вопрос, о характере цехов и синдикатов, я ответил удовлетворительно. Затем последовал вопрос менее академического характера о том, что я думаю о желательности свободы печати, на что мне показалось уместным ответить, что «с точки зрения диктатуры пролетариата, таковой быть не должно». Тогда он, с ехидной, хоть и не злобной улыбкой, запросил: «А с точки зрения диктатуры буржуазии?», на что я ответил, что в таких странах, как Англия и Франция, эта свобода существует. «А у нас?» — «После Февральской революции». — «Так ли это?» Тут среди обступивших стол оказался желавший выгодно себя показать перед экзаменом сотоварищ, видно тоже из Партийной школы, заявивший, что Временным правительством была запрещена «Окопная правда». Не помню, как закончился спор, в котором не помогли бы аргументы о необходимости военной цензуры, в данном случае служившей для борьбы с большевистской стратегией поражения. Хорошо было уже то, что он не повлек за собою моего провала на экзамене. Затем пришлось преодолевать затруднения, связанные с недавно введенными, уже встававшими на путь «лишения» правилами приема студентов. Чтобы иметь на него право,

требовалось что-то вроде командировки от определенных политических или профессиональных союзов, и мне, как не принадлежавшему ни к одному из них, пришлось выдумать непредусмотренную категорию «детей профессоров». Из университетской канцелярии, куда я обратился со своим прошением, меня направили к новоявленному невыборному ректору, по фамилии, кажется, Греков. Не знаю, каковы были его научные специальность и достоинства, но хорошо на нем сидящая пиджачная пара или тройка и гладко выбритое лицо с безупречной эспаньолкой придавали ему необычайно для времени презентабельный вид. Выслушав меня стоя, он повел речь стоя, несколько высокомерным, торжественным и назидательным тоном, начав ее как-то вроде «Находясь в трудовой советской республике...», что подходило бы больше банальному пропагандисту, и закончил ее благоприятным для меня решением. Не исключаю возможности, что он его принял не без великодушной мысли о прозябающем в тюрьме отце.

Так началось мое студенческое существование.

Известно, что заключение Рапальского договора, возобновившего дипломатические и торговые сношения с Германией, позволило советскому правительству обратиться к немецкому за визой для высылаемых. На что тогдашний рейхсканцлер Вирт ответил, как пишет отец, что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбой дать им визу, Германия охотно им окажет гостеприимство. В Москве ходатаями по этому делу были назначены А.И. Угримов и В.И. Ясинский, а в Петербурге — мой отец и журналист Н.М. Волковский, которых освободили из тюрьмы около 20 сентября в числе заключенных старше 50 лет¹⁷⁶.

Первым встретить отца случилось мне. Возвращаясь откуда-то под дождем, я увидел подъехавшие к нашему подъезду извозчицы дрожки с поднятым верхом и фартуком, покрывавшим ноги двух седоков. Одним из них был отец — с распухшим, наверное от сидячей жизни взперти, лицом. Другой, которому он меня представил, был наш будущий добрый знакомый, инженер Козлов, продолжавший путь к своему дому. Как произошла радостная встреча отца с семьей, — не помню.

Москвичи как обитатели столицы смогли быстрее нас справиться со всеми связанными с путешествием формальностями, и уже 27 сентября прибыли для его продолжения морем в Петер-

бург. Делом солидарности северных коллег было приютить их у себя до посадки на немецкий пароход. Гостями нашей семьи были супруги Бердяевы со свояченицей и тещей Николая Александровича. Его супругу, родом еврейку, крестившуюся или обратившуюся в католическую веру, звали Лидией, а ее сестру Евгенией Юдифовной¹⁷⁷; о их матери помню только, что она была хромой и ходила с палкой. Самого Бердяева мы с Володей раньше не видели, но были сыздавна наслышаны о его ставшем притчей во языцех нервном тике¹⁷⁸.

Его дам поместили, наверное всех троих, в комнате на бабушкиной половине, обычно занимаемой нами с братом, для чего нам надлежало перебраться в белую детскую. Что же до Николая Александровича, то ему был отведен отцовский кабинет с кожаным диваном в качестве постели. В задней же комнате, бывшей розовой спальне родителей, с недавнего времени поселилась наша Мазяся¹⁷⁹.

В момент появления у нас семьи Бердяевых нас с братом дома не было и, вернувшись, мы их еще не видели. Первое же появление Николая Александровича на нашем горизонте, иначе говоря на 12-15-метровом расстоянии, было довольно странным. Нам с братом случилось оказаться вместе с матерью в большой «бабушкиной столовой», перед дверьми анфилады родительской квартиры. Внезапно в дверях из отцовского кабинета в «мамину столовую» показалась великолепная фигура московского оракула. Явно обрадованная случаем мать уже приготовилась представить ему своих юных, проникнутых благоговением сыновей. Но он, сворачивая быстро направо, протянул в нашем направлении ладонь как бы отстраняющей руки. Конечно, это был один из видов его пляски святого Витта, но этот произвольный жест принял в моей памяти квазисимволический смысл.

Из разговоров помню его пессимистическое суждение о том, что, будучи вынужденным порядком вещей соображать, какими способами лучше раздобывать валюту для заграницы, невольно опускаешься до морального уровня «игрока на бирже».

Вечером в более спокойной, чем днем, обстановке у московского и петербургского философов завязались диалоги более интеллектуального порядка. Их слушали с благоговением и несколько прознавших о нашем госте Володиных университетских товарищей: Степанов, Бахтин, наверно Ушаков и, кажется, Гуковский. Из вещаний Бердяева мне запомнилось главным образом следующее, которое носило историософический характер с налетом двухвековой московско-петербургской неприязни. Покровительствуемая властями «Живая церковь», в которой Виппер¹⁸⁰ хотел ви-

деть русское подобие протестантской Реформы, в суждении Николая Александровича приравнивалась к петровско-победоносцевскому Святейшему Синоду как орудию подчинения Церкви государству. И в том и в другом явлении он усматривал выражение петербургского бюрократического духа. Помню, что у меня появилось желание сказать что-то, в общем не совсем по существу его мысли, о притязании Москвы на роль «Третьего Рима», но по робости язык не повернулся.

Когда стали расходиться спать, Бердяев счел по справедливости уместным сообщить матери, что ему иногда случается громко говорить во сне и что он надеется этим не встревожить соседей по комнате. Наутро, выйдя к кофе, он удовлетворенно уверил мать, что спал мирно и безмятежно. Но примерно полчаса спустя из розовой спальни выбрела Мазяся и заявила, что чувствует себя совершенно разбитой после ночи, в течение которой ее несколько раз будили доносившиеся из отцовского кабинета отчаянные протестующие вопли: «нет!.. нет-нет!.. нет-нет-нет!» и заключила свою жалобу мало действенным ультиматумом: «S'il reste, je pars... tant pis...». Но этой угрозы, ей исполнить не предстояло, потому что наступило 28 сентября, день отплытия москвичей.

Их посадка на пароход Oberbürgermeister Hacken¹⁸¹ с пристани на Васильевском острове, против Горного института, началась, помнится, сразу пополудни. На ней мы с родителями, разумеется, присутствовали среди многочисленных провожатых-петербуржцев.

Погрузка длилась часами, потому что вызываемые по фамилии семьи отплывающих должны были проходить поодиночке через контрольную камеру для опроса и обыска наощупь через платье чекистом или (если память меня не обманывает) приставленной для женщин чекисткой. Тут главным предметом нашего внимания была уже больше пяти лет с нами не встречавшаяся семья Франков: Семен Людвигович, Татьяна Сергеевна, тринадцатилетний Витя, двенадцатилетний Алеша, десятилетняя Наташа и совсем малолетний Вася¹⁸². Помню даже, что через выходящее на набережную одно из окон пристани мы видели сидевшую на опросе мать, окруженную детьми. Помню тоже, что на мостовой меня окликнул глянсеровский выпускник Юрий Харламов¹⁸³ и сказал, что провожает близких родственников, нам еще неизвестных Угримовых¹⁸⁴. Отплытия парохода не помню, может быть потому, что мы покинули набережную после посадки Франков.

На невской пристани мне довелось побывать вскоре еще раз,

не помню, по какому делу, может быть, специально для того, чтобы встретить отправляющуюся на временное пребывание в Берлин Марию Лазаревну¹⁸⁵. Ей повезло сесть на лучший, самый большой из трех обслуживавших связь с Германией пароходов: белую или светло-серую Schlesien.

С начала октября я стал ходить в университет, как поначалу Володя — на многие курсы, только с вниманием, направленным на историю искусства. Из профессоров помню Д.В. Айналова и его лекции о русской архитектуре и живописи домонгольского периода, Сычева, преданного ученика Кондакова, прервавшего свой курс, едва его начав, и археолога-эллиниста Б.В. Фармаковского¹⁸⁶, преподававшего в Zubовском институте против Исаакя. Также увидел в первый раз за кафедрой О.А. Добиаш-Рождественскую, говорившую, если точно вспоминаю, о расселении народов в раннесредневековой Европе, и сопровождаемого женою В.М. Жирмунского¹⁸⁷ в его качестве литературоведа-германиста и теоретика поэтики.

Стали заводиться и коллеги, в их числе и главным образом брат и сестра Володиных однокурсников, Борис (как и я «Боря») Бахтин и Елена Стефанович¹⁸⁸, хотя их, как помнится, искусствознание особенно не привлекало.

Никак не забывались и гимназические товарищи, главное — товарки, с которыми мы не раз ходили в театр. Так, видели на Мариинской или Михайловской сцене балет «Сольвейг» с музыкой, перекроенной для него из григоровского «Пэр Гюнта». В репертуар Большого Драматического вступил XX век с пьесами «У жизни в лапах» и «Мезальянс» Кнута Гамсуна и Бернарда Шоу. И как не вспомнить «Гамлета» в театре Гайдебурова, сбавившего себе лет тридцать для изображения героя шекспировской драмы. Особенно общения молодого принца с говорящей из-под земли тенью убитого отца, оказавшейся не только невидимой, но для интеллектуальной абстракции и неслышимой, так что право голоса оставалось только за одним Гайдебуровым, прошедшим диалог односторонне, как будто говоря по телефону.

Кстати о театрах: с лета Александринка покрылась лесами — зрелище уже лет пять невиданное в Петербурге — для ремонта фасадов, вплоть до полной реставрации лепных львиных масок над окнами. Также предвозвестилось и возрождение нормального уличного освещения. Правда, очень издали, потому что о капитальном ремонте газового трубопровода по всему городу вряд ли

еще могла быть речь. Дело шло только о менее трудном восстановлении электрического света, которым был наделен только Невский проспект, где — тоже как будто с лета — загорелись угольно-дуговые шарообразные фонари, покачиваясь над серединой ожидавшей скорого обновления торцовой мостовой. Да и тут были перебои, потому что с новым хозяйственным строем не выяснялось сразу материальная сторона подачи тока.

Наш семейный круг обогатился, правда, не на Кабинетской улице, а на Петербургской стороне. Приехала из Мстиславля в Петербург дочь тети Вити¹⁸⁹, достигшая совершеннолетия кузина Ира Троицкая и сошлась близко с тетей Адей и тетей Верой¹⁹⁰.

Произошло и одно событие в нашем бывшем домашнем окружении. Как-то пришел к нам удрученный Щербаков¹⁹¹ спросить, не появлялась ли у нас Катя, которая накануне или третьего дня, повздорив с ним, по его словам, не очень серьезно, исчезла из семьи его отца, где они временно проживали. Видно, недаром сказал им нежно-назидательно, со своим южным акцентом: «Вейте себе гнездо» появившийся у нас после долгого пребывания в родной Одессе милейший Константин Павлович Ягодовский, бывший директором гимназии в пору Катиного выпуска в 1915 году. Оценив в свое время ее разнообразные таланты и приняв близко к сердцу ее комплексы, он говорил: «Это дорогая игрушка, которую сломали».

Вслед за Щербаковым приходили одна или две из Катиных подруг по сценическим курсам и обвиняли его, неизвестно, в какой мере справедливо, в наклонности к садизму. Сама же Катя, по-видимому из опасения быть им у нас застигнутой, появилась только дня за два до нашего отъезда, в ранний утренний час, когда все были еще в постелях. О себе помню, что проснулся от ее прощального поцелуя.

Возвращаясь к делам изгоняемых петербуржцев, напомним, что после выхода на волю отца добрая половина их оставалась в тюрьме до середины, если даже не до конца октября. По дошедшим до нас, наверное через Л.Н. Карсавину, слухам, быт заключенных значительно ухудшился. После того, как один из непринадлежавших к группе арестантов покончил с собой, пользуясь ночной темнотой, во всех камерах для усиления контроля стал несколько раз в ночь зажигаться свет. Раздраженный этим стеснительным нововведением Лев Платонович подал тюремному начальству заявление о заключенных, подвергаемых «утонченной пытке». За чем, конечно, режим не изменился, и уже хорошо то, что Карсавин не подвергся дисциплинарным мерам и обрел «свободу» своевременно, вместе с товарищами по обвинению.

Первая половина ноября прошла под знаком приготовлений к отъезду и прощальных собраний. К этому времени высылаемым и сопровождающим их членам семей, для нас — включая бабушку Стоюнину, кажется, уже были выданы заграничные паспорта с русским и французским текстом. Из последнего в шуточный вокабюлер отъезжающих перешло слово *expulsé*, приняв производную форму «экспульсанты». Стояли на них и немецкие визы, за которыми ходили на Исаакиевскую площадь, в консулат Веймарской республики, помешавшийся в бывшем посольстве Германской империи. Не то на саму визу, не то скорее на соответствующую ей оставшуюся в архиве бумагу требовалось поставить отпечаток большого пальца.

Относительно багажа, как известно, были очень стеснительные ограничения. Чтобы выхлопотать более льготные условия для вывоза вещей и справиться с другими формальностями, отцу и Волковыскому, как представителям петербургской группы, пришлось обить пороги многих учреждений. После чего началось составление подробных списков в трех экземплярах платья и белья — кажется, по два комплекта на отъезжающего, кроме того, что будет на нем, книг и прочих вывозимых предметов. К сожалению, мы как-то не решились причислить к ним хотя бы одну самую в семье почитаемую икону¹⁹², на что особенно досадовали, когда узнали в пути, что в багаже у кого-то из отплывавших — кажется, у супругов Изгоевых — их было несколько.

Составленные инвентари и их копии требовалось носить для заверения на Фонтанку в какое-то учреждение, занимавшее здание николаевского «Третьего отделения», столь блестяще превзойденного Чекой на Гороховой. В изготовлении списков, как и в других сборах к отъезду, приходили нам помогать тетя Адя и кузина Ира. Тоже случалось иногда и нам оказывать помощь товарищам-«экспульсантам». Так, появился у нас раз жутко памятный нам с братом и особенно Мите Шостаковичу мрачный учитель математики Сергей Иванович Полнер¹⁹³, непонятно почему попавший в группу гонимых интеллектуалов. Оказалось, что насадителю точных знаний составление в известном порядке списка увозимых вещей представилось трудно разрешимой задачей, для чего он пришел за советами к матери. Не помню, как по внесению в его инвентарь «пиджачной пары» им удалось лучше наименовать то, что С.Ив. затруднялся назвать «тужурной парой».

В не меньшее замешательство попал и другой непрактичный холостяк: издавна известный своей рассеянностью Иван Иванович

Лапшин¹⁹⁴, неспособный ничего предпринимать в своем не философском, а бытовом существовании без помощи преданной прислуги Саши. В этом я мог воочию убедиться, когда родители послали меня в чем-то ему помочь, кажется, сопроводив его в какое-то учреждение. Когда мы с ним уже спускались по лестнице, Саша выбежала на площадку, чтобы спросить, есть ли на нем носовой платок. Из разговоров на улице явствовало, что перспектива путешествия и перемены образа жизни ему очень тягостна, особенно из-за плохого зрения, от которого он чувствует себя растерянным в публичных местах, как например, вокзалы, и что вообще не представляет себе, какое существование ему суждено на чужбине. Это было, разумеется, вопросом, который ставили себе все отъезжающие.

Прежде всего, уже на самое путешествие и на начало жизни за границей были нужны деньги: не советские миллионы рублей, не германские, начавшие катиться под гору марки, а доллары и фунты (говорили шутя и о «пудах») стерлингов, на нянинном языке «стервингов». У нас на их приобретение должна была пойти часть движимого имущества, и для совета, как следовало бы разумнее поступить, был приглашен на ужин один из школьных родителей, сведущий в «делах» Волах. Сев чинно за стол, он открыл совещание вопросом: «ликвидировать или реализовать?», на что было отвечено что-то вроде «ликвидировать» по нужде, «реализовать» по возможности. За этим последовало его обещание направить к нам не слишком хищных коммерсантов-покупателей. После чего отец, пересмотрев карточный каталог своей библиотеки, изъясил из него фишки, относившиеся к книгам (помнится, около сотни), менее полезным для его занятий¹⁹⁵, а делом нашего поколения было выискивать их на полках этажерок и раскладывать в известном порядке на полу. Было нам с братом и более лестное задание от отца, доверившего нашему суду разделение на неприкосновенные и продаваемые не внесенных в каталог и хранившихся в отдельном шкафу публикаций художественного характера. Удержав в первой категории четыре тома «Истории Русского Искусства» Игоря Грабаря, мы причислили ко второй сборник репродукций картин передвижников. Пишу об этом, потому что наше решение послужило поводом для небезынтересной реакции отца. Ему направленный реализм уже не представлялся как семидесятилетне-бабушке, но еще и не как Мир Искусства Володе и мне «абсолютной ценностью» в русской живописи. Последнее стало нам ясно, когда отец, возмущаясь нашим поступком, вынул из папки вкладной лист с «Горем безутешным» Крамского со словами вроде «что же, разве ничего не говорит такое почув-

ствовавшее проявление мысли?» Помнится именно слово «мысль» и думается, что для отца изобразительное искусство было главным образом одним из видов «проявления мысли», что, может быть, заметит читатель его книги «Мир как воплощение красоты», которая, кажется, наконец появится на свет в России.

После букиниста появился коммерсант, которому перешли за сходную цену ренессансная мебель отцовского кабинета и с нею письменный стол Глазенапа (прибавим «и Лосского») ¹⁹⁶: огулом за миллиард рублей, которых хватило как раз на покупку билетов до Штеттина и, кажется, до Берлина.

7-го ноября советская власть справляла пятилетие Великого Октября и средним школам было вменено в обязанность отметить радостный юбилей: утром в своих стенах соответствующим ему дивертисментом, а к вечеру общим митингом в каком-то из больших концертных залов, чуть что не в Филармонии. Утреннее празднование в нашей гимназии прошло не в дифирамбах преержавшей власти, а в чтении «Двенадцати» Блока, художественно проведенном нашей режиссершей Волотовой, что дало собранию литературный, никак не политический характер. Что же до вечернего торжества, то каждой из школ надлежало быть на нем представленной своим знаменем с девизом и вдохновенным им оратором. Образцы девизов были разосланы наркомпросом по школам и наша выбрала один из самых неофициозных: «Труд — удовольствие», кстати весьма шедший к менталитету бабушки, всегда считавшей лучшим днем недели понедельник, как первый из шести трудовых дней. Знамя было изготовлено, а роль оратора взяла на себя Женя Виленкина, обойдясь без всякого выражения верноподданничества.

Обращаясь к более «семейной» жизни гимназии, стараюсь распутать в памяти две прощальные вечеринки. Первая из них, если не ошибаюсь, была приурочена к ее сорока-однолетию, как последняя дань преподавателей и бывших учениц уезжающей бабушке. Как и в прошлом году, на эстраде появился Яков Яковлевич Гуревич ¹⁹⁷ и занял собравшихся своей юмористической фольклористикой. Сильно запала в память минорная нота, внесенная бывшей ученицей Коровицкой, поэтессой из свиты Гумилева, не побоявшейся прочесть несколько скорбных стихотворений, написанных ею год назад под впечатлением расстрела ее учителя. Вряд ли подобные выступления прошли бы безнаказанно года три спустя, когда ГПУ усовершенствовало свой сыскной аппарат.

На второй вечеринке, устроенной импровизированным кружком друзей гимназии, было произнесено много напутственных речей, обращенных к бабушке и к ее отъезжающим сотрудам:

моим родителям и С.И. Полнеру. Вспоминается, между прочим, забавный пассаж из речи отца двух учениц, известного ларинголога Полякова: «Казалось бы, что такие люди, как Мария Николаевна и Николай Онуфриевич, на улице не валяются». Были также на вечеринке университетские коллеги отца и товарищи брата: Добиаш-Рождественская и Гревс, которому было вверено председательство, а между вторыми — Степанов и Люблинский, ставшие год или два спустя преподавателями бабушкиной гимназии. Верный своему вокабюлеру Гревс обрисовал в своей речи «образы» членов нашей семьи вплоть до своего ученика Володи. Также почтила брата и его школьная товарка Нина Гузарчик, закончив свою, обращенную к бабушке речь неожиданным «до свиданья» или «прощай, Володя». На это брату надлежало, по мягкому приказу его учителя, симпровизировать ответ, чем он так смутился, что стал ходить, ища выражений, взад и вперед по эстраде, а за ним и я, зараженный его волнением, — все это к потехе собравшихся.

Еще о Володе: когда посетители вечеринки уже покидали зал, к нему подошла одна из склонных к экзальтации учениц выпускного класса и со значительным видом передала от имени тоже витавшей в духовной стратосфере подруги, очевидно, как-то им вдохновенную стихотворную антологию. Воздержусь от упоминания имени автора, занявшего позже место в литературном мире.

Вспоминается тоже прощальное чаепитие на Васильевском острове, у незнакомого нам университетского коллеги отца (имени не запомнил), пригласившего в гости трех изгоняемых философов: его, Лапшина и Карсавина, вместе с их общим учителем Введенским. Я там оказался в качестве проводника отца, с которым мы отделились от семьи, возвращаясь домой, наверное от Микробов с Петербургской стороны. Маститого Александра Ивановича, о котором мы с братом столько слышали в детстве как о неприятеле отца¹⁹⁸, я сподобился увидеть всего в первый (и последний) раз и удивился на его молодежавый вид и рыжие, как будто без проседи волосы, полагая, что ему должен был идти уже восьмой десяток. Разговор шел, если память не изменяет, о «Пире» Платона и поведении на нем Аристофана, но также было уделено особое внимание приколотой к стене карте Европы, на которую хозяева нанесли послеверсальские, дотолем в России еще не виданные границы между новым силуэтами государств. Жалею, что не пригляделся к прощанию отца со своим не всегда милостивым учителем, но знаю, что они расстались по-дружески.

Ивана Ивановича мы с братом встретили последний раз перед общим отъездом на званом вечере у Шостаковичей, что было

для нас сюрпризом, так как мы не подозревали, что и он входил в круг их знакомств.

За недостатком места гости были размещены в двух комнатах: «взрослые» в столовой, под почетным председательством Глазунова перед графинчиком водки, а молодежь в гостиной, тоже с правом на новоявленный российский нектар.

Среди более-менее знакомых гостей нашего поколения было небезынтересно встретить после пятилетнего перерыва шидловскую одноклассницу Ирину Кустодиеву и заметить, что бывшая товарка покойной сестры Маруси, Митина сестра Зоя, превращалась на своем пятнадцатом году в более красивую, чем Муся девицу. И она встала на дорогу служения музыке и, по-видимому, метила в певицы. Во всяком случае, она довольно хорошо и выразительно спела собравшимся не помню чей романс на слова Никитина о соколе, сидящем среди широкой степи тысячу лет на цепи.

Российский нектар начинал производить на гостей свое живительное действие, особенно на меня с Митей, нас можно было уподобить легендарному чижику, о котором поется «выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове». Потому помню с несколько меньшей отчетливостью, как в согревшейся атмосфере Митя убеждал присутствующих, не теряя своей привязанности к феноменам русской речи, что оставался «тверез». Что, однако, не мешало нашему оживлению дойти до того, что нам захотелось вступить в единоборство. Пройдя трижды друг мимо друга в нарочитых позах персонажей не то египетской фрески, не то ассирийского барельефа, мы вцепились друг в друга и скоро, повалившись на пол, покатались по ковру под рояль. Тут я увидел, что на Митином лице не осталось ни кровинки, и скоро стало ясно, что он потерял сознание. На помощь пришла озабоченная София Васильевна и, в ответ на мои, должно быть, бессвязные объяснения и уверения, что все в порядке, окатила меня несвойственным ее обычной приветливости взглядом, после чего мы с братом покинули собрание. В этих обстоятельствах и прекратилась наша связь с Шостаковичами.

Вспомню еще об общем с ними учителе Гляссере, приехавшем в эти дни проститься с нашей семьей, и с которым, пройдя вместе от дома до Царскосельского вокзала, мы горячо обнялись в верхнем зале, перед дверью на перрон.

Признаюсь без всякого смущения, что несколько дней (вернее, темных вечеров) перед тем, выйдя из нашего подъезда на Кабинетскую, я поддался желанию обнять и поцеловать холодный чугунный столб незажженного уличного фанаря, чувствуя, что припадаю как бы к руке милого с детства Петербурга.

В том же порядке идей, возвращаясь из университета, я исполнил давнишнее желание подняться на купол Исаакия и, обойдя по балкону венчающий его «фонарь», налюбовался окружающей панорамой, впервые осознав воочию, что вырос в приморском городе. Между прочим, переведя взгляд на близлежащие кварталы, не преминул, по совету брата, обратить внимание на крышу германского посольства и лежащего на боку одного из шествовавших по его аттике до августа 14-го коней¹⁹⁹.

Труднее будет распространиться на наши чувства к покидаемой родине. Признаюсь, и также без смущения, ручаясь не только за себя, но и за брата, что в нашем сознании доминантой, перед которой все отходило на задний план, была «охота к перемене мест» и приобщения к более свободной и более проникнутой культурой жизни европейского Запада. Для меня Россия в каком-то смысле воплотилась в вывозимых по моему желанию, подаренных мне бабушкой томах Морозовского издания сочинений Пушкина с инициалами прадеда Николая Тихменева на корешках. Что же до Володи, то мне представляется, что и тут его скорее вдохновлял Данте с его тоской по родной Флоренции и словами о «горьком хлебе изгнания и лестнице чужих ступеней без конца». Потому должен признаться, что наши проявления «досрочной ностальгии» были в преобладающей мере позерством²⁰⁰. Тут вспоминается недоверчивая реакция на них наших тетушек, когда мы с родителями сидели в последний раз у Микробов на Петербургской стороне. У бабушки Лосской даже явилось собственное соображение о настоящей причине Володиного якобы нежелания покидать Петербург. Отозвав его, когда мы в последний раз прощались с ней, в свою комнату, она ему заявила вполголоса: «верно ж повлюблялся...».

Она же дала отцу, в виде материнского благословения на новую жизнь, гравюру с изображением Ченстоховской или Остробрамской Богоматери, которую он носил, наверное, до конца жизни в одном из отделений своего бумажника. Были также благословлены, как он, так и остальные пять членов нашей пускавшейся в далекий путь семьи, пришедшим с нею проститься ее старым другом, отцом Александром Дерновым, бывшим иереем Петропавловского собора, вручившим каждому для ношения с нательным крестом по маленькому серебряному медальону с ликом Христа и надписью «Спаси и Сохрани»²⁰¹. В дополнение к рассказанному вспомню, что в самые последние дни перед отъездом, может быть, накануне его, бабушка и мать ездили помолиться и поставить свечу Спасителю в его часовне, которая еще занимала домик Петра Великого на Петербургской стороне.

Наступило наконец 15 ноября — несколько раз откладывавшийся день посадки петербургской группы на пускавшийся в последний перед ледоставом рейс выпавший на ее долю самый скропный из немецких пароходов, уже названный Preussen.

Утром поднимались к нам с Володей приятельницы из старших классов гимназии. Пришли даже извне две мои товарки-выпускницы, Леля Полякова и Нюра Гиндес, обыкновенно любившие меня всячески дразнить, а на сей раз — чтобы расставаться со слезами на глазах. Даже помню, что при прощании они хотели меня поцеловать, но своего намерения не исполнили, видя, в какой оно меня привело неопикуемый ужас, что сейчас кажется совсем смешно.

Дом на Кабинетской наша семья начала покидать как будто около пяти вечера, когда уже стемнело. Простились в квартире с плачущей Мазясей и, спустившись, стали грузиться с чемоданами и «дорожными мешками», бабушка с матерью и Андреем — в наскоро отъехавший «таксомотор» (французское слово «такси» распространилось на всю Европу гораздо позже), а мы с отцом — на задержавшиеся дольше извозничьи дрожки. У подъезда стояла куча домочадцев, к которой присоединился неприкаянный Щербаков, явно надеявшийся найти среди них покинувшую его Катю Полякову.

Когда мы втроем уже теснились на сиденье дрожек, милая няня Лиза сочла уместным обратиться к отцу с мольбой плачущим голосом простить ее, «если она в чем-нибудь перед ним провинилась», — совершенно непонятно почему, ибо даже мы, неблагодарные мальчишки, чувствовали ее неизменную преданность нашей семье.

Помню возмущавшее чувство волнения от прощания с невольской столицей, когда, проехав из конца в конец Гороховую улицу, мы очутились перед Адмиралтейством и свернули в монументальные кварталы. Оставив налево от себя «дом на площади Петровой», перед которым «с поднятой лапой как живые стоят два льва сторожевые», величавую массу Исаакия и стройную колоннаду Синода, мы с братом в благоговейном молчании впились глазами в силуэт Медного Всадника и несколько удивились (чувствуя, что и он, как я), что, поравнявшись с ним, отец обернулся на откинутый верх дрожек, испытывав именно в этот момент желание убедиться, что положенный в него дорожный мешок не вывалился на одном из поворотов.

На опушенной снегом и погруженной в вечерний сумрак Василеостровской набережной против Горного Института уже собралась толпа, — наверное около сотни, а позже и больше, родственников и друзей отплывающих, в значительной мере бабушкиных и отцовских учениц и учеников, как и наших коллег по гимназии и университету. Были среди них Шура Шальников, братья Бахтины, конечно, Лексик Степанов, «три Жени» и много других товарок и товарищей. Были, разумеется, и родные, из которых вспоминаются тетя Адя и кузина Ира.

Между школьной молодежью затеялись резвые игры, иногда даже с падениями на мостовую. В разгар одной из них, на тротуаре у Горного института появилась маститая фигура обитавшего остров Саваофа-Кареева, вышедшего проститься с отплывавшими университетскими коллегами. Указав тростью на нашу ораву, он спросил у кого-то из близко стоявших: «А это что такое?» и удовлетворился ответом «дети Лосского с товарищами».

Все же возобновилась у меня и тут мысль о расставании с родным городом и, исчезнув во мрак на одной из пустынных соседних улочек, я поцеловал сквозь снежную пелену один из камней ее булыжной мостовой. Правда, что охваченный тут же чувством самоосмеяния, вернувшись на набережную, я спросил у Бори Бахтина, помнит ли он о жесте Раскольниковца на Сенной площади и о замечании стоявшего вблизи зубоскала: «Санктпетербургский грунт лобызает».

Потом, когда уже многие семьи высылаемых погрузились на пароход, было выкликнуто с трапа плавучей пристани и наше имя. На ней нам предстояло пройти поодиночке через закрытое помещение, где чинил опрос и обыск строгого вида чекист²⁰².

На пароходе старшее поколение с Андрюшей заняло четырехместную, а чета Карсавиных с младенцем Сусей — двухместную каюты I класса. Старшие же их дочери и мы с братом поместились где-то поодаль и, кажется, на другом уровне, в двух общих, женской и мужской шести или восьмиместных каютах II-го, а многие из переселенцев — в «межпалубном» дортуаре Zwischen-deck.

Первую ночь на борту парохода предстояло провести еще у причала. Поданный в два сервиса — сперва пассажирам I класса, потом всем прочим (тремя стюардами, относившимися равно высокомерно ко всем русским пассажирам) довольно скромный немецкий ужин показался нам чуть что не роскошным.

Когда наутро 16-го мы с братом вышли на повернутую к Николаевскому мосту корму парохода, только что рассвело и вставал ясный день. Вскоре к нам присоединились отец, и, кажется, мать, а на палубе пристани появились, должно быть, по вчерашнему сговору, допущенные по милости стерегшего ее с винтовкой за плечом вчерашнего чекиста, человек пять-шесть наших провожатых, между ними тетя Адя, Лексик и Женя Степановы. Успели с ними обменяться последними приветствиями и пожеланиями, а отец даже поблагодарить за снисхождение к нашим чувствам чекиста, когда взявший на привязь стоявшую уже под парами Preussen буксир начал ее оттягивать к середине Невы, чтобы поставить лицом к устью. Осталась навсегда в памяти зарумяненная ранним солнечным светом через дымку легкого тумана панорама невских набережных с удаляющимися портиком Горного института и силуэтом Исаакия. Также виденная где-то у Канонерских островов, стоявшая в ожидании нового назначения, серая императорская паровая яхта Штандарт, прятавшая свои надпалубные строения за грубо сколоченными досками. Или, уже на взморье, разрушенные со стороны берега овалы форты, напоминавшие о недавнем подавлении Кронштадтского восстания²⁰³. И, наконец, когда остров Котлин остался позади, две дежуривших на якоре лодки, перед которыми наш пароход остановился, чуть что не на час для исполнения каких-то полицейских формальностей: по Воспоминаниям отца, — для спуска на них сопровождавших поначалу наш рейс чекистов²⁰⁴, которые, если не ошибаюсь, только здесь выпустили из рук паспорта облегченно вздохнувших изгнанников.

Будет, конечно, полезно напомнить известные из литературы о высылке 22-го года фамилии наших петербургских «экспульсантов»²⁰⁵, хоть лица большинства из них не стоят в памяти и не могу полностью ручаться за точность указуемых профессий. Из университетских философов: Н.О. Лосский и Л.П. Карсавин с семьями (среди которых бабушка М.Н. Стоюнина) и И.И. Лапшин. За философами — два проректора университета: юрист А.А. Боголепов и почвовед Б.Н. Одинцов, директор Томского Технического института Ефим Лукьянович Зубашев, экономисты В.Д. Бруцкус, И.И. Лодыженский и Д.А. Лутохин, агрономы П.А. Велихов и Юштин, математики А.С. Селиванов и С.И. Полнер, гражданский инженер Н.Козлов, издатель А.С. Каган, литераторы и журналисты Н.М. Волковыский, А.С. Изгоев, В.Я. Ирцкий, А.Б. Петрищев, Л.М. Пумпянский, С.О. Харитон.

К петербургской группе причисляют, не знаю, в какой мере правильно, Питирима Сорокина, которого во всяком случае на

борту Preussen не было. Были зато некоторые другие, плившие по своей воле навсегда или на время, известные члены культурного мира: литературовед Нестор Котляревский и писатель-сценарист Николай Евреинов. Помню его эффектную голову в бобровой шапке и, увы, с пожелтевшими зубами, как и его молодую жену, вчерашнюю статистку Александринки, оригинально вырядившуюся в отороченную мехом, шелковую или парчевую, почти допетровского покроя кацавейку²⁰⁶.

Первый день плавания прошел на спокойном море, чуть что не весь вблизи сначала русских, потом ливонских берегов. Провели тоже в каютах спокойную вторую ночь. На второй же день, когда пароход вышел на середину моря, им стала все больше и больше завладевать качка: не боковая или килевая, а «подлая», с ходивший из стороны в сторону кормой. Когда наступил обеденный час, то мне даже не захотелось войти в натопленную столовую, отчего стала только длительнее и мучительнее одолевавшая меня (если не брата, утверждавшего обратное) морская болезнь. Конечно, и не одного меня: помню, например, выбежавшего из столовой к борту Карсавина. Становились в то же положение и многие другие, между прочими шахматисты, уместившие свою доску на дно коробки с высокими боками, поставленной на скамью перед бортовыми перилами. Когда за них нагнулся кто-то из них, кажется, Бруцкус, стоявший рядом Карсавин заявил, что это было реакцией на нелепый ход его партнера.

Самым стойким мореплавателем оказался Иван Иванович Лапшин, удвоивший, а то и утроивший свой обеденный рацион за счет удержавшихся от еды спутников и, по собственному выражению, так «напершийся», что ему якобы не угрожал никакой недуг. Вообще можно было заметить, что он оставил на берегах Невы удручавший его пессимизм и, почувствовав себя хорошо в интеллектуальном окружении, вновь обрел свойственные его характеру живость и веселость. Помню, что случалось слышать его разговоры с умными или притязавшими на ум спутницами, богато оснащенные обычными для его устных и письменных высказываний литературными цитатами.

У отца заводились иногда разговоры с добродушным пожилым капитаном, который, между прочим, сообщил ему, что крепчавший ветер дошел до скольких-то баллов, предвещавших шквал.

К третьей ночи, действительно, качка как будто увеличилась, и я предпочел провести большую ее часть не на койке в душной каюте, где были больные пассажиры, а «прозябая» в обоих смыслах слова, на орошаемой холодными брызгами палубной скамье. Как-

то ко мне подсел капитан и неожиданно для меня заговорил мило и совсем не плохо по-русски.

Наконец, ближе к рассвету 18 ноября, пароход перестал качаться, войдя мимо монументального маяка в стиле начала века в отгороженную дамбой от волнующегося моря дельту Одера, Swinemünde, которой нынешняя, передвинувшаяся на запад Польша вернула славянское название Свиноустье, как и стоящей на нем Щецини, издавна превращенной, наверно меченосцами и ганзейцами, в Stettin.

До выхода на берег предстояло выполнение каких-то формальностей на борту и ввиду их проснувшиеся пассажиры стали подыматься из кают в общий салон, из которого не было позволено выходить даже на палубу. В этом я мог убедиться лично, когда встретившийся мне у наружной двери капитан остановил меня перед ней, строго, уже не по-русски приказом: «Bleiben Sie Hier!» (оставайтесь здесь!).

Сидели, помнится, с добрый час, а то и больше, должно быть, в ожидании начала жизни на берегу, и коротали время каждый по-своему. Как будто здесь, перед попавшей на глаза картой близлежащей области, Карсавин говорил отцу и еще кому-то об острове Рюгене, как о священной земле обитавших эти края до немцев язычников-славян. Не помню, что делал Володя, а я начал с вялой и малоуспешной попытки научиться игре в шахматы у одного из двух или трех сыновей Бруцкуса, много себя уважавшего сверстника, который, убедившись в моей неспособности, покинул меня с презрением, после его я принялся строчить свое первое заграничное письмо, кажется, новоторжковскому приятелю Ване Романову²⁰⁷.

Как и москвичам на их пароходе, так и их петербургским братьям на борту Preussen, было предложено расписаться в «золотой книге»²⁰⁸. Помню, автограф отца ссылался на Володю и его цитаты из Данте. Текст же Лапшина воспроизводил реплику пушкинского Дон Жуана: «Ведь я не государственный преступник!»

До спуска на берег оказалось нужным пройти, как перед портами Соединенных Штатов, через всеобщий медицинский контроль, здесь в самой безобидной форме: старый, добродушного вида врач дружелюбно пожал руку и посмотрел в глаза каждому из прошедших гуськом мимо него пассажиров.

Кажется, уже на пароходной пристани наша группа была встречена двумя пожилыми членами, должно быть, своевременно

предупрежденного местного Красного Креста, и без особых проблем технического порядка (даже переправки не слишком обильного багажа) добралась до железнодорожной станции, находящейся на берегу Одера. Здесь помнятся завладевшие нашим с братом вниманием «новизною» своего для нас вида, обращенные на набережную по ту сторону реки готические, ренессансные и барочные фронтоны домов старого города.

Обедали на вокзале, причем наша семья заняла столик, выставленный — должно быть, за недостатком места — за открытую дверь ресторанного зала в станционный холл, где нас с братом позабавил ныне давно давший место электрическому громкоговорителю, вероятно освященный немецкой железнодорожной традицией обычай: время от времени перед выходом на перрон появлялся служащий в соответствовавшей чину форме и фуражке и, помахав в воздухе колокольчиком, провозглашал нисходящим речитативом на мотив вроде соло кларнета в бетховенской «Леоноре-Фиделио» — характеристику очередного поезда.

Вниманием отца завладела, конечно, немецкая газета. В ней привлек наше общее любопытство портрет Муссолини в позе и чертами лица, стилизованными под изображение Наполеона. Также помню подошедшую к нашему столику жену Бруцкуса, которая хотела поделиться со старшим поколением впечатлившим ее газетным известием о гибели в немецкой тюрьме политического заключенного из воюющей с веймарским правительством партии, которому, наверно сомневаясь в его стойкости на предстоявших допросах, товарищи послали с продовольственной передачей конфету с впрыснутым в нее ядом. Так, за тем же обедом в Штеттине, дошло до нас и предвестие грядущего через десять лет воцарения Гитлера²¹⁰.

В поезде на Берлин нашей группе был отведен, не знаю, чьими стараниями, почти целый вагон третьего класса. Сперва ехали вдоль вдоль волнистой гряды зеленых холмов, удивляясь на то, что железнодорожное полотно сопровождали как улицу расставленные недалеко друг от друга фонари. Другого пейзажа не помню, наверное оттого, что, кажется, уже совсем стемнело, когда мы добрались до немецкой столицы, где на перроне Stettin Bahnhof нашу группу ожидало человек сорок соотечественников, кажется, главным образом взявших ее на свое попечение московских собратьев по изгнанию. Но и тут оказались бывшие стоянки, среди которых вспоминаются сестры Набоковы и, главное, Леля Познер. Она и отвела нашу семью в находившийся на вокзальной площади небольшой, скромный и чистенький Hotel zur Ostsee, где нас разместил в двух комнатах любезный хозяин Шёнрок.

В Берлине мы провели ровно месяц, от 19 ноября до 19 декабря, на втором этаже (говоря уже по-западному) названной гостинички. В ней, по счастью, харчи ограничивались Frühstück'ом, что позволяло завести без стеснения обычай завершать день собственной холодной закуской с чаем в одной из своих комнат. Так же поступала и семья Карсавиных, уместившаяся в одной большой комнате в конце нашего коридора. Превративши один из ее углов в свой рабочий кабинет, Лев Платонович засел «с места в карьер» за писание статей для какого-то из русских берлинских журналов.

Остановились в нашем отеле и некоторые другие петербургские спутники, из которых вспоминаются супруги Козловы, Зубашев и Юштин. Оказались в нем, в качестве «старожилов», и прибывшие до нас из Москвы семьи астронома В.В. Стратонова и экономиста Н.Н. Зворыкина.

Продолжалось известное общение и с расселившимися по другим местам новоприбывшими изгнанниками, но главным образом возобновлялись старые или заводились новые знакомства с уже давно обжившимися в Берлине соотечественниками, как известно, столь многочисленными, что по словам шутников в квартале Шарлоттенбург шутцман (городовой) повесился на фонаре с тоски по немецкой родине. Случилось как-то и нам услышать в каком-то месте, где обильно звучала русская речь, чей-то вздох со словами «Ach, mein deutsches Vaterland».

В связи со сложившейся общественной и культурной жизнью русского Берлина вспоминаются, путаясь друг с другом, два или три вечерние собрания. Одно из них наверное ознаменовывало основание, не сумею сказать, какого эмигрантского общества культурного характера²¹¹, на которое новоприезжие петербуржцы, частью его будущие члены, были приглашены в качестве почетных гостей. Врезалась в память фигура сбежавшего, чтобы приветствовать отца, на десяток ступенек с ведшей в зал лестницы, Андрея Белого в неожиданно мало выгодном аспекте. В нем уже мне на этот третий раз увиделся не благосклонно улыбающийся в феврале 17-го, на чтении его стихов поэт-символист²¹², не импонировавший в конце зимы 20-го аскетической наружностью основатель Вольфила²¹³, а потерявший скульптурную четкость лица, малозначительный, как-то «по-мышинному» суетливый распорядитель праздника²¹⁴. На этом вечере или на дивертисменте перед русским балом, на который оказались также приглашенными новоприезжие ссыльные, можно было слышать бер-

линские раскаты «р» — «Der Kallte Oktober» от немецкого драматического актера, декламировавшего чьи-то стихи об отступлении из-под Москвы наполеоновской армии, и любоваться на воинственные антраша танцовщицы, выраженной в венгерского повстанца вроде Ракоци. Или, предполагая, что не будет излишним привести здесь пример неувядавшего на берегах Шпрее отечественного одухотворенного красноречия, вспомню, как на эстраду бального зала поднялся организатор программы дивертисмента (не пожинавший ли живой успех на столбцах газеты «Руль» публицист Яблоновский?) и, провозгласив что-то вроде «Господа, меня уже давно сверлит мысль, что между вами находится служительница Искусства, способная подарить нам минуты высокой Радости...», — произнес имя появившейся недавно в эмиграции известной артистки Московского Художественного театра Германовой. После чего, воплотившись в Суламифь, героиню «Песни песней», вчерашняя спутница Станиславского стала призывать далекого Возлюбленного, небезуспешно у сидевшего за нами Карсавина, давшего вполголоса ехидную реплику, вроде «а ну, покажи его...»

Случилось нам с братом познакомиться тоже с очередной в общем хореографической программой пользовавшегося успехом в Берлине «Русского Романтического Театра». Там позабавились на веселую «Арлекинаду» под пошловатую музыку устаревшего Дриго и не слишком одобрили «национальный» стиль составленной с бору да с сосенки «Боярской свадьбы» с «цыганским танцем», чуть что не заимствованным из «Травиаты» Верди. Наше особое внимание привлек театральная занавес со сложной композицией из человеческих фигур, тем более, что нам было известно имя его автора, памятного нам с 1910 г. Льва Зака²¹⁵, недавно обрадованного приездом в Берлин сводного брата С.Л. Франка и его семьи. По ассоциации идей вспоминается и Бердяев и его толки с отцом, как будто за столом в ресторане, где мне почему-то (может быть, недостаточно обоснованно) показалась жадной манера принимать пищу у его участвовавшей в разговорах на высокие темы супруги. На этот раз философы совещались о том, как назвать задуманный ими периодический сборник, и Лидия Юдифовна предложила назвать его «Время и Вечность», на что Николай Александрович, уже, если не ошибаюсь, употреблявший эти два слова в виде заголовков в своих писаниях, высказал мысль (которую, надеюсь, не искажаю), что на обложке журнала они бы приобрели своей высокопарностью скорее отталкивающий, чем притягательный характер для вербуемого читателя. Конечно, никак не мне было вмешиваться в этот разговор, и я

не спросил, как мне захотелось, почему бы не назвать новый временник «Софией». К чему прибавлю с известным чувством самодовольствования, что в конечном счете этот заголовок ему и достался.

Интересовал нас, разумеется, не один русский Берлин, и мы с братом, а иногда и с отцом знакомились, он заново, с памятниками города, руководствуясь привезенным из Петербурга «бедкером» времени первой отцовской заграничной командировки в 1901 г.²¹⁶ Должен не без смущения признаться, что в моем тогдашнем сознании привлекательный образ столицы королевства Пруссии двух Фридрихов и их преемников (жаль, конечно, что не съездили в Потсдам) заслонила «вагнерическим» (кажется, так выразился Ромен Роллан) фасадом метрополии Германской империи обоих Вильгельмов. Настолько, что даже долго Берлин не представлялся мне как «Ville d'art» (не скажешь по-русски «художественный город»), сам по себе, вне его дарохранилищ, как влекшие нас с братом Kaiserfriedrichsmuseum, Nationalgalerie и собрания классических древностей.

Побывали «для примера» с отцом и по идущей к его профессиональному «мироощущению» инициативе в университете, на доступной публике, хоть и рядовой лекции кого-то из известных немецких медиевистов. А в коридоре подивились на впечатляющую, хоть и невысокую, седовласую фигуру медленно и торжественно направлявшегося к своей аудитории, явно не замечая идущих перед ним студентов, знаменитого эллиниста Вилламовитц фон Мёллендорфа. Приведенный в восторг этим зрелищем, отец рекомендовал нам задержать в памяти столь типичный, связанный с его воспоминаниями студенческих лет образ немецкого университетского «Exzellenz». Отдали честь и Вагнеру, побывав с отцом и матерью на «Зигфриде» в одном из оперных театров. Однако родителей, приобщившихся к завладевшему десять лет перед тем Марининской сценой «Кольцу Нибелунгов», берлинская версия не удовлетворила, особенно герой пьесы, показавшийся им салонным фатом рядом с «молодым оленем», каким его воплощал наш Ершов.

В первую половину декабря запас английских фунтов, а с ним и причастность нашей семьи к категории обеспеченных стойкой монетой иностранцев (называвшихся оскудевшими немцами «Valuteschwein») стали сходить на нет. С другой стороны, ни в Берлине, ни в Лондоне, где проживали добрые знакомые, на содействие

которых можно было возлагать проблематические надежды, никаких материальных «видов на жительство» не намечалось, отчего, понятным образом, опасения старшего поколения за будущее семьи стали возрастать день ото дня. И тут, поистине в провиденциальном порядке вещей пришло из Праги письмо от П.Б. Струве с известием об успехе предпринятых им (вряд ли ошибусь, утверждая, что чисто по его личной инициативе) хлопот о присуждении как отцу, так и бабушке денежного содержания, полностью обеспечивавшего нашей семье жизнь на территории молодой Чехословакии, введшей, как достаточно хорошо известно, в свой бюджет широко поставленную «акцию» помощи русской интеллигенции, воинским и другим организациям и учащейся молодежи.

Предложение Струве, разумеется, дало удовлетворение родителям и особенно бабушке. Зато мы с братом проявили недовольство на перспективу жизни не в Лондоне, а в какой-то славянской стране, хотя и было нам со школьной скамьи известно, что королевству Богемии принадлежало не последнее место в истории европейского Запада. В конечном же счете мы стали думать не только «скрепя сердце», но даже с известным любопытством о предстоящем местожительстве.

Наличие у отца чехословацкой визы ускорило наш переезд в Прагу, преимущественно перед другими русскими берлинцами, для которых тоже налаживалось приобщение к «русской акции».

Переезд из Берлина в Прагу пришелся на 52-й день рождения и также именин отца, 6/19 декабря²¹⁷. На поезд погрузились, конечно, со значительно разросшимся багажом, в который между прочим вошел купленный в Берлине, подобный оставленному в Петербурге «Ундервуд» с русским шрифтом, ввиду должествовавшего возобновиться машинописания матери с намечавшихся новых трудов отца.

Из путешествия помнится долгое стояние на тогдашнем Дрезденском вокзале с перекрещивавшимися перпендикулярно один над другим путями и перронами, и затем разворачивавшаяся за окном купе живописная панорама Эльбы и Саксонской Швейцарии с известковыми пиками и венчающим один из них грозным замком Кёнигштейном. Когда промелькнула станция городка Пирна, бабушка вспомнила о своем пребывании в нем в конце 60-х с дедом Стоюниным, рождении, ранней смерти и погребении там младенца-сына, нареченного (если не крещенного) Владимиром²¹⁸.

Пересев на пограничной станции в чехословацкий поезд, мы добрались до Праги, когда уже стемнело. Там, на тогдашнем Вильсоновом (до 1918 г. Франц-Иосифовом) вокзале, нас встретили, кажется, старшему поколению в свое время уже бывший известным доктор, бывший лейбпедиатр Острогорский, до того незнакомый молодой историк Георгий Васильевич (впоследствии богослов о.Георгий) Флоровский и, кажется, еще кто-то из представителей русской интеллигентской Праги. С их любезной помощью мы водворились на несколько дней «на Виноградах» в гостинице Беранек.

В последней декаде 22-го года, не столько заключавшей «военно-революционный», сколько открывавшей «пражский» период нашей семейной летописи, стоит только отметить, по возможности не входя в детали, в какой моральной атмосфере начиналось наше приобщение к уже сплотившейся (или, вернее, нам поначалу таковой показавшейся) интеллигентской среде русской эмиграции.

Из всего здесь мною рассказанного достаточно явствует, что на родине мы жили и должны были ее покинуть никак не бывши друзьями поработившей ее власти. Прибавлю, что в этом отношении менталитет не только старшего, но и младшего поколения нашей семьи не изменился до начала 1940-х годов, открывших новую эру в эволюции общерусского национального самознания.

Его нам можно было ощутить в себе уже сразу, попав в беженскую Прагу, когда из разговоров с соотечественниками создавалось впечатление, что общая неприязнь к большевистскому режиму у них как бы выходила из берегов на самую Россию, так одиозно многими перекрещиваемую в «Совдепию»²¹⁹.

Только, или главным образом, реакцией на подобные проявления антирусского, оттененного монархизмом патриотизма могу на расстоянии семидесяти лет объяснить, если не оправдать наше (говорю о себе с братом) ушедшее в обратную крайность, хоть и несколько не советофильское и вообще политически не окрашенное настроение против даже самой эмблематики дореволюционной России, — не только портретов покойного Государя, но даже и национального трехцветного знамени. Помню, что нас с Володи почти шокировало их торжественное присутствие, так сказать, в «красном углу» квартиры семьи Струве, куда для «сознательных» русских пражан, как пожилых, так и молодых, образо-

вался обычай, кажется, раз в месяц в определенный день недели ходить на поклон Петру Бернгардовичу, ко времени нашего приезда уже прочно завоевавшему себе роль идеологического вождя целого клана русской интеллигенции.

Не обошлось на этом переходном этапе полувековой общественной деятельности «вечного диссидента» и без существенных расхождений с новоприбывшими российскими людьми мысли. Известна его громкая ссора с Бердяевым, разгневанным его тогдашним чаянием новых вторжений и вмешательств иноземцев в судьбы России²²⁰. Были разногласия, хоть и в более благодушной форме, и с отцом. Вскоре по их встрече, П.Б. заявил, что когда теперешним эмигрантам доведется (должно быть, по милости тех же иностранных интервентов) встать в России у власти, придет время судить оставшуюся в ней работать при большевиках интеллигенцию. Правда, что за выраженным отцом недолгим несогласием последовало смягчающее, если не полностью умиротворяющее «но судить ее мы будем милостиво».

Здесь могу и должен вспомнить с сочувствием о слышанном от кого-то суждении П.Б. о собственном, столь высоко рельефном идеологическом пути, смысл которого был: «все, что я думал и высказывал, я делал честно».

По этому поводу скажу, заключая российскую часть семейной летописи, что было бы в высшей степени несправедливо отказать в честности мысли и большей части не покидавшей родину интеллигенции, не только за наше революционное пятилетие, но и вплоть до загнавшей ее в подполье сталинско-ждановской ломки русской культуры. И, наконец, прибавлю, основываясь на личном опыте поработавшего за послевоенное время в сотрудничестве с русскими собратьями-искусствооведами, можно лишь радоваться ее возрождению уже в пору, предшествовавшую благоприятной «перестройке».

ПРИМЕЧАНИЯ

⁶¹ Сообщенное мною, конечно, не согласуется с тем, что говорят о первых опусах Шостаковича его официальные историки, в частности С.М. Хентова, которая в одной из своих книг о нем пишет следующее: «Во время июльской демонстрации на Невском проспекте городской убил на его глазах ребенка [хотел бы знать, какой «городской» в дни июльской стрельбы в 1917? — Б.Л.]. Много дней не могла Софья Васильевна успокоить сына. Заглянув как-то в его нотную тетрадь, она увидела крупно написан-

ные строки с надписями "Траурный марш памяти жертв революции", "Гимн свободе" — то были первые сочинения ее сына. Даже десятилетие спустя Шостакович представлял себе гибель юного демонстранта так ясно, что впечатление это отразил в сочинявшейся тогда Второй симфонии "Посвящение Октябрю", в эпизоде перед вступлением хора». (Шостакович в Петрограде-Ленинграде. Л., 1979. С.13-14). О зарубленном мальчике и июльских днях см. прим.45 и 58. Что же до упомянутого Хентовой «Гимна свободе», то спрашиваю себя, не видеть ли в нем попытку Мити написать что-нибудь «свое», когда весной 17-го в его классе пели изготовленный взамен тошнотворной «Русской Марсельезы» приторный гимн «Привет тебе, народ свободный» (см. гл. «Семнадцатый год», — Минувшее, т.11) и не вспомнил ли он об этих словах, когда лет десять спустя озглавливал свой «Привет Октябрю»?

⁶² На воспоминания А.Родичевой об отце есть ссылка в: *НОЛ*, 246-247. О них мне не удалось найти никаких сведений. О его дальнейшей судьбе мне известно, благодаря любезному сообщению Т.А. Осоргиной, что в течение первой половины 18-го года, переселившись в Москву, он бывал не раз в доме ее отца А.И. Бакунина, где проживала покинувшая Петербург после суда и тюрьмы графиня Панина. Известно также, что с сентября того же года Родичев, его жена и дочь Александра начали скитальческую жизнь по городам Греции, Сербии и Западной Европы, кончившуюся в Лозанне, где они встретили дружеский прием в семье дочери Герцена. Фед. Изм. умер там в 1933 (см.: А.Тыркова-Вильямс. Ф.И. Родичев. / Новый журнал. XXXVIII. Нью-Йорк, 1954. С.207-223).

⁶³ Во всяком случае, все они там пребывали еще летом 1922 года, откуда А.М. писала, что они собираются предпринять «артистическое турне», т.е., как мы поняли, перебраться на вольный мир. Не помню, как сложилась их одиссея до того, как они очутились в Париже около 1925 г. Не находившая постоянного занятия А.М. говорила, что чувствует себя «свободной, как извозчик без седока». С нею и с Полями мы встречались еще в течение 1950-х годов. Последние годы жизни А.М. провела в русском старческом доме в Кормель под Парижем, где скончалась в 1960 г.

⁶⁴ *Mémoires de la baronne d'Oberkirch*. (Издание 1989). С.13, 264-267.

⁶⁵ А.А. Каменская преподавала в начале 1910-х гг. французский язык в бабушкиной гимназии, около 1916 г. совершила паломничество в Индию, около 1920 эмигрировала, перейдя финляндскую границу. Во время последней войны пребывала в Женеве и после смерти преемницы Блаватской, Анни Безант, встала во главе Теософского движения. Год ее смерти мне не известен.

⁶⁶ О Д.В. Болдыреве (1885-1920) см.: *НОЛ*, 167, 206-207; его же: *History of Russian Philosophy* (N.Y., 1951). P.296-297; его же Некролог в журн. «Мысль». №1. Пг., 1922. В конце 1918 или в 1919 он вступил в армию Колчака, приняв на себя миссию проповедника крестового похода за веру и отечество, и, попав в плен к большевикам, не избежал бы расстрела вместе с Колчаком, если бы не умер в тюремном госпитале в Иркутске.

⁶⁷ О вокзалах вообще и павловском в частности см. мое сообщение в *Bulletin de l'histoire de l'art français*, 1971. С.143, и статью в газ. «Русская мысль». Париж, 21.04.1977. См. также богато иллюстрированную монографию А.С. Розанова «Музыкальный Павловск» (Л., 1978).

⁶⁸ А.Розанов, ук. соч., с.62.

⁶⁹ А.И. Шальников (1905-1986), ученик Иоффе и сотрудник Капицы, стяжал себе широкую известность как физик-экспериментатор, создатель собственной школы. Был одним из основателей Московского Института физических проблем на Воробьевых Горах и возглавителем его, когда в 1978, после 57-летней разлуки мы встретились. После смерти Шуры я послал в Москву (в 1987 г.), по просьбе его дочери Наталии Александровны Тихомировой, для проектировавшегося сборника в его память — несколько страниц воспоминаний о наших школьных годах. Появление этой книги предвидится в 1991-92 гг.

⁷⁰ Удивляюсь, как я не внес исправляющего примечания в «Воспоминания» отца, где он пишет о захоронении Маруси в могилу деда Стоюнина, — *НОЛ*, 205.

⁷¹ Другая бронзовая отливка этого памятника работы Л.А. Бернштама, поставленного в 1910 г., стоит с 1911 на главной площади Заандама, недалеко от убогого домика, где подмастерье Питер жил в 1697 г.

⁷² *НОЛ*, 204.

⁷³ Биографам В.В. Розанова будет полезно ознакомиться с посвященными ему страницами «Воспоминаний» отца (*НОЛ*, 188-189).

⁷⁴ *МНС*, 404-406, 408-409.

⁷⁵ Если не ошибаюсь, библиотека С.А. Князькова поступила около 1924 г. в научный библиотечный фонд, по разумной инициативе преподававшего с 1923 г. в гимназии историю А.А. Степанова, университетского товарища брата, которого читатель встретит в следующей главе.

⁷⁶ Не знаю, в какой мере современному читателю известно слово «ротатор», обозначавшее валёк для размножения текстов.

⁷⁷ О С.А. Аскольдове-Алексееве (1871-1945) см.: *Минувшее*, т.9. 1990. С.352-379 (публикация А.Сергеева и А.Добкина: вступительная статья); *Минувшее*, т.11. 1991. С.188; *НОЛ*, 80, 83-85, 105. Прибавлю от себя, отчасти по полученным недавно сведениям от М.П. Лепехина, работающего над книгой об Аскольдове, что занятия в университете он вел с 1918 г., и как и мой отец, был от университета отставлен в 1921. Среди средних школ, где он преподавал философские предметы, были б.Введенская гимназия на Петербургской стороне и, как мне кажется, гимназия Мая. Академик Д.С. Лихачев говорил мне о нем, как о любимом школьниками учителе. В годы своего пребывания в Праге наша семья обменивалась с ним письмами. Году в 1925 бабушка ему как-то писала, что я люблю живопись Рёриха, на что он ответил осуждением этого художника, в котором видел

вместо искренности чуть что не дешевые, бьющие на эффект выдумки, граничащие с шарлатанством. Должен сказать, что с течением времени (особенно когда Рёрих водворился в Тибете и раз оттуда в ответ на единственное адресованное ему отцом письмо возвестил: «дух мой говорит мне, что мы еще встретимся», чего однако не случилось), пришел и я, хоть и далеко не в полной мере, к мысли о справедливости суждения Аскольдова об этом художнике. В середине 30-х годов он писал нам с заключительного этапа своих ссылок, из Новгорода, где С.А. находил себе духовное убежище в мире былин и, главное, в воспоминании об опере Римского-Корсакова (с желанием пропеть забывшим свое вольнолюбие новгородцам обращение к ним гуслира-Садко). После 1941 года, «вторая волна» эмиграции занесла его в Прагу, где в 1944 он получил вторую премию на конкурсе, предметом которого был трактат о несостоятельности марксистской идеологии. На исходе войны, кончавшему свое пребывание в Братиславе отцу кто-то сообщил, что его друг, потерявший рассудок, прозябал где-то в Берлине или его окрестностях. В 1945 в Потсдаме приходившие его арестовать «освободители» нашли его мертвым. Его сын Владимир умер в России в 1942 г., а дочь Александра проживает в Петербурге. Об отце она вспоминает больше по рассказам матери, скончавшейся в 1955 г.

⁷⁸ Мне они известны по находящейся в архиве отца (Париж, Institut d'Études Slaves) вырезке из «Литературной газеты» за 23(25?) июля 1934 г. №83.

⁷⁹ Цитата из его статьи «Почему я стал символистом» в кн.: К.Н. Бугаева. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981. С.10.

⁸⁰ Занимаемый ныне другими учреждениями «Дом Искусств» вошел в литературу как «Сумасшедший корабль» с известным романом Ольги Форш (Л., 1931).

⁸¹ *НОЛ*, 208-209, прим.23.

⁸² Известный дирижер и педагог А.В. Гаук (1893-1963) был нам знаком в свои молодые годы, когда, поначалу, он звался Александром Вильгельмовичем, прежде чем быть переименованным на патриотический лад Васильевичем в семье наших завсегдаев-театралов Стремовичей (о них см. Минувшее, т.11. С.126), с которой он породнился в 1915 г., вступив в первый брак с более старшей, чем он, дочерью Стремовича Еленой Иосифовной (в свое время влюбленной поклонницей Артура Никиша). Миловидный, кудрявый А.В. был еще учеником, очень продвинутым, Консерватории и носил крайне ему идущий студенческий мундир. За его молодость и небольшой рост, теща Наталья Владимировна и жена Эля называли его «маленький» и, приходя к нам втроем в гости, позволяли или не позволяли ему садиться по приглашению бабушки за рояль. Однако, из этого подвластного положения «маленький» довольно скоро вышел, и летом 1919 г. моя мать встретила его на перроне Павловского вокзала, идущим об руку с какой-то хорошенькой молодой особой, причем он сделал вид, что не узнал маму, глядя в другую сторону. В начале же 20-го года Эля

нам жаловалась на покинувшего ее мужа. А десять лет назад мне довелось слышать от Анны Александровны Бенуа, что героиней романа Гаука была одна из ее кузин. Не знаю, она ли и стала его второй женой. Известно, что в течение 20-х годов он был дирижером Мариинского театра, а в 30-х, сменив эмигрировавшего Эмиля Купера, — главным руководителем Государственной Филармонии.

⁸³ См. прим.69.

⁸⁴ Спешу признаться не без смущения, что если брату случалось садиться в позе изваянного Микель-Анджело и воспетого Листом *Pensiero*, то доводилось и мне «обогащать» своей полулежащей фигурой первый план групповых фотографий, не без мысли о статуях времен дня на разорванных фронтонах той же *Capelle Medici* во Флоренции.

⁸⁵ В пору сталинских разбазариваний художественных сокровищ России альбомы Лафатера покинули Павловский дворец и, если не ошибаюсь, вернулись в Цюрих, где хранятся в одном из музеев.

⁸⁶ Ко всему, что будет о ней сказано, прибавлю, что после войны Мария Лазаревна была долго хранителем Музея еврейского искусства в Париже. После ее смерти я посвятил ей некролог «Памяти учительницы» в газ. «Русская мысль» от 11 августа 1984 г.

⁸⁷ Неаполь. Нац. Музей. Кат. 1980. №357. Мрамор, 42 × 89 см. Подпись Александра Афинянина, нач. I в. по Р.Х.

⁸⁸ Париж. Библ. Арсенала. Ms.5073. Манускрипт поэмы «*Renaud de Montauban*», миниатюрист *Louset Liédet*, Бургундия, 1460 г.

⁸⁹ Полагаю, что отец Марианны, помнится, бывший офицер военного флота, был не первым представителем на этом поприще «династии» Мрозов, выходцев из Франции, куда их семья и эмигрировала в очень скором времени.

⁹⁰ Одна из его четырех картин, написанных около 1730 года, где главная фигура изображает балерину Камарго. Вариант, послуживший нам моделью, находится в одном из дворцов Потсдама.

⁹¹ О начале знакомства с ней нашей семьей летом 1906 г., проведенном в живописном местечке Брандис на Орлице, где жил ее отец-чех, латинист, вышедший на пенсию после преподавательской деятельности в Нежине, см. *НОЛ*, 155. Скажу здесь только, что стоявший недалеко от нашего пансиона придорожный крест с фигурой распятого Христа был предметом дикого ужаса трехлетнего Володи. Поступив в 1924 г. в Сорбонну, брат записался в первую голову на курсы Ф.Лота и, более того, был принят в его доме как ученик его русской воспитанницы. Прибавлю, что и жена Лота была русской, в девичестве — Миррой Бородиной. В 1926/27 уч. году к ним приехала на короткое время Ольга Антоновна, к великой радости Володи, которого, конечно, пригласили с ней встретиться. Среди гостей оказался доктор Манухин с супругой и, по рассказу брата, не нашел ничего лучшего, чем высказать порицание как своего рода изменникам — пред-

ставителям нашей интеллигенции, оставшимся у дел в Советской России. Разъяренный этими словами, Володя высказался достаточно громко, чтобы его услышал доктор, что легко убежавшим за границу осуждать, вместо того чтобы уважать соотечественников, преданно служавших поддержке европейской культуры на родине.

Когда умерла, после 1945 г., Лот-Бородина, Володя посвятил ей на столбцах тогдашней русской газеты в Париже некролог, в котором отдал должное памяти О.А., скончавшейся в 1939 г.

⁹² Этот предмет О.А. унаследовала от Ф.Лота. Как сообщает Сов. Энциклопедия, она его и ввела, вместе с другими «вспомогательными дисциплинами», в программу исторических семинариев Петербургского университета. После 1939 г. ее преемницей была А.Д. Люблинская (см. прим.100), а по смерти последней в 1980 г. — Л.И. Киселева, от которой мне известно, что в помещении семинария висят портреты О.А. и И.М. Гревса. Прибавлю, что знание средневековой латыни оказалось для брата в 1930-х и 1940-х годах спасительным средством заработка для растущей семьи, когда Ф.Лот привлек его к подготовке нового, богато дополненного издания хорошо известного медиевистам «Glossaire Ducange» (1657).

⁹³ Она распространялась, действительно, не только на древне-римское землевладение, сумерки язычества, отцов церкви и средневековых гуманистов, но, ближе к 1930-м годам, и на темы из области русской послепетровской культуры, вплоть до романа Тургенева и Полины Виардо.

⁹⁴ Должно быть, в этом же году Татьяна Александровна Быкова стала воспитательницей-учительницей одного из младших классов гимназии. Она же в первые годы нашего пребывания в Праге держала бабушку в курсе школьных дел. Позже она перешла на научную работу в Публичную библиотеку и, не заняв на ней высокого административного поста, наверное, по беспартийности, выполнила такие ответственные работы, как составление свода русских печатных изданий в петровское время. Все же до своей смерти в 1975 г. она побывала раз в командировке в парижской Национальной библиотеке. Также из нашей гимназии в Публичную библиотеку когда-то перешла учительница истории и библиотечарша Вера Демтьевна Серебрякова.

⁹⁵ Помню, по рассказам брата, что раз, вернувшись после поездки в Москву (что в это время было делом исключительно редким) он проявил и свой интерес к русской живописи, превратив целую лекцию в сообщение о возглавляемой Игорем Грабарем реставрации и пересмотре атрибуций картин Третьяковской галереи, в связи с открытием подлинных и уничтожением поддельных подписей художников и исследованиями исторического порядка. Что же до его профессиональных трудов по раскопкам и изучению древностей черноморского побережья, то не могу не поддаться искушению вспомнить, разумеется, никак к нему не присоединяясь, в чисто анекдотическом порядке, речение маститого и злословного Никодима Павловича Кондакова, с которым наша семья общалась в Праге до его смерти в 1925 г. В его разговорах русские археологи следующего за ним

поколения были в большинстве «архи-олухами», Игорь Грабарь «и его некоторым образом опоганил», а выступивший в начале века на научном поприще Фармаковский «сорок лет молчал, а потом *такое* сказал, что лучше бы и совсем рта не открывал». Здесь будет довольно этих примеров строгих суждений патриарха русской археологии.

⁹⁶ Еще больше мог бы рассказать о Зелинском, с которым наша семья была издавна хорошо знакома. Ограничусь сообщением, что после 1922 г. он предложил отцу поставить свою кандидатуру на профессию в Варшавском университете, от чего отец, выразив ему горячую благодарность, отказался, чтобы не попасть на этом посту в двойственное положение с нашим польским именем и русским национальным сознанием.

⁹⁷ Как сообщает мне Л.И. Киселева, и В.В. Бахтин (1901-1951) и С.А. Ушаков (1904-1944) работали по окончании университета в Публичной библиотеке, наверное, над средневековыми манускриптами, а с 30-х годов извели прелести концлагерного существования, первый — на Соловках и в Сыктывкаре, второй — в Оренбурге, где и нашел безвременную кончину. Вот, по всей видимости, судьба, которая ждала бы и брата, если бы он не покинул Петербурга.

⁹⁸ М.А. Гуковский (1898-1971) специализировался на культуре итальянского Ренессанса и свою научную деятельность провел в университете и в Эрмитаже. В бытность мою в Туре, у нас случайно завязалась в 50-х годах корреспонденция, и в 1966 г. в Петербурге мы с ним не раз встречались и даже раз он и его супруга созвали «для меня» интересных знакомых провести вечер на их казенной квартире над залом Эрмитажного театра.

⁹⁹ В.С. Люблинский (1903-1968), как и А.А. Степанов, преподавали в 1923-1924 гг. в бабушкиной гимназии: один — русскую, другой — всеобщую историю. Люблинский тоже работал в Публичной библиотеке, в отделе инкунабул, и в 1930-1957 гг. читал в высших учебных заведениях лекции о западной культуре, оставил больше восьмидесяти значительных печатных трудов и внес свой вклад в область «вольтерования».

¹⁰⁰ См. прим.91. А.Д. Люблинская (1902-1980) была дочерью священника, если не ошибаюсь, последнего настоятеля Исаакиевского собора, что причиняло некоторые трудности ее карьере. В 70-х годах она не раз приезжала в Париж, где ее принимали в кабинете манускриптов и в русском отделе Национальной библиотеки наш зять Франсуа Авриль и дочь Мария. Также бывали они в гостях у А.Д. в Петербурге, как и я, и брат Андрей. Ее ученица и преемница Л.И. Киселева посвятила ей богато документированный некролог в выходящем в Генте (Бельгия) журнале *Scriptorium — revue internationale des études relatives aux manuscrits*, t.XXXV, 1981, I. С.102-104.

¹⁰¹ В течение 20-х годов она эмигрировала и приобщилась к культурной жизни русского Берлина, где проявила себя поэтессой и сдружилась с Мишей Горлиным, более молодым поэтом. После переворота 1933-го года, они, поженившись, поселились в Париже, где у них родилась дочь. Там

Раисе пригодилась ее медиевистика, и вместе с Володей она работала для Лота. Вскоре же после оккупации Парижа вся их семья пропала без вести в нацистских лагерях. В 1959 г. были изданы в Париже их «Избранные стихотворения».

¹⁰² К этому «двуединству» мы еще вернемся в главе «22-й год».

¹⁰³ Этот бумажный кризис отразился на моей психике так сильно, что я и до сего дня, хоть и смеюсь над собой, отношусь к писчей бумаге с прямо «плюшкинской» скупостью.

¹⁰⁴ Главным предметом ее музейной работы были французские рисунки XVIII в. Когда я в 1966 г. пришел впервые в дирекцию Эрмитажа, мне сказали, что она особенно ожидала встречи со мною, помня о том, как провожала на Николаевской набережной группу изгнанников 1922 г. В следующие мои приезды в Петербург ее, к сожалению, уже не было в живых.

¹⁰⁵ Когда в 1923 г. Мура выходила из консерватории, считалось, что она стоит на пути к мировой славе фортепьянной виртуозки, но вскоре после она нашла себе достойного спутника жизни в лице ученого-гуманитария Александра Болдырева (младшего брата ученика отца, Дмитрия Васильевича — см. прим.66) и, когда у них родилась дочь, чувство материнства взяло верх и она нашла для своего таланта менее блестящее применение, не знаю, какое именно. Известно мне только, что в 70-х годах ее карьера завершалась на важном, хоть и не «видном» посту, концертмейстера Мариинского театра и, что выйдя на пенсию, она здравствовала в конце 80-х во главе двух или трех поколений своего потомства.

¹⁰⁶ Об этом также шедшем в гору пианисте помню, что девицы хвалили его «античный профиль» и что от его напористого туше не раз гибли струны гимназических роялей. Знаю из рассказов Шальникова, что в какой-то момент Рензин стал жертвой сталинских гонений и что его друзья, наверное, Граменицкая в особенности, просили ходатайствовать за него Шостаковича, но безуспешно, может быть, еще не зная, что высокопоставленный композитор жил сам под постоянной угрозой ареста и ссылки.

¹⁰⁷ «Лицо очень русское, в то же время есть улыбка Джиоконды», — как говорил Кустодиев, по словам его дочери и моей шидловской товарки Ирины (в ее очерке «Дорогие воспоминания»./ Сборник Б.М. Кустодиев. Л., 1967. С.325). Он написал с Муси один или несколько портретов, гармонирующих с образами его круглолицых, пьющих чай молодых купчих.

¹⁰⁸ Следует признать абсолютно необоснованным утверждение главного биографа Мити, С.Хентовой, что по выходе из бабушкиной гимназии в 1921 г. ему «завершить среднее образование пришлось в 108-й трудовой школе» (Молодые годы Шостаковича. Л., 1975. С.81). Достаточно будет напомнить, что этот номер носила бывшая гимназия Шидловской, прекратившая свое существование в 1919 г. (см. прим.27).

¹⁰⁹ Полагая, что теперешним соотечественникам еще памятно это производное от слова «клёш», обозначавшее широкий раструб тогдашней

матросской штанины, вспомню слова песенки нашего времени: «Матрос-картинка, брюки клёш», и частушки: «Я на бочке сижу и гляжу на небо, не идет ли клёшник, не несет ли хлеба».

¹¹⁰ На случай, если он не вошел в биографию Владимира Соловьева, сообщу, из рассказов Э.Л. Радлова, об одном из живописных эпизодов: во время предпринятого ими совместно средиземноморского путешествия они поднялись вместе на вершину Хеопсовой пирамиды и там возвышенный мыслитель осушил принесенную снизу бутылку шампанского. Мог бы, но не хочу, процитировать дошедшее до нас из другого источника (не через Карсавина ли?) относящееся к этому же странствию четверостишие, в котором автор «Оправдания добра» изображает друга Эрнеста, преодолеваемого морской болезнью на борту парохода.

¹¹¹ Не знаю, до или после войны эти липы были срублены, чтобы уступить место открывающему вид на фасад и обеспечивающему лучшее освещение для интерьеров дворца *parterre de broderie* в стиле Ленотра, восстановленному, по-видимому, каким он был разбит по рисункам садового архитектора Франсуа Жирара в 1740-х годах.

¹¹² Года три спустя, Г.Лукомский в своей монографии Царского Села писал, что в Александровском дворце размещался детдом, из чего бы следовало, что апартаменты царской семьи были в связи с этим опустошены. Однако, как бы то ни было, «интуристу» 1930-х годов их показывали нетронутыми или восстановленными с такой заботой об их «жизненности», что на одном из столов или сидений можно было видеть якобы недавно прочитанный номер газеты «Фигаро». После войны во дворец вселилось какое-то засекреченное учреждение, и он вместе с прилежащим парком отмежевался от доступной публике зоны. Нам с женою все же удалось в 1974 г. вместе с дружески к нам настроенным коллегой видеть из-за деревьев фасад дворца. Хотелось бы надеяться, что «перестройка» вернет культурному миру этот шедевр Кваренги.

¹¹³ Помню ее рассказ о сестре-скульпторе и фотографию с исполненной ею статуей святой Ольги с крестом в руках. От нее же самой мы получили, году в 1924-м, письмо из Екатерининтalia близ Ревеля (где Трезини построил дворец для Екатерины I), но, помнится, оттуда она вернулась домой и, кажется, узнала прелести концлагерной жизни.

¹¹⁴ Теперь единственная станция. «Павловском I-ым» назывался сожженный нацистскими оккупантами главный, знаменитый Павловский вокзал, к которому вели через парк разобранные после войны железнодорожные колен.

¹¹⁵ Для проектируемого, но увидевшего свет только в 1922 г. сборника «Ф.М. Достоевский». Заглавие к статье нашлось не сразу. По первой мысли отца, им самим осужденное за тяжесть: «О существе, дошедшем до предела зла». За ним, в более обобщенном порядке: «О сатанинской природе». И, наконец, по предложению матери, для большей благозвучности: «О природе сатанинской».

¹¹⁶ См. *НОЛ*, 212-213. Также были устранены от преподавания в университете философы И.И. Лапшин и С.А. Аскольдов-Алексеев. С заменившим их всех троих правительственным ставленником Боричевским мы еще встретимся в главе «22-й год».

¹¹⁷ Во всяком случае, псковские экскурсоводы ставили нас в пример приехавшим нам на смену ученикам и ученицам когда-то возглавляемой Иннокентием Анненским Царскосельской гимназии, предпочитавшим их комментариям шестивия со своим оркестром под звуки чего-нибудь вроде «По улице ходила большая крокодила» и совместное купание в холодеющей к осени Великой. Обо всем этом нам рассказал вспоминавший, по своему с удовольствием, о Пскове летом 22-го Борис Фокко, к которому мы еще вернемся.

¹¹⁸ Нельзя не признаться, что этим же качеством отличались между двух войн и французские монопольные спички.

¹¹⁹ До революции он был директором основанной в прошлом веке его отцом мужской гимназии, тяготился этой деятельностью, в которой не видел своего призвания, и рад был, когда называемая им «alma mater» кончила свое существование в 1918 или 1919 году.

¹²⁰ Кажется, от Шальникова слышал в 70-х годах, что Лена Долгинцева отождествляется с носительницей псевдонима И. Грекова (от французского «i-grec»). Правда, что в последнем томе «Histoire de la Littérature russe» (Париж, 1990. С.1054) ей дается фамилия Ventzel, но м.б. Лена так именовалась в замужестве. Литературная деятельность Тамары Юрьевны Хмельницкой началась с работ о жизни и творчестве Некрасова.

¹²¹ Здесь, однако, требуется оговорка: мой одноклассник должен был родиться около 1906-го, а не в 1910-м году, как указывает, м.б., ошибочно, Советская энциклопедия (1991 г.) в заметке о В.Э. Дымшице.

¹²² Наверное, ему была памятна смерть деда Стоюнина в 1888 году, и это должно было побудить его обратить к бабушке, м.б., когда праздновали 25-летие ее гимназии. (в 1906 г.), заключительные слова романа Мопассана: «Une vie», хоть и не с крестьянскими оборотами речи служанки Rosalie: «La vie n'est jamais ni si bonne ni si mauvaise qu'on la croit».

¹²³ Эта поступившая в 1924 г. в Русский музей картина была написана в 1917 г. в Витебске, вид которого она отражает во-своему. Прибавлю, что, вспоминая о родных местах, отец питал известную нежность к витебскому аспекту творчества Шагала.

¹²⁴ Никак не могу согласовать свой рассказ с утверждением отца, что он пролежал четыре месяца (*НОЛ*, 213), то есть до конца декабря, потому что определенно помню его на ногах при многих обстоятельствах, связанных с последним триместром года.

¹²⁵ Об этих лекциях см. *НОЛ*, 209-210.

¹²⁶ Из любви к александровской эпохе я стал даже, как только смог, носить бакенбарды по-настоящему, с лета 1924-го до весны 1929 года, из-за чего на улице был часто принимаем за испанца.

¹²⁷ Вопросом «не современник ли вы Баха-Бузони?» я огорошил Е.А. Умову 45 лет спустя, в Доме архитекторов на Мойке, куда она пришла на мой доклад о дворце-музее Фонтенбло, хранителем которого я был в 1965-1970 гг. Насколько позволило время, мы перекинулись с нею воспоминаниями о давно прошедших годах.

¹²⁸ *НОЛ*, 215.

¹²⁹ Там же, 211.

¹³⁰ Напомню бабушкину реакцию на царевичество 1918 г. (см. с.36).

¹³¹ *НОЛ*, 213-214 и Минувшее, т.11. С.164, прим.42.

¹³² *НОЛ*, 214, прим.24. О Питириме Сорокине (1889-1968) и его смелых публичных выступлениях см. статью Л.Колодного «Изгнание философов»./ Московский комсомолец. №134. 13.6.1990.

¹³³ Здесь будет уместно обратиться к сообщению С.Хентовой (ук. соч., с.113) о том, что Мите и его консерваторским товарищам случалось по безденежью ухитряться посещать концерты путем всяких уловок, «но без скандала». По-видимому, пользование одним билетом для нескольких посетителей входило в практику их объединения.

¹³⁴ См. с.58, прим.80

¹³⁵ См. с.61.

¹³⁶ Из указанного сочинения С.Хентовой (т.II. С.113, прим.2; см. также мое прим.108) узнаем, что новый инструмент получил название «Герминвокс» и что «этим уникальным электромузыкальным инструментом, изобретенным советским инженером Л.С. Терменом, в двадцатые-тридцатые годы увлекались многие композиторы, в их числе Шостакович, в 1932 г., введя его в музыку к фильму "Встречный"» (там же. С.273).

¹³⁷ С семьей потомка Зигмунда, Гундакера Герберштейна, мне довелось свести в 1938 г. знакомство в Югославии, где им принадлежали конфискованные после войны замки Птуй (Петау) и Храстовец, на территории Нижней Штирии, отошедшей в 1919 г. к Словении и, после 1945 г. — в Граце, где у них было, наверное искони, семейное пристанище.

¹³⁸ Мне не удалось найти биографических дат этого Владимира Панина. Предполагаю, что упоминаемый в генеалогических справочниках Владимир Викторович Панин (1842-1872) приходился ему отцом. Супругой же Владимира младшего была Анастасия Сергеевна, урожд. Мальцева, которая, овдовев, вышла замуж за известного земского деятеля Ивана Ильича Петрункевича. Дочерью ее от первого брака была еще более известная либеральная общественная деятельница София Владимировна Панина (см.: Минувшее. Т.11. С.189), по выражению деда, «самая богатая невеста Рос-

сии». С нею и с супругами Петрункевичами, проживавшими в окрестностях Праги, мы общались в 1920-х годах. Помню, что на меня производило впечатление исторического анахронизма то, что А.С. обращалась к бабушке на ты и называла ее Marie. Такое мне довелось слышать раньше в Петербурге только от двух других подруг бабушкиной молодости: г-жи Фортунато, дочери Владимира Стасова (см. прим.167) и от вдовы Ф.М. Достоевского.

¹³⁹ На форзацах эльзевиров, как и некоторых других книг, стояла печатка с именем Zalusky, что свидетельствовало об их происхождении из богатейшего фонда библиотеки и архива Залуских, иначе говоря, из Варшавской публичной библиотеки, перевезенной в 1795 г. в Россию и легшей в основу Публичной библиотеки Петербурга. По всей вероятности, в течение XIX в. некоторые книги были распроданы, должно быть, в качестве дубликатов, букинистам и через них или непосредственно перешли в собственность библиофилов, как гр. Владимир Панин или дед Стоюнин. Как известно, происходившие из разделов Польши культурные ценности стали предметом ее требований после злосчастного Рижского договора 1921 года, в ходе исполнения которого начались длительные прения между польскими и русскими специалистами по делам библиотек, музеев и архивов. Среди русских специалистов была О.А. Добиаш-Рождественская, по поводу чего вспоминается, как она, сидя у нас в гостях, перелистывала стоюнинские эльзевиры и, заметив печатку Залуских, заявила, что все носящие такую книгу следовало бы выдать польским комиссарам, чтобы не так обвиняли Публичную библиотеку в разбазаривании ее польского фонда. Но дальше этого заявления дело не пошло.

¹⁴⁰ «Провизионкой» назывался предназначенный для этой цели товарный поезд, на пользование которым школьные работники права не имели. Все же, не помню, каким образом, матери удалось в 1921 г. дважды присоединиться к его пассажирам.

¹⁴¹ Сообщу для историка петербургского дореволюционного фольклора, что среди вербных свистулек пользовалась особым успехом продаваемая как «Китайский Ванька потерял свою мамку»: карикатурная головка, у которой нижняя губа откидывалась как дверца духовки каждый раз, когда ее тянули за нитку, что давало звук «Ммм-ааа-ма». Или «тешин язык» из нервушейся бумаги или плотной ткани в форме пробирки, свернутой спиралью. Когда дули в ее отверстие, «язык» вытягивался на 10-12 сантиметров. Тоже выкрикивали лихо парнишки-продавцы, протягивая гуляющим не помню какие фигурки: «А вот повара из гостиного двора, днем варят и жарят, ночью по карманам шарят». Но самым излюбленным детьми товаром были «американские жители»: человечки из дутого цветного стекла, чуть выше 15 миллиметров, плавающие на поверхности спирта в маленьком, родственном по форме с пробиркой, сосуде. Поначалу это были цилиндрические пузырьки с отверстием, затянутым каучуковой пленкой. Когда на нее более-менее сильно нажимали большим пальцем, человечек, голова которого упиралась в пленку, погружался в спирт, спускаясь иногда до самого дна пузырька. Но примерно к 1912-му году ста-

рая система сменилась усовершенствованной. Сосуд принял в своей нижней части форму яйца, наполненного спиртом, сообщающегося с поднимающейся от него запаянной сверху пустой трубкой, в которую поселился американец. Из охваченного ладонью яйца, под влиянием ее теплоты, спирт бурно поднимался в трубку и высоко подбрасывал ее жителя. Появились скоро и более сложные модели с двумя трубками, в которых скакало два человечка. На них мы были особенно падки.

¹⁴² Полагаю, что биографам Айседоры будет бесполезно узнать, для лучшей ее характеристики, что сообщил нам об орфографии ее имени навестивший нас зимой 1925-1926 гг. в Чехословакии Ф.Ф. Зелинский. Познакомившись с нею в пору ее сценических триумфов, он спросил ее, почему она зовет себя Айседорой, а не Айсайдорой (Исидорой), что было бы согласно с этимологией этого имени: «дар Изиды», — на что она ответила, что изменила свое имя для того, чтобы оно лучше соответствовало женскому полу египетской богини.

¹⁴³ См. с.32.

¹⁴⁴ Мы слышали, что от изъятия серебряных и золотых предметов с перспективой их переплавки освобождены были полностью лишь те, которые были старше 1725 г., из чего следовало, что произведения Елизаветинского рококо, Екатерининского классицизма или Александровского и Николаевского ампира оставались на произвол некультурных и враждебно настроенных исполнителей декрета. В ответ на воззвание патриарха Тихона способствовать спасению самых нужных для богослужения предметов, жертвуя через посредство церковной общины на помощь голодающим часть своих драгоценностей, — верующие и культурные люди понесли свою лепту на сборный пункт в Казанский собор. Мать была в их числе, и отец ставил это в связь с благополучным исходом своего второго, самого жестокого кризиса желчнокаменной болезни (НОЛ, 215).

¹⁴⁵ О свадьбе родителей см. НОЛ, 111-112. Рукописи В.В. Тимофеевой у нас сохраниться, конечно, не могло, но не исключена возможность, что интересующийся писательницей Боловиной-Починковской литературовед найдет ее черновик в архиве Пушкинского заповедника, а в его библиотеке — принадлежавшее В.В. in-folio «Божественной комедии» Данте с гравированными иллюстрациями Гюстава Доре, которое она в своих письмах завещала Володе.

¹⁴⁶ О нем знаю только, что многие произведения современных французских авторов вышли в его переводе. Кажется, входили в круг его деятельности также испанская и итальянская литературы.

¹⁴⁷ Из справочников выясняется, что поступившая в Эрмитаж статуя танцовщицы, последними владетелями которой были члены династии Лейхенбергских, восходящей к Евгению Богарне, принадлежит к наследию императрицы Жозефины, по заказу которой Канова изваял ее в 1806 году.

¹⁴⁸ См.: Минувшее. Т.11. С.119.

¹⁴⁹ См.: Минувшее 11. С.154-155, 166, 173, 187; т.12. С.80, прим.117.

¹⁵⁰ Минувшее. Т.11. С.159.

¹⁵¹ *НОЛ*, 67. Рассказ отца об увлечении Миловзорова его старшей сестрой Элеонорой очень удивил и заинтересовал вдову Фокко, по воспоминаниям которой ни ей, ни ее подругам не могло бы придти в голову ничего романического в жизни их скромного и серьезного преподавателя, никогда не проявлявшего интереса к ним как к девицам.

¹⁵² См. с.49.

¹⁵³ См. с.80, прим.117.

¹⁵⁴ О них см. с.32, 38.

¹⁵⁵ См. с.97, 113, 114. Б.А. Ларин (1893-1964) упоминается в справочниках как лексикограф, автор «Словаря древне-русского языка», с 1949 г. член Академии наук и с 1960 — профессор Ленинградского университета, где его памяти посвящено наименование одного из кабинетов.

¹⁵⁶ См. с.70.

¹⁵⁷ См.: Минувшее. Т.11. С.154.

¹⁵⁸ См. с.76, прим.97; 165.

¹⁵⁹ Жертва хрущевского вандализма, собор был взорван около 1960 г. О Сергиевой пустыни напоминают в настоящее время только ворота (или искаленная часовня) на краю Петергофского тракта, построенные в неомосковском стиле 1880-х годов.

¹⁶⁰ Так, например, новый священник нашего прихода предпочитал употреблять как бы для большей пристойности — слово «жизнь» вместо «живот».

¹⁶¹ *НОЛ*, 216.

¹⁶² Эту надпись цитировал мне здравствующий ныне в Париже последний мирискусник Д.Д. Бушен, бывший до 1925 г. одним из хранителей Эрмитажа, как и покойный С.Р. Эрнст, который помнил о частях серебряного иконостаса, лежавших в музейных кладовых.

¹⁶³ *НОЛ*, 213-214.

¹⁶⁴ *НОЛ*, 217.

¹⁶⁵ См. с.59.

¹⁶⁶ *НОЛ*, 217.

¹⁶⁷ Помнятся разговоры, но трудно отождествить с бабушкиной подругой, дочерью В.В. Стасова

¹⁶⁸ О них см.: Минувшее. Т.11. С.160-161, 168, 174, прим.35-37; т.12. С.29-30, 108, 162, прим.62, 138.

¹⁶⁹ *НОЛ*, 215-216; Минувшее. Т.12. С.123.

¹⁷⁰ Об этой встрече вспоминает и сам гр. В.П. Зубов в своих мемуарах «Страдные годы России», Мюнхен, 1968. С.135 и след. страницы, посвященные жизни арестантов в тюрьме на Шпалерной.

¹⁷¹ Из рассказываемого в свое время отцом помню, что вначале у него был только один сожитель по камере, кажется, гражданский инженер Козлов, и только позже — два: почвовед Одинцов и ботаник-поляк, имя которого он позже забыл (*НОЛ*, 218).

¹⁷² Литературе о высылке 1922 г., если не ошибаюсь, положил начало за рубежом М.Геллер — статьей «Первое предупреждение. Удар хлыстом» (Вестник РХД, №127. IV, 1978. С.187-232), за которой последовал мой очерк «К изгнанию людей мысли» (Русский альманах. Париж, 1981. С.351-362). Из советских, появившихся за последнее время публикаций мне известны следующие: Л.Колодный. Изгнание философов. / Московский комсомолец. №133, 134. 1990; С.Хоружий. Философский корабль./ Литературная газета. 9.05.1990. №19 /5293/; В.Костиков. Изгнание из рая. / Огонек. №24. Июнь 1990; его же. Не будем проклинать изгнание. М., 1990; В.А. Решикова (урожд. Угримова). Высылка из РСФСР./ Минувшее. Т.11. С.199-208.

¹⁷³ См. с.55.

¹⁷⁴ О ней — см. с.76, прим.102. От Л.И. Киселевой мне известно, что Елена Чаславовна Скржинская (1897-1981), ученица, главным образом, Добиаш-Рождественской, оставила много ценных трудов в разных областях западной и русской медиевистики. В бытность Карсавиных в Берлине (1922-1926), поехала туда, как и обещала, к Льву Платоновичу, но была им решительно отстранена и вернулась в Россию.

¹⁷⁵ См. с.100.

¹⁷⁶ *НОЛ*, 218-219.

¹⁷⁷ По поводу необыкновенного отчества супруги Бердяева (урожд. Трушевой) в московских университетских кругах (со слов жены П.И. Новгородцева) говорили в шутку, что было бы понятнее, если бы она величалась Олоферновной. Что же до Карсавина, уделявшего бердяевскому клану особое место в своем издательском репертуаре, то он ее называл просто «Иудовной». Из разговоров в карсавинской семье выходило, что главными занятиями Лидии Юдифовны были чтение, размышления и молитвы, в чем ее постоянным помощником был сам Николай Александрович, выходивший в рыночные дни на базар освободить ее от несения домой части накопленных продуктов. Этот полностью обоснованный его рыцарственной натурой жест никак не оправдывал поползших по Кламару инсинуаций. По этому поводу вспомню себя, пришедшим в 1935 г. на поклон к Вячеславу Иванову в Риме и его восхваление добродетели Л.Ю., доходившей, по его словам, до соблюдения девственности в супружеской жизни, на что я осмелился возразить, что Церковь благословляет христиан на монашескую или на подлинно брачную жизнь.

¹⁷⁸ Бердяевская пляска святого Витта могла бы дать тему для рассказа о связанных с нею живописных эпизодах. Думаю, что биографам философа будет небезынтересно знать, каково именно было ее проявление: сперва отверстая, хотелось бы сказать «львиная пасть» с выпадающим наружу языком, затем пять-десять секунд борьбы с тиком посредством подобия гипнотических пассов руки с собранными в шепотку пальцами, как бы загоняющей язык на подобающее ему место. Наряду с этим и другими примерами «одержимости» Бердяева (один из них будет дан в тексте), стоит привести и пример явления обратного порядка, наводящий на мысль об исходивших от него «психических излучениях». Так, вспоминается мне приходившая в Праге к отцу дотоле незнакомая ему молодая женщина, просящая дать ей совет, как защититься от угнетавших ее душевный мир вторжений зловредных, стоивших ей пребывания в психоневрологической клинике, флюидов со стороны также ей лично незнакомого Бердяева.

¹⁷⁹ Минувшее. Т.11. С.120, 156.

¹⁸⁰ См. с.128.

¹⁸¹ Несправедливо называть его «стареньким немецким пароходиком», как это делает В.Костиков на столбцах «Огонька» (см. прим.172), что было бы уместнее по отношению к взявшему на борт петербуржцев Preussen.

¹⁸² О Франках см.: Минувшее. Т.11. С.112, 126, 148, 186, а также прим.6.

¹⁸³ См. с.129; В.А. Решикова. Ук. соч. С.200. Ю.Н. Харламов погиб при бомбардировке во время блокады Ленинграда.

¹⁸⁴ Тем не менее, рассказывая о посадке москвичей на пароход, В.А. Решикова упоминает о нашем присутствии среди провожавших ее группу петербуржцев. Пользуясь случаем выразить ей, наконец, свою признательность за дружеское «интервью», благодаря которому вошли в 1981 г. в мою статью «К изгнанию людей мысли» все эпизоды, связанные с прибытием москвичей в Штеттин и Берлин. В связи с морским рейсом москвичей вспомню рассказ жены Кизеветтера о «золотой книге» на борту их парохода, в которой привлекал внимание рисунок недавно покинувшего на нем Россию Шалапина, который изобразил сам себя со спины в голом виде, переходящим водную стихию как бы вброд (явно, что ему было «мо-ре по колено»), с надписью, гласившей, что весь мир ему дом.

¹⁸⁵ См. с.69, прим.86.

¹⁸⁶ См. с.75, прим.95.

¹⁸⁷ См. с.87.

¹⁸⁸ См. с.76, прим.97, 98, 99.

¹⁸⁹ См. с.53.

¹⁹⁰ Упоминаю их вместе, чтобы воспользоваться случаем выразить благодарность их памяти — за постоянную помощь, которую они оказывали нашей семье в годы изгнания. Достаточно будет сказать здесь, что благо-

даря их заботам, отец получил порядочное количество книг из своей библиотеки, сверх того, что мы смогли вывезти с собой. В 1956 г. Володе довелось встретиться в живых тетю Веру, а с Ирой я возобновил родственное общение с первой из многих встреч — в 1966 г. до кануна ее смерти в 1979.

¹⁹¹ См. с.113.

¹⁹² Это был образ Богоматери с Младенцем, старого, должно быть, допетровского письма, одетый в серебряный неоклассический оклад, с шестью или семью надписями на обороте доски, свидетельствовавшими, что им были благословлены к венцу, в восходящем порядке «по женской линии» — моя мать Людмила Стоюнина, бабушка Мария Тихменова и предыдущие поколения невест, вплоть до XVIII века, среди них Марковы и Дедюлины.

¹⁹³ С.И. Полнер преподавал также математику в Тенишевском училище, а позже, с бабушкиным содействием, в Берлинской русской гимназии. На свою принадлежность к группе высылаемых профессоров высших учебных заведений и литераторов он недоумевал сам, причисляя себя, по собственному выражению, к разряду «мелких сошек». По счастью для него, в Берлине его ждал уже там обосновавшийся и пользовавшийся известностью брат-литератор Тихон Полнер. О провале у него Шостаковича, см. с.80, прим.108.

¹⁹⁴ О дружбе отца с И.И. Лапшиным (1870-1952) см. *НОЛ*, 120, 129-130, 133. О его баснословной рассеянности можно было бы рассказать не меньше, чем о знаменитых тиках Бердяева.

¹⁹⁵ Здесь нужно упомянуть, что согласно приговору о высылке можно было думать о репатриации через три года. Это должно было отчасти повлиять на отбор вывозимых и оставляемых книг. См. прим.190.

¹⁹⁶ Минувшее. Т.11. С.123.

¹⁹⁷ См. с.94, прим.119.

¹⁹⁸ О сложных, так сказать, «двойственных» отношениях между А.И. Введенским и моим отцом см. *НОЛ*, 87, 100, 104, 118-120, 123, 129-131, прим.12; Минувшее. Т.11. С.153.

¹⁹⁹ Минувшее. Т.11. С.127-128. Вижу, что в воспоминаниях о первых днях войны 1914-1918 гг. я не сказал о том, что встреченные при переезде через Финляндию солдаты сообщили нам о взятии приступом петербургской толпой немецкого посольства и сброшенной в Мойку увенчанной его скульптурной группы. Таким образом, присутствие одного из коней (названного Володей «падалью») на его крыше было для нас известной неожиданностью.

²⁰⁰ Не могу, конечно, «отвечать полностью» за менталитет брата, написавшего в 1956 г. в очерке «Встреча с русским народом» (см. в настоящем томе «Минувшего»): «Уезжая из России в 1922 году, девятнадцати лет отроду, я сознавал очень глубоко, что теряю что-то существенное, коренное, хотя и был всегда в каком-то смысле "западником". С годами, особенно в Париже, это чувство утраты прошло и забылось...»

²⁰¹ Отец Александр Дернов окрестил в 1875 или в начале 1876 г. мою мать, в 1905 г. — меня и в 1917 г. — Андрея. Если не ошибаюсь, после основания гимназии в 1881 г. он известное время преподавал в ней закон Божий. Его священнослужительская деятельность прошла до революции среди клира «Большого придворного собора» Петропавловской крепости, сан протопресвитера (высшее звание белого духовенства) был ему дан после смерти о. И.А. Янышева в 1910 г. В 1901, когда с кафедры собора было провозглашено отлучение от церкви Льва Толстого, бабушка, со свойственной ей страстностью, обратилась за разъяснением случившегося к о.Александру и, раздраженная его дипломатически осторожными ответами, заявила, что «и под рясами виляют лисьи хвосты». К великой чести пастырского смирения нашего духовного отца, замечу, что этот инцидент не нарушил надолго его дружбы с бабушкой, потому что уже в 1903 г. он совершил обряд внесения в алтарь ее старшего внука, «младенца Владимира». Также будет уместным привести здесь и отзыв о его «прямолинейности» в отношениях с «высочайшими» светскими и угодными Распутину церковными властями. В качестве придворного протопресвитера, о.Александр был оформителем благотворительной и, во время войны, патриотической деятельности Императрицы в роли сестры милосердия. Как мы узнали в 1930-х годах от представленной в свое время Императрице г-жи Чертковой, медалионы того же образца, что и подаренные нам о.Александром, служили ей для вручения выходящим из-под ее попечения «на поле брани» воинам.

²⁰² Об обысках на пристани см. также с.129.

²⁰³ См. с.80-81.

²⁰⁴ *НОЛ*, 220.

²⁰⁵ Воспроизвожу в основном указанное в моей статье (Русский альманах. С.352, прим.172).

²⁰⁶ В 1960-1970-х годах А.А. Евреинова посвятила в парижской «Русской мысли» интересные страницы воспоминаниям о своих встречах с известными соотечественниками в России и за рубежом. Незадолго до своей смерти, около 1980 г., наверное уже перейдя на девятый десяток, она предприняла путешествие в какую-то из дальневосточных стран и прислала оттуда в русскую газету свою фотографию среди туристов, рассевшихся на спине слона.

²⁰⁷ Минувшее. Т.11. С.141.

²⁰⁸ См. прим.184.

²⁰⁹ После похода на Рим 28-29 октября 1922 года Дуче шел к провозглашению своей диктатуры (25 ноября).

²¹⁰ Полагаю, что именно об основанной им в 1921 г. «немецкой национал-социалистической партии» шла речь в газетах в ноябре 1922 года.

²¹¹ Наверное, это был «Русский научный институт», упоминаемый в книге Костикова на с.184 (см. прим.172).

²¹² Минувшее. Т.11. С.171.

²¹³ См. с.58.

²¹⁴ Начавшись, должно быть, после нашего отъезда из Германии эксцессам в поведении Белого, стяжавшего себе прозвище «der Verrückte Professor» (сумасшедший профессор) в посещавшихся им немецких ресторанах и кафе, посвятил в той же «Русской мысли» несколько страниц воспоминаний бытописатель русского Берлина Ю.П. Иваск.

²¹⁵ Минувшее. Т.11. прим.6.

²¹⁶ *НОЛ*, 106.

²¹⁷ Думаю, что не ошибаюсь, сообщая эту дату, а не 13 декабря, как это делает отец (*НОЛ*, 221), и что в моей памяти день его имени не спутался с днем ангела брата Андрея, приходившимся на 30 ноября (13 декабря).

²¹⁸ Предполагаю, что в Пирне супруги Стоюнины проводили каникулы вскоре после их свадьбы в 1865 г. Помню, по другим рассказам бабушки, что когда она оплакивала своего младенца, из соседней комнаты гостиницы доносились назойливо звуки играемого на рояле опостылевшего ей после этого вальса из «Фауста».

²¹⁹ Из воспоминаний В.А. Решиковой явствует, что точно то же впечатление создалось и те же чувства родились у нее при общении высланных москвичей с берлинскими соотечественниками.

²²⁰ О ней пишет в своей книге В.Костиков на с.183, цитируя самого Бердяева.

²²¹ Внесу некоторые уточнения в текст ее первой части, опубликованной в прошлом томе «Минувшего» (с.138): подлинный смысл речения «Бог чува Србию» — «Бог хранит Сербию»; (С.145); из справочника Вел. кн. Николая Михайловича «Русский провинциальный некрополь» (М., 1914. Т.1. С.502) явствует, что заказчиком здания старой (западной) части Прутенской церкви, должно быть, возведенной, как и новая, Н.А. Львовым, был его родственник Дмитрий Иванович Львов (см.: Минувшее. Т.11. С.139-140), умерший в 1782 г. и похороненный вместе с женою Марией Федоровной «при Вознесенской церкви, им построенной», согласно надписи на их могиле; (С.197-198): предметом увлечения Д.Д. Гарднера и Сергея Маковского была третья Пассек (имени не помню), приятельница моей матери и тетка Татьяны Сергеевны.

В заключение своих воспоминаний вменяю себе в приятный долг выразить признательность всем русским «в отечестве и рассеянии сушим», к которым я обращался за уточнением сведений исторического, топографического, биографического, библиографического и технического порядка, в их числе членам семьи, в частности, супруге, взявшей на себя машинопись с черновиков этого, как и большинства моих печатных трудов.

М.М. Могилянский
КАБАРЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»
Отрывки из повести о днях моей жизни
Публикация А.Сергеева

Михаил Михайлович Могилянский родился 22 ноября (4 декабря) 1873 г. в Чернигове, в семье юриста. В этом украинском городе прошли его гимназические годы. В старших классах М.Могилянский заинтересовался политическим устройством государства. Ответ на волнующие его вопросы искал в чтении. Кумиром стал М.П. Драгоманов. Будущее империи выпускнику-гимназисту виделось в правовом государстве, дополненном, по Драгоманову, идеей конфедеративного устройства¹. На этом пути — надеялся он — устроятся национальные вопросы, в частности, украинский. С такими чаяниями М.Могилянский поступил на юридический факультет Петербургского университета (1892). Студентом он, подобно многим ровесникам, пресажил увлечение социалистическими теориями и марксизмом. Был лично знаком со многими яркими революционерами тех лет: Г.В. Плехановым, И.П. Каляевым и др.² За участие в студенческом движении не избежал репрессий: в 1899 его арестовали, заключили в «Кресты», затем сослали на родину под надзор полиции. Образование пришлось завершать в Новороссийском университете (Одесса).

Литературная деятельность М.М. Могилянского началась еще в 1890-е годы: стихотворения, очерки, пьесы, статьи о западноевропейской

¹ Верность идее конфедерации, осуждение, по-драгомановски, любого централизма в жизни страны навлекли на Могилянского раздражение Ленина («защита царизма»). Несмотря на очевидную несообразность тезиса Литературной энциклопедии (см. статью о Могилянском в ней: М., 1934. Т.7. С.407) о переходе Могилянского из «защитников царизма в лагерь украинского национализма», — это утверждение вполне может быть понято как верность драгомановским идеалам.

² Могилянский М.М. Девяностые годы //Былое. 1926, №23. С.132-161; №24. С.96-139.

литературе, творчестве Пушкина, Надсона и др.³ В 1910-е М.М. выступил в качестве переводчика: познакомил русского читателя с творчеством М.Коцюбинского⁴.

С первой русской революцией политические симпатии Могилянского стали умереннее — с 1906 он член кадетской партии, хотя чувствовал он себя здесь не совсем «в своей тарелке». Верность идеалам юности и Украине побудили его в мае 1917 выйти из этой партии⁵. Но уже в статье «Узоры лжи», помещенной в 1913 г. (№27) в «Речи», Могилянский открыто стал на сторону царизма. Его работы встретили резкий отпор со стороны В.И. Ленина, давшего в своих статьях «Кадеты и право нации на самоопределение», «Национал-либерализм и право нации на самоопределение» (т.ХІХ) политически-классовую оценку «истинно-русским» выступлениям Могилянского. После революции Могилянский «перешел в лагерь украинского национализма»⁶. Так был подведен итог сорокалетней литературно-общественной деятельности автора настоящих воспоминаний и шансы их появиться в печати сразу после написания (конец 1930-х) свелись к нулю.

После Октября политическая активность Могилянского окончательно прекращается, он погружается целиком в литературно-научные занятия. В середине 1917 уезжает в родной город, чтобы отдать себя культурному строительству в молодом украинском государстве. Затем, с 1921 — снова Петроград и литературная работа. Приняв предложение Украинской Академии наук, в июле 1923 он переехал в Киев и стал руководить комиссией по составлению биографического словаря деятелей Украины. Связи с Москвой и Ленинградом не прервались: сотрудничество в «Каторге и ссылке», доклады в «Обществе исследователей украинской истории, литературы и языка» (Ленинград)⁷.

³ Основные сочинения Могилянского этого времени: Андрейко Мих. Анархист: Очерк. Paris, 1895; М.М. Три стихотворения в прозе. СПб., 1895; М.М. Поэзия Надсона. СПб., 1897; М.М. Стихотворения. СПб., 1897; М.М. Критические наброски: 1. «Потонувший колокол», сказка-драма Г.Гауптмана. 2. Поэзия Ш. Бодлера. СПб., 1898; 1. 1. Реабилитация Пушкина: К характеристике настроений девяностых годов. 2. Несколько слов о Гауптмане. СПб., 1901; Могилянский М. Мираж: Драма в трех действиях. СПб., 1902; Могилянский М. Тина: Драма в трех действиях // Всемирный вестник: Приложение. 1903, №8-9. С.1-50; Могилянский М.М. Усталые: Драма в трех действиях. СПб., 1906.

⁴ Коцюбинский М.М. Собрание сочинений // Пер. с укр. М.М. Могилянского. Тт.1-3. СПб., 1911-1914. Сам М.М. Могилянский был двуязычным писателем: русским и украинским. О его литературном творчестве см. также: Шумило Н. Життя людське — храм, а не морг // Вітчизна. 1990. С.86-91: [предисловие к роману Могилянского «Честь»]; Курас Г.М., Сарбей В.Г. Могилянский: «Ніколи в житті я не був націоналістом» // Вісник АН УРСР. 1990, №4. С.56-61; Курас Г.М., Сарбей В.Г., Степанець Г.П. Михайло Могилянский і його недрукована розвідка про М.Коцюбинського // Слово і час. 1990, №12. С.48-49.

⁵ Современное слово. 1917, 13 мая. С.1-2.

⁶ См.: Литературная Энциклопедия. М., 1934. Т.7. С.407. Автор цитируемой заметки не точен: первая статья Ленина называется «Кадеты и право народов на самоопределение».

⁷ ЦГАОРСС Ленинграда. Ф.2555. Оп.1. Дд.906, 1113.

В декабре 1933 Могилянского выгнали отовсюду за участие в Словаре, «на страницах которого подробно освещены биографии контрреволюционных националистических элементов и исключены биографии революционных деятелей»⁸. Оставшаяся жизнь проходит в «тюрьме незамкнутости». Все попытки найти место и участвовать в «новой действительности» — тщетны, Могилянский близок к отчаянию: «Может, действительно, мои жизненные силы исчерпаны? — писал он в дневнике 1 июля 1935 г. — Нет и нет! Глубоко убежден всем существом моим, что дело не в том, что кончились мои жизненные ресурсы, а в том, что я, еще полностью трудоспособный, вынужден "гнилой колодой по миру валяться"»⁹. Последние годы он жил у дочерей в подмосковном Дмитрове и в Днепропетровске, работал над мемуарами и прозой¹⁰. Умер М.М. Могилянский в эвакуации на станции Тайга в феврале 1942 г.¹¹.

В «Бродячую собаку» в 1912 г. М.М. попал вполне сложившимся литератором, известным политическим деятелем. Отсюда — взвешенные оценки, отсутствие восторгов и хвалы. Но все же описываемые события Могилянский видит изнутри: в глазах всегдашнего «Собаки» он не был чужим — за плечами было почти двадцать лет литературного труда. В разноголосицу мемуарных свидетельств о «Собаке»¹² воспоминания Могилянского вносят уравновешивающую струю.

Это тем более поразительно, что во времена написания мемуаров Маяковский, например, был уже назначен «лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» и начал входить в массовое сознание «певцом революции, певцом нашей социалистической родины»¹³. Воспроизведению личных впечатлений от Маяковского и посвящена значительная часть публикуемого текста.

«Бродячая собака» — значительная веха в истории русской культуры — разумеется, не обойдена мемуаристами и исследователями¹⁴. Зарисовка М.М. Могилянского служит прекрасным дополнением к известным уже свидетельствам ее посетителей.

⁸ ОР ГПБ. Ф.1060. Д.1. Л.50, 50 об.

⁹ Там же. Л.50 (Пер. с укр. наш. — Публ.). Дневник М.М. Могилянского (1934-1937) в настоящее время готовится нами к печати.

¹⁰ Литературное наследие Могилянского, кроме ОР ГПБ хранят архивы Киева, Москвы и Чернигова.

¹¹ ОР ГПБ. Ф.1060. Д.10. В указ. соч. украинских авторов дата смерти Могилянского — 22 марта 1942 г.

¹² Встречаются, например, утверждения, что: «Алексей Николаевич [Толстой] принимал самое деятельное участие, а вернее сказать, был творческой душой этого нарождающегося начинания». Петров Н.В. А.Н. Толстой // Воспоминания об А.Н. Толстом. М., 1982. С.293. Различные мнения об упоминаемых М.М. Могилянским персонажах мы попытались отразить в комментариях к тексту его воспоминаний.

¹³ Степанов Н. В. Маяковский // Резец. 1937, №8. С.15.

¹⁴ Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники

Публикуемый автограф не датирован, вероятное время написания — конец 1939. Хранится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ОР ГПБ. Ф.1060 [Могилянский]. Д.4). При подготовке к печати текст приведен в соответствие с правилами современной орфографии и пунктуации.

1. ТИПАЖ И НРАВЫ КАБАРЕ

... С 1912 года приобрел я новое место для вечернего (правильнее сказать — ночного) времяпрепровождения не без интереса и даже не без некоторой пользы. На втором дворе дома рядом с Михайловским театром в глубоком подвале открылось артистическое кабаре, выразительно наименованное «Бродячей собакой».

Влажные от сырости, слезящиеся стены трех небольших комнат, если такое название можно приложить к тому, что из себя представляло подвальное помещение, затянуты были рогожными циновками, разрисованными яркими красками буйной фантазии молодых художников, главным образом Судейкиным и Сапуновым¹, приобретена дешевенькая мебель — плетеные кресла, диванчики и столики. В крошечной четвертой комнатке, которую и за комнатушку нельзя было считать, пробито было окно еще в одну комнату, где устроена кухня, — проведено, конечно, электрическое освещение. И деятели искусств всех областей, а также их друзья гостеприимно приглашались сюда после двенадцати часов ночи заканчивать свой трудовой день в атмосфере дружеской беззаботности, шуток, гротеска, а иногда и неожиданного взрыва самых серьезных разговоров о материях самых важных, вопросах волнующе-злободневных, причем разговор не раз затягивался до утра и потом возобновлялся в тот же [день]. Борис Пронин², мой земляк с необычно пестрой, экзотической биографией, нашедший в «Бродячей собаке» свою «полочку» и получивший титул *Hund direktor'a*³, всем у нас в доме уши прожужжал готовящимся открытием кабаре, как событием мирового значения, всем принес пригласительные билеты на торжество открытия и страстно убеждал непременно приходить, уверяя, что это будет «просто замечательно». Более подробно, и, главное, сколь-

культуры: Новые открытия: Ежегодник 1983. Л., 1985. С.160-257; Конечный А.М., Мордерер В.Я., Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1988. М., 1989. С.96-154.

ко-нибудь конкретно, его убеждающее красноречие не в состоянии было познакомить с соблазнами предстоящего события и на все, вероятно, казавшиеся ему совершенно неуместными вопросы, — «да что собственно будет?», ничего больше ответить не мог, как только, — «а ты вот приходи, увидишь и не пожалеешь, ведь будет, говорю тебе, — замечательно!» А вот и не помню, был ли я на открытии «Бродячей собаки», бывать же бывал в ней, временами даже довольно часто, не пропустил, кажется, ни одного из ее «больших дней», случайно, — благодаря отсутствию из Петрограда, — не был в тот вечер, когда разыгрался бальмонтовский скандал, закончившийся всеобщей свалкой и приведший, в конце концов, к безвременной насильственной кончине популярного в художественном мире учреждения, закрытого по распоряжению градоначальника, — и сопрячаен был к сравнительно тесному кругу почетных друзей «Бродячей собаки».

А кто только не посещал кабаре! В числе более или менее постоянных посетителей состояли: поэтесса Анна Ахматова, [тогда] казавшаяся мне прекрасным портретом кисти Серова в манере портрета Иды Рубинштейн⁴, балерина Карсавина в сопровождении неизменного спутника Акима Волинского⁵, поэты: Н.Гумилев и Вл.Маяковский (уже автор «Облака в штанах»), О.Мандельштам и Нарбут, С.Городецкий и Крученых и многие, многие другие (урожай на поэтов был в то время выше среднего), Федор Сологуб, подолгу и взасос целовавшийся при встречах со своими поклонницами, среди которых артистка Глебова⁶ видимо занимала место премьерши, художники Судейкин, Сапунов (он потом утонул не то в Териоках, не то где-то поблизости Териок⁷ и в память его в «Собаке» устроен был траурный вечер), доктор Кульбин⁸, неутомимый проповедник всяких новейших «измов». Не знаю, какой из него был художник, — картин его я никогда не видел, — но в качестве проповедника, кроме неотъемлемого таланта всякую свежую тенденцию моментально лишать свежести и обращать в трафаретный пункт за номером катехизиса, следование которому обеспечивало, если не царство небесное, то почетное место среди небожителей нового искусства — Бурлюков⁹ и других. Человек, кажется, очень хороший и добрый, всемерно готовый покровительствовать молодым талантам, поддерживая их и морально и материально, доктор не блистал особенным умом, что не мешало ему стать одним из устоев «Бродячей собаки» и, во всяком случае, одной из характерных фигур ее типажа. Не меньшей характерностью, хотя и совсем в другом стиле, запечатлена была фигура талантливого композитора — громадно-

го дылды с добродушным, симпатичным лицом — Цыбульско-го¹⁰, увы, морфиниста, кокаиниста и алкоголика. Помню, как однажды, уже впрочем в эпоху «Привала комедиантов», нашедшего приют в доме Митьки Рубинштейна¹¹ на Марсовом поле и не поднявшегося над уровнем снобистского эпигонства, Борис Пронин при встрече огорошил меня почему-то в радостном тоне сделанным сообщением (в возбужденном состоянии, очень редко его покидавшем, он утрачивал различие тонов):

— Мих, знаешь, Цыбульского вчера на 23-ю версту свезли!

На тот раз он еще с 23-ей версты как-то выкарабкался и, когда в половине июля 1917 года я надолго покидал Петроград, спеша домой, — до поезда оставалось всего около двух часов, я уезжал со всей семьей, — на Невском встретил Цыбульского. Приятно улыбаясь, он предложил:

— Зайдем ко мне, — вот раздавим флакончик! — и показал из-под полы бутылку с «хлебным вином».

Я благодарил и выражал сожаление, что не могу принять предложения, так как боюсь опоздать на поезд.

— Да я же живу, — продолжал убеждать Цыбульский, — недалеко, а долгое ли дело ликвидировать бутылочку?!

Но я, к его большому огорчению, устоял. А вскоре этот глубокий, вдумчивый человек и, несомненно, богато одаренный композитор погиб жертвой своих губительных слабостей.

Всех гастролеров и почетных гостей «Собаки», конечно, не перечислишь, в числе их припоминаю даже знаменитого Макса Линдера¹². /.../¹³ во время гастролей Художественного театра его молодежь не только наполняла подвал, но и выступала на эстраде, разыгрывая веселые остроумные «мелочи». Выступали на этой скромной крошечной эстраде и музыканты, певцы, балерины, редко по заранее возвешенной программе, чаще в порядке неожиданной импровизации. Но чаще и больше других эстраду занимали поэты, вдохновенно декламировавшие свои стихи. Отсюда Вл. Маяковский эпатировал «фармацевтов» — (самое бранное слово в подвале, им клеймили заскорузлую отсталость в соединении с пошлым обывательским самодовольством посредственности), — стихами вроде финальных в одном из «лирических» стихотворений: — «А с неба смотрела // какая-то дрянь // Величественно, как Лев Толстой».

Молодой поэт, — восходящая звезда на поэтическом небосклоне, — пребывал тогда в повышенной охоте эпатировать «фармацевтов». Это она облекла его в желтую кофту¹⁴ с черными параллельными полосами и она же звучала в его поэтическом выступлении на эстраде.

«Знаменитая желтая кофта — утверждает один из панегирических воспоминателей о поэте Л.Никулин (”Знамя“, 1939, №9), — навсегда останется в истории русской поэзии», а, чтобы увеличить ее «историческую» роль, свидетельствует, что «сам видел, в какое иступление она приводила... потомственных подписчиков ”Русских ведомостей“ и ”Речи“, ”мыслящих“ дам и длинноволосых эсеровского вида студентов»¹⁵. Я тоже «сам видел» (и неоднократно) реакцию аудитории на ее намеренную и подчеркнутую эпатацию всеми способами (в том числе и «желтой кофтой») в выступлениях Маяковского, но случаи «иступления», которого он, видимо, добивался, припоминаю только, как единичные взрывы у экспансивных и несдержанных людей, громадное же большинство слушателей всех видов и категорий тогдашней интеллигенции сочувственно принимали поэта (русский человек вообще любит всякое проявление дерзости и даже атмосферу скандала, в те удручающе «спокойные» времена для многих не только соблазнительного, но часто положительно необходимого). Люди уравновешенные только в недоумении пожимали плечами, находя весь ассортимент эпатационных способов до «исторической», по мнению Никулина, «желтой кофты»¹⁶ включительно — «наивным» и стоящим значительно ниже несомненно большого таланта молодого поэта, а, главное, для его «успеха» совершенно ненужным. Но по всей натуре и тогдашнему настроению Маяковского самого большого, но «обыкновенного» успеха ему было мало, влечение к *succès de scandale*¹⁷ являлось «родом» владевшего им «недуга». Неприперченный успех его не удовлетворял.

Что же касается «потомственных подписчиков», то у «Русских ведомостей» они в значительном количестве были не только потому, что «умеренный и аккуратный» либеральный традиционализм московской «профессорской» газеты объяснял ее успех в кругах «умеренной и аккуратной» либеральной интеллигенции, а и потому, что в «Русских ведомостях» сотрудничали Гл.Успенский, Короленко, Чехов и многие другие любимейшие русские писатели, К.Тимирязев, Мензбир, Столетов¹⁸ и многие другие авторитетнейшие ученые, потому что «Русские ведомости» у многих пробудили интерес к теории и практике немецкой социал-демократии, в талантливых корреспонденциях из Берлина (Иоллоса)¹⁹ держали в курсе жизни и борьбы последнего. Ну, а потомственные подписчики «Речи», — это ведь очевидный *lapsus*²⁰, право уже не знаю чего, — какие же могли быть «потомственные подписчики» у кадетского лейб-органа, которому в то время еще не исполнилось десяти лет?

И тогда уже я различал две далеко не одинаковой /.../²¹

струи в его поэзии. Первая свидетельствовала о большом, исключительно большом поэтическом таланте, другая — тоже исключительной способности делать, стругать технически неплохие с точки зрения формы стихи. При всех больших последующих достижениях поэта, занявшего положение общепризнанного maître'a²², обнаженность и нарочитость стиходелания для меня всегда снижала [его] высшие достижения, а не до конца изжитая охота к эпатажи ушербляла серьезность идеологических установок. Он побеждал и брал талантом, а глубокой внутренней работы у него ощущается недостаток. При несомненном уме не доставало ему и серьезности, выдержанной и сосредоточенной убежденности. Из биографических сведений о нем я позже узнал, что привлекался к жандармскому дознанию по делу о пропаганде среди рабочих. Тогда не знал, да и подозревать возможности этого не мог: совсем из другого теста слеплен был поэт, чем многочисленные представители передовой русской интеллигенции, viribus unitis²³ содействовавшие оформлению классового пролетарского движения, оплодотворяя его начатками той теории, без которой практика осталась бы слепой.

Шумным успехом у не очень взыскательной части публики пользовались поэзо-вечера Игоря Северянина, а с той же эстрады выступали и такие замечательные поэты, как О.Мандельштам, Нарбут²⁴ (последнему кричали из публики: — «А Вы прочтите про турка, посаженного на кол», — на что поэт, почему-то очень волнуясь, отвечал: — «это стихотворение не для публичного чтения»). И помню, как появясь на эстраде, футурист (кажется, эго-футурист) Крученых²⁵ заявил: прочту лучшую свою поэму — №14, — сделал паузу, а затем, выбросив в стороны вверх обе руки, причем жилет его пополз вверх и между концом его и началом брюк образовалось отверстие вершка в два шириной, и вдохновенно выкрикнул: — Ю! «Лучшая поэма» Крученых — №14 — исчерпывалась одним этим звуком.

Для теоретических выступлений, кроме перманентного доктора Кульбина, эстраду занимали: и некий Зланевич²⁶, читавший доклад «О раскрашивании лица», причем лицо докладчика украшено было изображением стрелок на обеих щеках, и С.Городецкий, отсюда начавший проповедь «акмеизма» и многие другие с не менее «животрепещущими» темами.

Буфет кабаре, как правило (во избежание эксцессов) «хлебного вина» не держал, оно появлялось только временами, как достижение «собачьей демократии», но наряду с пивом и легкими винами имелись в нем и напитки более крепкие: — ром и коньяк. Случалось, где-то часов около пяти ночи (утра), а то и позже,

в подвале оставалось человек 15-20, и все как-то скучивались в середине бóльшей комнаты, незаметно объединялись в одну компанию, и все становились знакомыми без всяких представлений, а бутылки вина, еще не допитые, обобществлялись и создавалось настроение углубленной интимности, заостренной серьезности, или безудержной шутки, почти детской охоты дурачиться. Припоминаю, в один из таких случаев, когда я по какому-то торжественному событию в жизни приятеля Б.А. Ландау²⁷ сидел с ним за бутылкой шампанского, — вдруг сдвинулись плетеные кресла немногих еще оставшихся в подвале и справа от меня оказался артист Александринки Н.Н. Ходотов²⁸. Для знакомства чокнулись с ним, а он, посмотрев на меня внимательно, сказал:

— А здорово Вы тогда отделали Леонида Андреева, как следует отщелкали!

Я должен был возражать, отказаться от незаслуженно мне приписываемого.

— Да, полноте, кому Вы говорите?! Ведь я Вас прекрасно знаю.

За кого он меня принял, мне осталось неизвестно, но мы никогда раньше не встречались, а между тем он был убежден, что не может ошибаться, и на мое робкое замечание:

— Да я никогда с Леонидом Андреевым не встречался, — негодовал:

— Ну, бросьте, — что я ошалел?! Я ведь не пьян, милый мой!

Убедившись в безнадежности возражений, я должен был от них отказаться и принять незаслуженное.

В качестве Hund direktor'a Борис Пронин, как исправный служака, приходил к открытию кабаре и неотлучно оставался в нем, пока не уходил последний посетитель, а часто до того засыпал где-нибудь в углу на диване и оставался в подвале до следующего полудня. Его правой рукой, помощницей в административно-хозяйственных вопросах — состояла супруга, а сам он вдохновенно заботился о том, чтобы не погасал огонь на всех собачьих жертвенниках и чтобы, сохрани Бог, не проникли в подвал «фармацевты». Он знал всех посетителей, всем был «другом» и все знали его.

— А, и ты тут! — появлялся он у чьего-нибудь столика и, расцеловавшись, усаживался среди собравшейся у него компании. Пили за столиком шампанское, он выпивал бокал и вдруг замечал за столиком рядом еще неприветствованных друзей. Бросался к ним и пил с ними пиво, а потом переходил дальше, пил ром, опять шампанское, опять пиво... Немудрено, что не раз засыпал

где-нибудь на диване, проснувшись, вдруг озабочивался каким-нибудь хозяйственным вопросом.

— Вера, где Вера?

Но супруга не находилась.

— А который час?

— Пять.

— Ну, понятно, она ушла домой, у нее ведь с утра уроки. (Состояла учительницей городского училища и было удивительно, как с учительской работой с утра до обеда умудрялась совмещать работу в «Собаке», с 11 до 3-4-х, а случалось и позже).

На дружеские замечания Борису, что он мало заботится о жене, отвечал:

— Да ведь я знаю, — она меня любит и ей всегда приятно сделать что-нибудь мне приятное.

Но, в конце концов, супруга этой приятности не вынесла и то ли уже в конце «Собаки», то ли вскоре после ее закрытия вышла замуж за постоянного посетителя подвала художника-архитектора Б. В «Привале комедиантов», старавшемся принять наследство «Собаки», хозяйкой была уже новая жена Бориса, женщина довольно практичная, прибравшая его несколько к рукам, и это было для него настолько непереносимо, что заставило недолго *changer la femme*²⁹.

Как-то я привел в «Собаку» (уже во времена 4-й Государственной думы) А.М. Александрова³⁰ и ему подвал так пришелся по сердцу, что он стал его завсегдатаем, привел как-то с собой А.М. Колюбакина³¹, тот тоже начал частенько навещать в кабаре. А однажды после заседания к.-д. фракции Александров привел с собой целую компанию кадетских политиков: А.М. Колюбакина, Н.В. Некрасова, В.А. Степанова, Пападжанова, Л.А. Велихова³². Случилось это [уже] почти накануне краха «Собаки». Вскоре я уехал на земское собрание в Городню³³, а в подвале разыгрался бальмонтовский скандал. И когда я вернулся, А.М. с веселым смехом жаловался мне:

— Вот, послушайте, есть же чудачки на свете! Там у Вас в «Собаке» маленький скандалчик разыгрался, подрались немного, что ли, наверное слыхали уже?

— Как же, во всех подробностях.

— Ну, так вот, представьте себе, мой коллега Пападжанов заявил мне претензию, да какую!: «Александр Михайлович! Куда это Вы завели меня?! Мне ведь это неудобно: меня и в Турции знают. (Пападжанов, армянин по национальности, состоял адвокатом в Баку). Ну, скажите, Михаил Михайлович, виноват ли я в том, что его в Турции знают?!»

А.М. Александров и Л.А. Велихов были участниками и одной памятной эскапады в «Бродячей собаке» в интимной обстановке без публики. Как-то очень поздно, часов уже около двух, я попал с ними в знаменитую «Вену», приют той самой литературной и артистической богемы, которая наполняла и «Собаку» (однако, с переизбытком «фармацевтов»). Проходя в крайнюю угловую залу ресторана, мы раскланялись с сидевшими в одной из проходных зал в компании трех нам незнакомых девиц — Борисом Прониным и артистом П.В. Самойловым³⁴. Через какие-нибудь полчаса к нам явился Пронин.

— Слушайте, через четверть часа будет звонок и нас всех из «Вены» выставят...

— Черт возьми! — прервал его Александров, — а мне совсем домой не хочется.

Мы с Велиховым разделяли это настроение. Все были в состоянии той усталости, которая не ищет покоя, а бежит от него. Борис, почувствовав наше настроение, расцвел:

— А чего же горевать!

— А куда же мы денемся?

— А вот у меня на этот счет есть предложение: пойдем в «Бродячую собаку» (дело происходило где-то в конце мая, стояли уже белые ночи, а кабаре с окончанием гастролей московского Художественного театра закрылось до осени). П.В. Самойлов и наши девицы тоже пойдут. Там у меня есть бутылка шампанского и фунт швейцарского сыру, ну, Вы прихватите еще бутылку красного вина, булок и какой-нибудь снеди и отправимся.

Без всяких возражений мы предложения Бориса приняли, расплатились и за ним отправились присоединиться к компании. Л.А. Велихов пошел в буфет делать запасы. Но за столиком Бориса мы увидели только одного Самойлова.

— А где же девы? — с некоторым испугом спросил Борис.

— А кто их знает, ушли верно...

— Как ушли? Давно?

— Да только что, вот, может быть, на улицу вышли...

— Подождите, я догоню! — и бросился к выходу.

— Борис, погоди! — остановил его я, — зачем тебе догонять их?

— А что, обойдемся без дев?

— Конечно, обойдемся.

— Ну, и отлично! Идем без дев, черт с ними! Еще и лучше.

И мы отправились в «Собаку» впятером.

За дружеской непринужденной беседой, согреваемой сначала красным вином, а затем шампанским, незаметно бежали часы

ночи, [закончилась] беседа вдохновенной декламацией Самойлова. Чего он [только] не продекламировал нам! А закончил «Сном Попова» Ал.Толстого³⁵.

— [Какой Вы] молодчина! — похвалил артиста Александров, — за Ваше здоровье! — и протянул к нему бокал, а Борис делал мне меланхолические жесты, объяснявшие, что бутылки с шампанским (шампанского у него таки оказалось три бутылки) уже пусты.

Самойлов сел (декламировал стоя) и тяжело отдышался.

— Ну, отдохните, дорогой, а потом...

— Что потом? Нет, уж довольно. Вот лучше Вы расскажите, что там у Вас в Государственной думе?

Александров поморщился недовольно, чего Самойлов не заметил.

— Что Вы себе там думаете? Отчего Вы, наконец... — и понес такую невообразимую ахинею, что все мы как-то одновременно посмотрели на часы. Посмотрели и сорвались со своих мест.

— Боже мой, да ведь уже восьмой час утра!

Попрощались и вышли. Несколько часов тому назад, когда мы из «Вены» шли в «Собаку», небо было безоблачно. Сейчас лил проливной дождь. И нигде ни одного извозчика! Только на Невском у Полицейского моста, уже промокший до костей, нашел я возницу и отправился на свой Васильевский остров.

2. КОНЕЦ «СОБАКИ»

К бальмонтовскому скандалу легкомысленные из «друзей Собаки» отнеслись спокойно, почти пренебрежительно.

— Побили Бальмонта? Экая беда? Да ведь его били под всеми широтами...

Но с виду самый легкомысленный — Hund direktor Борис почувствовал опасность, нависшую над его любимым детищем и из «осторожности» временно закрыл подвал для публики. Вернувшись из [Городни] и осведомившись, что в «Собаке» что-то произошло, я позвонил к нему и спросил:

— Борис, что там у Вас в «Собаке» вышло?

Услыхав мой голос, Борис обрадовался так, будто в моих руках была возможность спасения:

— Мих, дорогой, вот хорошо, что ты приехал! Приходи сегодня же непременно после восьми вечера в «Собаку». Я боюсь, чтобы градоначальник нас не запретил, а потому из осторожности временно в подвал публики не пускаю, но по вечерам там соби-

раются ближайшие друзья «Собаки». Непременно приходи, может быть, что-нибудь посоветуешь. И я тебе все расскажу.

В тот же вечер я узнал от Бориса все подробности инцидента, на удивление изложенные им без всякой фантастики, без преувеличения, что я установил расспросом очевидцев всего происшедшего и что тем более удивительно, что в момент, когда возник скандал, Hund директор мирно спал в соседней комнате и только пробужденный внезапно возникшим шумом появился на пороге и с изумлением увидел настоящий кулачный бой...

Вкратце события рисуются в таком виде.

Среди гостей, в тот вечер переполнявших подвал, был и именитый гость, недавно вернувшийся в столицу после кругосветного путешествия, после годов эмиграции — поэт К.Д. Бальмонт.

Вечер проходил в порядке более или менее обыкновенном, пожалуй, может быть, пили больше обыкновенного, особенно за столиком, в центре которого помещался именитый гость. Скоро это обнаружилось в том, что последний начал показывать свои [«норовы»], совал в руки кому-нибудь проходящему мимо столика деньги и развязно говорил:

— Эй, принеси-ка мне бутылочку рому! (В подвале не было прислуги и в буфет потребителям приходилось обращаться лично).

— Сходите сами! — пожимая плечами, отвечал остановленный и спешил пройти, вдогонку же ему неслось: «Хам!», чего во избежание скандала уходящему приходилось «не слышать». Женщины спешили спастись от его попыток слишком вольного обращения, вдогонку им неслись не весьма литературные реплики подвыпившего поэта. Уже усиленно расходились и в подвале оставалось сравнительно немного «ближайших друзей» и запоздавших случайных гостей. Наконец, Бальмонт с бокалом в руке встал из-за столика. К нему подошел пожилой уже человек — известный пушкинист Морозов³⁶ и заговорил:

— Позвольте с Вами познакомиться, я давний поклонник Вашего поэтического таланта и...

— Старик! — прервал его поэт, — твоя физиономия мне не нравится! — и плеснул в лицо «поклонника» вином из бокала³⁷.

С диванчика напротив сорвался сын оскорбленного и ударил поэта по лицу. На Морозова-сына с разных сторон набросились защитники Бальмонта, нашлись защитники и у Морозова. Кто-то из спавших в соседней комнате показался на пороге вслед за Прониным и, не разобравшись еще в чем дело, ввязался в драку, нанося удары всем, кто подворачивался под руку. Также вела себя выскочившая из-под дивана собачонка, состоявшая символи-

ческим патроном подвала: со звонким лаем она бросилась на дерущихся и остервенело хватала их за ноги... Наблюдатели на диванах, отяжелевшие до нежелания подняться с места, заливались хохотом. Бальмонт стоял в стороне в позе Нерона, наблюдающего пожар Рима.

Драка закончилась тем, что молодого Морозова с шиком выставили из подвала без пальто и шапки, крича ему вослед:

— Вон, негодяй, фармацевт!

Погода поздней осени заставила изгнанного вернуться за пальто. Появление его наверху лестницы вызвало новый взрыв негодования. Но служитель у вешалки понял, в чем дело, и выбросил Морозову его пальто и шапку. Все начинало успокаиваться. И старик Морозов и Бальмонт незаметно из подвала исчезли. Вдруг дверь наверху опять распахнулась.

— Товарищи! — кричал появившийся в дверях молодой Морозов, — я иду сейчас в полицию заявлять, что у меня в свалке вытащили из кармана тысячу рублей.

Нечленораздельный взрыв негодования ответил на это, только одно слово «фармацевт» явственно выделялось в хаосе словесной неразберихи.

И еще один раз появился в дверях наверху Морозов, минут через пять явившийся возвестить:

— Товарищи, успокойтесь, деньги нашлись... в другом кармане.

К словесному хаосу на этот раз кто-то присоединил бутылку, которая со звоном разбилась об уже закрывшуюся за исчезнувшим Морозовым дверь.

Приняв предложение Пронина и пройдя в подвал сейчас после восьми часов вечера, я застал там человек двадцать «ближайших друзей Собаки» и встревоженного Hund direktor'a. Кажется, только один он испытывал всамделишную тревогу, показав, что к серьезности есть способности и у него, когда затронуты сердцу его дорогие интересы, а «Собака» ведь была его любимым детищем. Что же касается «друзей», то их слишком очевидно легкомысленное равнодушие к судьбе «Собаки» обижало ее директора. Но среди этих «друзей» находился и ежедневно аккуратно сейчас же после восьми часов вечера являвшийся в подвал в своей желтой с черными параллельными полосами кофте Вл.Маяковский, и обида в сердце Hund direktor'a сменялась иными чувствами, ибо сердце его всегда неизменно трепетало восторгом перед всеми «замечательными» представителями нового искусства.

Тогда как раз в Петроград приехал из Чернигова А.М. Сац³⁸, отец целого выводка друзей и приятельниц* Пронина; он очень огорчился тем, что «Собака» не функционирует нормально, и непременно хотел проводить вечера в компании «собачьих друзей», к чему склонял и меня. И в течение, вероятно, недели я тоже просиживал по несколько часов в подвале, беседуя за бутылкой вина или черным кофе с А.М. и наблюдая сцены вроде следующей: Маяковский в окружении двух-трех девиц взбирался на высокий стул перед зеркалом и все время смотрел [на себя], склоняя голову то вправо, то влево...

— Да будет Вам любоваться собой! — как-то сказала ему соседка.

— А ведь правда, я красив?!

— Много были бы красивой, — тонко ответила девица, — если б меньше думали о своей красоте, забыли о ней.

— Да Вы черта понимаете ли в красоте!? — грубовато парировал удар задетый поэт, но на его настроении и развязном поведении — это нисколько не отразилось.

Борис при каждом моем появлении неизменно обращался ко мне за советом:

— Мих, вот посоветуй, можно открыть «Собаку», или все еще надо соблюдать «осторожность, осторожность, осторожность, господа!»?

Я отвечал, что, по совести говоря, не понимаю, какое значение может иметь подобного рода «осторожность», и не знаю, не было бы рациональнее сделать вид, будто ничего ровно не случилось и продолжать «собачиться».

— Вот, — напоминал я, — на заседании французской палаты депутатов анархист бросил бомбу (в начале 90-х годов)... Бомба оказалась не очень «удачной», убитых не было, но раненые были и был испуг и опасливое ожидание, а нет ли в зале заседаний еще одного анархиста (бросившего бомбу немедленно схватили), который бросит вторую? Но дым рассеялся, а с председательской трибуны раздался спокойный голос: «Заседание продолжается». Вот и ты, Борис, как Hund direktor, мог бы...

— Мих, это замечательно! И я был бы готов, но вот мы обращались к серьезным юристам, они посоветовали «осторожность». Это по их совету мы и закрыли временно подвал...

В это время вошел А.М. Сац, и Борис уже кричал ему:

— А Вы, Александр Миронович, как думаете, — и излагал

* В том числе композитора Ильи [1875-1912. — Публ.] и Наташи (по первому мужу Розенель), последней жены А.В. Луначарского. [Прим. автора]

ему, о чем идет речь. А.М. присоединился к мнению «серьезных» юристов.

Время между тем шло, и Hund директор начинал преисполняться оптимизмом. Но оптимизм обманул, и «осторожность» не помогла. Так и не помню, были ли возобновлены публичные вечера в подвале, но хорошо помню, что очень недолге градоначальник на основании соответствующих статей положения об усиленной охране «Бродячую собаку» закрыл. «Ближайшие друзья» даже для поминок убиенной уже не могли собраться в подвале, не рискуя обвинением в устройстве «незаконного собрания».

«Бродячая собака» была приютом для «забавы взрослых шалунов», для полуночников литературно-артистического мира, по окончании работы в театрах, редакциях, за собственным письменным столом — нуждавшихся в снижении нервного напряжения, без чего сон бежал от глаз, отвыкших вспоминать о сне раньше первых проблесков рассвета, для многочисленной богемы того же мира, искавшей какого-нибудь разнообразия и томившейся от фантастики своего существования. Но претензии создать из нее некую учительскую кафедру, чуть ли не лабораторию нового искусства, — при всей серьезности подобных претендентов заключали в себе значительную долю того самого «фармацевтизма», который именно они страстно поносили, а в числе «особых примет» запечатлены были несомненной ограниченностью. «Фармацевтизмом» веет и от воспоминаний тех мемуаристов, которые пытаются невинную «Собаку» представить своего рода аванпостом героических исканий новых путей в искусстве: — там выступал Бурлюк, там доктор Кульбин неутомимо..., там Маяковский, там...

Да простятся Бурлюкам и докторам Кульбиным их грехи вольные и невольные, они во всяком случае веселили искателей развлечений своеобразной спецификой своих выбрыков³⁹, но Маяковского зачислять в их компанию совсем не приходится, он был много умнее, а в его эпатациях сказывалось полнокровное здоровье молодости, подхлестывавшее охоту к беззаботным шалостям, порой вдруг перераставшим в смертельные удары «бессмертной пошлости людской», в чем никогда не оставался он в «Собаке» изолированным и одиноким, тем более непонятым и неподдержанным дружным сочувствием.

Неверно, кстати сказать, утверждение нынешних «историков» и мемуаристов (1939 г.), будто Маяковский с первых же шагов своих на литературном поприще со стороны «передовых» кругов литературы встретил единый враждебный фронт. В тех кругах литературного мира, которые претендовали быть храни-

телями лучших традиций и «веры» русской литературы (главным образом, в твердокаменном народническом лагере) с одинаковым осуждением и одинаковой враждой относились ко всем новшествам — модернизму, символизму и всем видам футуризма, а потому Маяковский для них исчерпывался желтой кофтой и «неприличиями» в стиле «величественной дряни», которыми поэт дразнил их. И кофта, и «неприличия» не препятствовали однако более живой и чуткой части литературного фронта по достоинству оценить несомненно крупный поэтический талант Маяковского с первых же его достижений. «Облако в штанах» уже вызвало здесь единодушное признание, что в лице молодого поэта в литературу вошла большая и серьезная сила, позволяющая возложить на нее большие ожидания в будущем. Детские «шалости» поэта здесь не считались чем-нибудь существенным, на что стоило бы обращать внимание, тем более видеть в них «бесчестье». У поэта находили более сильные данные для эпатации отжившего мира, чего он сам не сознавал в полной мере в то время. Свидетельством этого были не столько его «шалости», сколько отсутствие стремления элиминировать себя от своих «спутников» и соратников: заблудившихся в трех соснах собственных исканий и новшеств — Бурлюков, Кульбиных, Каменских⁴⁰ с их «словозвонной бесцелью» и других, найти собственную дорогу, достойную его большого таланта...

Но Маяковский и значительно позже, пожалуй, и до самого конца своего, к сожалению, недолгого пути, не изжил слабости «шалостей» /.../⁴¹, стоявших ниже его таланта. Вообще он выдвинулся, поднялся [и занял] неоспоримо место «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» (Сталин) большим талантом и своей неуклонно, бескомпромиссно проводимой идеологической линией, однако не брезгал и более простыми средствами для достижения успеха: одну часть своей аудитории на потеху другой всячески дразнил, добываясь и всегда с успехом *succès de scandale*, а с другой — несколько вульгарно амикошонствовал и в отношении ее не раз не чужд был того стиля, который напоминал восторг единого из малых сих — [слыл] «душевым, своим человеком»: пришел, глянул вокруг себя, улыбнулся и покрыл всех таким «матом», что все радостно смеялись и говорили: «вот, сразу видно, — душевный человек, свой человек!»... В успехе Маяковского не раз чувствовались элементы подобного «восторга».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Судейкин Сергей Юрьевич (1882-1946) — художник; Сапунов Николай Николаевич (1880-1912) — художник.

² Пронин Борис Константинович (1875-1946). Мы затрудняемся определить социальный статус Б.К. Пронина, приводим слова С.Ю. Судейкина: «Борис Пронин, никогда ничего в театре не сделавший, помощник Мейерхольда, необходимый Мейерхольду, Сацу, Сапунову и мне, как воздух, как бессонные ночи, как надежда, как вечно новое. Вечный студент, неудавшийся революционер, беспочвенный мечтатель, говорящий, вернее захлебывающийся от восторга о том, что ценно. Никогда не ошибавшийся, понимавший не знанием, а инстинктом. Незабвенный Пронин» («Бродячая собака» /Воспоминания С.Ю. Судейкина/. С.189 // Встречи с прошлым. Вып.5. С.185-195).

³ Директор Собаки (нем).

⁴ Рубинштейн Ида Львовна (1885-1960) — балерина. Ее портрет написан В.А. Серовым в 1910.

⁵ Карсавина Тамара Платоновна (1885-1978) — балерина. Волинский (Флексер) Аким Львович (1863-1926) — искусствовед, литературовед, философ.

⁶ Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна (1885-1945) — актриса.

⁷ О гибели Н.Н. Сапунова см.: Пяст В.А. Встречи. М., 1929. С.242-243

⁸ Кульбин Николай Иванович (1868-1917) — врач, теоретик искусства, художник. Дополним пространную характеристику, данную М.М. Могилянским доктору Кульбину, мнениями трех видных деятелей различных областей искусства. «Трудно представить себе двойную психику необычайно комической фигуры доктора Кульбина: профессора Военно-медицинской академии и устроителя безвкусных, нелепых выставок "новаторской" живописи» (Милашевский В.А. Вчера, позавчера. Л., 1972. С.95). «Приват-доцент Военно-медицинской академии и... художник, отрицающий анатомию в живописи. Действительный статский советник с красной подкладкой военной шинели и... глава русских футуристов, друг Маринетти и Крученых! Врач Генерального штаба и... проповедник лозунга: "довольно чинить разбитые горшки! — надо делать новые!" Прекрасный семьянин и... прекрасный завсегдатай "Бродячей собаки". Религиозная натура, богобоязненно суеверная и... изобразитель Божьей Матери в виде уродца-головастика ("Канон первого века"). Не было и не будет такого! /.../ Это был Янус в знойной степени и вместе с тем совершенно цельная натура. Лики Янус (ученого, футуриста, врача, богомольца, танцеволитатора и пр.) имели все одно начало — волю к театру: к театру в жизни! самую искреннюю и интенсивную театрализационную тенденцию» (Еврейнов Н.Н. Оригинал о портретистах. М., 1922. С.67). «Николай Иванович был дилетант. Он верил во влияние солнечных пятен на револю-

цию, ждал революцию очень близко. Он верил в гениальность Евреино-ва. Это пятно его обмануло. Сам он был солнечным отблеском на осколке стекла. /.../ Николай Иванович работал как рисовальщик и живописец. Был, как мне кажется сейчас, способным живописцем /.../ умер Николай Иванович счастливым, на третий день Февральской революции, формируя милицию и забыв об одиночестве» (Шкловский В.Б. Жили-были. С.87-88. // Собр. соч. М., 1973. Т.1. С.15-162).

⁹ Бурлюк Николай Давидович (1890-1920?) — поэт, прозаик, теоретик искусства. Бурлюк Давид Давидович (1882-1967) — поэт, художник, критик. Бурлюк Владимир Давидович (1888-1917) — художник. Бурлюк Людмила Давидовна (1886-1968) — художница.

¹⁰ Цыбульский Николай Карлович (1876?-1919?) — композитор. См. о нем: А.Е. Парнис и Р.Д. Тименчик. Указ. соч. С.238.

¹¹ Рубинштейн Дмитрий Львович (1876-1936) — коммерсант.

¹² Линдер Макс (Габриэль Левель) (1883-1924) — французский киноактер. О его посещении «Бродячей собаки» см.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С.179-180; Пяст В.А. Указ. соч. С.267.

¹³ Слово утрачено.

¹⁴ Здесь в авторском тексте примечание, которое мы нашли целесообразным ввести в воспоминания.

¹⁵ Приводим полностью фрагмент, с которым полемизирует М.М. Могиланский: «Я видел его в молодости, в знаменитой желтой кофте, которая навсегда останется в истории русской поэзии. Эта кофта была, собственно, не желтая, а желтая с темными полосами, и в ней не было ничего особенно раздражающего, но я сам видел, в какое исступление она приводила деликатных и обычно вежливых господ, потомственных подписчиков "Русских ведомостей" и "Речи", "мыслящих" дам, общественных деятельниц из московского женского клуба, и длинноволосых, эсеровского вида, студентов. Только внушительный рост Маяковского удерживал их от желания разодрать на нем в клочки желтую кофту. Однажды, в большой аудитории Политехнического музея, он читал стихи, и когда дошел до известной строфы: "А с неба смотрела какая-то дрянь // величественно, как Лев Толстой...", произошло нечто невообразимое: пожилые, солидные господа в накрахмаленных воротничках и изящные дамы в амethystовых сержках завопили, затопали, засвистали и рванулись к трибуне» (Никулин Л.В. Воспоминания и встречи. // Знамя. 1939, №9. С.168-169). Позднее Л.В. Никулин писал: «Этих господ шокировало грубое слово, употребленное Маяковским, а не злой и справедливый упрек в равнодушии к страданиям миллионов людей, втянутых в войну» (Никулин Л.В. Годы нашей жизни. М., 1966. С.115).

¹⁶ Бенедикт Лившиц вспоминал: «Маяковский бил наверняка: его популярность после спектаклей в Луна-парке возросла чрезвычайно. Одевайся он тогда, как все "порядочные" люди, в витринах модных магази-

нов быть может появились бы воротники и галстуки "Маяковский". Но желтая кофта и голая шея были неподражаемы *par excellence*...» (Лившиц Б. Указ. соч. С.191).

¹⁷ Успех, обусловленный скандалом, поднятым вокруг автора или его произведения (фр.).

¹⁸ Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) — чл.-кор. АН, пропагандист и теоретик дарвинизма. Мензбир Михаил Александрович (1855-1935) — зоолог, академик АН СССР (1929). Столетов Александр Григорьевич (1839-1896) — профессор-физик.

¹⁹ Иоллос Григорий Борисович (1859-1907) — публицист.

²⁰ Ошибка, оплошность, промах, ложный шаг (лат.).

²¹ Слово утрачено.

²² Мастер своего дела; господин; учитель (фр.).

²³ Соединенными усилиями (лат.).

²⁴ Б.Лившиц, сетуя, что футуристов Б.Пронин в «Собаке не жаловал», вспоминал: «Ахматова, Гумилев, Зенкевич, Нарбут, Лозинский были в подвале желанными гостями. Но на Мандельштама и Георгия Иванова, друживших с нами [футуристами], Пронин поглядывал косо. Он, бедняга, слабо разбирался в тонкостях литературных направлений и по воле ориентировался на побочные признаки» (Указ. соч. С.263).

²⁵ А.Е. Крученых в описываемый период — один из теоретиков кубофутуризма.

²⁶ Зданевич Илья Михайлович (1894-1975) — поэт и художник, теоретик футуризма.

²⁷ Ландау Борис Адольфович — юрист.

²⁸ Ходотов Николай Николаевич (1878-1932) — актер.

²⁹ Переменить жену (фр.).

³⁰ Александров Александр Михайлович (1868-?) — юрист, депутат IV Государственной думы, кадет.

³¹ Колюбакин Александр Михайлович (1868-1915) — отставной военный, депутат III и IV Государственной думы, член ЦК кадетской партии.

³² Некрасов Николай Виссарионович (1879-1940) — инженер, депутат III и IV Государственной думы, кадет. Степанов Василий Александрович (1873-?) — инженер, депутат III и IV Государственной думы, кадет. Пападжанов Михаил Иванович (1869-?) — юрист, депутат IV Государственной думы, кадет. Велихов Лев Александрович (1875-?) — журналист, издатель, депутат IV Государственной думы, кадет.

³³ Городня — районный центр Черниговской области.

³⁴ Самойлов Павел Васильевич (1886-1931) — актер.

³⁵ Стихотворение А.К. Толстого «Сон Попова» опубликовано в 1882.

³⁶ Морозов Петр Осипович (1854-1920) — историк русской литературы, театровед.

³⁷ В.Пяст писал: «Я не был свидетелем того, как вылил на него [К.Д. Бальмонта] некий забудыжный сын одного почтенного литератора бутылку с красным вином, — ни того, чем было вызвано это обстоятельство» (Указ. соч. С.270).

³⁸ Сац Александр Миронович — частный поверенный.

³⁹ В.П. Веригина вспоминала: «У Бурлюка чувствовались эрудиция и ум, а публику возмущало уже одно то, что рядом с именем Пушкина он осмеливался ставить имя какого-то Хлебникова. Когда Бурлюк цитировал его, в зале хохотали и шикали. Как это ни странно, таким же хохотом одна группа встретила цитату из "Медного всадника" — публика, обожавшая Пушкина, не узнала его стихотворения. Докладчик сделал паузу и добавил: "Так писал поэт начала XIX века"» (Веригина В.П. Воспоминания. Л., 1974. С.203).

⁴⁰ Каменский Василий Васильевич (1884-1961) — поэт, кубофутурист.

⁴¹ Слово утрачено.

Надежда Вольпин
БЛУДНЫЙ СЫН (1923-1925)
Воспоминания о Сергее Есенине

Публикация, вступление и примечания Г.Маквея

Надежда Давыдовна Вольпин родилась 5 февраля 1900 г. (25 января по старому стилю) в Могилеве на Днепре. Отец ее был адвокатом. Известна Н.Д. Вольпин преимущественно как переводчик с английского, немецкого и других языков (см. неполный и не совсем точный перечень ее переводов в кн.: Писатели Москвы: Библиографический справочник. Составители Е.П. Ионов и С.П. Колов. М., 1987. С.89).

С Сергеем Есениным Н.Вольпин познакомилась в ноябре 1919 г. в Москве. Весной 1920 они сблизились. По воспоминаниям Вольпин, роман достиг высшей точки в 1920-1921 гг., затем начались размолвки и ссоры. В Есенина она влюбилась «сразу и окончательно», хотя и сознавала, что он, по существу, — «безлюбый», внутренне холодный человек. 12 мая 1924 года в Ленинграде родился их сын, Александр Сергеевич Есенин-Вольпин.

В Ленинграде Надежда Вольпин прожила с 1924 по 1933 г., 1 января 1933 вернулась в Москву, где и живет постоянно, за исключением военных лет, когда она эвакуировалась в Ашхабад.

В январе 1984 г. Надежда Вольпин закончила свои подробные и откровенные воспоминания о Есенине, озаглавленные «Свидание с другом». Отрывки из них были с большими купюрами опубликованы в журналах «Юность» (Москва, 1986, №10, с.94-100) и «Звезда Востока» (Ташкент, 1987, №3, с.146-164; №4, с.161-176).

Автор этих строк познакомился с Надеждой Вольпин в Москве 21 октября 1982 г. и впоследствии встречался с ней в 1985 и 1989 гг. Ее превосходные воспоминания заслуживают того, чтобы быть опубликованными отдельной книгой. Ниже предлагаются значительные отрывки из третьей, последней части мемуаров Н.Д. Вольпин, начинающиеся осенью 1923 года, вскоре после возвращения Есенина из-за границы в Москву.

К ИСТОРИИ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Возвращение

— Уже ль заказана навек
Обратная дорога?
Пусти, подруга, дай ночлег! —
Он молит у порога.

«— Три дня я плакала навзрыд,
О мертвом вспоминая.
Прости, как бог тебя простит,
С другим сговорена я».

Он к матери стучится в дверь:
— Вернулся сын твой милый,
Во мне узнаешь ли теперь,
Кого, любя, вскормила?

«— Три ночи ветер выл в трубе...
Простимся без обиды:
Я заказала по тебе
четыре панихиды!»

Тогда он вспомнит: три свечи
И праздник новоселья,
И заторопится в ночи
К своей последней келье.

— Нежнее всех любимых тел,
Покуда жизнь горела,
Тебя я нянчил и жалел,
Мое земное тело.

Я веселил тебя вином,
Купал в любви и славе,
Я буйством оглашал твой дом,
Я ловкой пляской правил...

Когда же эта кровь, сомлев,
Наскучила весельем,
Я возвратил ее земле
Смертельным, трезвым зельем.

Нежнее всех любимых тел,
Заботливей и слаже
Тебя до смерти я жалел —
И после смерти даже!

Это стихотворение — с некоторыми разночтениями (частично они — моя уступка редакции) — напечатано в сборнике Ленинградского Союза Поэтов («Костер» — Ленинград, 1927). И многи-ми было оно воспринято, как отклик на смерть Есенина. Между тем эти стихи — точнее, их первый, более простран- ный (и слишком рыхлый) вариант, под названием «Баллада о вернувшемся» — были мною сложены еще ранней осенью 1923 года и внушены тем впечатлением, какое производил на меня (как и на многих) Сергей Есенин по возвращении из заграницы. Тот полный вариант я не раз читала с эстрады в течение двадцать четвертого и двадцать пятого года.

Знакомлю с историей его возникновения.

Кажется, не было в моей жизни ничего страшнее той ночи. Я вижу все так же отчетливо и подробно, как тогда. Как полвека и более тому назад. Не «помню», а именно вижу.

Большое полутемное помещение. Больничная палата? Не знаю. Я к тому дню еще ни разу в жизни в больнице не лежала, не доводилось и навещать кого-либо в больницах. Не ясен источник света — откуда он, этот полумрак. Широкая прямоугольная колонна уходит к высокому потолку, я сижу на чем-то каменном (но не холодном), припав к каменному левым плечом, сижу в ногах такого же твердого незастланного ложа. На ложе, без подушки, неприкрытый и обнаженный (в неподобной нагоде) лежит Сергей. Тело тускло-серое, по левому боку вижу проступившие сине-лиловые пятна. Я в тоске и смятении. «Это летаргия. Почему не идут врачи? Два дня! Пролежни. И нужно же кормить. Искусственное питание? Ну, да...»

...Ах, надо скорее звать врачей, но как отойти? Еще придут служители, подумают, мертвый — и уволокнут в мертвецкую... «Мы пришли забрать тело!»... Жуть.

Гляжу с тревогой в пустоту темного, без двери, входа в коридор, в дальнем правом углу комнаты. И длится это томительно долго. Но вот застрекотали молодые женские голоса. В проеме входа показалась стайка девиц. Подруги Гали Бениславской¹. Яснее других различаю в их толпе худощавую и высокую Соню Виноградскую². И красивое, невыразительное лицо белокурой, голубоглазой Лиды, с которой Галя давно раздружилась. Но ведет их не Галя, а вовсе Женя Лившиц³. Сухая, стройная, с очень изящным строгим лицом. Выступает шага на два вперед.

— Так вот и будете, — это она ко мне, — сидеть возле трупа?

Так и есть! Сочли умершим. С трудом подавляя гнев, я про- изношу, стараясь сохранить хотя бы в голосе спокойствие.

— Нет, это не смерть. Приведите врачей.

И что-то твержу свое — о летаргии, об искусственном питании. И о пролежнях.

На губах Жени кривится холодная, чуть брезгливая улыбка. — Не видите? Какие еще пролежни. Трупные пятна...

Знаю, но все не верю: да, мертвый, да, трупные пятна...

Я проснулась в холодном поту и долго лежала, не смея шевельнуться, на жесткой железной кровати в убогой комнате, куда меня переселили из общежития Коминтерна. Где всю зиму жильцов донимали крысы.

Безмерный ужас. Одолеть его можно (если можно!) только перегнав в стихи.

В уме, не занося на бумагу, слагаю первые четверостишия «Баллады о вернувшемся» — строки, отброшенные в окончательном тексте.

Ему приснился черный труп,
Когда он выпил зелье,
И он в холмистую страну
Пришел на новоселье.

Не встретил ангел земляка
Зарайским хлебом-солью...

А вечером застолье в кафе СОПО⁴ (Тверская, 18). Я сидела там и ужинала с Аделиной Адалис⁵, когда к нам подошел критик Федор Жиц⁶ и предложил познакомиться с его другом, «который хочет угостить поэтов». Сдвигаются столы. Жиц и его друг — на торце во главе тройного стола, я напротив них у другого конца. Адалис по левую сторону, но не вовсе рядом со мной. Товарищ Жица угощает нашу довольно многочисленную компанию (хоть я и не помню сегодня, кто там был из знакомых, кроме Адалис) в связи с большой своей удачей: получил по конкурсу премию за разработанный им способ выведения крыс на колбасном заводе. Трудность состояла в том, чтобы отравленные крысы не околевали в подвале. Помнится, Крысолов (назовем его так, потому что имени его я, увы, не запомнила) предложил план, по которому крысы собирались куда-то вместе пить воду, и только выпив, тотчас подыхали. Он говорил с большим увлечением, даже энтузиазмом, и мысль об околевающих отравленных крысах едва ли помогала аппетиту. Моему аппетиту, другие все оживленно обсуждали эту тему и всю хлестали бесплатное пиво. Адалис переводила разговор на «мужчину и женщину» и не говорила, а изрекала свои суждения о женской натуре: суждения отнюдь не порочные, но меня коробило от их интимности. Я не сразу поняла,

почему. Я же совсем не «prude»*... Ага, потому вот, что она каждый раз добавляет «например, я».

— Что же вы не пьете, не едите? Пива не признаете? Закажем вино, коньяк...

Это говорит мне через весь стол Крысолов. А я уже и не слушаю, хотя его рассказ о крысах был мне, пусть и неприятен, но интересен. Я вспомнила, что за весь день так и не удосужилась записать те строки, сочиненные утром в постели. И сейчас, пока не забыты, стараюсь закрепить их в памяти. И снова охватил меня тот же утренний ужас. Самым страшным было не то, что Сергей мне привиделся мертвым, а то, что в моих стихах — чего не было во сне — он предстал самоубийцей... Отравившимся нарочно... Как отравлены крысы. Но те ведь не сами... Все поплыло в глазах.

Я потеряла сознание. Дальше я вижу себя уже среди хлопочущих сотрапезников. Надо мной склонились мало знакомые лица. Кто-то держит у моего носа пузырек. Кто-то поддерживает меня за плечи. «Теперь уже хорошо. Пришла в чувство... Нет, пузырек вы все-таки мне верните».

Пузырек передан кому-то за соседним столиком. Посидев еще немного и отклонив настоятельные предложения о проводах, я заторопилась домой.

Через день-другой Есенин разыскал меня и стал горячо уговаривать, чтобы я... бросила пить!

— Нет-нет, я знаю точно, мне рассказали. Пьешь до бесчувствия. Что хочешь, только не это! Родная, не надо!

В голосе и укор и большая нежность. Глубоко тронутая, я пытаюсь оправдаться. Право же, я выпила всего полстакана пива, он же знает, я нелегко пьянею... Мне ночью снился сон, очень страшный, — вспомнила и хлопнулась в обморок...

Вижу, он не поверил, но не могу же я рассказать ему свой сон. А еще через день (Сергей словно боится упускать меня из виду, старается встречаться ежедневно) я услышала от него слова, ради которых и сочла нужным рассказать весь этот эпизод. Вот они:

— Мне кажется, я начинаю понемногу оживать.

Так я узнала, почему мне приснился тот сон: мне передалось это чувство мертвенности, угнетавшее Есенина, тогда, в исходе сентября 1923 года.

Позже мы все прочтем эти его строки:

Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца.⁷

* выставляющая себя строго-нравственной (фр.).

...Но почему все-таки он мне привиделся — то есть, в стихах моих предстал — неприкаянным самоубийцей? Не от той ли кабацкой строки — «Я с собой не покончу»?⁸ Или от тех разговоров, что он-де не хочет долго жить?⁹ Однако, никогда, даже вскользь не бросал он слов о прямой готовности покончить с собой. Только в стихах Есенина, в давних его стихах, прозвучало это памятное:

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.¹⁰

Стоит отметить: тема возвращения «в отчий дом» связана здесь с темой соблазна самоубийства.

РУСОФИЛ

Октябрь двадцать третьего. Сажу за столиком в «Стоиле Пегаса»¹¹, прихлебываю свой вечерний кофе и на клочке бумаги записываю, припоминая, строки новых стихов — из моей «Фетиды»¹².

Камень в руку друг мне сунет,
Ночь в лицо швырнет звездой!

Ко мне подходит сзади, возникнув из ниоткуда, Иван Грузинов¹³, старый, верный друг. За его широкой спиной маячит, пошатываясь и горбясь, фигура Есенина.

— Пойдемте, поговорим, — неуверенно начинает Грузинов и ведет меня куда-то вниз, в боковые тайники. Никогда я не умела разобраться в географии «Стоила»! Небольшая квадратная комната без окна.

— Надя, очень прошу вас: уведите его к себе. Вот сейчас.

— Ко мне? На совсем? Или на эту, что ли, ночь? Как вы можете о таком просить?

— Поймите: тяжело ему с Галей!¹⁴ Она же...

— Знаю: любит насмерть женской любовью, а играет в чистую дружбу! Почему же ко мне? Со мною легче ему, что ли?

— Эх, сами себе не хотите счастья!

Да, он так и сказал: «счастья»! Но в счастье с любимым не верю — ни для себя, ни для него.

— Уведите его к себе, — продолжает Грузинов, — и держите крепко. Не себя, так его пожалейте!

Есенин пришатался сюда же. Я едва успела сказать Грузинову скороговоркой: «Ко мне невозможно — в ледяной чулан!»

Дело не только в том, что в моих «меблирашках» на Волхонке идет ремонт антресолей, где я жила, и меня временно поселили в каменном чуланчике с крошечным оконцем и кирпичной «буржуйкой»; что днем у меня вода в кувшине замерзает: я уже твердо знаю, что будет ребенок. И мне надо очень беречься, если я хочу благополучно его доносить. Но в этом я никому пока не открываюсь.

На прямую просьбу Есенина о том же, отвечаю невнятным отказом... Ко мне невозможно... Сама сейчас хоть дома не ночуй!

Грузинов вздохнул. Мнется. Помолчав, предлагает Сергею отвести его, как вчера, к Сергею Клычкову¹⁵.

— К Клычкову? Н-не пойду! Н-ну его! Он р-ру-софил!

Это безгловое, брошенное в порицание «русофил» твердо мне запомнилось — и недаром. Скоро пойдут споры о том, вправду ли Есенин антисемит. Но может ли для антисемита слово «русофил» обернуться ругательной кличкой?

Больно было думать, что Сергей скитается бездомный, и некуда ему приткнуться, если не к Гале Бениславской, с которой, видно, ему и впрямь тяжело.

А Сергей стоит, припав спиной к стене. И вдруг раздражается длинной хлесткой руганью.

Странное дело, я не из чистоплюев, иной раз и сама загну крепкое словцо. В те годы женщины нередко из особого кокетства прибегали к непечатному слову. Но меня оглушило, что Сергей, пусть нетрезвый, позволил себе так распустить язык при мне: давно ли он не позволял подобных вольностей своим приятелям при юном Сереже Златых, работавшем в их книжной лавке на Никитской! Мальчишку оберегал, а при мне... не стыдится!

И я убегаю, простившись только с Грузиновым. Тот смотрит мне вслед с осуждением. И конечно прав. Не должна я была бросать Сергея вот такого: растерянного, бесприютного. Это было для него как предательство. Которому есть оправдание — ему, однако, неизвестное.

Но здесь опять в бег моих воспоминаний должна вступить Адалис. Айя Адалис, как зовут ее в тесном поэтическом кругу.

БЛУДНЫЙ СЫН

Да, мне стыдно было и больно, что накануне я отказала Есенину в ночлеге. Но совестно было и ему.

— Я, кажется, нес несусветное! Очень был пьян. Не сердитесь.

Мы сидим с ним в «Стоиле» — не в «ложе имажинистов», а среди зала, поодаль от оркестра. От вина я твердо отказалась, прошу и его воздержаться. Честно пьем кофе. Кто-то подходит из малознакомых «друзей».

— Идем же, Сергей! Нам пора...

— Не пойду! Вечно куда-то тащат... Дайте мне посидеть с моей женой!

Приглашавший удаляется с группой ждавших приятелей.

Близ нас остановилась Адалис. Сергей, извинившись, отлучается уладить счет. Адалис, осмелев, подошла:

— Надя, я не в первый раз наблюдаю: удивительное лицо у Есенина, когда он рядом с тобой! Успокоенное и счастливое. Нет, правда! — Она завращала своими прекрасными, продолговатыми, голубыми в прозелень, глазами, как будто выписанными на очень белой эмали. И добавляет (ох, и любит она высокопарные слова!):

— Лицо блудного сына, вернувшегося к отцу!

Передо мной возникает рембрандтовский образ¹⁶. Сын на коленях. Широкая спина и на ней кисти отцовских рук. Голые поседелые ступни. А лица мы почти не видим. Только эти стертые ступни, и они выразительнее всяких глаз.

Спасибо, Айя, мне дороги твои слова. Прощаю им высокопарность. Ты все-таки истинный поэт.

ПО-СВОЕМУ

Поздняя осень двадцать третьего. Мы вдвоем на извозчике. Морозно. Но не сани — еще пролетка.

— Почему у нас с вами с самого начала не задалось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, — уверяет Сергей. — Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас... По-своему!

«Видно, уж слишком по-своему!» — подумалось мне. А вслух отвечаю:

— Наоборот. Я всегда это знала. Будь иначе, уж как-нибудь нашла бы в себе силу начисто оборвать нашу связь. Если не иначе, то вместе с жизнью.

И вспомнилось памятное для меня признание, которое услышала я от Сергея в ту ночь, когда С.Т. Коненков привез меня «знакомиться с Есениным»¹⁷.

Ко мне подходит Евгения Давыдовна Шор, дочь известного музыковеда и бывшая жена Вадима Шершеневича¹⁸. У имажинистов она пользовалась искони неизменным и глубоким уважением. Они держались правила: долой поцелуи женских рук! Но для нее — исключение. Я видела сама, как склонялись к ее руке и Есенин, и Анатолий Мариенгоф¹⁹. И вот Женя Шор, как ее зовут в нашей семье, подходит ко мне возмущенная:

— Надя, что это? Я видела вас вчера с Есениным! Мы все, все должны от него отвернуться. Все его друзья евреи, все просто порядочные люди: русский, советский поэт, как какой-нибудь охотноредец...

Передо мной, однако, Есенин уже успел оправдаться: «тот тип», то есть незнакомец, которому он в пивной влепил пощечину, окрестив «жидовской мордой», назвал-де Есенина мужиком²⁰.

— А для меня «мужик» все равно, как для еврея, если его называть жидом. Вы же знаете, не антисемит я, у меня все самые верные друзья — евреи, жены все еврейки!

Да, я знаю, слышала не раз: он и Райх²¹ зачислял в еврейки, и Дункан²². Но то было в двадцать первом году. С той поры немало воды утекло. Предстоит общественный суд (в доме Печати) над четырьмя поэтами: Алексей Ганин²³, Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин²⁴. Главный ответчик именно он, Есенин. И Есенин взял с меня слово, что я приду на суд. Он еще не знает, что я жду ребенка. Не спешу его о том уведомить.

Для меня был оставлен пропуск. Но народу набилось невпроворот, я пришла поздно, меня не впустили, сказали, что Есенин провел с собою целую толпу девиц, хватит, мол. Что я и сама принадлежу к клану имажинистов, было оставлено без внимания. Пробую доказать, что я не со стороны Есенина, а должна высказаться в оправдание Клычкова (хотя скорее могла бы ему только навредить, вспомнив есенинское «ну его, он русофил»). Не помогло. Да и надо ли мне лезть в пекло? Еще сделается дурно в духоте. Я сейчас склонна к обморокам. Так и ушла ни с чем.

После суда Есенин ходит, как оплеванный. Друзья вдвойне к нему внимательны, заботливы: еще совсем сопьется, вот и стараются оттянуть его подальше от тех троих. А мне особенно больно, что тень пала и на Клычкова. Я его всегда считала человеком большой и чистой души, ценила его дарование (и еще выше оценю, когда он перейдет на прозу!). Но им владела какая-то странная к Есенину ревность. Он и раньше и позже не раз выказывал, что

я ему очень нравлюсь, а у меня возникало чувство, точно склонность эта не лично ко мне, а к «девушке, полюбившей Есенина».

Попеняв мне, что я так и не пришла в зал суда, Сергей при новой встрече сообщает, что скоро ляжет в санаторную больницу. Уже все улажено: больница где-то в Замоскворечье «то ли Пятницкая, то ли Полянка...»²⁵ Ну, Галя будет знать точно». И берет с меня слово, что я непременно там его навещу. «Адрес возьмете у Гали».

Так-то! Ей он доверяет, а как дошло до дела, Галина Артуровна не захотела сообщить мне адрес, не передала Есенину мое письмо...

Незадолго до больницы я сказала, наконец, Сергею, что будет ребенок. Это его не порадовало — у него уже есть дети, и с ними он разлучен²⁶. Я заодно даю понять, что отнюдь не рассчитываю на брачные узы: вряд ли, говорю, возможно совместить две такие задачи — растить здорового ребенка и отваживать отца от вина. И вот теперь, когда ему ложиться на лечение, я спрашиваю, очень ли его угнетает мысль о моем материнстве. И добавляю: «Если так, ребенка не будет». Боюсь, он угадал и заднюю мысль: «ни ребенка, ни меня». Он уверяет с жаром: дело не в нем. «Мужчина всегда горд, когда женщина хочет иметь от него дитя» (он сказал именно «дитя» — не «ребенка»). Если же он меня отговаривает, так это, твердит он, с думой обо мне: вряд ли, мол, я со всей ясностью представляю себе, насколько ребенок осложнит мне жизнь.

На том и простились до поры.

Я в своем ледяном чулане. Рвусь повидать Сергея — Бениславская упорно не дает адреса. Не знаю, где Грузинов... да, может, и он не знает. И выручает... сон.

Вижу во сне: я иду какой-то замоскворецкой улицей, то ли Ордынкой, то ли Якиманкой или Полянкой; улицей, ведущей от Садового кольца к реке. Медленно так иду и слышу за спиной голос Сергея: «Обещала, а не приходишь». С горьким упреком. Решила в тот же день найти больницу — по указанию сна. И нашла. Прошла по Малой Полянке, по Ордынке, по Большой Полянке. Эта больше всего похожа на «улицу сна». Зашла в аптеку, справилась, есть ли поблизости больница или санаторий «с нервным уклоном». Мне очень любезно разъяснили, что есть в конце Большой Полянки, почти у самой площади — «...по правую руку. Вы сразу увидите!»

Пошла разузнать. Да, лежит у них такой... Меня легко пропустили — тут без особых строгостей.

Долго ждать не пришлось. Вижу спускающегося ко мне со

второго этажа по широкой внутренней лестнице Есенина. Легкого, радостного. Сейчас, когда сама несколько уже отяжелела, я вдвойне остро ощущаю эту легкость, эту его природную грацию.

— Наконец-то явилась! — говорит Есенин. — Ну, идем же ко мне.

Я не стала объяснять, как узнала засекреченный адрес. Оставила на совести у его «ангела хранителя» Галины. Она, небось, сама перед собой оправдывается тем, что сейчас встреча со мною будет ему во вред!

У Есенина большая, просторная, светлая комната, которую с ним разделяет только один пациент. Тот, увидев гостью, поспешно удаляется. Сергей говорит:

— Повезло с сожителем: как увидит, что ко мне гость или что сажусь писать, тут же уходит.

Сергей за этот короткий срок очень посвежел, окреп. Поясняет: «скучновато, конечно». Еще бы! Непривычно затянувшаяся трезвость. А вот долго ли ты ее стерпишь, мелькает в уме.

Он прочел мне два новых стихотворения — оба написаны здесь, в больнице. Сперва «Вечер черные брови насопил». Дочитал. Я повторяю на память:

«Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек!»

Обсуждать не хочу. Но Есенин требует критики. Я заметила, что зря он ломает язык ради рифмы: «насопил — пропил». Можно оставить обычное «насупил» — и дать диссонансную рифму. Сама я нередко так делаю. Или «насопил» это рязанская форма? (Была ли я права? Наверяд. Есенинское «насопил» в оборот не вошло, но для данного стиха принято всеми как должное.)

Оставив мой вопрос без ответа, Сергей спешит перейти ко второму стихотворению.

Его упорно во всех публикациях относят к 1925 году. Возможно, какие-то мелкие доделки внесены позже, но мне ли было его забыть! Да и обсуждали мы его подробно... Это любимое мое: «Вижу сон. Дорогая черная».

Скажут: не изменяет ли вам память? Нет, не изменяет. Разве спутает, забудет любящая такие строки:

И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Да, я всегда знала: милых вагон, а любимой нет! Может быть, никогда и не было, сколько бы ты не выдумывал, не вну-

шал себе и другим, что знал в прошлом, единожды, большую любовь.

Но лучше всего дальнейшее:

Свет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Я долго потом старалась вспомнить: «У которой тот же свет» или «От которой тот же свет»... Он все не печатал, когда-то еще выйдет наконец — посмертно — четырехтомник и в нем эти стихи! Недооцененные. А может быть, вариант «Той, в которой» возник позже? В связи с первой публикацией этого стихотворения в Баку? Пусть докапываются литературоведы²⁷.

— Ну, — говорит Сергей, — критикуйте.

Понимаю: строчки еще не застыли, можно править.

Я сперва горячо приветствую так смело введенное в строй стиха слово «который». (Тем и себя нахваливаю: сама я еще летом двадцать первого даже на рифму вынесла «который»).

— А к чему прицепитесь? Выкладывайте!

— К метким рукам²⁸.

И поясняю: сами по себе «меткие руки» даже находка. Это хорошо.

— А что же неладно?

— Слишком откровенно притянута ради рифмы. Вот и не веришь находке. Или, может быть, чисто звуковое неприятно: «руками меткими», какая-то возникает «миметка». Но это «ловля блох». Стихотворение, как жемчужина, в вашей лирике!

Не знаю, почему Есенин так долго его не публиковал. Может быть, хотел что-то подтянуть? Или другое: оно было ему *слишком* дорого? Так удивительная наша художница Ева Павловна Левина, бывало, договорится о продаже своей картины, а потом все никак не желает с ней расстаться и тянет с оформлением продажи музеем. Впрочем, догадка едва ли правильна, никогда я не замечала у Сергея подобной авторской «скупости».

Знаю, многое в моем рассказе покажется не совсем правдоподобным — начиная с приснившейся улицы. Но нет здесь ни слова выдумки. Все вот так и было. И особенно это станет жизненным, когда я расскажу о втором и последнем моем посещении Есенина в больнице.

Я застала у него Галю Бениславскую с подругами. Сергей принимал их — и меня — не в палате, а внизу, под лестницей.

На этот раз он был со мною почти груб. И злобно говорил о Жене Лившиц.

— Вам сколько лет исполнится? (Это было незадолго до моего дня рождения). Двадцать восемь?

— Расщедрились! Хватит с меня и двадцати четырех.

Я понимала подоплеку спора: он сам себе доказывает, что я достаточно взрослая, что он за меня не в ответе. Но говорится это чуть не со злостью — уж не в угоду ли Галине?

— Ну, да! Все еще, скажете, девочка! Мы же с вами целый век знакомы. Когда встретились?

— Осенью девятнадцатого.

— Вот тогда вам было двадцать три.

— Было девятнадцать. Мои годы просто считать: в двадцатом — двадцать. В двадцать четвертом, в феврале, будет двадцать четыре.

— Все-то она девочка! А уж давно на возрасте!

— Дались вам мои годы. Свои не забываюте.

Разговор перекинулся на Женю Лившиц.

— Она будет мужу любовь аршином отмерять, — усмехнулся Есенин (так и не склонивший Женю на «реальную любовь»). И Бениславская со всей своей стайкой весело и довольно хихикает.

Меня мучит злая мысль: как был он рад мне тогда, совсем на-днях! Что же сейчас, при этих девицах, так подчеркнуто груб? И так недобро говорит о Жене? Оправдывается перед Галиной?

И я радуюсь уже созревшему решению переехать в Петербург (еще Ленин жив²⁹, и город носит именно это имя — не Петроград). Мне вдруг становится ясно: Сергею до смерти хочется выпить, он еле терпит свою трезвость. Не мне тут решать. Пусть Бениславская сама посоветуется с врачами насчет вина. Хотя бы в самой малой дозе. Из всех гостей я первая поднялась уходить. Сергей с неожиданной — покаянной — теплотой прощается со мною.

ПРИВОЖУ ЕСЕНИНА К ГАЛЕ

Сергей заявился ко мне на Волхонку. В мой ледяной чулан.

— Едем! — и везет меня, уже в санях, в какой-то новый для меня ночной локаль (много их развелось по Москве!). Где-то между Тверской и Дмитровкой, в переулке. Полуподвал. Знакомых не вижу. Есенина сразу перетянула к себе чужая мне компания: похоже — актеры. А я сижу за нашим столиком, куда нам

подали кофе. Грузноватая, игриво-кокетливая, немолодая довольно красивая женщина обволакивает Есенина льстивым вниманием (пошло-эстрадным, отмечаю мысленно). А со мною разговорился некий американец. Журналист, что ли? Обрадовался, что я, хоть и туго, могу отвечать на его языке. Английский у нас в те годы был мало распространен. Подсаживается (откуда взялся?) Иван Грузинов. Просит не оставлять здесь Сергея. («Кроме вас, тут никого из друзей!»).

— А вы?

Грузинов объясняет, что живет не дома, позже двенадцати возвращаться не может. И, как на грех, никого из знакомых вокруг!

Грузноватая фея все еще вьется вокруг Есенина, выламывается гусеницей. Грузинов сбежал, перекинув на меня свой долг добровольной няньки. Американец, по-своему поняв создавшееся положение, горячо объясняет, что мне нельзя оставаться, что я должна показать поэту, что такое женская гордость: «Он привел вас, а сам...»

Откуда только взялись у меня слова! Бегло, уверенно на чужом языке я пытаюсь втолковать иностранцу, что друзьям Есенина сейчас не до личных счетов. Поэт, большой русский поэт гибнет у нас на глазах. Тут не до бабьего мелочного самолюбия. Я сегодня взяла на себя довести его до крова и...

Кончить я не успела. Сергей заметил внимание ко мне американца. Кинулся к нам, схватил меня за руку, бросил коротко: «Моя!» — и уже опять, но как-то поскуцнев, ведет игру с приглянувшейся ему пожилой прелестницей. Вижу, и она изрядно перебрала. Ее спешат увести.

— Не пора ли и нам?

Но Сергей вдруг вспомнил, что должен прихватить отсюда ужин для Гали, она больна, он ей обещал. Галя весь день ничего не ела...

Новая задержка. Проходит чуть не полчаса, пока нам выносят пакет со снедью. Мы выходим вдвоем из опустелого зала. Сергей, шатаясь, сует мне пакет.

Я не беру. Пусть сам и несет, раз пообещал. Сильный мороз, а я потеряла одну перчатку. Или во мне заговорила некрасивая злоба на Бениславскую? На улице Сергей, показалось мне, сразу протрезвел. Я не соображаю дороги — куда нам, в Брюсовский? Увы, я ошиблась, на воздухе его и вовсе развезло. Он дважды падал, силенок моих не хватало, чтобы удержать — удавалось разве что немного ослабить удар при падении. По второму разу Сергей, едва сделав несколько шагов, рванулся назад: исчез па-

кет! Ищем — нигде не видать... Верно, обронил раньше... Мне стало стыдно. Но что уж теперь!.. Да мы почти у дома.

Больная сама поспешила открыть на звонок. Это тем более странно, что дом полон ее подруг. Смотрит на меня. Удивленное:

— Вы?

Не ждала, наивная ревнивица, что я приведу Есенина к ней, не к себе!..

А тот, запинаясь, винится, что не донес ее ужин. Галя с откровенным огорчением всплеснула руками.

Меня Сергей не отпускает — куда ты, надо же хоть обогреться.

И вот он возлежит халифом среди сонма одалисок. А я тихо злюсь: да разве не могли они сварить хоть кашу, хоть картошку своей голодной повелительнице? Или партийное самолюбие запрящает комсомолке кухонную возню? Дубины стоеросовые!

Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, кареглазую, кажется, Аню Назарову³⁰.

Идет глупейшая игра, еще более пошлая, чем та, давешняя, с пожилой дивой в обжорном ночном притоне. «А он не бешеный?» «Пощупаем нос. Если холодный, значит, здоров!» И девицы наперебой спешат пощупать — каждая — есенинский нос. «Здоров!» «Нет, болен, болен!» «Пусть полежит!»

Есенин отбивается от наседающих «ценительниц поэзии».

— Нет, ты, ты пощупай! — повернулся он вдруг ко мне, и сам тянет мою руку к своему носу.

Прекращая глупую забаву, я тихо погладила его по голове, под злобным взглядом Галины коснулась губами век... и заспешила на волю: мне еще ползти на Волхонку в свою промерзшую конуру, печку топить, а завтра вставать чуть свет.

Сергей пытается меня удержать.

— Мы же не поговорили... о главном.

— Успеем. Я не завтра уезжаю.

(Получила заказ: перевести с немецкого повестушку. Обещают «деньги на бочку». Придутся куда как кстати — в дорогу.)

У МЕНЯ ТРОЕ ДЕТЕЙ

«О главном» — это о моем решении сохранить ребенка и переехать в Петербург, где, кстати, и с жильем легче будет устроиться. Но важнее другое: для душевного равновесия мне нужно резко переменить обстановку.

Есенину трудно поверить, что я и вправду решила сама уйти от него. Уйти «с ребенком на руках», как говорилось встарь.

(Через полгода я узнаю, что в салоне небезызвестной «мамы Ляли» сложили частушку — начала не знаю, а конец такой: «Надя бросила Сергея без ребенка на руках!» Есенин будто бы на меня же сетовал.)

Если Есенин, впервые услышав от меня о ребенке, так горячо сказал мне слова про мужскую гордость, то в дальнейшем разговор пошел совсем иной. После суда, после больницы на Полянке.

— Зря вы все-таки это затеяли. Я хотел просить Бениславскую, чтоб она поговорила с вами...

— Что ж! Я б направила ее для объяснений к Сусанне Мар³¹.

Есенин:

— Понимаете, у меня трое детей. Трое!

Ага, сознался, наконец, что есть еще ребенок, после двух у Зинаиды Райх!

— Так и останется трое. Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжаю.

Все разговоры эти велись как-то бегло — Сергей не нашел в себе мужества самому прийти ко мне и толком объясниться — видно понимал, что я не сдамся, на аборт не пойду.

Но главного не понимал — что ребенок мне нужен не затем, чтобы пришить Сергея к своему подолу, но чтобы верней достало сил на разлуку. Окончательную разлуку!

Однажды привелось услышать и такое:

— Но смотрите, чтоб ребенок был светлый. Есенины черными не бывают. (Узнаю позже: он говорил так и жене, Зинаиде Райх!).

Я ответила:

— *Blonda bestia*? Ну, нет. Если сын, пусть уж будет в мать, волосы каштановые, глаза зеленые. А если дочь, пусть в отца — желтоволосой злючкой. Счастливей сложится жизнь. Знаете небось народную приметку!*

Сергей слушает и усмехается. Чудно знает, каким рисуется мне сын.

В последние дни перед отъездом наблюдаю: друзья Есенина озабочены подыскать ему «сильную подругу», такую, чтоб могла удерживать от пьянства. Сейчас возлагают надежду на Анну Абрамовну Берзину³². Во мне Грузинов изверился. И не стесняется обсуждать со мной эти планы!

* По народному поверью жизнь сложится у сына счастливо, если он похож на мать, у дочери, если на отца. — *Н.В.*

ЦЕНИТЕЛЬ ВЕСНУШЕК

Я со дня на день уезжаю. Поздно вечером в сильный мороз (пресловутые «ленинские морозы») захожу в «Стойло Пегаса», где мне должны передать кое-какие письма и петербургские адреса. За сдвоенным столом справа от входа — наискосок от «ложки имажинистов» — сидит с друзьями Есенин. Он и меня зазывает к столу, но я отказываюсь: пить не намерена, нельзя! Высокий человек постарше прочих — я сразу узнала его, хоть видела только раз, прозаик Пимен Карпов³³ — внимательно взгляделся в меня.

— Постой, Сергей, это же та девушка, с которой ты еще в двадцатом году, среди лета, познакомил меня на улице. Ну, конечно, вы шли вдвоем по Тверской. Да тебя высечь надо! Что ты с ней сделал? Ведь она была прямо красавица! А сейчас...

Красавицей я никогда себя не мнила, — разве что хорошенькой, и только. А все же приятна была мысль, что в тот год нашей первой влюбленной дружбы я старшему другу Сергея показалась красавицей. Да еще «среди лета», значит, сплошь усыпанная веснушками! Я засмеялась.

— Видно, вы большой любитель веснушек! Зачем же Сергея-то ругать? Да, сейчас я сильно подурнела — болею. Но даю вам слово: к июню месяцу расправлюсь с хворью, наберу опять целый воз веснушек — «канапушек», как няня моя говорила — и стану куда лучше, чем была в то лето. Если занесет вас в Петербург, прошу навестить меня и убедиться самому.

Есенин довольно посмеивается, рвется меня проводить. Я решительно отклоняю.

ЗНАКОМЬСЯ, НЮРА

Двенадцатое февраля двадцать четвертого года.

Приехав, наконец-то, в Ленинград, я поначалу остановилась у родных.

Один из первых моих визитов — к Сахаровым.

Александр Михайлович³⁴ встречает меня очень дружелюбно. У него мечта — перетянуть Есенина в Ленинград «на совсем» — и, видимо, он ободряется мыслью, что в этом я окажусь его помощницей. Представляет меня жене, Анне Ивановне.

— Знакомься, Нюра: поэтесса Надежда Вольпин. Самая теплая привязанность Сергея.

По лицу жены пробежала тень.

Слова Сахарова отозвались во мне радостью (уж ему ли не знать! «Самая теплая!»). Но и больно стало впору добавить — «была».

У Сахаровых два мальчика — старший, лет пяти, Глеб (так его дома и зовут без уменьшительных), и меньшенький, Алик (кажется, от «Олега») — этому нет и трех. У него сразу ко мне вопрос: «Что ты мне принесла?» Родители смущены, но все выправляет нашедшаяся в моей сумочке шоколадная конфета.

Много хорошего сделали для меня Сахаровы — особенно Анна Ивановна. И самое важное: она сосватала мне няню к ребенку — удивительную, добрую, честную, умную, очень опытную (хотя всего на пять лет старше меня!), с природным, казалось, воспитательным тактом — Анну Николаевну Амбарову. Позже, когда Сахаров съездит на время в Москву, Анна Ивановна станет меня уговаривать снять у нее в квартире те самые две комнаты, которые муж приберегает для Есенина. Не очень ей улыбается, чтоб Есенин у них жил! Предложение было бы соблазнительно во всех смыслах (недаром через год мы с Сахаровой поселимся вместе на даче). Но я не могу ставить подножку Сергею. Да и как он это истолкует: не иначе, как попытку уцепиться за него!

И никто, как Анна Ивановна, выручит меня, когда обнаружатся нелады с моим «удостоверением личности», или как он там назывался в те годы — документ, в дальнейшем замененный паспортом³⁵.

ТЫ В УМЕ, СЕРГЕЙ?

Май двадцать четвертого. Квартира Сахаровых. Я все еще связана с этим жильем. Сажу у себя, гоню — надо бы кончить до родов — свой «негритянский» перевод³⁶. Меня перебивают на полфразе: входит Есенин с Александром Михайловичем.

Я встаю. Сергей развалился в кресле. И бросает мне несколько злобных слов. Я молчу. У Сахарова перекопилось лицо.

— Ты в уме, Сергей? — и уволакивает его.

А через несколько часов Есенин подкараулил меня, когда я собиралась уходить.

— Пойдем вместе, — роняет он.

Точно и не было давеча его грубой выходки. Я говорю о пустяках.

— Какая у вас и сейчас легкая поступь, — замечает Сергей.

Я думаю о своем. И через минуту слышу:

— Все-таки вы удивительная женщина!

Промолчала. Думаю про себя: чем же «удивительная»? Что ничего от тебя не требую, ничем не корю? Но ведь я с самого начала так поставила: ребенок будет не твой, не наш, а мой.

Вспыхнуло в уме: а всю ли ты правду сказал, что стихи о бабушке? Они и о ней, о родной твоей матери тоже!³⁷

НУ, ЕСЕНИН!

Лето двадцать пятого года. Я на даче. Под Ленинградом, в Вырице. Это чуть не в шестидесяти километрах от города. Зато здесь хоть сухо. Дачу сняли вместе с Сахаровой — она заняла верх, я внизу. Анну Ивановну соблазнило, что я держу «живущую» няню — можно будет, уезжая в город, оставлять на нас детей. А ездить ей часто — у нее что-то вроде волчанки, лечится. И странное дело: без этой огромной язвы на лице она воображается просто красавицей! Так во всяком случае кажется моей маме (она гостит у меня на даче). Лицо у Анны Ивановны очень милое, но вряд ли даже в первой молодости была она впрямь красива.

Где-то во второй половине лета приехал навестить семью и сам Александр Михайлович. Привез новую песню Есенина. Все напевает неожиданно приятным голосом:

Есть одна хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке³⁸.

Как-то подошел к моему малышу, поднял высоко в воздух.
— Ну, Есенин, покажись, какой ты есть!

Мой годовалый Александр Сергеевич³⁹ очень ко всем приветлив. Вот и сейчас с готовностью пошел на руки к «чужому дяде». Тот мурлычет:

Как гитара старая и как песня новая
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Ставит мальчика наземь. Отворотив лицо, говорит:

— Сергей все спрашивает, каков он, черный или беленький. А я ему: не только что беленький, а просто, вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно.

— А что Сергей на это?

— Сергей сказал: «Так и должно быть — эта женщина очень меня любила».

Не знаю, что больше меня удивило — самая ли мысль Есенина, что любящая непременно родит ребенка, похожего на отца?

Или то, что он отозвался обо мне «эта женщина»? Не «она»,

не «эта девушка», как в те годы стали у нас называть всякую молодую женщину. Знаю, он теперь пишет мой вымышленный портрет: очень взрослая женщина, которая «сама за себя отвечает». Ведь и при второй нашей встрече в больнице (в тот раз, при Гале) он вдруг заспорил, что я старше, чем была на деле. Или и впрямь понимает, что со стороны (а может, и в собственных глазах) его поведение со мною выглядит не слишком красиво? Что и говорить, многие его осуждали, считали передо мною виноватым, но только не я сама. Меня, напротив, тяготило сознание собственной вины перед Есениным. Навязалась ему с четвертым! Более того: отступилась от него, променяв на этого нежеланного четвертого. В глазах Сергея это было с моей стороны предательством.

Да и то сказать: в те годы согласие женщины на аборт подразумевалось, как нечто само собою ясное. Я шутила: аборт сейчас у нас главное противозачаточное средство.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Поздняя осень двадцать пятого. Вскоре после недавнего приезда Есенина в Ленинград (предпоследнего) «воинствующие» передали мне, что Анна Ивановна Сахарова просит меня зайти к ней: есть деловой разговор.

Я на Гагаринской. Анна Ивановна сообщает:

— У нас тут гостил Есенин. Просил меня дать ему ваш адрес. Я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее, разрешит ли... Придете, а она вас с лестницы спустит. Уж я б на ее месте спустила!

Я еле сдержала крик досады и боли!

Сергей не только принял как должное, что я «спущу его с лестницы», но даже стал утверждать, будто я так именно и поступила. И сам поверил в свою выдумку. Поверил тем легче, что еще в августе двадцать четвертого года, когда моему сынку было всего три месяца, случилось так: я шла с няней и с ним по Гагаринской: няне надо было навестить свою семью (все в том же сахаровском дворе), а я должна была покормить грудью ребенка, да заодно зайти по делу к Анне Марковне, соседке и давней подруге Анны Ивановны. Издали вижу — навстречу идет Есенин. Делаю няне знак, чтоб она с малышом на руках перешла на другую сторону. Няня подчинилась крайне неохотно, а у Сергея пробежала судорога по лицу. Затем я, как ни в чем не бывало, перекинулась с ним двумя словами — знала, что он собирается на Кавказ, даже думала, что уже уехал из Ленинграда... Отсюда и родилась сплетня, будто я «не позволила Есенину даже посмотреть

на ребенка», за что младший брат Сахарова сильно меня осуждал. Нет, прямого запрета не было: когда бы сам пришел ко мне домой, с лестницы не спустила бы. Но я не захотела показывать сына при случайной встрече, да еще на этой улице, где встреча не могла показаться Сергею случайной: подумал бы, конечно, что я сама ищу встречи. Я же, напротив, дала ему знать через друзей, что прошу не приходить, пока не отлучу маленького от груди.

Я, понятно, разрешила Анне Ивановне дать мой адрес Есенину. Но в его последний приезд в Ленинград мы разминулись: о рождестве я поехала с сыном на две недели в Москву.

И еще мне рассказали тогда у Сахаровых, будто в тот свой приезд Есенин ходил на Мойку с мыслью утопиться. Но хмурая, осенняя река посмотрела на него холодной, неприютной, — не упокоит такая могила! И отказался от замысла, отложил...

— Сами знаете, — сказал мне Александр Михайлович, — он уже раз пробовал такое, вену вскрывал...

— Тогда, в двадцать четвертом году? Та черная повязка на руке?⁴⁰

— Ну, да! А вы что, поверили, будто он стекло подвальное продавил? Ясно же было: аккуратненько вену перерезал. Нигде, ни на руке, ни на одном пальце ни царапины. Да как вы могли поверить?

Я тогда гнала от себя страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Сергея я увидела в канун родов.

Та встреча на Гагаринской обернулась моим последним свиданием с Есениным.

ПО ТУ СТОРОНУ

Известие о гибели Есенина настигло меня в Москве. Как удар в грудь.

Двадцать шестой год. Первые дни января. Со всех сторон люди считают нужным рассказать мне, что знают, что слышали о последних неделях и днях Есенина... И здесь, в Москве, и в Ленинграде, когда вернусь...⁴¹

Я у Анны Марковны. Она отличная портниха и близкая подруга Анны Ивановны Сахаровой. Крупная, броско красивая зрелая женщина с восточными огненными глазами и мощной грудью. Ее молодой муж, записной белорозовый красавчик Коля (полного имени его я никогда не знала, для всех вокруг он просто Коля), напустив на себя многозначительный вид, рассказывает мне:

— Очень Сергей расстроился, когда Анна Ивановна отказалась дать ему ваш адрес. Он потом пил со мной весь день, вместе и заночевали. Все повторял:

— Как же я низко пал, если Надя Вольпин... Надя... она любила меня больше всех... И Надя спустила меня с лестницы!

Не «должна спустить», а «спустила»! Это больше всего поразило меня (и это кое-что сказало бы психиатру). Отметив про себя в рассказе Коли это слишком торжественное «низко пал», я переспросила:

— «Спустила»? Он так и сказал?

— Да, именно так. Но я-то понимал, что не ходил он к вам, ведь и адреса не знал.

И Коля с похвальбой в голосе добавил:

— Ну, я как мог, утешил его. Дело, говорю, поправимое. Вы к ней не пустой придите, с хорошим подарком, купите что-нибудь эдакое... подороже... уж как положено! А он все повторяет свое: «Как я низко пал!»... Так всю ночь и проплакал.

Больно было слушать. Коля с его «мудрым» житейским советом... Вот какими людьми был окружен в последние свои недели Сергей Есенин — верней, окружал себя...

И вспомнилась мне зима с двадцать третьего на двадцать четвертый: как истинные друзья Сергея Есенина — в первую голову Иван Васильевич Грузинов — стараются выслеживать ночами Есенина по московским кабакам, приводить на место надежного ночлега, привлекая к этому делу даже меня... И вдруг пронзила мысль: а первый-то друг, Анатолий Мариенгоф? Он полностью тогда снял с себя эту заботу!

Был в те первые пореволюционные годы в Камерном театре актер — не на ведущих ролях — Оленин. Полного имени его не помню, а звали его в нашем кругу Алик Олениным. Он дал себе тяжелый труд выучить наизусть раннюю есенинскую поэму «Товарищ», первый отклик поэта на февральскую революцию. Поэма была напечатана в мае семнадцатого года и рисуется мне предвестницей блоковских «Двенадцати». Поэзия Есенина давно оставила позади этот ранний опыт. Прозвучал «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев». Прочтены друзьям и «Страна Негодяев», и «Черный человек». А наш Алик Оленин, знай, читает с эстрады «Товарища». Эффектно читает. Особенно заключительный выкрик:

Железное

Слово

«Пре-эс-пу-у-ублика!»

Над чтецом уже давно посмеиваются. Есенин несколько раз просил его добром больше «Товарища» не читать. Как горох об стену! Поэт наконец пустил в ход сильное средство: официально — от Ордена Имажинистов — актера предупредили, что если он еще раз позволит себе прочесть с эстрады «Товарища», то «в уплату получит по морде». Подействовало.

Не прошло однако и недели со дня смерти Сергея Есенина. В московском Доме Печати вечер памяти погибшего поэта. Одним из первых выходит на эстраду Алик Оленин и читает... ну, конечно же, «Товарища»! Ох, и хотелось мне, чтобы кто из друзей в память ушедшего выдал чтецу обусловленную плату.

Нет, никто не счел нужным «расплатиться»...

Я шла с вечера домой, думая о том, как теперь в памяти людской беззащитен поэт: от зависти тайной и злобы открытой, от ядовитой клеветы друзей...

Год двадцать шестой. Январь или февраль?

Приехал в Ленинград мой двоюродный брат Валентин Иванович Вольпин⁴². Привез подарок: недавно вышедшие из печати три тома «Собрания сочинений» Есенина (напомню: четвертый том первоначальным планом не был предусмотрен, и самая мысль о нем возникла лишь после смерти поэта).

Печальный дар! Но очень желанный⁴³.

Время шло. Я давно снова живу постоянно в Москве, на Самотеке. Год тридцать девятый (или сороковой?).

Как-то иду по Самотечному бульвару, и навстречу мне Анатолий Борисович Мариенгоф. Он горячо жмет мне руку, как дорогой родственнице. Точно в прошлом вовсе не старался, как только мог, оттягивать от меня Есенина.

Говорит:

— Мне очень хотелось бы познакомить наших сыновей. Пусть они растут друзьями. Такими, как мы с Сергеем! Пусть возродят нашу молодость!

Я не возражаю, хоть и не верю в искусственное возрождение молодости, ни в дружбу по заказу. Уговариваемся, когда ему прийти ко мне со своим Кириллом... Однако, ни дружбе, ни даже знакомству сыновей не суждено было завязаться... Через несколько дней я узнала, что Кирилл — ему тогда было лет шестнадцать — покончил с собой. Тем же способом, что и Есенин⁴⁴.

И мне представилось: сын Мариенгофа через долгие годы завершил своей смертью ту длинную череду самоубийств, которой якобы отозвалась Москва на гибель Сергея Есенина. То была переломная полоса. Многие, многие тогда свели счеты с жизнью.

И чуть не каждый, в чем бы ни была причина его самоубийства, считал нужным оставить рядом с предсмертной запиской раскрытый томик Есенина. «Никого не винить»? Или, скажете, «некого винить»? Ан есть кого: вините поэта!

На этом я позволю себе — без послесловий — оборвать мои записи. Как самочинно оборвал свою жизнь Сергей Есенин⁴⁵.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Южный ветер

Февральский ветер южный,
Ты саднишь сердце мне,
Как память прежней дружбы,
Как свет в чужом окне.

Скрипел под килем гравий,
Горели три огня.
Закат лениво грабил
Руду слепого дня.

«Прощай, Надия, — кормчий
Неласково сказал, —
В солончаковой почве
Не прорастет лоза».

И он ушел — по ветру
То имя расплескать,
Что мне дала в примету,
Любя и веря, мать.

Бывают страшны штормы,
Бывает зыбь страшна,
Но пыткой самой черной
Измает тишина.

Тот искус был иль не был?
Простор два года пуст,
Два года пусто небо,
А воздух сух и густ.

Ты все ж вернулся, блудный!
Что счастьем назовут?
...На дальнем рейде судно
Тонуло, сев на ют.

И я сквозь сумрак древний
Успела прочитать
То имя на форштевне,
Что нарекла мне мать.

Не взмах руки горячей,
Не лоб высокий твой:
Как великан незрячий,
На берег шел прибор.

Пришел. Чужой, недужный,
Залег меж серых скал.
Он шею гнул натужно,
Он плечи разминал.

С набухшей гривы молча
Он пену отжинал...
А ночь над миром волчьим
Склонилась, как жена.

И память прежней дружбы
Томила сердце мне,
Как в стужу ветер южный,
Как свет в чужом окне⁴⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Галина Бениславская (1897-1926), близкий друг Есенина, работала в газ. «Беднота». Покончила с собой у могилы Есенина.

² Софья Виноградская (1901-1964), автор воспоминаний «Как жил Сергей Есенин» (М., 1926).

³ Евгения Лившиц (1901-1961) — познакомилась с Есениным в Харькове в 1920 (см., напр., Gordon McVay, *Esenin: A Life*. Ann Arbor, 1976. P.135-136).

⁴ СОПО — Союз поэтов.

⁵ Аделина Адалис (1900-1969), поэтесса.

⁶ Федор Жиц (род. 1892), автор статей, посвященных Есенину.

⁷ Строки из стихотворения «Я усталым таким еще не был» (1923?, впервые опубликовано в 1924).

⁸ Строка из стихотворения «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...» (1923).

⁹ В 1921 и 1923 Есенин говорил Надежде Вольпин, что ему хотелось бы прожить «еще десять лет» — «больше не хочу».

¹⁰ Строки из стихотворения «Устал я жить в родном краю» (1915-1916).

¹¹ «Стойло Пегаса» находилось на Тверской ул.

¹² «Фетида» (поздняя осень 1923) — одно из любимых стихотворений Надежды Вольпин.

¹³ Иван Грузинов (1893-1942), поэт и критик, имажинист.

¹⁴ Галя — Галина Бениславская (см. прим.1).

¹⁵ Сергей Клычков (1889-1937), поэт, прозаик, друг Есенина. По поводу даты его смерти см.: Е.С. Клычкова. О дате гибели поэта Сергея Клычкова. // Новый мир. 1988, №11. С.266.

¹⁶ Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» (1660-е годы) находится в Эрмитаже в Ленинграде.

¹⁷ Надежда Вольпин вспоминает, что в ноябре 1921 Есенин признавался ей, что боится ее: «Знаю: я могу раскататься к тебе большою страстью!» Она делает из этого вывод, что Есенин боялся «счастья».

Сергей Коненков (1874-1971) — скульптор.

В этом месте воспоминаний Н.Д. Вольпин следуют две главы: «Божественный напиток» и «Есенин о Дункан, о ее танце», которые выпущены нами при публикации, ибо они были напечатаны в журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1987, №4. С.173.

¹⁸ Вадим Шершеневич (1893-1942), поэт и теоретик имажинизма.

¹⁹ Анатолий Мариенгоф (1897-1962), поэт и теоретик имажинизма, ближайший друг Есенина в 1919-1921.

²⁰ Об этом нашумевшем эпизоде, произошедшем 20 ноября 1923 г., см., напр.: Gordon McVay. Op. cit. P.232-235.

²¹ Зинаида Райх (1894-1939), жена Есенина с 1917 по 1921.

²² Айседора Дункан (1877-1927) стала второй женой Есенина в мае 1922.

²³ Алексей Ганин (1893-1925), крестьянский поэт.

²⁴ Петр Орешин (1887-1938), крестьянский поэт и прозаик.

²⁵ 17 декабря 1923 г. Есенин лег в санаторий для нервнобольных на Б.Полянке, 52 — см. об этом: В.Белоусов. Сергей Есенин. Литературная хроника. М., 1970. Ч.2. С.99, 283.

²⁶ Трое детей Есенина: Юрий Изряднов (1914-1938), и дети от брака с Зинаидой Райх: Татьяна (род. 1918) и Константин (1920-1986).

²⁷ На рукописи стихотворения «Вижу сон. Дорога черная» стоит дата: 2 июля 1925 г. (Государственный Литературный Музей, 335). Стихотворение впервые опубликовано в газ. «Бакинский рабочий» (Баку, 20 июля 1925 г.).

Отрывки из главы «На Большой Полянке» опубликованы в журн. «Звезда Востока» (1987, №4. С.173-174).

²⁸ Двенадцатая строка стихотворения «Как руками меткими».

²⁹ В.И. Ленин умер 21 января 1924 г.

³⁰ Анна Назарова — подруга Бениславской.

³¹ Сусанна Мар (1900-1965), поэтесса и переводчик.

³² Анна Берзина (или Берзинь) (1897-1961) работала в то время в Госиздате.

³³ Пимен Карпов (1884 или 1887-1963).

³⁴ Александр Сахаров (1894-1952), издательский работник, друг Есенина.

³⁵ Здесь следуют две главы: «Ленинградские имажинисты» и «В Зале Лассалья», которые опущены, так как почти целиком напечатаны в журн. «Звезда Востока» (1987. №4. С.175-176).

³⁶ Надежда Вольпин помогала Валентину Стеничу (Сметанич, 1898-1939) в работе над переводом. См.: Звезда Востока. 1987. №4. С.175.

³⁷ То есть, стихотворение Есенина «Письмо матери» (1924) — см. об этом: Звезда Востока. 1987. №4. С.175.

³⁸ Первые строки стихотворения «Песня», опубликованного в мае 1925 г., но написанного, очевидно, в апреле.

³⁹ Александр Сергеевич Есенин-Вольпин родился 12 мая 1924 г.

⁴⁰ См. напр.: Gordon McVay. Op. cit. P.238-239.

⁴¹ Два первых абзаца главы «По ту сторону» опубликованы в: Звезда Востока. 1987. №4. С.176.

⁴² Валентин Вольпин (1891-1956), поэт и переводчик, издательский работник.

⁴³ Три последних абзаца — опубликованы в: Звезда Востока. 1987. №4. С.176.

⁴⁴ Кирилл Мариенгоф повесился 4 марта 1940. (Родился 10 июля 1923). См.: The Modern Language Review, June 1972, v.67, n.3. P.600.

⁴⁵ Последний абзац опубликован в: Звезда Востока. 1987. №4. С.176.

⁴⁶ Судя по одной машинописной копии, стихотворение «Южный ветер» было написано в «Москве, Ашхабаде, Москве. 1940-1953». По другой — стихотворение датировано: «1942...1953».

***У ЦЕРКОВНЫХ
СТЕН***

Л.П. Карсавин
ЦЕРКОВЬ И СЕКТЫ

В первые века своего существования церкви приходилось определять свое учение и свою жизнь, а тем самым определять и себя самое, как организованное единство, в борьбе с другими течениями поздней античной религиозности. Из видимого хаоса противоречивых воззрений и настроений выделялось христианство. Или еще иначе — погружаясь в мир античной религиозности, христианство вбирало его в себя и в себе преображало, находило себя самого в том, что смутно и противоречиво выдвигалось другими течениями. Проповеданное простыми и неучеными рыбаками учение Христа раскрывало себя, как подлинное основание мистических, моральных и догматических чаяний и обнаружений эпохи. Видимо — оно синтезировало их, и *казалось*, что оно сливается с ними, испытывая их влияние. Наряду с этим процессом раскрытия христианства, как обетования веков, рядом с ним и в борьбе с ним развивались уже определившие себя, как некоторое своеобразие, процессы. За обладание миром боролся, обещая искупление и оправдание, мифраизм, культ «Непобедимого Солнца»; моральные проблемы и мистико-пантеистические устремления искали себе разрешения в стоической философии; философско-религиозное постижение мира выражалось в гениальном синтезе новоплатоников, обосновывавших мистику аскетизма и теургии. Элементы эллинской философии и восточной религиозности сливались не только в новоплатонизме и христианстве, но и в общем враге их — гносисе, создавшем красочные и темные системы Василида и Валентина. А дуалистическое миропонимание сильнее, чем ново-

Публикуется по автографу, хранящемуся в Архиве АН СССР. Ф.1759. Оп.5. Д.34.

платонизм и христианство, вслед за гностическими системами обусловило собою религиозную мифологию и мораль манихейства, пронесшегося по всему античному миру.

В таких условиях приходилось определять свою догму, а ею и свою организацию христианской церкви. Но, когда ясны стали очертания церкви, как единства в знании-вере, жизни и культуре, когда она отчетливо провела грань между собою и лже-церквями и лже-учениями, развитие догмы только что еще началось, и внутри ее обнаружился тот же процесс, который ранее совершался в еще не выделившем ее мире. И это тем более, что расширяясь, церковь включала в себя мир в значительной степени внешне, не примиряя и не преображая, а лишь перенося внутрь себя его противоречия. Раскрытие учения церкви могло происходить только путем становления и изживания антиномий, и всякое догматическое положение являлось лишь огораживанием неисчерпаемого богатства воззрений от одностороннего и неправильного толкования. Но церковь — это отличительнейший ее признак — единства. Единство учения было в ней связующим моментом и необходимо предполагало единство организации. Поэтому и признание истинным одностороннего учения неизбежно влекло за собою объединение около него верующих и превращение их в своего рода малую церковь или подобие церкви; противопоставление же учения церкви учению группы было не только распадением догматического единства, а и распадением единства организации, т.е. образованием секты. И понятно, что чем острее чувство церковности, тем скорее ересь находит себе внешнее выражение в секте.

Первые века кафолической церкви наполнены борьбою вокруг определения ее основных догм. В столкновении учений и мнений выясняются природа Божества, непостижимого в Нем самом, единство Бога и взаимоотношения между Отцом и Сыном, Логосом и Христом. Эти проблемы ведут к расколам и образованию сект со своими главами, с некоторыми особенностями в культуре и организации. Они внутренне и органически связаны с идеею самой церкви. Если Христос только человек, отличный и отделенный от Логоса-Бога, то и тело Его, церковь, должно быть лишь земным человеческим единством, нет принципиального различия между Ветхим и Новым Заветами, непонятны смысл пришествия Христова и преображение мира. Если же Христос только «модус» или проявление Божества, церковь тоже отделяется от Божественной жизни, оставаясь лишь соединением людей, а не единством их в Боге, и неизбежно такое же уничтожение основной идеи новой религии. Еще очевиднее связь учения с организацией в движениях, определяемых пониманием природы самой церкви. С поло-

вины II в. появляется в Малой Азии, а потом переносится и на Запад, монтанизм, устами своих пророков и пророчиц заявляющий о близости второго пришествия Христова и зовущий христиан назад к церкви святых, руководимой экстатиками. Надежды на близкий конец мира не оправдались, и монтанизм превратился в особую церковь со своим «Новым Иерусалимом», городком Пепузою, со своим культом, иерархией, во главе которой стояли «патриархи». На Западе, в Африке монтанисты объединились в особую общину около перешедшего на их сторону (ок[оло] 205) Тертуллиана и возвратились в католическую церковь лишь при Августине. Ориген на Востоке и Тертуллиан на Западе завершают своими трудами первый период догматического развития церкви, определяющего основные учения о природе Божества и, в частности, Сына. В дальнейшем все эти вопросы получают более точную и глубокую разработку, в религиозных движениях и ересь Востока: в арианстве, несторианстве, монофизитстве и монофигитстве. Запад стоит в стороне, крепко держась за традиционные формулы, понемногу и в общих чертах усваивая плоды восточного богословия и сталкиваясь с арианством главным образом в лице поселившихся в пределах империи варваров и их «церквей». Это не значит, что догматической жизни на Западе не было. Она только направилась по совершенно иному руслу и сосредоточилась на иных проблемах, именно для западной религиозности и характерных. Уже в обусловленном новоплатоновской философией синтезе Августина на первом месте стоят вопросы морали и организации земной жизни, идея «Града Божьего», вскоре после Августина понимаемая, как идея земной церкви. Еще ярче сказывается конкретность и реальность западного богословствования в ересь и спорах эпохи того же Августина — в донатизме и пелагианстве.

Донатизм, возникший в связи с местными и случайными нестроениями африканской церкви, обнаруживает внутреннее родство с монтанизмом. Он тоже выдвигает идею праведной церкви, ограничивая требование праведности только церковною иерархией и тем заставляя церковь окончательно осознать иерархическую свою природу. «Большая разница, формулирует Августин католическую точку зрения, между апостолом и винопийцей; нет разницы между крещением Христовым, совершаемым апостолом, и крещением Христовым, совершаемым винопийцей». Иначе говоря, благодатная сила иерархии независима от ее морального уровня, чем обоснована возможность существования видимой церкви и деятельности ее в миру.

Как человек может спастись, каким путем может он стяжать

себе Царство Божие? Аскет Пелагий и его ученик Целестий думают, что для спасения необходимы и достаточны личные усилия человека. — Справедливый Бог дает блаженство в награду за достигаемую трудом самого человека праведность. И всякий, думают пелагиане, может напряжением своей воли оправдать и спасти себя; всякий сам определяет будущую свою жизнь, получая награду за совершенное *им* добро, подвергаясь каре за *его* грех. Человеку открыта истина и дан пример и образец во Христе Иисусе. Но если так, то нужна ли благодатная помощь церкви, нужны ли таинства и таинственное воздействие благодати? Нужна ли тогда церковь, как мистическое единство во Христе, спасающее всех сынов своих? И уж, конечно, преувеличено значение первоначального греха: как до грехопадения, так и после него, человек, если захочет, может не грешить. Спасение человека — его личное дело, а Бог лишь праведный Судия и Мздовоздатель. Если же человек по природе своей способен на добро, нет оснований аскетически понимать цель человеческой деятельности, и Юлиан Экланский только доводит пелагианскую идею до конца, отвергая ее исторически-исходный аскетический момент и оправдывая всю человеческую жизнь. Чрезвычайно показательно, что пелагиане не создали своей церкви, а цепко держались за католическую, внутренне покидая ее учение. Им не было нужны в церкви, в ее благодатных силах и культе, так как их религиозный идеал заключается не в преображении мира, а в оправдании его таким, каков он есть, и в личном, индивидуальном спасении.

Резко и односторонне выдвинутое пелагианами понимание религиозной деятельности, как свободной и потому ответственной деятельности человека и только человека, обнаружило мистически-благодатную сторону христианского религиозно-морального учения. Личный опыт и мистическое чутье позволили Августину раскрыть все значение благодати. — Не человек оправдывает и спасает себя, не он, существо относительное и тварное, определяет решения и волю абсолютного Божества. Сам Бог избирает, оправдывает и спасает утратившего в Адаме «возможность не грешить» человека. Бог порождает в нем стремление к Себе, и Бог же дает ему силы осуществить это стремление. Августин исходил из реального ощущения всемогущества благодати и неодолимой силы греха. Он стремился выразить иррациональное — примирить свободу человека, делающую его ответственным за грех, но не обуславливающую воли Бога, со всемогуществом и всеведением Божества. И естественно, что в формулах своих и в пылу полемики с пелагианами, Августин выражал свою мысль резко и односторонне, видимо, уклоняясь в крайность, противополо-

ложную пелагианству. Его учение легко было понять, как учение о предопределении Богом одних к блаженству, других к мучке, как отрицание свободы, а не как непостижимое примирение свободы и необходимости. А при таком понимании могли получиться и действительно в эпоху каролингов — в учении Готшалка, а позже — в протестантизме получились выводы, отрицающие значение благодатной помощи церкви и ее таинств, молитв, добрых дел, самой видимой церкви. Католичество, отвергнув пелагианство, удержалось от крайностей августинизма. Оно признало то, что *хотел* сказать Августин, не то, что иногда говорил он в пылу борьбы, и, ценою внешнего противоречия, неизбежного при стараниях выразить иррациональное, пошло по среднему пути полу-августинанства или полупелагианства. Признав всемогущество благодати и силу первородного греха, католичество вместе с тем признало значение человеческой деятельности, провозгласило и единospасающую благодать и спасение усилиями индивидуальной воли. Таким путем было сохранено и значение видимой благодатно-иерархической церкви.

В IV и V веках западная церковь определяет свою природу. Ее жизнь и деятельность сосредотачивается не в богословствовании о природе Божества, и не в нем главным образом она себя раскрывает. *Католичество* обнаруживает свое тяготение к проблемам земной жизни и прежде всего к проблеме религиозной деятельности. С этим ставят в связи западное монашество, как организующую жизнь силу, и само устройство церкви как земного государства и наследующего Империи политического единства. С этим же связано развитие на Западе теургической деятельности церкви — расцвет ее культа, равно как и творческая роль церкви в создании варварских государств, и более всего — в создании империи каролингов. Конечно, и сношения с Востоком, и еще больше, взаимопереплетенность и органическое единство всех волнующих церковь вопросов неизбежно приводят и к проблемам о природе Божества и определения природы церкви в их разрешении. Миновать эти проблемы невозможно было уже потому, что католичеству пришлось вести долгую борьбу с варварскими арианскими церквами. И в связи с проблемой «Града Божьего» еще при Карле Великом церковь принуждена считаться с адопцианством, т.е. с различием во Христе Христа-Бога и Христа-человека, и решать вопрос об исхождении Духа Святого. Однако не здесь лежит центр тяжести религиозной жизни. В ту же каролингскую эпоху гораздо большим значением обладают иные учения. Франкская церковь взволнована «гибельною догмою» Готшалка, развившего августинизм в учение о двойном предопреде-

лении. Молодые франкские богословы начинают борьбу с «суетвериями», считая за таковые почитание икон и реликвий, т.е. отвергая теургическое значение церкви. Находятся противники мистически-конкретного понимания пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы в таинстве евхаристии.

С IX-X в. началась на Западе философская обработка богословской традиции. Но она не могла породить охватывающей широкие круги ереси, отчасти потому, что у западных богословов сильна верность традиции, отчасти потому, что центр религиозности находился не в богословских, а в моральных проблемах. Незамеченною или почти незамеченною осталась гениальная система Иоанна Скота Эригены (IX в.); местный и школьный характер нашли «ересь» Беренгара Турского, диалектика, отстаивавшего духовное понимание таинства евхаристии, и тритеизм, вытекавший из философских воззрений Росцеллиана (IX в.). Даже осуждение Абеларда (XII в.) вызвано более опасением ереси, чем действительно ересью. Только к концу XII в. и началу XIII-го, когда старое направление схоластики, исходившее из «новоплатоновских» идей, ушло в мистику и противушло новому, аристотелевскому, когда схоластика пришла в соприкосновение с арабскою и иудейскою философией, появились богословско-философские ереси. Но и они приобрели значение и взволновали церковь лишь постольку, поскольку определяли собою морально-мистическую жизнь и сплетались с нею. До этой эпохи религиозность развивалась в организации церкви, в проблеме ее отношения к империи, в расцвете культа и аскетизма.

На почве аскетизма дают плоды сохранные почвою Запада и занесенные на нее с Востока, из Болгарии, семена дуалистических учений, восходящих к манихейству и древнему гносису. Слияние манихейских, гностических и христианских учений уже в IV или V в. привело к созданию секты около двух братьев Павла и Иоанна. Эти «павло-иоаннисты» или *павлиниане* представляли собою в VII в. довольно значительную группу в Коммагенах на Евфрате и еще ранее распространились в Малой Азии. Отсюда в VIII-IX в. много павлиниан было переселено императорами на границы Болгарии и в южную Италию. К распространившемуся в Болгарии и самой Византии павлинианству с X в. присоединяется другое более умеренное дуалистическое течение — мессалианство или евхитство, выросшее из египетского гностицизма и нашедшее приют в византийских монастырях. Под влиянием благоприятных для него условий социальной, политической и национальной борьбы и в связи с элементами дуализма в религиозности болгар павлинианство и мессалианство привели в половине X в. к созданию в

Болгарии названной по имени попа Богомила богомильской «церкви», рядом с которою появилась и вторая, представлявшая собою более крайний дуализм «церковь дреговицкая» (во Фракии). С самого начала своего болгарский дуализм дал много мучеников за веру. Но это не мешало, а скорее содействовало его распространению, как в империи, так и в западной Европе, где он нашел себе чрезвычайно подготовленную религиозную среду.

Богомилы строили свою религиозно-моральную систему и свою жизнь на признании существования в мире двух начал, понимаемых и космически и морально: на признании исконности света и тьмы, добра и зла, благого Бога, сотворившего невидимое, и злого Бога — создавшего видимое и чувственное Сатанаила. Более умеренное направление видело в Сатанаиле старшего сына благого и единого Бога. Этот Сатанаил, возгордившись, отпал от Бога вместе с увлеченными им духами и был у Бога замещен младшим сыном — архангелом Михаилом или Иисусом Христом. Как бы то ни было, создателем видимого мира, «демиургом» является Сатанаил, сотворивший и тело человека, которое он не мог одушевить. Душу в созданное Сатанаилом тело вложил Бог на том условии, чтобы Сатанаил властвовал только над телами. Но Сатанаил обещания своего не исполнил; а, по учению других сект, он даже похитил у Бога частицу Его — человеческую душу и заключил ее в сотворенную им плоть. Во всяком случае, он, вступив в плотскую связь с Евою, родил Каина и его злую сестру Каломену, давших начало вечно враждующему с детьми Божьими поколению. Сатанаил, бог ветхого завета, властвовал над землей, насылал бедствия, возвещал закон Моисеев, пока несчастья людей не тронули сердца Небесного Отца. Благой Бог ниспослал на землю для спасения людей своего младшего сына — Слово-Христа, который *видимо* и призрачно родился от Девы, *видимо* и призрачно жил, страдал и умер на кресте. Христос победил Сатанаила и отнял у него его божественность, т.е. слог «ил», заключил его, уже Сатану, а не Сатанаила, в ад, и вознесся в лоно Небесного Своего Отца. Освобожденные от власти злого Бога люди могут сами побороть оставшееся в мире зло, освободить частицы Божества, причем некоторыми сектами допускалась возможность очищения в ряде последовательных воплощений. Правила и идеал жизни естественно вытекают из основных положений системы. — Зло заключено в материи, в частности — в теле. Следовательно, средством победы над злом и освобождения является борьба с материей и плотью: изнурения тела постами и аскетическими упражнениями, воздержание от мясной пищи, укрепляющей тело, отказ от плотских сношений и брака. Все земное,

всякое мирское чувство — зло. И поэтому отрекающийся от мира должен быть скорбным и мрачным, печальным и молчаливым, кротким как овцы. Труд неизбежен, но он должен быть исключительно средством для получения строго необходимого: лучше жить, как птицы небесные, и питаться дарами, милостынями верующих. Хозяйственная и социальная жизнь для богомилов не существует. Государство кажется им созданием Сатанаила. Они отрицают войну, подати, клятву. Понятно, что, гордые своею святою жизнью, они с презрением относятся к церкви, к ее храмам, культу и клиру, считая себя истинною церковью. А они, действительно, слагаются в церковь. Отрицая книги Ветхого Завета, они ценят Новый, особенно же евангелие от Иоанна. Они читают «Молитву Господню» и хранят унаследованные от раннего христианства обряды. Отрицая церковные таинства, богомилы вводят свои, среди которых первое место занимает «духовное крещение», «усовершение» (τελειωσις) или «утешение» (consolamentum) — таинство, делающее человека «катаром» или «чистым», «совершенным» и заключающееся в возложении на главу принимаемого в церковь рук или евангелия от Иоанна. «Совершенные» представляют собою богомильскую иерархию, в которой три степени: епископская, пресвитерская и диаконская; «верующие» вполне соответствуют мирянам с той только разницей, что строгое религиозно-моральное учение катарства не допускало спасения в миру и рассматривало «верующих» как кандидатов в «совершенные»: только «утешение» спасает человека.

В XI в. обнаруживаются первые достоверные признаки катаров на Западе. Видимо из Болгарии занесено оно было в Италию, откуда распространилось с чрезвычайно быстротою по Франции, Фландрии и Германии, собрав остатки западного манихейства. Около половины XII в. существует уже целый ряд катарских церквей: одна в Италии, представляющая умеренно-дуалистическое течение и руководимая «епископом Марком», другие во Франции и Фландрии. В 1167 г. на соборе катаров прибывшему из Болгарии «папе Никите» удается привлечь часть катарских церквей на сторону крайнего дуализма «дреговицкого» направления. В XII и XIII в. катарство достигает своего расцвета. Оно распадается на враждующие друг с другом «церкви», из которых каждая обладает особою иерархией и хранит свое учение, развиваемое катарами, а среди них и учениками Парижского университета. Все классы населения захвачены ересью, которая срастается с политическими и социальными движениями. К катарам примыкает феодальная знать, враждующая с церковью, примыкает часть гибеллинской знати в Италии, сильная поддержкою императоров.

Проповедь «совершенных» увлекает низы городского населения — недаром в южной Франции катаров называли «tisserandes» — и проникает в глухие и темные деревушки. Там, где возможно, как в Провансе, в Милане, еретики выступают на публичных диспутах с католиками; где открытая пропаганда опасна — «совершенные» распространяют свое учение на тайных собраниях и путем случайных бесед. Только в XIV в. после опустошившего Прованс альбигойского крестового похода (1208-1218), беспощадной деятельности инквизиционных судилищ и расцвета нищенствующих орденов, особенно — доминиканского, удалось церкви раздавить катаризм. Причин успеха катаризма на Западе следует искать в религиозности самого католичества. Церковь боролась за обладание миром и в то же самое время, вбирая в себя мир и омиращаясь, противопоставляла миру свой, отрицающий земное идеал. Составлявшее силу церкви аскетическое движение, расцветающее в X и XI вв., смотрело на мир как на царство дьявола, вскрывало демоническую природу светской власти и государства, отрицало хозяйственную жизнь в ее существенных проявлениях — в торговле и стремлении к обогащению, признавало плоть орудием темных сил, а брак — уступкою человеческой мерзости. Борьба папства с империей, борьба феодального мира воспринималась религиозно: как борьба Бога с его врагами. Аскетическое понимание всей жизни привело к тому, что в христианском сознании дьявол превратился почти что в злого Бога. Ведь для победы над этим мятежником Бог принужден был пожертвовать Собою — своим собственным Сыном! Таким образом в религиозном сознании даны были все необходимые элементы дуализма; и грань между умеренным катарством и католичеством часто казалась неуловимой; тем более, что и для католиков в действиях бесов и дьявола моральное зло сливалось в одно целое со злом космическим.

Односторонне выдвигая аскетически-дуалистический идеал, руководители церкви сами выпаживали почву для семян катаризма. Они в борьбе с омищением клира указывали на евангельский идеал, на жизнь учеников Христа и церковь времен апостольских. Даже папы, забыв об осуждении донатизма, ставили действительность таинств в зависимость от морального состояния совершающих их и этим увлекали массы на борьбу с «симионитами» и «николаитами». И темные, но одушевленные религиозным идеалом верующие невольно задавали себе вопрос: — Кто же истинные ученики Христа, женатые ли и жадные клирики или бледные, изможденные и кроткие катары? Кто прав в признании себя истинной церковью, чьи таинства действительнее? — Последствий катарского учения не видели, не видели потому, что мораль катаров

видимо мало чем отличалась от аскетических идеалов церкви. А катаризм так же, как и односторонний аскетизм, в последовательном своем развитии разрушал идею земной церкви и идеал преображения мира, которое не может заключаться в отрицании земного. С помощью земного церковь, смутная тяга к которой не умирала в сознании вскормленных ею и впавших «верующим катарам», и могла несмотря на все свое омирщение и даже в силу его преодолеть ересь, преодолеть, но пока еще не претворить в высшем синтезе. Жажда истинной, т.е. живущей по-апостольски, но пекущейся о земных богатствах и мирской власти церкви вызывала и печальные жалобы Бернарда Клервосского и пламенное желание обновить церковь, охватившее его современника Арнольдо из Брешии. А попытка обновить церковь естественно нашла себе союзников в тех классах городского населения, которые тяготились экономическим, социальным и политическим гнетом церкви. Еще в XI в. Григорий VII нашел себе союзников на борьбу с миланским клиром в лице вальвассоров и в низах миланского населения. Теперь, в XII в., Арнольдо мог сплести воедино идею реформы церкви и идею римской революции, стремившейся к уничтожению светской власти пап и восстановлению свободного Рима. Замысел Арнольдо разбился о союз папства с Фридрихом Барбароссой, и сам Арнольдо пал жертвою поднятой им революции. Его ученики рассеялись по Италии, не зная: можно ли признавать таинства римской церкви, надеясь — что скоро она обратится на путь истины. Вероятно, иные из них нашли истинную церковь у катаров; другие дождались пророчеств калабрийского аббата Джоаккино дель Фьоре (ум. 1202) о том, что скоро «Царство Сына», сменившее «Царство Отца», само сменится «Царством Духа», когда не нужен будет клир и на всех в избытке изольется благодать. Третьи примкнули к вальденсам или вернулись в лоно католичества.

Не всех вставший перед религиозным сознанием XII в. идеал жизни по евангелию и подражания Христу и апостолам толкнул в объятия катаров или призвал к насильственной реформе церкви. Многие миряне, вчитываясь или вслушиваясь в слова Евангелия, мечтали о соблюдении «советов Христовых», завета «совершенства», бросали богатства, семьи и мир и делались новыми учениками Христа. Многие относили и к себе слова, сказанные апостолам, начинали проповедовать покаяние, благовествовать и превращались в своем сознании, а частью и в сознании мирян в апостолов. В 1176 г. богатый лионский купец Вальдес раздал свое имущество нищим и стал «жить по евангельскому учению и буквально, в совершенстве его сохранять». Он «призывал к покаянию» и евангельской жизни, и около него собрались мужчины и

женщины, последовавшие за ним и с ним по стопам Христа. Вальдес и его ученики считали себя и хотели быть верными сынами католической церкви. Но они хотели быть и апостолами; полуграмотные начетчики пытались проповедовать Евангелие, не удержавшись от обличения нравов клира. «Лионские бедняки», тесные недоброжелательно настроенным к ним клиром, явились в Рим на Латеранский собор 1179 г., ходатайствуя о разрешении им проповедовать. Но церковь не могла допустить возвращения к первым векам христианства и предоставить учительство всем желающим. Это значило бы подвергать опасности лже-толкований развитую догматику и открывать дорогу ереси. Папа проповеди вальденсам не разрешил, а они, нарушив запрет и «став послушниками», естественно придвинулись к еретикам и недовольным — к катарам и арнольдистам. Таким образом братство мирян превратилось в секту, отлученную от церкви в 1184 г.

Отлучение и борьба с клиром содействовали самоопределению вальденства, распавшегося на две группы: «лионских братьев» (или собственно вальденсов) и «ломбардских бедняков». Вальденсы осознали себя, как братство апостолов, и вступили в более тесную связь с тяготевшими к ним мирянами, «верующими». Чувствуя в себе апостолов, они стали присваивать себе и апостольские права — не ограничиваясь проповедью и исповедью, заявили о своем праве совершать евхаристию. В стремлении сохранить евангельское учение во всей его чистоте, они пришли к отрицанию смертной казни, клятвы, лжи, храмов, молитв за усопших и чистилища. Они не отвергали церковь, по крайней мере — за исключением моментов особенно острой борьбы и тяжелых преследований, но многие среди них сомневались в действительности таинств, совершаемых «дурными клириками». Признавая благодатные силы церковной иерархии, вальденсы считали и себя обладателями благодатного права совершать таинства, данного Христом своим апостолам. Но они были настолько чужды отрицанию самой идеи иерархической церкви, что воссоздали в среде своего братства три необходимые ступени иерархии: епископа, пресвитеров и диакона. И при этом у вальденсов духовный сан был связан с обрядом поставления; а само право совершать таинства еще в XIII в. они начали обосновывать на начале преемства чрез рукоположение, в конце концов с помощью легенды возведя свою иерархию к апостольской. «Верующие» вальденсов в значительной степени не переставали быть сынами католической церкви. Сами вальденсы — организованное братство — заняли странное положение отвергаемой церковью, но не отвечающей в целом церкви самочинной иерархии. Эта иерархия в проповеднической деятель-

ности, в совершении исповеди, в таинстве рукоположения, времен-но и частично в совершении евхаристии конкурировала с католической, предоставляя большинство таинств католическому клиру. Вальденсы хотели стать обновленным «апостольским» клиром — «здоровую» и «святою частью» единой церкви. И в этом, в неустранимой тяге к матери церкви заключалась слабость их положения и неизбежность их гибели, как секты.

Катарство явилось выражением односторонне развитого аскетического начала, в пределе своем отрицающего мир и отказывающегося от его преображения: не праведная жизнь в миру спасает человека, а «утешение», которое мистически закрепляет полный отказ от мира и перед которым ничтожны и несущественны различия праведника и грешника. В новом понимании аскетического идеала, как идеала апостольского, уже заключено преодоление одностороннего мироотрицания: апостольская деятельность мыслима лишь в миру и для мира. С другой стороны, апостольский идеал, призывая к совершенству, уже не считал апостольскую жизнь единственным путем спасения, а допускал для «верующих» или мирян среднюю жизнь, умеренный мирской идеал. Так было в вальденстве, так было и в церкви, в которой родились сами вальденсы и возникли подобные им движения. Вальденство как ересь ставило перед церковью две проблемы. — Во-первых, необходимо было закрепить и освятить апостольский идеал для всех стремящихся к «совершенству» и неудовлетворенных старыми аскетическими формами спасения. Во-вторых, сама церковная иерархия должна была приблизиться к апостольской жизни и преодолеть крайнее свое омирщение. Но пребывая в миру, церковь не могла сделать всех своих клириков апостолами, а главное — она не могла, не переставая быть иерархической, обусловить апостольством свою благодатную силу. Подобное решение, не приемлемое и практически и догматически (как донатизм), лишило бы церковь важных средств воздействия на мир, разорвало бы ее эмпирически необходимую органическую связь с ним. Выход был найден в том, что церковь признала и сделала своим орденом апостольское братство Франциска Ассизского, а вслед за ним и другие нищенствующие ордена. Так освящен был новый идеал и обновлен клир, пополненный новыми монахами, из среды которых поднялся ряд епископов и пап. Параллельно этому был освящен и мирской идеал путем признания и создания тяготевших к новым орденам братств мирян, так называемых «терциариев». Однако в глазах ревнителей апостольского идеала церковь все еще вызвала сомнения, как церковь омирщившаяся. Неизбежно отступали от своего первоначального идеала и нищен-

ствующие ордена. В среде францисканцев в преемственной связи с верными братьями Франциска к половине XIII в. возникает движение «духовных» братьев «спиритуалов», часть которых увлекается апокалиптическими идеями аббата Джоаккино и тех, кто под его именем распространял новые пророчества о близком конце мира и указывал на падение церкви. В 1260 г. Сегарелли из Пармы основывает братство апостолов. Попытка папы и иерархии задавить возникающее движение приводит к тому, что «апостолы» обрушиваются на омирщившуюся церковь и начинают предсказывать неминуемую и близкую гибель папства. В 1300 г. Сегарелли сожжен, но во главе «апостолов» появляется Дольчино, вносящий в идеологию движения учение Джоаккино дель Фьоре. — Миновали три эпохи мировой истории: Ветхий Завет, время от рождения Христа до получившего от Константина в дар земные владения папы Сильвестра и время от Сильвестра до начала нового и последнего периода, когда мир погибнет. Эта гибель близка. Надо отвергнуть все земные блага и вернуться к евангельской жизни. Внешние законы уже изменены — их место должен занять свободный союз любви, непримиримый с браком и собственностью. Не довольствуясь проповедью и рассылкой своих посланий, Дольчино пытается организовать христианскую коммуну. Считая, что с обращающейся к помощи костров и инквизиции церковью надо бороться оружием, он в 1304 г. начинает с нею настоящую войну, но, раздавленный превосходящими силами врагов, в 1307 кончает свою жизнь на костре.

Борьба с омирщением церкви, переходящая в отрицание иерархической церкви, зарождается и на иной почве — в связи с защитой прав светского государства и с развитием теорий государственной власти. Эти теории неизбежно и необходимо применяются и к церкви, уподобившейся государству и старавшейся занять его место. Внутри самой церкви коллегия кардиналов думает об ограничении папской власти и, следовательно, об установлении аристократии. Потрясая церковь в конце XIV в. великая схизма выдвигает значение соборов, на которых видные богословы и профессора Парижского университета в связи с реформой церкви и папства выставляют учения о вселенском соборе, как высшей инстанции, и пытаются вернуть церковь ко временам соборно-епископальной теории. Вильгельм Оккам и Марсилиус Падуанский обосновывают учение о церкви, как о сообществе верующих, выразителем воли которых должен служить вселенский собор, а основой церковного учения признают Писание. В Англии Уиклеф (ум. 1384) требует подчинения духовной юрисдикции светской и отказа церкви от собственности. И для него основой учения и

церковного строя является «Закон Божий» или Писание, обязательное и для соборов и для папы. Истинная церковь состоит из predetermined ко спасению избранных, что неизбежно должно привести к учению о ее невидимости. Смертный грех исключает из церкви и делает человека недостойным владения собственностью, а клирика — неспособным совершать таинства. И если папское отлучение произнесено не за смертный грех, в этом отлучении силы нет. Глава церкви не папа, а Христос, к которому и апеллирует Уиклеф от суда папы. Вообще нет необходимости в существовании видимого главы церкви: первые триста лет христианство существовало, как утверждает Уиклеф, без папства. Уиклеф развивает широкую пропаганду своих идей. Он переводит Библию, на основе ее пересматривает догмы церкви, выдвигая новое учение об евхаристии. Он рассылает по стране «бедных священников», распространяющих его учения. В 1359 г. приверженцы Уиклефа подают в парламент петицию о реформе английской церкви, требуя уничтожения светских ее владений, отмены безбрачия духовенства и литургии. — Разложение идеи церкви приводит и к разложению ее культа и учений.

В конце XIV в. сочинения Уиклефа, несмотря на осуждение их в Англии, приобрели большое значение в молодом Пражском университете. И когда архиепископ потребовал выполнения папской буллы, предписывающей сожжение их, против этого протестовали университетские профессора во главе со своим ректором Яном Гусом (р. 1369), отлученным за чрезмерно энергичную защиту Уиклефа. В Праге идеи Уиклефа падали на исключительно благоприятную почву. С половины XIV в. проповедники обличали павшие нравы клириков и мирян и звали к аскетической жизни. Великая схизма поставила перед Матвеем из Янова проблему различия между видимой и невидимой церковью и задачу обновления видимой. Когда в 1412 г. в Праге появилась булла об индульгенциях, целью которой было извлечение доходов для организации папством крестового похода против короля Неаполитанского, Ян Гус, тогда уже известный проповедник, открыто выступил против права папы выпускать индульгенции вообще. Сам Гус, явившийся на Констанцкий собор, был осужден за приверженность к ереси Уиклефа, часть учений которого он развивал в своих проповедях и сочинениях, и сожжен после неудачных попыток добиться от него «отречения» от заблуждений. — «От каких заблуждений должен отречься я, не признающий за собою никаких? Бог мне свидетель — никогда не учил я и не проповедовал о том, в чем обвиняли меня лжесвидетели. Стремился я в проповедях и в сочинениях моих отвращать людей от греха. В этой-то

истине, проповеданной мною в согласии с евангелием Христовым и толкованием святых учителей, радостно готов я умереть сегодня» (1415). Но гибель Гуса только усилила вынесшее его движение, в котором религиозные мотивы слились с национально-чешскими и социальными. На пражском сейме чешские магнаты заявили протест против сожжения Гуса и апеллировали на собор к папе. Вместе с тем они высказали свою готовность «повиноваться папе и епископам лишь настолько, насколько повеления их согласны со Свящ[енным] Писанием». Владетельная знать, требуя причащения под обоими видами и для мирян, решила допустить свободу проповеди в своих землях. Параллельно этому движению развернулось другое, более демократическое, и в идеалах своих более крайнее. Гуситство в 1419 г. захватило в свои руки верховную власть, но только для того, чтобы ярче обнаружить свои внутренние разногласия. Умеренное направление, представленное знатью, горожанами Праги и профессорами университета, добивалось на основе Писания причащения под обоими видами или «чаши» для мирян, борьбы со смертными грехами, в число которых включены были и пьянство и ростовщичество, секуляризации имуществ церкви и свободы проповеди. «Ревнители слова Божьего» или «табориты» присоединили к требованиям «чашеников» еще ряд новых. Отвергая все, что не подтверждается Писанием, табориты не признавали католических учений об евхаристии, заступничестве святых, чистилище. Они стремились к упрощению культа и к установлению избрания епископов священниками. Часть таборитов ждала близкого конца мира. Другие пытались осуществить в земной жизни начала евангельской жизни, понимаемой, как коммунистическая. Третьи верили, что вернуться в состояние райской безгрешности, когда нет над человеком никакого закона. Гуситы могли подавить внутри себя крайние течения и одиннадцать лет с успехом противостоять войскам желавшего возвратить себе Чехию Сигизмунда. Но «компактаты» 1433 г., отделив чашеников, которым Базельский собор сделал ряд несущественных и временных уступок, от таборитов, подорвали силу движения. Чашеники перешли на сторону церкви и короля. Часть таборитов примкнула к ним; воинственные толпы, предводимые Яном Жижкою и Прокопами, были разгромлены, а остатки таборитства переродились в общины «чешских» и «моравских братьев», потом примкнувших к протестантству.

Так вслед за успехами церкви в основной ее цели — приобщении к католицизму мира, этот слившийся с церковью и омирщивший ее мир внес в нее свои цели и стремления, грозя окончательно разрушить иерархическую церковь. Религиозное, слившись с

мирским — с политическими, социальными и экономическими течениями, в них растворялось, колебались догмы, культ и мораль. Но в этих колебаниях осознавались их основания, обретаемые уже не церковью, а мирянами. И те же искания основ религиозной жизни мы наблюдаем в еретической мистике, приводящей к подобному же разложению церковного учения и церковной организации.

Теоретическая мистика нашла себе приют в схоластическом богословии, на заре которого стоит Иоанн Скот Эригена. Платоновски-августиновское направление стремится к построению системы мира, везде усматривает Божественное и скользит по грани пантеизма. В XIII в. вместе с торжеством аристотелизма оно уходит в умозрения и теософию, черпая новые силы в традициях новоплатонизма, у арабских философов и в учениях Каббалы. Мистическая жизнь, питая собою мистическое умозрение, никогда не прекращается в монашестве. Мистика оживляет культ, но она же влечет к общению с Божеством. «Общайся со Христом. У Него ищи всяческого блага. Ему открывай все дела твои, и Он дарует тебе спасение». Но нужна ли тогда помощь церкви, нужны ли таинства, если и без них «душа наслаждается созерцанием божественных тайн и утопает в Божестве, как рыба в воде»? Многие мистики считают, что они уже соединены с Богом и не нуждаются в добрых делах, замаливании своих грехов и таинствах церкви. «Совершеннолетние невесты Христовы хотят прямо, без посредников идти к Любви своей». Мистик чувствует и верит, что душа его сливается с Божеством, погружается в Него, обожается и становится Богом. А действия души-Бога, конечно, свободны от внешних норм: обоженный мыслит, и действует, и чувствует, как Бог, ибо он и есть Бог. И это особенно важно в связи с природою мистических переживаний, погружающих мистика в самое глубины жизненной стихии и потому легко вырождающихся в эротику. Неслучайно описания мистического экстаза искони связаны с образами «Песни Песней» и к ее пламенному языку обращается Бернард Клервосский.

Так мистика подрывает идею церкви, обесцвечивает культ и разрушает мораль, освобождая необузданные стихии духа. Но она разрушает и догму. — Мистик в общении с Богом и обладании Им обладает абсолютной Истиной. Здесь ему тоже не нужны посредники и посредничество, и «откровения» по достоверности своей для него выше, чем учения отцов или Свящ[енное] Писание. Только твердое убеждение в истинности традиционного учения или осознание его в мистическом опыте, как единственно истинного и лучшего обнаружения многоликой истины, может пред-

охранить от увлечения индивидуальными откровениями и дать надежный критерий для их оценки. Точно так же необходимо полное преодоление эгоистической самозамкнутости мистика в любви не только к Богу, а и в самозабвенной самоотдаче всему миру, чтобы осознать Божественную свободу, как моральный закон, и увидеть слияние Божества с тварным во всяком акте человека и во всем культе. Именно по этим путям идет ортодоксальная мистика, вдыхающая новую жизнь в церковь, ее иерархию, жизнь и культ. Еретическая мистика останавливается на полдороге и неизбежно ведет к разложению церкви и самоотрицанию.

В XII в. мистическое умозрение определяется аскетической идеей, жаждою обновления церкви и предчувствиями близкого конца мира. Апокалиптические ноты звучат в пророчествах Гильдегарды Бингенской и еще более в религиозных прозрениях Джоаккино дель Фьоре. — Близится «третье царство» — царство Духа Святого, когда люди станут друзьями Божьими, юноши детьми, когда наступит свобода созерцания, ликование сердец и «тишина возлюбленных Христовых». Близка «суббота совершенная и непорочная». И калабрийский аббат, бичуя пороки церкви, пристально всматривается в будущее, когда уже не будет иерархии. К этому будущему устремлено его сердце, охлаждающееся к земной церкви. «Буквальное Евангелие не вечно»; его должно заменить новое и истинное, «Вечное Евангелие». Ученики тайновидца, «пахиты» идут дальше. — «В царстве Духа должно быть отменено все старое и начаться новое». «Евангелие Христа никого не ведет ко спасению». Мечта Иоакима переносится в настоящее. Создается церковь святых, готовящаяся сбросить с себя сгнившую шелуху исторической церкви и пышно расцвести в сияющем царстве Духа. Уже назначают сроки пришествия антихриста, уже подозревают, что он родился в лице Фридриха II или Альфонса Кастильского. Уже Дольчино попытался начать со своими апостолами новую жизнь.

Джоаккино считал диалектику причиной гибели жителей Содома. От диалектики, т.е. от философии, подходит к мистическим проблемам парижский профессор Амальрих или Амори Бенский (ум. ок. 1207), впитавший учения новоплатоников и, вероятно, испытавший влияние творений Эригены. Бог, учили Амальрих и его последователи, амальриканы, — все, а все — Бог. Бог видим лишь в творениях Своих, в Его теофаниях. Бог — бесконечное и недвижимое бытие, осуществляющий Себя во времени Разум, форма всяческого. Он — начало всего, ибо у Него все истекает; и Он же — конец всего, ибо «все вернется в Него и в Нем неизменно успокоится, пребывая, как единое и неизменное неделимое».

В мистическом акте человек теряет свое самосознание и, сливаясь с Богом, становится Богом; и тогда Бог-душа познает Себя-Бога. А Бог троичен. Как Отец, он воплотился в Аврааме; как Сын — во Христе; как Дух — воплощается в нас. И все мы — Христы или «члены тела Христова». Но если человек — Христос, он — безгрешен и свят; а все действия человека — действия Божества. Поэтому нет закона, точнее — свободное воление человека и есть закон; нет внешней морали и человеческих различий блага и зла: «Бог только благ, а не праведен». Бог везде, и «тело Господне находится в остии так же, как и во всяком другом хлебе». С этой точки зрения отпадает весь культ и «курение во храмах фиимама и молитвы святым — идолопоклонство». Однако в своем пантеизме амальриканы непоследовательны, невольно поддаваясь традициям церковности. Они непоследовательны, когда допускают постепенное раскрытие Божества в мире. В чем раскрывается Бог, если мир ему тождествен, если, как учил Давид Динанский, дух и материя одинаково укоренены и едины в Боге, как «первой материи» и (что то же самое) разуме?

Ценой внутреннего противоречия амальриканы выделяют себя из мира и осознают себя церковью. То же самое заметно и у обусловленных в своем происхождении катарами ортлибариев. Они — и в этом к ним примыкают ответившиеся от амальрикан «братья свободного духа» — толкуют проявление лиц Св[ятой] Троицы вне исторических категорий. «Отец — тот, кто вовлекает кого-либо свою проповедь в секту; Сын — тот, кого вовлекают; Дух Святой — содействующий вовлечению и укрепляющий вовлеченного, чтобы остался он в секте». Иисус родился, как простой человек, от Марии, но потом был посвящен и стал ортлибарием; а став ортлибарием, Он сделался Сыном Божьим и Богом. Секта или церковь ортлибариев существует с самого начала мира. Истина была открыта Адаму, а Адам передал ее ортлибариям, только впоследствии получившим свое наименование от одного из них — Ортлиба. Эта секта пребывает в мире, обладая полнотою Истины, подобно Ноеву Ковчегу на волнах разъяренного моря. И в неизменности истины преодолевается та постепенность раскрытия Божества, о которой говорили амальриканы. Как будто еще дальше идут «братья свободного духа». Они признают себя истинным небесным царством. «Неизменные на девятой скале, они ничему не радуются, и ничто их не смущает». Они утверждают, что «сотворили более, чем Бог». Но у них же мы находим и утверждения, ведущие дальше. — Бог везде, во всякой твари: во вне Его не меньше, чем в остии, «имеющей вкус навоза». «Никто не будет осужден: ни иудей, ни сарацин, ибо по смерти тела дух

возвращается к Богу». «Неученый и безграмотный мирянин, не знающий Писания, но озаренный Божественным вдохновением, больше может сделать своим научением для себя и для других, чем любой ученейший священник». Однако и братья свободного духа представляют из себя секту, являются некоторым подобием церкви. Что объединяет их?

Мистиков объединяет единство учения, отделяющего их от церкви. В них, вопреки их желанию и идеям, живет тяга к единству, поддерживаемая внешними условиями жизни в гонимой секте. Основные идеи рассматриваемых нами течений зарождаются в философской мистике. Но они быстро делаются достоянием широких кругов. К амальриканам примыкают многие клирики, а за ними — миряне и женщины, и одним из «семи апостолов» секты становится какой-то золотых дел мастер Гильом. Ортлибарии и братья свободного духа распространяются в демократических конгрегациях удалившихся от мира женщин, называемых в народе «schwestzones», среди бегинок и бегардов. Рабочие, сапожники, кузнецы и столяры оказываются братьями свободного духа. «В большинстве своем, сообщает нам о братьях их противник, это люди грубые и совершенно безграмотные. Они бродят по миру в своих рясах, прикрывая голову капюшоном». Скрывая их, бегинки устраивают тайные собрания, перебегая из ворот в ворота и знаками давая понять, что пришел «ангел слова Божьего».

Пантеистическая мистика в пределе своего развития приводит чрез обожение всего мира к отрицанию всякого единого учения, всякой церкви и организации. На месте стройного здания церкви водворяется смешение языков, и единство жизни и знания заменяется бесконечно продолжающимся распадом. И тот же яд несет в себе и одинокая мистико-пантеистическая система какого-нибудь мейстера Экхарта, которого лишь непосредственность и традиция уберегают от отрицания таинств, иерархии и традиционной догмы. В мистическом пантеизме немцев, менее, чем романские народы, связанных с церковью и церковностью, учение и жизнь еще индивидуалистичнее. И понятно, что в Германии на почве слияния немецкой мистики с рассмотренными нами выше другими ересеобразующими течениями в XVI в. была сделана попытка создать новую, мирскую церковь, с самых начал своих обреченную на бесконечное дробление и самоизживание во множестве толков и сект. Попытка реформировать католическую церковь быстро превратилась в исход мира из нее и в стремление его своими силами сделать себя церковью, а в этом стремлении изжить самое идею мирской церкви.

ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

Документы из архива Поместного Собора
Православной Российской Церкви, 1917-1918.

Публикация К.Евтуховой

Одним из важнейших событий лета 1917 года явилось открытие 15 августа в Москве Всероссийского Поместного Собора. Торжественные крестные ходы из всех московских церквей слились на Красной площади; обращение митрополита Тихона, будущего патриарха, сопровождалось праздничным богослужением.

Собор был открыт на основании постановления Синода от 5 июля 1917 г., с согласия Временного правительства. В то время, когда принималось решение о созыве Собора, обер-прокурором Синода был В.Н. Львов; ко времени открытия Собора обер-прокурором стал А.В. Карташев, в прошлом председатель религиозно-философских обществ, а позднее, в парижской эмиграции, автор ряда трудов по истории церкви и по церковным вопросам. Заседания Собора проходили в Московском Епархиальном доме в Лиховом переулке.

Собор был созван впервые со времени учреждения Петром I коллегияльной системы, частью которой являлся Государственный Синод; это событие означало, таким образом, существенное изменение в организации верховного церковного управления. Если раньше управление Церковью целиком находилось в ведении Св.Синода, то теперь административные полномочия разделялись между патриархом, Синодом и Соборным Советом (через который поступали дела на рассмотрение Собора).

Собор имел также большое символическое значение, поскольку допетровские соборы играли не только чисто церковную, но и общегосударственную роль. Нынешний Собор состоял из 541 члена (к концу сессии осталось 427), делился почти поровну на духовенство и мирян, с небольшим перевесом последних. Члены избирались по епархиям прихожанами.

Работа Собора протекала в основном на пленарных заседаниях и в Отделах (всего работало 23 отдела, в их числе отделы о высшем церковном управлении, о епархиальном управлении, о церковном суде и т.д.).

Всего с 15 августа 1917 г. по сентябрь 1918 г. состоялось три сессии (15 августа — 9 декабря 1917, 20 января — 20 /7/ апреля 1918, 20 /7/ июня — 20 /7/ сентября 1918), в 129 деяний. Условия послереволюционного быта постепенно сделали дальнейшее существование невозможным; важнейшим этапом в этом процессе стала конфискация военным штабом Московского Епархиального дома. Материалы пленарных сессий Собора были опубликованы в Деяниях Священного Собора (9 книг).

Собор завершил собой движение церковного обновления, продолжавшееся двадцать лет. На рубеже века наблюдается возрождение интереса к вопросам религии: к 1898 году относится обращение к христианству Д.С. Мережковского, а в 1901 году начались собрания петербургских религиозно-философских обществ, ставивших своей целью сближение интеллигенции с церковью. Множество выдающихся представителей религиозного движения интеллигенции 1900-х годов либо стали членами Собора, либо участвовали в полемике с ним. Выше уже упоминалось, что бывший председатель религиозно-философских обществ А.В. Карташев стал последним Обер-Прокурором Синода, который впоследствии растворился в Соборе. В работе Собора принимали участие выдающийся религиозный философ С.Н. Булгаков, кн. Е.Н. Трубецкой — активный деятель круга религиозно-философских обществ, П.И. Астров — юрист, устроитель «астровских сред» пореволюционного периода (после 1905 г.) и другие. Д.С. Мережковский и Д.В. Философов, с тех пор отошедшие от этого направления, стали объектом ряда полемических выступлений на Соборе.

Другим важным аспектом деятельности Собора стало то, что он реализовал идею церковной реформы, попытки которой впервые проявились после революции 1905 года (к тому времени относится образование Предсоборного Присутствия и опрос епископата по поводу необходимости реформ), а затем возобновились в 1911-1912 гг. Среди представителей духовенства и ученых, работавших еще с того времени в этом направлении и впоследствии принявших участие в Соборе, можно назвать К.М. Агеева, Н.Д. Кузнецова, В.И. Титлинова, И.М. Громогласова. Смена царской власти Временным Правительством устранила многие препятствия к открытию Поместного Собора.

Центральный вопрос, стоявший перед Церковным Собором, касался отношения Церкви к государственной власти, или, вернее, к различным воплощениям этой власти, сменявшим друг друга с необычайной быстротой в течение того года, когда проходили заседания Собора. После 200-летнего периода относительного подчинения Церкви государству, период с февраля по октябрь 1917 г. ознаменовался, с одной стороны, эмансипацией Церкви, но в то же время — вступлением ее в острый конфликт с государством. Конфликт касался конкретных вопросов управления народной жизнью. Наиболее важными точками расхождения с Временным Правительством были вопросы о народном образовании (новая власть подчинила церковные школы Министерству народного просвещения, изъяв их, таким образом, из ведения духовенства, которому они были возвращены во время контрреформ 1880-х годов) и о церковном браке (до этого

времени институт брака управлялся исключительно церковными, а не гражданскими законами).

Несмотря на эти конфликты, Церковь, следуя традиции византийской симфонии и порядка, сложившегося на протяжении русской истории, не только оставалась в хороших отношениях с государством, но считала себя неразрывно с ним связанной. Интересным образом, провозглашение полной независимости церковной власти от светской и самоутверждение Церкви как самостоятельной институции произошло только в тот момент, когда любое сосуществование с наличной государственной властью стало невозможным. Это случилось даже не в октябре 1917 г. (момент восстановления патриаршества), а вслед за декретами нового правительства о свободе совести и об отделении Церкви от государства, т.е. в январе 1918 г. Следует также отметить, что, по всей вероятности, разгон большевиками Учредительного Собрания сыграл громадную роль в позиции Собора, ибо в своей деятельности он в очень сильной степени ориентировался на созыв Учредительного Собрания и рассчитывал на сотрудничество с ним.

Публикуемые документы представляют собой непосредственную реакцию Собора на декреты нового правительства; они наглядно иллюстрируют резкость ответа Церкви на текущие события. В воззвании Собора по поводу декрета о свободе совести и в постановлении Собора по поводу декрета об отделении Церкви от государства (№3 и 4 в данной публикации) проявилась бескомпромиссность церковной позиции по отношению к постановлениям большевиков. В первом из этих документов Церковь открыто и активно призывает русский народ не следовать государственным постановлениям. Тем самым, Церковь занимает позицию открытой конфронтации с государством, ставя каждого человека перед выбором между светской и духовной властью. В своем постановлении (№4) Собор более формальным образом заявляет о своем неподчинении и несовместимости с правительством. Документ №2 (доклад по поводу декретов гражданской власти) отражает один из важнейших конкретных вопросов, по которым Церковь выступала против государственных декретов. Он как бы завершает собой полемику по вопросу о правовом статусе брака, который в значительной степени занимал внимание образованного общества и церковных деятелей в течение предыдущих двадцати лет.

Все эти материалы публикуются впервые. Мы присоединяем к публикации декрет Совнаркома о свободе совести (№1), с тем чтобы более выпукло показать всю резкость происшедшего столкновения. Все публикуемые документы взяты из Центрального Государственного Исторического Архива в Ленинграде: ЦГИА. Ф.833. Священный Собор Православной Российской Церкви. Оп.1. Ед.хр. №56. О декрете Совнаркома об отделении церкви от государства, 1918. Л.31-32 (№1); л.9-11 (№2); л.33-34 (№3); л.51-53 (№4).

ДЕКРЕТ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И ЦЕРКОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ

1. Церковь отделяется от государства.

2. В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяются. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью, отделами записи браков и рождений.

9. Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются обще-образовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются об-

щим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных или религиозных обществ, равно как мера принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.

13. Все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявляется народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные специально для богослужбных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Ульянов (Ленин)

Комиссары: Подвойский, Алчасов, Трутовский,
Шлихтер, Прошьян, Менжинский, Шляпников,
Петровский

Управляющий делами Правительства Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Горбунов

Распубликовано в №15-м Газеты Временного Рабочего и
Крестьянского Правительства от 23 января 1918 года.

2

ДОКЛАД КОМИССИИ О МЕРАХ ПО ПОВОДУ ДЕКРЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВЛАСТИ В СОБОРНЫЙ СОВЕТ

В газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства (1917 г. №36 и 37) распубликованы декреты о расторжении браков и о гражданском браке. В этих постановлениях, изданных не только без сношения с церковной властью, но и с полным пренебрежением к требованиям христианской веры, вводится заключение браков без церковного благословения и расторжение даже церковных браков помимо церковной власти. Святая Православная Церковь, в заботах о проникновении всей жизни верующих христианскими началами, всегда строго следила за соблюдением

вступающими в брак чадами своими христианских начал и освещала своим благословением брак, как образ высшего союза Христа с Церковью (Ефес.5, 31-32). Посему заключение только гражданского брака, без церковного благословения, является для Святой Церкви выражением скрытого пренебрежения со стороны брачующихся к таинству брака и недопустимо для верных чад Церкви. Тем более недопустимо расторжение церковного брака чрез местные судебные учреждения, вводимое новым декретом, которым разрешается развод без ограничения какими-либо условиями, даже по желанию лишь одного из супругов. Таким декретом открыто попирается святыня брака, который может лишь в определенных исключительных случаях быть расторгнут церковною властью, но по общему правилу является нерасторжимым, согласно учению Спасителя Нашего (Мат.19, 9). Между тем, расторгнувшие свой брак по этим новым постановлениям получают возможность вступать в новые гражданские браки, заключаемые простой записью в гражданских книгах, причем число вступлений в брак не ограничивается. В заботах о спасении своих чад и о сохранении чистоты христианской веры и жизни по ней, Православная Церковь, в лице Священного Собора Всероссийской Церкви, почитает необходимым разъяснить верным ее чадам, что они в своей христианской жизни не должны руководиться этим декретом, а посему — 1) *запись о браке в гражданских учреждениях*, или так называемый гражданский брак, для верных чад Церкви православной не может заменить церковного брака, не являясь в то же время и препятствием для совершения над ними таинства брака, при соблюдении существующих для сего канонических условий; совершение церковного браковенчания является для православных безусловно обязательным, пренебрегающие же сим церковным таинством подвергаются церковному осуждению; 2) *совершающие расторжение церковного брака простым заявлением у светской власти являются повинны в поругании Таинства брака*; 3) *вступающие на основании такого развода в новые браки являются повинны в многоженстве и прелюбодеянии*; такие браки не только не получают церковного освящения, но составляют тяжкий грех, за который по канонам церковным налагается эпитимия и временное отлучение от святых таинств, даже при условии раскаяния и прекращения незаконного сожительства (87 Прав. 6^о Всел. Соб., 77 Прав. Вас. Вел.).

Ныне чада Православной Церкви предваряются, да не вступают они на этот широкий путь, ведущий к погибели, но да памятуя, что они навлекут на себя этим гнев Божий и церковное осуждение.

ВОЗЗВАНИЕ СОБОРА К ПРАВОСЛАВНОМУ НАРОДУ ПО ПОВОДУ ДЕКРЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ

Православные христиане.

От века неслыханное творится у нас на Руси Святой, люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет (закон), названный ими «о свободе совести», а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих.

По этому закону, если он будет приводиться, как местами и приводится уже в исполнение, все храмы Божии с их святым достоянием, могут быть от нас отняты, ризы с чудотворных икон станут снимать, священные сосуды перельют на деньги или обратят во что угодно, колокольный звон тогда смолкнет, святые таинства совершаться не будут, покойники будут зарываться в землю не отпетыми по церковному, как и сделано это в Москве и Петрограде, на кладбища православные понесут хоронить кого угодно. Было ли когда после крещения Руси у нас что-нибудь подобное. Никогда не бывало. Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши теперешние законодатели. Доселе Русь звали Святою, а теперь хотят сделать ее поганою.

И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди безбожные, не русские и не православные. По приказу, подписанному неправославною женщиною, на Святую Александро-Невскую Лавру в Петрограде, как на какой-то вражеский лагерь, наехали вооруженные люди и произвели неслыханное бесчинство и даже убили священника (о. Петра Скипетрова), желавшего вразумить словами обезумевших людей. И совсем захватили бы эту святыню, если бы народ не защитил ее — без оружия только своею грудью, воплями и рыданиями.

И по другим местам происходит, и наверное, еще будет происходить подобное поругание святыни и попытки ограбить ее, ибо корысть к наживе способна на всякое зло.

Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, объединяйтесь все — и мужчины и женщины и старые и малые, составляйте союзы для защиты заветных святынь. Эти святыни — ваше достояние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество Богу. Священнослужители при них только духовная стража, которой

святыня эта вверена на хранение. Но пришло время, когда и вы, православные, должны обратиться в неусыпных ее стражей и защитников. Ибо «правители» народные хотят отнять у православного народа это Божие достояние, даже не спрашивая вас, как вы к этому относитесь. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли Русской — храмы Божии, не допустите перейти им в дерзкие и нечистые руки неверующих, не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству. Если бы это совершилось, то ведь Русь Святая, православная, обратилась бы в землю антихристову, в пустыню духовную, в которой смерть лучше жизни. Громко заявляйте всем забывшим Бога и совесть и на деле показывайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного святейшего патриарха Тихона. В особом послании он зовет вас последовать за собою, идти на подвиг страдания в защиту святынь, повинуйсь гласу апостола: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и пострадать за Него» (к Филипп. 1-29). Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание.

Мужайся же, Русь Святая, иди на свою Голгофу. С тобою крест святой, оружие непобедимое. На помощь тебе притекут невидимо: Мать Божия, Пресвятая Богородица — Стена Нерушимая, Заступница Усердная рода христианского, умягчающая сердца всех злых людей. С тобою воинства небесные, ревнители славы Божией. С певцом Давидом, сладко-звучно воспевшим красоту селения славы Божией, взывающие: «Господи, ревность о доме Твоем снедает нас» (Псал. 68-10). А Глава Церкви Христос Спаситель вещает каждому из нас: «Буди верен до смерти и дам ти венец живота» (Апокалипсис, 2-10).

4

СОБОРНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

В переживаемые Россией дни скорби и смуты народной со всех концов земли Русской приходят вести о неслыханных насилиях, причиняемых Церкви отдельными общественными организациями и лицами ныне стоящими у власти.

Дело не ограничивается отдельными случаями захвата, кощунства, издевательства над пастырями, их ареста и даже убий-

ства. Лица, власть имеющие, дерзновенно покушаются на самое существование православной церкви. Во исполнение этого сатанинского умысла ныне советом народных комиссаров издан декрет об отделении Церкви от Государства, коим узаконяется открытое гонение как против Церкви Православной, так и против всех религиозных обществ христианских и не христианских. Не гнушаясь обманом, враги Христовы лицемерно надевают на себя личину ревнителей полной религиозной свободы. Приветствуя всякое действительное расширение свободы совести, Собор в то же время указывает, что действием упомянутого декрета свобода Церкви Православной, а равно и свободы всех вообще религиозных союзов и общин, превращается в ничто. Под предлогом «отделения Церкви от Государства» совет народных комиссаров пытается сделать невозможным самое существование церквей, церковных учреждений и духовенства.

Под видом отображения церковных имуществ упомянутый декрет стремится уничтожить самую возможность церковного богочитания и богослужения. Он провозглашает, что «никакие церковно-религиозные общества не имеют права владеть собственностью». «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ являются, согласно декрету, народным достоянием». Тем самым православные храмы и монастырские обители, где покоятся почитаемые всеми православными мощи святых, становятся общей собственностью *всех граждан без различия вероисповедания* — христиан, евреев, магометан и язычников. Самые священные предметы, предназначенные для богослужения, святой крест, святое евангелие, священные сосуды, святые чудотворные иконы поступают в распоряжение государственной власти, которая может либо передать либо не передать эти предметы церквам для пользования.

Пусть же поймет православный народ, что его хотят лишить храмов Божиих с их святынями. Раз уничтожается всякая собственность Церкви, нельзя и жертвовать чего-либо в ее пользу, ибо все пожертвованное по замыслу декрета у нее отнимается. Содержание монастырей, церквей и духовенства становится тем самым невозможным.

Но этого мало. Вследствие отображения типографий стесняется самая возможность самостоятельного издания Церковью святого евангелия, всех вообще священных и богослужебных книг в должной чистоте и неповрежденности.

Рядом с этим декрет посягает и на пастырей Церкви. Объявляя, что никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от своих гражданских обязанностей, он тем

самым обрекает их к несению воинской повинности, воспрещенной им 83 правилом Свв. Апостол.¹ Вместе с сим служители алтаря отстраняются от воспитания народа. Самое преподавание Закона Божия в школах не только государственных, но и частных не допускается; тем самым все духовно-учебные заведения обрекаются на закрытие. Церкви пресекается самая возможность *воспитывать пастырей*.

Объявляя, что «действия государственных или иных государственно-правовых и общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями», декрет тем самым кощунственно разрывает связь государства с какой бы то ни было святыней веры.

На основании всего выше изложенного Священный Собор постановляет:

1) Изданный советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от Государства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения.

2) Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных лиц православного исповедания тяжчайшие церковные кары вплоть до отлучения от Церкви (в последование 73 правилу Свв. Апостол² и 13 правилу 7-го Вселенского Собора³).

Памятуя о молитвах святых подвижников, коими неоднократно в дни тяжких испытаний народных спасалась Россия, Собор призывает весь народ православный ныне, как и встарь, сплотиться вокруг храмов и монастырских обителей для защиты попираемой святыни. Терпят поругание и пастыри и овцы стада Христова, но Бог поругаем не бывает. Да свершится же праведный суд Божий над дерзновенными хулителями и гонителями Церкви. И пусть помнят все верные сыны ее: нам приходится вести борьбу против темных деяний сынов погибели за все то, что нам православным и русским дорого и свято, за все то, без чего и самая жизнь не может иметь для нас цены.

¹ «Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержати обоя, и римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина. Ибо кесарево кесареви, а Божия Богови». (Архимандрит Иоанн. Опыт курса церковного законоведения. СПб., 1851).

² «Сосуд освященный, или завесу, никто уже да не присвоит на свое употребление. Беззаконно бо есть. Аще же кто в сем усмотрен будет: да накажется отлучением».

³ «При случившемся, по грехам нашим, бедствии в церквах, некоторые святые храмы, епископии и монастыри некими людьми расхищены и соделаны обыкновенными жилищами. Аще завладевшие ими восхотят отдать их, да будут восстановлены, по прежнему, то добро и благо есть. Аще же не тако, то сущих от священного чина повелеваем извергати, а монахов или мирян отлучати. Понеже они гласу Господню противятся, глаголющему: не творите дому Отца моего домом купли (Иоан. 2:16)».

ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ

Публикация М.В. Шкаровского

Из рассекреченных в последнее время документов ЦГАОР Ленинграда значительную часть составляют материалы по истории Русской Православной Церкви. В них наглядно предстает ее трагическая судьба в первые десятилетия Советской власти. И самым тяжелым периодом, когда существовала реальная угроза уничтожения православия в России, были 30-е годы. Из приведенного ниже «Протокола совещания инспекторов по делам культов гор. Ленинграда и Пригородного района» от 16 марта 1933 г. видно, как планировались широкомасштабные антицерковные акции во втором по значению религиозном центре страны.

Массовые гонения и репрессии против всех течений Русской Православной Церкви начали быстро нарастать с рубежа 1928-29 гг. Период относительно спокойных контактов, попыток «мирными» способами поставить религиозные организации под полный контроль политической власти, сменился длительной полосой крайне воинственного, нетерпимого отношения к ним. Это было связано с принятием общего курса руководящей группы ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным на свертывание нэпа, насильственную коллективизацию, обострение классовых отношений в городе и деревне и т.д. В период ликвидации нэпманов, кулаков власти обрушились и на Церковь, усматривая в ней инструмент эксплуататорских классов, охранителя старого.

Для установления более тщательного контроля за религиозными организациями была произведена реорганизация соответствующего аппарата. 30 мая 1931 г. ВЦИК принял постановление «О постоянной Центральной и местных комиссиях по рассмотрению религиозных вопросов». Центральная комиссия создавалась при Президиуме ВЦИК, председателем ее стал П.Смидович, республиканские, краевые и областные — при соответствующих исполкомах, под председательством члена их Президиума. 17 октября было принято решение об организации такой комиссии при Леноблисполкоме во главе с т.Клюсеком, секретарем ее стала заведующая сектором административного надзора К.М. Неглюевич. В комиссию входило 5 членов — представители от Прокуратуры, ОГПУ, Обл-

профсовета, Обкома ВКП(б) и Отдела народного образования¹. Заведующих районными столами регистрации заменили инспекторы по делам культов. В результате реорганизации еще более возросло влияние на церковные дела ОГПУ. Работники, возглавившие вновь созданные органы, были настроены резко антирелигиозно. Они представляли себе конечную задачу их деятельности в полном искоренении религии в СССР. Так, в официальном отношении в Областной Совет народного хозяйства от 9 августа 1931 г., подписанном К.Неглюевич, указывалось: «Сектор Адмнадзора при Секретариате ОБЛИКа и Ленсовете сообщает, что, руководствуясь наказами рабочих г. Ленина, мы стремимся закрыть все церкви по городу...»².

И вскоре ликвидация храмов действительно развернулась «большевистскими» темпами. К марту 1931 г. в Ленинграде, по данным облисполкома, еще оставалось 111 действующих православных церквей, а всего через два с половиной года — к 22 ноября 1933 г., — их количество сократилось почти вдвое — до 61. Так, например, в 1932 г. были закрыты Казанский, Владимирский, Сергиевский, Матвеевский соборы, многие другие знаменитые храмы. Причем значительная часть их уничтожалась. Только 5 марта 1932 г. ВЦИК утвердил решения Леноблисполкома о сносе церковью Скоропослушницы, Спаса-на-водах, Михаила Архангела в Володарском районе, Введенской на Петроградской стороне, соборов Михаила Архангела на ул. Союза печатников, Введенского — у Витебского вокзала и ликвидации Орлово-Новосильцевской и Кресто-Воздвиженской церквей³.

Крестные ходы и ночные богослужения стали разрешаться лишь два раза в году — в рождественские и пасхальные праздники. С начала 1930-х они тщательно контролировались и регламентировались (об этом свидетельствует и публикуемый протокол совещания инспекторов по делам культов). Донесения властей об их проведении напоминают сводки с театра военных действий. Мобилизовывались сотни людей по линии Союза воинствующих безбожников, партийного, комсомольского актива, милиции — для наблюдения и пресечения недозволенных действий, в райсоветах и горисполкоме устанавливалось круглосуточное дежурство и т.п.

Все сильнее ущемлялись и права духовенства. На совещании районных инспекторов по вопросам культов от 27 ноября 1931 г. им предписывалось, в связи со случаями служения священников не в своих приходах: «Учет попов следует вести путем анкет. Обязать председателя 20-ки представлять разовые анкеты по форме №5 за 3 дня до службы приглашенного попа. Приезжим попам служить не давать. Если свой штат большой, то в привлечении других священников отказывать». На таком же совещании 2 февраля 1932 г. говорилось: «В настоящий момент следует отметить, что ненормальный момент в работе то, что в церквях хозяевами являются попы, а не 20-ки, инспекторам, как уже неоднократно по-

¹ ЦГАОРЛ. Ф.1000. Оп.48. Д.77. Л.194-195.

² Там же. Л.48.

³ Там же. Ф.7384. Оп.2. Д.20. Л.7, 17. Ф.1000. Оп.49. Д.33. Л.17 об., 45-46, 102-106, 119, 168-169.

вторялось, следует вести дела с 20-кой, а не со служителями культа... Всех служителей церкви и читающих псалтырь, как мужчин, так и женщин следует регистрировать». 23 октября инспекторам указывалось: «До Октябрьских торжеств следует путем налетов (с участием милиции) проверить проживающих при церквях и в церквях, всех непрописанных забирать для выяснения их личностей»⁴ и т.д.

В 1932 г. начались и массовые аресты священнослужителей. Глубоко трагичной является дата 18 февраля, когда в один день практически все еще оставшееся ленинградское монашество исчезло в тюрьмах. По свидетельству очевидцев, органы ОГПУ арестовали тогда около 500 человек, причем не только монахов, но и некоторых представителей белого духовенства и мирян, связанных с православными братствами и монастырями. В результате к различным срокам лишения свободы были приговорены: архиепископ Любанский Макарий, архимандрит Лев (Егоров), архиепископ Гавриил (Воеводин), иеромонахи Варлаам Сацердоцкий, Сергей Ляпунов, Вениамин Эссен и другие известные церковные деятели⁵.

Следующий удар по духовенству епархии был нанесен в марте-апреле 1933 г. при проведении в Ленинграде паспортизации населения. Именно проведению этой акции и посвящен публикуемый ниже протокол совещания. Вследствие ее в ленинградских паспортах было отказано примерно двумстам «неблагонадежным» священнослужителям из шестисот, в основном незарегистрированным, и они оказались вынуждены покинуть город. В их число входили епископ Сестрорецкий Николай (Клементьев) и сам Ленинградский митрополит Патриаршей Церкви Серафим (Чичагов), который должен был теперь жить в Тихвине. Он не устраивал власти и своими довольно критичными по отношению к советской действительности политическими взглядами, и своим твердым властным характером. Дальнейшее пребывание на Ленинградской кафедре Серафима, в связи с запрещением ему жить в «северной столице», было очень затруднено и указом Патриаршего Синода он был отправлен на покой. На место Чичагова 5 октября 1933 г. оказался назначен Митрополит Новгородский Алексей (Симанский) — будущий Патриарх Московский и всея Руси⁶.

Последствия «паспортизации» тяжелейшим образом, хотя и в разной степени, сказались на духовенстве всех существующих тогда течений Православной Церкви. В приводимом документе упоминаются представители четырех из них: обновленцы, так называемые «истинные», живощерковники, верующие Сергиевской ориентации и исофляне. Отношение государственных органов к ним было далеко не одинаковым, и для объяснения этого следует вкратце охарактеризовать каждое из течений православия, к весне 1933 г. представленных в Ленинграде.

⁴ ЦГАОРЛ. Ф.1000. Оп.48. Д.77. Л.189. Оп.49. Д.33. Л.17-17 об., 159 об.

⁵ Там же. Ф.7179. Оп.10. Д.431. Л.6 об. См.: Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925-1941. Париж, 1977. С.209, 216, 222; Мещерский Н.А. На старости я снова живу: прошедшее проходит предо мною... Л., 1982. Машинопись. С.24-26, 103-107.

⁶ ЦГАОРЛ. Ф.7384. Оп.33. Д.318. Л.335-336; Мещерский Н.А. Указ. соч. С.12; Журнал Московской Патриархии. 1944. №9. С.32.

Обновленческое движение в РПЦ оформилось в мае 1922 г., в трагические дни изъятия церковных ценностей. Оно являлось очень неоднородным по своему составу и, хотя его развитию активно способствовали различные партийные и государственные инстанции, а также органы ГПУ, нельзя сказать, что обновленчество было целиком инспирировано. В его руководстве имелось немало священнослужителей: протоиереи А. Введенский, В. Красницкий, епископ Антонин и др., недовольные своим церковным положением и рвавшиеся к руководству РПЦ, которые понимали, что это возможно лишь с помощью властей при дискредитации авторитета церковной иерархии во главе с Патриархом. Но были и видные обновленцы — страстные проповедники, искренне выражавшие новаторские идеи (например, протоиерей А.И. Боярский). Известная часть духовенства желала проведения отдельных назревших реформ по переустройству церковной жизни, и поэтому пошла в фарватере обновленчества, не зная, на первых порах, каких конкретно сторон коснется это реформаторство. Большинство же рядовых участников движения оказалось включено в него самой логикой развития событий.

После ареста Патриарха Тихона и вынужденного отказа его 12 мая 1922 г. от руководства Православной Церковью, обновленцы более года доминировали в церковной жизни. Однако сразу же вслед за освобождением Тихона 27 июня 1923 г. начинается катастрофический спад их влияния и массовое возвращение верующих и духовенства под окормление Патриарха. Несмотря на некоторые оправданные шаги, обновленчество в целом, как явление того времени оказалось ошибочным. Исходя из стремления к реформам, чего желали широкие церковные круги, преобразователи попытались «революционизировать» церковь, перешагнув при этом через основные для Православия экклезиологические, литургические и догматические принципы, и утратили контакт с верующими. Они слишком далеко зашли и в своем социальном поведении, перейдя к идеологическому синкретизму, смещению христианской веры и диалектического материализма. Преобладающая часть прихожан оказалась настроена к обновленцам враждебно, и это явилось для них непреодолимым препятствием.

В 1923 г. произошел окончательный раскол русского православия на Патриаршую и Синодальную (обновленческую) Церкви. Последняя, стремясь сохранить паству, постепенно отказывалась от своих новшеств, однако сфера ее влияния неуклонно сокращалась. В 1932 г. доля обновленческих приходов в целом по стране составляла 14-15%, а в епархиях Ленинградской области — около 5,5%. В самом же Ленинграде на 22 ноября 1933 г. из 61 православного храма 44 принадлежали к Патриаршей Церкви, 16 — к Синодальной, а 1 — к группе «Живая церковь».

Последней первоначально принадлежала руководящая роль в обновленческом движении, ее лозунги отличались наибольшим радикализмом. После перехода в августе 1923 г. руководства Синодальной Церкви к более умеренной программе и провозглашения роспуска всех обновленческих групп, существовавших внутри течения (своей междуусобной борьбой они дискредитировали его), лидеры «Живой церкви» отказались под-

чиниться этим указам. Группа порвала с остальными обновленцами и стала существовать в качестве самостоятельной религиозной организации. Странников у нее было немного — в Ленинграде в середине 1920-х годов лишь пять приходов, а к 1933 г. осталась одна Серафимовская кладбищенская церковь. В ноябре 1936 г. умер протопресвитер В.Д. Красницкий — основатель и бессменный руководитель «Живой церкви» (тесно связанный с ОГПУ), и вскоре единственный «живоцерковный» храм перешел к обновленцам. Последние, в свою очередь, просуществовали в Ленинграде только до 1944 г. В январе этого года обе еще сохранявшиеся в городе обновленческие приходские общины принесли покаяние и были приняты Ленинградским митрополитом Алексием в церковное общение.

С конца 1920-х годов не существовало единства и в самой Патриаршей Церкви. Стремясь добиться наконец «легализации» ее руководящих органов (официально властями признавался лишь обновленческий Священный Синод), заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский) и организованный им Временный Патриарший Священный Синод (ВПСС) в 1927 г. пошли на значительные уступки. Именно с этого времени начал окончательно утверждаться фактически полный контроль государственных органов над церковной жизнью. Такие далеко ведущие компромиссы были негативно восприняты частью верующих и духовенства. Уже в «Послании к пастырям и пастве» («Декларация 1927 г.»), выпущенном Сергием совместно с членами Синода 29 июля, некоторых православных задела слова, свидетельствовавшие о переходе с позиций лояльности и аполитичности на позицию внутренней духовной солидарности с властями. Сам Сергей избрал путь сотрудничества с ними после долгих колебаний и ради сохранения преемственности «законного» православия. Ведь, как не без оснований писал прот. И.Мейендорф: «Согласиться на упразднение патриаршего "центра" означало передачу монополии "легализованной" церковности обновленческому "Синоду" (признанному Восточными Патриархами!!!), который постепенно получил бы пользование всеми открытыми церквями. Но сохранение патриаршего управления предполагало государственный контроль»⁷. К тому же, отказ от компромиссов и неизбежный вследствие этого переход духовенства на нелегальное положение означал лишение возможности миллионам верующих, не признающих обновленцев, принимать участие в богослужении и приобщаться таинствам. Таким образом, позиция Сергия была в значительной степени оправданной. Однако для многих, в том числе в Ленинграде, она все же оказалась неприемлемой.

В конце 1927 — начале 1928 гг. зародившееся антисергианское движение оформилось организационно. Всего насчитывалось около 40 архиереев, отказавшихся от административного подчинения заместителю Патриаршего Местоблюстителя и ВПСС. Многие из них не были связаны между собой. И наиболее сильной в антисергианском движении являлась «иосифлянская» группа. Возглавлял ее митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых), высланный в декабре 1926 г. властями в Моденский Николь-

⁷ Цит. по: Регельсон Л. Трагедия Русской церкви. 1917-1945. Париж, 1977. С.616.

ский монастырь и переведенный в сентябре 1927 г. Сергием на Одесскую кафедру. Иосиф отказался подчиниться указу и вместе с рядом других архиереев отделился от официального центра Патриаршей Церкви. Однако подавляющая часть православного духовенства и верующих последовала за Сергием — в 1928 г. лишь 8-9% приходов отпали в автокефалию (иосифлянство и т.п.). Подобное положение было и в Ленинградской епархии — центре иосифлянского движения. За бывшим митрополитом и его сторонниками последовало всего около 10 приходов в Ленинграде и пригородах. К 1932 г. их число, главным образом вследствие репрессий ОГПУ и закрытия храмов, сократилось до трех.

Во всех остальных епархиях храмы «непоминающих» (Сергия и власти) прекратили функционировать еще в первой половине 1930-х гг. (в Москве в 1933 г.). Но в Ленинграде иосифлянство, как свидетельствуют архивные документы (вопреки мнению практически всех историков, изучавших эту проблему), продержалось открыто вплоть до середины Великой Отечественной войны. 24 ноября 1943 г. прихожане последнего иосифлянского храма обратились с ходатайством к Ленинградскому митрополиту Алексию: «Двадцатка и верующие Лесновской Свято-Троицкой церкви покорнейше просят Ваше Высокопреосвященство принять под свое Архипастырское покровительство и духовно руководить нашу церковь. Наша церковь длительное время принадлежала к "иосифлянской" ориентации, признавая Главой Церкви Высокопреосвященного митрополита Иосифа (Петровых). Отделившись от Русской Православной Церкви, руководимой Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Сергием, мы, — последователи митрополита Иосифа, — совершили великий грех перед Русской Церковью, нарушив ее единство и одновременно не меньший грех совершили мы и пред Советской Властью и родиной, стремясь поставить себя в какое-то изолированное положение, вне государства...» В тот же день Алексей наложил резолюцию о принятии общины Свято-Троицкого храма в каноническое общение с Патриаршей Церковью⁸. В послевоенные годы отдельные небольшие группы «непоминающих» продолжали существовать на нелегальном положении, объединившись в так называемую Катакомбную Церковь, получившую в настоящее время возможность легализовать свою деятельность.

⁸ ЦГАОРЛ. Ф.7384. Оп.33. Д.216. Л.214-215.

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ИНСПЕКТОРОВ КУЛЬТОВ
ГОР. ЛЕНИНГРАДА И ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

от 16 марта 1933 года.

Присутствовали: тт. Филиппова (Нарвск. р-н), Татарина (Выборг. р-н), Петрова (В.Остр. р-н), Михайлова (Смол. р-н), Броуман (Пригород. р-н), Леопольдова (Волод. р-н), Левицкая (Петроград. р-н), Медведев (ОГПУ).

Председатель — Неглюевич.

Секретарь — Броуман.

- Повестка: 1) О паспортизации
2) О сведениях
3) Об использовании церквей
4) О плане работ на 1933 г.
5) О снесенных церквях
6) О предстоящих праздниках
7) Разное.

Докладчик т. Неглюевич.

План работ 1933 г. Предложить всем инспекторам культов быстрее проработать материалы по ликвидации церквей, каковые представлять с таким расчетом, чтобы во избежание задержки при рассмотрении дел на През. Облсполкома в неделю прошло не менее 1 дела.

О сломанных зданиях религ. культа. Дать сводку с точной характеристикой, в каком состоянии находятся сломанные здания, а также имеются ли закрытые и неиспользованные здания религ. культа и каким организациям таковые были предоставлены для использования. Срок исполнения — 5 дней.

О сведениях. По бюллет. №1 ВЦИК сводки о работе не представили Московский и В.Островский р-ны, которые обязуются представить таковые не позднее 19 марта.

О предстоящих праздниках. Составить бригады, для чего связаться с «Союзом Воинств. Безбожников» и членами секций с таким расчетом, чтобы было выделено два товарища на каждую праздничную службу в каждом религиозном объекте, предварительно проинструктировать таковых. К следующему очередному

совещанию представить фамилии товарищей, которые будут работать на этой работе, а также разъяснить этим товарищам порядок представления проработанных сводок и их ответственность за работу на данном участке.

О паспортизации. Установить надзор через Завед. кладбища-ми: Смоленским, Волковским, Серафимовским и Митрофановским и др., на которых оперируют псы-гастролеры, нигде не зарегистрированные, предложить им зарегистрироваться и встать на учет к местной кладбищенской церкви или немедленно удалиться и в последнем случае категорически запретить таковым всякое пребывание на территории кладбища без соответствующего разрешения.

Тов. Медведев

Информирует, что в районе проживает около 600 служителей культов, из которых только 60% прошли регистрацию, и инструктирует, что выдача паспортов для служителей культа устанавливается в следующем порядке с момента данного совещания:

1) Ни один из паспортных столов не выдает паспортов служителям культов и выдача таковых устанавливается в тройке при Райсовете, все же ранее выданные паспорта служителям культов берутся на особый учет и сообщаются в тройки при Райсоветах с указанием фамилии, имени и отчества, какую обслуживает церковь и точное местожительство.

2) Не выдавать академикам и со средним образованием (семинарии), при этом обращая особое внимание на их полезность оставления в Ленинграде.

3) Не выдавать паспортов служителям культов иосифлянского вероисповедания.

4) Не выдавать паспортов дьяконам и регентам хоров, хотя бы он был и любитель.

5) Выдать паспорта всем служителям культов иностранного вероисповедания: немецким, финским, католическим, еврейским и др.

6) Служителей культа при выдаче справок опрашивать и представлять в анкетах место рождения и образование.

7) В отношении сект вопрос согласовывать с т.Петровым.

8) Если в районе проживает служитель культа, обслуживающий церковь, находящуюся в другом религиозном объекте, связаться с тем инспектором культа.

9) В церквях не оставлять больше 2 и в часовнях больше 1 служителя культа.

10) При паспортизации служителей культа из Епархиального Управления вопрос согласовывать исключительно с т.Неглюевич.

11) Справки о перерегистрации выдавать служителям культов по согласованию с т.Медведевым.

12) Условившись с тройкой, что слово, вписанное в справку, «является» служит правом для выдачи паспорта, а «ограничивается» — отказом.

13) На сторожей и уборщиц паспорта выдавать по согласованию с соответствующими инстанциями.

При выдаче справок на получение паспортов особенно крепко подходить к Сергиевской ориентации и мягче к обновленцам. Особенно приемлемой к дальнейшему существованию является религиозн. организация так называемая «истинные» (ВЦУ).

Обратить особое внимание на вредные и классово-чуждые кадры, выявляя особенно активных из числа религиозников, несмотря на то, что хотя бы он и не является членом 20-ки, но активно в ней работает, о чем и сообщать в местную тройку. В отношении рабочих, имеющих большой производственный стаж, подходить к ним осторожно, так как их еще можно политически обработать, также надо принять меры к устранению выступления в церковных хорах артистов.

Изучить, на какие средства живет церковь: 1) продажа свечей, 2) продажа просфор, 3) певчие хоры, 4) пышные службы (с участием видных религиозных деятелей).

Тов. Неглюевич

Выдача паспортов попам является серьезным вопросом, поэтому угробить нужно обязательно того, кто мешает нашей работе больше всех. Инспекторам культов связаться с тройками по выдаче паспортов, которые без санкции инспектора культа ни одного паспорта служителям культов не выдают.

В заключительном слове т.Неглюевич предупреждает всех присутствующих, что данное совещание носит исключительно важный характер, совершенно секретный характер и каким-либо оглашениям не подлежит, за что все присутствующие несут сугубую ответственность.

Председатель: (Неглюевич)
Секретарь: (Броуман).⁹

Отпеч. 1 экз.
Л.М.

⁹ ЦГАОРЛ. Ф.7384. Оп.2. Д.20. Л.5-6.

В.Н. Лосский
ВСТРЕЧА С РУССКИМ НАРОДОМ

Публикация Б.Н. Лосского

Автор печатаемого ниже текста — мой брат Владимир (1903-1958), сын философа Николая Онуфриевича Лосского (1870-1965), известный как в восточном, так и в западном церковном мире православный богослов¹. Религиозное мировоззрение установилось в нем с юных лет, получило культурное оформление за годы учения в Петербургском университете и в парижской Сорбонне, а свою специфически православную ориентацию приняло в духовной атмосфере, окружавшей храм Сергиевского Подворья в Париже, освященный в марте 1925 г. Во время разрыва в 1931 зарубежной метрополии русской церкви, возглавляемой Владыкой Евлогием, с московским и всероссийским патриаршим престолом, мой брат, как и ряд других верующих и священнослужителей, не присоединились к расколу и основали первый в Париже приход «Патриаршей церкви» с храмом Трех Святителей на rue Pétel².

Публикуемый текст относится к 1956 году — поре хрущевской «оттепели», еще не прервавшейся новой волной гонений на церковь. Тогда по инициативе митрополита Николая Крутицкого и Коломенского, председателя «Отдела Внешних церковных сношений», и с благословения патриарха Алексия I в Париж пришло приглашение группе не отмежевывавшихся от Москвы верующих совершить паломничество к православным святыням России. Группу было поручено составить архиепископу Николаю Клишійскому (парижского предместья Clichy), председателю «экзаршего Совета», в который входили обращенный с 1937

¹ См., напр., его переведенную на несколько языков кн.: *Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient*. Montargis, 1944.

² Выражаю горячую благодарность теперешнему старосте храма Трех Святителей — Ивану Михайловичу Левандовскому, от которого получил многочисленные сведения при составлении моего предисловия.

архимандрит Denis Chambault (ректор французской православной Paroisse de l'Ascension), архимандрит Сергей Шевич и протоиерей Лев Липеровский. В путь же направились следующие лица: тот же Chambault, иеромонах Pierre d'Huillier (тогда священник на rue Pétel, а ныне епископ Американской Автокефальной церкви), покойный архимандрит Василий Кривошеин (тогда настоятель часовни св.Николая в Оксфорде, позже архиепископ и патриарший экзарх в Брюсселе), князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский (профессор русской литературы и культуры в Оксфордском университете), княгиня Антонина Львовна Мещерская (урожд. Antoinette Voishue, основательница и начальница Русского дома в Ste G n vieve des Bois), И.М. Левандовский (тогда молодой деятельный прихожанин церкви Трех Святителей) и, наконец, спутник и собеседник брата, ставший известным ревнителем православия Olivier Cl ment (ныне профессор Богословского института на Сергиевском Подворье).

Приглашенные патриаршей церковью паломники так и не встретили ее главу Алексия, проходившего курс лечения где-то на юге Союза, они были приняты в его московской резиденции, молились в кафедральном Богоявленском соборе, посетили храмы-«музеи» Кремля и, разумеется, отдали должное вернувшейся со времен войны к духовной жизни Троице-Сергиевой Лавре. Посетили они и Печерскую Лавру в Киеве, Флоровский монастырь, Святую Софию Ярослава Мудрого и растреллиевский собор Андрея Первозванного, еще не закрытый тогда Хрущевым. Были и в Петербурге — в Александро-Невской Лавре и богословской академии, в действующем Преображенском соборе и окрестных садах императорских резиденций: в Петергофе, Ораниенбауме, кажется, также и в Царском Селе и Павловском парке. Не обошлось, однако, и без дани памяти основоположника режима: посещения пресловутого ленинского «шалаша»... Написанный братом под свежим впечатлением от путешествия на родину после 34-летнего изгнания и за два года до безвременной кончины очерк войдет в его библиографию как одно из двух последних по времени произведений его пера (вторым стала незавершенная докторская диссертация, изданная его друзьями, в том числе учителем брата Gilson³).

Уезжая из России в 1922 году, девятнадцати лет от роду, я сознавал очень глубоко, что теряю что-то существенное, коренное, хотя и был всегда в каком-то смысле «западником». С годами, особенно в Париже, это чувство утраты прошло и забылось, но забылось и самое лицо русского народа. Эмигранты, в своей массе, всегда были мне чужды, «советчики» же, которые сюда приезжают, — скорее противны, даже независимо от их политических

³ V.Lossky. *Th ologie n gative et connaissance de Dieu chez Ma tre Eckhart*. 2^e ed. Paris, 1973.

установок. В аэроплане, где мы заняли места на Orly 8 августа, кроме нашей делегации все остальные пассажиры были «советские»: какие-то тузы, деловые люди со своими тяжеловесными супругами, вульгарные и безвкусные до крайности, с мордами чемоданом, как у большинства советских дипломатов, тип самодовольных и непроницаемых ни для какой мысли, ни для какого человеческого чувства *nouveaux riches*, каких не встретишь даже в Швейцарии или в Бельгии. Помнится, я сказал тогда одному из спутников: если это — новый русский человек, надо попытаться найти к нему какую-то симпатию, чтобы понять, что такое современные русские, среди которых нам придется жить почти три недели. И тут же прибавил: я не могу! Но за все время нашего пребывания в России мы людей этого типа не видели: они исчезли куда-то, как внешний фасад современной «официальной» России, отвратительная маска, которую почему-то показывают Западу. Могу сказать с убеждением: русский народ совсем не похож ни на эмигрантов, ни на «официальных советчиков». Прибавлю еще: ни на «ди-пи», которые, попав на Запад, сразу теряют свой природный облик, как те глубоководные океанские рыбы, что выворачиваются почти наизнанку, как только их поднимешь на поверхность. Русский народ можно видеть только в России, да и там его «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»...

Проснувшись очень рано девятого августа, я сразу с постели бросился на балкон моей отдельной комнаты и простоял там, в одной пижаме, вероятно, более часу, смотря на проходившую внизу толпу людей, спешивших на работу. После веселой и всегда элегантной во всех слоях общества парижской толпы первое впечатление было ужасно: уныние, безобразие, а главное — невыносимая, гнетущая тяжесть, лежащая на всем. Это впечатление не сгладилось привычкой, не нашло своего объяснения. Внешними только обстоятельствами: тяжкий режим. Конечно, это «обстоятельство» надо учитывать: в Петербурге, дальше от страшного Кремля, дышится легче и печать угнетенности менее заметна, но и там — какая-то природная угрюмость и тяжесть, в которой мне пришлось узнать нечто привычное — русское. Не раз я спрашивал себя: может ли этот народ при каком-либо менее бесчеловечном режиме быть счастливым и жизнерадостным? И всякий раз отвечал себе: нет, это всегда было и всегда будет. Тяжесть происходит от стыдливо скрываемой, чуждающейся словесного выражения, а иногда и не вполне осознаваемой внутренней глубины, которая не мирится ни с какою «двухмерностью». Это я особенно ощутил на фоне плоского оптимизма «официальной идеологии», которая лезет в глаза повсюду: на плакатах, в газетах, в темах

алаповатых украшений московского метро в особенности. Во время посещения метро Olivier Clément сказал мне: «une personne humaine ne peut pas subsister longtemps dans ce monde sans transcendance; il n'y a que deux solutions possibles: le suicide ou la conversion». Да, но для русских есть еще «подполье» Достоевского с его темными извилинами, очень «персональное» в своей жуткой двусмысленности. Понятно, что правительство, желающее воспитывать своих «граждан», сводя человека к двум измерениям («планы», «планировки» — самая терминология невыносимо плоска), до сих пор запрещало печатать Достоевского: ведь «подполье» есть отрицательное условие личного начала, негативное свидетельство о свободе.

После Touraine, откуда я вдруг попал в Россию, природа и ее человеческий «Landschaft» поразили меня своей скудостью, неяркостью, «бессловесностью». Но так же, как и в людях, пришлось открыть и тут — силу скрытой внутренней жизни, какую-то потенциальную «духовность». И еще — особое качество этой внутренней жизни: «что в существе разумном мы зовем возвышенной стыдливостью страдания» (Тютчев). И другие стихи Тютчева, которые я всегда считал сентиментальными и деланными, все время вспоминались невольно: «всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя».

Назвать русский народ «богоносцем» — оценка, слишком категорическая и потому неверная, лишенная нюансов. Но верно, что этот народ отличается исключительной религиозной одаренностью, тесно связанной с еще чем-то, что можно назвать — способностью страдания. Эта черта, не имеющая ничего общего с античным *amor fati* или индусским бесчувственным приятием колеса жизни, есть положительное моральное свойство, какое-то природное христианство (богословски нелепо, даже «еретично», — но иначе сказать не могу). Тут я понял, почему, уезжая из России 34 года тому назад, чувствовал себя отверженным, лишенным чего-то существенного: то, что здесь дается «само», почти «естественно», особенно в годы испытаний, кажется невероятным и недостижимым, когда отрываешься от корня, связывающего тебя с этим безответным народом, умеющим страдать без позы, без всякой задней мысли, без любования собой.

Плоды этой глубокой черты, свойственной всем не обесчелоченным жителям СССР, а таких все-таки подавляющее большинство, проявляются, конечно, в Церкви, в церковном народе. Тут русская «тяжесть» преобразуется в нечто противоположное: поразительная, нездешняя «легкость», окрыленность, свобода молитвы в этих переполненных до отказа храмах, во время

очень длинных, по четыре часа, богослужений, которые выстаиваешь, не замечая усталости, не отвлекаясь посторонними мыслями. Какая-то невероятная сила в этом молящемся народе: я все время чувствовал стыд и какой-то «*complexe d'infériorité*» перед этими толпами простого народа. А о.Василий Кривошеин, человек сдержанный и скорее сухой (петербургская бюрократическая семья и афонская духовная выправка) сказал мне: «не знаю, что со мною делается, — я здесь все время плачу во время богослужений». И до сих пор (я видел его две недели назад) он не может говорить об этом нашем опыте без глубокого волнения.

Накануне нашего отъезда служили для нас напутственный молебен в одной из пригородных церквей Москвы. Когда мы выходили из храма и усаживались в автомобили, простонародная толпа окружила нас, трогательно с нами прощаясь. Еще одна черта: теплота и приветливость к «чужестранцам», в которых признали «своих». Автомобили увязали в глубоких ухабах, вечернее солнце освещало золотые главы церкви, звонили во все колокола, бабы кланялись в пояс и долго еще мы слышали за собой: «прощайте, родимые; не забывайте нас, приезжайте опять»!

Теперь, «из моего прекрасного далека» вспоминаю о встрече с русским народом, как о драгоценном духовном опыте, который довелось иметь. Жить и работать в России я не мог бы, даже и при ином режиме: слишком сросся с Западом, в частности с Францией. Но и это ведь русская черта: быть европейцем больше, чем все другие европейцы. Свидетельство тому — Петербург, Пушкин и вся дворянская культура двух столетий, до катастрофы и новой «московской Руси» с ее азиатским коварством..

1956 г.

**ИЗ ИСТОРИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ**

«РУССКИЙ ФАУСТ» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Публикация М.Вахтеля

В своей рецензии на «Кормчие Звезды», первый сборник стихотворений Вячеслава Иванова, Валерий Брюсов справедливо отметил: «чувствуется долгая работа... завершение многолетних исканий»¹. Каковы были эти искания, до сих пор не изучено. Для большинства исследователей символизма Вячеслав Иванов представляется зрелым мэтром с самого начала своей поэтической деятельности.

Но историка литературы должны интересовать все этапы творчества поэта — и мастерство, и ученичество. Ранние, не всегда совершенные произведения часто дают представление о поэтической родословной поэта. Анализируя такого рода тексты, можно проследить путь формирования поэта, развитие его стиля и круг интересовавших его тем.

В обширном творческом наследии Вячеслава Иванова мы находим значительное количество стихотворений, которые Иванов сам, по всей видимости, не считал достойными публикации. Именно потому, что эти произведения не прошли строгого отбора самого автора, они являются важными документами для исследователя. Настоящая публикация знакомит читателя с «Русским Фаустом» — одним из любопытнейших произведений раннего Иванова². Это произведение дает ценный материал не только для рассмотрения темы «Вячеслав Иванов и Германия», но также для изучения такого фундаментального вопроса, как «Гете в русской литературе».

Текст относится к последним месяцам 1887 г. Как известно, Иванов в это время был в Германии, где изучал классическую филологию и историю античности в Берлинском университете. Но одновременно с университетскими занятиями молодой ученый заинтересовался немецкой

¹ Валерий Брюсов. Собрание Сочинений. М., 1975. Т.6. С.295.

² Название «Русского Фауста» дано публикатором ради удобства и носит условный характер. В рукописи второй сцены Иванов поставил заглавие: «Фауст. Русские варианты общечеловеческой легенды». Однако первая сцена не имеет названия.

культурой. Об этом свидетельствуют тетради Иванова этого периода; сохранились стихи на немецком языке (часто шуточного характера), а также целый ряд прозаических и стихотворных этюдов, в которых он или ссылается на немецких авторов, или пишет о немецком искусстве³. Много лет спустя Иванов сам вспоминал, как он тогда «упивался много-многом Гете»⁴.

Интерес зрелого Иванова к творчеству Гете общеизвестен; гетевские цитаты нередко служат эпиграфами к отдельным стихотворениям и даже книгам. В своих теоретических трудах Иванов неоднократно упоминает имя Гете в связи с программой русского символизма⁵. В 1912 г. Иванов посвятил творчеству Гете обстоятельную критическую статью, а для советского юбилейного издания Гете в 1932 г. перевел драму «Прометей». Чрезвычайно высокое мнение Иванова о Гете подтверждается и мемуаристами. Переводчик Иоганнес фон Гюнтер утверждает, что Иванов знал всего «Фауста» наизусть⁶.

«Русский Фауст» занимает особое место в творчестве раннего Иванова. Текст является не переводом, а оригинальным произведением. Судя по заглавию второй сцены: «Фауст. Русские варианты общечеловеческой легенды» — авторский замысел заключался в том, чтобы создать русскую версию классического текста Гете. Этим объясняются явные отступления от немецкого «оригинала». Монолог героя Иванова происходит не в кабинете ученого, а на фоне усадьбы и березовой рощи. Сам герой — типичный представитель передового русского дворянства, который решил освободить крепостных и в результате остался «лишь тяжело разорен». В этом произведении народный праздник Ивана Купалы заменяет Пасху, упомянутую в начале немецкого «Фауста» (в сцене «У ворот» — «Vor dem Tor»). В чисто литературном отношении сказывается и русская традиция. Здесь чувствуются отголоски из «Сцены из Фауста» Пушкина и «Дон Жуана» А.К. Толстого, — двух произведений, навеянных мотивами гетевского шедевра.

Итак, «Русского Фауста» можно рассматривать как первый этап процесса освоения немецкого классика. И этот процесс продолжается без перерыва на всем протяжении творческого пути Иванова. Однако, следует подчеркнуть особенности ивановского восприятия «Фауста». В своих сочинениях Иванов многократно отдает предпочтение второй

³ Тетрадь, где находится вторая сцена «Русского Фауста» (ГБЛ. Ф.109. К.1. Ед.хр.33), также содержит немецкие стихи («Die Schale», «Versuch einer Dichtung»), очерк «Призраки», в котором Иванов цитирует строку из сцены «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» из гетевского «Фауста», и эссе «Осенние мысли», где речь идет о готическом храме. Часто повторяющаяся в то время у Иванова тема готического храма, по-видимому, возникает после посещения Кельнского собора в 1886 г. См. стихотворение «Готический собор» (ГБЛ. Ф.109. К.1. Ед.хр.23).

⁴ Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т.2. С.18. Цитата из «автобиографического письма» 1917 г.

⁵ Напр., в «Мыслях о символизме» (1912), где Иванов называет Гете «дальним отцом» русского символизма. См.: Вячеслав Иванов. Собрание Сочинений. Т.2. С.612.

⁶ Johannes von Guenther. Ein Leben im Ostwind. München, 1969. S.123.

части драмы, ибо по его мнению, «вторая часть не похожа на первую и представляет собой беспредельное, символическое расширение первой»⁷. Ключевые для Иванова цитаты из «Фауста» за редким исключением взяты из второй части⁸. С этой точки зрения интересно, что в «Русском Фаусте», произведении раннего периода, Иванов опирается именно на первую часть гетевского текста. «Сцена 1» явно напоминает «пролог на небе» («Prolog im Himmel»). «Сцена 2» тесно связана со знаменитым первым монологом гетевского героя в сцене «Ночь» («Nacht»). Можно предположить, что даже стихотворный размер — вольный ямб — подсказан гетевским прологом на небе⁹.

Небезынтересно также отметить высокий уровень техники стихосложения в «Русском Фаусте». В первой сцене очень эффектно использован контраст между богатой неожиданными оборотами речью циничного Мефистофеля и простым, но торжественным языком Бога. В монологе автору удастся передать характерную для Фауста смену юмора и отчаяния. Однако при всех несомненных достоинствах этого произведения, нельзя не заметить, что это работа поэта-ученика. Предпринятые молодым автором изменения гетевского текста являются в конечном счете поверхностными. Иванов всегда ценит творчество немецкого классика, но в произведениях позднего периода интерпретирует и развивает гетевские образы по-своему. Вот этот момент переосмысления, лежащий в основе интертекстуального подхода зрелого Иванова, в «Русском Фаусте» отсутствует. Поэт тут остается верным, слишком верным подтексту. Но самое главное в «Русском Фаусте» — преданность великому наставнику, который впоследствии оказал столь сильное влияние на творчество Иванова и на творчество русских символистов вообще¹⁰.

Подлинный текст «Русского Фауста» хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки им. Ленина (ГБЛ) в фонде Иванова. Сцена 2 (Ф.109. К.1. Ед.хр.33) находится в тетради, на полях которой четко зафиксировано число, когда автор работал над данным произведением. Таким образом можно установить, что вся сцена была написана за четыре дня, с 27 по 30 декабря 1887 г. Сцена 1 (Ф.109. К.2. Ед.хр.59) написана на отдельном листе бумаги без заглавия и даты. Согласно описи фонда, эти стихи относятся к периоду 1910-1920 гг., но по ряду причин такое заключение кажется малообоснованным¹¹. Вполне возможно, что две предлагаемые сцены должны были стать частью большой поэмы или драмы.

⁷ Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Т.4. С.148.

⁸ Напр., часто повторяемые Ивановым слова «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» («Все преходящее только подобие») и «Zum höchsten Dasein immerfort zu streben» («Безостановочно к бытию высочайшему стремиться»).

⁹ Интересно в этом контексте заметить, что в «Дон Жуане» Толстого диалог Сатаны с небесными духами также дается вольным ямбом.

¹⁰ См.: В.Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1981. С.448-472, и, для менее полемического обзора, André von Gronicka. The Russian Image of Goethe. Philadelphia, 1985. Т.2. С.161-203.

¹¹ Назову три главные причины: 1) органическая связь первой сцены со второй, 2) столь нетипичный для зрелого Иванова поэтический язык, 3) большое количество ошибок в описи вообще.

Сцена 1

Бог. Ты здесь опять? Зачем ты, искуситель?
Решился наш давнишний спор:
Я победил: спасен мой верный читатель
Мой Фауст — и правдив святой мой приговор.

Мефист. Коль выскажу я вам, великий государь,
Мое смиреннейшее мнение, —
Победа стоит поражения —
Сказал, вздохнув, победоносный царь,
Поминки празднуя над войском перебитым.
Но ваш вопрос остался все ж открытым,
Хоть победили вы... Однако ныне к вам
Явился я не с тем — а с скромным предложеньем
Вам пособить своим служеньем.
Уж воли не дано заносчивым мечтам,
Не мыслю вновь вступить на состязанье
О силе нашего влиянья
По человеческим сердцам: —
Я знаю наперед, хотя бы победитель
Я своего раба повлек в правдивый плен, —
Софистики судейской исполнитель,
Его возьмет в ваш фиск небесный полисмен¹.
Уже не мыслю поживиться,
Но дело нужно мне для сердца и ума —
Я к людям попривык, скучна мне стала тьма...
Вы не хотите ль мной распорядиться?
Ведь я необходим — согласны вы без спора —
Что если б зла создать не вздумалось вам,
Для мировой игры вам не было б партнера,
Зевал бы весь ваш мир, зевали б вы и сам
Небесный этикет — гимн праведного хора
Слился б в один торжественный зевок!..²
Так послужить бы вам я мог!

Бог: Мне ль служит зло? А вечного добра
Творить не можешь ты, дух ада!

Меф: Но и раскаяться ведь право, уж пора,
Мой честный героизм плохая мне отрада...
Притом, мне кажется, в сей час
Всеведущему память изменила —

Девиз мой доблестный я повторял не раз:
Я благодетельная сила,
Что, вечно к злу стремясь, всегда добро творила³.

Бог: Для зла творимое добро — добра позор.

Меф: Я знаю — здесь меж нами есть различье:
О вкусах тшетен будет спор —
Я не педант, вы — любите приличье
И праведен для вас, кто, благо возлюбя,
Всю жизнь лишь зло творит для ближних и себя,
Как Фауст, доктор преподобный,
Но как бы ни было, я вам слуга удобный.
Мне хочется на шар земной слететь
Апостолом горячим идеала,
Поборником добра — и в шутку посмотреть,
Как маска дурака ко мне пристала.
Всегда любил я маскарад,
И искренней хулой и справедливым смехом
Чистейшей истине служу давно с успехом
И правдой утомлен, полгать я был бы рад.

Бог: Чего ты требуешь? Как речь твоя длинна!

Меф: Прошу я презабавной штуки:
Есть презабавная на севере страна,
Край благочестия и сна,
Недоумения и скуки.

Сцена 2

Широкая терраса дворянской усадьбы, окруженная березовою чащею.

Н. один.

Н. Какая скука! скука! скука!..⁴
Пришла, подкралася опять
Ее холодная мне ведомая мука...
Напрасно я хотел ее бежать,
И прятался, и долго лицемерил
С собой самим, и ум себе уверил,
Что далеко за мной осталася беда,

И не найдет теперь в гнездо мое следа,
И заживет в тиши немолчной скорби рана,
Коль не коснется к ней нелепый, пошлый свет...
А скука близилась. В чаду самообмана
Я слышал мертвенный зевающий привет —
И вот она опять!..

Спасенья нет в досуге,
Предмете давних дум. Я ждал, заране рад,
Средь одиночества найти бесценный клад
В своей душе — в едином, первом друге.
Я думал снять с души слепую пелену,
Осадки жизни той, разнузданной и праздной,
Чтобы найти под той корою грязной
Прозрачно-ключевую глубину;
Чтоб в незапятнанном души моей кристалле
С красой и мыслию мир отразиться мог;
Чтобы блеснул лучом с небес далекий Бог
В ее таинственном зеркале...
Я первые мгновенья жадно пил,
И к голосу души прислушивался жадно:
Но было в ней безмолвно, безотрадно...
Далекий Бог в нее не нисходил,
И мир был тот же мир, с печатью неизменной,
Лежащей на его красе нетленной
И запирающей уста его навек,
Чтоб не подслушал в них участия человек!
И лишь один вопрос звучит неумолимо,
И тот вопрос — всегдашнее: зачем?
Упали руки и заснула недвижимо
Живая мысль в мозгу. Сижу я, глух и нем,
Прислушиваюсь к вечно жгущей муке,
К холодно-мертвой и мертвящей скуке.

(Встает быстро)

И вновь дрожу... Вновь с давних пор
Меня терзающий укор
Я слышу в сердце; и, готовый
Себя измучить казнью новой,
Твержу я медленно его —
И над отчаяньем души самолюбивой
Смеюсь... смеюсь над тем, что все ее порывы
Не принесли в итоге ничего, —

Над тем, что провожу, бесплодно и бессильно
 За часом час, за годом год,
 Что божиих даров в душе запас обильный,
 Безумно попираемый, умрет.

 И между тем небесным даром
Я насладиться и служить искал.
 С наивным юношеским жаром
Я знания и мудрости алкал,
Но скоро понял я предел науки тесной.
Она мне не дала ни мудрости небесной,
Ни гордой воли. Нет! В ее пустой игре
 О жизни лицемерное забвеньё
 Я прочитал, и чуждый обольщенья,
 Уже мечтал о действенном добре.
В мои поместия к крестьянам удивленным
С доверчивой любовью я пришел;
Народ хотел я знать освобожденным,
 Забытым прежний производ.
Я отпускал рабов, давал рукою щедрой —
И успокоился, лишь тяжко разорен.
И что ж народ? в его таинственные недра
Проникнуть я не мог: остался тот же он,
Все так же пьян и нищ, выносливый, голодный,
 Покорный, недоверчивый, холодный...

 И некуда, и незачем идти.
Ни жизни, ни любви, ни смерти мне не надо,
 Всех лучше сна холодная отрада,
Но нынче и она не сможет принести
 Покоя и забвенья. Вновь, как прежде,
Внимаю ныне я все тлеющей надежде.
 Да, в бледных отблесках луны
Мне ныне грезятся причудливые сны.
 Я жду с тоской, что вновь заблещет
 И брызнет вдруг из сердца вон
 Незримый ключ, что тайно плещет
 И будит сердца тяжкий сон.
 Иль влага чудная не хлынет,
 Как пред страдальцами скала
 Воды не даст, в ней ключ застынет
 Без чудотворного жезла.

О чудо, чудо! Если б верить
В тебя я мог и ждать тебя,
И мелким разумом не научился мерить
И землю, и людей, и небо, и себя, —
Я б думал; ты свершишься пред очами,
Молитв и созерцаний плод,
И свяжешь гордого духовными цепями
И дашь таинственный исход.

Но что за пламя там блестит в конце аллея.
Где я привык следить реки извивы,
Когда в такую ночь за чащею ветвей
Дрожат ее стальные переливы?
Все шире и ясней просветы меж берез...
Вот ветер песню дальнюю донес,
Знакомую мне песню... Так Купала
Сегодня празднуют в деревне, и не мало
Там смеха и труда перескочить костер,
Пока песнь темную поет нестройный хор.

Старинные языческие чары!
Как прежде ваш очаг обходит тот же круг,
Ночную лижет тьму все тот же пламень яркий,
И те же призраки собираются вокруг.
И с тем же трепетом и с тою же надеждой
Народ старается ваш тайный смысл понять,
И рад, как я, живую душу внять
Под мира погребальной одеждой.
Он чуда ждет, как я. Знать, ни ему, ни мне
Не смог дать разума ряд опытов ненужных.
Так не изменится в холодной глубине
Состав сырой земли от перемен наружных,
Хотя б морской потоп разлился сверху вновь,
И почву залила избитых полчищ кровь.

¹ Ср. слова Сатаны в прологе «Дон Жуана» А.К. Толстого: «Как ревностный жандарм с небес навстречу мне». Возможно, что необычайное слово «фиск» у Иванова подсказано персонажем «фискал», который играет центральную роль в следующей сцене «Дон Жуана».

² Многократное повторение слова «зевать» напоминает речь Мефистофеля в пушкинской «Сцене из Фауста»: »...И всяк зевает да живет — И всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты».

³ Цитата из «Фауста» Гете: см. речь Мефистофеля (строки 1336-1337): «[Ich bin] ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft». («[Я] часть той силы, которая всегда хочет зла, а всегда творит добро»).

⁴ Ср. первые слова Фауста в «Сцене из Фауста» Пушкина: «Мне скучно, бес...»

Автор пользуется случаем выразить благодарность за ценную помощь при подготовке настоящей публикации — А.С. Бобровой, Н.А. Богомолу, М.Л. Гаспарову, Д.В. Иванову.

ПИСЬМА З.Н. ГИППИУС К А.Л. ВОЛЫНСКОМУ

Публикация А.Л. Евстигнеевой и Н.К. Пушкаревой

В публикуемых письмах Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945) к Акиму Львовичу Волынскому (Хаиму Лейбовичу Флексеру, 1861-1926) заключена история отношений двух людей, каждый из которых оставил заметный след в истории русской культуры. Письма датированы 1891-1897, за исключением одного, написанного в 1916. Сохранились свидетельства автора и адресата, позволяющие уточнить хронологические рамки их знакомства. «Я познакомился с З.Н. Гиппиус, — писал Волынский, — в первый же день ее приезда в Петроград [т.е. в 1889. — *Публ.*]. Ко мне явился Д.С. Мережковский и сказал, что он женился на Кавказе, о чем известил меня, впрочем раньше письмом потребовал, чтобы я пришел вечером того же дня к нему на чай. Вечером я был у него где-то в районе Технологического института» (Волынский А.Л. Сильфида (1923) // ЦГАЛИ СССР. Ф.91. Оп.1. Д.42. Л.206). «Дружба с Флексером (и его журналом), — вспоминала Гиппиус, — продолжалась с 1894 до весны 1897 года; после 1897 года мы уже более никогда не встречались» (Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский. // Гиппиус З. Живые лица. Кн.2. Тбилиси, 1991. С.203, 204).

Следует пояснить эти разночтения. Познакомившись в 1889, Гиппиус и Волынский в течение нескольких лет, видимо, встречались достаточно редко (но состояли в переписке), а потом знакомство возобновилось. Не случайно и упоминание Гиппиус о дружбе с журналом. Знакомство оживилось и было тесно связано именно с сотрудничеством Мережковских в обновленном «Северном вестнике», когда ведущее положение в его редакционном комитете занял Волынский. На страницах журнала увидели свет наиболее значительные произведения, написанные Гиппиус в этот период. В 1897 «Северный вестник» был накануне закрытия из-за усиления цензуры, роста долгов, обострения отношений между редакцией и авторами, в чем немалую роль сыграл Волынский. Тогда же, по словам издательницы Л.Я. Гуревич, Мережковские сразу же отошли от работы в журнале (см.: Гуревич Л.Я. История «Северного вестника» // Русская литература XX в. М., 1914-1915. С.264).

Отношения, о которых повествуют предлагаемые письма, по-разному вспоминались впоследствии обоими корреспондентами.

«Помню первое мое впечатление от З.Н. Гиппиус, — писал Волинский в 1923. — Передо мною была женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста, гибкая и сухая как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег. Глаза серые с бликами играющего света. Здороваясь и прощаясь, она вкладывала в вашу руку детски мягкую, трепетную кисть, с сухими вытянутыми пальцами. /.../

Кокетливость достигала в ней высоких степеней художественности. /.../

З.Г. Гиппиус вспомнилась мне в двух основных своих стихиях, образующих эту замечательную личность. /.../ На поверхности была по отношению ко всякому, сколько-нибудь интересному собеседнику, настоящая комедия любви, обаянию которой все и поддавались, кончая самыми замкнутыми, затворенными и угрюмыми партнерами. А внутри кипели бури серьезнейших мотивов. Но входя во вторую стихию своей личности, З.Н. Гиппиус вступала в мир какого-то фантастического бреда. В иных делах нельзя было отличить действительной жизни от игры фантазии. /.../

Знакомство мое с Гиппиус, начавшееся в описанный вечер, заняло несколько лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой. /.../

Вообще Гиппиус была поэтессой не только по профессии. Она сама была поэтична насковозь. Одевалась она несколько вызывающе и иногда даже криливо. Но была в ее туалете все-таки большая фантастическая прелесть. Культ красоты никогда не покидал ее ни в идеях, ни в жизни» (Волинский А.Л. Указ. соч. ЦГАЛИ. Ф.91. Оп.1. Д.42. Л.206-211).

Иная тональность звучит в поздних мемуарах Гиппиус: «Это был маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный» (Гиппиус З.Н. Указ. соч., С.198).

Черные краски, в которых представлен Гиппиус ее роман с Волинским сквозь толщу лет, можно попытаться понять, если обратиться к ее дневниковым записям, каковые можно рассматривать как продолжение публикуемых писем. Приведем некоторые из них (здесь и далее цит. по: Hippius Z.N. Between Paris and St.Peterburg. Urbana, 1975. С.68-70.):

«Март 12, 1894.

Одиночество, которое царит в моих мыслях, угнетает меня.

Март 4, 1895.

Мысли о любви Флексера никогда не беспокоят меня. Я всегда радуюсь его хорошему отношению ко мне. Поэтому я счастлива. /.../ Я возобновила наше знакомство (этой осенью) — отчасти по случаю, отчасти по стечению обстоятельств (то есть все к этому шло), я только не противилась этому. Я даже нуждалась в дружбе, так как ощущала холод.

Слово любовь входит в нашу действительность.

Я могу писать письма только тем лицам, с которыми я чувствую единение. Я говорю о хороших письмах, о таких моих "созданиях", в которые я верю».

Итак, отношения между Гиппиус и Волынским были прерваны на некоторое время и возобновлены осенью 1894. Причиной первого охлаждения, по-видимому, была Л.Я. Гуревич, которая в 1890 стала основной пайщицей журнала «Северный вестник». Письмо от 21 января 1895, являющееся по сути дела литературным завещанием Гиппиус, вполне ясно на это указывает.

Дальнейшая судьба этих отношений прослеживается по письмам и дневниковым записям Гиппиус:

«Октябрь 15, 1895.

Он не способен испытывать "чудеса любви", и я пользуюсь блестящей властью. Не в моем характере действовать как капля на камень. Я люблю все быстрое и ослепительное, но не без определенной надежности и устойчивости. Он уступал мне во всем — но со временем я стала уставать, я покину его, я забуду его, я прекращу делать ему уступки. Я не хитра, но с ним хитрость обязательна, необходима. Кроме того, он антиэстетичен, противостоит мне во всем, чужд всем проявлениям прекрасного и моему Богу /.../.

Ноябрь 12, 1896.

Прошел целый год. Боль и мука. Что об этом писать? Отсутствие любви, печаль, неудачи. Я ненавижу этот дневник. Теперь мне тяжело писать его. Если кто-то прочитает это, ему может показаться, что я живу только моей любовью, любовью физиологической, мною же отрицаемой.

Это одна сторона моей жизни, немаловажная, но лишь сторона. Я не хочу перейти эту грань, так как не вижу в этом смысла. Мне надоело это.

30 декабря, 1897.

Снова прошло больше года. /.../ Я должна продолжать эту пытку, этот дневник, мои "рассказы о любви", ужас и разрушение моей жизни, с которым и без которого я не в состоянии жить. Я даже не понимаю, почему мне необходимо связывать черное и белое. Я отказалась печататься в "Северном вестнике" из-за некрасивых статей Флексера. Чем дальше, тем больше мы, по-видимому, становимся друзьями, но на самом деле — врагами».

Личным причинам разрыва сопутствовали литературные, о которых спустя много лет Гиппиус писала: «Однако в том же Флексере были черты, которые не могли в конце концов не привести нас к разрыву с ним. Его самоуверенность прежде всего. Со второго года он начал писать в журнале литературную критику, из месяца в месяц. И вот каждый раз по выходе книги у меня начиналась с ним очередная ссора. У меня, так как Д[митрий] С[ергеевич], занятый своими работами, флексеровских статей, пожалуй, и не читал.

Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько ... против невозможного русского языка, которым он писал» (Гиппиус З.Н. Указ. соч. С.200). Там же: «Я, впрочем, не очень верила в его "литературность" и даже в его способность литературно писать (впоследствии оказалось, что я была права)» (С.198).

Мережковский придерживался другого мнения. В письме к Волынскому от 19 октября 1891 он называет статью Флексера о Толстом не только

лучшей его статьей, «но и одним из крупных литературных явлений последнего времени» (ГЛМ. Ф.9. Оп.1. Ед. хр.43). Здесь же он сообщает адресату о близости их взглядов: «Ваша живая и сильная статья о Толстом показала мне еще больше, что мы идем *по одной дороге*» (Там же).

Все сказанное позволяет утверждать, что причины любовного, человеческого и литературного конфликтов Волынского и Гиппиус тесно переплетаются. Это подтверждается и еще одним эпизодом их взаимоотношений. Весной 1896 состоялось совместное путешествие Мережковских и Флексера в Италию. Мережковский тогда задумывал свой роман «Леонардо», который намеревался печатать в «Северном вестнике», и замысел этот оживленно обсуждался путешественниками. Гиппиус вспоминала: «Д.С., когда был занят предварительной работой, имел обыкновенные рассказы о ней мне очень подробно (и красноречиво). А так как Флексер был с нами, то слушал все это и он. /.../ Ранее разрыва нашего, должно быть в 1895 году, в конце (точно не помню), я наконец совсем, и резко, отказалась печататься в "Северном вестнике" из-за отвращения к уродливым статьям Флексера. Может быть, это было глупо, но его язык оскорблял мое эстетическое чувство. Тут был первый шаг к разрыву» (Гиппиус З.Н. Указ. соч. С.202, 204).

Роман Мережковского о Леонардо да Винчи в «Северном вестнике» напечатан не был. «Что же касается Флексера, с которым мы после 1897 года уже никогда более не встречались, он, может быть, потому и не напечатал "Леонардо" в своем журнале, что уже тогда задумал сам написать большую книгу о "Леонардо да Винчи". После нашего совместного путешествия в Италию он туда, кажется, возвращался, пополняя свои сведения, и книгу свою написал, но уже когда журнал прекратился. Он, как известно, выпустил ее в роскошном издании. Судить о ней не могу, так как мы ее не видели» (Гиппиус З.Н. Указ. соч. С.204).

По-видимому, Гиппиус болезненно восприняла литературный успех Волынского, выпустившего свою книгу о Леонардо в 1900: автор не представлялся ей достойным соперником Мережковского в осмыслении творчества великого итальянца. К тому же, чем дальше, тем в большей степени стиль и страсть, движимые своими законами, вводили мемуаристку от объективности. Яркую характеристику этим чертам Гиппиус дал впоследствии и сам Волынский:

«Стиль писем З.Н. Гиппиус был действительно несравненным. Иные из этих писем лучше обширных статей Антона Крайнего с его придиричьим тоном и повадками бабьих пересудов. Тут все чеканно просто, коротко, содержательно. При этом в основе лежит философическая серьезность, редкая в женщине способность к созерцательно-логическому мышлению. Писем этих, вероятно, очень много в литературных кругах, и когда-нибудь собрание их могло бы явиться живейшим документом-иллюстрацией к картине нашей литературно-общественной жизни в момент зарождения декадентства. Вот настоящая декадентка тех замечательных дней, не выдуманная, плоть от плоти эпохи; и самая исковерканность, да-

же играющая лживость, входили в подлинный облик конца века, как симуляция входит в состав симптомов истеро-эпилепсии» (Волинский. А.Л. Указ. соч. ЦГАЛИ. Ф.91. Оп.1. Д.42. Л.210).

Письма З.Н. Гиппиус к А.Л. Волинскому публикуются по автографам, хранящимся в Государственном Литературном музее (ГЛМ. Ф.9. РОФ. 1357/1-24) и в ЦГАЛИ СССР (Ф.95. Оп.1с. Ед.хр.430).

1

7 april [18]91 г., Venezia

Наконец-то дурная погода засадила меня за корреспонденцию. Вы не знаете, что такое Венеция, Аким Львович. Я была здесь так счастлива, как нигде раньше. Я не умею описывать — да и не надо. Нельзя рассказать того, что нужно видеть. Искусства и природа, соединенные здесь почти волшебным образом, дают сердцу слишком много. Петербург с его злобой, пародиями, «протестами» вроде письма Юлии Безродной¹, мокрым снегом и широкими, холодными улицами — кажется мне чем-то далеким, едва существующим. А сколько еще впереди! Неаполь, Рим... Если они вполонину так прекрасны, как Венеция, то я буду счастлива. Но боюсь, что ничто не сможет меня победить после Венеции. Ни в Риме и ни в одном городе всего мира нет этих тихих, светлых каналов вместо улиц; старых, потемневшего мрамора, дворцов со ступенями, покрытыми мохом и погруженными в зеленоватые волны. Я не увижу больше нежных, милых гондол, которые кажутся мне живыми существами. Она скользит по воде так легко, так осторожно, стройная, темная и... я бы сказала — женственная, если это можно. Она не любит моря, боится волн, вся дрожит и трепещет, чуть выйдет из тихой лагуны. Здесь счастливы все люди, у них каждый день — радостный праздник. Мальчики уселись на ступенях Св.Марка, весело смеются, и ничего не делают, вот идет итальянка в высокой прическе, и у нее ужасно счастливое лицо. Ни шума колес, ни топота лошадей, только крики гондольеров на воде, шорох толпы — именно шорох — и шум голубиных крыльев на Piazza. А там, за лагунами — Адриатическое море, такое светлое и воздушное, так непохожее на тяжелое Черное море... Боюсь чего-нибудь дурного — я была слишком счастлива. А если б я Вам сказала, что такое Тициан... Но, однако, я увлекаюсь. У меня вечные противоречия. Только что решила написать письмо без всяких описаний — и невольно вдалась в целый ряд фраз,

которые разве только облегчают мою душу, но Вам ничего не говорят, да и не могут сказать...

Есть и здесь, как везде, свои мрачные стороны, а именно: табльдот. Мучительнее и нелепее этой выдумки я ничего не знаю. В былое время, когда люди не сторонились так друг друга... Теперь же это ужасно. Ни одного русского. Все мучительно-гранитные англичане, которых я теперь ненавижу. Один в особенности: ест медлительно и засовывает в рот вилку до самой рукоятки.

Пишите мне в Рим, хороший мой Аким Львович. С нетерпением стану ожидать Вашего письма. Подчас мне ужасно хочется знать, что делается на родине. Из Петербурга мне никто не пишет. Мой сердечный привет Любовь Яковлевле². Непременно ей напишу. Глинскому³ скажите, что я советую ему прокатиться в Венецию. Кстати, миленький дом Дездемоны сдается на Grand Canal. Мы уже соблазнились.

Крепко жму вашу руку и жду письма.

Зин. Мережковская

2

Май [18]91 г., Капри.

Получила ваше письмо, Аким Львович, и — хотя сердита на вас — прочла его с удовольствием. У меня слишком доброе сердце — это мое несчастье. Если на вас не могу сердиться долго и серьезно — значит отношусь к вам действительно хорошо, пожалуй, лучше, чем следует. О, Аким Львович! Зачем вы дали читать мой очерк тем людям, которым я не хотела дать сама? Я принесла его *вам*, *вам* написала на обороте несколько строчек, *вас* просила, если возможно просмотреть его и отдать Глинскому, а буде он не согласится его напечатать (в чем почти уверена), хранить листки до моего возвращения. Вы дали их читать самому неприятному для меня человеку (у него читали и другие) — и право была минута, когда я искренно подумала — вот он какой, Аким Львович, ему ничего, видно, не стоит огорчить меня...

Но... что было, то прошло, я на вас не сержусь и не будем говорить об этих пустяках.

Мне сегодня грустно, потому что через несколько часов мы покидаем Италию. А эта «благословенная земля», как поют итальянцы, дала мне столько счастья, что невольно в душе моей теперь к ней чувство благодарности и нежности. Капри — это райская сторона, и у меня мечта вернуться сюда когда-нибудь.

Аким Львович, знаете что? Одним, без друзей, тяжело жить долго за границей, когда вы поживете и в Париже, и в Лондоне,

устанете от городов и людей — соединимся все вместе и проживем несколько месяцев на Капри. Здесь такая красота, такая тишина и радость — как я не знаю нигде; мне кажется, здесь можно написать что-нибудь истинно прекрасное. Устроим целую маленькую колонию, уговорим Любовь Яковлевну, еще кого-нибудь (конечно, абсолютно дружественного всем остальным), найдем маленькую виллу на берегу Салернского залива, купим ослов для прогулок по горам, будем работать, здороветь и наслаждаться. Мне кажется, что так освежиться от Петербурга очень полезно иногда. Однако я замечталась. Не теряю надежды, что когда-нибудь мечта превратится в действительность. Как вы думаете, милый Аким Львович?

Крепко жму вашу руку. Если будет время — черкните строчку, когда едете и куда.

Зин. Мережковская

[Приписка на последнем листе слева:]

Мой адрес: Paris, Hôtel Mirabeau, Rue de la Paix

[Приписка на последнем листе сверху:]

Я думаю, в Петербурге все по-старому. Увидимся ли у нас в деревне? Приезжайте хоть ненадолго.

[Приписка на последнем листе справа:]

Что за ужасное чернило!

3

8 июня [18]91 г., Париж.

Пишу вам тоже несколько строк, милый Аким Львович, и не в отместку, а просто потому, что мы сейчас уезжаем. Очень хорошо в Париже! Надо будет и здесь пожить. Познакомиться со здешним литературным кружком очень легко, все такие милые и любезные. Русских тоже здесь много и они здесь также, как в своем отечестве, часто занимаются новостями. Например, вчера мне за верное передавал один очень почтенный человек, что вы женитесь на Любовью Яковлевне и сами об этом говорите. Он не делает тайны из своих слов, и потому я обращаюсь к самому первому источнику, чтобы узнать, правда ли это — а именно к вам. Передавали мне тоже многое о «Северном вестнике»⁴. Но кто их разберет, где правда и где неправда?

Скоро мы возвращаемся в Россию. Напишите мне в Монтре⁵, до востребования. Очень бы рада была писать и получать от вас весточки почаще. А в деревню приедете? Ведь вы обещали. Если сдержите обещание — скоро увидимся. А теперь супруг меня не-

выносимо торопит, и я поневоле должна сказать вам до свидания.

Крепко жму вашу руку. Пожалуйста, не забывайте меня.

Зин. Мережковская

4

[Между 8 июля и 28 июля 1891 г.]

Я очень виновата перед вами, Аким Львович, и очень горюю, что дала неверный адрес. В Montreux мы были всего на несколько минут, почта была закрыта и я никак не могла узнать, есть ли там ваше письмо. Впрочем вы, вероятно, мне и не написали. По своей вечно бестактной прямоте я просила у вас подтверждения глупой сплетне — которой я почему-то придала значение. Теперь, когда выяснилось, что это сплетня, мне начинает казаться, что я должна была сразу угадать это. Впрочем — не все ли равно? Важности тут очень мало.

Читала вашу рецензию обо мне. Спасибо за искренний тон и за все хорошее, что вы сказали о моем бедном «Одинокое». Я лично считаю это штукой очень посредственной. Вы знаете, как я не уверена в себе. И мои две последние вещи, написанные в Интерлакене⁶, кажутся мне прямо невозможными, бездарными и ненужными. Я читала их Плещееву⁷, его семье — и обе повести очень не понравились. Я работала над ними много — и потому можете себе вообразить, как я обескуражена. Приезжайте в деревню — я их вам прочту.

Где вы теперь? Пишу в редакцию «Сев[ерного] Вестника», ибо это вернее. Из Пале-Рояля вы уже верно выехали. Мы серьезно собираемся домой. Пора. Из Парижа мы отправились в Интерлакен, где прожили две недели в холоде и дожде. Потеряв терпение — мы уехали на Женевское озеро, в Vevey. Там было превосходно, только слишком жарко — и вот мы снова в Интерлакене, под дождем. Решительно пора домой. Как-то вы живете? Рассказ Летнева в последней книжке Сев. Вестника очень мне не понравился. Что, это еще Глинский его принял? А Крестовскую⁸ вы чудесно оценили, по достоинству. Жаль, что не заметили одной классической фразы: «...не так тактично, как казалось». Это ли не стиль! Искренний привет всем, кто обо мне вспоминает. Крепко жму вашу руку.

Зин. Мережковская

[Приписка внизу:]

Напишите мне в Вышний Волочек, сельцо Глубокое, имение Шашиных. Буду ждать. Ведь вы обещали писать мне почаще.

27 июля [1891 г.],
станция Вышний Волочек, Глубокое.

Только вчера получила ваше письмо, милый Аким Львович, потому что только вчера возвратилась из-за границы. Очень мне странно и дико в России теперь, да еще здесь, в глуши. У нас настоящая деревня, настоящая глушь. Пожалуйста приезжайте, милый Аким Львович, вы доставите радость не только мне с Дмитрием Сергеевичем, но и всей моей семье. Всякий свежий человек здесь принимается с восторгом и откармливается по-деревенски. Колокольчик у нас — событие. Тишина идеальная, и все домашние животные, как-то: лошади, коровы, собаки — отличаются незнанием добра и зла и необычайной наивностью. Жду вас с большим нетерпением и серьезно огорчусь, если вы не приедете. О стеснении не может быть и речи. Мама тоже очень просит вас быть великодушным и заехать разделить нашу скуку, хоть на малое время. Приезжайте, дорогой Аким Львович, ведь вы обещали. Я прочту вам две мои новые повести. Слышали вы, какое против меня гонение выдвигалось? И Буренин⁹, и Скабичевский¹⁰, и «Русская Мысль»¹¹. Я было пришла в уныние, но теперь начинаю опять думать о новой работе. Жду вас с нетерпением, дорогой друг мой.

Ваша Зина Мережковская

20 августа [18]91 г., село Глубокое.

Я вам не написала в деревню по тому адресу, который вы дали — единственно вследствие физической невозможности, милый друг мой. Мы живем в такой глуши, что часто по целым неделям не имеем сообщения с остальным миром. Завтра предполагается оказия, т.е. повезут письма на почту в город — и я пользуюсь случаем, чтобы написать вам эти несколько строк. В конце концов оказалось, что все вышло к лучшему: вы поторопились в Петербург и, вероятно, моего письма в деревню не успели бы получить. Конечно, я огорчилась, что вы не заехали к нам. Но мне кажется — я понимаю вполне ваше настроение и угадываю, как тяжелы вам были бы всякие встречи с посторонними и чуждыми людьми. Я знаю многих, любящих свои личные печали, как и личные радости; такие люди никогда не остаются одни со своим горем; но мы с вами оба не такие.

Скоро я увижусь с вами — не на лоне природы, как я надеялась, но в сущности дело не в этом. Если бы все, что вы пишете, могло сбыться! Если бы действительно можно было жить не злобствуя, не браня, не вредя друг другу, если бы можно было составить хоть небольшой кружок серьезно работающих и серьезно думающих людей, хороших товарищей, и доверять им бесконечно, не боясь, что они вдруг отвернутся от тебя из-за вздора, из-за какой-нибудь сплетни! Я такая пессимистка, что не верю в возможность этого в Петербурге, да еще в литературе. Есть вы, есть я, есть отдельные личности — но нет союза, нету кружка. Мы об этом как-нибудь поговорим с вами при свидании. Во всяком случае — большое спасибо вам за добрые, искренние слова. Каждое письмо ваше оставляет во мне отрадное чувство. Я буду ждать от вас еще несколько строк в Глубокое. В деревне живетя недурно, я почти привыкла к унылым российским полям. Пишите же, милый Аким Львович.

Ваша душой Зин. Мережковская

7

15 янв[аря 18]94 г., Кронштадт

И без тебя я не умею жить...
Мы отдали друг другу слишком много.
И я прошу как милости — у Бога,
Чтоб научил он сердце не любить!

Но как порой любовь ни проклинаю, —
И жизнь, и смерть с тобою разделю.
Не знаешь ты, как я тебя люблю,
Быть может — я сама еще не знаю!..

Но слов не надо... Сердце так полно,
Что можем только тихими слезами
Мы выплакать, что людям не дано
Ни рассказать, ни облегчить словами...

З.Гиппиус

8

17 июня [18]94 г., СПб, Литейн[ый] 24, 26

Акиму Львович! Я вернулась из-за границы более здоровая и потому более равнодушная ко всем людским свойствам; я хочу послать вам одну маленькую повесть. Ответьте: в городе ли вы? Если вас нет или вы собираетесь куда-нибудь — я лучше отложу

мое намерение. И очень просила бы вас ответить не позже завтрашнего дня, ибо я уеду на дачу.

Зин. Мережковская

9

8 июля [18]94 г., Ораниенбаум, Ольгино, д.9.

Аким Львович,

не получая от вас ни строчки, я решила пока послать мою рукопись Михайловскому¹². Конечно, я не смела думать, что он ее примет — ведь в ней ничего «либерального»..., однако он ее задержал, прежде чем отказать — и вот причина моего замедления. Посылаю рукопись, недостойную «Русского Богатства»¹³, вам; может быть, несмотря на отсутствие «либерализма», она покажется вам интересной — в каком-нибудь другом отношении.

Со своей стороны я этого очень и очень желаю. Это радовало бы меня гораздо больше, чем надежда видеть свои произведения в осенних книжках «Русск[ой] М[ысли]» и «В[естника] Евр[опы]»¹⁴ — во-первых, потому, что теми вещами я мало дорожу, а кроме того — мое возвращение в «Сев[ерный] В[естник]» означало бы, что не ссорятся люди, которые, я верю, по существу не должны быть врагами.

З.Мережковская

10

27 дек[абря] 1894 г.]

Посылаю вам, дорогой Аким Львович, вчерашние стихи. Были ли вы в Публичной Библиотеке? Куда это вы вчера так неожиданно скрылись? Я вас искала, искала... и Любовь Яковлевну тоже, а мне было необходимо сказать ей несколько слов.

Не придете ли вы к нам в воскресенье, только пораньше? У нас будет елка, хотя и не очень пышная. Все-таки приходите, без вас как-то и елка не в елку. До свидания, до воскресенья.

Зин. Мережковская

11

21 января [18]95 г., СПб.

Даю единственное право на издание всех моих произведений, стихотворных и прозаических, и имеющих быть написанными —

Акиму Львовичу Флексеру, при моей жизни — равно как и после моей смерти.

З.Гиппиус-Мережковская

12

27 февраля [1895 г.], понедельник.

Мне бесконечно грустно. Я дурно писала (всего 6 страниц) и чувствую себя усталой. Меня глубоко огорчило то, что вы уехали именно тогда, когда я была так хорошо к вам... Мне больно, что вы *должны* от меня уезжать к моим недрузьям ради неведомых и чужих дел. У меня печальное, но нежное настроение. Чувствую себя принесенной в жертву — и рада быть жертвой для вас.

Боже, как бы я хотела, чтобы вас все любили! Все, кто имеет отношения со мной. Я смешала свою душу с вашей, и похвалы и хулы вам действуют на меня, как обращенные ко мне самой. Я не заметила, как все переменялось. Теперь хочу, чтобы все признали значительным человека, любящего меня. Жаль, что я никому не могу рассказать о его любви. Пожалуй, этого было бы недостаточно. Но любовь нерасказуема. Ее можно только чувствовать и понимать, — вот как я ее чувствую и понимаю.

Кончаю письмо — и мне уже не так грустно. А вам? Приезжайте на поезде. Нельзя ли *совсем*? Я была бы так рада.

13

28 февраля [1895 г.], вторник.

При всем пламенном желании, мой милый, я *физически* не могла вашего желания исполнить, ибо за два часа отдала обе карточки Венгеровой, которая уезжала. Ей нельзя было ждать.

Прошу вас очень, отдайте сегодня же прилагаемый конверт Pasetti, не знаю, сколько придется доплатить. Я отравлена вашими письмами... Вашим последовательным... Нет, не могу отдать их Пете. Сами возьмите, когда придете вечером. Они готовы, сосчитаны и сложены. Вот увидите. Я не читала подряд, но случайно многое мне попадалось на глаза — и я отравлена...

Я отравлена...

Неужели вы когда-нибудь были такой нежный, такой мягкий, такой предупредительный, деликатный, милый, особенно милый и дававший мне таинственные надежды на беспредельное?

Увы мне!

Теперь вы — требовательны и фамильярны, как после года супружества. Вы меня любите — о, конечно! Но любите без поры-

ва и ужаса, все на своем месте, любовь должна течь по моральному руслу, не превышая берегов нравственности. Вы меня любите — но вы твердо уверены, что и я вас люблю, что вы имеете право на мою любовь — еще бы! Ведь тогда бы не было и вашей. Чуть что — до свидания. У меня, мол, дела, некогда мне с вами разговаривать. А так как я человек чувственный (вы не ошиблись, это верно, только моя чувственность имеет оригинальные стороны) — то очень удобно подкреплять свою любовь... Ведь это же главные доказательства...

Можете воздвигнуть на меня гонения, можете ссориться со мной, бранить или поучать меня — вы будете правы. Я хочу невозможного, подснежников в июле, когда солнце сожгло и траву. Хочу, чтобы у вас не было привычки ко мне и... чтобы было то, чего нет, слепая, самоотверженная вера... нет, доверие ко мне.

Какую казнь вы мне изобретете за все это? Скорей выдумайте, а то нет силы ждать.

Какая жизнь! Какие оскорбления! И какое счастье, что есть надежда на окончание.

Да, вас балует Бог во мне. Но за что он меня ненавидит?

[Приписка на листе сверху:]

Всех писем 113 — с сегодняшней запиской!

14

28 февраля [1895 г.], вторник.

Я не знаю, чем я заслужила такое письмо, как ваше, я не знаю, что с вами, я ни в чем не виновата, ничего не понимаю — и мне кажется несправедливым, что вы заставляете меня *так* страдать. Ежели вы разлюбили — или хотите разлюбить меня — скажите это словами. Причем тут ваши настроения? Да и кроме ваших, есть также мои. Если они и не столь важны для вас, сколь ваши, то все-таки имеют же какую-нибудь цену... И вы даже не хотите прийти и бросаете меня так...

15

[1895 г.]

Отдайте мне
спасение души.

1 марта [1895 г.], среда, СПб.

Вы не так поняли мое письмо. Я написала: отдайте мне спасение души. Я хотела знать, отдали бы вы — мне спасение *вашей* души? Тут нет никакой возможной жертвы, реальной, тут, пожалуй, и все слова бессмысленны, потому что какое же есть «спасение души» и как его можно отдать? А между тем — тут есть глубокий смысл — важность моего настроения и важность вашей жертвы, которую я понимаю и принимаю с бесконечной шириной. Да, принимаю, потому что в вашем письме есть ответ на это, ответ именно такой, какой мне нужен.

Вы мне необходимы, вы — часть меня, от вас я вся завишу, каждый кусочек моего тела и вся моя душа. Я говорю полную правду. Ваша любовь — если она такова, какой я ее хочу, а она такова — дает мне веру в божественное, и она одна — а без веры, вы знаете, жить нельзя. Чего же еще нужно вам от меня? Неужели нужно — и можно — больше? Отнимите у меня вашу любовь — вы увидите, что от меня останется. Вы не знаете моего странного, безумного сердца: оно способно почти на чудеса. Я не похожа на вас — пусть и чувства наши будут не в унисон, не тождественны. Надо, чтоб одно стоило другого — и верьте, верьте, я не лгу, я не притворяюсь — я не обманываюсь, *я знаю* — мое стоит вашего и даже еще большего стоит — вот той любви, которую вы меня будете любить завтра. У меня есть *внешнее* слишком горячее чувство к вам, стоящее отдельно от истинного, внутреннего. Оно пройдет, я не хочу давать ему воли, потому что не хочу потом страдать (сама от себя, я такова); и оттого не прихожу к вам, вижу вас так редко, о, так редко! Сегодня я уже перешла Невский и вдруг остановилась на вашем углу.

[Приписка сверху на первом листе:]

Теперь мне грустно, что я не умею сказать вам, *как* я к вам. Мне все кажется мало. И кажется, что не захотите понять и поверить. Верьте совсем, до глубины.

[Приписка снизу и справа на первом листе:]

Нет, нет, нельзя. Нужна гармония между моей душой и телом. Разлад меня слишком мучит. Вы не сердитесь. Вы меня понимаете? Но завтра я приду к вам — около трех. Не могу. Вы меня слышите? Вы чувствуете?

[Приписка по тексту на последнем листе:]

Напишите еще сегодня — если сможете, а то — завтра утром. Но с вашим письмом так сладко спится...

1 марта [1895 г.]

Дружок, радость моя, люблю вас бесконечно, умираю от того, что вы не едете, не приедете до субботы, что не увижу, не могу, не могу! Зачем было лучше не позволять мне прийти к вам!

Там бы я *так* сказала вам, что не могу без вас, *так* сказала бы, что вы не посмели бы не быть со мной вечно, расставаться со мной на три дня. Знайте, что я жду вас каждое мгновение, думаю только о вас, мучусь только тем, что вам печально (и отчего? отчего?) и не хочу, чтоб вам было печально, и не могу этого... Скрывайте, если вам «печально», потому что тогда мне не печально, а физически больно, сердце обливается кровью и слезами и вообще вы сотой доли не знаете из того, что я чувствую. Ради Бога, скорее, скорее, и будем жить в радости, в мире и любви. Я только этого и хочу. Честное слово, у меня внутри что-то рвется, когда вам так несправедливо печально. Ведь люблю, люблю вас, неужели это мало? Неужели за это нельзя быть около меня, не покидать меня на три дня, не мучить так Зину, вашу Зину, совсем вашу.

1 марта [1895 г.], среда.

Вы совершенно верно поняли меня, Аким Львович. Я просила вас зайти завтра вечером, потому что вы давно у нас не были, а завтра, вероятно, наше последнее «собрание» — скоро уезжаем. Итак — завтра вечером, и *кроме того* на блины в пятницу или в субботу — лучше в субботу, ибо в пятницу у меня скоро англичанка. Очень интересуюсь, уговорили ли вы Кони¹⁵. Д[митрию] С[ергееви]чу, я думаю, все равно, и он вам завтра даст свою драму. Пожалуйста, приходите.

Ваша З.

Николаю Максимовичу поклон не передала. Может быть вы его завтра сами увидите, так все равно.

[На обороте записки:]

Акиму Львовичу Флексеру, Пушкинская. Пале-рояль.

2 марта [1895 г.], четверг.

Я сегодня недвижима. Вы не приехали — ну, значит, нельзя. Я и писать не могу. Спешу и это кончить. Перебой — первый раз серьезно. Приезжайте, когда возможно.

З.

[Приписка на листе внизу:]

Вот, все идет так! Одно к одному. Все равно.

20

2 марта [1895 г.], четверг.

Поздно. Скучно. Весь вечер меня давила свинцовая скука; я читала, скучая, полусонная, в полусне отвечала на идиотские любезности каких-то лакееобразных графов и князей, похожих на мешки с картофелем; на траурных дам я глядела с тупостью и думала, что они похожи на гувернанток, вымазанных сажей. Кавалергарды звенели шпорами и с сожалением глядели на мое засыпающее лицо. Сам Тютчев превратился в солому. Наваждение! Я и теперь хочу спать, до сих пор не освободилась от гипноза. И письмо лучше допишу завтра, а пока желаю вам спокойной ночи, у меня сил нет сидеть дольше. До чего вы не стоите моего к вам отношения! Уж очень оно хорошо.

[На обороте записки:]

3 марта, пятница.

У меня мама, спешу, иду гулять. Напишите, в котором часу придете.

3.

21

4 марта [1895 г.], суббота.

Неужели вы сегодня не придете? Мне почему-то кажется, что я вас сто лет не видела. Не могу без вас. Я сегодня не обедала, Д[митрий] С[ергеевич] тоже, и мы в 10, если возможно, пойдем на 1/2 часа к Палкину, а то мне вредно. Буде у вас нет денег — не смущайтесь.

Любите ли вы меня сегодня? Сколько времени я вас не видела! Нет, сколько времени! Я так не могу. А вы?

Зизина

22

4 марта — днем, суббота.

Если бы вы знали, как мне бесконечно дурно и печально! Но — не сердитесь — я вместе с собою жалею вас, жалею, как маленького большого ребенка. Напишите мне одно слово, чтобы я знала, что вы меня не разлюбили.

А вечером, если вам не не хочется меня видеть — придите часов в 9, принесите роман Ч.¹⁶ Будем читать и думать о своем.

Ваша.

4 марта [1895 г.], суббота.

Я не знаю, что написать — но мне нужно вам написать. Боже, как мне страшно и холодно! Вы заняты собою, своими делами — и это не должно быть иначе. Но мне страшно, я боюсь вас, как жизни боятся, я утомлена, я почти не живая. Как ясно мне было, когда я вас слушала, *что* именно для вас — жизнь, *что* вам дороже всего на свете. Редко человек изменяется, а еще реже можно встретить такого, который весь может отдаться одному порыву, вспыхнуть и сгореть, если нужно, как связка сухих листьев. Вы мне дороги не шутя, без ограничений, без сомнений. Но я и себя дорого ценю — и не могу забавляться там, где вопрос о жизни человеческой, о том как *вместе* пройти путь, отделяющий нас от смерти. Ведь мы оба умрем — и тогда ведь уж будет все равно... А пока — я хочу соединить концы жизни, сделать полный круг, хочу любви не той, какой она бывает, а... какой она должна быть и какая одна достойна нас с вами. Это не удовольствие, не счастье — это большой труд, не всякий на него способен. Но вы способны — и грех, и стыдно было бы такой дар Бога превратить во что-то веселое и мало нужное. Вы пугаете меня, я сохну и вяну, зная вас чуждым. Вы мне нужны — как никогда раньше. Вы мне нужны навек, — до времени, когда я лягу в землю.

11 марта [18]95 г.

Я давно предлагала вам, Аким Львович, не обижаться и не обижать друг друга. Вижу, что надо покориться обстоятельствам. Вы можете отдать мне половину вашей жизни — принимаю ее с благодарностью, но не прогневайтесь, что и в моей душе будет сторона, недоступная вам. Впрочем — вам от меня и не нужно многого. Я замечаю с некоторых пор, что в вашем обращении со мною нет прежнего «ужаса», а есть спокойная и довольная нежность любящего супруга. Жену необходимо любить, но ведь все в меру, не так ли? Я и не ропщу, я только факт констатирую. Другое дело — насколько мне нужен «ужас» и насколько я им дорожу. Может быть, я и хочу «ослепительного», может быть, я и сотрусь, исчезну, если не найду ослепительного... Это все моя забота, мои печали, мои — а не ваши. Прекратим же «безумные мечтания» раз навсегда, т.е. разговор о них, вас раздражающий, как «старая песня» — да и бесплодный — и будем довольствоваться

ся тем, что у нас с вами есть, помня пословицу: кто малым недоволен, тот большого недостойн. *Ainsi va le monde**.

З.Г.

Что же вы не исполнили моих поручений? Ай, ай! В последний раз напоминаю о них. А придете вечером в гимназию Мая? Впрочем — ведь вы пишете! А жаль. Оттуда мы могли бы куда-нибудь поехать.

Может быть зайду к вам завтра перед обедом. Думаю, что да. *Yours truly***

25

13 апреля 1[895 г.], четверг ночью.

Мне чудится, что эти чувства летят в пространстве, и буквы мои падают, и я сама куда-то опускаюсь... Почему сегодня ни одной строки, ни звука, ничего?.. Вот прежде этого не могло быть. Прежде и дней не было, когда мы не видались, хотя вы работали всю зиму... К чему упреки? Не все ли равно, кто виноват, если даже неизвестно, виноват ли кто-нибудь? Всеми силами я стремилась создать между нами цепь, которую ничто бы не разбило, иногда кажется, что цепь есть — а потом... нет, нет ее, и опять я мучаюсь и придумываю — и сама не знаю, что хочу придумать. Иногда я делаю планы на года — а потом опускаю руки и с ужасом жду от вас сухих слов, жалоб на печаль, уверенность в полном одиночестве.

Видно Бог хочет всегда не того, чего люди хотят. Видно так суждено, что нужно бороться, бороться, потом упасть и умереть. Когда вы меня покинете (ведь вы меня покинете? Когда между нами нет внешней, реальной цепи из железа... вы сказали, что чуть вам покажется, что я не так сильно люблю, вы сейчас же уйдете... а вы можете отвечать, что вам *верно* покажется? М.б. вам и теперь уже показалось) так вот, когда вы меня покинете — отдайте мне все старые ваши письма, я буду перечитывать их, как читала в декабрьские ночи — и вспоминать все страшные волнения, полные надежды на светлое, большое и чистое, что обещали письма. О смягчите ваше сердце. Мне холодно, согрейте меня! Я несчастна, я плачу, я готова бежать к вам сию минуту, бросить все, — и я не могу умереть только потому, что хочу, чтобы вы жили. Вы меня не хотите понять. Во мне много противоречий, я знала, что они испугают вас — но неужели сквозь всю эту сеть

* Такова жизнь (франц.)

** Преданная вам (англ.)

вы еще не сумели увидеть, как искренно и сильно мое чувство к вам? Если бы вы были хоть, о, я знаю, я сумела бы уверить вас, показать правду... вы в одно мгновение *почувствовали бы*, как я вас люблю. Но зачем писать? Вы не верите... Я только оскорбляю свое сердце.

[Приписка на первой странице в левом верхнем углу:]

Le Temps pour l'amour
Ce qu'est le vent pour le feu
Il éteint le petit, et il allume la grand!*

26

1895 г.

Я целую ночь видела вас во сне и с утра не могу отделаться от впечатления, хотя оно немного испорчено сознанием, что теперь вы в большом обществе и... Думаете ли вы обо мне, любите ли меня сегодня? Ведь надо спрашивать каждый день. Ваша статья очень хороша. Я хвалила ее сегодня — и мне было приятно услышать серьезное восклицание от серьезного человека: «А знаете, Вольтер — талантлив!» Но, к сожалению, я тут же вспомнила одну фразу из одной из ваших древних статей... Но это в сторону. Я так давно не видала вас. У нас есть серьезные разговоры, хотя вы их и не любите и даже избегаете, но я чувствую потребность о многом говорить с вами положительно — и очень, очень серьезно. Сегодня вечером мы непременно увидимся, или..., но вы этого не сделаете, не можете сделать, вы чувствуете достаточно тонко — я даже перестаю за вас бояться. А прежде я все боялась, что вы сделаете что-нибудь такое, что мне безвозвратно не понравится. Хотя бы мелочь. Понятно?

Нет, правда вы меня очень, очень любите? Так, как я хочу? Так, как мне нужно? Сделайте меня счастливой — а я постараюсь дать вам все счастье, какое могу — какое *хочу*, а хочу много.

Зина.

27

[1895 г.]

I am very sorry, because this Sir said to me that you will have a large society at yours. Really, I am very sorry. He is full of you. Come please quickly. I shall not go out. If you will not be here at five

* Время для любви,
Как ветер для огня:
Он гасит слабое пламя и разжигает сильное! (фр.)

o'clock — I shall think you dont love me enough. I write in English, because I have no faith in this awfull gentleman.

Only yours
Zina*

28

[1895 г.]

Вот вам пакет. Я только что приготовила его с письмом и отдала Д[митрию] С[ергеевичу], который уже оделся, было, чтобы идти к вам. А у вас никого не было? И приема не было? Странно.

Карточки почти в хронологическом порядке, только римскую надо поставить последней, а дрянную большую (ее не стоит снимать) — перед римской.

Как я серьезна на двух первых! Я была очень серьезна в детстве.

29

1 ч[ас] дня.

Голубчик, придите ко мне сейчас. Я получила от В-вой¹⁷ оскорбительное письмо, в котором она меня поучает и говорит о каких-то моих «жизненных и корыстных целях» относительно Минского¹⁸. Я ничего не понимаю, ну ей-Богу ничего не понимаю! Зову вас потому, что страстно хочу ответить — и не хочу сделать этого, не посоветовавшись с вами, помимо вас.

Какая грязь, этот Минский!

Это самый грязный, самый черный человек, который встретился нам с вами.

Зина.

30

[1895 г.]

Темнеет, англичанка еще не пришла, хорошо бы успеть теперь написать вам. Нет, я неправду написала утром — и не знаю, отчего молчала днем — я гораздо больше, еще больше ревную вас сегодня, чем вчера. Это какой-то кошмар. Правда, очень на вас

* Прошу прощения, поскольку этот господин сказал мне, что у вас будет большое общество. Действительно, я очень сожалею. Он полон вами. Приходите скорее. Я не собираюсь выходить. Если вас не будет в пять часов, я подумаю, что вы меня недостаточно любите. Пишу по-английски, потому что не верю этому ужасному господину. Только ваша Зина (англ.).

не похоже, чтобы вы стали пускаться в *какие-нибудь* рассуждения с Любой о наших отношениях и даже обо мне — я и представить себе этого не могу, но ведь я и того представить не могла, что вы ей передадите мои слова о Минском, а вы, в свою очередь, не представляли себе, что она передаст их М[инско]му.

Много есть необъяснимого. При мысли, что на днях Люба придет, и вы... Ничего. Я попробую сделать так, чтобы мы были квиты. Пускай любят меня. Как жаль, что никто не предлагает мне делить с ним его труд. Вместе проводить будни жизни — что больше сближает? Не сердитесь. Ведь это так. Право, вам должно нравиться, что я вас ревную.

Мы с вами, хотя и разные, способны (как я имела случай убедиться) очень глубоко понимать друг друга, и вы поймете, что это очень хорошо — для вас — что я ревную. И как не понять! Человек, с которым вы связаны крепче неизмеримо, чем с кем бы то ни было, стоит вне вашей жизни; а тот, ненужный, только отнимающий вас у меня, ненужный потому, что и его я вам сумела бы заменить — так сильно я вас люблю — он совсем в вашей жизни и соприкасается с нею так *тесно*, что я не могу это видеть и переносить.

Нет, если бы вы знали, как я вас люблю!

[Приписка на последнем листе:]

Напишите мне сегодня.

[1895 г.]

Сколь вы счастливы, что умеете писать и даже кончите завтра! А я, бедная, сидела полтора часа над белым листом и не написала *ни одного слова!* И вообще, я разучилась писать, даже и представить себе не могу, что умела писать — о стихах и говорить нечего. Попытаюсь все-таки хоть одну страничку сегодня написать. Главное — не надо ни одного лишнего слова. Каждое слово должно брать быка за рога, иначе оно никуда не годится.

Я к вам отношусь очень неровно, как я замечаю. Час на час не похож. Бывают часы, когда вы мне вдруг покажетесь чужим, вдруг, сразу: по какой-нибудь мелочи, из-за вздора, когда я все мгновенно пойму, например, как велика и неразрывна ваша связь с Любой... Или что-нибудь вроде этого, какие-нибудь древнейшие мелочи, иногда предрассудки... Уже то, что я осмеливаюсь все это говорить вам, показывает, что я очень уверена в вас — и в себе. И зато бывают такие часы, такие особенно хорошие часы, и целые дни и *ночи*, когда я думаю о вас — и даже думаю с ужасом,

что если бы вы могли каким-нибудь образом узнать и понять мое к вам отношение до конца — вы бы, пожалуй, успокоились навеки, слишком убедились бы во мне — и то, что теперь вам кажется новым и чудным — показалось бы обычным, потому что оно слишком ваше. Я не думала, что могу когда-нибудь быть к вам именно такой. Вы меня еще не совсем знаете, многих мелочей и не можете знать, поэтому и не угадываете, что я действительно отношусь к вам необычайно и чудесно. Вы не знаете этого, потому что смотрите на меня как на всякую, и это естественно, но я себя знаю — и удивляюсь — и все-таки иду к вам и даже так много и так часто говорю вам...

Теперь поздно, целую вас сама, сама — и ложусь спать, не написав своей страницы.

Хотя я вас люблю!

32

[1895 г.]

А мне кажется по тону вашей записки, что вы отлично поняли, о чем я говорю, и только аплодируете. Я, кажется, не скрывала, что в мае мы уезжаем в Ораниенбаум, так что эта новость не должна была вас особенно поразить.

Приходите, буду вас ждать. Пришла ит[альян]ка, нет времени писать.

Приходите же.

3.

33

[1895 г.] суббота

Аким Львович, неужели мы так и не увидимся? Вы заходили и не застали нас. А отчего не пришли в четверг? Я захала бы сама, но совершенно измучена укладкой. Может быть выберете одну маленькую минуточку и проститесь с нами. Мы уезжаем завтра (воскресенье) в 6 часов вечера.

Ваша душой З.Гиппиус.

34

[1895 г.]

Я по горло в нафталине, но, конечно, и не думала, и не могла бы не видеть вас сегодня. Я вас очень люблю, несмотря на мои мысли и несмотря на одну фразу в вашем письме, которая резнула

меня, как диссонанс. Но все равно. Теперь нас уже ничто не разлучит. Ничто, ничто! Целую вас так, как только вы хотите. Приходите вечером, после итальянки.

Зина.

[Приписка на первом листе снизу и сверху:]

Психопатка прислала за мной, требует меня, умоляет в 3 часа, а я хотела идти с вами!

До вечера.

Психопатка опять прислала. Говорю «хорошо» — и иду к ней.

35

[1895 г.]

Я проспала, уже 11 часов, и я боюсь, что письмо не получится до двенадцати. Мы сегодня непременно едем. Я хочу, чтобы вы приехали с поездом в 7 часов. Я буду вас ждать. Мне действительно неприятно, что вы еще не можете приехать *домой*, постарайтесь это сделать. Привезите побольше книг. И вообще, приезжайте, как на квартиру, а не как в гости.

Я решила постараться нести мои железные прутья с терпением, пока сил хватит — и буду стараться о мире.

Исполните мои поручения (а то я окончательно обижусь), привезите Крафта — и хорошее настроение. Я вас достаточно люблю, чтобы вы могли быть мною вполне довольны.

До вечера.

Ваша любовь!

Подписалась — и в ужасе остановилась:
а если большую букву?..

36

[1895 г.]

Дорогой мальчик, я хочу обновить вашу бумагу, написать вам в двух словах, как крепко я вас люблю, как необходима мне наша дружба, именно дружба, помимо всего прочего, и как неверно вы иногда огорчаетесь, не желая понять того истинно хорошего, что заключено не в моих словах, а в том, что под словами, и с какой душой я эти слова говорю. Если б вы хоть раз сделали над собой усилие и доброжелательно посмотрели мне в глаза — все изменилось бы. А теперь — посмотрите: я даже вашим почерком разучилась писать, не поняла, что особенность вашего письма не только в мелких буквах, но еще в редких строчках, а этого я не поняла на первой странице. Милый Аким, напишите мне хоть

словечко в ответ, иначе мне весь день будет скучно, тяжело и гадко, и я стану думать, что вам все еще печально. А я не могу, Аким, чтобы печально. Пожалуйста, чтобы не печально. Я не знаю, — вот перед Богом говорю вам — что я больше люблю: вас или ваши писания. Обоих люблю, а, вернее, одного люблю в двух проявлениях. Я, в сущности, оттого и не читаю вам своего, что слишком вас боюсь, и все больше и больше боюсь, и не могу переносить от вас ни единого неодобрительного слова, слышите? Ни единого! Даже самого маленького не могу. А так как я знаю, что не может не быть плохих слов, то я и не читаю все ужасы, и не знаю, как буду читать.

Устала писать вам. На первой странице не похоже, но вообще я чувствую, что ваш почерк — во мне. Это особенное ощущение. Не хочу, не хочу вашей печали. И своей не хочу. Хочу света и Божьих лучей. Давайте помогать друг другу!

Один раз... только один...

3.

37

[1895 г.]

Какой вы странный! Куда вы девались? Я вышла не через 15 мин[ут], а через 5 — и вас не было. Пишу в магазине, спешу страшно — и стыжусь. Вы, конечно, шутите, что не получили писем? И так — до вечера, непременно, помните же, что я для вас надеваю старое платье, то, в котором...

Приходите около 11.

Ваша

38

[1895 г.]

Ваши распоряжения, должна признаться, меня очень мало устраивают. Почему вы сделали это без моего ведома? Прескверно выходит. Вы должны уйти в 11, а я, зная, что вы не сможете, обыкновенно, приходить раньше 11, позвала обедать маму и сестер, а они вряд ли уйдут раньше двенадцатого часа. Сколь это вышло ужасно!

Я, конечно, могу позвать вас и обедать, но тут главное в том, что я предпочитаю видеть вас наибольшее количество часов в наименее многочисленном обществе. Думаю, что и вы также. Нельзя ли ваши распоряжения переменить на прежнее? Впрочем, если нельзя, приходите, когда хотите. Сами виноваты. И еще виноваты.

ты, что у вас нет денег (честное слово, это меня начинает сердить) и мы не могли сегодня пойти обедать куда-нибудь вдвоем. Это только деньги, ибо время, как оказывается, у вас есть.

Вы легли вчера спать? Я целую ночь видела вас во сне — и сердилась, потому что во сне вы меня обманули и не легли в постель, как обещали. А чего вы хотите? Нельзя ли сказать? Я буду добрая и милая, и нежная, и ласковая...

3.

[Приписка на первом листе сверху:]

Напишите, когда придете. В ч[асов] 9? И только до 11? При маме?

39

[1895 г.]

Вы не легли спать!!!!!! Никог-да-не-за-бу-ду.

Сегодня, когда я встала, у меня было совсем весеннее настроение, и *особенно хорошее к вам*, хотя я вас не видела во сне, а видела почему-то Минского и Сигму. Теперь уже мне скучнее. Но все-таки ничего. И я надеюсь, что вы тоже сегодня не печальны. Завидую вам, что ваша статья катится, как по маслу. Я уже четыре раза начинала свою работу и, вероятно, начну в пятый. Каждое слово мне кажется тяжелым, как пудовик. Это всегда в начале.

Как вам сегодня г-жа Зайцева! И до чего это бессильно и вне литературы! Надеюсь, вы не будете отвечать этой семейственной даме. Меня, впрочем, письмо немного огорчило. Не само письмо (еще бы), а ваша фраза там, которую я было забыла: «поддавая коленом»... Поддавать коленом! Прекрасное, изящное выражение для серьезной статьи! Вы скажете: статья — не художественное произведение. Увы! Все должно быть художественно. Впрочем умолкаю, ибо заранее знаю, что только навлеку на себя ваше неудовольствие, раздражение — и все равно вы со мной никогда не согласитесь добровольно.

Я бы хотела теперь идти с вами гулять, на солнце, где пахнет свежестью... Не надо изменяться, не надо расставаться... Я чувствую прилив хороших сил и большой радости о вас. Большой радости. Все дурное я спрятала в глубину души, для себя, и подожду, пока вы кончите работу. Хотите, чтобы я пришла или вы сами придете? У меня итальянка до девяти. Ваша всегда.

[Приписка на первом листе слева:]

Д[митрию] С[ергеевичу] нужно вас видеть. Вы придете? Или тогда он проводит меня к вам.

[Приписка на последнем листе слева:]

Как бы выразить то хорошее, что у меня в душе? ... Ужели слов совсем неведомых и новых нет?

[1895 г.]

Ну нет! Нельзя ли вам сегодня не приходиться! И почему, скажите, вы отклоняете мои визиты? Какая у вас психология? Неужели вы, действительно, боитесь Любы? Ведь это же совершенно невероятно! Ужасно бы хотелось проникнуть в вашу психологию!

Приду, значит, не раньше девяти, делать нечего, вы к 9 — будьте дома, сделайте одолжение.

3.

[Приписка на первом листе сверху:]

Был Статуй. Мы его отправили и дали денег. Он клянется, что отдал мое письмо вашему швейцару. Гм... Свежо предание...

41

[1895 г.]

Боже, что с вами? Вы больны? Как можно было не написать ни слова! Если вы все-таки не ответите, лечу к вам. Больны — так остаюсь у вас и ухаживаю за вами, сердитесь — так выпрошу у вас прощение, докажу вам, что не за что сердиться, потому что я вас очень, очень люблю — и совсем не умею жить без вас — и если вы меня так обижаете, то я только замолчу — знаете? А не разлюблю, никогда.

Ваша З.

42

[1895 г.]

Как здоровье? Отчего нет письма? Вам хуже? Теперь еду к маме, оттуда прямо к вам.

3.

43

[1895 г.]

Приходите скорей. Глупости, я просто не знала, где вы. Я вас ужасно люблю. Умоляю все устроить без разлуки. Я не могу. Теперь пишу, оттого так мало в записке.

Зина

[1895 г.]

Что случилось?

Что-нибудь дурное? Почему вы не написали? Вы сердитесь? Боже, что мне делать? Я не могу, чтобы вы сердились. Умоляю вас, напишите мне до 9 час[ов] на 14 лин[ию] д.57, кв.2. Я буду там все время (Д[митрий] С[ергеевич] обедает у Прохора) и оттуда рассчитывает к вам. А вы не написали, как я просила!

[1895 г.]

Сколь вы безумны! Но уж все равно, если вы днем выходили, можете и вечером прийти. Принесите и «Что делать». Но все это не раньше 10 ч[асов] веч[ера], ибо у меня итальянка — и Заппо гого*.

3.

Да, когда же вы успели выздороветь?

[1895 г.]

Если ваше молчание имеет определенные цели, то было бы красивее достигнуть их другим способом. Я предпочитаю всякие слова стихийным силам. Больше не напишу, ибо ведь, между прочим, вы и этого хотите? Спасибо.

[1895 г.]

Посторонние дела — это значит «Сев[ерный] Вестн[ик]» и Люба. Все ушли, я одна, но теперь бы уж и вы ушли, ибо десять минут одиннадцатого. Я менее всего упрекаю вас, не сердитесь на нелепую записку, я писала ее под взглядами англичанки и под голоса Фидлеров¹⁹. Сегодня утром я чувствовала себя так дурно, что испугалась, уж не заболела ли я. Вдруг совсем заболею и не увижу вас сегодня? Но сделала над собой усилие — и пошла в Летний сад, таким образом немного разгулялась, я не ропщу на вас, только на судьбу немного, на судьбу, которая заставляет вас заниматься больше посторонними делами, чем мною. Я не жалею,

* Позолоченный клык (итал.).

что вы сегодня не поднялись наверх. Ведь было уже четверть десятого. Все равно, как ничего. Нет, я не ропщу и не сержусь, и не возмущаюсь. Вы знаете, что я вас достаточно люблю и вы можете теперь устраиваться как хотите. Если мне больно — то ведь это только мне больно, и вы даже и не узнаете, как мне больно. Когда будете свободны подольше — напишите, или так пришлите сказать, если устанете писать. Сейчас возьму Пашу, собачку и пойду относить вам это письмо. Все-таки буду ближе к вам. Вот как я вас люблю. Пишите хорошенько, будьте довольны, спокойны и счастливы.

Зина

48

2 ч[аса] дня

Я опоздала, я встала так поздно — и вы наверно придете раньше, чем я успею написать это письмо. Сегодня вам нельзя прийти к нам (ведь невозможно же каждый день!) и я ничего лучше не могу придумать, как мое собственное путешествие на Троицкую. Тем более это необходимо, что завтра вечером мы не увидимся: хочу воспользоваться итальянкой, которая уходит рано, и съездить к маме, как обещала. Вы недобрый. Зачем вы меня дразнили вчера? Я еще этого не забыла. И сегодня будет так же? Я много думаю вообще о том, что будет и как будет. Меня немного пугает ваша нетерпимость. Вам не нравится все, с чем вы несогласны. А я думаю, что надо дать свободу жить всему, что имеет силу жить. Но это скучные рассуждения теперь, здесь. Вы думаете, я забыла о Любе? Вы думаете, я смирилась и взяла «хлеб»? Нет, я не смирюсь никогда. Сказать искренно, думала, что вы, любя меня *так*, будете мягче, добрее, счастливее, больше позволите мне войти в вашу жизнь. Чувствую теперь протестующее движение вашей души, но как быть? Ведь у нас нет внешней цепи, а я хочу цепей. Я их на себе не боюсь, а на вас — хочу. Неужели вы думаете, что мы когда-нибудь расстанемся? Неужели вы теперь можете жить без той атмосферы, которую я создала вокруг вас? Я бы не могла не любить вас, если б даже и хотела этого, но единственно, чего я хочу — это безоговорочно слить вашу жизнь с моею, как вы жаждете слиться с Богом.

Через час:

Отчего вы не пришли за письмом? Мне было некого послать вниз, я думала, что вы позвоните. Теперь иду гулять и отдам письмо посыльному. Жду от вас скорее ответа.

[Приписка сверху:]

Напишите мне еще до вечера, а то я не приду.

Вы сказали, чтобы я не вспоминала о «пустяках». Но ведь это делается невольно, я не могу не думать, если думается — и не хочу молчать, если думается. Еще никогда (не странно ли?) я не чувствовала такой беспредельной близости к вам, и желания близости, и готовности на близость... и никогда еще внешние обстоятельства так грубо и резко не угрожали нас разделить. Я знаю, что они нас все-таки не разделят, это вопрос конченный — но посмотрите так, для знания, что теперь между нами. У меня должны явиться следующие соображения: он говорит, что любит меня по-прежнему, — хотя душа моя в его глазах теперь приняла другой цвет, который не может ему нравиться, который чужд его душе. Но это ему все равно — как он говорит — значит ему все равно, не важны струнки моей души, все равно, чужая ли она, или нет, значит она ему и прежде не нравилась, значит ему мало до нее дела. Ведь я не могу и не смею предполагать, что вы любите меня той большой любовью, которая ничто не разделяет — а все претворяет в себя — все, встречающееся на пути. Есть человек, которого душу вы больше любите, чем мою, которому вы больше верите, чем мне, которому вы ближе. Это Люба — вы знаете. И это разделение — причем не мне дана лучшая часть — я должна терпеть безмолвно и безропотно, потому что оно, вероятно, естественно и справедливо, — и потому еще — что я с ней не хотела бы поменяться местами — и даже не сумела бы — как не умею — от вас взять... не «фунт золота», а столько фунтов или пудов, сколько вы весь весите. Прибавьте к этому, что близкий вам человек, Люба, теперь навсегда будет смотреть на меня с враждебностью, основанною на истине — и усиленною неистинной. Прибавьте, что это ваше положение между нами, — врагами из-за вас, — безвыходное — и что каждое ваше движение в ту сторону, — поворачивает нож, который вложен судьбой в мое сердце. Прибавьте, наконец, последнюю сторону вопроса, самую внешнюю, но важную. Теперь, после клеветы: (вы правы, *ничего* не следует объяснять) вы знаете какой, я обязана себя совершенно отдалить от вашего журнала — и навсегда. Таким образом три четверти вашей жизни будут для меня мертвым пятном, чужим делом, тем движением в другую сторону, которое поворачивает нож. Вот окончание нашей мечты связать себя внешней, неразрывной цепью! Видите ли вы ряд порогов, через которые нам предстоит перебираться? Очень ли вы их боитесь? Еще раз спрашиваю: верите ли вы в будущее? Кроме написанного мною — нет ничего.

Повторяю, что я знаю вас могущим быть близко — и дорогим теперь, как никогда. Но мне очень, очень грустно, я чувствую себя больной и одинокой, одинокой потому, что я не стою вашей настоящей любви — а хочу только ее.

Я не так выразилась, *это я* могу быть вам близка — а вы смотрите в другую сторону. Так это все меня душит и давит, что мне все время хочется что-нибудь придумать, как-нибудь сбросить тяжесть... И я боюсь, что придумаю.

Я не хотела писать длинно — и вышло опять длинно и смутно. Зачем вы мне раньше не сказали? Тогда у меня было больше сил, а теперь я вся истерзана и порою не знаю, хорошо ли это кончится.

Последнее замечание. Отбрасывая все личные чувства, стряхивая всякое пристрастие и смотря чужими глазами высшей справедливости — я вижу, что только вы один в этой истории занимаете исключительное положение: Люба ж стоит Венгеровой, как Венгерова стоит меня, и я — Минского, которого я считаю зловредной и уродливой причиной всего. *Знаю*, что вы на месте Любы *не* стали бы читать писем чужого человека. Тем, что она их читала, да еще переписывала для вас, она сравнялась со всеми нами — это подтверждает вам ваше глубокое внутреннее чувство, которое не солжет ни ради кого. Не смешивайте его с общепринятой, дешевой справедливостью и порядочностью. Со всех этих точек зрения, да и с других — Люба очень права, правее нас, и даже благородна. Но я говорю с вашим Богом, которого я видела в вас вчера — и перед которым я так особенно, так горько виновата — потому что он, этот Бог, и мой тоже.

Напишите мне сегодня хоть одно слово, а то, мне кажется, и не доживу и до завтра. Я не писала У-му, мне очень трудно, когда я думаю, что вы ему уже написали... Если он скажет о вашем письме — я его буду утешать тем, что вы и мой роман не приняли. Это всегда хорошо действует на человека обиженного. Отказать ему сегодня еще вот почему нельзя: он через неделю уезжает из ПТб совсем. М.б., он и сам не придет.

Господи, как *важно* мне было бы видеть вас сегодня! Да нет, вы не можете знать, *как* важно... кончайте непременно сегодня и хорошо.

[Приписка на первой странице сверху:]

Ведь вы не будете сердиться, как Д[митрий] С[ергеевич], или я сделаюсь еще больнее? Мне было слишком нужно...

Мы приехали поздно. Мне как-то нездоровится. Погода скверная. Однако надо идти. У меня масса разных мыслей, но ни одной нехорошей. Если бы я была здорова, я написала бы вам неслыханное письмо, но теперь все хорошие слова стоят в душе и нет силы их сказать — ибо для этого ведь нужна немалая сила. Вчера мама заметила ваше дурное настроение и сегодня бранила меня, уверяя, что я, наверно, вас расстраиваю. Я отрицала и даже сказала, что вы вообще неровны и капризны. Зачем показывать другим ваши настроения? По-моему — всегда надо быть непроницаемым. Мне страшно писать вам, так я привыкла жить вместе с вами. Неужели, скажите, вам не кажется неестественным, что вы теперь сидите в редакции, а не под красной пелериной, как вчера вечером? Красная пелерина — символ. Даю вам слово, что я спокойна только тогда, когда вы в ней, под ней — в прямом или переносном смысле. Теперь меня уж кусает и колет мысль, что вы не так спешите под нее, как я хочу. Вам душно? Ведь это же ничего, что душно, правда, ничего? Это еще лучше. Придите в восемь, можете ли вы совершить экскурсию с Сiу? Завтра воскресенье. Редакция ваша кончилась. М.б. мы встретимся на Невском. Вот что нужно (для удобства выставляю цены):

Pate Roger Galle — 85 к.

Poudre rose Zentherie — 2-50.

Ondine — 1-25.

Ecoli tutto. Можете прибавить Vera-violette*, но не обязательно. То, что вам необходимо — я не забуду. Нет, нет, все ваши настроения должны быть дивными, так сильно я вас люблю.

четверг, 9 час[ов] и 3 часа ночи.

Много правды в вашем письме, но более, чем когда-либо знаю и чувствую, что все зависит от вас. Да, я берегусь от вас — и делаю это невольно, не думая — потому что вы слишком часто заставляли меня страдать... О, я не говорю о тех явных случаях, о наших ссорах, когда мы, может быть, оба одинаково мучили друг друга, говорили все открыто и прямо... Нет, гораздо мучительнее те одинокие минуты, когда вы не знали (и не знаете), что без осторожно-

* Перечислены названия парфюмерно-косметических товаров фирмы Роже Галле и др.

сти касались наболевших мест — и когда я не могла сказать вам: тише! берегитесь! — какой-то странный стыд удерживал, он — причина того, что мы не один человек, и... он и следствие того, что мы не один человек. В самые хорошие минуты я думала, что это пройдет со временем, что нужно только время, время... Не знаю, так ли это, но вижу ясно, как вы сами бережетесь от полной, невозвратной близости ко мне, точно еще не доверяете, не знаете хорошенько, какова я — и нужна ли вам, годится ли для вас такая, как я. А то после ошибки бы не вышло. Иногда мне кажется, что, несмотря на любовь, вы никогда не сможете и не сумеете относиться ко мне *внутренно* как к равной; никто в этом не виноват, хотя тут причина не во мне, а в вас. Я до сих пор никогда вашего равенства не чувствовала — а может быть потому я и оберегала свое человеческое достоинство (какое есть) от вас, допускаю, сознаю возможность быть оскорбленной или униженной вами. Ах, что слова! Зачем они, чему они помогут! Говорю так, без надежды, просто потому, что слишком тяжело на сердце. Не мелочи и привычки разделяют нас, а... хотите, скажу что? Ваша безмерная, странная гордость, не имеющая достаточных причин и оправданий в отношении меня, потому что, право, я тоже человек, имеющий душу не меньше вашей, если и не совсем однородную. Дико, что я это говорю вам, я знаю хорошо, что этого вы и принять не захотите... Все равно. Так я думаю. Вы можете сердиться, даже негодовать теперь на меня, но ведь это не ломка. Но что же делать? Иначе нельзя, или будет... недостойное, как теперь часто бывает. Я упомянула о деньгах... они ужасны, но есть многое ужаснее, главнее... Не коснусь этого теперь. Достаточно и денег. Они ясно показывают, что я не считаю вас своим. Могу сколько угодно утверждать и убедить себя..., а чувство остается. Знаю все резоны, знаю, что не права..., а сердце говорит: осторожней, берись, он не твой, он не хочет войти к тебе, он *может* оставить — а если может, значит и уйдет... Моя рука не уйдет от меня, она не может жить без меня — и я ее не боюсь, я ей доверяю... Если бы вы могли меня любить только... как себя — больше ничего не нужно. Или вам достаточно себя — и я просто лишняя? А мне кажется, все кажется, что человек один — половина человека.

Просить, если не должна просить? Я точно хожу по осколкам стекла — и теперь это все говорю через силу. Естественно ли это, подумайте? И вам, приятно ли? А между тем, я знаю, я способна быть, помимо всего, верным и честным другом, соединить себя с другим... Можно и ссориться, и быть самостоятельным — но нельзя, непереносно мириться с внешними, чуждыми отношениями, со стыдом, с самосохранением, с подозрительностью, с мы-

слями: а, ты вот как! я же тебе не поддамся! я сам за себя!.. Отношения какими *должны* быть наши — тяжелы, трудны, я знаю. Для вас — это...

[Приписка на первой странице в верхнем левом углу:]
Я ничего не купила у Rig и нигде.

52

[1895 г.]

Я ничего не могу сделать. Д[митрий] С[ергеевич] все равно не успеет приехать. Женя уедет только в шесть. Повезем сами корректуру вечером, больше нечего делать. Пускай он завтра приезжает, если нужно. Вы меня ужасно огорчаете. Я готова за вас душу положить, а вы все находите причины быть недовольным. Без атмосферы вашей любви, такой удивительной и необычайной, я чувствую себя потерянной и несчастной, а вы мне не хотите забыть легкомысленные минуты ради всей моей жизни. Я тоже хочу хороших слов и вовсе не согласна только утешать вас. Будьте хоть немного счастливее — хотя бы для того, чтобы я была счастлива. Вечером у мамы, да?

53

А.Л. Флексеру
Come very early*

Если я вас мучаю, так это оттого, что мне самой плохо. Ой, как плохо! Люблю вас, а все кругом рушится, и я в темноте. Сейчас еду на Михайловскую. Оттуда пойду пешком. Знаете, кого вы чуть не встретили у Степановых? Вам будет интересно. Сердце болит, сердце болит!

«Я стану жить своим мученьем,
Живи любовьию моей!»

54

[1895 г.]

Я вас безумно ревную к Любе, я хочу быть для вас *всем*, заключить в себе все, что для вас может быть в людях, я чувствую в себе силу на это — неужели вы не хотите? Ведь я вас люблю — и вы это чувствуете, очень, очень люблю.

Приходите вечером и пораньше, я буду очень рада. Гулять я не пойду, ибо в дурном настроении.

З.Г.

* Приходите пораньше (англ.).

[1895 г.]

Как угодно. Что ж нам случилось и три дня не видеться. Сохрани меня Боже протестовать когда-либо против ваших желаний. Но вашему настроению, должна признаться, на этот раз я не подчинилась. И к хлебу аппетита не чувствую. И скромности в себе не ощущаю. Благо вам, если вы столь счастливы и смиренны!

Всего хорошего.

З.Г.

[1895 г.]

Я не хочу гулять, у меня болит голова, на улице треск, — я не хочу никаких битв, мне только очень, очень, очень грустно и больно, что вы так... Идите к дяде, будьте веселы, завтра увидимся. Нет, вы не знаете, как я вас люблю, и вообще не понимаете, что такое — большая любовь.

3.

[1895 г.]

Что же? Вы и сегодня не хотите меня видеть? Письма нет, а очередь за вами. Хочу и боюсь идти к вам сейчас, боюсь ваших гримас, которые будут, хотя по-моему, им нельзя быть. «Днем всякий человек имеет право работать...». «Я не стану шляться по улицам...» Конечно, конечно. А по вечерам человек имеет право идти к дяде. Только дело не в правах, а в любви. Не права делают любовь, а любовь дает *все* права. Теперь вы молчите, вы обижены мною, еще бы! Отчего вы вечно боитесь дать слишком много — и потому даете слишком мало? Я не так пуглива. Пожалуй, пусть я заискиваю у вас. Пусть бегаю за вами, когда вы меня не хотите. Я все-таки сегодня не поеду к маме, чтобы видеться с вами. Вы очень рады, что показали свою твердость и незыблемость? Еще бы! Пускай она не воображает... И какое удовольствие меня, меня так мучить?

[1895 г.]

Что это? Вы и сегодня не имеете особого желания меня видеть?

Письма нет, хотя очередь за вами. Я было думала зайти к вам сейчас, как в былые времена — но испугалась ваших гримас, которые могут быть, хотя, на мой взгляд, не должны и не смеют быть. «Днем всякий человек имеет право на работу...». «Нельзя шляться по улицам...». Конечно, конечно. А по вечерам каждый человек имеет право идти к дяде... Дело не в правах, а в любви. Не права делают любовь, а любовь дает все права.

Это совершенно невозможно. До девяти у меня итальянка, мы скоро уезжаем, а мне не хотелось бы пропустить последние уроки. Да и теперь невозможно дать ей знать, она уже не дома и все равно придет.

Если с девяти вы заняты — то мы опять не увидимся, я тут, согласитесь, ни при чем.

Ссориться не будем, конечно. Из-за чего нам ссориться? За чем вы теряете время и заходите за письмами? Я могла бы и приехать или принести вашему швейцару.

[Приписка на последнем листке справа:]

Теперь меня наверх не пускают, но мне и внизу хорошо.

[Приписка на первом листке сверху:]

Я прямее вас, меньше боюсь за себя и готова...

[Приписка на отдельном листке рукой Д.С. Мережковского:]

Приходите, пожалуйста, поскорее. Зина больна. Принесите «Что делать».

[1895 г.]

Я верю клятве вашей и потому не удивляюсь, что начинаю терять жизнь, как только вы от меня уходите.

«Не желая вас обижать... прошу...» Что это значит? Что вы меня все равно *не примете*? Это, скажите, значит? Мне важно знать точно, потому что я все равно приду, все равно приду, спешите делать распоряжения, скажите швейцару, чтобы он меня попросил уйти, запритесь наверху на ключ...

Господи, как вы жестоки! И почему мне всегда приходится говорить вам это... Если вы меня не хотите принять, придете сами. Мне теперь все, все равно. Так нельзя. Так нельзя. К черту вашу работу идиотскую. Я способна на всякое безумие.

[Приписка на первом листке сверху:]

Посланный ждет одного слова: я должна быть предупреждена, устроили ли вы баррикады. Но я все равно приду. Делайте, что вам кажется красивым.

[1895 г.]

А почему мне нет пощады? Вы не можете оторваться от работы, бросить ее для меня. Вы хотите, чтобы я отравилась? Надо же клятве исполниться.

Хорошо, из ненависти к себе... от вас, от ...

[1895 г.]

Бросьте все — или я отравлюсь. Надо, чтобы клятва исполнилась.

пятница

Ни в одном вашем письме не было ни единого слова о вечере. Я поняла, что вы так упорно заняты, что не можете уделить мне ни единой минуты из ваших суток. Жаль, что вы не помните своих писем.

Я еще не отравилась, но, вероятно, от воображения, уже заболела. Завтра будет доктор. Но меня ест клятва, а разве доктор лечит от клятвы?

Весьма благодарна вам за позволение посещать вас в 5 минут одиннадцатого. Вы доступны состраданию, я вижу. О, клятвы, клятвы.

[1895 г.]

Посылаю вам ваше письмо, чтобы вы видели, что ваша «отчетливая» память вам иногда изменяет. Еще раз благодарю вас за ваше позволение не огорчаться и за милое обещание «дружеского знакомства». Все это бесконечно мило, хотя, право не знаю, наивно это — или холодно — жестоко. Одно из двух, но спорить не хочу. Во всяком случае имею намерение всеми вашими благами воспользоваться, потому что — и то хлеб. И если вы завтра свободны, то я приду в 5 минут одиннадцатого «поболтать вечером». Надеюсь, что вы будете меня ждать с обычным нетерпением. Сегодня при всем желании не могу, ибо чувствую себя ужасно. Не знаю, никаких оснований. Надеюсь завтра быть здоровой? Вероятно, надежда видеть вас заставит меня выздоро-

веть. Ведь вы же позволяете мне... быть счастливой. О, как вы великодушны! Боже, как вы бесконечно великодушны ко мне.

З.Н.М.

[Приписка на первом листе сверху:]

А если завтра я не приду и, вообще никогда, никуда и нигде уже не буду ходить, то постарайтесь в ваших мыслях все обернуть наоборот относительно меня и того, что я теперь чувствую и как я должна быть счастлива, и тогда у вас будет истина. И кто дал вам право быть моим палачом, неужели Бог?

[Приписка на последнем листе снизу:]

Полюбуйтесь, кстати, и последним письмом.

64

[1895 г.]

Буду весьма рада Вас видеть. Приходите. Благодарю за извинение.

З.Г.

65

[1895 г.]

Такая мигрень, что лежу в темной комнате. Не знаю, как буду с англичанкой. Хочу, чтобы прошло. Вы придете в половине десятого? Ради Бога приходите, я не могу без вас.

Зинаида Гиппиус

[Приписка на листке сверху:]

Спасибо за портреты.

66

[1895 г.]

Я еще лежу в постели, мигрень плохо проходит. Вы получили мою записку? Смотрите, приходите же к шести, к обеду, а то и раньше. Даже лучше раньше, я все-таки встану.

67

[1895 г.]

Вы меня горько, больно обидите, если не придете сейчас же, мой дорогой, моя радость, мой милый. У меня без вас туман в глазах — и я сама удеру к вам больная, если вы *сейчас* же не придете.

Вся ваша

[Приписка на последнем листке снизу:]

Мама тоже обижена.

[Приписка на последнем листке справа:]
Сейчас, сейчас, сейчас...

68

[1895 г.]

Знаете? Я еще лежу. Странно. Мне тоже хочется очень гулять. Погода, кажется, дивная. Приходите в Летний сад в 3 ч[аса]. Если вас там не будет, — я прямо оттуда иду к вам.

Зи[на]

[Приписка на втором листке снизу:]
Я сегодня меньше ревную, больше верю.

69

[1895 г.]

Я не читала вашего письма, видите. Не знаю, как заеду к вам, и даже заеду ли. Ведь я буду не по-домашнему, а это так скучно. Нет, не хочу больше ссориться с вами, дорогой мой друг. И даже не друг..., а больше и лучше этого, потому что «друг» слишком сухо, но надо и друга. Надо все человеческие хорошие отношения заключить в наши. Надо все, все — и свободные часы, и работу, и горе, и радость, и все самолюбие, и всю гордость... Я так боялась всегда быть вашей роскошью, вашим «отдыхом»... Но сегодня я этого не боюсь, сегодня я верю вполне — и сама хочу связать крепче и неразрывнее мою жизнь с вашей.

Вы чувствуете, как я хороша сегодня к вам? Если у вас действительно такие тонкие нервы — вы должны чувствовать. Мне тоже кажется, что я еще никогда так не была к вам хороша... Работайте спокойно, если будет малейшая возможность — я заеду из театра, а если кончится поздно — то увидимся завтра вечером попозже. Как мне сделать, чтобы вы еще, еще, еще любили меня? Я безумная, я не умею останавливаться вовремя, я понимаю любовь божественную, почти недоступную человеку. Любовь, любовь! Я поверила в нее немного, только узнав ближе вашу душу. И у меня нет слов.

70

2 декабря [18]95 г., С.Петербург.

Аким Львович.

Я обещала вам написать мое мнение о вашей книге, и вы, я думаю, удивляетесь, что это обещание до сих пор не исполнено.

Но я желала вам выразить мое мнение в форме более «вечной» (если только можно сказать «более» перед словом «вечность»). Посылаю вам при этом письмо первый экземпляр моей книги.

Ваша

З.Гиппиус

71

Чезре ден Јуде
«Neue Deutsche Rundschau»*

Март, 1896 г.

Какая скука вас дожидаться! Уж, конечно, вы спрятали все записочки, которым не нужно попадаться на мои глаза. Или храните их в редакции. Чувствую, что вы бегаєте по цензорам. Или, если нет, то где вы? Не доумеваю. Ведь вас с утра нет. У меня болит голова и я в отчаянии. Говорила с вашей прислугой. Она очень заботится о вас. Генеральша-то ваша умирает, сегодня ей будут операцию делать. Все равно она умрет, у нее водянка. Вот вам и опять нужно искать квартиру! Пишу вам все, что в голову придет, ибо вас нет как нет, а я должна в пять часов послать Урусову²⁰ сто рублей. Досада, что вас нет! Хорошо, когда меня нет, вы уж знаете, что я приду, а вот вы, может, и вовсе домой не придете. Но я устала и хочу отдохнуть.

Лезу в стол. Нашла дамский конверт с цветочком (с «маргаритками»). В ужасе.

Ищу письма. Ага, вот когда вы попались!!

Нашла письмо из конверта. Оказалось от Немировича. У Каплуновской²¹ умерла бабушка. Отлично. На этот раз вы опять ускользнули. Подождите. Есть еще правый стол.

Лезу. Нашла корректуру вашей статьи. Ура! Что это? Уманов-Каплуновский²²... Нет, ничего. Это только стихи. Не хочу читать.

Нашла массу неизвестных женских имен, написанных вашей рукой. Что это? Опять ничего. Это только заметки для статей о Лескове. Однако, вы осторожны. Иду на разведку в спальню.

Ничего не нашла, устала, холодно, голова болит. Пятый час. Больше не могу вас ждать и сейчас уйду. Прочитала путаное письмо тульского учителя. Приходите скорее и корректуру принесите *непременно*, а то обижусь и не скажу тех хороших слов, которыми полна душа.

Молю не надевать меховых сапог!!!!!!!!!!!!

З.

* Через еврея «Нейе Дейче Рундшау» (нем.).

14 мая 1896 г., вторник [Италия].
«Il pleut dans mon coeur
Comme il pleut sur les montagnes»*.

Получила от мамы письмо худого содержания. Дача не на Северской, а на Преображенской, 3 1/2 часа езды по жел. дороге и 4 версты от станции. Вчера же послала телеграмму, чтобы эту дачу не нанимали, но, думаю, что поздно. Видите, как одна беда ведет другую. И надо не дать совершиться первой, чтобы спастись от следующих. Поезжайте к маме, узнайте, что можно исправить. Если задаток невелик — возможно им пожертвовать. Поезжайте скорее.

У меня нет никаких слов. А у вас? Дела плохи, да? Книжка не вышла первого, это знаю. Сегодня дождь. Послезавтра, если не будет лучше, поедем в Париж. В Париже недолго.

А потом? Что будет потом?

Что вы думаете? Что вы чувствуете? Вы... можете?

Да, значит это возможно. Значит слова — слова. Значит *это* возможно. Но не для меня.

[Май 1896 г.] воскр[есенье], Бовено.

Этого не должно было быть! С каждой прожитой минутой чувствую это яснее. Думаю много, много..., но писать нет сил. Если умеете — сами все поймете, догадайтесь.

Здесь тихо, нежно и свежо. Озеро чуть дышит, широкое, спокойное, в саду, после дождя, мокрые цветы пахнут пронзительно. Целая гамма ароматов. Большие магнолии, белые, твердые... Здесь слишком хорошо. Как люди жестоки, Боже мой!

Слова, слова...

Это обрывки мыслей! Я так нездорова. Может быть, напишу завтра в Петербург, а, может быть, совсем не напишу. Мне так хочется покоя, как еще никогда. Поверьте глубине моего желания. Хочу, хочу покоя. Вы понимаете, что это значит?

И это будет.

[Приписка на первом листе сверху:]

Помните, что вы мне обещали.

* Строки из стихотворения П.Верлена, приведенные неточно:
«Сердце тихо плачет,
Словно дождик мелкий...» (пер. с франц. И.Эренбурга).

24 мая - 4 июня 1896, Париж

Аким Львович.

Вы дали мне честное слово, что в Париже не увидите ваших знакомых, что уедете через два дня. Вы, без моей просьбы, сказали, что не произнесете моего имени и не будете говорить обо мне. Вы солгали мне, что не знаете адреса вашей знакомой. И вы телеграфировали ей с дороги, вы поселились в ее отеле, вы провели в Париже неделю — ровно неделю — вы купили три дюжины фотографий (они здесь очень дороги) — и вы говорили обо мне... Вы рассказывали про меня вещи, которые... вы..., но достаточно, мне стыдно, не верю очевидности, не понимаю, мне кажется, что я сплю... Мне странно теперь, что я надеялась на какую-то деликатную нежность с вашей стороны, на что-то человеческое. Конечно, вы прежде всего подчинены чувству мелкого эгоизма, но я думала все-таки, что вы человек, достойный доверия. Я предчувствовала, что Милан будет роковым, — но, клянусь вам, я не знала, что вы способны так глубоко, так незабвенно оскорбить меня. Я не говорю о любви, я знаю, что вы не любите меня. Но сознание собственного достоинства не должно было позволить вам поступить так, как вы поступили, во всех глубоко постыдных для вас подробностях.

Никогда больше не могу думать о вас с прежним уважением — это верно, как то, что я люблю мою мать. Вы мне страшны..., если вы способны были на все, что вы сделали, вы способны еще на многое..., на многое за моей спиной.

Вы знали и знаете, что оскорблять вы меня можете безнаказанно. Я никогда не сделаю против вас ничего..., я слишком люблю и уважаю себя. Все, что вы сделали, пало только на меня, делает смертельный вред только мне, только моей душе, моему телу, всему моему существу, которому жизнь не дает отдохнуть от безумных обид и ран. И вы, зная эту безнаказанность, зная, что вы будете целы и только я, может быть... да и то, может быть, не узнаю... Господи! Что это такое? Неужели это вы — и это я? Какой позор, какая грязь! Но довольно. Бог с вами. Вы знаете, что вы сделали со мною, со всем, что было или, вернее, казалось мне красивым. И знайте, что пока я дышу, я не перестану страдать от боли этого низкого и лживого оскорбления. Все, что случится дальше — следствие ваших действий. Помните мои слова, когда услышите обо мне. Я прощаю вам, ибо «вы не ведали, что творите». И желаю вам, для вашего блага, чтобы вы никогда не поняли, что сделали и чтобы никогда, никто... так с вами..., как вы со мной.

6 июля [18]96 г., утром.

Все люди несчастны, потому что, как вы сами сказали, им, каждому в самом, слишком тесно. И в сущности их горькие ощущения почти одинаковы. Если вам больно — а вам непременно больно — то вы знаете, понимаете и вникаете, когда захотите вникнуть, как больно мне. Этого хотения у меня больше, чем у вас, вот мое горе. Но все-таки не могу жаловаться вам. Пусть моя боль останется при мне, во мне, как многое остается в душе человека, о котором некому подумать. Вы меня оскорбили в вашем письме намеками (и даже не намеками, а прямо), вы бросили мне в лицо фразу об Андреевском²³, которой вы сами не верите. Потому что вы знаете (и без всяких сомнений), что я ездила в город не для Андреевского и видеть его не могла. Значит об этом рассуждать не стоит, и напрасно вы это написали, так разве, со зла, чтобы побольнее обидеть? Каждая ваша, малейшая даже, неприятность, неловкость с Д[митрием] С[ергеевичем] ест всю мою душу, как самый сильный яд, и, конечно, ни на вас, ни на него она не действует с такой силой, как на меня, словом — для меня это хуже всего на свете. Я правую руку отдала бы, чтобы никогда ничего подобного не случилось. Вы меня недостаточно угадываете в этом отношении. Ваших слов в последней книжке Д[митрий] С[ергеевич] не читал — он был расстроен огромной, внезапно свалившейся на нас неприятностью, о которой и я тогда только что узнала. Упрекнула же я вас за те ваши слова от себя, потому что *лишь* они неприятны, как никакие обо мне самой, неприятны от одной мысли, от тени, от возможности какого то ни было недовольствия между ним и вами — потому что я помнила другие дни во Флоренции, когда я была близка к последнему отчаянию (вы этого не заметили). И я испугалась повторения той боли. У меня была мысль: вот, он не хочет понять, что для меня ужаснее, мучительнее, стыднее всего, он разрушает все, что я создаю, не жалея меня, только одну меня, потому что я *одна* терзаюсь в болезни неловким, нехорошим взором между вами, вашей ненужной (простите!) литературной педантичностью и его несдержанным, детским и болезненным самолюбием и подозрительностью человека, чующего врага. Мне было горько, что вот вы опять продали минутный покой моей — пусть мелкой, пусть бессильной — души за какую-то «правду», за несколько мимоходных, мало необходимых слов, — хотя «правда», по-моему, прежде всего в том, чтобы не сделать другому такой боли, какую вы знали, что сделаете *мне*. Не могу верить, чтобы вы не знали. Судите и осуждайте

меня за нее, за эту боль, за то, что мне легче с вами пять раз поссориться, чем чтобы между вами полслова проскользнуло. Вот отчего я и сказала вам тогда несколько слов. Вы не могли на них обидеться. И все это, повторяю, касалось одной меня, шло от меня, ибо он и прочитать этого не успел. Неприятность, о которой я упоминала, заставила Д[митрия] С[ергеевича] ближе к сердцу принять опечатку. Слова его и все это было мне так невозможно неприятно (опять), что я нарочно решила в этот момент расстаться, чтобы прервать тень неудовольствия. Я не обедала в тот день. Пока Д[митрий] С[ергеевич] спросил себе обед на Михайловской, я побежала в магазин, где и написала вам письмо... не «доброе», как вы говорите, а жаркое, полное отражениями тех чувств, которые меня тогда схватили. Это был кусок моей души, вот что это было — а вы говорите «доброе письмо»!

Всем, что произошло, вашими сегодняшними злыми словами (разве не злые были слова, скажите от сердца? «Я вам не нужен»... «не покажусь»... «не приеду»... да и все другие) — вы меня так убили, что я почти не дышу, ничего около себя не понимаю и не верю, что еще могу писать хотя бы это письмо. Я было начала повесть (не глупо ли надеяться на спокойствие души?) — но получив вашу записку, даже забыла, о чем я думала и что хотела сказать. Сижу, как мертвая, у себя, и удары по голове возбуждают почти одно удивление, уже не боль. У меня сердце «обшарканное горем»²⁴, как я вчера прочитала у Достоевского. И даже не горем, а оскорблениями людей, жизни... вы теперь знаете все. Впрочем, что новое я вам сказала? Вы и без письма должны были угадать, что вот я сижу, как мертвая, забыв слова, а вы знаете, что нужно, чтобы я воскресла и все-таки, вместо этого, в ответ на «кусочек души», посылаете недобрые листы... Воля ваша — и я в вашей воле.

— «...Нужен ли я вам? Не верю».

— ...Не нужны, а необходимы, необходимы целиком, как есть, со всем, что я в вас знаю, таким, каким я вас всегда вижу, необходимо все!

К сожалению, по-итальянски писать телеграмму нельзя, по-русски без аллегорий неудобно.

«Необходимы. Карандаш, книга... Все!»

Это издевательство?

Вообще же приезжайте немедленно ни секунды и прекратите

этот бред, а то мне начинает серьезно казаться, что вы сошли с ума, а я от вас заразилась. Надо знать меру, дружок. Не то обоим будет стыдно.

3.

77

[1896 г.]

Я сижу здесь, думаю и до сих пор не могу опомниться от неожиданной сцены, которую вы мне сделали... нет, которую судьба мне приготовила, решив заставить меня испить чашу до дна. Увы! Что мне сказать вам? Чем я могу успокоить вас, как могу раскрыть перед вами ту душу, в глубину которой вы не трудитесь заглянуть? То, что сейчас произошло между нами — поразило меня особенно сильно своей неожиданностью. Ваши слова казались мне насмешкой надо мной, над моим настроением, над всеми моими чувствами. Все идет странно, Бог против меня. Откуда эта злоба в вашей душе — умоляю вас, скажите? Я знаю, чувствую безошибочно злое и доброе, я чувствую в вас то, что меня приводит в отчаяние, в уверенность, что вы не хотите любить меня. Подумайте только, что вы делаете. Вы меня бро..., впрочем, не могу писать. Рука не двигается. Нет ни слов, ни мыслей. Пусть Бог вас судит. Какие мои слова могут тронуть вас, если мои глаза не тронули вас, не объяснили смутное для вас и понятное и верное для моего сердца, если мои глаза не сумели сказать вам, что делается в этом умирающем сердце, и на что и на кого вы... подняли руку.

Есть ли слова сильнее этого? Мне нужно знать. Если есть — я скажу вам их, если нет — буду молчать.

78

7 июля [1896 г.], воскресенье,
12 ч[асов] н[очи]

Скорее дневник, чем письмо. Я не пошлю его вам, я думаю, так теперь, — и это дает мне силу сказать очень многое. С вами я часто робка для вас и лицемерна перед собою. Я только думаю прямо. И вот теперь хотелось бы написать то, что думаю — не все, конечно, но как можно больше. Мне грустно теперь не оттого, что я вас не вижу. Мне грустно и страшно от своего безмерного одиночества, почти смешного, грустно оттого, что вы — чужой, и я это знаю. Вероятно, когда у матери заболевает ее единственный ребенок — она и боится за него безумно, но и не верит,

что он умрет, долго не верит, даже когда видит опасность, потом безнадежность, потом смерть. Так и я, хоть знала, — не верила в разрушение нашей любви, которая была для меня дороже всего в жизни, да и *вся* жизнь, пожалуй, потому что я на этом жила, на этом училась, в этом пыталась почувствовать Бога. Если я захочу быть совсем, совсем честной перед вами и собой, то признаюсь бесповоротно, что первая смертельная рана нашим отношениям была нанесена в Милане. Я говорю: «смертельная», потому что все раны были смертельны с тех пор. Вы меня много раз опровергали, я поддавалась вашим убеждениям — но только на минуту: я *знала*, что это начало конца. Вспомните, что было потом, проследите. Разве это жизнь, разве это отношения? Да это полет раненой птицы, бессильные взмахи крыльями, метание вниз и вверх, это мука, стыд и ужас! Неужели у нас с вами не хватит смелости взглянуть правде в глаза? Я думала, что не выдержу этого месяца в Италии. Но я увидела, что *вы можете*, поняла, приняла это — и решила, что не дам вам больше, чем вы можете дать. Сказать ли вам одну правду, ту, которую я думала никогда, никому не сказать — от стыда? Но пусть стыд, это ничего, я стою этой казни. В глубине души я тогда, в Милане твердо была убеждена, что вы *физически* не сможете меня оставить. Я воображала, что вы в последний вечер броситесь к моим ногам, или ко мне на шею, будете плакать, безумствовать, умолять меня о чем-то и, наконец, решительно скажете, что не оставите меня, что бы вас не ждало, хотя бы смерть. И тогда, — я мечтала — я поклонюсь вам за ту минуту счастья, которую вы бы мне дали, и скажу, что мне довольно, что вы победили меня, что я еду за вами, так или иначе... *И я поехала бы* тогда с вами в Париж, клянусь вам, чего бы мне это ни стоило. *Я знаю*, что поехала бы. Я уже приготавлилась к этому, вы знаете, я умею делать по-своему, когда мне это бесповоротно нужно. Улыбаюсь теперь невольно, вспоминая, как я смотрела на вас все эти последние дни, как ждала страшной минуты, как молила вас без слов не обмануть жадности сердца... Нет, я как-то и не предполагала, что случится иначе, не давала себе думать. Помните наше прощание? Вы говорили о любви, вы были нежны и горестны, вы сказали, что жить не будете этот месяц... Как вы это сказали! Я напомнила вам о смерти... Я почти толкала вас в ту сторону, где для меня был свет... Вы сказали: «я приду... потом». Я все помню, каждое слово. Говорить ли до конца? Я все-таки не верила, что вы уедете. Я думала, вы с вокзала вернетесь. И за что я в вас так верила? И как вы не поняли тогда, как не рассудили, что ведь не оставлю же я вас погибать, если люблю, и что если вы не можете допустить разлуку,

не можете уехать — я должна ехать с вами? Неужели вы не знали меня настолько, чтобы понять, как для меня важно было тогда ваше слово, ваше безумие, ваша смелость, ваша вся любовь? Я готова была крикнуть, чтобы вы меня обманули. Но вы уехали — «с надеждами на будущее», говорили вы. А между тем артерия была перерезана. И кровь из нее сочится до сих пор. Все, что было после — это та кровь. Тогда я много поставила на карту — и проиграла. Я вам признаюсь в таких вещах, которые едят меня. Но, поверьте, никто с большей жестокостью не издевался надо мною, чем я сама издевалась и еще издеваюсь. Тем более, что вы совсем не виноваты. Я думаю, что вы способны на настоящую любовь, только я — не «она». Я не сумела вызвать эту любовь, вернее всего — я ее не стою, я проиграла карту, которую и не ставила бы, если бы имела ум более глубокий, более прозорливый и ясный. С того несчастного часа я перевернулась круто и непоправимо. Вы знаете, как я вас любила и после; я не разлюбила, нет: просто что-то оторвалось в душе, какие-то живые струны замерли навсегда. Я уже не закрывала глаза на правду — и жизнь пошла именно так, как я ждала, и с ужасающими скачками вниз, с безобразиями и компромиссами, мысли о которых я прежде не стерпела бы, с тем холодным уродством часто (и с вашей, и с моей стороны), против которого у меня не было никаких сил бороться. И посмотрите, до чего мы дошли. Посмотрите просто, без сердца, на меня и на себя равно. Вот пятый день, как вы сидите в городе без меня и пишете мне нехорошие письма — из-за чего? Из-за того, что я не позвала вас обедать, из-за того, что третий человек был в угрюмом настроении, из-за того, может быть, что я осмелилась заикнуться о боли, которую могли вызвать ваши слова в заметке... И боли мне, одной мне, столь горячо страдающей за всякую неловкость в отношениях... Зачем обманывать себя? Прежде, год тому назад, это *не могло бы* случиться. Вы были бы в отчаянии, вы бранили бы меня, спорили, огорчались, негодовали (хотя за что?), но вы были бы здесь, около меня, у моих ног, в моих объятиях, — просто потому, что иначе было нельзя, и показалось бы вам чудовишной нелепостью. А теперь... как нам стыдно обоим! Главное — стыдно, что мы так долго притворялись, что ничего не случилось. Случилось, случилось... и нехорошее случилось. То, что обещало развиться в высокое и прекрасное — завяло, подломилось, лежит в прахе и пыли, а мы делаем вид, что не понимаем этого, хотя оба понимаем.

Поздно. Завтра окончу. Надо спать.

8 июля [1896 г.], понедельник, утром.
[Продолжение письма от 7 июля]

Встала — и продолжаю. Мои записки меня занимают, потому что все выясняется. И так — вы в городе, почти неделю. Причиной... — стыдно и как-то нечего сказать даже, когда хочешь назвать причину, а кроме того вам и писать надо, а здесь нельзя, неудобно. Так уж сошлось. Может, вы этого и сами не думаете, но это все вместе. Вчера я послала вам телеграмму вечером — и нарочно такого содержания, чтобы вам уже все было ясно. То есть ясно, куда пришли наши отношения. Пусть будет ясно, я даже унижением своим для ясности жертвую, для доказательства наглядного. Я знала и знаю, что вы не придете, знала это, посылая телеграмму, высказывая со своим приказанием, позволяя вам усмехнуться надо мной. Но вот, это-то именно мне и нужно. Вы сами поймете по этому простому обстоятельству, как смешна бывает привычная мода, когда она уже прошла, и то именно, что она смешна... и доказывает неоспоримо, что она прошла. Прежде, если бы я три дня назад (ибо не могло случиться, чтобы пять дней так прошло) послала вам ночью телеграмму, то вы утром уже были бы здесь. И это вы знаете не хуже меня. А вы не только не придете сегодня — вы и завтра не придете, стараясь меня «проучить», что-то мне «доказать», что-то там «сохранить»... Эх, вы! Зачем это все? Ведь и так понятно. Одного вы не знаете, или не хотите знать, или знаете, да вам все равно: это, что каждая минута теперь важнее года была, каждая лишняя минута этих дней рвала между мной и вами все новые и новые нити. Пусть это смешно — но у меня мысль, «идея» любви была, которой я и дорожила чуть не больше жизни. А «идея» эта не вышла. Ничего не вышло, все повернулось на оскорбление. Не вам оскорбление, нет, а так, всем, что кругом. Вот и Париж тоже..., да Бог с ним. Это уже камни спуска, все равно, как и теперешняя история. Не спустились бы мы так низко — не коснулись бы этого камня. А я вам всегда говорила о неизгладимости потому, что я никогда не сержусь и потому не прощаю, только вижу и сознаю, и уж хотела бы не сознавать, да не могу.

Сейчас получились ваши письма. Видите, как я права! Вы там и не знаете, что я здесь записываю ваши действия вперед, угадываю, приложив к моим мыслям — и вы исполняете мою программу, подтверждаете, не подозревая, мою грустную теорию. И как бы вы сами для себя ни объясняли своих действий — все же выходит на мое. Тут рассуждение механическое. Если бы и не было того, миланского — то одно теперешнее все бы разъяснило и раз-

решило. Но его не было бы без Милана, а Милана не было бы без внутренних, глубоких причин, глубоких болезней или бессилий, в которых мы оба виноваты и с которыми ничего нельзя сделать. Я несчастна потому, что тут знаю все. Я даже то знаю, что говорю об этом напрасно и бесцельно, и даже лучше бы об этом вовсе не говорить. Но тут уже моя женская слабость и болтливость, да и не хочется, чтобы вы думали, что я не понимаю. Вот вы замечали, что я прежде при размолвках бежала к вам, за вами, плакала, разъясняла, мирилась..., а теперь не бегаю, знаю, да и не побегу. Прежде было *все равно*, я ли к вам бегу или вы. Внутренне все равно. Если бы я не прибежала — вы бы пришли. Выдерживания характера, фальшивые гордыни, все эти игры были ниже меня и вас, потому что все у нас было настоящее и предчувствие еще большего. Теперь я именно оттого не пойду к вам, что *вы ко мне не придете*, потому что теперь прийти — это значило бы бежать за вами в самом настоящем смысле, а я не от каких-нибудь гордых мыслей этого не могу (гордость — слабость), а просто потому, что в таком виде наши отношения не могут мне доставить ничего, они мне не нужны. Вот, я нашла настоящее слово, не нужны. Когда я подумаю, что могла бы пойти к вам, умолить вас, убедить вас, опять кое-как завлечь, попросить пожалеть меня, говорить о любви, судорожно соединять распадающиеся кирпичи — я краснею от стыда и ужаса, одна краснею, здесь..., потому что ведь позади бы все-таки остался и Милан и Париж, и мои резкости, и теперешняя глупая, нелепая, но необходимая для выяснения правды история, а мы бы опять стали притворяться, что ничего не случилось, что любовь такая же, и «даже больше»... до первого удара, еще сильнейшего, ибо все идет, очевидно, на спуск... Мне все кажется, что вы мне не верите, подозреваете во мне теперь злость, хитрость, недоброжелательство. Дайте мне быть человеком перед вами, верьте в мою правду. Ведь я ничего от вас не хочу, ничего, потому что все, что бы вы мне не дали, не могло бы вернуть дней в Милане и вот этих, теперешних дней, этих минут... Когда человек умер от голоду, ему не помогут самые лучшие яства. Поэтому мне от вас ничего не нужно, ничего я не добиваюсь, через злобу, отчаяние, чуть не ненависть — я перешла, верьте мне. Я бы даже хотела, чтобы вы думали так: «я излечиваюсь от нее, я хочу излечиться. Прежде я не мог отойти от нее, потому что сил не было, а теперь я нашел силы и отхожу». Это очень, очень хорошо так думать. Это, мне кажется, все остатки горя может в восторг превратить. Я бы сама так думала, но мне больно себя обманывать, и я говорю: это не сил стало больше, силы все те же; это препятствие уменьшилось, подтаяло

как снежная глыба — и мне легче его победить... Я говорю это только потому, что уверена: на эти мои слова вы не обратите внимания, и они не отвлекут вас от той мысли, если она уже есть. Оттого и говорю так смело.

Теперь же, если я предложу вам: сократим наши отношения — то это будет лишь оформлением давно существующего, точка над «i». Я не вижу причины нам с вами «рвать» окончательно, «рвут» только люди, которые слишком крепко, тесно и любовно связаны, сплочены; которые, порвав наружно, остаются мучительно связанными. Мы же только взглянем трезво на совершившееся, не стыдясь признаемся в нашей бессилии друг перед другом, без трагизмов примем то, что оставляет нам судьба, и дадим волю себе быть привязанными один к другому ровно настолько, насколько можем. После чуть не трех лет такой тесной дружбы — безобразно бросить друг друга совсем, насильственно порывая связи, которые еще удержались и могут держаться. Простить себе не могу, что я хотела от вас любви с насилием, говорила вам, что вы должны делать, требовала... как будто, если была любовь, вы бы не знали, что мне нужно, и как будто, если б вы без любви все сделали — это «все» дало бы мне хоть каплю счастья...

Я сейчас как-то странно поверила, что вы до дна поймете и прочувствуете мою душу, мои слова, все мое примирительное и последнее письмо. Оно было необходимо... для меня прежде, и вы знаете, что я думала во все это тяжелое для нас время, к чему пришла. Может быть, если бы вы сейчас, сию секунду приехали... Видите, я не шажу себя, видите, как легко впасть в обман, который бесполезен и не нужен, ибо он все равно откроется. У меня, впрочем, мысль сильнее всего. Это как свет внутри меня. От света не скроешься, он ослепляет даже сквозь сомкнутые ресницы, от него никуда не деться. Вы это знаете.

Кончаю. Простите, что вышло так длинно. Я и сама вижу, что плохо, потому что длинно. Но я очень хотела объяснить все, раз навсегда, без остатка. Завтра я поеду в город с мамой, на три дня, и пошлю это письмо. К вам не приду — вы знаете отчего. Я думаю, мы с вами оба будем несчастны, и я, и вы. Но и со мной вы были бы несчастны: я уже «испорченная». Никогда не забуду правды и всего прежнего. А на леченом коне, говорят, далеко не уедешь. О кой-каких делах поговорим при свидании. Приезжайте, когда будет время и доброта. А что здесь не дописано — прочтите между строками. Вы знаете. Вы прочтете.

Ваша Зина.

[8 июля]. Ночью, понедельник.
Листок, который можно не читать.

Я жалею теперь, что не отослала этого письма утром, по почте, как думала. Меня бы не тянуло приписывать..., хотя ведь это не письмо, это дневник. И Бог знает, когда опять вы будете читать мой дневник! Я думаю теперь, подозреваю сильно, что я еще надеялась на ваш приезд сегодня, оттого и не послала письма. Я его не запечатала, положила в ваш стол и заперла. Теперь отворила и приписываю эти несколько слов, сейчас запечатаю сургучом — и будет кончено. Никогда я не посылала вам письма с таким странным чувством. И хотя я так уже кончено безвозвратно, потому что безвозвратно прошли эти незабвенные дни (вы много написали? Сколько страниц?.. Нет, простите, я нечаянно, я не хочу и тени злобы) — а все-таки мне казалось, что пока не кончится этот пятый день, пока не потемнеют совсем небеса, пока я не приду в вашу комнату дописывать эти последние строки моего последнего дневника — и горячий и жидкий сургуч не прольется на конверт — не все еще кончено. И вот сейчас это будет. Завтра я отдам это письмо посыльному. Мне и хочется, и не хочется, чтобы вы догадались, что со мной. Но лучше не надо. Я давно предчувствовала и боялась, что конец будет — безжалостный для меня. Я, кажется, втайне Богу молилась, прося пощадить, защитить от вас. Но он не защитил, не спас — оскорбления, оскорбления!

Что я пишу? Не верьте, не читайте, я сошла с ума. Этот прибавочный листок вы можете не дочитать. Скорее печать — и кончено. Я думаю, мне легче станет.

Право, теперь поздно и я нездорова. Мысли мои неясны. Наше под самым подбородком я чувствую невидимую веревку, которая меня бесит. Что я хотела сказать? Да, сейчас складывалась и нашла заграничную книжечку с рисунками. Прислать ее вам, или не надо? Мне как-то захотелось вам ее послать. Тогда еще все было цело, все *было!* Не надо, впрочем, повторять сказанное.

Мама знает о неловкости нашего последнего свидания, я ей показала ваше первое письмо. Она-то мне и посоветовала не давать его Дм[итрию] С[ергеевичу]. Потом я показала ей мое к вам, где итальянские фразы — и ваше последнее. Как тяжело, когда и другие видят то, что я сама... О телеграммах она не знает, да и пусть не знает, ей было бы стыдно за меня. Но мне самой не стыдно. Это так чудовищно и невероятно, что мне не стыдно. Да нужны были телеграммы, чтобы вам показать наши отношения,

мое унижение, которое тем, что существует, унижает вас. И никто не знает о телеграммах: я одна ходила ночью на станцию, заняв денег у Паши. Видите, какое «падение». Но я говорю о стыде, не чувствуя его. Есть предел всему. А вы думаете, есть прощение на свете? Нет прощенья. Может быть, Бог умеет прощать..., а люди не умеют. Нельзя прощать. Забвенья тоже нет.

Я хотела просить вас об одном: отдайте мне мое письмо, написанное карандашом, тогда, из магазина. Все остальные сожгите, а это отдайте. Вы его слишком обидели. Мне его жалко, точно ребенка бедного у неродных людей. Только не присылайте, а когда увидимся. Хотите — зайдите к маме вечером. Я вам не скажу ни слова больше, чем сказано здесь. Здесь все сказано — и навсегда.

[Приписки на первом листе сверху:]

8 июля

Целая рукопись! Даже неловко. Ну простите.

9 июля.

Читайте только тогда, когда почувствуете, что можете сделать это внимательно и без злобы. Пишу, говорю, как человек человеку.

[Приписка на последнем листе сверху:]

Сожгите и дневник, т.е. жечь последний лист, первые отдайте. Они мне нужны. Я буду знать в чем дело. Буду видеть свою правду.

Среда, ночью.

Как? Вы думаете, что я вас не люблю? Вы говорите об одиночестве, о «полном» одиночестве? Боже мой! Не могу верить — и не хочу. Я весь вечер думала о вас и теперь не хочу раздеться, не хочу спустить волос, хотя голова так болит — прежде чем напишу вам несколько слов. Не знаю почему — мне хочется плакать. Странно! Я совсем не чувствую горя. Я только хочу, чтобы вы меня любили. О, ничего кроме этого! Я не хочу критиковать себя, как это делаю всегда — я отдаюсь моему странному, полупечальному, полурадостному чувству, я не хочу думать о том, какой вы — я только думаю, что вы меня любите, любите — вот я опять хочу плакать (не буду!), хотя, что же тут горестного? Вы сегодня написали мне холодное письмо — и я все-таки едва удержалась, чтобы не пойти к вам (хотя у меня мама сидела); и теперь я каюсь, что удержалась и не пошла, потому что мне скучно и тоскливо, и я — не я... Я никогда не перестану любить вас, если у вас дейст-

вительно есть сила на *беспредельное*. Поймите, поверьте — я умираю при одной мысли о беспредельности. Я странная, я более безумная, чем вы... хорошо, не сердитесь, молчу. Не ищите логики и выдержанности в моем письме: я возбуждена, душа моя открыта. Может быть — я люблю вас еще больше, когда вы не со мною. Или... нет? Я не знаю. Я всегда люблю больше. Не удивляйтесь моей глупости и непоследовательности в письме. В сущности я умнее. Я боюсь будущего, я боюсь, что я разлюблю. Сама для себя боюсь — и не хочу. Когда вы говорите, что одиноки — я думаю: значит я ничего не могу, ничего не стою, значит я не все для него, я ничтожна и не нужна, значит я для него не «она»... И мне делается страшно и холодно... Я чуть-чуть не поехала к вам сейчас, хотя это было бы истинное безумие, которого вы *пока* не стоите. Любите меня еще — еще.

Ваша.

[Приписка на первом листе сверху:]

И мне тоже кажется, что ваши старые письма были горячее. Знаете? Это всегда кажется. Но отчего? Да, да, «всего мало»... В такое время, как переживаем мы — всего мало...

[Приписка на первом листе по тексту:]

Напишите, что вы не одиноки, что все будет, может быть, хорошо...

[Приписка на последнем листе по тексту:]

Не «жму вашу руку», как написали вы, но целую ваши губы.

[1896 г.]

Я еще раз — и в последний раз повторяю вам, что у меня нет и не было никаких соображений ни о выгодности и ни о чем другом. Я говорила с вами так, как говорила сама с собой, если это неискренно — то, значит, искренность моя слишком глубоко, ибо она не доходит до моего сознания. Об этом довольно. Мои отношения к вам очень серьезны — и я желаю, чтобы ваши ко мне были тверды, серьезны, ясны и положительны. Я желаю не бояться вас, желаю настоящей близости и такого глубокого понимания, чтобы и мысли о возможности оскорбить друг друга у нас не было. Я желаю безграничной преданности, полного доверия и вольного самоотвержения. В моем к вам чувстве вы сомневаться не можете, потому что здесь выбора нет: приходится или верить ему вполне, или — не уважать меня, а к последнему я вам повода не давала. Мне кажется недостойным вас — провести

вечер такой, как сегодня — и сейчас же разойтись холодно по поводу нелепого, детского, внешнего недоразумения — сейчас же заподозрить другого в какой бы то ни было неискренности. Мое чувство не таково, как ваше, слава Богу, — и я надеялась, что они будут дополнять друг друга. А приходит отчего-то дисгармония.

Хотите ли вы идти дальше по дороге — вместе со мной? Твердо ли вы это решили, нужна ли я вам во всем — как вы мне нужны? Если да — то будьте настоящим человеком, дайте руку — и не отнимайте ее больше. Мы оба еще во многом одиноки — но я верю, что мы сумеем помочь друг другу. Я знаю, что могу облегчить вашу тоску — и хочу вашей легкости — если на земле нет счастья.

Но я не могу жить без смелости, без уверенности, спокойствия и серьезности в наших отношениях. Если же вы думаете, что мы никогда не сговоримся — скажите это мне прямо, спокойно глядя мне в глаза — скажите неизменно, я попробую вас переубедить — а если не успею в этом — никто не будет виноват.

Думаю, что завтра выходить не придется. Вы зайдете в 10?

Верю в вас и в силу вашего чувства — у меня большая, но надо, чтобы была полная, вечная. Вы меня понимаете?

Зина

[Приписка сверху:]

На другой день.

У меня злокачественная ангина, очень заразительна. Вы все-таки не боитесь придти?

81

12 октября 1896 г., вечер, стихи.

Милый Аким, очень, очень люблю вас, ужасно хочу сказать это вам до боли — но нельзя. Пишу кое-как. Знайте, что очень люблю.

Признание *Посвящая А.Л. Флексеру*

Не утешай, оставь мою печаль
Нетронутой, великой и безгласной!
Обоим нам порой свободы жаль.

Но цепь любви порвать хотим напрасно.

Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю, что так любить — безумно,
И страшно мне, как будто смерть, грозя,
Над нами веет близко и бесшумно...

Но я еще сильнее тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею, —
До ужаса сливаю жизнь мою,
Сливаю душу я с душой твоею.

82

25 октября [18]96 г., СПб.

Любовь — одна.

(Акиму Львовичу Флексеру-Волынскому).

Единый раз вскипает пеной —
И рассыпается волна,
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь одна.
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем, — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем
Душа одна — любовь одна.
Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна, —
Проходит жизнь... И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.
Лишь в неизменном — бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
Все дальше путь, все ближе вечность,
И все ясней: любовь одна.
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа верна, —
И любим мы одной любовью:
Любовь одна, как смерть одна.

З.Гиппиус

83

1 ноября, четверг.

Голубчик, башлыка не оказалось в шкафу, надо отпирать сундук, а теперь ужасно поздно. К завтраму я его вам непременно приготовлю. Вот скука-то была у баронессы!²⁵ Какая она неинтеллигентная, все-таки, дама! Оттого и люди, ее окружающие, так не интеллигентны, до неприличия. Владимир Соловьев²⁶ читал статью о Случевском²⁷... и, право, они оба друг друга стоили, у Случевского есть какие-то нотки, впрочем, но Влади-

мир! Право, это постыдно. Я думала все время о том, какое громадное влияние имели и имеете на меня вы. С вами я привыкла смотреть по верхам и уже не вижу ни их лиц, ни их движений, не слышу их слов, сижу, как чужая, скучная, молчаливая и думаю о своем, о том, что внутри меня, и что им, никому, навеки недоступно. После этого разврата баронесса начала читать письмо Толстого на французском языке, длинно, длинно, серо, скучно и старо, все о том же, о непротивлении злу, о воинской повинности, бесконечно о воинской повинности! Был Спасович²⁸, с ним я не говорила, но говорила с Боборыкиным²⁹, он как-то сконфужен и уверяет, что нетверд в уставе. Андреевский объявил, что он тоже отказывается от кружка и не будет ходить, а баронесса решила не пускать туда Кавоса³⁰. Демонстрация настоящая! Минского, как и следовало ожидать, не было, но была Венгерова, с которой у нас даже произошел разговор. Вообще она ко мне как-то опять двойственно относится. Просила меня прочесть стихи о Боге — она о них, т.е. о двух строчках, раньше слышала, я ей прочла и прочла тоже «Любовь — одна»³¹. Она говорит: «Я все-таки думаю, что вам следует писать стихи. В них я узнаю вас, а вы в последнее время так изменились, что я вас перестала понимать!» Я: «Что вы хотите сказать этим? Мне кажется — я неизменная. Таково мое свойство». Она: «Можно вам задать один вопрос?» Я: «О, пожалуйста, я не боюсь слов». «Скажите, правда ли, что вашу новеллу вы писали не одна?» «Да, правда. Я писала ее вместе с Флексером, но я подписалась под ней, я за нее отвечаю». «Теперь я понимаю многое». «Что же именно? Если вы лично имеете по этому поводу что-нибудь против меня, то мне искренно жаль». «Я лично? О нет... Не будем говорить обо мне»... И она вдруг лопнула как долго игравшая бомба. Можете легко вообразить, что она говорила. Я долго слушала, не прерывая, затем тихо ответила, что всех этих слов я не принимаю, ибо тут говорится о личностях по поводу художественного произведения. Такой разговор не имел «raison d'être»*: «Но это не художественное произведение! Это пасквиль!» «Что же делать! Авторы часто в заблуждении неискоренимом!» Тогда она вдруг перескочила через «новеллу» и стала меня упрекать в грубости какого-то моего письма, в несвойственной мне грубости и греха против красоты. Я долго не понимала, о каком она древнем письме говорит, потом вспомнила, что вероятно это о том Минскому, которое мы тогда вместе написали. Я ей очень твердо ответила: «Зинаида Афанасьевна, позвольте вам сказать,

* Смысла (фр.).

если на то пошло, что я считаю это письмо единственно возможным тогда, настоящим и последовательнейшим. Я хотела достичь своей цели, к которой отнеслась серьезно и непоколебимо, — и достигла ее. Может быть никогда я не писала такого письма». Она унеслась за облака, опять свела на красоту и на мою «бесцельную» грубость, и много еще кой-чего городила, но у меня уже нет сил ее вспоминать. Один намек ее мне понравился. Не помню, как он был сформулирован, но заключался в том, что она твердо уверена, что я вас люблю и что полюбив вас, «нехудожественного» человека, я совершенно изменила своей природе. Каюсь, я чуть-чуть не сказала резкого слова, которое бы меня потеряло. Но в миг я сообразила и ответила так, очень просто и очень тихо: «может быть, вы и правы... Только нельзя "изменить своей природе" и каждое человеческое действие или чувство рождается только благодаря этой природе и объясняет и подчеркивает ее. И лучше судить о природе человека по фактам, по чувствам, чем с упорством разъединять и то, и другое». Передаю вам все с той искренностью и точностью, на которую только способна. В эту секунду я прямо желала, чтобы она знала все о нас. Мне казалось это ослепительно прекрасным и высоким. Бывают ли у вас такие ощущения? Не могу передать вам, как вас люблю. Вот в такие ночные одинокие часы я люблю вас до слез, до ужаса, я бы хотела принести вам какую-нибудь гигантскую жертву, *пострадать* за вас, чем-нибудь высказать ту силу чувства, которой полно мое сердце. Вы и есть мое сердце. Когда-то я знала много хороших слов, а сию минуту ничего у меня нет, кроме моей любви, такой сосредоточенной, что вы не можете ее не чувствовать. Да, хочу теперь, чтоб вы чувствовали, хочу заниматься только *моей* любовью, не думая о вашей. Как я вас люблю, много, много, крепко — с целый свет люблю... Вот до детских слов договорилась... Но люблю, люблю, люблю.

[Приписка сверху:]

Необходимо, чтобы вы мне написали словечко.

84

23 ноября 1896 г.

(после истории с письмом М.П.)

Мой дорогой мальчик, я сегодня совсем больна, едва живу. Я уже чувствовала, что это скверно. Но я люблю вас чрезвычайно и хочу, чтоб между нами был такой союз, как если бы малейшие дела наши внешние, как внутренние, были сплетены неразрывно. Чтобы каждая ваша удача и неудача были действительно моими

и чтобы мы никогда не спорили, а вечно и во всем уступали друг другу. Вы согласны? Вот увидите, как я за это примусь. Люблю одного *Ама*, хочу, чтобы между нами отныне не было ни одной ссоры. Ваше дело слушаться... и мое тоже. Вот тогда будет хорошо. Ой, как голова болит! Люблю вас крепко и обнимаю без конца.

Приходите сегодня корректным, у нас Барановские³², и Лида написала, что она будет «очень, очень рада, если после стольких лет увидит Акима Львовича».

Ваша вся.

85

[1896 г.]

Аким Львович.

Пишу эти строки в дополнение к записке Д[митрия] С[ергеевича], против которой я была и которую, по крайности, должна пояснить, во избежании оскорбительных недоразумений.

Если предположить, что Д[митрий] С[ергеевич] читал ваше ко мне письмо и знает его в подробностях, то можно подумать, что он испугался потери ваших милостей и ввиду этого просит прощения. Я не хочу и не могу, чтобы вы это думали, и я спешу вам заявить, что письма вашего я Д[митрию] С[ергеевичу] читать не дала, будучи заинтересована в хороших отношениях между вами, видя, что вы по недоразумению говорите слова, которые, будучи переданы, могут оставить неизгладимые следы на этих отношениях. Таким образом Д[митрию] С[ергеевичу] я передала только, что вы обиделись невниманием к вам, моим и его, и слишком внезапным прощанием, и... всеми мелочами. Тем более, не следовало вам писать о ваших «дружеских чувствах», что и причины, вами предполагаемой, этих неудовольствий не было: вашей заметки он не читал, и я ему ничего не говорила.

Вы имеете обыкновение не верить мне даже и в пустых делах: здесь же дело не пустое, да и касается другого, а потому я обеспечила факты: у меня есть свидетели, что я Д[митрию] С[ергеевичу] вашего письма не давала, что содержание его он не знает так, как у меня изложено. Я спасла вас от сознания, что вы, не вникнув в дело, опрометчиво оскорбили человека — и его от слов, которые могут несправедливо резать.

Что касается до «дружеских услуг» — то могу сказать лишь про себя, что их принимать отныне мне будет очень тяжело. Вы слишком их подчеркиваете... Я думала, что мы «свои люди, сочтемся...», а вы оказывается можете и дать, и отнять, «Хочу казную, хочу милую». Вот это-то мне и ново и странно.

Если я когда-нибудь говорила вам резкие слова, то это опять с мыслью: «свои люди, сочтемся». Простите меня. Так что и фразу вашу «ехать к вам на ругань...» вы тоже могли бы не писать, вы сами в нее не верите. Tutto che penso ancora diro quando vedrovi. Spero vederri subito, stesso momento. Piu ancora che spero: lo voglio*.

А затем — до свидания. Надеюсь, до скорого.

3.

86

29 дек[абря 1896 г.]

Голубчик, страшная скука, все те же люди, с прибавлением Котляревских³³, кои мне не симпатичны. Завтра расскажу подробности, да и подробностей нет, я была грустна и думала только о вас. О вас никто не говорил, только Андр[еевский] спрашивал, что вы поделяваете и что написали. Если б вы знали, как они мне все надоели! И Вейнберг³⁴ препротивный. Люблю вас ужасно, горюю, что, быть может, вас огорчило то мое письмо. Но помните, что я вам сказала на лестнице, вот это одно правда, а раз это есть — все есть или будет. У меня желание оторваться от людей, писать и любить вас.

Целую вас крепко, крепко, как люблю.

Обнимаю до боли сильно, верьте в меня и любите вашего Братца.

[Приписка на первом листе сверху:]

А то письмо забудьте, это нервы.

87

1-2 марта [1897 г.]

А пожалуй что мне и не нужно любви и доверия — из тех любовей и доверий, которые сами собой, «без причины» даже, испаряются к концу дня. Вы у меня ровно ничего не отняли, и не было дано то, что можно отнять. Я верю всем словам, так что обманывать меня вам нет никакой чести. А будто даже и неловко. Я, по крайней мере, избегаю перемен с людьми, которые верят в слова.

Почему же вы утром не упомянули о «реформах»? Жаль. Это весьма бы подходило к письму. Эти реформы мне не по силам.

* Тот, кто думает о другом человеке, сообщает ему о встрече. Он надеется на скорую встречу. Но есть еще некоторые, которые надеются на собственное желание увидеться (итал.).

Приходится сознаться, малы у меня силы. Ведь подобные реформы были бы по силам каждой на моем месте, — говорю это не шутя. Так естественно! А я отказываюсь, не могу. Бедная, слабая Зина! А может быть и то, что я не хочу поднять руки и убить эту муху. Зачем убивать мух? Не понимаю цели, не вижу и не хочу видеть тут главного.

«Изберите другое время»..., прекрасно сказано, свой Аким Львович! Что ж, я изберу. Пойду утром, а если и это время окажется для вас неудобным — оставлю вот это письмецо. У меня тоже нет раздражения. Зачем? Все прекрасно, я довольствуюсь малым и готова жить как все. Прекрасное, достойное предложение! И вечер достойный утра... Своя Зина.

88

2 марта [1897 г.]

Прибавлю несколько слов. Утром не пошла. Не хочу. Верите, что я даже не могу забыть этой фразы.

Чувствую, что способна на всякие глупости. И вы во всем будете виноваты.

Уеду я.

89

16 мая [1897 г.], СПб.

До сих пор я думала, что вы не можете колебаться при вопросе, нужно ли вам быть со мной. Вчерашнее утро показало мне, что ваша теперешняя ко мне любовь находится на одной из первых ступеней той лестницы, трудной, раньше ни для кого в моих глазах недоступной — на вершине которой мне необходимо вас видеть. Я не сержусь, не упрекаю и не уговариваю вас, даже не пытаюсь ни в чем вас убедить. Я со смертельным холодом и болью стою перед вами и говорю себе: как, до сих пор это — все? Настоящее будет... Но скоро ли? Почти нет сил ждать...

Вы говорите, что знаете меня, а мне чудится, что вы во мне заняты случайностями, мелочами, некрасивыми ошибками, которые не составляют моего существа, как не влияют на ядро моей души — до него слишком глубоко — а легкомыслие, как масло, только на поверхности. Я жалею, когда вы не имеете силы перешагнуть через упавший сучок — ибо именно эта нерешительность указывает, что вы ошупью бродите в моей душе. Послушайте меня. Между нами большое недоразумение. Я прежде всего человек серьезный и положительный. Я требую к себе уваженья,

как к равной, я не хочу и не могу выносить больше этого отношения не то шутиwego (хотя бы по внешности), не то уклончивого, не то болезненного — когда речь заходит о серьезных вещах. Мне нужны короткие, ясные, ценные, твердые и сердечные слова — а не уклончиво-обидное, бесполезное многоречие. Оно не в моем характере. Я иная — и со мной будьте иным. Чуть вы затрагиваете мои человеческие струны — я становлюсь серьезной, почти суровой, безукоризненно прямой и добросовестной и ко всему, и к себе. Вы думаете, я не знаю себе цены в недостойных меня мелких проступках? Дайте мне себя на свой суд — и не бойтесь, что я буду пощажена. Вам не нужно с таким старанием охранять и защищать себя, заботиться о себе и о том, чтобы покарать меня: я это сделаю лучше и строже вас, а вы будьте более гордым, более сильным, более смелым — вот как я теперь: с полной серьезностью говорю вам: я думаю, что вы не только еще не любите, но даже и не уяснили себе вполне той великой любви, какой я от вас жажду, какой я люблю — и с какой умру.

Вот вам правда. А потом делайте, как хотите — если думаете, что вам дано право делать что хотите, распоряжаться и моей и вашей жизнью.

Может быть сегодня вы захотите видеть меня, сказать мне что-нибудь? Я буду на Балтийском вокзале к поезду в 4 ч[аса] 20 мин[ут]. Вы найдете меня там — но только если действительно у вас есть ко мне и сердечные чувства, и добрые слова, и доверие ко всему, что я вам сказала.

90

[1897 г.] СПб.

Возвращаю мне не принадлежащее. Вы забыли коричневую кожаную записную книжку с заграничными заметками. Забыто также красное письмо с серебряным обрезом, то самое (после 16 мая 97), которое было читано не одним человеком — и даже не двумя. Или оно погубло среди своих сложных странствий?

Прошу — без раздражения. Я ко всему отношусь теперь очень добродушно и даже нахожу, обращая взоры назад, что из нас обоих — вы были правы, вы были всегда верны себе.

3.Мережковская

91

[сентябрь 1897 г.]

Как ваше здоровье? Я вчера была обеспокоена, мне показалось, что в самом деле у вас может сделаться инфлуенца. Нельзя

ли мне написать поскорее, как ваше здоровье? Я делаю безумие: у меня еще болит немного в горле и голоса нет — а все-таки еду на вечер А.К. Толстого, где даже не знаю, что буду читать, а уж как — можете легко вообразить. Мне страшно не нравится, меня отвращает то, что я еду именно на такой вечер, где на меня смотрят, как на актрису — и как, главное, не надо смотреть. Так тихо и неподвижно, что напоминает смерть. Я вас люблю, возьмите это слово, потому что оно вам нравится, и еще потому, что я не могу другим словом определить глубокой и серьезной привязанности к вам, которую вы еще не могли разрушить никакими способами, как меня ни мучили. Я вас люблю — и вторю вам, больше вторю, чем вы мне, хотя для моей жадной души вы не дадите доказательств.

Скажите, что и вы верите в будущее.

92

2 окт[ября] 18]97 г., СПб.

Зинаида Николаевна Мережковская-Гиппиус желала бы знать, когда она сможет получить свои портреты и письма, взамен возвращенных? Может быть, следует обратиться к посреднику? Вопросительным знаком было выражено желание узнать время напечатания стихов — ввиду скорого выхода книжки.

93

4 октября [18]97 г., Шевино.

Мне непонятно, почему вы так раздражительны. Я посылала вам стихи, основываясь на ваших же письмах о Денисове (там было и обо мне). Каким образом вы усмотрели в естественном вопросе о времени напечатания — сомнение в вашей «добросовестности» — для меня загадка. Ваша подозрительность и противоречия сбивают меня с толку — может быть в них есть какие-нибудь тайные смыслы? Но я плохая угадчица и очень хотела бы, чтобы вы со мною объяснились точно, без дальнейших противоречий, спокойных и для вас, и для меня. Хотите — печатайте меня, не хотите — не печатайте. Это так просто. Так же просто можно сказать, вы меня ничем не оскорбите. Тем не менее, я понимаю ваши действия с серенадой, что она, как вы писали, вам понравилась. Жаль что так вышло: *j'y tenais fort**.

О «посредниках» — я тоже предпочитаю выяснить. Вы начали с того, что избрали г.Геренштейна не только посредником — но

* Мне очень хотелось (фр.).

«наперсником», в чем, к сожалению, я не могла иметь и сомнений. Легко можете представить, зная меня, как я отнеслась к этому факту. Но я воздержалась от всякого выражения неудовольствия, не желая касаться ваших действий. И теперь мне... странно, странно, что в конце концов вы говорите со мной таким тоном, будто дело «посредничества» идет от меня и мне «по душе». Следует во всех делах держаться справедливости, даже не щадя себя. Вот мое мнение, которого вы, очевидно, не разделяете.

З.Г.

[Приписка на последнем листе снизу:]

Напрасно трудились присылать рукопись серенады: у меня есть копия.

94

7 окт[ября] 18[97] г., СПб.

Я ожидала от вас ясной записки относительно наших литературных сношений. И не знаю, оступела ли я, или слишком полно отдалилась от прежнего — но вашего сегодняшнего письма я опять совершенно искренно не поняла. О чем вы меня просите? Не намекать — кому? О какой записке? О той, которая была в моих бумагах? Я даже и внимания не обратила, и таинственных смыслов, которые в ней, очевидно, заключаются, — опять не поняла. И какое мне дело до всей этой толпы «невинных и прекрасных» женщин, которые вас окружают и которыми вы живете? Конечно, тут в сущности большая... эти ваши «искренние» дамы и ваша возня с ними, и это-то и служит источником всех неприличий, случившихся с вами в последнее время — но ведь я тут совершенно ни при чем, у меня всегда был ужас перед психопатией трагизмов. Что касается до «оскорблений» — то себя я, надеюсь, имею право оскорблять, если найду, что стою этого, а вас — Боже избави! Говорю о вас — при случае только то, что говорила и могу сказать вам прямо. Намеков ваших на «новые знакомства» и «публичное внимание» — честное слово, не понимаю абсолютно. Жаль, что не выяснили возможности или невозможности непосредственного литературного сношения. Может быть, этим самым фактом, т.е. умолчанием, вы хотите показать, что решаете дело в отрицательном смысле. Причем же упоминание (и опять непонятное) о серенаде?

Извините, ради Бога, за эту скуку, но в самом деле, все ваши обращения ко мне, хотя я и вплоть «до 6 октября оставалась вашим единственным другом» — весьма неясны и необсто-

ятельны. Относительно красного письма — у меня *знание*, а не предположения, поэтому жаль, что вы тратите слова, которые я принять не могу.

З.Г.

95

[октябрь 1897 г.]

Это граничит с комизмом: я не принимаю назад пустых конвертов и записок, которые считала и считаю необходимыми для вас. Если они вас тревожат — уничтожьте их попросту. Или это опять полунепонятный намек на ваше желание получить обратно две летние? Кажется, есть и еще одно письмо. Ваша неправда — вам. «Равновесие» мне не нужно. Ваши «преступления» (как громко)... могла бы вам указать их часы, дни и места, но все это, в сущности, меня так же мало интересует, как и вас.

3.

96

[1897 г.]

«Над бесконечною слабостью
Сердца, стыдом утомленного».

Вы мне не ответили — *таким* способом желая показать, что наши, и строго литературные, связи порваны, а личные записки были ошибкой. Мне стыдно, что вы со мною избрали этот способ, вместо прямых путей.

Вы просили «не поносить ваше имя» — и вы поносите мое (и как! и перед кем!). Зная, что мне передадут. Мне стыдно за то, что вы делаете, хотя не осмелюсь утверждать, как вы, что «это не искренне». Знаю также, что слова — дым, прах, но все-таки мне... стыдно.

Вы позволяете мутным водам неумной сплетни волноваться между нами — мне стыдно, что это вам не стыдно.

И да не будет вам никогда стыдно, потому что стыд — самое мучительное человеческое чувство, хотя, может быть, и очищающее душу.

3.

[Приписка в левом верхнем углу первого листа:]

Вам угодно, *конечно*, чтобы я вернула личные записки?

[1897 г.]

Мне хотелось бы знать непосредственно, не вмешивая совершенно даже близких «друзей» ваших, точно ли вы сказали следующее: «я получил коллективное письмо от подписчиков с выражением радости, что "С.В." выкинул (!) из числа подписчиков Гиппиус. Действительно, от нее ничего кроме вреда, не было. Теперь журнал может, наконец, вздохнуть». Извиняюсь, что усомнилась в факте произнесения вами этих слов и желаю знать, так ли оно — от вас. Молчание сочту за подтверждение. Но во всяком случае — повторяю свою просьбу — вы не введете в это дело никого. До сих пор вы делали иначе, непонятно до удивления (вызывая меня на какие-то *ответные* действия, не согласные с моим разумением). Надеюсь, что столь ясно выраженной моей воле вы не станете противиться.

З.М.

[1897 г.]

Так как я внутренне не могу, не умею пользоваться чужим и вечно помню, что заглавие моей книги принадлежит Вам — я возвращаю кесарю кесарево.

Зинаида Николаевна Мережковская-Гиппиус

12 августа 1916 г.

Многоуважаемый Аким Львович.

Благодарю Вас за любезное приглашение. Не премину им воспользоваться — если только у меня случится что-ниб[удь] пригодное для Б[иржевых] В[едомостей]³⁵ в их новом виде. Ибо я предполагаю, что с переходом под Ваше редакторство газета меняет свой облик, привычный для старых сотрудников, и перестает быть «свободной трибуной».

В настоящее время я, к сожалению, никаким подходящим для Вас, Аким Львович, материалом не располагаю.

Уважающая Вас

З.Гиппиус.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Безродная Юлия Ивановна (урожд. Яковлева, в замужестве Виленкина, 1858-1910), прозаик, драматург. В 1882-1886 была замужем за поэтом Н.М. Минским (Виленкиным), жила в Киеве. В эти годы публиковалась в «Северном вестнике». В 1890-е переехала в Петербург.

² Гуревич Любовь Яковлевна (1866-1940), писательница, литературный и театральный критик. С Волынским и Мережковскими познакомилась в литературном обществе А.А. Давыдовой, которое посещала курсисткой. О ее первой встрече с З.Г. Гиппиус см.: Гуревич Л. История «Северного вестника» // История русской литературы XX в. (Под ред. С.А. Венгерова). М., 1914-1915. С.240. В 1890-е ее отношения с Гиппиус были достаточно сложными: «Она чрезвычайно занимала меня, как своего рода художественное явление, но близко подойти к ней я не хотела и виделась мы все реже и реже» (Ук. соч. С.252). Уже после закрытия «Северного вестника» в 1904 Гиппиус предложила Гуревич занять место ответственного секретаря в журнале Мережковских «Новый путь», однако последняя, несмотря на трудные материальные обстоятельства, в которых она находилась, предложения не приняла.

³ Глинский Борис Борисович (1860-1917), журналист, историк, публицист. В 1890-1891 — издатель-редактор «Северного вестника», который был им приобретен на паях. Стремился сохранить участие в журнале известных литераторов и одновременно привлечь в него молодых университетских преподавателей. В результате растущего влияния в журнале А.Волынского, поддержанного Л.Гуревич (основной пайщицей), Глинский вынужден был оставить «Северный вестник».

⁴ «Северный вестник» (1885-1898, Петербург) — литературно-научный и политический журнал. До 1890 (редактор А.А. Евреинова при участии Н.К. Михайловского, В.Г. Короленко, А.Н. Плещеева) имел народническое направление, затем (в 1891-1898, под руководством Гуревич и Волынского) — стал органом политического либерализма, ориентированным на пропаганду творчества символистов. Одновременно в журнале публиковались Л.Толстой, М.Горький, Д.Мамин-Сибиряк, П.Боборыкин и др. Закрыт из-за цензурных преследований и материальных затруднений издателей.

⁵ Монтре, город в Швейцарии, на берегу Женевского озера.

⁶ Интерлаке, город в Швейцарии, в горах, между Тунским и Бриенцским озерами.

⁷ Поэту Алексею Николаевичу Плещееву (1825-1893) Гиппиус посвятила отдельный очерк «Благоухающие седины» и ряд страниц в книге воспоминаний «Дмитрий Мережковский».

⁸ Крестовская Мария Всеволодовна (1862-1910), писательница.

⁹ Буренин Виктор Петрович (псевд.: Граф Алексис Жасминов и мн. др., 1841-1926), литературный критик, поэт, драматург. См. о нем: Гиппиус З.Н. Указ. соч. С.201.

¹⁰ Скабичевский Александр Михайлович (1838-1910), критик, историк литературы, публицист. В 1890-е являлся объектом критики Волынского, что привело в марте 1894 к публичному скандалу на юбилейном обеде в честь Скабичевского в ресторане «Медведь», с которого «Волынский вынужден был уйти с перекосившимся лицом и бледными губами», как писалось в газетной хронике по поводу этого инцидента.

¹¹ «Русская мысль» (1880-1918, Москва), научный, литературный и политический ежемесячный журнал.

¹² Михайловский Николай Константинович (1842-1904), литературный критик, публицист, социолог, один из ведущих идеологов народничества. «Главный покровитель и "царь и бог" в журнале был Н.Михайловский, — вспоминала Гиппиус. — Близкий приятель А.А. Давыдовой и самый в то время знаменитый "либерал" (шестидесятник, конечно). С Анной Михайловной [Евреиновой — редактором первого состава "Северного вестника". — Публ.] он был в частых конфликтах, суть которых для меня была глубоко темна. /.../ К Д.С. Михайловский относился крайне недоброжелательно, статью о Чехове едва пропустил, а другие все время браковал» (Гиппиус З.Н, Указ. соч.).

¹³ «Русское богатство» (1876-1918, Петербург), литературный журнал. В 1890-1910-е выступал с последовательной критикой модернистских течений в литературе.

¹⁴ «Вестник Европы» (1866-1918, Петербург), ежемесячный журнал либерального направления.

¹⁵ Кони Анатолий Федорович (1844-1927), юрист, общественный деятель, мемуарист.

¹⁶ Имеется в виду роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

¹⁷ Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867-1941), критик, историк западноевропейской литературы, переводчица. В середине 1890-х тесно сотрудничала с «Северным вестником». Ее статьи о Верлене (1896, №2), Ж.К. Гюисмансе (1896, №7), У.Блейке (1896, №9) оказали определенное влияние на формирование русского символизма. С Л.Я. Гуревич училась в одно и то же время на Бестужевских курсах. Их сближение относится к середине 1890-х: весной 1895 они обе приезжают к Минскому на Ривьеру, а летом 1895 — втроем (с Минским) живут на даче в Павловске. В 1925 Венгерова вышла замуж за Минского.

¹⁸ Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855-1937), писатель, философ. С осени 1895 — секретарь редакции «Северного вестника». См. о нем: Гиппиус З.Н. Указ. соч. С.249.

¹⁹ Вероятно, имеется в виду семья Федора Федоровича Фидлера (1859-?), преподавателя немецкого языка в Екатерининском институте и в гимназиях Л.Г. Гуревича и кн.Оболенской, переводчика русских поэтов на немецкий язык.

²⁰ Урусов Александр Иванович (1843-1900), князь, адвокат, литературный и театральный критик, переводчик, член «Шекспировского кружка». Был в близких отношениях с Мережковскими и в 1890-е часто бывал в их доме.

²¹ Каплуновская В.А. — жена писателя В.В. Каплуновского.

²² Каплуновский Владимир Васильевич (псевд.: Уманов-Каплуновский, 1865-1939), поэт, переводчик, сотрудничал в «Вестнике Европы».

²³ Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/48-1918), поэт, литературный критик, юрист. В.Пяст называл его «одним из патриархов декадентства». Мережковский был с ним в близких отношениях и, по приезду в Петербург после свадьбы, познакомил З.Гиппиус, которая позднее вспоминала: «Андреевский сделался даже, потом, моей "подругой", — единственной, зато настоящей, и постоянно у нас бывал (до его смерти, уже при большевиках)» (указ. соч. С.187).

²⁴ Ср. с отрывком из «Подростка» Ф.М. Достоевского: «есть характеры, так сказать, слишком уж обшарканные горем, долго всю жизнь терпевшие, претерпевшие чрезвычайно много и большого горя, и постоянно по мелочам и которых ничем уже не удивишь, никакими внезапными катастрофами и, главное, которые даже перед гробом любимейшего существа не забудут ни единого из столь дорого доставшихся правил искательного обхождения с людьми» (Собр. соч. в 17 тт. Т.8. Л., 1990. С.306).

²⁵ Очевидно, Иксюль (Иксуль) фон Гильдебрандт Варвара Ивановна (урожд. Лутковская, 1846-1929), баронесса, общественная деятельница, близкая знакомая Мережковских. Отрицательное отношение Гиппиус к баронессе, высказанное в письме, скорее всего, отражает взгляды Волинского. Сама Гиппиус вспоминала В.И. Иксюль впоследствии в ином свете. Ср.: Указ. соч. С.186.

²⁷ Случевский Константин Константинович (1837-1904), поэт, литературный критик. Упомянутое в тексте прочитанное у баронессы письмо Л.Толстого, возможно, является его статьей «Приближение конца», в которой приводится письмо молодого голландца Джона Вандервера о мотивах его отказа от военной службы (см. запись в дневнике Толстого от 14 сентября 1896: Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22 тт. Т.22. М., 1985. С.50).

²⁸ Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), философ и поэт. В письме, очевидно, упоминается статья Соловьева о К.К.Случевском «Импрессионизм мысли» (Cosmopolis, 1897, апрель), которую автор читал у баронессы Иксюль (см. письмо В.С. Соловьева к П.И. Вейнбергу — ИРЛИ. Ф.62. Оп.1. Л.35, — где говорится об этом чтении осенью 1896 г.). Мнение Гиппиус о Соловьеве, высказанное в письме, мотивируется, очевидно, раз-

личием позиций его и Волынского. Позднее Гиппиус изменила свои взгляды (см.: Указ. соч. С.205, 206).

²⁸ Спасович Владимир Данилович (1828-1906), юрист, публицист.

²⁹ Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921), писатель. В 1890-е посещал салон Л.Я. Гуревич.

³⁰ Кавос Михаил Альбертович (ум. 1897), приятель В.С. Соловьева. З.Гиппиус называет его «милым приятелем нашим, старым рыцарем баронессы Иксуль» (указ. соч. С.205-206).

³¹ «Любовь — одна», стихотворение Гиппиус; см. письмо от 25 октября 1896. В публикуемом автографе имеет посвящение «Акиму Львовичу Флексеру-Волынскому», снятое в кн.: Гиппиус З.Н. Собрание стихов: Книга первая: 1899-1903. М., 1904.

³² Очевидно, имеются в виду Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919), экономист, «легальный марксист», и его жена Лидия Карловна (дочь А.А. Давыдовой, создательницы и редактора журнала «Мир Божий», и известного виолончелиста, директора Петербургской консерватории К.Ю. Давыдова). Семья Давыдовых была близко знакома с Мережковским еще до его брака с Гиппиус. С женой Мережковский познакомил Давыдовых сразу по приезде в Петербург. Их приятельские отношения продолжались и после замужества Лидии, а впоследствии, после ее смерти, они сохранялись с ее мужем. Волынский также хорошо знал семью Давыдовых, т.к. в середине 1880-х посещал народнический салон Давыдовой и именно по ее рекомендации начал сотрудничать в 1889 в «Северном вестнике».

³³ Котляревский Нестор Александрович (1863-1925), литературовед, переводчик.

³⁴ Вейнберг Петр Исаевич (1831-1908), поэт, переводчик, историк литературы. В 1890-е публиковался во многих журналах, в том числе — в «Северном вестнике» и «Русском богатстве». Имеющийся в письме отрицательный отзыв о Вейнберге находится в противоречии с очень теплыми воспоминаниями Гиппиус о нем — в очерке «Благоухание седин».

³⁵ «Биржевые ведомости» (1880-1917, Петербург), политическая газета, где Волынский сотрудничал обозревателем балета с 1910, а с 1913 — в отделе литературы, и в 1916-1917 — был редактором литературного отдела.

ИЗ «СЕКРЕТНЫХ» ФОНДОВ В СССР

Публикация Дж.Мальмстада

«Рукописи не горят». К сожалению, история не подтверждает провоту этих, уже ставших крылатыми слов Воланда-Дьявола из романа, который не раз предавался огню самим автором, писавшим в 1932 г., что печка — его любимый редактор. Кому из замечательных (и не замечательных) русских авторов двадцатого века не приходилось обращаться к услугам такого редактора? Какую трагическую «анти-историю» литературы можно было бы написать, если бы каждый, подобно Андрею Белому, составил «список пропавших или уничтоженных самим автором рукописей», и эти списки можно было бы собрать воедино!

Конечно, далеко не все рукописи горели. Их хранили на свой страх и риск друзья и семьи репрессированных; они сохранились и в государственных учреждениях. В наше время и рукописи и их авторы «возвращаются». Какая, однако, отвратительная формулировка! Ведь писатели, художники, композиторы, философы не по доброй воле уходили из культуры, чтобы потом «вернуться»: нет, это гонители их соизволили дать им теперь разрешение на возвращение — в память. Иногда возвращаются они странными путями. В 1929 г., когда сотрудники ОГПУ вернули Булгакову его ранний дневник, конфискованный при обыске тремя годами раньше, он его тотчас сжег, не подозревая, что уже снята была теми же чекистами копия. Недавно этот «сожженный» дневник был выпущен в свет органами-хранителями (хранить вечно!) и появился в печати к удивлению булгаковедов всего мира.

Спецфонды в библиотеках открывают и советским и иностранным читателям. Всего четыре года назад (не говорю уж о временах тому предшествовавших) меня вообще не пускали в здание Ленинградской публичной библиотеки на Фонтанке, где собрана периодика, а в главном здании на любой заказ, касающийся газет пореволюционного времени и двадцатых годов, я получал неизменный отказ: «у другого читателя», «восстанавливаются» и тому подобное. Теперь в архивах снимают запреты

с отдельных документов и целых фондов. Наконец становятся доступными не только исследователям, но и самим сотрудникам этих хранилищ материалы, без которых нельзя ни там ни здесь писать правдивую историю русской литературы.

Мне хотелось бы поделиться с читателями некоторыми из этих материалов, которые недавно стали доступными в одном из самых богатых общекультурных архивов России: ЦГАЛИ — учреждении, которое, надо признать, одним из первых стало открывать свои фонды. Выражаю благодарность директору и сотрудникам архива за возможность ознакомиться в первый раз весной 1991 года со всем фондом Андрея Белого. Также приношу свою благодарность Ю.А. Айхенвальду, который, зная, насколько я был занят работой в этом огромном фонде, любезно представил мне свои копии писем В.Ф. Ходасевича и И.А. Бунина.

Все документы, разумеется, печатаются впервые.

ПИСЬМО В.Ф. ХОДАСЕВИЧА А.А. БОРОВОМУ

Милостивый Государь Алексей Алексеевич!

Сергей Алексеевич, извиняясь перед Вами, что не может написать Вам лично за крайним недосугом, просил меня напомнить Вам Ваше обещание дать статью для «Перевала» к 1 ноября.

Если бы это почему-либо оказалось для Вас невозможным — не откажите дать хотя бы небольшую часть статьи. Мы напечатаем эту часть с указанием, что «продолжение следует».

С совершенным уважением

В.Ходасевич.

27/X 906.

ЦГАЛИ. Ф.1023 (Боровой А.А.). Оп.1. Ед.хр.749. Фонд А.А. Борового (1876-1936) был рассекречен в 1990 г.

Письмо В.Ф. Ходасевича (1886-1939) было написано, когда он был секретарем журн. «Перевал», редактировавшегося Сергеем Алексеевичем Соколовым (псевд. Сергей Кречетов, 1878-1936). Журнал был основан осенью 1906 г., так что дата «27/X 905» на копии исправлена мною на «906». Письмо — на бланке журнала. Типографский текст на бланке: «Перевал». Журнал свободной мысли. Москва, угол Пречистенского бульв. и Сивцева-Вражка, дом Тарасовой, кв. №1. Телефон 137-67.

«Этическая ценность революционного мирозозерцания» (с эпиграфами из Гете, Макса Штирнера и Ницше) — статья известного деятеля анархистского движения А.А. Борового («официально приват-доцент Московского университета, а неофициально эстетический анархист»). — Дон

Аминадо. Поезд на третьем пути. 1954. С.227), сотрудника многих либерально-левых журналов и газет, появилась в первом (ноябрьском) номере «Перевала» за 1906 г. с примечанием «Отрывок из предполагаемой публичной лекции». Имя Борового числится в списке постоянных сотрудников журнала, где печатались как его рецензии, так и очерки «Реформа и революция» (№№7, 8-9, 11, 12 за 1907 г.). Боровой, который и после 1917 г. продолжал занимать видное место среди московских анархистов, был арестован в конце двадцатых годов и расстрелян в 1936.

ПИСЬМО В.Ф. ХОДАСЕВИЧА Ю.И. АЙХЕНВАЛЬДУ

14, rue Lamblardie,
Paris (12e).

Дорогой Юлий Исаевич,

простите меня, что на Ваше письмо, такое дружеское, отвечаю не тотчас. Кроме того — большое спасибо за присланную статью¹. Промедление мое объясняется тем, что я сперва хворал, потом изо всех сил писал, потом писал и хворал одновременно (уехав из Парижа); потом вернулся², но ждал, чтобы в «Посл[едних] Нов[остях]» дали мне экз[емпляр] той статьи, которую прилагаю. В ней есть несколько добрых слов о Вас. Они были бы и еще теплее, если бы не страх (признаюсь — малодушный), что меня обвинят в «заискивании перед критикой». Дело в том, что эта статья должна войти в мою книгу «Некрополь», которая по видимому выйдет нынешней зимой³.

Если хотите, вернемся к «Боттому»⁴. Вы великодушно оставляете мне лазейку, говоря, что «фактические неточности ничему не мешают и только делают стих менее привязанным к реальности». К несчастью, я не в праве воспользоваться Вашей аргументацией. Правда, я не гнался нарочно за «внешней реальностью», но и не прибегал к неточностям *сознательно*. Следственно, буду оправдываться (и каяться) по-другому —

1) Немцы чаще хоронили без гробов, но хоронили *и* в гробах. След[ственно], тут неточности у меня нет⁵.

2) Маршалы в 22й строке — союзные, т.е. и французские и английские. Признаться, не думал, есть ли у англичан маршалы. Но заметьте, что Китченер был фельдмаршал. Так что тут, в худшем случае, полу-неточность, вполне допустимая.

3) Я очень помнил об английском добровольчестве. Но если вчитаетесь, то увидите, что мой Боттом погиб в ночь на 3 фев[р]а[ля] 1917 г., ибо его жена уже *два года* плакала до Версальского мира (точнее 1 г. 9 месяцев). Он мобилизован в конце 1916, в начале 1917 г., когда уже посылали не только добровольцев.

- О 1914 г. я сказал как о *начале* катастрофы, и тут моя вина непростительная: сказал я темно, неотчетливо: «пришел тогда черед» — выходит, будто в 1914 г. Эту неуклюжесть надо исправить, это мой несомненный грех, мало простительный, ибо я *не сумел выразить собственную мысль*⁶. Это *похуже* фактических ошибок.

Впрочем, Бог с ним, с Боттомом.

Я ушел из «Дней», которые требовали от меня систематических перепечаток из советской литературы. Это превращалось в *пропаганду*, на которую я пойти не мог, — и вернулся в «Последние Новости»⁷. Что еще Вам рассказать о себе? Ничего занимательного нет.

Вы, вероятно, не разделяете моего «бурного» негодования на «Версты» — в «Совр[еменных] Зап[исках]» (я сужу по Вашей статье о «Верстах» в «Руле»)⁸. Но мне, к сожалению, известна мерзкая подоплека всего этого предприятия — да и многого другого, что *предпринимается большевиками* с целью разложения эмиграции⁹. За три года жизни с Горьким узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных *личных*, чаепитийных отношениях), и того, что уже больше года мы даже не переписываемся¹⁰. Он недоволен мной, я — тем, что, признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей «миссией». Я все надеялся поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот — и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда покатился *тотчас* по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском¹¹. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь.

Вы пишете, что иногда Вас тянет на берега Сены. Вот было бы хорошо, если бы выбрались к нам в гости. Подумайте об этом.

Нина Николаевна, разумеется, очень помнит Вас, но не очень была уверена, что Вы ее помните. Она очень благодарна за память и шлет привет. Вчера вышел первый № их маленького журнала «Новый Дом», который она Вам посылает на суд¹².

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Сердечно Ваш Владислав Ходасевич.

28 окт[ября] 1]926.

ЦГАЛИ. Ф.1175 (Ю.И. Айхенвальд). Оп.2. Ед.хр.166. Приведенное выше письмо было рассекречено в 1989 г. Единица хранения №165 (прежде не секретная) содержит два письма Ходасевича Айхенвальду, одно от 31 июля 1926 г., второе — от 22 марта 1928 г. Письмо от 28 октября 1926 г.

занимает промежуточное положение между этими письмами, опубликованными в седьмом выпуске сборника ЦГАЛИ «Встречи с прошлым» (М., 1990. С.89-102).

¹ Писем Ходасевичу критика и историка литературы Ю.И. Айхенвальда (1872-1928), высланного за границу в 1922 г., в фондах Ходасевича в американских архивах нет, так что нельзя сказать, о какой статье Айхенвальда, постоянного сотрудника берлинской газеты «Руль», идет речь. В то время его «Литературные заметки» появлялись там по средам.

² 5 марта 1926 г. Ходасевич вместе с Н.Н. Берберовой (р. 1901) переселился на новую квартиру по адресу: 14, rue Lamblardie, где он и оставался до октября 1928 г. В сентябре 1926 г. Ходасевич постоянно ездил из Парижа в Робинсон (Seaux-Robinson), дачное место на южной окраине Парижа, где он предпочитал писать, так как в городе ему было трудно работать.

³ Речь идет о воспоминаниях «Муни», напечатанных 30 сентября 1926 г. в «Последних новостях», №2017. Там же Ходасевич писал: «После одной тяжелой истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довыплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева. /.../ Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Ю.И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел "Русской Мысли", взял несколько стихотворений незнакомого автора, и мне отраднo об этом вспомнить. Он знал Муни, но, вероятно, и сейчас ему неизвестно, чьи стихи он печатал под именем Александра Беклемишева». При перепечатке несколько переделанных воспоминаний в книге «Некрополь», вышедшей в Брюсселе незадолго до смерти Ходасевича в 1939 г., автор оставил упоминание об Айхенвальде.

⁴ 28 июля 1926 г. Айхенвальд, в рецензии на 28-ю кн. «Современных записок», дал очень «лестный отзыв» (слова Ходасевича) о балладе «Джон Боттом», напечатанной там же — с.189-196 («Руль», №1717; текст Айхенвальда перепечатан в комментариях к балладе в первом томе Собрания сочинений Ходасевича — Ардис. 1983. С.371). В своем первом письме Айхенвальду от 31 июля 1926 г. Ходасевич поблагодарил его не за «похвалу», а за то, что он, «один из немногих», *понял* его «Боттома». Второе письмо Ходасевича, по-видимому, отвечает отчасти на рецензию (см. прим.5 к этому письму) и на фактические возражения Айхенвальда в его недошедшем до нас письме Ходасевичу.

⁵ В рецензии Айхенвальд писал: «Если быть придирчивым, то можно выразить сомнение, действительно ли, как рассказывает баллада, германцы, заняв английский окоп, "Джона утром унесли и уложили в гроб": едва ли так, в гробах, хоронили убитых солдат».

⁶ Шестая строфа баллады в тексте, напечатанном в «Современных записках», читается: «Проклятье вечное тебе, / Четырнадцатый год!.. / Пришел и Боттому тогда, / Как всем другим, черед». При перепечатке

баллады в «Европейской ночи», третьей части Собрания стихов (1927), Ходасевич исправил третью строку на «Потом и Боттому пришел».

⁷ Летом 1925 г. Ходасевич стал, вместе с Алдановым, заведовать литературным отделом парижской газеты «Дни». (С 1922 г. по август 1925 г. он печатался в ней и в «Последних новостях»). 25 августа 1926 г. он записал в свой «камерфурьерский журнал»: «В Дни (вернулся Алданов)», а в среду 22 сентября: «В Дни (моя "отставка")». На следующий день он зашел в контору «Последних новостей» и 30 сентября там появился «Муни» (см. прим.3 к настоящему письму).

⁸ Опубликование сборника «Версты» летом 1926 г. в Париже вызвало бурю враждебных откликов в эмигрантской прессе из-за его подчеркнуто просоветской ориентации. Может быть, самым ярким и язвительным откликом был очерк Ходасевича «О "Верстах"», опубликованный в 29-й кн. «Современных записок» (его текст, с подробными комментариями, перепечатан во втором томе его Собрания сочинений. Ардис. 1990. С.408-417 и 544-549). В своих «Литературных заметках» в газете «Руль» от 11 августа 1926 г. (№1729) Айхенвальд скорее всего резюмировал содержание «необычайного явления» «Верст» и писал: «Мы здесь не будем касаться "Верст" по существу, тем более, что существо это для нас не вполне ясно». Он начал свои заметки с упоминания, что Ходасевич недавно в газ. «Дни» («О Блоке и Гумилеве. Воспоминания». №1069 от 1 августа) обратил внимание на то, что в текущем августе исполняется пятилетие смерти Блока и Гумилева.

⁹ Имеется в виду так называемая кампания, получившая название «возвращенчество», о котором Ходасевич написал, но не напечатал, разоблачительную статью «К истории возвращенчества» в 1926 г. Текст статьи впервые был напечатан по рукописи и без купюр во втором томе Собрания сочинений (С.430-433 и 551-552). См. также письмо Ходасевича М.М. Карповичу от 7 апреля 1926 г., где он в частности писал: «Но самое мрачное то, что я *знаю* [подчеркнуто дважды. — Публ.], что и Пешехонов, и она [Кускова. — Публ.], и прочие — жертвы большевицкой интриги, сознательно проводимой. *Возвращенчество задумано в ГПУ*» («Oxford Slavonic Papers», New Series, vol. XIX, 1986. p.148-149, публ. Д.Мальмстада и Р.Хьюза).

¹⁰ В упомянутом уже письме от 7 апреля 1926 г. Карповичу Ходасевич писал: «...у меня произошел разрыв с Горьким, чисто политический. Лично мы ничем друг друга не обидели. Но я просто в один прекрасный день перестал ему отвечать на письма. Я устал от его двуличности и лжи (политической!), устал его изобличать. А делать вид, будто не замечаю, — не могу». В письме к Карповичу от 3 июня 1925 г. он писал: «Из этих трех лет, проведенных за границей, я половину времени прожил с Горьким под одной крышей: месяцев пять под Берлином, в начале 1923 года, потом — месяцев 5 — в Чехословакии (конец 1923 и начало 1924), потом месяцев 6 1/2 — в Сорренто (с октября 1924 по апрель 1925)» («Oxford Slavonic Papers», p.142). См. также очерки Ходасевича о Горьком в «Некрополе» и в «Современных записках» (кн.70. 1940).

¹¹ Статья «К истории возвращения», по всей вероятности, была написана вскоре после опубликования письма Горького Я.С. Ганецкому в газ. «Правда» от 11 августа 1926 г., под названием «М.Горький о Ф.Э. Дзержинском». В начале своей статьи Ходасевич писал: «Что Горький Дзержинского "и любил, и уважал", — для меня с некоторых пор не ново. К тому же — это дело его личного вкуса и его отношений с начальством. В его письме меня взволновало другое». 14 сентября 1926 г. Ходасевич писал Н.Н. Берберовой («Милый мой кот»): «Сегодня я /.../ встретил папу Познера [Соломона Владимировича. — *Публ.*], который очень противен. Как ты и предсказывал — переписывается с А[лексеем] М[аксимовичем]!!! "Возражал" ему на письмо о Дз[ержинском]. А.М. — ему, словом — гнус. Я сказал, что А.М. просто подлец. Ну, к дьяволу их» (Минувшее. Т.5. 1988. С.237).

¹² Литературный журнал «Новый дом», выходивший в Париже под ред. Нины Берберовой, Довида Кнута, Юрия Терапиано и Всеволода Фохта, существовал недолго: вышло три номера за 1926-1927 гг. Айхенвальд отнесся благожелательно к новому журналу: см. его рец. в «Руле», №1813, 17 ноября 1926 г., где он писал о «царящей в нем атмосфере талантливости и вкуса». В письме от 26 ноября 1926 г., хранящемся в фонде Айхенвальда в ЦГАЛИ, Берберова благодарит его и за это, и за «чрезвычайно лестные слова» о ней. См. также ее автобиографию «Курсив мой» (Мюнхен, 1972. С.370). Возможно, что Айхенвальд познакомился с Берберовой 8 июля 1923 г., когда они вместе с Ходасевичем, Белым, К.Н. Васильевой, Никитиным, Зайцевым и Бахрахом провели вечер в берлинском ресторане (см. «камерфурьерский журнал»).

ПИСЬМО И.А. БУНИНА Ю.И. АЙХЕНВАЛЬДУ

Villa Belvédère
Grasse, A.M.
23-VII-1927.

Дорогой Юлий Исаевич,

Нью-Йоркский Ком[итет] помощи писателям, как Вам уже известно, разумеется, затеял сборник для усиления своих средств. В числе сотрудников — Горький.

Позвольте осведомить Вас, что мы, парижане, ни в каком случае рядом с Горьким не пойдем — и так и написали Оберучеву (Алданов, я, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Ладыженский, Шмелев, Сургучев, Ходасевич).

Пользуюсь случаем сказать Вам, что искренно люблю и почитаю Вас.

Ваш Ив[ан] Бунин..

ЦГАЛИ. Ф.1175. Оп.2. Ед.хр.85. На обороте этого письма, рассекреченного в 1990 г., Ю.И. Айхенвальд набросал ответ, но не Бунину, а Константину Михайловичу Оберучеву (1864-1929), возглавлявшему в Нью-Йорке Комитет помощи нуждающимся русским литераторам (о нем подробно см.: Русский Берлин. Париж, 1983. С.378-379). Набросок написан неразборчиво, избилует сокращениями. Приводим то, что Ю.А. Айхенвальду удалось расшифровать:

Многоуважаемый Константин Михайлович,

Меня из Парижа уведомили о том, что Алданов, Бунин, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Ладыженский, Шмелев, Сургучев, Ходасевич не находят возможным участвовать в задуманном Вами сборнике рядом с Горьким... хотя и мне тоже... но, как Вы уже знаете, от участия в сборнике я не отказываюсь ввиду его благородных побуждений и ввиду того, что помощью фонда пользовался и я сам...

Летом 1927 г. Ходасевич вместе с Берберовой жили на юге Франции в Le Cannet. Как и Грасс, он находится недалеко от Канн, где в то время проживали Мережковский и Гиппиус. В июле и августе эти писатели часто виделись и, возможно, что они обсуждали задуманный сборник, который так и не появился в печати.

К БИОГРАФИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Документы-черновики, публикуемые ниже, хранятся в ЦГАЛИ в фонде А.Белого (№53), оп.1, ед.хр.335 (Письмо А.Белого А.М. Горькому и заявления «В коллегии ОГПУ» и прокурору ОГПУ Катаняну с приложением списка бумага, поданных в ОГПУ по вопросу о возвращении его рукописей). Они были рассекречены в 1989 г.

9 апреля 1931 г. Белый вместе с К.Н. Васильевой выехал из Москвы в Детское Село (бывшее Царское), где они поселились у Р.В. Иванова-Разумника. В начале мая агенты ОГПУ произвели обыск в московской квартире мужа К.Н. Васильевой, и рукописи, оставленные Белым при отъезде из столицы, были конфискованы. За этим последовал арест П.Н. Васильева и ряда других антропософов — друзей Белого. 30 мая была арестована сама Клавдия Николаевна Васильева и увезена в Москву. Весь июнь был занят хлопотами и объяснительными показаниями Белого, уехавшего 23 июня в Москву. Хлопоты были связаны с судьбой К.Н. Васильевой и арестованных друзей Белого (в числе которых были сестра Васильевой, стародавний друг Белого А.С. Петровский, П.Н. Зайцев и др.). 2 июля Клавдия Николаевна была освобождена и 18 июля, сразу после развода с мужем, брак ее с Белым был зарегистрирован в загсе. Они вернулись в Детское Село только в начале сентября, так как до этого у Клавдии Николаевны не было разрешения на выезд из Москвы. Другие их друзья были высланы из столицы.

В 1976 г. Г.П. Струве опубликовал в 124-й книжке «Нового журнала» заявление Белого Катаняну («К биографии Андрея Белого: три докумен-

та»). Источник его текста не указан. Он достаточно отличается от черновика, находящегося в составе единицы хранения №335, так что я решил и его напечатать здесь.

В нашей публикации зачеркнутые слова даны в квадратных скобках. Черновики изобилуют вставленными словами, поправками отдельных слов, переставлениями и т.д. Такие случаи редко оговариваются, и случайные описки поправлены также без оговорок. Авторский синтаксис и пунктуация сохранены. Все документы написаны чернилами рукой Белого.

ПИСЬМО АНДРЕЯ БЕЛОГО А.М. ГОРЬКОМУ

17 мая 1931 г.

Детское Село. Октябрьский бульвар, д.32

Глубокоуважаемый Алексей Максимович,

Мне прискорбно смущать дни Вашего возвращения в СССР сообщением, которое все же считаю нужным Вам сделать, как человеку, которому близки интересы писателей.

На днях в Москве при обыске, произведенном в квартире моего старинного друга и постоянного секретаря, Клавдии Николаевны Васильевой (с которой мы бывали у Вас в 1923 году зимой) вскрыли сундук, где были собраны мои рукописи-уникумы [рукописи], книги-уникумы, заметки и все наработанное за 10 лет, — агенты ГПУ, хотя на нем была надпись, сделанная моей рукой, что он принадлежит мне; весь материал увезен в ГПУ, вместе с неоконченными работами, цитатами и дневником, в котором наброски к ряду работ. Без этого материала, я, как писатель, выведен из строя, ибо в нем — компендиум 10 лет [работы] труда.

[Тем не менее я даю срок для изучения агентам ГПУ моей очень сложной, идейно-литературной физиономии с надеждой] [Надеюсь] Полагаю, что [этот] материал для изучения моей сложной литературно-идейной физиономии будут штудировать высокообразованные люди; [мотивы, заставляющие меня пока быть терпеливым, следующие: изучение материалов] разгляд моего «Дневника» поставит в известность агентов ГПУ, что между мной и Кл[авдией] Ник[олаевной] — нет грани в идеологии; если приехали за ней, почему — не за мной? Если не за мной — причем изъятие моей литературной работы?

Я надеюсь: грамотный разгляд моих бумаг выяснит полную нашу с Кл[авдией] Н[иколаевной] непричастность к политике, что кричит со строк моего «Дневника», который теперь изучают агенты.

Ока[зываются?] Сижу в Детском, куда мы с Клавдией Николаевной уехали месяца полтора назад для отдыха от неустойчивости [и разлуки] подмосковной жизни; сижу и не пускаю Кл[авдию] Ник[олаевну] в Москву, где вместо нее увезен в ГПУ ее муж, доктор Петр Николаевич Васильев (брат покойной жены Менжинского

Надеюсь, что Вам не безразличны факты, ставящие писателя в невозможные условия для работы; потому и довожу до сведения Вашего инцидент со мной и с моим секретарем [Клавдией Николаевной] К.Н. Васильевой.

Искренне уважающий Вас
[Примите уверение в
совершенном уважении]
Борис Бугаев (Андрей Белый)

P.S. Указываю адрес свой в начале письма на [в] случа[е]й, еслибы Вы пожелали мне ответить. Адрес моего друга (имеющего доверенность на [мой] ведение моих литературных дел), писателя Петра Никаноровича Зайцева следующий: Москва, Арбат, Старокопненский, д.5 кв.45. Телефон

На конверте без марки надпись: «Алексею Максимовичу Пешкову (Максиму Горькому) от Б.Н. Бугаева (Андрея Белого)». Тут же приписано (К.Н. Васильевой?) карандашом: «Копия».

22 мая 1931 г. Белый писал П.Н. Зайцеву (1889-1970) из Детского Села: «...телеграмму получил: спасибо за Горького; /.../ Пока живем тихо и мирно» (ЦГАЛИ. Ф.1610 (Зайцев). Оп.1. Ед.хр.16а). В Троицын день ему же: «Совершилось! Оттого не писал, что не стоило: ждал! Как только выяснится, что она [К.Н. Васильева. — Публ.] в Москве, — буду тотчас; /.../ О себе — не пишу, ибо меня — нет; я — с ней до такой степени, что ощущаю себя в Детском, как тело без души; вся ставка на твердость; не не [так! — Публ.] жизнь, а миллион жизней мне — она. После того, как взяли ее, сутки лежал трупом; но для нее в будущем надо быть твердым; /.../ Письмо разорвите». См. также письмо Белого Р.В. Иванову от 27 июня 1931 г.: «подытожу результаты этих дней и всяких мной предпринятых бегов ("Гихл", корректуры, дело о моих рукописях, письмо к Алексею Максимовичу Пешкову и т.д.)» (опубл. А.В. Лавровым и Д.Е. Максимовым в кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988. С.731).

Ответ Горького, вернувшегося в СССР 13 мая 1931 г., Белому мне неизвестен: их переписка (в Архиве Горького, ИМЛИ), да и машинописная копия письма Белого Горькому от 27 мая 1931 г. в ЦГАЛИ (Ф.53. Оп.6. Ед.хр.15) в настоящее время не выдаются по просьбе редакторов, готовящих издание переписки Горького.

Осенью 1931 г. после хлопот, доводящих Белого «до сердечной болезни» (он же — Зайцеву), — вернули конфискованные рукописи.

Клавдия Николаевна Васильева (1886-1970), разумеется, не пишет об этом инциденте в своих «Воспоминаниях о Белом» (Berkeley, 1981). Она приехала вместе с Белым в Зарау (Saagow), где жил Горький, 16 марта 1923 г., как записал Ходасевич в свой «камерфурьерский журнал»: «[Ве]ч[ером] приехали Белый с Васильевой и Гржебин[ым]. С ними у Горького». 19 и 21 марта они также были вместе у Горького.

ТРИ ЗАЯВЛЕНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО В ОГПУ

1

В Коллегию ОГПУ

Писателя Бориса Николаевича Бугаева
(Андрея Белого)

Заявление

Считаю нужным обратиться с нижеследующим заявлением в [оставлен большой пропуск. — *Публ.*]

В ночь с 8-го на 9-ое мая 1931 года по ордеру ППОГПУ Московской области был произведен обыск в квартире моих ближайших друзей, доктора Петра Николаевича Васильева и его жены, Клавдии Николаевны (Плющиха, д.53. кв.1); в этой квартире в течение ряда лет я хранил сундук с рядом литературных материалов, без которых [я при] в работе мне не [могу] обойтись (выписки, цитаты, черновики, наброски, ряд ненапечатанных рукописей, ремингтонированных и писанных, материал моих работ по ритму, анализу словесных форм, диаграмм, схем, рукописи, приготовленные к печати, личный дневник, в котором и субъективные записи, и наброски, к [возможным] будущим исследованиям, набор всех моих напечатанных книг, из которых некоторые при утрате, я бы не мог достать, математические сочинения моего отца, Н.В. Бугаева, биографический материал для себя лично, часто весьма интимный и т.д.); сумма этого материала является для меня орудием производства; сундук с надписью, сделанной моей рукой, был при обыске вскрыт агентами ОГПУ, что значит в протоколе: «Из сундука, принадлежащего *по словам* (?) Васильева гр. Белому изъята разная переписка». Через два дня за сундуком и другими какими-то моими бумагами, между прочим, кажется за портфелем, с надписью «Vigneau-Marre», где я хранил [мне нужные] счета, расписки и т.д., явилась из ОГПУ машина; и весь материал, который я в годах отдавал моему ближайшему другу и секретарю, Клавдии Николаевне Васильевой (вместе с деньгами, которые хранил у нее), — весь материал пропал для меня; а комната была опечатана, — при чем ни я, ни К.Н. Васильева, нахо-

дившаяся в то время со мной в Детском Селе, так и не узнали, что из принадлежащего мне вывезено, а что осталось запечатанным.

Между тем, собираясь переселиться в Детское Село и ликвидировать свое неудобное во всех отношениях [и сырое] помещенье в Кучине, где [ценные] рукописи покрывались плесенью, я вывез все документы и нужные [мне] рукописи [перед отъездом] в Москву главным образом в квартиру Васильевых, которая и была мне в ряде лет, тем дружеским местом, где я хранил архив работ, а также в квартиру моего друга, писателя, Петра Никаноровича Зайцева (Староконюшенный, д.5. кв.45), имевшего полную доверенность на ведение всех моих дел, ибо я по слабости здоровья и неудобству сношения с Москвой, не мог часто бывать в мне нужных, деловых учреждениях.

Но, в ночь на 27-ое на 29-ое [так! — Публ.] мая, был обыск [и] в квартире Зайцева; и между прочим увезена моя машинка, которую я спасал от сырости кучинского помещения в квартире Зайцева (о чем, кажется, составлен протокол); комната П.Н. Зайцева тоже оказалась опечатанной; и [тоже] опять таки *ряд деловых квитанций*, — [налоговых] от фин-инспектора, самообложения, культурного налога, — и т.д. оказал[ись]ся [опечатаны] недостижимыми для меня; [и] я даже не знаю, где П.Н. Зайцев хранил эти мне принадлежащие квитанции и счета. [с редакциями (между прочим и договоры).]

Так что, — до распечатанья означенных комнат я даже лишен во многом своих гражданских прав, а не только орудий производства, что ставит меня в трудное положение в виду неряшливого ведения дел членами Салтыковского Поселкового Совета, по несколько раз в год требующими [под угрозой] квитанций об уплате налогов (за старые годы) [и] и при отсутствии [их] оных [предъявляющих] требующих [огромные] пени; таковой случай имел место со мной, вследствие чего я, уезжая в Детское Село, оставил Зайцеву налоговые квитанции и просил его сноситься с Салтыковским Советом и в случае новых недоразумений жаловаться на него.

Полагая, что арест моих бумаг имеет какие-либо политические основания, я дал время ОГПУ ознакомиться с характером [их] моих бумаг; но имея в виду чисто технические неудобства, для меня вытекающие из этого, я уведомил Алексея Максимовича Пешкова (Максима Горького) о своих трудностях; и получил в ответ от него письмо, извещающее меня: по его словам его секретарю П.П. Крючкову было сделано заявление, де *«все рукописи и бумаги будут непременно возвращены мне»*. Выведя из этого

заклучение, что *ОГПУ* считает возможным вернуть мне все, взятое у меня, я обращаюсь настоящим заявлением с просьбой:

1) вернуть мне сундук рукописей и машинку, конфискованную у Зайцева.

2) выдать мне бумагу, охраняющую мои права, на случай требований у меня квитанций, расписок и др. документов, запечатанных в комнатах у П.Н. Зайцева и доктора П.Н. Васильева до распечатанья этих комнат и отыскания моих документов.

3) Считаю нужным ознакомить следствие, ведущее дела моих арестованных друзей К.Н. Васильевой, [ее мужа] П.Н. Васильева, [сестры ее] Е.Н. Кезельман, П.Н. Зайцева и некоторых других близких мне [друзей] людей, с которыми я часто встречался у Васильевых, — с отобранной у меня личной рукописью, написанной для себя и нескольких друзей (а не для печати, или [даже] не для распространения в не большом круге) и озаглавленной «Почему я стал символистом»:

(с [последней] этой рукописью в виду огромного материала, отобранного у меня, могли и не ознакомиться); рукопись эта — результат моих многолетних дум о судьбах западного «*Антропософского Общества*», членом которого я состоял [в] с 1912 года до 1916-го, после чего стал членом «*Московского Антропософского Общества*», имевшего свой, отдельный от западного общества устав, легально существовавшего 5 лет при Советском строе; устав [которого] Моск[овского] Общ[ества] был не [разрешен] утвержден в 23 году, после чего деятельность «Моск[овского] Антр[опософского] Общ[ества]» прекратилась, никакой общественной работы не велось; [а друзья,] некогда «сочлены» встречались, как [друзья] люди, связанные многолетней часто дружбой, а не как члены.

Полагая, что аресты некоторых из моих друзей, увоз моих бумаг стоит в связи с делом об «*Антропософском Обществе*», — решительно ставлю на вид: [что]

а) выше означенная моя рукопись [, озаглавленная] «*Почему я стал символистом*» — итог опыта жизни в западном обществе и разочарования в нем при осознании, что Рудольф Штейнер, некоторые из его личных учеников с одной стороны и средний состав членов Западного Общества с другой — взаимное противоречие не потому, что это общество занимается политикой (его сфера — культура искусств и наук), а потому что всякое общество типа «*Антропософского Общества*» противоречит внутренней теме антропософии; [моя и друзей моих бывшая связь с Ш] уважение к скончавшемуся в 25-ом году Штейнеру —

одно, а западное «*А[нтропософское] О[бщество]*» — другое; они — то, что не имеет никакого касания к нашей духовной жизни.

б) в означенной рукописи подчеркнуто, что близкий мне друг К.Н. Васильева первая поняла меня в этой мысли и что мои близкие друзья (ныне арестованные) разделяли мою точку зрения.

Прошу взвесить это последнее мое заявление и ознакомившись с рукописью «*Почему я стал Символистом*» (антропософии посвящена 2-ая часть) решить: совместим ли тон рукописи, разделяемой К.Н. Васильевой и некоторыми моими друзьями с «*опасной*» политикой и вытекающими из него следствиями, — единственным поводом, по моему, к аресту моих друзей.

Должен сказать, что [в пункте рукописи] я вполне солидарен с многолетним моим другом и секретарем К.Н. Васильевой, ее мужем, ее сестрой (Еленой Николаевной Кезельман), П.Н. Зайцевым и некоторыми другими из арестованных друзей, вероятно допрашиваемых в ОГПУ; и вероятно — по делу об «*Антропософах*» [(Не представляю себе иных мотивов к аресту.)]

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)
Москва. 26 июня 31 года.

Постоянный адрес: Детское Село. Октябрьский бульвар. д.32.
Временный адрес: Москва. Плющиха. д.53. кв.1.

[Сверху карандашом надписано: *Черновик*].

2

В Обл-ОГПУ

От писателя, Бориса Николаевича Бугаева (Андрея Белого)

Заявление

В ночь с 8-го на 9-ое мая 1931 года по ордеру ППОГПУ Московской области был произведен обыск в квартире доктора, Петра Николаевича Васильева (Москва. Плющиха. д.53. кв.1); в этой квартире стоял мой сундук с архивом бумаг и книгами; утрата некоторых из них была бы для меня незаменимой потерей.

Дав время ознакомиться с содержанием моего сундука, я навел справки о возможности его возвращения мне; получив утвердительный ответ, я подал заявление т.Агранову, в котором содержится просьба о возвращении мне не только сундука, но и машинки, мне, как писателю, необходимой; последнюю я приобрел чрез посредство Зайцева в 1929-ом году (одну из случайно оказавшихся квитанций об уплате стоимости при сем прилагаю);

уезжая в Детское Село и желая предохранить машинку от порчи, я поставил ее в комнате писателя, Петра Никаноровича Зайцева (Староконюшенный, д.5. кв.45), имевшего доверенность на ведение моих дел и хранившего мои счета и расписки от внесения налоговых взносов; но в ночь с 28-ое на 29-ое мая был обыск в квартире Зайцева; [и] машинку увезли агенты ОГПУ, а налоговые квитанции оказались, повидимому, запечатаны в его комнате, что ставит меня в очень трудное положение в виду *неряшливого ведения счетных книг в Салтыковском Поселковом Совете* (я проживал до апреля в Салтыковке, в районе «Новое Кучино», дача №40).

Перед самым отъездом в Детское Село я получил приглашение под угрозой немедленной пени заплатить будто бы незаплаченный в 1928 году налог самообложения, который был в свое время заплачен (квитанция об уплате 27 рублей хранилась у меня в Москве); и стоимость налога показана неверной (104 рубля); удивленный предъявлением столь запоздалого требования, я предъявил в Совет все квитанции об уплате трех налогов самообложения; и мне не сумели внятно ответить, откуда взялись фантастические 104 рубля; пять раз по моему поручению писатель Зайцев ездил в назначенные ему дни в Совет из Москвы, и члены Совета, точно ускальзывали от объяснения; и никаких более требований ко мне уже не предъявляли.

Тем не менее, уезжая в Детское Село, я оставил Зайцеву налоговые квитанции и просил его в случае новых требований Салтыковского Поселкового Совета жаловаться на неряшливое ведение счетных книг лицами, уполномоченными Советом.

Теперь, когда я уже ликвидировал с Кучиным, переселившись в Детское Село, я узнал от бывшей квартирной хозяйки, что опять в Совете осведомляются о каких-то 104 рублях, будто бы мной незаплаченных, вопреки распискам об уплате мной трех налогов самообложения, культурного налога за 1931 год, налога Фин-Инспектору за 1931 год, хранящимся где-то у ныне подследственного Петра Никаноровича Зайцева (вероятно, — запечатаны у него в комнате).

В виду этого я прошу кроме выдачи мне сундука с книгами и бумагами 1) вернуть мне мою машинку системы SMS (№2070), приобретенную в 1929 году; 2) оградить меня до распечатания комнаты Зайцева от требований Салтыковского Поселкового Совета, или выдумывающего налоги вспять, через три года по уплате налогов, или не умеющего разобраться в путанице счетов, отчего страдают ни в чем неповинные люди.

Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)

Москва. 10 июля 1931 года.

Бывший постоянный адрес: Салтыковка. Новое Кучино. Железнодорожная улица. Дача №40.

Настоящий постоянный адрес: Детское Село. Октябрьский бульвар. д.32.

Временный адрес: Москва. Плющиха. д.53. кв.1.

[Сверху карандашом написано: *Черновик.*]

3

[В ОГПУ]

Считаю своим моральным долгом приобщить к следствию, ведущемуся о деле моих ближайших друзей, Клавдии Николаевны Васильевой, Петра Николаевича Васильева, Елены Николаевны Кезельман нижеследующее заявление, которое я мог бы подкрепить рядом фактов и цитат: 1) *Мое отношение к «Международному Антропософскому Обществу» есть отношение отрицательное*: Критика этого Общества, начавшись во мне с 1915 года, в конце 1921 года приняла острый характер; и высказывалась рядом лиц в Берлине в 1922-1923-их годах; с 1923-ьего года в СССР я подчеркивал ряду бывших сочленов по «Русскому Антропософскому Обществу» свою точку зрения: Критика шла не по линии политики (которой не было в Западном Обществе), а по линии рутины, бытовой косности и предрассудков сознания; доказательство этой критики — вторая часть рукописи моей *«Почему я стал символистом»*, написанной в Кучине, весной 1928 года, при участии моего друга, Клавдии Николаевны Васильевой, проводившей со мной почти все время; точку зрения рукописи разделяли и бывшие мои со-члены по *«Антр[опософскому] Обществу»* (устав которого был не утвержден в 1923 году), мои друзья: А.С. Петровский, Е.Н. Кезельман, П.Н. Васильев и те из ныне арестованных знакомых, с которыми встречался в те дни (в случайных наездах в Москву).

2) *Считая «Межд[ународное] Антр[опософское] Общество (на Западе) оскорбляющим стиль моей духовной жизни и держась от него в стороне в 1922-1923-х годах (в бытность в Берлине), — я с тем большим уважением относился к отдельным, высокоодаренным западным антропософам, державшимся вдали от жизни зап[адного] общества, как покойный Михаил Бауэр († 1929 году), или Маргарита Моргенштерн, жена знаменитого немецкого поэта, которым я жаловался на стиль зап[адного] общ[ества] и с которыми познакомился в 1912-ом году; тем не менее, — отдавая в разные издательства свои книги, я отдал и в издательство*

«*Der Kommende Tag*» свою брошюру «*Кризис Мысли*», напечатанную в СССР в 1920-м году; немецкий перевод вышел в 1922-ом году; а в начале 1922-го года послал в антр[опософский] журнал «*Die Drei*» мою статью «*Anthroposophie und Russland*», в которой подчеркивал своеобразность развития русской антропософии, обусловленной революцией, останавливаясь на Блоке, Герцене и т.д. Поступал я в отношении к СССР лояльно, ибо «*Русс[кое] Антр[опософское] Общество*» в ту пору [легально] существовало (лишь в 1923 году устав его не был утвержден).

3) *Не собираясь защищать стили быта «Межд[ународного] Антр[опософского] Общества», каким он мне стоял от 1915-го до 1923 годов, — резко подчеркиваю: в эпоху мировой войны этот быт в Дорнахе, где я участвовал в постройке здания-театра «Гетеанума», был резко революционен по отношению к мировой войне, что вызывало ряд неприятностей, подозрений по отношению к нам со стороны контр-разведок Антанты, Германии и даже нейтральной Швейцарии; впечатления свои от этого периода жизни и от возвращения в Россию в 1916 году (через Францию и Англию) я закрепил в фантастическом шарже «Записки Чудака», печатавшемся частями в 1919 и 1921 годах в журнале «Записки Мечтателей» в СССР и изданном в 1923-м году в Берлине (издательство «Геликон»); шарж построен на почве переживаний личных «пораженца», преследуемого разведками; и позднее ненависть к милитаризму и фашизму продиктовала мне 2-ую главу романа «Маски», рукопись которого находится в «Гихле», — романа, в сложении сюжета которого принимала участие мой близкий друг, К.Н. Васильева; роман писался в Кучине в 1929-ом году (в присутствии К.Н.); в этой критике буржуазного строя я совпадал с Рудольфом Штейнером.*

4) *Этого последнего травил немецкие контр-революционеры и фашисты в период 1920-23-х годов (я мог следить за ним издали в этот период); травил пресса, военные журналы; католики по почти установленным фактам сожгли «Гетеанум», в постройке которого принимал участие я в 1914-1916 годах; немцы — за его поведение во время войны называли предателем; швейцарцы — отказали в подданстве; и даже были покушения на его особу (в Мюнхене, в 1922 году).*

Все эти факты могут быть подтверждены.

5) И можно привести ряд примеров явно враждебного и подозрительного отношения к «*Русс[кому] Антр[опософскому] Обществу*», открытому в 1913 году; с 1914-го до 1918-го Общество едва терпело царское правительство и правительство Керенского.

б) *Что отношение к Октябрьской Революции у большинства русских антропософов на западе и у нас было положительным, доказывает ряд примеров, из которых приведу лишь несколько:* а) дорнахский антропософ, с которым я работал по резной скульптуре в 1915-1916 годах, Константин Андреевич Лигский, с момента революции бросает работу, является в Россию, становится членом Коммунистической Партии с 1918 года, ведет видную работу в ленинградском Отделе Управления; и до смерти остается верным Советским работником (консул в Варшаве, Токио, Афинах); б) Художница Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова с начала революции бросает работу в Дорнахе и в plombированном вагоне (с эмигрантами) приезжает в Россию к ужасу ее «кадетских» знакомых; в) дорнахский антропософ, Трифон Георгиевич Трапезников, едва вырвавшись из Англии, с июля 1917 года принимает большевистский лозунг «долой войну» и с начала 1918 года становится едва ли не главным организатором вместе с Троцкой «Отдела Охраны памятников», в котором работает до смертельной болезни сердца (в 1924 году); в 1924 году едет лечиться за-границу и долго умирает у своего приятеля (с 1910 года), больного Бауэра (антропософа); вопрос о перевозке его в СССР к старухе матери вместе с главным заданием (лечебного характера) и обуславливает вторую поездку за границу моего лучшего друга, К.Н. Васильевой в 1926-м году; д) Меня с июля 1917 года считают едва ли не большевиком в кадетских кругах.

Считаю, что эти настроения бывших дорнахцев-антропософов (Лигский, Волошина, Трапезников) — выявление стиля отношения к «политике» войны русских антропософов, приехавших с запада в 1916-17-х годах и ставших членами «Русского Антропософского Общества», но таково же было отношение к войне и ряда тогдашних членов «Русского Антропософского Общества» (П.Н. Васильева, А.С. Петровского, Е.Н. Кезельман, К.Н. Васильевой и др.), что эти люди и доказали: А.С. Петровский — участием в реформе тогдашнего «Румянцевского Музея», П.Н. Васильев своей службой в Красной Армии и т.д. И этот стиль отношения к действительности не меняется до момента прекращения деятельности «Русского Антропософского Общества» в 1923 году.

7) Считаю статьи, подобные напечатанной в «Советской Энциклопедии» и характеризующие Антропософию, как «выявление германского милитаризма», безграмотным набором слов, и кроме того искажающим факты, могущие быть подтвержденными (травля Штейнера в милитаристических журналах, попытки фашистов нанести оскорбления действием, пожар «Гетеанума»

и т.д.); такие статьи создают легенды с неприятными последствиями для бывших членов «Русск[ого] Антр[опософского] Общ[ества]», не причастных к политике; если бы в ныне мне неизвестном «Межд[ународном] Антр[опософском] Общ[естве]», насчитывающем более 10,000 членов и оказались бы темные личности, так это печальная участь всех обществ, не повинных в искажении их духа единицами; и тем паче: ныне подследственные мои близкие друзья, не имеющие касания к конкретной жизни западного общества, — не ответственные за образ мыслей им неизвестных западных антропософов.

В заключение замечу: мне, давшему убийственную критику западного общества в рукописи «Почему я стал символистом» нет поводов это общество защищать; но отвести клевету от стиля деятельности Рудольфа Штейнера, с которым единственно когда-то считались я и мои друзья, Васильевы (муж и жена), Е.Н. Кезельман, Петровский, Л.В. Каликина и ряд ныне арестованных по мне неведомым причинам бывших членов Р[усского] А[нтропософского] О[бщества], — отвести эту клевету, корень происхождения которой — незнание литературы, считаю своей обязанностью;

и считаю, —

— что —

тридцатилетняя ничем незапятнанная литературная деятельность, не известная Европе, залог того, что это мое заявление будет и прочтено, и приобщено к делу об «антропософах», если таковое существует, ибо то, что я говорю — факты проверяемые легко: и опросом свидетелей, и цитатами, и литературой самого покойного Рудольфа Штейнера.

Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый)
Москва. 1-го июля. 31 года.

Постоянный адрес: Детское Село. Октябрьский бульвар. д.32.
Временный адрес: Москва. Плющиха. д.53. кв.1.

[Сверху написано (рукой К.Н. Васильевой?) карандашом: «Было подано прокурору ОГПУ, Катаняну».]

23 июля 1931 г. Белый писал П.Н. Зайцеву: «/.../ переживаю несчастье, струсшее с Вами и другими друзьями, как свое; и думаю, что трехнедельное сидение в Детском после ареста Клавдии Николаевны, а потом месячное метание по Москве — достаточная мука, несколько компенсирующая тот факт, что я из всех "без вины виноватых" наиболее "виноватый" сижу на свободе; о чем я и говорил члену Коллегии ОГПУ, т.Агранову в беседе с ним, стараясь в меру сил и разума дать объяснение инциденту с арестами; и в бумаге, поданной в Коллегию я старался солидаризироваться с Вами, Васильевыми, Лидией Васильевной [Каликиной. — Публ.], Алексеем Сергеевичем [Петровским. — Публ.] и другими "друзьями"». В сентябре ему же: «2 1/2 месяца с трепетом ждал Вашего и друзей возвращения; за это время всячески силился сделать все, что в моих слабых возможностях было возможно; говорил о друзьях (разумеется, о Вас) — там, где удавалось (между прочим с Аграновым, членом коллегии ОГПУ) /.../ было отрадно узнать, что рукопись моя "Почему я стал символистом" по моему ходатайству изъята из сундука и прикреплена к делу (сейчас она в прокуратуре, где выносятся приговор); есть надежда, что приговор будет мягче, чем мог бы быть; и это все, что удалось узнать».

Подробно обо всех здесь упомянутых лицах — см. «Регистр имен» к моей публикации: Андрей Белый и антропософия.// Минувшее. Т.6. 1988.

И.В. Сталин

**ОТВЕТ ПИСАТЕЛЯМ-КОММУНИСТАМ ИЗ РАППа
(28.02.1929)**

К истории роспуска РАППа*

Публикация М.Никё

В программной передовой статье, напечатанной осенью 1928 г. в журнале «На литературном посту», редколлегия главного органа РАППа (Российской Ассоциации Пролетарских Писателей), ссылаясь на речь Сталина «О правой опасности в ВКП(б)» (на пленуме Московского комитета партии 19 октября 1928 г.), определяла следующим образом поле действия «напостовской дубинки»:

Тот, кто предполагает говорить о правой опасности только на основании произведений, подобных «Бегу» Булгакова¹, рассказам Сергеева-Ценского, стихам Клюева, романам Клычкова и так далее и тому подобное, тот ничего не понимает в особенностях текущего момента /.../ Мы имеем своими противниками и людей типа Билля-Белоцерковского, к примеру².

* Когда эта публикация была подготовлена к печати, нам стала известна статья А.Нилова «Мастер и Прокуратор» («Знамя». №1. 1990. С.192-200), в которой публикуется приводимый ниже ответ Сталина «писателям-коммунистам из РАППа» (по копии, хранящейся в ЦГАЛИ). Не связывая письмо Сталина с постановлением 1932 г., А.Нилов подробно излагает его предысторию, публикуя, главным образом, письмо-кредо М.А. Чехова, обращенное к А.В. Луначарскому (от 2 ноября 1918 г.), где Чехов утверждает, что искусство — не агитка, а «тайна недоговоренности». По А.Нилову, письмо Сталина «подтверждает его полную ответственность за общее направление этой репрессивной литературной политики, обычно списываемой на РАПП».

¹ См. статьи Л.Авербаха и В.Киршона «Почему мы против "Бега" Булгакова». — На Литературном посту. (далее НЛП), 1928. №20-21.

² На текущие темы. — НЛП, окт. 1928. №20-21. С.1-5. Статья перепечатана под названием «С кем и за что мы будем драться» в сборнике статей рапповцев под ред Л.Авербаха — «С кем и почему мы боремся» (ЗИФ. М.-Л., 1930. С.67-73). Статья без подписи, несомненно принадлежит перу Л.Авербаха.

Владимир Наумович Билль-Белоцерковский (1885-1970) был представителем левой, даже ультра-левой драматургии. Имея богатый жизненный опыт (он проплавал восемь лет матросом и кочегаром торгового флота, провел семь лет в США чернорабочим, после революции был членом исполкома Моссовета, председателем горкома г.Симбирска и т.д.), Билль-Белоцерковский прославился рядом революционно-агитационных пьес: «Бифштекс с кровью» (1920), «Шторм» (1926), «Штиль» (1927 — о НЭПе), «Луна слева» (1928 — направлена против «мещанской романтики и рассказа С.Малашкина «Луна с правой стороны»»), «Голоса недр» (1929 — о восстановлении Донбасса в 1920-1921 гг. и борьбе с «вредителями»). Отмечая, что драма «Шторм» «положила начало современному коммунистическому репертуару», «Литературная энциклопедия» писала о пьесах Билля-Белоцерковского: «Основная черта их — четкий классовый подход к разрешению драматических коллизий. Вместе с тем на всех его пьесах лежит печать драматургической, литературной недоработанности и известной примитивности в развитии действия»³.

Прямолинейность, плакатность, литературный нигилизм Билль-Белоцерковский превращал в метод и заслугу, как многие пролеткультовцы. Уже в июне 1925 г. он заявил о своем выходе из Союза Революционных Драматургов, возглавляемого Луначарским: «Революционная декларация на бумаге, заядлая косность и приторно-интеллигентская "академическая" фальшь на деле (новейший вид театрального меньшевизма) не сделают революцию в театральном мире, а наоборот»⁴.

Отделившись в 1926 г. от «напостовского меньшинства» (Г.Лелевич, С.Родов, А.Безыменский, — непримиримые к попутчикам), РАПП будет постоянно бороться против как «правых уклонов» (Воронский, Полонский, Переверзев и др.), так и «левых перегибов» (ЛЕФ, Литфронт и др.). Лозунги «показа живого человека», «учебы у классиков», «срабатывания с попутчиками», установка на «психологизм» и т.д. выражали «необходимость борьбы со штампом, схематизмом, голой плакатностью и перехода к выявлению сложной человеческой психики со всеми ее противоречиями, элементами прошлого и ростками нового, моментами сознательного и подсознательного»⁵.

³ О.Б. [Осип Бескин]. Билль-Белоцерковский. // Литературная энциклопедия. Т.1. М., 1929. Стб.498. В Краткой литературной энциклопедии (т.1. М., 1962) таких оговорок уже нет. На I съезде ССП Билль-Белоцерковский признал, что установка на схематизм устарела: «В свое время я тоже и так же возражал против формы классической драмы, но опыт последних лет доказал мне, что бессюжетность, отсутствие интриги и единого стержня имеют свое оправдание в пьесах, отражающих эпоху гражданской войны, когда образ нового человека только едва-едва намечался». (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С.428; репринт: М., 1990).

⁴ Письмо Б.-Б. от 16 июня 1925. // Новый зритель. 1925. №25. Заявление Б.-Б. от 10 июня находится в ЦГАЛИ. Ф.2181. Оп.1. Ед.хр.118.

⁵ Цит. в Литературной энциклопедии. Т.8. М., 1935. Стб.524, со ссылкой на Первый съезд пролетарских писателей (30 апреля — 8 мая 1928). В своих «Злых заметках» (Правда. 12.01.1927) Бухарин писал: «Больше внимания к живым людям, с особой психологией!»

Творчество Билля-Белоцерковского не могло, естественно, быть примером для РАППа. Поводом для нападок против драматурга послужило его заявление в связи с ходатайством Мейерхольда перед Совнаркомом о разрешении остаться со своим театром за границей (летом 1928 г., когда он был в Париже)⁶, и эмиграцией его друга Михаила Чехова, директора МХАТ-2. Вот реакция «На литературном посту», с которой начался весь инцидент:

В недавней дискуссии о Чехове и Мейерхольде он [Билль-Белоцерковский. — Публ.] писал: «Говоря откровенно, языком класса, я приветствую отъезд Чехова и Мейерхольда за границу, Рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет. Можно даже с уверенностью сказать, что не Чехов и Мейерхольд уезжают, а, наоборот, советская общественность "их уезжает"»... Что это? «Голос класса» или вопль деклассированного люмпена? Чехова и Мейерхольда советская общественность «уехала». Что означает подобное заявление: глупость, невежество, повторение заявлений эмигрантской печати? Какая бездна чванливого бескультурья! Какая напыщенная мещанская декламация! С пролетарским наступлением на культурном фронте не имеют ничего общего заявления, подобные приведенным выше. Наиболее возмутительно во всем заявлении В.Билля-Белоцерковского («Новый Зритель», №39, стр.6) шеголянье пролетарским тоном, классовой «ортодоксией»: козырянье «массой» и прочее. Без всякого преувеличения можно сказать, что «идеология» вульгаризаторства, упрощенства, чванства, нежелания учиться, презрения ко всей культуре прошлого и необходимости ее критической переработки является таким же нашим объективным классовым врагом, как и всяческие проявления усиления мелкобуржуазной стихии⁷.

Заявление Билля-Белоцерковского было напечатано в «Новом зрителе» от 23 сентября 1928 г. За неделю до него «Правда» (от 16 сентября) поместила статью Д.Заславского, зачинщика травли ряда писателей⁸, о театре Мейерхольда: он обвинялся в «формализме», «индивидуализме», «эстетизме»: «Мейерхольд — не Шаляпин, и делать Мейерхольду за границей нечего». На следующий день состоялось заседание Теа-секции РАППа. В принятой резолюции говорилось о том, что «Мейерхольд усиливает связь с правыми эстетствующими группировками» и что «в заграничном турне Театру Мейерхольда должно быть категорически отказано»⁹. В октябре состоялся пленум правления РАППа, на котором Ю.Либединский поддержал МХТ и Театр Мейерхольда, осуждая позицию Теа-секции: «У группы товарищей из Теа-секции (во главе с тт. Глебовым,

⁶ См.: Ю.Елагин. Темный гений (Всеволод Мейерхольд). Лондон, 1962. С.313; G.Abensour. Art et Politique. La tournée du théâtre Meyerhold à Paris en 1930.// Cahiers du Monde russe et soviétique, 1976. № XVII (2-3). С.216.

⁷ НЛП. 1928. №20-21. Ук. ст.; С кем и почему мы боремся.// ук. кн.. С.72-73.

⁸ Минувшее. Т.5. 1988. С.341, прим.74.

⁹ Новый зритель. №39 (28.9.1928). С.1-2.

Рейхом, Биллем-Белоцерковским и др.) было отмечено наличие формалистского уклона, недооценка драматургии как литературного фактора, оттенки цеховых настроений и неверная линия в вопросе о Театре им. Мейерхольда, идущая вразрез со всей партийной и советской общественностью»¹⁰.

Решение пленума РАППа и статья в «На литературном посту» вызвали уход большинства членов Теа-секции из РАППа¹¹. Билль-Белоцерковский и его друзья создали «Пролетарский театр» и пожаловались Сталину на травлю со стороны РАППа... По этому делу хранится в ИМЛИ ряд документов, которые проливают свет на отношения рапповцев с высшей властью.

Группа «Пролетарский театр» послала заведующему АППО (Отдела агитации, пропаганды и печати) ЦК ВКП(б) тов. Криницкому (с копией «т. Сталину») письмо от 19 января 1929 г.: оно протестовало против нападок журнала «На литературном посту» на Билля-Белоцерковского, в которых усматривался рецидив кампаний РАППа против Горького, Астрова и др.¹² Оно упоминало еще и о том, что «тов. Билль-Белоцерковский, в личном порядке, обратился к Вам [заведующему АППО. — *Публ.*] по поводу выступлений "На лит. посту". Вы его успокоили, дав соответствующее распоряжение тов. Керженцеву¹³ /.../ Тов. Керженцев обещал выступить в печати с соответствующей отповедью критическим приемам т.Авербаха и "На лит. посту" и пр. но... не сдержал и этого своего обещания /.../ К нашему пожеланию — ПРИЗВАТЬ 'ВОЖДЕЙ' РАППа К ПОРЯДКУ присоединяется ряд коллективов (резолуции которых про-

¹⁰ Новый зритель. №50 (9.12.1928). С.1. Сам Мейерхольд обрушивался на приемы «вульгарного революционирования» (см.: Театр. 1990. №1. С.90-93). Отношение РАППа к Мейерхольду изменится в связи с постановкой пьес Маяковского «Клоп» и «Баня» и его книгой «Реконструкция театра» (1930). См.: Задачи РАППа на театральном фронте.// Советский театр. 1931. №10-11. С.4-16.

¹¹ Новый зритель. №45 (4.11.1928). С.7. Заявление об уходе «из состава РАППа» подписано А.Глебовым, режиссерами Е.Любимовым-Ланским, Б.Рейхом, театральным критиком Э.Бескиным, индийским пролетарским писателем Эс-Хабив-Вафа и др.

¹² В 1927 публикация стихотворения И.Молчанова «Свидание» (Комсомольская правда. 25.09.1927) вызвала реплику Л.Авербаха (КП. 2.10.1927) и Маяковского (Письмо к любимой Молчанова, брошенной им.// КП. 4.10.1927; Размышления о Молчанове Иване и о поэзии.// КП. 23.10.1927; Клоп). Горький взял Молчанова под свою защиту (О возвеличенных и «начинающих»).// Известия. 1.05.1928). Авербах ответил ему в НЛП (1928. №10). В.Астров стал защищать Горького (Правда. 3.06.1928 и др.) — и это вызвало новые полемические статьи Авербаха (НЛП. 1928. №11-12, 17, 18).

¹³ Керженцев Платон Михайлович (псевд. Лебедева, 1881-1940) был одним из руководителей Пролеткульта, работал полпредом в Швеции и в Италии, в 1928 стал зам. зав. АППО ЦК ВКП(б) и с 1930 директором Института литературы, искусства и языка Комакадемии, редактором журнала «Книга и революция». До 1937 Керженцев был защитником Мейерхольда. В декабре 1937 написал разгромную статью против него (Чужой театр.// Правда. 17.12.1937), которая приводится целиком в указанной книге Ю.Елагина и в «Дневнике моих встреч» Ю.Анненкова (т.1. Нью-Йорк, 1966).

тив травли Биля-Белоцерковского мы прилагаем)»¹⁴. К этим резолюциям относится, по-видимому, письмо бюро фракции группы «Пролетарский театр» и бюро фракции Всесоюзного общества пролетарских писателей «Кузницы» (с подписями И. Жиги¹⁵, Г. Якубовского, Ф. Гладкова, В. Бахметьева), адресованное лично Сталину:

Дорогой тов. Сталин!

Вследствие безответственной деятельности верхушки Российской Ассоциации Пролетарских Писателей, на литературном фронте создалось крайне нетерпимое положение.

Травля, дискредитация отдельных деятелей искусства — коммунистов и пролетарских писателей — заушение их перед лицом наступающей мелко-буржуазной стихии привели к тому, что один из старых большевиков тов. Успенский, затравленный РАППовцами, не выдержал и покончил с собой.

Наряду с этим продолжается ожесточенная травля и шельмование, как «классовых врагов», таких т. т., как Билль-Белоцерковский, Ф. Гладков и др. И не только отдельных лиц, целые организации (О-во «Кузница», «Пролетарский театр» и др.), составляющие ядро пролетарской литературы и драматургии, твердо стоящие на платформе Партии и на деле доказавшие способность бороться за гегемонию пролетарской идеологии в области искусства, совершенно необоснованно поносятся как «непролетарские», «мелкобуржуазные», «мещанские» и т. п. организации.

Прикрываясь стопроцентной «принципиальностью», РАППовцы на самом деле в борьбе с упомянутыми организациями борются за свои групповые и личные интересы [вычеркнуто: сводят свои чисто групповые и просто личные счета].

Это происходит в то время, когда обострение классовой борьбы на идеологическом фронте более чем когда-либо требует сплочения всех сил пролетарской литературы.

Не чувствуя над собой достаточно твердого партийного контроля (т. Керженцев сам идет у них на поводу), РАППовцы не стесняются в средствах и обливают грязью всех, кто протестует против их беспринципного, вредного политиканства, тем самым мешают творческой работе, разлагают силы пролетарской литературы и отпугивают попутчиков.

/.../ мы обращаемся к Вам, тов. Сталин, исчерпав свои средства в борьбе за единство пролетарской литературы и за правильное ее идеологическое руководство¹⁶.

¹⁴ ЦГАЛИ. Ф. 2181. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 16-17.

¹⁵ И. Жига (наст. фамилия Смирнов, 1895-1949), очеркист. В письме Горькому от 23 ноября 1930 г. писал: «Был командиром станций, брал кулаков с их семьями из домов и доставлял на станции. Это была такая великолепная работа, такой революционный подъем, такая проверка нашей (советской) силы, что лучше этого быть не может». (Архив Горького. КГ-П-28-7-6).

¹⁶ ЦГАЛИ. Ф. 2181. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 17об-18.

Публикуемое ниже письмо Сталина «писателям-коммунистам из РАППа» (неизвестно, кем дано это заглавие — самим Сталиным или сотрудниками архива ИМЛИ), резко осуждающее методы и линию РАППа, является, в сущности, ответом и на просьбы Билля-Белоцерковского и его друзей унять верхушку РАППа, и на жалобы самого Авербаха на поддержку Сталиным Билля-Белоцерковского.

В своем письме Сталин защищает драматурга от нападок РАППа, несмотря на то, что тот «допустил некоторую ошибку» в своем заявлении о Мейерхольде и Чехове: «несмотря на некоторые отрицательные черты» Мейерхольда-режиссера, Сталин не считает возможным причислить его к «разряду чужих». Заняв таким образом излюбленную свою центристскую позицию, Сталин упрекает руководителей РАППа в неумении «правильно построить литературный фронт» (он выступает как полководец), в раздувании «микроскопических» разногласий, в готовности «изничтожить Билля-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк!» Все это изложено по пунктам, как часто у Сталина, четким и резким языком. Постараемся прокомментировать этот важнейший документ для политики партии в области литературы (он не был опубликован в 11-м томе «Сочинений» Сталина в 1949 г., вероятно потому, что тем временем Мейерхольд был репрессирован).

Почему Сталин выступает так яростно против политики правления РАППа? Ведь РАПП — «названа партией "ячейкой ЦК в литературе"»¹⁷. Именно поэтому РАПП должен был стать проводником линии ЦК, а не пытаться проводить свою собственную, независимую политику (этим постоянно грешил Авербах). Для РАППа спор с Биллем-Белоцерковским имел идеологическую и эстетическую основу (в 1931 Билль-Белоцерковский будет в «панферовской группе», противопоставившей «активно-революционный» метод Панферова «пассивно-созерцательному» методу Фадеева¹⁸). Для Сталина же важны лишь вопросы тактики: схематизм пьес Билля-Белоцерковского его не беспокоит. Наоборот: с принятия первой пятилетки литература стала лишь прямым орудием политики партии (для РАППа она оставалась и познанием мира). Постановление ЦК от 28 декабря 1928 г. «Об обслуживании книгой массового читателя» приравнивало художественную литературу к агитке¹⁹. Творчество Билля-Белоцерковского соответствовало упрощенному подходу к литературе, который стал нормой с лета 1928 г. К тому же Сталин всегда уделял большое вни-

¹⁷ Слова Авербаха на заседании фракции бюро правления РАППа, 2 мая 1932 г., ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №70. Л.8. На этом же заседании Г.Корабельников сказал, что «ЦК начал давать указания не с решения о Билль-Белоцерковском, а на всем протяжении существования РАППа, ЦК указывал на ошибки, которые у нас были» (там же. Л.51).

¹⁸ См.: С.Шешуков. Неистовые ревнители. М., 1970. С.305-311.

¹⁹ Об этом постановлении — главном документе партии в литературной политике в эпоху первой пятилетки — см.: E.J.Brown. The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928-1932. New York, Columbia UP, 1953. P.86-105. «Под его [Авербаха] руководством РАПП стал огромным препятствием к прямому использованию литературы Центральным Комитетом партии в 1928-1932 гг.» (там же. С.247). См. также: Л.Авербах. Против хвостизма.// НЛП. 1929. №14.

мание театру, который он считал самым важным (потому что самым массовым) видом литературы²⁰.

С другой стороны, в разгар коллективизации Сталин не желал прямого перенесения политической борьбы в область литературы. Он уже писал Билло-Белоцерковскому 2 февраля 1929 г.:

Я считаю неправильной самую постановку вопроса о «правых» и «левых» в художественной литературе (а значит и в театре). Понятие «правое» и «левое» в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно — внутрипартийное. «Правые» или «левые» — это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр. Эти понятия могут быть еще применимы к тому или иному партийному (коммунистическому) кружку в художественной литературе. Внутри такого кружка могут быть «правые» и «левые». Но применять их в художественной литературе на нынешнем этапе ее развития, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, — значит поставить вверх дном все понятия. Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», «антиреволюционное» и т.д.²¹

В своем письме к правлению РАППа Сталин не употребляет слово «консолидация», но речь идет именно о консолидации пролетарских писателей под эгидой послушного и более терпимого РАППа. В сущности Сталин представлял себе советскую литературу как «единый и нераздельный фронт», как-то в духе... перевальской теории «единого потока», стремящегося к единой цели, защищенной В.Полонским и Д.Горбовым против РАППа. Недаром после статьи «Правды» от 4 декабря 1929 «За консолидацию коммунистических сил пролетарских писателей» (о необходимости «изжить вредную кружковщину и групповую борьбу») В.Маяковский, Э.Багрицкий и В.Луговской вступили в РАПП. Речь Сталина на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г., объявившего конец «политики разгрома» по отношению к старой технической интеллигенции (процессы «вредителей»), была (на словах) принята РАППом как прямое указание «произвести проверку всей своей работы» и необходимость «еще более решительной борьбы за перестройку, за умение работать по-новому»²². Ликвидация РАППа постановлением ЦК от 23 апреля 1932 г. явля-

²⁰ См.: К.Зелинский. Вечер у Горького (26 октября-1932).// Минувшее. Т.10. 1990. С.109-110. Второй пленум Оргкомитета ССП был в основном посвящен вопросам советской драматургии: «Нам нужна драматургия типичных характеров в типичных положениях» (речь И.Гронского.// Новый мир. 1933. №2. С.252).

²¹ И.В. Сталин. Сочинения. Т.11. М., 1949. с.326.

²² Речь тов. Сталина и задачи РАПП (18.08.1931). — ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №700 и НЛП. 1931. №24. С.1-2.

ется таким образом логическим шагом, уже заложенным в публикуемом письме 1929 г., вызванным упорством Авербаха защищать слишком узкую и независимую линию. Роспуск РАППа означал прямое руководство литературой со стороны партии, уже без ретивого посредничества Ассоциации пролетарских писателей и Авербаха. Письмо Сталина от 28 февраля 1929 является одним из главных и самых ранних подступов к этому решению. Как известно, это решение было принято вопреки желанию Горького, который в ноябре 1932 добился включения Авербаха в Оргкомитет²³. Но в начале 1929 г. Горький еще не так сблизился с Авербахом (их странные отношения требуют отдельного исследования) и письмо Сталина РАППу совпадает с позицией Горького, выраженной в ряде статей и писем 1928-1929 гг.²⁴

Имело ли письмо Сталина влияние на методы и на линию РАППа? Нисколько. В марте 1929 в журнале «На литературном посту» В.Ермилов обрушивался на «кучку» «отколовшихся от РАПП драматургов, пытавшихся демагогически критиковать линию РАПП "слева"». В марте-апреле «На литературном посту» позволил себе скрытый спор со Сталиным по поводу вопроса о «правых» и «левых» в художественной литературе²⁵. Судя по письму Фадеева Сталину от 15 декабря 1929 г., — Авербаху было предложено «оставить литературную работу», по-видимому, из-за продолжения борьбы РАППа с «комчванством» и «левой фразой»:

Дорогой тов. Сталин!

Новое обстоятельство — признание «левыми» своих ошибок (письмо Стэна и Шацкого)²⁶ — дают нам основание вновь обратиться к Вам, по поводу оставления на литературной работе т. Авербаха.

Каждый день убеждает нас, что без его участия в общей работе, положение наше будет исключительно трудным.

²³ См.: Л. Флейшман. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1989. С.70-71. О неприязни Сталина к Авербаху см. указанные воспоминания К.Зелинского.

²⁴ См. письмо Горького Авербаху от 17 ноября 1928 г. — Вопросы литературы. 1986. №6. С.169-172. Статья «Все о том же» (против травли Пильняка) теперь опубликована в кн. Горький и его время. Исследования и материалы. Вып.1. М., 1989. С.5-10. Но в письме к Сталину от 8 января 1930 (Известия ЦК КПСС. 1989. №7. С.215-216) Горький возразит против наказания своих «ругателей» (в связи с выступлениями сибирского журнала «Настоящее» против Горького ЦК издал 25.12.1929 специальное постановление).

²⁵ В.Ермилов. Правая опасность в области искусства.// НЛП. 1929. №4-5; За политику наступления (ред. статья).//НЛП. 1929. №7. Письмо Сталина Биллю-Белоцерковскому (см. прим.21) не было еще опубликовано, но было известно в литературных кругах. Точка зрения Сталина была выражена и в статье П.Керженцева «Об одной путанице» (Правда, 22.02.1929). См. также письмо Луначарского Г.И. Крумину (март 1930) — Литературное наследство. Т.82. М., 1970. С.274.

²⁶ В апреле 1929 г. Стэн призвал в «Комсомольской правде» молодежь к самостоятельной мысли. Резолюция, предложенная Авербахом против Стэна, оказалась правлению РАППа слишком умеренной и была переработана (см.: Е.Ж.Вроуп. Ук. соч.. С.111). О споре с Шацким см.: В.Сутырин. В борьбе за гегемонию пролетарской литературы.// НЛП. 1929. №7.

Кампания, поднятая нами в связи с делом Замятина и Пильняка²⁷, сведется к нулю, если ее не реализовать [вычеркнуто: решительно напад] продолжая нападение на буржуазные элементы и усилив работу с попутчиками. Для этого необходимо громадное увеличение нашей активности по линии Федерации С[оветских] П[исателей]²⁸, ее издательства, ее клуба, ее газеты.

Все это предполагает особое укрепление литературно-критических журналов и прежде всего журнала «На литературном посту», которым руководит [вычеркнуто: целиком ведет] тов. Авербах. /.../

Уже и сейчас мы загруженные свыше всякой меры, имеем чрезвычайно мало времени для того, чтобы писать, чтобы работать творчески. Если от нас уедет тов. Авербах, руководящая роль которого в нашей работе [вычеркнуто: во всех областях] Вам известна, то положение всей организации, а наше особенно, если учесть еще тяжелую болезнь тов. Ермилова (он выбывает на год), становится невероятно трудным. Мы вынуждены будем почти прекратить творческую работу. /.../

С нашей точки зрения отъезд тов. Авербаха [вычеркнуто: грозит осложнением нашего положения] ослабит пролетарские позиции на литературном фронте.

С коммунистическим приветом²⁹.

В 1930 г., перепечатывая статью против Билля-Белоцерковского в сборнике «С кем и почему мы боремся», Авербах (не упоминая письма Сталина) признает вину РАППа лишь в резкости тона (хотя Сталин писал: «дело тут не в резкости тона»...): «Мы были правы, считая необходимым резко выступить против ошибок тов. Билля-Белоцерковского. Но мы совершили безусловно крупную ошибку незаслуженным тов. Биллем-Белоцерковским характером нашего выступления»³⁰.

Продолжая выступать против левых загибов и правых уклонов, РАПП не терпит никакой критики и обращается то и дело к Сталину как обиженный ребенок к отцу, жалуясь особенно на статьи «Правды» против Ассоциации: в ноябре 1930 г. правление РАППа пишет очередную «докладную записку» Сталину на 9 листах: в ней перечислены все выступления «Правды» против РАППа за 1929-1930 гг. и упоминается о повторных обращениях РАППа к Сталину. РАПП повторяет свое несогласие с восхвалением Маяковского «Правдой» и объявлением его «классическим

²⁷ Кампания против Замятина и Пильняка началась со статьи Б. Волина «Недопустимое явление» (Литературная газета. 28.08.1929).

²⁸ Федерация объединений советских писателей (ФОСП) была создана в 1927 г. для «консолидации» советских писателей. РАПП старался играть в ней руководящую роль.

²⁹ Письмо (черновик) Фадеева Сталину от 15.12.1929. — ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №900.

³⁰ С кем и почему мы боремся. Ук. изд. С.73. На заседании фракции бюро правления РАППа 2 мая 1932 г. Авербах признал: «Мы недостаточно исправили ошибку» [по отношению к Биллю-Белоцерковскому]. — ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №70. Л.70.

образцом пролетарской литературы»³¹. В марте 1931 г. фракция секретариата РАППа послала письмо такого же содержания в ЦК: она констатировала, что снятие Бухарина (в апреле 1929 г.) не изменило антирапповскую линию «Правды», и подчеркивала «чрезвычайную желательность возможно более быстрого принятия ЦК новой резолюции о политике партии в области художественной литературы»³².

Постановление ЦК от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций»³³ будет крахом этих надежд, и Авербах будет сопротивляться его исполнению, несмотря на то, что он прекрасно понял его идеологическое значение:

Было бы неправильно рассматривать это постановление ЦК как документ, имеющий значение только в искусстве. Нет. Этот план перестройки художественно-литературной организации находится и в связи с работой ЦК над реорганизацией Комакадемии и находится в связи с решениями 17-ой партийной Конференции, констатировавшей величайший /.../³⁴ социалистического строительства и поставившей вопрос построения бесклассового общества. Так же в 6-ти условиях Сталина³⁵ говорится о повороте значительных слоев старой интеллигенции к нам и необходимо здесь сделать вывод о том, что речь идет о создании своей интеллигенции. /.../ Установка ЦК в том и заключается, чтобы всю массу писателей, всех их превратить в строителей социалистического искусства. /.../

Задача у нас в том, чтобы разъяснить основной массе попутнических писателей, что речь идет не о прекращении классовой борьбы в литературе, а о том, чтобы вести ее в новых условиях, чтобы по-новому руководить этими попутническими интеллигентскими кадрами писателей, и в том, чтобы решение ЦК использовать для усиления борьбы с классово-враждебными влияниями, а не для того, чтобы уничтожить классовую борьбу в литературе³⁶.

³¹ Резолюция Сталина о канонизации Маяковского относится к ноябрю 1935 г.

³² ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №876. Л.5, 7. В фонде 41 (Оп.1. №454) находится «предварительный проект резолюции ЦК ВКП(б) по художественной литературе» от 14 марта 1930, который по всей вероятности был подготовлен РАППом: он предлагает объединить «все пролетарские силы союзных республик в одной организации (напр. РАПП в РСФСР)», «имея в виду, что на ассоциацию пролетарских писателей возлагается ведущая роль в литературном движении».

³³ Термин «перестройка» перенят из дискуссий 1931 г. о «перестройке РАППа» (см.: Л.Авербах. О перестройке.// НЛП. 1931. №35-36; 1932. №1, 2; Л.Мехлис. За перестройку работы РАПП.// Литературная газета. 21.11.1931 и др.

³⁴ Здесь в стенограмме пропущено слово (подъем?).

³⁵ Речь идет о шести новых условиях развития промышленности, изложенных Сталиным в речи на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. (ликвидировать обезличку, проявлять побольше внимания к инженерно-техническим силам старой школы и т.д.).

³⁶ Стенограмма заседаний фракции бюро правления РАПП 2 мая 1932. — ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. №70. Л.1, 3.

Преждевременна и необоснованна была радость попутчиков, встретивших постановление ЦК такими выражениями, как «Пасха», «Христос воскрес», «манифест 61 года», «конец рабства», «ликвидация РАППа на основе сплошной попутнизации» и т.д.³⁷

Письмо Сталина публикуется по машинописной копии, хранящейся в ИМЛИ. Ф.40. Оп.1. Ед.хр.1153. Идентичная копия находится в ЦГАЛИ. Ф.2181. Оп.1. Ед.хр.124.

Уважаемые тов.!

1) Вы недовольны, что я в разговоре с т.Авербахом защищал т.Билля-Белоцерковского от нападок журнала «На Литпосту». Да, я действительно защищал т.Б.-Белоцерковского. Защищал, т.к. нападки на т.Б.-Белоцерковского, изложенные в «На Литпосту», несправедливы в основном и недопустимы. Пусть «На Литпосту» ищет себе наивных людей, где угодно, — серьезный читатель не поверит ему, что т.Б.-Белоцерковский, автор «Шторма», «Голоса недр», представляет «деклассированного люмпена», что заявление т.Б.-Белоцерковского о Мейерхольде и Чехове есть «повторение заявлений эмигрантской печати», что т.Б.-Белоцерковский является «объективным» (!?) «классовым врагом» (см. «На Литпосту» №20-21)¹. Критика должна быть прежде всего правдивой. Вся беда в том, что критика «На Литпосту» неправдива и несправедлива в основном.

2) Допустил ли т.Б.-Белоцерковский ошибку в своем заявлении о Мейерхольде и Чехове? Да, допустил некоторую ошибку. Насчет Мейерхольда он более или менее неправ, — не потому, что Мейерхольд коммунист (мало ли среди коммунистов людей «непутевых»), а потому, что он, т.е. Мейерхольд, как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные черты (кривляние, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону «классического прошлого»)² несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду «чужих». Впрочем, как видно из материалов, приложенных к вашему письму³, т.Б.-Белоцерковский сам, оказывается, признал свою ошибку насчет Мейерхольда еще за два месяца до

³⁷ Выражения, приведенные в выступлении А.Селивановского (там же. Л.30). См. выступления Клычкова от 26 апреля и 14 мая 1932 г., опубликованные Г.Маквеем (Oxford Slavonic Papers. 1984. XVII. С.100-103).

появления критики «На Литпосту». Что касается Чехова, то надо признать, что он чуточку перебарщивает. Не может быть сомнения, что Чехов ушел за границу не из любви к советской общественности и вообще поступил по-свински, из чего, однако, не следует, конечно, что мы должны всех Чеховых гнать в шею.

Но можно ли на основе этих перегибов, допущенных Б.-Белоцерковским и в основном уже исправленных им, квалифицировать Б.-Белоцерковского, как «классового врага»? Ясно, что нельзя. Более того: квалифицировать *так* Б.-Белоцерковского — значит допустить худший перегиб из всех возможных перегибов. Т а к людей советского лагеря не собирают. Т а к можно их лишь разбросать и запутать в угоду «классовому врагу».

3) «Но может быть Вы (т.е. я) против резкости тона», — спрашиваете вы. Нет, дело тут не в резкости тона, хотя тон тоже имеет не малое значение. Дело в том, во-первых, что критика «На Литпосту» в отношении Б.-Белоцерковского неправдива и неправильна в основном (она правильна лишь в частностях). Дело в том, во-вторых, что РАПП, видимо, не умеет правильно построить литературный фронт и расположить силы на этом фронте *таким образом*, чтобы естественно получился выигрыш сражения, а значит и выигрыш войны с «классовым врагом». Плох тот военачальник, который не умеет найти подходящее место на своем фронте и для ударных и для слабых дивизий, и для кавалерии и для артиллерии, и для регулярных частей и для партизанских отрядов. Военачальник, не умеющий учитывать особенности всех этих разнообразных частей и использовать их *по-разному* в интересах *единого и нераздельного* фронта, — какой же это, прости господи, военачальник? Боюсь, что РАПП иногда смахивает на такого именно военачальника.

Судите сами: общая линия у вас в основном правильна; сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники — вы безусловно способные и незаурядные люди; желания руководить — хоть отбавляй, — и все же силы у вас расположены на фронте; да и сам фронт построен у вас таким образом, что вместо гармонии получается нередко какофония, вместо успехов — прорывы.

Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке»⁴. И вместе с тем вы готовы и з н и ч т о ж и т ь Б.-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция? Много ли у вас таких революционных драматургов, как т.Б.-Белоцерковский?

Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк⁵. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном» отношении, а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов? Не странно ли, что ругая Б.-Белоцерковского «классовым врагом» и защищая от него Мейерхольда и Чехова, «На Литпосту» не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?

Дело, очевидно, не в резкости тона, а в вопросе о руководстве сложнейшим фронтом советской художественной литературы. А руководить этим фронтом призваны Вы, и только Вы, ибо вы есть «Российская Ассоциация пролетарских писателей». Вы забыли, что вам слишком много дано. Забыли, что кому много дано, с того много и спросится⁶. Смешно жаловаться и скулить: «Нас критикуют», «нас травят». Кого же еще критиковать и «ругать», как не вас?

4) Правильно ли поступил т.Керженцев⁷, выступив в защиту Б.-Белоцерковского от нападок «На Литпосту»? Я думаю, что т.Керженцев поступил правильно. Вы подчеркиваете формальный момент: «у ЦК нет еще формального решения». Но неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики уничтожения Б.-Белоцерковского, проводимой «На Литпосту»? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле, поставить вопрос на рассмотрении ЦК? По-дружески советуя вам не настаивать на этом: невыгодно — провалитесь наверняка.

5) В ряду вопросов, поставленных в вашем письме, есть один вопрос, который вы почему-то не захотели сформулировать и поставить ясно, но который сквозит в каждой строчке письма. Я имею в виду вопрос о моей переписке с Б.-Белоцерковским⁸. Вы, как мне кажется, думаете, что моя переписка с Б.-Белоцерковским не случайна, что она, эта переписка, является признаком какой-то перемены в моих отношениях к РАППу. Это неверно. Я послал т.Б.-Белоцерковскому свое письмо в ответ на коллективное заявление ряда революционных писателей во главе с т.Б.-Белоцерковским⁹. Самого Б.-Белоцерковского я лично не знаю, — не успел еще, к сожалению, познакомиться с ним. В момент, когда я писал свой ответ, я не имел представления о разногласиях между РАППой и «Пролетарским театром». Более того — я не знал еще об отдельном существовании «Прол. театра». Я и впредь

буду отвечать (если будет время) любому товарищу, имеющему прямое или косвенное отношение к нашей революционной литературе. Это нужно. Это полезно. Это, наконец, мой долг.

Мне думается, что ваши разногласия с пролетарскими писателями типа Б.-Белоцерковского не имеют и не могут иметь существенного характера. Вы могли бы и должны найти общий язык с ними даже при наличии некоторой организационной «неувязки». Это можно было и нужно сделать, ибо разногласия у вас в конце концов — микроскопические. Кому нужна теперь «полемика» вроде той, которая напоминает в основном пустую перебранку: «Ах ты, паскуда!» — «От паскуды слышу»? Ясно, что никому не нужна такая «полемика».

Что касается моих отношений к РАППу, они остались такими же близкими и дружескими, какими были до сего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать ее ошибки, как я их понимаю.

С коммунистическим приветом.

И.Сталин.

П.С. Ваш вопрос о т.Лебедеве-Полянском и его «теории» отпал¹: нельзя требовать от ЦК, чтобы он «реагировал» на все и вся на свете.

28/11-29 г.

И.Ст.

¹ См. прим.2 к вступительной статье.

² В 1924 Мейерхольд поставил «Лес» А.Островского и «Д.Е.» («Дашь Европу!» — по роману Эренбурга). В 1925 — «Мандат» Эрдмана; в 1926 — «Ревизора»; в 1928 — «Горе уму» (Горе от ума) и в 1929 (13 февраля) — «Клопа» Маяковского.

³ Данное письмо не находится в архиве ИМЛИ, который вообще был «приведен в порядок» И.Гронским, направленным в 1955 в ИМЛИ «для укрепления идеологической работы» (см.: Минувшее. Т.8. 1989. С.142-143).

⁴ Выражения из 10-го пункта резолюции ЦК (июнь 1925) «О политике партии в области художественной литературы», на которую РАПП продолжал ссылаться на словах. Для Сталина эта резолюция (бухаринская, гласившая, что «партия должна помочь» пролетарским писателям «заработать себе историческое право на гегемонию») — утратила своего значения.

⁶ См. выше, прим.27. Не дал ли Сталин этим письмом толчок к кампании против Пильняка?

⁷ Евангелие от Луки, 12, 48.

⁸ П.Керженцев (о нем см. прим. 13 в предисловии). Об одной путанице. (К дискуссии об искусстве).// Правда. 22.02.1929.

⁹ См. выше, прим.21 к предисловию.

¹⁰ Речь идет, по-видимому, не о письме фракции группы «Пролетарский театр», которое приводилось выше (см. прим.16 в предисловии), а о другом коллективном письме, которого нет в архиве ИМЛИ, ибо вопросы, затронутые Сталиным в его ответе Биллю-Белоцерковскому (вопрос о «правых» и «левых» в художественной литературе, о «Беге» и «Днях Турбиных» Булгакова, о слухах о «либерализме» и т.д.) не соответствуют вышеприведенному письму.

¹¹ Лебедев-Полянский (Валериан Полянский — литературный псевд. Павла Ивановича Лебедева, 1881-1948), крупный издательский работник, критик и историк литературы. В 1918-1920 — председатель Всероссийского совета Пролеткульта. В 1921-1930 — начальник Главлита. Он был членом «Кузницы», с которой враждовал РАПП (см. его «тезисы» 1928 г. в кн.: Литературные манифесты. М., 1929. С.171-173). Под «теорией» Лебедева-Полянского подразумевалось, по А.Нинову, следующее заявление начальника Главлита: «Конечно, остается в силе деление литературы на пролетарскую, крестьянскую и новобуржуазную» (Читатель и писатель. №41. 1928). Это противоречило резолюции ЦК ВКП(б) 1925 г. о художественной литературе, т.к. попутчики отеснялись к «новобуржуазной» литературе. «Сталин отмахнулся от тревожного вопроса, поставленного общественностью, так как его собственная политика тоже шла вразрез с резолюцией ЦК ВКП(б) 1925 г.» (Знамя. 1990. №1. С.200). Вопрос РАППа показывает, что для Ассоциации резолюция 1925 г. (признававшая попутчиков и «историческое право» пролетарских писателей на «гегемонию») — не утратила полностью своего значения.

Вячеслав Нечаев
ВСПОМИНАЯ КРУЧЕННЫХ...

«Букой русской литературы» назвал В.В. Маяковский поэта, драматурга, критика, художника Алексея Елисеевича Крученых. Так повелось, что знакомство с именем Крученых начинается со «скандального» стихотворения:

Дыр бул шыл
Убещур
Скум!
Вы со бу
Рлэз.

«Дырбулшыл» Крученых до сего времени еще является «классическим образцом» заумной поэзии, строящейся «по логике эмоций». Если гениальность Велимира Хлебникова в какой-то мере признана, то Крученых до последнего времени являлся предметом насмешек. Борис Леонидович Пастернак, отмечавший двойственность мира Крученых, писал: «Так, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиванием сырой природы, пустится гальванизировать существовательное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы»¹.

Все это я узнал потом; а до этого имени Бурлюка, Крученых, Зданевича были для нас, студентов, далекой историей. Разве мог кто-нибудь из нас предположить, что люди эти живы и во второй половине XX века с ними можно было встретиться, поговорить.

Мое знакомство с Алексеем Елисеевичем состоялось в конце пятидесятых годов. Маленький, подвижной, худой человек, с тюрбетейкой на голове и с портфелем под мышкой, в котором всегда

¹ Жив Крученых. М., 1925. С.1.

есть что-то интересное, чаще всего какая-нибудь редкая книга, с визгливым голосом, говорящий с украинским акцентом — таким впервые я увидел Крученых. Таким он и остался в моей памяти.

Он был верен своему прошлому. И это сказывалось во всем. Прошлое во всем — в быту, в воспоминаниях, в сборе книг, рукописей — окружало Крученых. Некоторые судили слишком поверхностно это прошлое, не понимали, а он досадовал, но никогда не оправдывался, и оставался верен этому прошлому. Даже от книг Крученых, которые он дарил знакомым (в двадцатые годы он выпускал их в несметном количестве), веяло атмосферой тех лет. На одной такой книге или, точнее, брошюре, или, как значилось на титульном листе, «продукции № 134 б» — «Гибель Есенина», — подаренной мне при первой встрече, он сделал следующую надпись: «Вячеславу Нечаеву. Здесь есть кое-что верное против есенищины. А Крученых. Москва. 1958 г.». Другую свою книгу — «Черная тайна Есенина» Крученых подарил мне со следующей надписью: «Вячеславу Нечаеву. — Пусть послужит эта книжка Вам и Вашим друзьям предупреждением — SOS! О белой горячке у Есенина! 1926-1961. А. Крученых. февраль 1961 г. Москва».

Он ни от чего не отрекался. Он радовался, когда его имя упоминали: значит — не забыли. Он жил этим прошлым, собирая книги и рукописи.

Он все ташил домой. Его комната напоминала палатку по сбору утиля. Книги, папки лежали прямо на полу, на диване, на окне, на шкафу, на полках. Удивительно, как он мог находить во всем этом хаосе то или иное, что ему хотелось показать. Впоследствии с помощью хозяина я уже сам мог хорошо ориентироваться в этом беспорядке. Под кроватью стояла коробка с рукописями и фотографиями М.И. Цветаевой; в шкафу лежали папки с материалами А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака; под столом находился большой баул, в котором хранились номерные издания футуристов; ближе к окну, на диване лежали связки документов Ю.К. Олеси и т.д. Лишь у самой двери не было ничего навалено — и то только потому, что нельзя было бы попасть в комнату. Слева, в углу, стояла железная койка, наспех застланная застиранным одеялом. Над кроватью висела работа известного польского художника Сигизмунда Валишевского, друга Крученых по Тифлису. Прямо на окне вместо занавесок неопределенного цвета тряпки; днем некоторые откидываются чтобы можно было открыть форточку. Сразу же от кровати и до окна горой книги и папки, связанные и лежащие отдельно. Вершина этой горы посередине комнаты; просто здесь стоит высокая этажерка, вся заваленная книгами и сверху накрытая цинковым корытом. К этажер-

ке можно только подползти по книгам. Из этой горы торчит краешек стола, покрытый пожелтевшими газетами. Здесь область рахат-лукума, коробки медовых пряников, пачки сахара (именуемого хозяином «цукором»), двух кружек и лекарств. Обычно у этого места мы располагаемся друг против друга и начинаем «чаевничать». От чая я отказываюсь и, чтобы не обидеть хозяйина, угощаюсь пряниками. Крученых опускает пряники в кружку, заливает их кипятком и начинает есть. Чудачествам Крученых не бывает конца. То в кипящую воду он бросит творожный сырок и только после этого минут через пять начинает есть. То застанешь его за стиркой: в маленькой кастрюле он кипятит белье, наверху которого лежит кусок мыла. Кто-то из женщин, навещавших его, предложил убраться в комнате. В ответ Крученых невнятно пробормотал что-то, но так и не дал даже стереть пыль...

Обычно и своему внешнему виду, костюму Крученых не придавал никакого значения. Как-то его пригласили выступить в Центральном государственном архиве литературы и искусства со своими воспоминаниями. Он был польщен, пригласил на свое выступление Н.Н. Асеева. Приехали за ним на машине. Алексей Елисеич так и поехал в своей нижней рубашке, которую прикрыл теплым шарфом. Это выступление Крученых записали на магнитфонную пленку, потом дали прослушать ему, и у старика на глазах появились слезы.

Тогда в архиве я впервые услышал чтение Крученых. Он блестяще читал свои произведения. У него были хорошие голосовые данные, совершенное владение интонациями, паузами. Вот вы слышите кусок какого-то разговора, вот топот гогочущих родственников, вот поет муэдзин:

— Алла! Алла! Велик Алла!

.....

Хвала подателю тепла, Алла-а!

А вот описание стола с яствами:

Вот сфабрикованное мило фру-фру,

А кто захочет — есть хрю-хрю

.....

и красные

и голубые

Ю-йца —

.....

Вот крепкий шишидрон

И сладкий наслаждец!

Позже я прочел у Пастернака такое описание чтения Крученых своих стихов: «Память о смысле отмирала, как воспоминание

о смешной и быстровзятной назад претензии. Чуть-чуть отдавало театром, но как отраслью цирковой. Все категории ускользали. Оставалась лишь острота общей замечательности, натуралистической, двухминутной, как у талантливых имитаторов. Беглая разорванная наблюдательность заставляла смеяться в местах, лишенных прямого комизма, и сквозь этот смех широкие типичные картины природы, одна за другою, всплывали в сознание, вызванные резким, почти фокусническим движением, родственным основной очковтирательской стихии искусства»². К этим словам Пастернака трудно что-либо добавить. Думается, что таких справедливых слов, признания его труда Крученых никогда потом не слышал и не мог рассчитывать на похвалы и цветы.

Вспоминается такой случай. Весной 1966 года в Центральном доме литераторов с большими трудностями был организован юбилейный вечер, посвященный восьмидесятилетию Крученых. На крошечной сцене малого зала усаживается президиум. Появляется Крученых со своим знаменитым портфелем под мышкой. Вдруг он расстегивает портфель, достает букетик цветов и ставит его в кувшин с водой со словами: «Разве кто-нибудь из вас догадается...». Правда, потом, выступая с приветственным словом, молодая сотрудница ЦГАЛИ преподнесла ему букет красивых гвоздик, заявив, что такие букеты цветов он получал в прошлом, когда выступал на эстраде с Маяковским, Хлебниковым, он получает и сейчас в такой торжественный день.

Живя своим прошлым, Крученых, тем не менее, не любил предаваться бесконечным воспоминаниям. Может быть, поэтому он так и не написал мемуаров. Крученых многое хорошо помнил, делал специальные записи на отдельных листках, но так и не собрался сесть за стол, систематизировать свои наблюдения. Поэтому несколько моих разговоров с Алексеем Елисеевичем о Маяковском я постараюсь привести.

Вообще о Маяковском он говорил не очень охотно: то ли никак не мог привыкнуть к его посмертной славе, то ли боялся, что о чем-то проговорится, то ли не хотел добавить ничего лишнего к портрету поэта.

Крученых рассказывал, что 17 августа 1921 года он приехал в Москву из Баку (в Закавказье он пробыл с декабря 1915 года до середины августа 1921 года) и в тот же день вечером встретился с Маяковским в Доме печати на выступлении А.В. Луначарского. На следующий день Крученых посетил квартиру Бриков в Водопьяновом переулке. Тогда Маяковский и подарил ему книгу

² Крученых А. Календарь. Предисловие Б.Л. Пастернака. М., 1926. С.3.

«150000000» с надписью. Книга теперь хранится в Библиотеке-музее В.В. Маяковского. Алексей Елисеевич не расставался с этой книгой и на полях ее делал всякие пометы, касающиеся Маяковского. Например, Крученых записал несколько разговоров Маяковского с аудиторией.

Маяковский. Сегодня я у себя на службе перелистывал Ходасевича...

Из публики. Плохо служите!

Маяковский. Моя служба — быть председателем всех муз на Олимпе.

Или, доказывая, что оригинальность имажинистов кажущаяся, что образы их истерты, Маяковский затеял следующую игру с аудиторией:

Маяковский. Острый как что?

Аудитория. Как бритва.

Маяковский. Правильно. «Перо острее бритвы». Так и написано. Смирение какое?

Аудитория. Монашеское.

Маяковский. У разъяренного кота хвост...

Аудитория. Трубой.

Маяковский. Верно. Так и сказано у Мариенгофа и Шершеневича.

На книге была записана и реплика поэта о Мариенгофе: «Мариенгоф очень занят. Он цилиндр носит».

Крученых всегда отмечал находчивость, даже самоуверенность Маяковского, его ударный голос, его характер агитатора. Он считал, что все эти качества помогали Маяковскому владеть аудиторией.

Как-то разговор зашел о Давиде Бурлюке.

«Бурлюк сделал много для Маяковского. Он хорошо знал французский язык. Читал Маяковскому французских импрессионистов. — И категорично, словно боясь, что я могу возразить, добавил. — Первые два тома Маяковского — это же импрессионистические стихи. Посмотрите».

В другой раз об азбуке Маяковского.

«Знайте, азбука Маяковского написана по дореволюционной азбуке. Была такая, вроде порнографической. Он знал ее наизусть».

На глаза мне попались «Сатиры» Саши Черного в издании «Шиповника». Я вопросительно взглянул на Крученых, так как знал, что есть несколько талантливых поэтов, книг которых он

не держал у себя дома. Так было, например, с книгами Н.С. Гумилева. В ответ услышал: «Маяковский знал наизусть много из Саши Черного».

Я готовил публикацию неизвестного выступления Маяковского для так и не изданного тома «Литературного наследства». Маяковский упоминал о брошюре Крученых против Есенина. Показал это выступление Алексею Елисеевичу. Неожиданно Крученых разговорился.

«В записках, которые посылались Маяковскому на его вечера, часто стоял вопрос: "Почему из левовцев один Крученых борется с Есениным?"» Потом, — продолжал Крученых, — и Маяковский начал борьбу против есенинщины. А через несколько лет вступил в РАПП. Возмнил. Культ. Ушел из ЛЕФа, никому ничего не сказав, и вступил один, без группы. Путь в РАПП был для него (как он писал) "утомителен и длинен, как Доронин", то есть скучный, безликий. К рабочим... Помните, "класс он тоже выпить не дурак". Тоже его не устраивало. Оставалось одно — самоубийство.

В РАППе был Авербах-гнида. Начали его затирать. Как-то на вечере ассоциации выступил и Маяковский. Зал пришел в неопишуемый восторг. Вечер РАППа стал вечером Маяковского. Это стало ясно.

Обкладывали со всех сторон...

Когда шла "Баня", то лозунг против Ермилова заставили снять. Мотивировка: "Вступили в РАПП, а сами подрываете изнутри" В предсмертном письме даже написал: "Жаль, что не доругался". А разве можно было до чего-нибудь договориться с Ермиловым?! Маяковский мог одним щелчком прибить Ермилова; но за спиной того стоял Авербах, которому было все позволено. Авербах мог даже выступить против Луначарского и публично заявить: "Мы вас ценим, но пьес ваших не любим. Бросьте эту пустую затею...". Да и не только Луначарскому. Авербах был связан с Ягодой... Он мог свободно притеснять и Маяковского. Оставалось либо уйти из РАППа, либо — из жизни. Выйти из РАППа он не мог. Вступил в феврале, а в марте уходить? Нет. Для мастера это все равно, что в шахматной игре взять фигуру назад, то есть попросить пощады. Его перестали бы уважать. Маяковский понимал, что значит потерять авторитет. Бороться "внутри" значило быть объявленным ренегатом и быть смятым. Оставалось уйти. Что он и сделал.

Тут еще "любовная лодка". Эта история с Татой Яковлевой. Маяковский в Москве, маркиз в Париже. У Стендаля в трактате "О любви": девушка бросается на шею каждому встречному.

Ее называют переходящим орденом. В конце концов она заявляет: "Маркиз не может быть некрасивым". Все затмил. Да и тут... Маркиз продвигался по дипломатической линии, но вскоре затих. Теперь она в Америке, миллионерша. Якобсон роется у нее в сейфе».

Мою просьбу уточнить, что «тут», Крученых оставил без внимания, а вскоре пришел Н.И. Харджиев за какими-то материалами по О.Э. Мандельштаму. Разговор перешел на другую тему.

Пожалуй, с наибольшим удовольствием Крученых вел разговоры о языке.

К.Г. Паустовский печатал свои воспоминания в «Октябре». Неточно процитировал Пушкина. Крученых сразу написал ему письмо. Он никак не мог успокоиться: «Как это можно Пушкина переделывать на свой лад?» Спустя какое-то время в «Литературной газете» было напечатано письмо М.Рыльского, где он указывал на эту неточность. Константин Георгиевич в ответном письме объяснил, что эти строки поэта так запомнились ему, говоря об индивидуальном восприятии. Крученых без конца повторял: «Ведь это Пушкин. У него все на месте и выдумывать за него не надо. Пушкина надо знать».

С большим удовольствием Крученых листал книгу Ашукиных «Крылатые слова». Однажды я был встречен вопросом: «Вы знаете, почему набирают курсивом строку у Грибоедова: "И дым отечества нам сладок и приятен"? Потому, что это фраза Державина: "Отечества и дым нам сладок и приятен". И, показывая на книгу, добавил: "У вас есть эта книга. Очень полезная и интересная"».

В конце 1964 или начале 1965 года в «Литературной газете» была опубликована статья Н.Грибачева, в которой упоминалось стихотворение «Дырбулшыл». Я не помню, что писалось об этом стихотворении Крученых, но только он протянул мне газету и сказал: «Оно написано для того, чтобы подчеркнуть фонетическую сторону русского языка. Это характерно только для русского. Французы пробовали перевести на свой язык, да ничего не получилось. В русском языке это от русско-татарской стороны. Не надо в нем искать описания вещей и предметов звуками. Здесь более подчеркнута фонетика звучания слов. Вот у Некрасова:

То заорет: "го-го-го! — ту! ту!! ту!!!"

Вот и нашли — залились на следу.

(Крученых привел еще один пример из поэзии Некрасова, но, к сожалению, я не помню, какой).

Это есть в поэзии негров и в народной поэзии. Часто в детских считалках.

— Да, и у Гильена: "Майомбэ-бомбэ-майомбэ! сенсемайя, змея..." — добавил я. — Или у детей: "Эники-беники..."

— Пусть попробуют перевести или объяснить», — закончил Алексей Елисеевич.

О словесных турнирах поэтов Крученых рассказывал с жаром. Недаром он выпустил на стеклографе несколько брошюр под названием «Турнир поэтов». С большим удовольствием Алексей Елисеевич поведал мне о следующем случае. Бенедикт Лившиц, когда они шли с Хлебниковым, показал какую-то звезду и назвал ее. Тогда Хлебников стал называть все звезды по-славянски. Лившиц был поражен. Крученых рассказывал так, как будто не Хлебников, а он сам назвал все звезды.

Крученых поведал мне и о своем вступлении в Союз писателей. Было это в 1943 году. На одном из отчетов И.Г. Эренбурга в Доме литераторов Крученых встретился с Ильей Григорьевичем. Разговорились. Эренбург, узнав, что Крученых еле-еле сводит концы с концами и все время с первого дня войны находится в Москве, написал ему рекомендацию для приема в Союз, по которой Крученых и был принят в Союз писателей.

Будет справедливо, если я отмечу еще одну особенность Алексея Елисеевича, — постигать сегодняшний день через прошлое. Как бы с позиций своего прошлого Крученых интересовался и молодой поэзией. Из многих имен поэтов, чьи книги появились в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, он выделял особо Николая Глазкова, Андрея Вознесенского, Виктора Соснуру. И они отвечали ему признательностью.

В качестве примера приведу одну надпись А.А. Вознесенского на его книге «Ахиллесово сердце». Эта книга попала ко мне случайно уже после смерти Крученых. Вот текст надписи:

Эта книга — лучшее мое избранное. Эти стихи входят в Американское издание Basic Book. 1967.

Андр. Вознесенский.

Примите мой подарок.

Ах, сердце последнее мое...

Андр. Вознесенский.

30 ноября 1967 года.

В книге Лидии Толстой «Зеленая лампа» на странице 129 — групповое фото, очень хорошо напечатано, где Марина Цветаева, Лидия Толстая, а на 1-ом плане А.Крученых и сын Марины Цветаевой — Мур. Я показал свою силу физиономиста, сказав: «Мур — старше А.Крученых», а фактически Муру было 15 лет, а Крученых

— 45. Причем оба возраста имели колоссальное значение для жизни этих людей: Мур был призван в армию и погиб в следующем году, а Крученых чуть не попал в ополчение, но туда брали до 44 лет!...

Однажды я попросил Крученых прочесть мне свои стихи. Эти стихи были с помощью типографских ухищрений набраны тремя разными размерами шрифтов. Вначале надо было читать крупный, затем — средний и, наконец, — мелкий шрифт. Такие стихи назывались «симфоническими». Мастером писать подобные стихи считался Колау Чернявский. На мою просьбу Алексей Елисеевич ответил отказом, заявив при этом, что к чтению подобных стихов надо соответственно подготовиться, да и он забыл, как их читать. Разговор перешел на стихи Вознесенского. В его поэме «Оза» Алексей Елисеевич обратил внимание на часто повторяющуюся строку — «А на фига?!» и на образ черного ворона, заметив, что это «Ворон» Эдгара По. А стихотворение «Сибирские бани» вызвало у Крученых две строчки:

Стройся с Толстым Ренуар —
Ты не видел таких пар!

Особо хочу упомянуть о страсти Крученых к сбору материалов по истории русской и советской литературы. Он собирал по крупицам рукописи, записки, фотографии, рисунки, письма, документы (все, что давали) — ибо ценностью это тогда не считалось. Не помню точно кто, но на одном листке была следующая дарственная: «Кручу — в кучу!». Только спустя какое-то время собрание Крученых стало богатством. Многие материалы от Крученых поступали в Литературный музей, Библиотеку-музей В.В. Маяковского, Центральный государственный архив литературы и искусства. Но это особый разговор. Даже моему личному собранию документов по истории театра и литературы Крученых заложил основу. То подарит книгу с автографом А.А. Блока, то оттиск с автографом А.А. Ахматовой, то фотографию М.И. Цветаевой.

Однажды, когда мне пришлось расчищать проход к окну для рабочих, которые меняли отопительную систему, Крученых подарил сразу две книги. Одна из них была «Рассказы» Артема Веселого. На ней была дарственная надпись:

Поэту, чье горло заткнуто. Бравствуй май
7 + 5
1931
Артем.

Вот передо мной его фотографии, которые он дарил и которые мне удалось снять. Но глядя на них, я вспоминаю его рассказы о Херсоне и его альбомах «Весь Херсон в карикатурах», о его работе на постройке Эрзерумской железной дороги, об Асееве, Давиде Бурлюке и многом другом. Сколько лет прошло, но годы не могут стереть из памяти образ этого «дичайшего», как его называли, футуриста. Таким был Алексей Елисеевич Крученых, о котором до сих пор еще пишут как о варваре, «отрицателе» русского языка. Этот крайне левый футурист прекрасно знал и всем своим существом любил русскую литературу. Вероятно, не все, что он сделал как поэт и как критик, лингвист, вернее публицист, равноценно. Мне кажется, что собранные воедино, его книги теряют жар. Так, отдельными маленькими брошюрами они и будут существовать.

Р. Янгиров

ПЕРВЫЙ КИНОБИОГРАФ ВОЖДЯ

Из истории партийно-государственного руководства
советским кинематографом в 20-е годы.

История советского кинодела как системы партийно-государственного управления искусством до сих пор не привлекала к себе по-настоящему серьезного внимания. Напротив, она намеренно была сведена к описательному истолкованию исключительно лишь верховного — дискретного по форме и дилетантского по существу — вмешательства в творческую практику кинематографии¹. Вне этих узких рамок неисследованным остается весь рабочий механизм «приводных ремней» — повседневной многообразной деятельности руководителей советских киноорганизаций, персонифицировавших эффективность установленной системы и направления ее развития. Именно в этих руках были сосредоточены неограниченные возможности идеологического и экономического контроля над творческими кадрами «важнейшего из всех искусств» и одно только это обстоятельство придает «волевому» фактору весьма внушительный вес при изучении эстетической эволюции советского кино. Вместе с тем, индивидуальные вкусы и пристрастия сменявших друг друга на протяжении десятилетий «командиров» кинопроизводства, пусть и опосредованно,

¹ Из бесчисленного множества публикаций внимания заслуживают лишь публикации документов (за исключением справочного аппарата и комментариев) в следующих изданиях: «Самое важное из всех искусств. Ленин о кино». Сост. А.М. Гак. М., 1973; «Луначарский о кино». Сост. А.М. Гак и Н.А. Глаголева. М., 1965; «Партия о кино». Вып. 1-3. М., ВНИИ Киноискусства, 1980 (под грифом «для служебного пользования»). Наиболее серьезным монографическим исследованием следует признать книгу В.Листова «Ленин и кинематограф». М., 1986.

но отражали более общие сдвиги в толще государственной идеологии и практики. Без учета этой внешней константы вообще трудно составить объективное представление о месте искусства в жизни советского общества.

Именной ряд руководителей советской кинематографии, выстроенный в хронологическом порядке (мы умышленно прерываем его 1950-ми годами, завершившими определенную эпоху), может наглядно продемонстрировать искусственному взгляду все этапы ее истории, обнаруживая при этом почти полное отсутствие преемственности в заданном когда-то движении. Н.Преображенский — Д.Лещенко — П.Воеводин — Л.Либерман — Э.Кадоццев — К.Шведчиков — М.Ефремов — М.Рютин² — Б.Шумяцкий³ — С.Дукельский⁴ — И.Большаков.

Имя Петра Ивановича Воеводина (1884-1964) трудно отнести к числу известных деятелей советской кинематографии, несмотря на то, что он вошел в ее историю на одном из самых критических этапов развития «важнейшего из всех искусств». С мая 1921 по июнь 1922 гг. он возглавлял Всероссийский Фото-Кино отдел (ВФКО) — одну из первоначальных организационных структур национализированной кинопромышленности России. Для самого Воеводина — профессионального революционера-большевика, с октября 1917 вошедшего в круг высшей партийно-государственной номенклатуры, новое назначение было всего лишь очередным ответственным поручением (можно думать, что не самым престижным) после того, как он полтора года возглавлял дея-

² Мартемьян Рютин был первым председателем «Союзкино» с февраля по ноябрь 1930 г. Этот малоизвестный факт подтверждается «Информационными бюллетенями» «Союзкино» за указанный период, отсутствующими в центральных архивохранилищах, но отложившимися в провинциальных архивных собраниях. См.: Центральный Государственный архив Чувашской АССР. Ф.483 (Чувашкино). Оп.1. Ед.хр.75. Оценивая это назначение как «скромнейший пост председателя правления объединения фотокинопромышленности», сегодняшние советские биографы Рютина проявляют абсолютное незнание предмета. См.: Арк. Ваксберг. Прочитай, передай другому!// Юность. 1988. №11. С.23.

³ Борис Шумяцкий — едва ли не единственное исключение из приведенного ряда. Ему посвящено исследование Р.Тейлора «Борис Шумяцкий и советское кино в 30-ые годы: идеология как развлечение масс». — Киноведческие записки. Вып.3. М., 1989 (русский перевод статьи, опубликованной в: Historical Journal of Film, Radio and Television. №1. 1986).

⁴ Карьеру чекиста Семена Дукельского, ставшего ненадолго руководителем советской кинематографии, можно проследить по кн.: ЧК на Украине. Ч.1. Харьков, 1923 (републиковано в США, 1989) и по мемуарам Михаила Ромма в кн.: Устные рассказы. М., 1989.

тельность самарского отделения Госиздата и местного Пролеткульта. Это обстоятельство позволяло считать его кандидатуру достаточно компетентной в вопросах художественной политики и решающим образом повлияло, очевидно, на неведомое нам решение Учетно-распределительного отдела ЦК РКП(б) о выдвижении нового главы советского киноведомства. Что же касается самого Воеводина, то для выдавшего виды чиновника, каковым он стал к тому времени, специфика новой службы была достаточно неожиданной.

Дело это было не только незнакомым мне (я даже в кинотеатре прежде очень редко бывал), но и представлялось особенно трудным потому, что вместо коллегиального управления, как было раньше, ЦК партии установил единоначалие⁵.

Никто меня не спрашивал, насколько я подготовлен к такой работе, а просто вызвали в Центральный комитет и сказали, что меня назначают руководить всей кинопромышленностью и кинодеятельностью в республике. Мне было указано, что в кратчайший срок я должен буду сделать в Совете Народных Комиссаров соответствующий доклад о состоянии и перспективах развития всего кинодела в нашей стране⁶.

Положение некомпетентного руководителя, подкреплявшееся всего лишь избытком большевистской энергии и энтузиазма, было и в самом деле шекотливым, если вспомнить об общем хозяйственном положении советской России в тот период, не говоря уже о состоянии кинопромышленности. Переход к новым «рыночным» экономическим отношениям, почти полное прекращение государственных субсидий в сферу культурного строительства, с одной стороны, и уже установившаяся практика бюрократических ограничений всякой самостоятельной деятельности в условиях жесткой партийной дисциплины — с другой, грозили свести «к нулю весь смысл существования не только Всероссийского Фотокиноотдела, но и русской кинематографии в целом»⁷. Неудивительными поэтому кажутся столь частые непосредственные, в обход сложившейся иерархии, обращения главы ВФКО к Ленину. В них, между прочим, нетрудно уловить приглушенные упреки адресату в небрежении проблемами и нуждами кинодела.

Имея... требования самых разнообразных ведомств на выполнение тех или иных ударных заданий, часто скрепленных Вашим, Вла-

⁵ Решение об этом было принято на заседании Малого Совнаркома 16 мая 1921 г. См.: «Самое важное из всех искусств...». С.190.

⁶ Там же. С.129.

⁷ Из «Объяснительной записки» Воеводина в Совнарком от 20.02.1922. Там же. С.86.

димир Ильич, заключением о «срочности», «спешности» и проч., я часто вижу, что при всей моей энергии и горячем желании повернуть эту машину, я остаюсь совершенно бессилён. С первых же дней я убедился, что только Ваше, Владимир Ильич, исключительное внимание, Ваше непосредственное вмешательство в эту отрасль поможет /.../ создать фото-кинопромышленность и обеспечить за киноработой ту необходимую роль..., что нам так важно сейчас⁸.

Круг актуальных вопросов кинодела, поднимавшийся Воеводиным перед Председателем Совнаркома и главами других подразделений высшей власти, достаточно хорошо известен благодаря неоднократным публикациям⁹. «Жалкое бюрократическое существование» ВФКО (определение самого Воеводина) со всей определенностью открывается и при знакомстве с довольно многочисленным корпусом неопубликованных материалов, хранящихся в архивных собраниях¹⁰. Стоит обратиться, однако, и к тем скромным результатам деятельности киноведомства, достигнутым исключительно благодаря самоотверженным усилиям его руководителя.

Уже в одном из первых своих отчетов он сообщает о том, что «закреплена работа впервые только что организованной 1-й государственной кинотруппы определенными заданиями в смысле постепенного втягивания новых актеров в специальную кинематографическую работу по плану Художественного Совета ВФКО. /.../ но отсутствие сырой пленки не дает возможности проверить работоспособность и пригодность данного состава только соорганизовавшейся кинотруппы, а задержка средств и материалов задерживает даже подготовительные работы по утвержденной программе постановок новых картин...»

Но и при таком положении вещей кое-что все же снималось: «командированы операторы: 1) для обслуживания Комиссии ВЦИК для засъемки голодающих районов¹¹; 2) для специальной Туркестанской научно-этнографической экспедиции; 3) для работы

⁸ Из письма Председателю Совнаркома от 10.06.1921.// Самое важное из всех искусств... С.35.

⁹ Материалы ВФКО, связанные с именем Воеводина, впервые были опубликованы в «Ленинском сборнике XXXVI». М., 1959; частично — в журнале «Искусство кино» (далее — ИК). 1960. №2. Наиболее полная публикация — в цитированном сборнике «Самое важное из всех искусств...».

¹⁰ ЦГАЛИ. Ф.989 (Госкино); ЦГА РСФСР. Ф.2313 (Главполитпросвет).

¹¹ См. письмо Енукидзе с разрешительной резолюцией Воеводина о командировании оператора Тиссэ (27.06.1921) — ЦГАЛИ. 989/1/249/60. В течение 1921-1922 ВФКО были выданы также разрешения на фото и киносъемки в Поволжье ряду зарубежных хроникеров: представителям миссии Нансена, корреспондентам «Патэ-Ньюс» и «Нью-Йорк интернешнл информэйшн». См.: там же, 989/1/249/5-6, 13, 30, 35. В архивном фонде Воеводина сохранилось 38 фотографий, сделанных пред-

в Афганистане; 4) для заснятия нефтедобывания и нефтепереработки»¹² (из отчета Художественному отделу Главполитпросвета за май-июнь 1921 г.).

В следующем отчете Воеводин сообщает уже и о том, что закончены постановки агитационных фильмов «Деревня на переломе», «Андрей Гудок», «Все в наших руках», «Голод... голод... голод», о разработанном проекте «Автокинобазы» для обслуживания крестьянского зрителя, о мероприятиях по восстановлению разоренных московских кинофабрик¹³ (отчет за май-сентябрь).

«Пленочный» кризис, впервые заявивший о себе в России к концу 1916 г. и сопровождавший работу отечественной кинематографии на протяжении почти двадцати последовавших лет, достиг своего апогея при Воеводине. Для изыскания пленки им, по собственному признанию, использовались любые средства — «личные, политические и партийные связи», а то и «обращение к средствам контрабанды»¹⁴. Несомненно гордость испытывал глава ВФКО, когда ему удалось пробить через инстанции свою идею об обмене за границей фильмов дореволюционного производства, признанных идеологически и эстетически «чуждыми» для советского зрителя, на сырую пленку¹⁵. Но и эти скромные успехи не могли рассеять у Воеводина ощущения безнадежности возглавляемого им дела — «катастрофическое» и «ужасное» состояние национализированной кинематографии требовало иных, радикальных, но не паллиативных подходов и решений и, прежде всего, — обращения к западным кинопредпринимателям. Начиная с осени 1921 г. он активизирует свои усилия в поисках деловых партнеров на Западе, обращая особое внимание в связи с внешнеполитической конъюнктурой, на германскую кинопромышленность¹⁶. По хорошо известным причинам, ее возможности, одна-

ставителями миссии Нансена во время поездки в голодающие районы Поволжья и представленные, по-видимому, в ВФКО для предварительной цензуры. См.: Центральный Государственный архив народного хозяйства СССР (далее — ЦГАНХ), 160/1/245.

¹² ЦГА РСФСР. 2313/6/2/6-7.

¹³ Там же. 2313/6/302/13. Фильм «Андрей Гудок» ввиду отсутствия позитивной сырой пленки хранился в негативе и был выпущен на экраны лишь в октябре 1923 г. История «Автокинобазы» подробно рассмотрена В.Листовым (Ук. соч. С.92-97).

¹⁴ ЦГА РСФСР. 2313/6/302/11.

¹⁵ Так называемый «экспортный фонд» кинокартин включал в себя 130 игровых фильмов. См.: Самое важное из всех искусств... С.75, 77. См. также ЦГА РСФСР. 2313/6/302/12.

¹⁶ В архиве Воеводина сохранились досье на ряд германских кинофирм и документы, подтверждающие переговоры, проведенные с их представителями Председателем Киноотдела в Германии Марией Андреевой. ЦГАНХ. 160/1/374/1-3, 5.

ко, оказались ниже пробудившихся ожиданий, и тогда центр внимания передвинулся к предложению итальянского акционерного общества «Чита-Чинема», чему, вероятно, немало способствовали гарантии коммуниста Артуро Кароти, представлявшего интересы фирмы в России и к тому же лично знавшего Ленина. Обсуждение необычайно заманчивого для разрушенной советской кинопромышленности проекта концессионного предприятия по производству пленки и совместным кинопостановкам заняло почти три месяца, но в итоге окончилось безрезультатно в немалой степени из-за межведомственной бюрократической неразберихи. Но все же главной причиной срыва этого делового соглашения, по-видимому, следует считать политические мотивы, во многом предопределявшие принятие тех или иных экономических решений¹⁷.

Суммируя краткий экскурс в период воеводинского руководства советской кинематографией, нельзя не признать, что оно ничем не превзошло достижений его предшественников, равно как и ближайших преемников на этом посту. Это был лишь очередной эпизод «героического» пятилетия в истории советского кино, уничижительную характеристику которому давали уже современники.

Эта национализация [имеется в виду декрет от 23 августа 1919 г. — *Р.Я.*], в сущности, не принесла нам в те времена никакой пользы. /.../ В результате мы, имея в своем распоряжении все кинофабрики страны, занимались в последующие годы исключительно засъемкой хроники, да и та за отсутствием достаточного количества позитив-

См. также письмо Воеводина заместителю Наркома просвещения Литкенсу от 19.09.1921 в: Самое важное из всех искусств... С.77.

¹⁷ Число серьезных предложений западных фирм о сотрудничестве в области кинематографии ни в те годы, ни позже не было значительным. Проблема привлечения иностранного капитала была в конце концов решена организацией киносекции при «Межрабпом» в том же 1922 г. Для усиления независимого статуса предприятия было проведено слияние с коллективным товариществом «Русь» в августе 1923 г., в результате чего возникла негосударственная кинофирма «Межрабпом-Русь», в том или ином виде просуществовавшая до июня 1936 г. Неожиданный нюанс в эту тему вносит ставшее недавно известным заинтересованное внимание ГПУ, чье Управление предприятий, занимавшееся коммерческой деятельностью для пополнения бюджета ведомства, получило в свое распоряжение сеть зрелищно-увеселительных предприятий, в том числе и кинотеатры. Особый интерес ГПУ проявляло к зарубежным киносвязям. В Берлине, например, при советском постпредстве был организован Киноотдел (см. прим.16). «Получаемые [от Киноотдела] — *Р.Я.*] доходы поступают на содержание официального и секретного штата ГПУ в Москве, частью становятся собственностью тех из работников ГПУ, которые являются участниками этих предприятий». (Цит. по: ВЧК-ГПУ. Сборник документов./ Сост. Ю.Фельштинский. Нью-Йорк, 1989. С.149).

ной пленки своевременно не распространялась и имеет ценность чисто историческую. /.../ Ничем, кроме «переорганизаций», мы в области кинематографии заниматься не могли¹⁸.

Оценивая деятельность Воеводина на ниве отечественного киноискусства, нельзя пройти мимо его личных творческих интенций, особенно активно пробудившихся в этот период. В целом еще недооцененная, но чрезвычайно характерная для представителей высшей большевистской иерархии тяга к литературному творчеству, реализовавшаяся в широком жанровом диапазоне, всегда почиталась и пропагандировалась как одна из высших партийных добродетелей, тем более, что некий уровень журналистской квалификации, заданный изначально ключевыми фигурами этого круга, негласно вошел в перечень неотъемлемых качеств профессионального революционера. Таким образом, литературные занятия (естественно, в контексте «общепролетарского дела») были еще одним испытательным полем для всякого партийца, озабоченного усилением своего персонального влияния и сопутствующих ему иерархических продвижений. Рассматриваемый нами персонаж демонстрирует еще один, достаточно экзотический пример проникновения «партийной организации и партийной литературы» в сферу художественного творчества.

Возглавив ВФКО совершенно неподготовленным профессионально и тем более — с точки зрения общей культуры, Воевдин довольно скоро ощутил искус профессии кинематографиста. Осенью 1921 г., после завершения вышеупомянутых кинопостановок, вызвавших иллюзию ликвидации «пленочного» кризиса, аппарат ВФКО, пребывавший, видимо, в предвкушении выгодных заграничных контактов, объявил открытый конкурс на сценарий агитационно-игрового фильма на темы революционной современности. Не располагая данными, которые подтверждали бы большой наплыв конкурсных работ и тем более их профессиональное качество, остановимся лишь на том, что завершился он принятием к постановке сценария «В вихре революции», представленного самим заведующим отделом¹⁹. Режиссер Александр Чаргонин поставил по этому сценарию одноименный фильм, представлявший революционную эпоху в расхожих, хорошо знакомых массовому зрителю образах и ситуациях, заимствованных из поэтики раннего русского кинематографа. Своеобразной премьерой стал показ фильма делегатам XI съезда большевистской партии

¹⁸ Н.Лебедев. Кино. Его краткая история. Его возможности. Его строительство в Советском государстве. М., 1924. С.95-96.

¹⁹ См.: Зритель. 15.01.1922. №1. С.13.

31 марта 1922 г., среди которых присутствовал и Ленин. Реакция первых зрителей была единодушно отрицательной²⁰.

Трудно реконструировать спустя десятилетия конкретные претензии аудитории к создателям фильма (он тоже не сохранился). В нашем распоряжении есть лишь современные обоснования этого неприятия, но и они заслуживают пристального внимания. «Конечно, фильм совершенно не мог рассчитывать на успех в зале съезда, — узнаем мы от исследователя, многие годы посвятившего изучению первых лет истории советского кино, — более двух третей делегатов (с решающим голосом) было с дореволюционным партийным стажем, около половины — из рабочих. Сотни людей, еще недавно руководивших забастовками и в них участвовавшими, разумеется, не отнеслись всерьез к экранным переживаниям Зои Баранцевич и плоским агиточным ходам, использованным создателями картины»²¹.

Итак, отсутствие прямой информации задним числом восполняется кажущейся вполне убедительной методологически социологической справкой. Но есть ли подтверждения тому, что столь искушенный в политическом отношении зритель обладал самой адекватной реакцией на те или иные эстетические формы хотя бы идеологизированного искусства? А чем же объяснить тогда массовую популярность десятков агитфильмов предшествовавших лет, мало чем уступавших своими художественными достоинствами ленте, отвергнутой делегатами съезда? Ведь интуиция другого, не менее авторитетного исследователя (и к тому же очевидца событий тех лет!) подсказывала, что выпуск подобной кинопродукции вполне себя оправдал. «Лучшие из них [агитфильмов. — Р.Я.], в простой и доходчивой форме популяризируя очередные лозунги Советской власти, воодушевляли трудящихся, подымали народ на борьбу за лучшее будущее»²². Таким образом, вопрос о достоинствах и недостатках первого кинематографическогоopusа Воеводина остается открытым, равно как и более сложные проблемы, связанные с потреблением идеологической кинопродукции. Прежде чем переходить к социологическим обобщениям априорного характера, не лишним представляется обращение к индивидуальному опыту.

Идеальной фигурой, репрезентирующей вкусы и групповые пристрастия партийной аудитории, кажется прежде всего сам Ле-

²⁰ В.Листов. Ук. соч. С.145-147.

²¹ Там же. С.146.

²² Н.Лебедев. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934). М., 1965. С.127.

нин. Несмотря на скудость конкретных свидетельств, достаточно очевидным оказывается то, что современный ему игровой кинематограф практически вообще отсутствовал на шкале ленинских эстетических симпатий. Кино, как впрочем и любая форма искусства, оценивалось им однозначно-утилитарно — с точки зрения полезности или непригодности целям политической борьбы и агитационно-пропагандистской обработки масс.

Был ли, скажем, фильм «Чудотворец», просмотренный Лениным в последние месяцы жизни, выше по своим художественным достоинствам, чем постановка Чаргонина, считавшегося одним из оригинальных мастеров школы русского кино? Сегодня это кажется сомнительным²³. Сохранившийся же в памяти очевидцев положительный отзыв Ленина о ленте режиссера Александра Пантелеева скорее подтверждает отмеченное нами политизированное отношение к искусству и, в сущности, не имеет никакого отношения к кинематографическим достоинствам прославленного антирелигиозного фильма.

Другая особенность ленинской рецепции кинематографа, также отмеченная очевидцами в последний период его жизни, связана с его быстрой утомляемостью полнометражными игровыми лентами. На наш взгляд, это не только следствие последней болезни Ленина, а черта, выдающая в нём давнего «антисинемиста»²⁴.

²³ Г. Болтянский, засвидетельствовавший это, затруднялся в ответе, чем понравилась эта кинокартина Ленину, и находил объяснение лишь в «настоящем крепком классовом подходе» режиссера к постановке. (См.: Болтянский Г. Ленин и кино. М., 1925. С.42-44). Любые жанровые особенности, кажется, отвращали Ленина от кинозрелища. Им, по-видимому, вообще была пропущена эволюция кинематографа от лубка к мелодраме, протекавшая на протяжении первой половины 1910-х годов. Подтверждением этому может послужить семейная переписка Ульяновых. В марте 1914 г. Крупская в письме матери своего мужа вынесла «семейный» приговор увиденному фильму, первоначальный интерес к которому был вызван политическими причинами. «Видели мы здесь в синема "Дело Бейлиса" (превратили в мелодраму)». (В.И. Ленин. ПСС. Т.55. С.353).

²⁴ Эта самооценка встречается в письмах Крупской из эмиграции. В декабре 1913 г. в письме свекрови она, как всегда выражая «семейную» точку зрения на вопросы быта, расшифровывала его следующим образом: «Синемы страшно тут нелепые, все пятиактные мелодрамы... Мы тут шутим, что у нас тут есть партия "синемистов" (любителей ходить в синема), "антисинемистов" /.../ и партия "прогулистов", лающих всегда убежать на прогулку». Ленин в соответствии с этой шуточной, но как всегда политизированной классификацией — решительный «антисинемист» и «отчаянный прогулист». (В.И. Ленин. ПСС. Т.55. С.346-347). Следует заметить, что в то же самое время общественным мнением разных стран горячо дебатировался вопрос об увеличении продолжительности киносеансов ввиду увеличения метража фильмов, обусловленного прогрессом кинотехники и повышением качества кинодемонстрации.

Нельзя не вспомнить и о знаменитой «ленинской пропорции» формирования кинопрограмм для массового зрителя в ее чистом, «авторском» виде²⁵. Директивно предложенная в январе 1922 г., она, по сути дела, реанимировала в обновленном идеологизированном варианте («без похабщины и контрреволюции») давно отмершую структуру кинопоказов начала века, обусловленную в то время слабыми технологическими возможностями «живой фотографии». Мировой зрелищный кинематограф стремительно развивался, успешно осваивая повествовательные формы разных жанров (в этом процессе активно участвовала и предреволюционная русская кинематография), достигал высоких эпических образцов вроде «Нетерпимости», «Наполеона» и «Страстей Жанны Д'Арк», а солдаты советского кино еще в конце 20-х годов бились над созданием «Сборных экспериментальных программ», открывавших, по их убеждению, новые творческие горизонты киноискусства²⁶.

Закономерен вопрос о том, насколько чьи-то, пусть самые авторитетные, но индивидуальные вкусы отражали совокупность групповых и тем более — массовых вкусов? В этом даже самый внимательный исследователь цитировавшейся выше работы «Ленин и кинематограф» позволяет себе совершить незатейливую подмену, выдавая вкусы вождя за некую общую норму. Неприязненное отношение Ленина к игровому кино, по его схеме, «складывалось не только под влиянием идейных мотивов, но и на основе простых человеческих критериев: неправда, элементарное фактическое незнание избранной темы. Этим страдал едва ли не весь тогдашний игровой кинематограф. Экранное зрелище было привычно несоизмеримо с жизненным опытом з р и т е л я (разрядка наша. — Р.Я.), несоизмеримо настолько, что пропасть между сложностью реальной ситуации и простотой кинематографического действия воспринималась как органическое свойство «десятой музыки». Под кино, быть может, и понималось детски наивное воспроизведение жизни в подвижной фотографической форме: упрощение и было условием, правилом кинематографической игры. Однако тут неизбежно возникал вопрос о мере удаления экранной картины от картины жизненной. Мера эта зависела и от фильма и — в соизмеримой степени — от з р и т е л я»²⁷.

²⁵ См.: Самое важное из всех искусств... С.42.

²⁶ «Ленинская пропорция... создает общественно значимое кино, иначе мы можем заниматься только консервированными вопросами: любовью, смертью и вообще вещами несезонными» (Шкловский. Стандартные картины и ленинская пропорция. — Цит. по: Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985. С.58-59).

²⁷ В.Листов. Ук. соч. С.144.

Эти многозначительные, но лишенные каких-либо конкретных подтверждений наблюдения о киноэстетике рубежа 1910-20-х годов оказываются весьма сомнительными при обращении к опыту реального зрителя в заурядном российском кинозале того времени.

Малоизвестен, например, факт перемонтажа обрывков инсценированной хроники начала века, изображавшей бой буров с англичанами. Демонстрация этого фильма в аулах Северного Кавказа в 1918 г. под видом хроникального сюжета, изображавшего бой большевиков с казаками, имела большой успех. Несообразности в одежде и других бытовых деталях никого не смущали и в полной мере снимались комментариями демонстратора, а зрители-горцы «с напряжением вслушивались в... рассказы о действительных недавних боях».

Другие, доступные нам наблюдения за киноаудиторией относятся к началу 20-х гг. и связаны с сельским зрителем Средней России. Свидетельство киномеханика передвижки отражает реакцию зала, совершенно немыслимую в то время в Европе; «...то, что для нас, городских людей, в кинокартине является чем-то таким, на что мы смотрим и не видим, а потому и не реагируем, — в деревне, наоборот, самые первые моменты прохождения по экрану изображений уже вызывает смех и беспричинный восторг... Если по ходу действия на экране, сперва вдали, а затем все ближе к зрителю мчится и насаждает на зрителя поезд, и вот-вот всей громадой готов обрушиться на оторопевших крестьян и раздавить их, последние вскакивают с мест, готовые бежать»²⁸.

Похороны Ленина, как известно, вызвали огромный резонанс по всей России. Попытка использовать это событие в качестве пропагандистского кинорелища, спровоцировала в ряде случаев совершенно неожиданную реакцию крестьянской аудитории. «Крестьянин смотрит на кино, как на отдых, и ждет от него чего-то смешного... Лишь постепенно крестьянский зритель от слабых, кажущихся ему смешными, переходит к их сумме, ассоци-

²⁸ Иной уровень культурного развития зрителя предохранял от подобной панической реакции. Вот как описывает искусственный мемуарист классический сюжет «прибытия поезда»: «В этом сюжете поезд отнюдь не "мчится прямо в зал на зрителей", отчего публика якобы всегда в панике вскакивала со своих мест, боясь попасть под его колеса, как об этом часто повествуют некоторые мемуаристы, а медленно подходит к перрону вокзала, приближаясь в кадре по диагонали справа налево, а отнюдь не "прямо в зал" на зрителей. Так что даже самому слабонервному посетителю не могла прийти в голову мысль, что поезд может сорваться с экрана в зрительный зал и раздавить его» (см. нашу публикацию воспоминаний кинооператора, режиссера и педагога Николая Анощенко: Минувшее. Вып. 10. Париж, 1990. С. 345).

ирует их и вдруг начинает понимать, что экран — нечто большее, всеобъемлющее и более занимательное... Вот почему он смеется во время демонстрации ленинской фильма. Для него она не ленинская фильма, а просто картина, отдельные моменты которой кажутся ему смешными».

«Содержание картины навеяло восторженно-грустное настроение на крестьян. Перед ними Ильич восстал как живой и умер. Некоторые из крестьян не обратили внимания на печальное содержание картины и смеялись от души на ежившихся от мороза лиц, сопровождавших Ильича». Крестьянские дети же «ближе познакомились с великим вождем революции и очень были довольны, что на самом деле Ильич не такой на вид сердитый, каким выглядит на школьном портрете» (из наблюдений в селе Ефремове Московской губернии).

«...вначале все происходившее на экране вызывало в публике гомерический смех... Затем публика снова просила показать им жизнь Ленина и уже не смеялась, а сосредоточенно смотрела. Впечатление было сильное» (деревня Звеньячки Курской губернии)²⁹.

Итак, для Воеводина кинематографический дебют перед делегатами съезда обернулся конфузом, хотя он в глубине души, очевидно, рассчитывал на другой прием своего фильма. Несомненно и то, что предполагавшийся успех Заведующий ВФКО напрямую связывал с другим честолюбивым творческим замыслом, возникновение которого также относится к осени 1921 г. Тогда им была начата работа над сценарием монументальной «агитационно-художественной, историко-революционной кинокартины» "Через преграды — вперед и выше! (Владимир Ильич Ленин)"³⁰. Это был беспримерно смелый для своего времени творческий замысел, если учесть, что в старой России изображение царствующих особ, символизировавших собой национальную, государственную и религиозную святыни, жестко регулировалось цензурой в документальном и безусловно воспрещалось в игровом кино³⁰.

²⁹ Цит. по сб. статей «За кинопередвижку» под ред. А.Кашиграса и М.Веренинко. М., 1924. С.50-51, 78-97.

³⁰ Приоритет Воеводина в этой теме можно считать бесспорным. Один из авторитетных знатоков с долей неуверенности писал в конце 50-х гг.: «И все-таки мне кажется, что изображение на экране ныне здравствующих политических деятелей приобрело принципиальную важность именно с приходом Сталина. Фильмы о Ленине, за редким исключением, появились лишь после его смерти, в то время

Мотивация этого решения представляется достаточно сложной комбинацией политических и личных расчетов. Будь он удачно реализован, фильм о вожде стал бы эффектным актом идеологического завоевания кинематографа и убедительным подтверждением серьезных потенций партийного художественного творчества. Не последнее место занимали и личные амбиции автора, чье имя в случае ожидаемого успеха гарантированно попадало в ряд первых биографов и толкователей «трудов и дней» Ленина со всеми вытекавшими из этого выигрышными последствиями³¹. С уверенностью можно утверждать также и то, что выбор достаточно необычного жанра — кинопьесы — стимулировался вовсе не профессиональными навыками сценариста, а стал своеобразной «служебной» реакцией на кинематографическое событие, значения которого нельзя недооценивать. Необходима была очередная рефлексия на «выпад» классовых оппонентов (здесь уместно указать на то, что практически весь совокупный феномен большевизма как форма мироотношения всегда оттачивался в виде «критик», «отповедей», «разоблачений» и т.п.) в неизбежной агиографической тональности, ибо она касалась самой щепетильной темы, категорически отрицавшей всякую возможность ее дискуссионного обсуждения.

Речь идет об английском фильме «Таинственная страна» («The Land of Mystery»), поставленном в 1920 г. американским режиссером Гарольдом Шоу³². Судя по описанию этой несохранившейся ленты, то была незатейливая мелодрама с элементами триллера, претендовавшая, по словам ее создателей, на то, чтобы воссоздать на экране биографию вождя русской революции и историю зарождения большевизма. Будучи заурядной «клюквой»-однодневкой, возникшей на волне антибольшевистской кампании в странах Антанты в период советско-польской войны (даже в

как Сталин /.../ возникал на экране в исторических лентах отнюдь не хроникально-го типа». — Андре Базен. Миф Сталина в советском кино. (Цит. по: Киноведческие записки. 1988. №1. С.155).

³¹ Подтверждение этому — в бумагах Воеводина. См. неопубликованный мемуарный очерк «Как я работал над сценарием "Владимир Ильич Ленин"». — ЦГАНХ. 160/1/285.

³² Примечательно, что среди советских исследователей, озабоченных поддержанием «сакральности» ленинского образа, факт существования этого фильма никогда не вызывал никакого интереса и считался полуполюгендарным. Обстоятельства, связанные с постановкой фильма, были восстановлены Кевином Браунлоу и приведены в кн. «Behind the Mask of Innocence» (New York. A.Knopf. 1990 — Cape, London, 1991). Пользуемся возможностью выразить свою живейшую благодарность исследователю, познакомившему нас с этими материалами в ноябре 1990 г.

такой ситуации в кинематографической прессе раздавались возражения по поводу показа частной жизни политических фигур современности на экране), фильм был бы вполне заслуженно обречен на забвение, если бы не оригинальный поворот в его прокатной судьбе.

Леонид Красин, занимаясь сложными дипломатическими играми в качестве главы первой советской дипломатической миссии в Лондоне, сумел заполучить каким-то образом копию «Таинственной страны» и привез ее в Москву с исключительным намерением показать самому Ленину. Зная о сложных взаимоотношениях, связывавших этих людей, вряд ли можно поверить в то, что Красиным в этом случае руководило желание лишь позабавить вождя. Скорее, это были более серьезные, но недоступные нам соображения, а возможно — неординарное проявление своей оппозиционности избранному политическому курсу.

Похлопывая по металлическому ящику и улыбаясь своей тонкой улыбкой, Леонид Борисович говорил:

— Буйну голову отдам, а притащу Ильича...

И притащил!

Сеанс был устроен в кино «Метрополь». Владимир Ильич пришел с Надеждой Константиновной. Был он веселый, но чуть настороженный. Видно, по поведению Красина чувствовал какой-то подвох³³.

Единственное, дошедшее до нас мемуарное свидетельство об этом, одном из первых закрытых кремлевских просмотров, довольно близко к оригиналу воспроизводит содержание «дурацкого фильма английского производства» и, что еще важнее — ленинскую реакцию на него. Лишь к середине действия Ленин понял, наконец, чья судьба разворачивалась перед ним на экране. За ним, как и положено, это поняли и остальные зрители, дружным хохотом поддержав ошеломленный, надо думать, смешок Ильича. Архипикантнейшая ситуация, спровоцированная Красиным, вынудила Ленина до конца досмотреть и без того нелюбезное сердцу экранное зрелище, карикатурно трактовавшее не только дело, которому он отдал всю свою жизнь, но и интимные детали его собственной биографии (чего стоил только фабульный стержень —

³³ Е.Драбкина. Архиважнейшее дело.// Самое важное из всех искусств... С.143. Наглядный пример того, как искажаются мемуарные свидетельства, содержится в цитированной книге В.Листова (С.143-144). Опуская неизвестно откуда появившиеся в пересказе очерка Драбкиной второстепенные детали, приведем лишь одну цитату, завершающую этот эпизод: «Подобные попытки поведать миру "биографию" Ленина делались до и после английской экранной бессмыслицы». Никаких подтверждений этому заявлению, однако, автор не приводит.

трагический любовный треугольник: Ленофф — «барышня-крестьянка» Масикова — князь Иван!). Просмотр завершился беседой Ленина с Наркомом просвещения, о содержании которой ничего не известно, кроме едва расслышанной мемуаристкой последней реплики: «...чтоб кино проникло в каждый рабочий поселок, каждую деревню. Это важнейшее... Нет, архиважнейшее дело...» Логично предположить, что эти слова напрямую касались только что увиденного фильма, а скорее всего, завершали директиву о той или иной защитной реакции на кинематографические выдумки. Чрезвычайно болезненная реакция советского руководства на подобные выпады в свой адрес возникла не вчера и общеизвестна. Цитировавшаяся выше мемуаристка, в пору описываемого ею события — ответственная сотрудница ЦК РКП(б), не случайно подкрепляет свою память отсылкой на никому не ведомую рецензию в английской газете. Для нее просмотр, по-видимому, закончился заданием собрать исчерпывающую информацию о фильме.

Мы не располагаем никакими доказательствами того, что Воеводин находился в тот день в одном кинозале с Лениным, либо мог познакомиться с английским фильмом позднее. Но нет ничего фантастичного в предположении, что он слышал о его существовании и даже содержании от Луначарского, либо Болтянского, которые вполне могли направить игру деятельного воеводинского ума в желаемом направлении.

Было бы неверным утверждать, что о рассматриваемом нами творческом замысле Заведующего ВФКО ничего не было известно исследователям. Напротив, о нем достаточно хорошо известно по неоднократным публикациям отрицательных отзывов Крупской и Ленина, которые, якобы, и преградили путь к экрану робкой и неумелой попытке увековечить образ вождя в кино³⁴. Скупого на детали материала, полученного к тому же из «вторых рук», было однако достаточно для того, чтобы воеводинский опус напрочь исчез из поля научного зрения и с течением времени как бы перестал существовать в своем материальном воплощении, превратился в очередной фантом советского киноведения. Знакомство с личным архивом Воеводина не только воскрешает пропавшую, казалось, навсегда работу сценариста, но и убеждает в том, что история с ленинским фильмом была намного сложнее утвердившегося о ней представления. Возвращение этого в высшей степени замечательного кинотекста в научный оборот вносит

³⁴ См.: И.Смирнов. Драгоценные строки.// ИК. 1960. №2. С.15-17; Н.Зайцев. Правда и поэзия ленинского образа. Л., 1967. С.12-13; Г.Долидзе. В.И. Ленин и вопросы кино. Тбилиси, 1980. С.167-170.

новые неожиданные акценты в давно и безнадежно скомпрометированную тему и воскрещает в первородном виде тот сгущенный идеологический экстракт, что в тех или иных концентрациях разлился в советском киноискусстве последующих десятилетий. Воскрешение выпавшего из его истории эпизода позволяет расставить новые вехи в направлениях эстетической эволюции «важнейшего из всех искусств», глубже оценить его фатальную зависимость от государственной идеологии. Вне зависимости от своих творческих потенций и художественных достоинств (их убогость со всей очевидностью открывается даже при беглом прочтении³⁵), сочинение Воеводина заслуживает минимального анализа.

Несомненным достоинством авторской концепции сценария в его первом, «литературном» варианте можно считать то, что отмеченный выше агиографический «регистр» Воеводина при всей своей творческой несостоятельности сумел перевести в русло фольклорной и житийно-летописной традиции. Устойчивый иммунитет к подобного рода текстам у современного читателя закрывает недвусмысленную авторскую ориентацию на уровень массового сознания своего времени (вопрос о сознательности такого выбора остается открытым), едва ли освободившего свои «темные», сакральные области от традиционных представлений. Таким образом, сценарист, находившийся внутри двойного поля притяжения — групповой идеологии и народной ментальности, осуществил «контрабанду» классовых «ценностей», чудесным образом совместив их с фольклорной моделью.

Первая часть сценария в его «литературном» варианте, служащая экспозицией последующему действию, определенно ориентирована на образцы устного народного творчества — присказку, сказочный зачин. Описание народной жизни в старой России, несмотря на употребление некоторых марксистских терминов («капитал процветает, капитал разбухает», «бытие определяет сознание» и т.п.), дано именно в той конструкции и в тех образах, которые характерны для фольклорного сказа. «Уже самая присказка, — утверждает одна из авторитетных исследовательниц вопроса, — настраивает слушателя на особый лад, берет в плен его воображение, переносит его в волшебный сказочный мир, /.../ Цель присказки — /.../ подготовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать ее, подчинить воле рассказчика... Ту же цель — оторвать слушателя от обыденной обстановки,

³⁵ См. нашу публикацию «Киноработа особой важности», включающую тексты сценария и ряд материалов, используемых в данной статье. — Советское кино 20-х годов. М., ВНИИ Киноискусства, 1991 (в печати).

приобщить его к особой ирреальной атмосфере волшебной сказки — преследуют и сказочные зачины...»³⁶

В строгом соответствии с каноном финал киносказки о Ленине открыто вербализует ее связь с фольклорной моделью (ср. финальный титр второго варианта сценария: «Упорно работая здесь [в Кремле. — *Р.Я.*], в тиши легендарной обстановки, великий вождь пролетариата сам превращается постепенно для всего мира в сказку, символ, легенду»)³⁷.

Столь же явно и протупают в воеводинском сочинении родовые черты житийно-летописной традиции. Это открывается прежде всего в отношении автора к своему герою. Его образ, рожденный событиями новейшего времени, зеркально тождествен образцам древнерусской литературы, никогда, по сути, не выпадавшей из круга чтения в своем оригинальном виде, либо в эпигонских и стилизованных формах. При грубом обобщении, оставляя в стороне весьма туманную для автора область кинематографических образов, его сочинение представляет собой еще один дурной образец подражания архаичной традиции, исполненный в экзотической форме — цепь мало связанных между собой событий, опосредованно воскрешающих земной путь героя (71 эпизод — в «литературном» варианте, в «режиссерском» сценарии они были сведены к 10 сценам). Воеводину удалось фактически снять образ человеческой индивидуальности, она замещена именем-маской, творящей священный подвиг самопожертвования на фоне минимального исторического пейзажа. Некоторые речевые конструкции, сохранившие свое значение в обоих вариантах, в обновленной форме воспроизводят стиль иррациональной апологетики житийных героев (ср., например, в «литературном» варианте: «От завода к заводу тысячами протянуты таинственные нити зоркого глаза Ильича: твердой рукой он направляет руль новой истории»³⁸; «Через огонь и бури гражданской войны, смертельно раненый пулей ослепленной безумием, подкупленной лживыми словами женщины [*Ф.Каплан.* — *Р.Я.*], Ленин стремится все вперед и выше к всечеловеческому счастью и свободе»).

Все это дает основания экстраполировать современные оцен-

³⁶ Э.В. Померанцева. Русская устная проза. М., 1985. С.50.

³⁷ Там же. С.51.

³⁸ Рецензентом сценария (Крупской?) на полях была сделана приписка: «Не годится». Почти треть эпизодов представленного Воеводиным сценария были отвергнуты из-за несоответствия фактам или вольной трактовки исторических событий. Многие из них сопровождались рецензентскими пометками «нельзя», «не годится» и вопросительными знаками. См.: ЦГАНХ. 160/1/17/11-19. См. также указанную публикацию в сб. «Советское кино 20-х годов».

ки древнерусской литературы на воеводинский сценарий, полностью подпадающий под этот анализ. Ограничимся лишь одной, но пространной цитатой из исследования крупнейшего знатока этой темы:

...первостепенное значение приобретает даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает автор, эмоциональные характеристики подвига, всегда повышенная, как бы преувеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые факты, зло и добро абсолютизируются, никогда не выступают в каких-либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора — черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. ... Если автор употребляет сравнение, он не заботится о том, чтобы оно могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен внутренний смысл событий, а не внешнее сходство. ... Сходство внешнего облика не интересует автора, интересует сходство действий, смысла этих действий. Зрительный, конкретный образ человека просто отсутствует. /.../ Этот способ характеристики человека чрезвычайно далек нашему художественному сознанию; он целиком объясняется из художественного сознания своего времени: индивидуальность человека абстрактна и неясна, характер человека еще не различается, поэтому сравнивается в человеке не сам человек, а лишь его дело, деяние, поступки, подвиги, — по ним он и судится. /.../ При этом важно выявить значение действия, подчеркнуть его величие, то впечатление, которое они произвели в народе, а не описать его конкретно. Все детали опускаются как несущественные, а само действие оказывается преувеличенным, преувеличен и психологический эффект его. Детали сохраняются только те, которые способствуют этому эффекту. Отсюда обычные в литературе этого времени награждения всяческих ужасов, /.../ различного рода гиперболы³⁹.

В отношениях сценариста и его героя существовал еще один уровень, выходящий за границы рассматриваемого текста, но в какой-то мере восполняющий его конструктивную (и одновременно архаичную!) лаконичность. Это — мемуарные свидетельства Воеводина о своих встречах с Лениным, причем самые ранние из них относятся почти ко времени работы над сценарием и сохраняют непосредственность восприятия без малейшей самоцензуры, столь характерной для позднейших мемуарных текстов. В них можно найти немало черточек и деталей живого, непритуманного Ленина.

Весной 1918 г. Воеводин, в ту пору один из видных большевистских деятелей Западной Сибири, приезжает по служебным

³⁹ Д.С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С.77-79.

делам в Москву и впервые в жизни встречает Ленина. «Я в зале заседаний Совета Народных Комиссаров. Так вот она — святая святых власти рабочих и крестьян, вот где витает и царит дух диктатуры пролетариата! /.../ Впервые в жизни я видел близко, рядом с собой того, за которым шел, невзирая ни на что, в течение 20 лет моей жизни; я видел его живые, насквозь пронизывающие, маленькие, хитрые, но с оттенком добродушия и смешливости глазки, лысину на своеобразной мужицкой голове и слышал голос не то картавящий, не то шепелявящий, но ясный и постепенно захватывающий все внимание слушателя. /.../ наряду со многими Наркомами он выглядел невзрачно — приземистый и очень бедно одетый, но скоро деловитая и смешливая речь тов. Ленина с информацией о положении Республики на границе с Украиной, где в то время нажимали на нас немцы, привлекла все мое внимание, и я с восхищением вслушивался в слова тов. Ленина, в смешливом тоне которого по адресу немцев сквозило то превосходное знание международного положения и уверенный анализ развертывающихся событий, в которых тов. Ленин чувствовал себя, точно рыба в воде»⁴⁰.

В те же дни состоялась первая беседа Воеводина с Лениным. Тема беседы и ленинская реакция на нее небезынтересны:

Рассказал ему один случай, который в ту пору служил большим спором среди наших товарищей в организации. Это вопрос о распродаже водки, которой скопилось на складах в Сибири огромное количество. Этот вопрос обсуждался на Съезде Советов Западной Сибири, но разрешить его в надлежащем виде все же не удалось. Когда в партийных кругах обсуждался этот вопрос, то некоторые (в том числе и я) предлагали распродать водку крестьянам взамен хлеба. Мои предложения среди партийцев поддержали только трое товарищей. Ильич сказал: «Дураки! Какие дураки! Почему же вы этого не сделали? Вы

⁴⁰ Из воспоминаний о Ленине, прочитанных на торжественном вечере, посвященном 50-летию Ленина 23 апреля 1920 г. — ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.17. Л.27-29. Опубликовано в: Пролетарская революция. 1922. №6. Практически полный свод воеводинской мемуаристики, посвященной Ленину, см.: ЦГАНХ. Там же. Ед.хр. 16. Любопытно, что цитируемые визуальные впечатления Воеводина почти совпадают в деталях с образом, оставшимся в памяти другого мемуариста, в отличие от Воеводина, не испытывавшего к человеку, увиденному им тоже в первый раз в жизни, никаких симпатий: «...я увидел стоящего на трибуне Ленина, лысого человека с большой тыквообразной головой, который весьма непринужденно себя держал на трибуне и отвечал на разные, сыпавшиеся на него с мест вопросы и обвинения. Заседание [в зале Таврического дворца в апреле 1917. — Р.Я.] носило довольно бурный характер и колокольчик председателя князя Церетели, несмотря на энергичный звон, мало вносил в него порядка». — Н.Евреинов. Воспоминания. 1916-1920 гг.// ЦГАОР. 5881/2/328/л.22 (собрание Русского Заграничного Исторического Архива, арх. №7866).

же старый большевик. Вы ведаете этой хозяйственной областью. А потом во главе исполкома стоит тоже старый большевик Косарев. Также и другие старые большевики. Почему вы не решились провести это дело?» Затем Ленин говорит: «А нельзя ли бы эту водку и границу продать?» Я сказал, что мы могли бы всю Францию обеспечить спиртом на 15 лет. Потом Ильич спросил: «А вы могли бы этот спирт вывезти границу?» Пошли фантастические предложения вокруг вопроса о продаже спирта границу. Я рассказал, что по реке Оби все это мы не могли перевезти, так как у нас не было наливных баржей и соответствующей тары. А, кроме того, в низовьях Оби надо было все это перегружать на морские пароходы. После размышления В.И. сказал: «Зря вы не продали мужикам. Надо было так постановить. Это необходимо было сделать». Я стал объяснять, что у нас не решились самостоятельно проделать это. Ильич сказал: «Вы бы сделали, а мы бы подтвердили». Я со смехом спрашиваю: «А потом Вы нас судили бы за это?» Ильич засмеялся: «Вот и хорошо. Мы вас судили бы за такое деяние, а вы бы сделали хорошее дело»⁴¹.

Восстанавливая перипетии, сопровождавшие работу над фильмом, задуманным Воеводиным, следует указать, что о ее начале было объявлено задолго до каких-либо реальных событий. Еще в конце ноября 1921 г., еще в период работы над съемками фильма «В вихре революции», в кинопрессе появилось следующее сообщение:

Кинофильма — из жизни В.И. Ленина.

Заведующим Всерос[сийским] Кино-Отделом т. Воеводиным к четырехлетней годовщине Октябрьской Революции написан сценарий к агитационно-исторической кино-картине «За власть рабочих и крестьян». В картине целый ряд моментов из жизни В.И. Ленина, начиная с момента казни брата Владимира Ильича за покушение на царя Александра II и кончая периодом Брестского мира.

Сценарий дает чрезвычайно богатый материал, не только обрисовывающий и показывающий Ленина в натуре в разные периоды его жизни, но и жизнь коммунистической партии.

К постановке картины будет преступлено, как только В.И. Ленин сможет уделить время для натурных съемок.⁴²

Располагая в отличие от первых читателей этой заметки более достоверной информацией, мы можем совершенно определенно утверждать, что она носила рекламно-сослагательный харак-

⁴¹ Из выступлений на вечере старых большевиков 7 февраля 1924 г., посвященном памяти Ленина. — ЦГАНХ. Там же. Л.53-54. Эту примечательную особенность ленинской политической тактики с восхищением отмечали и другие мемуаристы. См., например: Гордиенко М. В ночь на 1918-й. // Огонек. 1957. №1. С.3.

⁴² Экран. 1921. 22-24 ноября. №9. С.10.

тер, воспринятый от стиля кинопрессы предшествующей эпохи. Ничего, кроме черного названия и общей схемы будущего сценария у автора, скорее всего, к тому времени не существовало. Оставив впоследствии воспоминания о своей работе над сценарием, Воеводин, вероятно, не случайно опустил подробности и датировку возникновения своего замысла. Впрочем, то, что герой будущего фильма знал о нем еще до публичного оповещения, — более чем вероятно, и, как мы предполагаем, ожидал его со дня памятного просмотра в зале кинотеатра «Модерн».

Обратимся, однако, к версии, оставленной сценаристом.

Неоднократно встречая Владимира Ильича на различных съездах и слушая его выступления, я видел, какой магической всепокоряющей силой увлечения людей обладал Владимир Ильич. Неоднократно в те годы переживая лично могущественное воспитательное воздействие Владимира Ильича на меня самого⁴³, я поставил себе задачей дать в кинематографическом отображении всестороннюю биографию Ильича. /.../ Опубликованных материалов о личной жизни Владимира Ильича совсем не было. Рассказов в печати о нем в ту пору лично встречавшихся с Ильичем тоже не было. Оставались только собственные впечатления от встреч, бесед и от наблюдений. Одна-две моих попытки говорить с Владимиром Ильичем о моем желании писать его личную биографию ничего мне не дали. Ильич на мои вопросы биографического характера... очень деликатно и серьезно заметил: «Рано еще об этом писать, а что касается истории, то важнее ее нам делать, чем писать о ней».

Даже на мой вопрос, как-то вскользь заданный Владимиру Ильичу о происхождении его имени «Ленин», Ильич ничего не сказал, очень тонко и деловито отвлекал мое внимание... на другие темы⁴⁴. /.../ От бесед с Надеждой Константиновной на эту тему мне тоже не удалось получить необходимых для моей работы сведений⁴⁵.

Оставляя за скобками неподтвержденное стремление сценариста к авторскому приоритету, согласимся с ним в том, что людей, знакомых с деталями личной биографии Ленина в то время было чрезвычайно немного. Сам Ильич вообще не склонен был распространяться об этом посторонним и это объяснялось не столько конспиративным рефлексом революционера, сколько особенностями характера. Даже для ближайшего окружения эта тема всегда была табуированной. Биография вождя изначально долж-

⁴³ «Месмерический эффект верховной власти» Ленина на окружающих отмечают и его зарубежные биографы. См., например: Л.Фишер. Жизнь Ленина. Лондон, 1970. С.644.

⁴⁴ Схожую историю рассказывает Н.Валентинов, см. его Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1954. С.79.

⁴⁵ ЦГАНХ. 160/1/17/103 обор.

на была совершенно идентифицироваться с историей созданной и руководимой им политической организации. По свидетельству Н.Валентинова (Н.В. Вольского), он предпринял аналогичную попытку еще в 1904 г., когда, эмигрировав в Швейцарию, вошел на короткое время в узкий круг конфидентов Ленина.

Кроме того, что Ленин был в ссылке, а перед этим жил в Петербурге, у меня не было никаких сведений о его прошлой жизни. Полагая, что он об этом знает, я обратился к П.Н. Лепешинскому. /.../ он обожал Ленина почти так, как сентиментальные институтки «обожают» некоторых своих учителей. У него была не только уверенность в полной победе Ленина над меньшевиками, было еще предчувствие какой-то особой, великой судьбы, ожидающей Ленина.

— Ильич, — таинственно сказал он мне однажды, — нам всем покажет, кто он. Погодите, погодите, — придет день. Все тогда увидят, какой он большой, очень большой человек.

Узнав, что меня интересует прошлая жизнь Ленина, Лепешинский вытянулся во весь рост, наставительно поднял над головою палец и учительским тоном, в упор глядя на меня белесоватыми глазами, сообщил:

— Запомните, хорошенько запомните на всю жизнь: Ленин родился в 1870 г. в Симбирске. Окончив гимназию, стал студентом Университета в Казани, откуда был исключен за революционное поведение. Жил потом в Самаре, потом переехал в Петербург, где обнаружили его великие политические таланты и где появились его первые блестящие произведения. Он сидел в Петербурге в тюрьме, был сослан в Сибирь, в Минусинский район. Там, тоже находясь в ссылке, живя от него на расстоянии 30 верст, я имел счастье и честь познакомиться с Ильичем.

Первая же попытка личных расспросов окончилась тем, что

Ленин как-то странно, искоса, посмотрел на меня и, может быть, это мне почудилось, пожал плечами. И ничего не ответил. Вышло, как будто я развязно залезаю в «уголок», куда Ленин никого не пускает, пристаю к нему с вопросами, отвечать на которые, откровенничать, говорить о себе он не испытывает никакого желания⁴⁶.

Ничего не добившись от первоисточника, но, впрочем, и не получив запрета на дальнейшие поиски информации, сценарист обратился к более доступным источникам и в первую очередь к консультациям Михаила Ольминского, заведовавшего Истпартом⁴⁷. В своих воспоминаниях Воеводин сетует на отсутствие печатных материалов о биографии Ленина, которые могли бы помочь в работе, но в этой жалобе больше неутоленных приори-

⁴⁶ Н.Валентинов. Ук. соч. С.79-80.

⁴⁷ ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.294. Л.274.

тетных амбиций, чем правды. К тому времени по России разошлись в сотнях тысяч экземпляров биографические очерки, статьи и брошюры, посвященные Ленину, и в них практически был сформирован образ вождя партии и революции, типологически довольно близкий тому, что сложился в воображении сценариста. Современными биографами Ленина установлены «приливные волны» в массовой популяризации его фигуры, начиная еще с мая 1917 г.⁴⁸. Однако и десять лет спустя, когда не иссякло еще поколение революционной эпохи, в общем сознании совершенно отсутствовала человеческая индивидуальность Ленина, замененная чем-то вроде размытой, но густо заретушированной фотографией на стене. Как бы пытаясь разглядеть на ней черточки живого человека, один из ведущих «барабанщиков эпохи» Михаил Кольцов, сам многократно воочию наблюдавший вождя, добавлял еще один слой искажения портрета. Суммируя «человеческое в Ленине», он писал:

Мы знаем:

1. Любит детей.
2. И кошек.
3. Часто смеется.
4. Скромен в одежде и в образе жизни.
5. Хороший шахматист.
6. Любит кататься на велосипеде.

Это почти все. Еще немного, но не много узнаем о нем. ... Как это странно... Так ценим, так любим — и так мало знаем лично. У нас есть уже и институт Ленина, собирающий всякую бумажку с его пометкой, а сам Ленин нам до сих пор полностью незнаком и непонятен.

От Наполеона, Кромвеля, Гарибальди остались портреты, анекдоты, запыленные перчатки под стеклом музеев. После Ленина останутся великие исторические сдвиги /.../ оттого, что гений Ленина насквозь утилитарен, глубоко сращен с его партией, классом и эпохой. /.../ Потому-то так странен, защитно-одноцветен его облик, потому-то прирос он к рабочему классу...

⁴⁸ См. статью Ольминского «О т. Ленине» в газ. «Социал-Демократ» от 26.05.1917. Подробнее об этом см.: Nina Tumarkin. «Lenin Lives!» Harvard University Press, Cambridge — London, 1983, ch.3; «Lenin in the Bolshevik Myth», pp.64-111. List of publications see: pp.278-281; idem «The Myth of Lenin during the Civil War» in: «Bolshevik Culture» Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 1989, pp.77-92. В качестве типичного образчика приводим фразу, открывающую ленинскую биографию: «Природа счастливейшим для революции образом воплотила в лице т.Ленина и революционера-ученого и революционера-практика» (В.И. Ульянов /Ленин/. К 50-летию со дня рождения. Казань, 1920. С.3). В заключение укажем, что в воеводинском архиве сохранилось небольшое собрание печатных источников тех лет, использовавшихся им, вероятно, в процессе работы над сценарием. (ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.48).

И потому в Ленине, первом из будущих, мы не можем и не должны [разрядка моя. — Р.Я.] искать мелких личных признаков, жестов и фраз...⁴⁹

К началу февраля 1922 г. Воеводин закончил работу над сценарием, обсудил его с консультантом и кинематографистами-профессионалами. По некоторым данным, в то время была уже начата работа по подбору хроникального материала⁵⁰. Оставалось последнее и самое главное — заручиться одобрением героя фильма и — при благоприятном стечении обстоятельств — получить его согласие на объявленное участие в съемках. 4 февраля Воеводин направляет на имя Председателя Совнаркома два экземпляра своего сценария и сопровождает свое сочинение следующим письмом, которое мы воспроизводим здесь почти целиком (хотя оно уже и появлялось в печати):

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Считаю себя обязанным и чрезвычайно важным для дела представить на Вашу санкцию написанный мною сценарий для агитационно-художественной, историко-революционной кинокартины «Владимир Ильич Ленин».

Сценарий этот утверждён в части художественной и технической Художественным Советом при ВФКО из авторитетных специалистов (режиссеров, художников и литераторов). Что же касается чисто идеологической интерпретации и политической выдержанности, то здесь я руководствовался исключительно моим политическим чутьем и опытом и могу дать для постановки мой сценарий, получивши от Вас заключение и согласие.

Помимо авторского самолюбия (это первая в этой области вообще и в особенности первая попытка художественного отображения рабочего движения в России за последние сорок лет при Вашем непосредственном участии и под Вашим руководством), помимо моей материальной заинтересованности (фильма может быть продана и в другие страны), для меня в данном случае имеет первостепенное значение правильное понимание мною исторического процесса и правильное толкование роли и личности вождя пролетариата в момент борьбы нашей с классовыми врагами.

Ваше мнение и заключение относительно моей работы, Ваше согласие на принятие от меня, как одного из учеников Ваших, идущего за Вами с раннего детства вот уже больше двадцати лет, моего Вам посвящения, имеет для меня значение не только строгой товари-

⁴⁹ Цит. по: М.Кольцов. Октябрь. М., 1927. С.52-53.

⁵⁰ Григорий Болтянский мимоходом оставил собственную версию описываемых нами событий: «Работа по подбору негативов, где заснят В.И. Ленин, начата мною с тов. Свиловой по поручению П.И. Воеводина еще в 1921 г. в связи с предложенным мною сценарием о В.И. Ленине». (Г.Болтянский. Ук. соч. С.76).

шеской критики, но и подтверждения необходимости приступить к той работе, какую я веду сейчас по истории нашей партии для Истпарта.

Прошу Вас, Владимир Ильич, простить меня за беспокойство и черкнуть несколько слов о представляемой Вам работе рабочего-самоучки-литератора, желающего и в этой области принести пользу нашему общему пролетарскому делу.

Искренне уважающий Вас Петр Воеводин. /.../

Просил бы очень поспособствовать перед т. Чичериным и Литвиновым о командировке на конференцию в Генуе опытного и надежного кинооператора от Всерос[сийского] Фото-киноотдела т. Тиссэ, что очень важно для нашей истории. /.../⁵¹

Отправляя свое сочинение на отзыв, сценарист, очевидно, был почти уверен в благожелательном ответе, так как, не дожидаясь ленинского отзыва, либо посчитав недельное молчание знаком одобрения, 11 февраля заключил договор с товариществом «Кинотруд» на сценарий и съемки по нему фильма «Через преграды — вперед и выше». Авторский гонорар был определен суммой в 1000 рублей золотом, причем оговорено было и право на авторские отчисления с каждой прокатной копии (для России их минимальное число определялось тиражом в 10 копий)⁵².

Тем временем подоспели задержавшиеся было отзывы. По семейной договоренности это было сделано Крупской, в чьем служебном подчинении, как главы Главполитпросвета, находился заведующий ВФКО. Ее отзыв свелся к следующему:

Автор инсценировки хочет отобразить чуть не всю революцию. Выброс фактов часто случаен. Многие биографические подробности неверны.

Постановка чрезвычайно сложная, требующая массы участников, будет стоить бешеных денег, исполнение будет скверное и будет напоминать плохой лубок. Наша кинематографическая техника очень плоха и отобразить то, чего хочет автор, не сможет. Пьеса вряд ли приемлема.

Н. Крупская.

18 февраля Ленин сделал приписку к этому тексту: «Отклонить все на основании сего отзыва» — и передал для исполнения секретарю Фотиевой⁵³. В тот же день Воеводину возвращается

⁵¹ Цит. по машинописной копии, незначительно отличающейся от варианта, опубликованного в сб.: Самое важное из всех искусств... С. 100-101. См.: ЦГАНХ. Там же. Ед. хр. 10. Л. 1.

⁵² Там же. Ед. хр. 18. Л. 3.

⁵³ В архиве Воеводина сохранилась машинописная копия этого текста — см. ЦГАНХ. Там же. Ед. хр. 10. Л. 2. Цит. по: Самое важное из всех искусств... С. 44.

один из посланных им экземпляров сценария с пометками и замечаниями Крупской (?) вместе с сопроводительным письмом из секретариата Председателя Совнаркома:

Тов. Воеводин.

По поручению В.И. Ленина, в ответ на Ваше письмо сообщаю следующее:

Постановка Вашей кинокартины чрезвычайно сложна, требует массы участников и громадных расходов, исполнение будет неудовлетворительно, т.к. наша кинематографическая техника очень плоха, факты, изображаемые Вами, частью неверны, частью не должны приводиться в пьесе.

На основании этого Владимир Ильич считает нужным Ваше предложение о постановке Вашей пьесы отклонить⁵⁴.

На этом обрывается известная часть истории первого фильма о Ленине, но она, как мы увидим, имела свое продолжение, отбрасывая тень в самых неожиданных направлениях. Можно представить, что ответ, полученный Воеводиным, был для него неожиданным и совершенно обескураживающим. Распоряжение «отклонить» подготовленную им работу пришло тогда, когда он уже был связан договорными обязательствами со студией. По горячим следам переписки Воеводин, несомненно, искал встречи с Лениным для личных объяснений. Впоследствии он вспоминал, что встреча в конце концов состоялась, и привел устный отзыв своего собеседника: «Да, это, может быть, и нужно — сделать такую кинокартину, но это еще рано. Рано давать такой материал, учитывая наше теперешнее международное положение».

«Провожая меня из кабинета, как бы в утешение мне, Ильич добавил: "Не огорчайтесь. Будет еще время поставить такую картину. Сейчас же рано, слишком рано!"»⁵⁵

Безрезультатно окончилась для Воеводина и встреча с Крупской:

/.../ я еще пытался убедить Надежду Константиновну в том, что несмотря на все имевшиеся у ВФКО трудности, мы все же должны поставить такой фильм, и я рассказал о том энтузиазме, с которым все мои сотрудники мечтали ставить кинокартину о жизни и деятельности В.И. Ленина... Надежда Константиновна сочувственно сказала: «Я верю вам, верю, что вы со своими киношниками сделаете такую кинокартину, но раз Ильич сказал что рано делать такую кинокартину, то все мы должны с этим считаться. Надо понимать, что Владимир Ильич не по капризу его отклоняет, а только исходя из ин-

⁵⁴ Этот документ в архиве Воеводина отсутствует. Цит. по Ук. соч. С.84.

⁵⁵ ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.41. Л.7.

тересов общего положения нашего государства. Не сокрушайтесь... У вас и так много всяческой работы в вашем ВФКО». /.../

Я рассказал Надежде Константиновне и о том, что в порядке постановки фильма мои сотрудники уже делали за съемки на 3-й кинофабрике в Москве отдельных эпизодов по сценарию, куда приглашались некоторые старые партийцы, которым по ходу сюжета картины надлежало участвовать в кинокартине «Владимир Ильич Ленин» [так в тексте. — *Р.Я.*]. /.../ Так или иначе, а нам пришлось примириться с таким положением и свернуть уже начатые различные подготовительные работы⁵⁶.

Таким образом, настойчивость сценариста была вознаграждена совершенно обескураживающим для него образом: эстетические мотивы отклонения сценария, за которыми поначалу охотно укрылся Ленин, были своеобразной ширмой, скрывавшей глубоко политические расчеты. Почему же на исходе зимы 1922 года герой фильма отказался от участия в нем, несмотря на предварительное согласие, данное осенью предыдущего года? Можно ли свести причины этого решения лишь к несогласию с концепцией воеводинского сочинения или апологетической трактовкой новейшей российской истории? Мы полагаем, что подобный ответ содержал бы лишь часть истины. Причины лежали гораздо глубже, нежели те или иные достоинства и недостатки сценария как некоей попытки художественного текста. В конце концов его автор не только ждал, но и сам искал любых указаний к исправлению своего замысла, лишь бы он попал на экран. Настойчивость Воеводина в продвижении своего сценария могла вызвать раздражение Ленина, поскольку в какой-то мере нарушала планы большой внутри- и внешнеполитической игры, задуманной именно в то время.

С одной стороны, советская власть отпустила экономические вожжи — в стране разворачивался НЭП. Был сделан ряд своеобразных политических авансов: неконституционная ВЧК была заменена на внешне подзаконное ГПУ, восстанавливалось некое подобие свободы общественных союзов, независимой печати и т.п. Помимо своего утилитарного значения все эти шаги имели целью вызвать и внешний эффект. Именно в это время началась

⁵⁶ ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.41. Л.8. К этому стоит добавить, что фото и кино съемки Ленина с Христенсенем в октябре 1921 г., осуществленные оператором Левицким, были организованы Воеводиным в явном расчете на включение в будущий фильм. Можно предположить, что во время аудиенции Воеводин, присутствовавший на встрече, получил предварительное устное согласие на участие в съемках задуманного фильма. См. об этом: А.Левицкий. Рассказы о кинематографе. М., 1964. С.237-241.

активная борьба за дипломатическое признание советской России, предстояла международная конференция в Генуе, был назначен примирительный конгресс трех Интернационалов в Берлине...⁵⁷

Но в то же время внутри страны готовилась первая в мирное время основательная чистка нелояльных элементов. В те месяцы решалась судьба большой группы профессоров, врачей, агрономов, литераторов и общественных деятелей, в скором времени высланных за границу⁵⁸. Уже было принято решение о начале судебных и внесудебных преследований остатков небольшевистских социалистических партий социалистов-революционеров и меньшевиков.

Планируя новую волну политического террора, Ленин (а он, несомненно, был одним из ее инициаторов) вполне отдавал себе отчет в неизбежной негативной международной реакции, но был полон решимости выиграть на всех фронтах. Появление кино-сказки о русской революции и ее единоличном вожде могло быть воспринято как желание утвердиться на костях своих политических оппонентов в международном общественном мнении и тем или иным образом отрицательно повлиять на заранее просчитанный, но весьма зыбкий баланс сил. (Мы уже знаем, что фильм заведомо предназначался к продаже за рубеж).

В те же дни состоялась знаменитая впоследствии беседа Ленина с Луначарским о перспективах развития кинодела. В избранном контексте представляется, что запомнившееся наркому пожелание о производстве «новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники» и «что время производства таких фильм, может быть, еще не пришло», — впрямую было связано с большой политической игрой вообще и с воеводинским сценарием, в частности. Столь же возможно, что в этой беседе Ленин выразил свое раздражение настойчивостью заведующего ВФКО. Не были ли сетования Луначарского на «отсутствие руководителей этого дела или, вернее сказать, руководителей-коммунистов, на которых можно было бы вполне положиться»⁵⁹, ответом на недовольство вождя?

⁵⁷ См, напр.: Л.Флейшман. Из переписки Максима Горького. // Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.Раевская-Хьюз. Русский Берлин. 1921-1923. По материалам архива Б.Николаевского в Гуверовском Институте. Париж, 1983. С.339-358.

⁵⁸ М.Геллер. Первое предупреждение — удар хлыстом. // (Републикация). Вопросы философии. 1990. №9.

⁵⁹ А.В. Луначарский. Беседа с В.И. Лениным о кино. // Самое важное из всех искусств... С.163-164. Уже 1 марта Совнарком запрашивал «кто в НКПресе будет ведать киноделом; Воеводин или кто другой?» (там же. С.88).

Мы полагаем также и то, что Воеводин тогда же был посвящен наркомом в содержание беседы, по крайней мере, в части ленинских пожеланий о приоритетных направлениях развития советской кинематографии. Очевидно, они были восприняты им как руководство к действию и как возможность должностной реабилитации. Активизации этих усилий способствовал и неожиданный фактор, задержавший исполнение задуманных политических планов, но ускоривший творческую мысль сценариста.

В начале марта 1922 г. Ленина настиг первый приступ болезни, оказавшейся для него смертельной. Степень ее серьезности была еще неизвестна даже специалистам, но уже внушила определенные опасения близкому окружению. Факт болезни не был тогда широко обнародован, но, надо думать, получил более или менее широкую огласку в высших партийных сферах, дойдя каким-то образом и до Воеводина. Совокупность всех этих обстоятельств заставила его с новой энергией броситься на реализацию дорогого сердцу замысла. Недавнее отклонение его Лениным в новой ситуации теряло смысл, поскольку фильм о вожде при известном стечении обстоятельств мог сразу же войти в обиход пропагандистской машины и наилучшим образом выполнить свое назначение. В другой ситуации возможный гнев Ленина по поводу нарушения запрета снимался бы наполеоновским принципом, не случайно запавшим в сознание верного его ученика: «Мы вас судили бы за такое дело, а вы бы сделали хорошее дело».

Дальнейшая хронологическая канва событий вокруг сценария не поддается детальной реконструкции. Сегодня очевидно лишь то, что ленинское предпочтение кинохроники в ущерб другим видам и жанрам искусства экрана сыграло решающее значение при переделке воеводинского сочинения. Поступившись авторским самолюбием, заведующий ВФКО уступил главное место профессионалу — Григорию Болтянскому, большому знатоку и собирателю кинолетописи революции. Второй вариант сценария является, по существу, монтажным листом будущего фильма, а участие в нем Воеводина сводится к роли автора политически выдержанных титров, во много повторяющих пафос первоначального варианта. Но при этом изменились его концептуальные контуры. В сохранившейся «Пояснительной записке к смете», составленной тем же Болтянским, отмечено: «Полагаю, что всего предстоит 8 хроник по 300-450 метров каждая, а именно: 1) Ленин, 2) Троцкий, 3) Калинин, 4) Зиновьев, 5) Луначарский, 6-7-8) 3 сборные разные, всего около 3000 метров...» Общая сумма финансовых затрат на каждый выпуск, учитывая сценарную, режиссерскую,

монтажную и досъемочную работы, а также стоимость негативной пленки определялась в 162 рубля золотом⁶⁰.

Тем же Болтянским был подготовлен доклад для заведующего ВФКО, перечисляющий все виды подготовительной работы по фильму о Ленине:

Выполненная работа.

- БОЛТЯНСКИЙ**
- 1) Просмотр подобранного позитива.
 - 2) Просмотр на свет и отбор для печати всех негативов с тов. Лениным.
 - 3) Составление плана сценария с тов. Лениным.
 - 4) Составление списков негативов и позитивов по задуманной теме сценария (3 части)⁶¹.
- СВИЛОВА**
- 1) Разыскание всех позитивов, относящихся к работе с тов. Лениным.
 - 2) Подбор всех негативов для отбора кусков и просмотр их (с тов. Лениным).
 - 3) Подбор всех старых негативов «Кино-недели» (октябрьского периода) и «Свободной России» (февральский период).
 - 4) Разыскание всех позитивов, связанных с картиной (откуда необходимы будут вырезки).
 - 5) Сдача заказа на печатание негативов в лабораторию⁶²

В воеводинском архиве сохранились и другие документы, отражающие дальнейшее движение замысла. Судя по «Справке» Болтянского, явно подгоняемого своим шефом, —

остается исполнить:

- 1) Сдать печатать в лабораторию.
- 2) Смонтировать позитив в цельную картину.
- 3) Составить монтажный лист. /.../

Предстоит сделать по сценарию:

- 1) Ленин в эмигрантской обстановке. /.../
- 2) Заседание Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров. /.../
- 3) а) под председательством Ленина
б) речь Ленина
- 4) Захват земель крестьянами, фабрик и заводов рабочими
- 5) Заседание по Брестскому миру (с фотографии). /.../
- 6) К Генуэзской конференции (с фотографии). /.../

⁶⁰ ЦГАНХ. 160/1/17/9.

⁶¹ В ходе исправлений сценарий был сокращен до двух частей.

⁶² ЦГАНХ. Там же. Л.7.

- 7) X партийный съезд. Выступление Ленина (с фотографии). /.../
- 8) Ленин в деревне Волоколамского уезда (с фотографии). /.../
- 9) Кремль (общий вид снаружи и внутри с церквями и Васил[ием] Блажен[ным]).
Звон Кремлевских колоколов (крупно).
Здание ВЦИК и движение вокруг него. /.../

Судя по тщательному подсчету метража негативной и позитивной пленки, на момент составления справки у создателей фильма имелось в наличии 255 метров позитива с ленинскими кадрами, собранными Свиловой. В соответствии с вышеприведенным списком предстояло доснять еще 65 метров (на складе ВФКО в наличии имелось всего 49 метров негатива). Рукой Болтянского в справке было приписано предложение о возможных вырезках ленинских кадров из уже существовавших фильмов и вклейке их в готовящийся фильм⁶³. В конце концов было решено совершенно отказаться от досъемок и ограничиться исключительно перемонтажом существовавшего киноматериала, который брал на себя сам Болтянский⁶⁴.

На этот раз история фильма о Ленине действительно теряет документированную нить, однако, у нас есть все основания предположить, что в таком, весьма трансформированном виде он все же вышел к зрителю в апреле 1922 года под шапкой специального номера «Госкинокалендаря». Таким образом, эта работа впервые пересекается с творческой практикой Вертова и Свиловой, а затем накрепко и надолго связывает их деятельность в кино, о чем, впрочем, достаточно хорошо известно.

Для Болтянского эта работа стала началом целенаправленных многолетних поисков ленинской кинохроники, впервые обобщенных в книге «Ленин и кино».

Что же касается Воеводина, то его вскоре все же постигли «оргвыводы» вышестоящих инстанций, навсегда устранившие его из кинопроизводства. Некоторое время он пытался вернуться в кино, интриговал против нового руководства киноведомства⁶⁵, предлагал свои новые сценарные опусы киностудиям, но — без-

⁶³ ЦГАНХ. Там же. Л.8.

⁶⁴ Там же. Л.6.

⁶⁵ См. жалобу Воеводина Главному Инженеру Губернской управы о незаконности переделок в особняке Госкино (Малый Гнездиновский, 7), предпринятых его новыми руководителями в 1925 г. Историко-Архитектурный архив г.Москвы, Тверская часть. Д. №202.

результатно⁶⁶. Однажды он еще раз попытался вернуть общее внимание к своему замыслу в его первоначальной игровой форме. Как чуткий к идеологическим новациям партиец, Воеводин нашел новое жанровое обоснование:

Теперь американизм... должен дать дорогу новому трюку.

Трюку русскому.

Русскому, конечно, не в национальном, а в классовом смысле. Теперь Россия становится воплощением одного класса. Класса трудящихся.

Наш русский трюк, трюк великой русской революции, сменит трюк американский.

Наш трюк будет сильнее, чем американский. Интереснее. Глубже. Обоснованнее. /.../

Каждый момент нашей великой революции бросает нам подобные трюки...

Пример: история Великого Вождя...

Бедный студент на берегу Волги.

Погруженный в книги безвестный эмигрант на берегу Женевского озера.

Немецкий «шпион» в запломбированном вагоне.

Ненависть и страх сотен буржуазных душ и надежда миллионов пролетариев — в особняке балерины, любовницы царя.

Рабочий сестрорецкого завода. /.../ И, наконец, опора, надежда пролетариев и разум всемирного пролетариата в Красном Кремле, бывшей колыбели русских царей.

Таков наш русский «трюк»...

Не такова ли, не похожа ли на эту смену моментов сценария и жизнь большинства наших партийцев...

Наша всемирная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть двух классов, захвативших оба полушария — дает нам неисчислимое количество захватывающих и глубоких по замыслу и огромных по агит-значению моментов-трюков.

Эти трюки на экране и есть наш Пинкертон. Наш Красный Пинкертон⁶⁷.

⁶⁶ К 1925 г. относится еще один сценарий Воеводина «Салават Юлаев», предлагавшийся им поочередно киностудиям Москвы и Ленинграда. Он также остался нерализованным.

⁶⁷ Иваныч «О Красном Пинкертоне» // Кино. Двухнедельник Общества кинодеятелей. 1923. №5(9). С.7-8. Эта статья предваряла публикацию отрывка из сценария Асеева «Чем это кончится», воплощенного Кулешовым в фильме «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924). Стиль статьи и ее знакомый пафос позволяют «заподозрить» в авторстве Воеводина, решившего предложить свой замысел в новой упаковке — в духе предложенного Бухариным выморочного «революционного детектива». Об этой жанровой доминанте, возникшей в первой половине 1920-х годов в советском искусстве, см. нашу статью «К истории одной киноутопии» — Киносценарий. 1989. №5. С.157.

Дальнейшая судьба Воеводина, сложившаяся вне кинематографа, не лишена интереса. После вынужденного ухода из ВФКО он был переброшен на новый участок — электротехнику: редактировал специальные журналы по этой специальности, работал в Амторге. Вернувшись из Америки, перешел в новую сферу — ответственного чиновника в системе архивных и музейных учреждений. Воеводин благополучно пережил «большой террор» и в 1940 г. был отправлен на почетную пенсию. Литературный зуд, однажды настигший его, не оставлял до конца жизни. В своем архиве он оставил в той или иной степени завершенности ряд пьес, рассказы, либретто балета и объемистые дневники, в которых описания пайковых обедов барвихинского санатория и кремлевской столовой перемежаются воспоминаниями, сплетнями своего окружения и тому подобными записями⁶⁸.

Начиная со второй половины 1950-х годов он активно включается в поощряемую сверху мемуарную кампанию уцелевших бойцов «ленинской гвардии». Среди прочего он публикует свои отредактированные воспоминания о работе в кино. Мирная почетная старость с неперемненными пионерскими сборами и выступлениями перед молодежью была неожиданно круто изменена в своем течении. Судьбе было угодно еще раз вознести неутомимого солдата партии на вершины партийно-государственной власти. В декабре 1963 г., после очередного «исторического» пленума ЦК КПСС, обсуждавшего перспективы «дальнейшего подъема» сельского хозяйства, была созвана московская городская партийная конференция. Основной доклад был сделал самим Хрущевым, выдвинувшим откорректированную формулу: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация плюс химизация народного хозяйства».

В последовавших за докладом прениях по давно установленному ритуалу выступали представители разных общественных страт. Почетная миссия поприветствовать «интересное начинание» от имени старых большевиков выпала Воеводину. Он сделал это с неподражаемым блеском, неожиданно припомнив ленин-

⁶⁸ ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.284, 285 и др. Ленинский образ несомненно преследовал Воеводина многие годы. В 1942 г., во время эвакуации в Куйбышеве, он брасывает либретто симфонии «Ленин», избрав автором будущей музыки композитора Глиэра. Сохранился начальный набросок текста, призванного возбудить творческую фантазию композитора: «1. Детство. 2. Отрочество (В гимназии... Детское жужжание в коридорах утихает сразу после резкого школьного колокольчика. В могильной тишине замерших классов раздается мелодия «Царю Небесный» и «Боже, Царя храни»). 3. Над Волгой (тихие всплески воды у берегов и в включенных лодок (?)...» и т.п. — ЦГАНХ. 160/1/228/13-15.

ский интерес к проблемам химизации. Успех его выступления в президиуме конференции был столь потрясающим, что вскоре, в начале следующего года, Воеводин был удостоен звания Героя Социалистического труда. Мотивировки этого награждения были самыми велеречивыми, но в них было опущено главное — выше всех заслуг ветерана Хрущеву была дорога его вовремя пробудившаяся незаурядная память.

В воеводинском архиве сохранился еще один документ, свидетельствующий о том, что неудача, постигшая его в связи с ленинским фильмом, долгие годы оставалась незаживающей раной в сознании бывшего руководителя советской кинематографии. В начале 1939 года, когда миф вождя был очищен от ненужных деталей и частностей, полностью утвердившись во всем своем величии в народном сознании, Воеводин решил напомнить о своем первородстве и обратить внимание партийного руководства на свой давний труд. Его письмо в ЦК ВКП(б) представляет интерес не только с точки зрения обновленной аргументации, в нем полностью звучат еле уловимые в прошлом политические мотивы.

...относительно сценария я имел возможность и лично с Владимиром Ильичем, который, не возражая по существу создания такого фильма, высказал соображения о том, что с точки зрения нашей текущей борьбы как внутри страны, так особенно в международном отношении, с многих сторон нашей большевистской деятельности еще несвоевременно говорить с полной откровенностью даже в художественном произведении или в кинематографической картине. /.../ Само собой, что после слов, сказанных мне Ильичем, я не счел себя вправе приступить к реализации моего сценария и, кроме М.С. Ольминского, я никому моей работы не показывал.

По мысли автора письма, время для обнародования картин из жизни вождя революции наконец наступило и он брался освежить свой замысел в новой редакции⁶⁹.

Ответа на свое предложение он так и не получил, его показания очевидца и участника революционной истории стали к тому времени излишней детализацией. Миф вождя был полностью сформирован другими мастерами, с гордостью заявлявшими о том, что «созданием фильмов о Великой Октябрьской социалистической революции и ее вождях советская кинематография ответила на самые глубокие запросы советских зрителей и доказала идейно-творческую зрелость своих мастеров»⁷⁰. Так основоположник темы навсегда остался на ее обочине.

⁶⁹ ЦГАНХ. Там же. Ед.хр.294. Л.274-276.

⁷⁰ Цит. по: Образы Ленина и Сталина в кино. М., 1939. С.3.

ДНЕВНИКИ
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
МАРГИНАЛИИ

Михаил Кузмин
ДНЕВНИК 1921 ГОДА

Публикация Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина

Дневник Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) — один из наиболее интригующих исследователей документов, относящихся к первой половине двадцатого века. Задолго до того, как в печати появились фрагменты Дневника, среди литературоведов, собирателей, историков ходили разнообразные слухи о его содержании, на основе случайно ставших известными отрывков создавались биографические и психологические концепции. Еще не будучи прочитан, Дневник оброс легендами и, так сказать, а priori, был поставлен на высокие котурны, (об этом свидетельствует и недавняя, но уже утвердившаяся традиция писать в данном случае слово «Дневник» непременно с заглавной буквы). Ныне приходит время взглянуть на содержание почти двадцати объемистых томов, в которых день за днем на протяжении без малого четверти века зафиксирована жизнь Кузмина, трезвым взглядом, без преувеличений или разочарований.

Сохранившаяся часть Дневника охватывает, с некоторыми пропусками, период с августа 1905 по конец 1931 года. Причины, по которым были в разное время утрачены несколько томов Дневника, достаточно определенно устанавливаются для трех томов, охватывавших период времени с 24 июня 1929 по 13 сентября 1931 года. Их судьба оказалась схожей с судьбами рукописей многих современников Кузмина: они были изъяты при обыске, проведенном ГПУ¹. Причины отсутствия еще двух томов Дневника (с 29 октября 1915 по 12 октября 1917 и с 28 июля 1919 по 27 февраля 1920 года) пока не ясны. Существовал более ранний дневник, который, в частности, содержал записи о путешествии по Малой Азии и Италии, но он был уничтожен автором, о чем Кузмин впоследствии сожалел. В частном собрании хранится остающаяся нам недоступной ма-

¹ См. об этом: Шумихин С.В. Три удара по архиву Михаила Кузмина. // Труды и дни. Альманах. Вып.1. (В печати). Нельзя исключить возможность того, что в архивах нынешнего КГБ могут сохраняться эти материалы. Ближайшее будущее должно дать ответ на этот вопрос.

шинописная копия одного из поздних томов Дневника, включающая записи за 1934 год. Но и сохранившегося вполне достаточно, чтобы сделать ряд выводов, касающихся как личности замечательного поэта, постепенно входящего в читательский обиход нашего времени, так и эпохи, свидетелем и участником которой он был. Революция, война, еще две революции, крушение целостного, устоявшегося мира и становление нового, где уже не было места ни прежнему искусству, ни прежнему строю души, — все это проходит перед читателем Дневника в прихотливых изломах и изгибах.

Публикуемая часть Дневника относится к переломному в жизни не только самого Кузмина, но и всей русской культуры 1921 году, году смерти Блока, убийства Гумилева, году страшного голода, охватившего большинство хлебобродных губерний, подавления пылавшего с 1920 года Тамбовского восстания и Кроштадтского мятежа, вспыхнувшего в непосредственном соседстве с Петроградом весной 1921-го. С этими восстаниями был связан конец эпохи военного коммунизма и начало краткого цветения нэпа. Кроме того, это был год американских продовольственных посылок АРА, «академических пайков» и — неожиданно для многих — на короткий срок открывшейся возможности легально покинуть Советскую Россию. Свой решительный выбор: эмигрировать или остаться на родине, многим приходилось делать именно в 1921-22 годах. Обо всем этом высказывается на страницах Дневника Кузмин, но специфика публикуемого исторического источника в том, что надо найти некий ключ, позволяющий адекватно воспринимать написанное.

Даже внимательный читатель прежде опубликованных фрагментов (краткая библиография дается в конце статьи), впервые обратившись к полному тексту Дневника за целый год, может быть разочарован обилием «пустот», абсолютно на первый взгляд неинтересных, хотя и регулярно повторяющихся подробностей повседневной жизни, подавлен количеством ничего не говорящих нашему современнику имен, входящих в круг общения Кузмина, возможно, даже шокирован отсутствием исторического зрения, когда важное оказывается заслонено мимолетным, о принципиальных «исторических» событиях не сообщается ничего, тогда как о пустяках рассказано сравнительно подробно.

Если бы публикаторы поставили перед собой задачу отобрать только записи «первостепенной исторической важности», то оказался бы представлен весьма малый объем Дневника 1921 года. За пределами подобной выборки, вероятно, должен был бы остаться весь бытовой фон: записи о получении пайков и продовольственных посылок, однообразных поисках съестного и чая в обмен на ничтожные суммы, выручаемые от манипуляций с продаваемыми и перепродаваемыми книгами, о почти ежедневном посещении театров и литературных вечеров (поскольку репертуарные данные и отчеты о вечерах можно найти в газетах того времени, а собственные впечатления Кузмин, как правило, в Дневнике не фиксировал, оставляя их для рецензий), о хождении в «кинемо», в гости, о погоде (тема петербургской погоды и ее влияние на ощущения и работоспособность Кузмина постоянно присутствует в Дневнике), о встречах

и мимолетных беседах со знакомыми и т.п. — чуть ли не $\frac{9}{10}$ текста. Но вместе с подробным отбором ушло бы и то главное, что делает Дневник Кузмина уникальным историческим и литературным памятником, свидетелем большей части его жизни.

Дневник является не только психологическим и историческим документом, но и литературным явлением; так, во всяком случае, расценивал его сам автор, стремясь сделать его достоянием гласности. Кузмин читает Дневник разным людям, в том числе и случайным знакомым, вступает в переговоры об издании. Планы эти не осуществились, но само желание уже показательно (следует отметить, что такая прижизненная публикация автором *собственного* интимного Дневника могла бы стать случаем, не имеющим прецедентов ни в русской, ни в мировой литературной практике того времени). Напомним, что еще в 1906 году Вяч. Иванов, слышавший в чтении Кузмина отрывки из Дневника, записал по этому поводу: «...в глазах Антиноя [прозвище Кузмина среди друзей-«гафизитов». — Публ.] было щедрое солнце и он возвестил о своем желании прочитать, наконец, свой знаменитый дневник. /.../ Чтение было пленительно. Дневник — художественное произведение. /.../ Это душный тепидарий; в его тесном сумраке плещутся влажные, стройные тела, и розовое масло капает на желтоватый мрамор. Дневник "специален", и только эта моноидейность грозит перейти в мертвенность. Я был прав, наследывая в Антиное то, и другое, и третье, но и то и другое и третье преувеличивал односторонне и грубо, как бывает, когда на долю анализа и угадыванья выпадает чрезмерная работа при невозможности созерцать конкретное» (Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. II. Брюссель, 1974. С. 749-750). Это сказано по поводу первой тетради Дневника, которая, действительно, намного более открыта и подробно-описательна, концентрируясь на гомосексуальных увлечениях автора, но в известном смысле мнение Вяч. Иванова может быть распространено и на последующие части Дневника.

Вместе с тем художественность Дневника возникает спонтанно: записи Кузмина не несут видимых следов стилистической или литературной обработки (исключая недоступный нам Дневник 1934 года, который, по некоторым отзывам, как например слышавшего его в чтении автора Э.Ф. Голлербаха, построен по-другому). Это совсем не «летопись эпохи» и в очень небольшой степени то, что принято называть «человеческим документом», т.е. исповедальное отражение духовных и интеллектуальных исканий. Более всего Дневник Кузмина напоминает попытку «остановить мгновенье», закрепить на бумаге мимолетность жизни в самых, на первый взгляд, ничтожнейших ее проявлениях, в какой-то степени обессмертив ее таким способом.

«Если бы я вел свой дневник не то, что с полной искренностью (что, применительно к частностям, я делаю и теперь), но с достаточной полнотой, памятью и раз навсегда выраженной для известного периода "установкой", получилась бы не такая казановская идиллия. М.б., напоминало бы исповеди корреспондентов Крафт-Эбинга, м.б. были бы превосходные стихи, была бы и роскошная, в мечтах, жизнь "Княжны

Джавахи“ [роман Л.Чарской. — Публ.] и куски Уитмэна. Чтобы мечты исполнились, нужно только сойти с ума, как в “Калигари“. А “светлые минуты“? Их куда девать? А, м.б., мне только так кажется, и запас не высказанных эротических и других черт не так неисчерпаем, тем более, что известную часть этого пробела пополняет искусство. И потом, зачем огорчать друзей и “благодарное потомство“? Оно достаточно, м.б., даже с лихвой будет награждено настоящим заявлением, воображая бог знает, что. На самом деле все гораздо однообразнее» — так писал Кузмин 6 ноября 1925 года.

Дневник реализовал одно из принципиальных положений художественной и жизненной программы Кузмина, согласно которой в мире нет ничего маловажного, незначащего. Своеобразие жизни создается именно переплетением высокого и низкого, возвышенного и мелкого, плотского и духовного, примитивного и глубоко интеллектуального, действительности и искусства, — одним словом, целого ряда антитез, в человеческом бытии приобретающих живой и деятельный характер. Этот принцип выражен уже в ранних стихах Кузмина:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.

Твой нежный взор лукавый и манящий, —
Как милый взор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Уже по приведенным десяти строкам совершенно очевидно, что речь идет не только о «духе мелочей», не только о пленительной легкости любви и наслаждении внешним миром, но и о том, что в этом мире, единственно возможном для Кузмина, «мелочи» насыщаются рефлексамми, брошенными от комедий Мариво и музыки Моцарта, близости любимого человека и природы и тем самым все повседневное, мелочное приобретает иное значение, выходящее далеко за пределы своего значения номинального. Не нарочитое очищение искусства от «наносного», бытового, недостойного внимания поэта, а, наоборот, произрастание стиха из обычно презреваемого, не подлежащего изображению, — вот задача как поэзии, так и — хотя и в меньшей степени — прозы Кузмина. Не случайно наряду с высокими и вечными образцами он так любит «низкие» жанры искусства: оперетку, «кинемо», домашнее музицирование, любительское стихотворчество и художничество. Не случайно так широк круг его близких знакомых, отразившихся на страницах Дневника, куда вместе с Сомовым, Брюсовым, Вяч.Ивановым, Сологубом, Блоком, Гумилевым, Мережковским, Андреем Белым, Комиссаржевской, Мейерхольдом и многими другими представителями интеллектуальной элиты, свободно и естественно входят купцы и приказчики

из антикварных лавок, букинисты, мелкие фабричные служащие, банщики, «маленькие актрисы» и «милые актеры без большого таланта». Но Кузмин наделяет и эти явления природы, и этих «простых» людей иным, более глубоким содержанием, чем то, какое в них было на самом деле, хотя и не обманывается, например, относительно примитивизма и ничтожности одной из своих пассий: не отягощенного интеллектом Павлика Маслова, «Фланера из Таврического Сада», которому посвящены процитированные стихи. Тот же Моцарт служит здесь сигналом не только пьянящей легкости «Свадьбы Фигаро», но явно включает в себя все те рассуждения, которыми Кузмин делился еще со своим гимназическим другом Г.В. Чичериным, в будущем не только наркомом иностранных дел, но и автором блестящей (к сожалению, не завершенной) книги о Моцарте, где факты искусства и современной жизни становятся предопределенными сложнейшим сплетением явлений мировой культуры.

Поэтому и текст Дневника 1921 года, предлагаемый читательскому вниманию, должен восприниматься не как замкнутое в себе явление, а обязательно на фоне всего, что происходило в жизни Кузмина того времени, и всего того, что он писал. Постоянные жалобы на потерю работоспособности, лень и отупление, ослабление творческого начала, не следует воспринимать буквально. В мае 1922 года Кузмин напишет, передавая поручение для неоднократно упоминаемой на страницах Дневника «Тяпы», Тамары Персиц:

Расскажи ей, что мы живы, здоровы,
часто ее вспоминаем,
не умерли, а даже закалились,
скоро совсем попадем в святые,
что не пили, не ели, не обувались,
духовными словесами питались,
что бедны мы (но это не новость:
какое же у воробьев именье?),
занялись замечательной торговлей:
все продаем и ничего не покупаем,
смотрим на весеннее небо
и думаем о друзьях далеких.
Устало ли наше сердце,
ослабели ли наши руки,
пусть судят по новым книгам,
которые когда-нибудь выйдут.

Выходили книги, конечно, весьма редко, а то и вообще не выходили, однако напряженная работа шла почти непрерывно. Кузмин любил составлять списки своих произведений; в данном случае мы опираемся на авторские данные о написанном в 1921 году. Не все названное здесь было завершено, но масштаб и разнообразие делавшегося внушают уважение.

За этот год были написаны стихотворения: «Любовь чужая зацвела...», «Звезда качается зелено...», «Пушкин», «Мне не горьки нужда и плен...», «Утраченного чародейства...», «Невнятен смысл твоих веле-

ний...», «Приглашение», «Утро во Флоренции», «Поездка в Ассизи», «Колизей», «Родина Вергилия», «Катакомбы», «А.Д. Радловой», «Как девушки о женихах мечтают...», «Искусство», «Пламень Федры», «Купанье», «Элегия Тристана», «Fides Apostolica», «Летающий мальчик», «Барабаны воркуют дробно...», «Вот после ржавых львов и рева...», «Блаженные роши», «Врезанные в песок заливы...», «У печурки самовары...», «На площадке пляшут дети...», «По черной радуге мушиного крыла...», «Ариадна», «Морская идиллия», «Вот барышня под белую березой...», «Живется нам не плохо...», «Зеленая птичка», «Рождество», «Легче пламени, молока нежней...». Помимо этого в список не попали стихотворения «Звезда Афродиты», «Венецианская луна», «Сквозь розовый лепесток посмотреть на солнце...», вокально-музыкальный цикл «Лесок», ряд несконченных рассказов и повестей («Снежное озеро», «Глухие барабаны», «Римские чудеса»), множество (по меньшей мере двадцать) статей и рецензий, переводы, музыка к спектаклям «Собака садовника», «Трагедия шута», «Двенадцатая ночь», «Муж, вор и любовник».

Но даже такая напряженная работа не могла обеспечить Кузмину и жившим на одной квартире с ним Ю.И. Юркуну с матерью сколько-нибудь спокойного существования. Поскольку Дневник служил Кузмину также и своеобразной счетной книжкой, в конце почти каждого дня в нем делались «приходные» записи — гонораров и др. денежных выплат. Довольно трудно (если вообще возможно) точно соотнести цифры Кузмина с современным курсом рубля, особенно учитывая его падение уже в наши дни; еще труднее определить реальный масштаб «совзнаков» и царской валюты, но по самой приблизительной прикидке соотношение записываемых Кузминым сумм с современным рублем можно выразить как 1:1000 (минимально), а с царским рублем не менее как 1:10.000. «Академический паек» помогал балансировать если не на грани голодной смерти, то вплотную к этой грани, ведя жизнь впроголодь. К тому же и получить его удавалось не всегда: не редкостью были разные бюрократические неурядицы, о которых писал в анонимной заметке современник: «В конце марта список [нуждавшихся в пайке. — Публ.] был послан в Москву на утверждение, но из Москвы еще не получен. Литераторы, получавшие до 1-го апреля академический паек (25 по литературной группе и 10 по ученой группе), остались на апрель без всякого пайка. /.../ В конце апреля их тяжелое положение побудило, наконец, соответствующую инстанцию разрешить прикрепление этой группы. Таким образом /.../ 35 литераторов (и столько же художников) в течение месяца сидели без хлеба» (Академические пайки для литераторов // Вестник литературы. 1921. №4/5. С.22).

Хотя Кузмин проявил удивительную для такого сибарита и сноба, «эстета с солнечной стороны Невского», каким его принято было считать, стойкость, житейские испытания не могли не вызвать горьких чувств, отразившихся, например, в дневниковой записи 27 мая 1920 года: «...внешняя жизнь такова, что отсекает разные земные пристрастия. Сначала половые, направляя все на еду. А теперь и еду. Я думал сначала,

что это импотенция, но нет. Просто поставлено на десятое место. Конечно, большевики тут не при чем и все равно прокляты и осуждены, но подневольный режим делает свое дело. Жестокое, но, м.б., благотельное». И в Дневнике периода военного коммунизма постоянны жалобы на холод, голод, сонливость, желание спрятаться в свою раковину, максимально изолироваться от внешнего мира. Подсознательно Кузмин не может заставить себя поверить, что большевики пришли надолго (для него — навсегда!). Ощущение испытаний, которые надо, крепясь, перенести, потому что где-то впереди брезжит избавление, — хотя об этом остерегались говорить вслух, — было в начале 1920-х еще свойственно многим людям его круга; без этого чувства трудно было бы выжить. Люди боялись признаться другим, что ждут падения большевиков, а самим себе боялись признаться, что подобные надежды — не более, чем самообман.

В 1917 году Кузмин «дико запевал бессмысленной начало тризны», приветствовал Февральскую революцию, демонстративно объявлял себя большевиком (см.: Чулков Г. Вчера и сегодня // Народоуправство. 1917. №12). Но было бы ошибочным остановиться на этих цитатах, представив генезис политических устремлений Кузмина как путь к «принятию революции». Скорее всего, чисто политический момент был здесь минимален, а следует говорить о некоторых психологических особенностях Кузмина, выразившихся в его давних и стойких симпатиях к низам петербургского общества, городским люмпенам, тем, кого называли модным, сравнительно недавно занесенным словом «хулиган». Эти причудливые склонности эстета (надо прибавить сюда и нуждающийся в специальном анализе антисемитизм — еще более табуированную у советских литературоведов тему в биографии Кузмина, чем его гомосексуализм) заставляли поэта в 1905-06 годах водить компанию с хулиганами-черносотенцами, даже погромными элементами, а в 1917 году приветствовать большевизированные «массы», которые по социальному составу были фактически теми же люмпенизированными пролетариями, лишь поменявшими хоругви на красные знамена. В то время никаких комплексов, характерных, скажем, для восприятия Октябрьского переворота Зинаидой Гиппиус, Кузмин не испытывал. Однако, очень быстро пришлось понять, что не благожелательное сочувствие нужно новой власти, а безропотное повиновение всем ее действиям, включая экспроприации, расстрелы, обыски, отказ от свободы печати, разгон Учредительного Собрания, мобилизацию на фронт, которая грозила Юркуну, и т.п.

Симпатия сменилась полным разочарованием. Уже в марте 1918 г. в Дневнике появляются записи типа такой: «Действительно, дорвавшиеся товарищи ведут себя как Аттила», а в 1919 году Кузмин пишет стихотворный цикл «Плен», где совершенно недумно заявлено: «Не твой ли идеал сбывается, Аракчеев?». Довольно долгое время он сам определяет свое настроение как контрреволюционное, антибольшевистское. Новый порядок оказался настолько чужд Кузмину, что он не может даже воспринимать его как реальность. Постоянное чувство, много раз отраженное на страницах Дневника тех лет, — ощущение жизни во

сне, или в царстве теней, или внутри сумасшедшего дома, ибо окружающая псевдожизнь не может, не имеет права существовать в реальности. Лейтмотивом при встрече с давним знакомым, которого Кузмин не видел несколько лет, при получении весточки из-за границы или из далекой, занятой Колчаком Сибири, являются слова «весть с того света», причем «тот свет» — это залитый солнцем Божий мир, полный света, теплоты и... гастрономического изобилия, сам же Кузмин низвергнут в царство Аида и с трудом доходят до него слабые отголоски извне. Устойчивый образ Петрограда, как «города мертвых», «обитатели теней» повторяется в Дневнике неоднократно:

«Ведь это все призраки — и Луначарский, и красноармейцы, этому нет места в природе, и все это чувствуют. Какой ужасный сон» (12 ноября 1918).

«Погода такая, что не хочется уходить с улицы. В такие дни большевики ужасно некстати. Вообще, они — тени, но несносные и дающие себя чувствовать» (5 марта 1919).

«Мне все кажется, что это — не жизнь, не люди, не репетиции, не улицы, а какая-то скучная, сатанинская игра теней, теней и теней. Где-то там тенью склоняется и Юша Чичерин, прежний источник настоящей бодрости» (17 марта 1920). И т.д.

Вероятно, в комплекс ощущений Кузмина от столь поразившего его фильма Р.Вине «Кабинет доктора Калигари», все действующие лица которого оказываются в конце пациентами психиатрической клиники, — входило и воспоминание о «сомнамбуличности» собственного существования.

1921 год принес также серьезные испытания в интимную жизнь Кузмина, перешедшую отныне в новое качество. Его сожитель, прозаик, драматург и художник Ю.И. Юркун (1895-1938), не порывая отношений с Кузминым, влюбился в молодую актрису О.Н. Арбенину (1897-1980), до того кружившую голову Гумилеву и Мандельштаму. Юркун был единственным длительным и постоянным увлечением Кузмина (прочие многочисленные гомосексуальные «романы» почти всегда, несмотря на пылкое начало, были кратковременны и завершались полным разочарованием; близкие же отношения с Юркуном вели начало еще с 1913 года). Теперь в их совместной жизни появилось третье лицо. В то время Кузмин, конечно, не мог предположить, что любовь Юркуна выдержит испытание временем, что присутствие Ольги Николаевны станет постоянным, вплоть до смерти Кузмина в 1936-м, ареста Юркуна в 1938-м и даже протянется за грань земного бытия обоих: недавно опубликованное письмо Арбениной, написанное Юркуну на тот свет, производит чрезвычайно сильное впечатление накалом чувств, претворяющих житейский сор в возвышенную любовь. (См.: Письмо О.Н. Гильдебрандт-Арбениной Ю.И. Юркуну. 13.02.1946. Публикация Г.А. Морева // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л.1990. С.244-256). Но, поскольку будущее в данном случае не провиделось Кузмину, настоящее должно было выглядеть драматически заостренным. Единственный близкий человек, дела и заботы которого были предельно близки и дороги Кузмину, вдруг

оказался поглощен собственными переживаниями, да еще связанными с тем органически неприемлемым для Кузмина устремлением, каким была любовь к женщине. Кузмину, естественно, вспомнилась история Всеволода Князева, который с Кузминым и О.А. Глебовой-Судейкиной образовал приблизительно такой же любовный треугольник в 1912 году. Тогдашняя история очень быстро завершилась трагической развязкой: Кузмин и Князев резко порвали отношения после трех счастливых недель в Риге, а через полгода Князев застрелился. Встретив случайно в Петроградском Доме Ученых мать Князева, Кузмин записал о судьбе их семьи: «Окликнула меня Князева. Аня постриглась, Кирилл — арестован. Не поссорься Всев[олод] со мною — не застрелился бы — ее мнение». (28 сентября 1922). Подобной развязки истории с Юркуном Кузмин не мог допустить:

Пришелица, войди в наш дом!
Не бойся, снежная Психея!
Обитель и тебе найдем,
И станет полный водоем
Еще полней, еще нежнее.

Создавшаяся ситуация потребовала от Кузмина известного самоотвержения (хотя вообще ревность к женщинам он, по-видимому, испытывал в слабой степени). Эти чувства нашли свое отражение в полных бурной энергии строках «Пламени Федры»:

Любовью зиждется мир.
Любящий, любовь и любимый —
Святая Троица!
Она созидает,
Греет и освещает,
Святит и благословляет,
Но собери самовольно
Лучи в магический фокус
Страсти зеркала, —
И палящую кару,
Гибель Икара,
Пожар Гоморры
Получишь в оплату!
Горе! Горе!

Испепеляющее самовольство, «мелкий демонизм» был Кузминым отвергнут и он приложил максимум усилий, чтобы любовь троих стала не палящим зеркалом страсти, а плодоносным солнечным светом, равно изливающимся на всех действующих лиц. Однако этот переход от взрывчатой страсти к возвышенной мудрости давался ему не так просто, и свидетельством тому останутся многие записи Дневника, касающиеся как Арбениной, так и Юркуна, в которых отразилось сугубо личностное, отчасти даже оскорбленное восприятие событий.

Вполне возможно, что кипение чувств было несколько умирено и возрастом Кузмина, подходившего к 50-ти, и последовавшими одна за другой тремя смертями: Блока, Гумилева и Анастасии Чеботаревской. Со всеми Кузмин был знаком, связан долгими и очень непростыми отношениями, и их уход из жизни — у каждого по-своему страшный и трагический, не мог не восприниматься как предвестие того, что он и сам «на роковой стоит очереди». Эти три смерти тем более должны были показаться страшными, что они демонстрировали отторжение новым миром поэзии, а к поэзии Кузмина у этого мира отношение было особенно враждебным. Да и не только о поэзии шла речь, а о полном разрушении прежней жизни, ставшей в одночасье такой же недостижимо далекой, как Эллада или Италия XIV века.

24 марта 1920 года Кузмин сделал запись, в определенной степени послужившую моделью написанного двумя годами позже прекрасного стихотворения «'А это — хулиганская“, — сказала...»: «Боже мой, Боже мой! где все? где? Теперь и скромная жизнь смиренным швейцаром исчезла, даже монастырь, даже нищими. Я не говорю про Альберовскую [ресторан в Петербурге. — *Публ.*] жизнь, но где Нижний, Окуловка, зять, даже Евдокия, даже лавка, даже Ляндау, даже советский хлеб Зиновия? ... Печально я думал о тепле, не то пчельнике, не то яблочном саду. Неужели и там большевики все засрали?».

Но при всем этом возможность эмиграции для Кузмина в Дневнике 1921 года даже не обсуждается. Да и в другие годы упоминания о возможности покинуть страну мимолетны и не имели никаких реальных последствий. Сейчас довольно трудно понять, почему Кузмин предпочел остаться в России. Вряд ли у него было то трагически-горделивое чувство, с которым Ахматова «замыкала слух» от таких предложений, ощущение человека, стоящего выше обсуждения подобной перспективы. Скорее всего, здесь главную роль играло знаменитое «легкомыслие» Кузмина, определяемое им самим, как «дар Божий». Для него, живущего только сегодняшним днем, материальные трудности и неизбежные административные хлопоты должны были казаться непреодолимым препятствием. Вряд ли случайно несколько раз упомянут на публикуемых страницах Дневника Ремизов. Видимо, свои способности к раздобыванию денег и «устройству дел» Кузмин оценивал примерно так же, как и ремизовские, но вести подобный образ жизни, куда составной частью входило юродство и связанное с ним высокое попрошайничество, он не мог. Приходилось гнать мысли об отъезде и пытаться найти свое место во все более и более ожесточающемся мире.

Место это к 1921 году (если отбросить ощущение постоянного «морока») было достаточно определено: пайки КУБУ (в Доме Ученых на Миллионной), поэтические вечера в Доме Искусств и Доме Литераторов, более или менее регулярная работа в газете «Жизнь искусства», сотрудничество с петроградскими театрами, выпуск время от времени книжек в различных эфемерных частных или кооперативных издательствах, ежевечерние походы в гости в компании, отдаленно напоминающие прежние салоны, где готовы были слушать его стихи и музыку, а иногда в ка-

честве бесплатного дополнения выслушивать и чтение Юркуна². Но и этот круг начинает постепенно сужаться: друзья эмигрируют, или «обсуживаются», «отходят», теряя таким образом способность достойно принимать, пайки выдаются нерегулярно, а с введением нэпа и свободной торговли вовсе отменяются, издательства все менее охотно берут книги, осложняются отношения с газетой и театрами, все хуже оплачиваются переводы и все труднее становится их добывать... Кузмин все более и более отодвигается в неизвестность, оставаясь лишь пунктом притяжения для немногих младших друзей. Истоки эволюции продолжавшегося, пожалуй, еще свыше десятилетия постепенного «сползания в забвение» намечены уже в Дневнике 1921 года.

К настоящему времени опубликованы следующие извлечения из Дневника Кузмина:

Суворова К.Н. Письма М.А. Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М.А. Кузмина // Литературное наследство. Т.92. Кн.2. М., 1981.

Cheron G. Дневник М.А. Кузмина. Сентябрь 1905 — июнь 1906 года // Wiener Slavistischer Almanach. Band.19. Wien, 1977 (Публикация осуществлена по одному из машинописных списков, сделанных в 1918-1920 годах. Публикатор был лишен возможности провести сличение текста с автографом).

Шумихин С.В. Histoire édifiante de mes commencements // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. В сокращенном виде в сб.: Встречи с прошлым. Вып.7. М., 1990.

Он же. Дневниковые записи 1931 года // Труды и дни. Альманах. Вып.1 (в печати).

Парнис А.Е. Хлебников в дневнике М.А. Кузмина // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990.

Кроме того, в разной степени отдельные цитаты из Дневника использовались в работах А.А. Туркова, Н.А. Богомолова, Дж. Мальмстада, Г.Г. Шмакова.

Дневник 1921 года публикуется по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф.232, оп.1, ед.хр.58-59). Единственная купюра вызвана чрезмерно интимным характером текста. К сожалению, в некоторых местах, особенно на сгибах и краях страниц, почерк Кузмина очень бегл, что делает невозможным прочтение отдельных слов и вызывает сомнения в чтении ряда других. Предположительно читаемые слова даются в квадратных

² Дошедшие до нас произведения Юркуна никак не позволяют разделить ту вышенно-эмоциональную оценку его творчества Кузминым, которая присутствует в Дневнике. Но окончательное суждение о степени талантливости (а по Кузмину, так даже «гениальности») этого писателя и художника можно было бы вынести только в том случае, если окажется, что основные произведения Юркуна, в том числе и его роман, изъятые «органами» после ареста, уцелели в архивах КГБ и станут достоянием гласности.

скобках со знаком вопроса; публикаторские конъектуры — вставки пропущенных, но необходимых по смыслу текста слов — даются также в квадратных скобках, но курсивом. Недописанные и сокращенные слова, однозначно прочитывающиеся, раскрыты без оговорок. Сохранены два постоянных сокращения, употребляемые Кузминым и проходящие по тексту всего Дневника: Юр. (т.е. Ю.И. Юркун) и О.Н. (т.е. О.Н. Арбенина). Зачеркнутый, но прочитывающийся текст дается в косых скобках.

Орфография и пунктуация Кузмина, в Дневнике крайне неустойчивые, приведены в основном к современным нормам, но сохранено авторское написание отдельных слов, если Кузмин придерживался его постоянно (имянины, галстух, пенснэ, танцовать и др.). Разночтения с правильным написанием фамилий, которые со слуха на письме Кузмин зачастую искажал (например, несмотря на многолетнее тесное общение с издателем З.И. Гржебиным, Кузмин упорно именует его в Дневнике «Гжебиным»), приведены под строкой.

Чтобы не перегружать комментарий, к нему приложен «Словарь имен», где в алфавитном порядке перечислены те из упомянутых на страницах Дневника лиц, о которых публикаторы располагали какими-либо сведениями. Имена и фамилии лиц, сведений о которых пока не обнаружено, отражены в общем именованном указателе к альманаху.

В настоящее время для российско-французского издательства «Феникс» готовится полное издание Дневника М.А. Кузмина 1905-1931 годов. Данная публикация является предварительной, поэтому публикаторы будут признательны за любые дополнения, расширяющие комментарий и справки «Словаря имен», и с благодарностью используют их при подготовке полного текста Дневника Михаила Кузмина.

1 (суббота)

Хорошо и спокойно. О холоде не думаю, не замечаю его. Юр. пришел поздно, принес булочек, конфет, папирос. Кажется, рад, что я не устраиваю сцен ревности¹. Поели блинов и легли спать. Встали, попили чая и отправились на Остров. Не холодно. Юр. отлично говорил о романе². Это будет замечательнейшее произведение. У Сологубов уютно, тепло и радушно; были Зелинский, [К.....?], Петров, Щербов и Мроз. Читали стихи, говорили о католичестве, в пироге запечена денежка. Досталась Доде. Юр. читал кусочек романа. Понравилось. Ничего все.

2 (воскр.)

Поздно спали. Потом Юр. убежал. Я знаю уж, куда. Ждали его долго. Мамаша стонала об обеде. Я спал. Вообще холодно, темно и бесчинно. У Ремизовых очень тепло, разные вещи ему надарили, краденые, разумеется; готовят елку, бывают новые какие-то девицы. Было не весело, не скучно. Окна внутри замерзли, это внушает мне какой-то смутный ужас.

3 (понед.)

Холод первобытный, но я довольно бодр, хотя и ограничился планами. Обедали хорошо и рано. Только собрались выйти, явился Милашевский. Юр. пошел. Мы замерзли и ждали его. Вернулся он с Арбениной. Она плакала и боялась будто, но ничего; попили чая. И вместе пошли к Михальцевой с Владимиром Алексеевичем. Юр. читал роман. Я грелся у печки, думая со страхом, как у нас /теперь/ холодно, но оказалось не так страшно.

4 (вторник)

Сегодня, по-прежнему, был бы для меня ужасный день. У Юр., как я и думал, роман с Арбениной и, кажется, серьезный. Во всяком случае, с треском. Ее неминуемая ссора с Гумом и Мандельштамом³ наложит на Юр. известные обязательства. И потом сплетни, огласка, сожаление обо мне. Это, конечно, пустяки. Только бы душевно и духовно он не отошел, и потом я все еще не могу преодолеть маленькой физической брезгливости. Но это теперь не так важно. Конечно, будет пропадать, опаздывать к [Троицам, домой?] и т.п. Не знаю даже, не будет ли вводить это его

в расход. Холод я не так чувствую. Очень долго валандались в Доме Ученых⁴. Потом Юр. убежал, не дождавшись чая. Мы поджидали, подогревали самовар, мамаша стонала. Я кисел немного и читал, не мерз. Пришел он поздно, совсем расстроенный, чуть не плача, отказывался сказать, что с ним. Потом успокоился и рано лег спать. Признался в романе, но что произошло с ним, так и не сказал. Что-то год бурно начинается, но не признак ли это жизни?

5 (среда)

Что же было? Юр. привел Арбенину. Она боялась войти. Мамаша косо смотрела. Пошел ее провожать и пропал. Неудобно им, бродяжкам. Написал стихи [им?]⁵.

6 (четверг)

Поздно встали и рано обедали, т.к. М.Я. уезжает в Москву. Убогая остается с нами. Опять читал мне Юр. письмо Арбениной. Все-таки он легкомысленно как-то ввязывается в эту историю. А мне тоскливо, будто я что потерял, до смерти. Темнота, тепло, окна текут. В сумерки вышли купить кое-чего. И в «Петрополь»⁶. Купили хороших книжек. Сами ставили самовар. Зашел Папаригопуло. Идти на Петербургскую было очень приятно, а там средне. Вот сочельник.

7 (пятница)

Темно страшно, течет. Встали поздно. Юр. еще позднее. Скучно до смерти. Он побежал, я дремал. Долго не давали света, к Хортикам не пошел. У Ремизовых было тепло, но как-то голодно и скучновато⁷ Скользко невероятно. Ночью приехал Евгений Максимович, наведя некий страх. Что-то нехорошее вошло в мою жизнь. Даже не ревность, а какая-то хмара. Зброшенность, растерянность и лень.

8 (суббота)

Что же было? Светло и, кажется, не холодно. Денег нет. Юр. спит. Приходил Плетнев; в «Вольную Комедию»⁸. Скучно. Мне что-то нездоровится до смерти. Обед был очень плохой и голодный, а к вечеру исчерпались папиросы и сахар. Был в «Петрополе». Решил идти сегодня на репетицию. Только свои. Молодые актеры ходят. Много приятных, высокого роста, хотя наполовину жида. Уныло шел домой. Лег спать. Юр. пришел совсем поздно, лег и даже побыл. Что-то нам делать?

9 (воскресенье)

Что же было? Я, кажется, груб с Юр., не шантажирую ли я его роман? /.../ Продали Тевяшову, Евреינוву «Картинки»⁹ и Юр. пропал. Ко мне пришел Милашевский, сумерничал, потом пила чай. Юр. очень опоздал. Вечером забегал Анненков*. Юр. ругал его за халтуру и большевизм. Я писал рецензии. Голодновато.

10 (понедел.)

Мамаша вякала о дровах. Пошел на Николаевскую. Юр. еще спал, доски только что рубятся, нужно идти есть. Пошли в Дом¹⁰. Волковыский, Лулу, Ег.Иванов, Канкарович. Сговорился со всеми и все вечера разобраны. Долго провал[андался] Юр. У Папаригопуло не так хорошо, как ожидал. Погода мягкая и не холодно.

30.000

11 (вторник)

Что же было? Погружаюсь в небытие. Все мне надоело до смерти. Все — сон. Только воспоминание, мечты и сон спасают меня. Действую я как раз вопреки своим правилам и Гете, т.е. никак не действую и словно не хочу знать настоящей минуты. И внутреннее убеждение, и советы Лескова, Гете и всех учителей говорят и побуждают меня к противному, но я, как труп, ничего не могу. Вьюга поднялась. Насилу дошли до Тяпы. Шли мимо Апраксина рынка, Петербургской, средоточия русской поэзии. И снег, и ряды. Неужели не проснутся?¹¹ И дом у них отличный, великолепный двор, и Спас близко, и тепло, и пироги. Все это им очень не подходит, но само по себе хорошо, хотя и наполнило меня сладкою печалью. Дома я даже снял пальто. Расхрабился. Окна занесены снегом, не дует. Юр. долго сидел.

12 (среда)

Поздно вышли. Вьюга и светло. В Доме Ученых ждали /часов пять/ часа три. Мамаша даже вышла искать нас. Хотелось курить. Юр. сбегал за папиросами. Разговоры контрреволюционные. Дома поели и попили. Юр. лег спать. Вот время. Не так холодно, тихо, дома, читаю Гете, где-то играют.

* У Кузмина — Аненков.

Что мешает принять это за жизнь? И какая-то безнадежность. Рано лег, заснул под подушкой. Тепло, как в раю; верно, мороз усиливается.

13 (четверг)

Солнце и ясно. Воспоминания и мечты уничтожают всякую энергию. Выходил в отдел¹². [Кретинное?] занятие. Юр. спал долго, кипятился из-за котлет. Потом ушел с письмами к Волковысскому* и Блоку. Только прилег, пришел Верховский. Юр. привел Арбенину. Пили чай. Вечером я один был у Каннегиссеров**¹³. Морозно очень. Юр. уже дома.

10.000

14 (пятница)

Никуда не выходил, но и делал мало. Это просто позор. Время летит, когда же я все поспею? Юр. выбегал два раза. Пришел и Владимир Алексеевич. Юр. окончательно убежал. Метель. Милашевский все расспрашивал об Атлантиде. Ремизов показывал свои рисунки, жутко как сумасшествие. Душа у него зачичканная, зашелканная, огаделая, огалделая, еле теплится, как душа лягушонка или галчонка, тоскует, чтобы ее вымыли, обогрели, приласкали. Радуетя каверзам и мелким гадостям, еле жива, едва ли не злая. «Вздых» же его — не [больно?] демократическое нытье. Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить, скулит, — а обогреть — нагадит в карман почти невинно. Газеты заграничные, ничего толкового. Рисунки Судейкина очень хорошие. Объявления. Домой пришел, Юр. еще нет, пришел около двух.

12.000

15 (суббота)

Достал утром денежек и жалованье. Вечером вышли вместе, я — к Сане, Юр. — в Дом Искусства. Там никого почти не было, сидели по-стариковски. Лег спать. Юр. пришел поздно, рассказывал о маскарадных впечатлениях.

29.000

16 (воскр.)

Сидела вечером О.Н., пришедшая из театра. Мятель страшная. Вечером я ходил к Мандельштамам. Их жидовство придает

* У Кузмина — Волковысскому.

** У Кузмина — Каннегиссеров. Часто встречается неверное написание этой фамилии с удвоенным «с» (иногда даже «Каннегиссер»).

какой-то европеизм, специально немецкий. Тепло. Прибежала Луду. Ее рождение сегодня. [Степлено?]. Шли довольно весело. Все еще полно рассказами о маскарале.

17 (понед.)

Что же я делал, решительно не помню. Приходил Милашевский. Юр. продал что-то и принес к чаю. Сидели, читали Диккенса. Мне нездоровится и как-то уныло, хотя и тает. Сидел еще Берман.

18 (вторник)

Неожиданно в отделе выдали вторую половину. Читаю «Faustin»¹⁴. Обедали в Доме. Я зашел в «Петрополь». Все еще разговоры о маскарале. К чаю пришла Арбенина. Юр. читал роман, я переписывал «Озера»¹⁵. Вот время. Не знаю, отчего представилось мне все не таким безнадежным. Не так холодно даже.

53.000

19 (среда)

Что же было? Сговорились с Михальцевой прийти к ней сегодня. Не то маскарал, не то представление. Был Москвич, потом Милашевский. Пошли вместе. Юр. побегал за папиросами. В Доме Искусств скучно, холодно, публики маловато. Читал плохо. Был скандал с Олимповым. Знакомых мало. Шли с О.Н. У Михальцевой были домашние представления. Много народу. Одоевцева читала полное собрание своих сочинений¹⁶. Она мила. Сидели очень долго.

10.000

20 (четверг)

Спал часа три. Юр. еще того меньше, но встал все-таки и пошел на Мильонную. Отлично говорил со мною о своем романе, отношениях с Арбениной и т.п. Идти было тепло и ничего себс. Дома пили чай, но обед задержался, так что Юр. лег спать и, не выспавшись, бранился. Потом вышел. Рано зажгли свет. Ничего не делаю, это ужасно. Развращает, и потом время идет бесполезно. Пришла О.Н. Она очень мила, ко мне относится ласково и почтительно. Приходил к нам еще Мелин, явление катастрофически-романтическое. Сидит, как тетерев и собирает слухи, потом волнуется, как разбитый корабль. Юр. читал рассказ. У Блохов был Боянус, приносил издания Шекспировского общества. Опять работа, чтение и культура зовут меня. Сомова, оказыва-

ется, лишили пайка за то, что он не сделал ни одного плаката и вообще не участвует в советских изданиях¹⁷. Читал я пьесу. Кажется, она не для чтения. Бодрости придает еще «История живописи» Бенуа¹⁸.

21 (пятница)

Какое солнце, ветер, мороз и голубое небо. Хотелось бы читать «Римские чудеса»¹⁹. Ходил в Михайловский театр. Сладко возвращался. Свет дали рано. Не писал, сам не знаю, отчего. Был Владимир Алексеевич. Мы с Юр. немного спорили, потом разбирали рисунки. Юр., бедный, спрашивал, не перестал ли я его физически любить, и что, в случае чего, он может отказаться от Оленьки. Бедный мой!

22 (суббота)

Оказывается, сегодня собачий праздник 9 января²⁰. Не пошел на Николаевскую, а у Юр. денег уже нет. Пошли в Дом. Снег валит. Арбенина сидит с Гумом. Даже чаю не пили. Дома я дремал. Юр. побежал к Шилову, потом к Арбениной. Я сидел, ноги мерзли. Сквозь сон слышал, как пришел Юр. Утром чудесно говорили.

23 (воскресенье)

Что же было? Вечером читал. Было приятно, все доходило. Видел Иду Вл[адимировну], она суха и что-то имеет против нас. Меня страшно это огорчило. Ни одним словом я нигде не отзвался о ней нехорошо.

24 (понед.)

Отправился на Николаевскую. Ждал Леонарда. Ничего я не делаю, живу, как обленившийся нищий gentier. Погода прелестная. Если бы в Нижний да все было по-прежнему! Раздор между Лениным и Троцким кажется не на шутку разгорается, но не интересует теперь это меня нисколько. Вышли с Юр. после обеда. Толкнулись в «Петрополь» — заперто. Домой. Пришла к чаю О.Н. Потом пошли к грекам²¹. Гороскоп готов. Жизнь гения и умницы с постыдными страстями. Несчастны 7-е и 9-е годы. Слава, но нет успеха. Тюрьма. Опасности. Юр. встревожился о моих стихах «Плен»²². Холодно идти было, кажется. Светила луна. Юр. что-то неблагоприятное выходит по гороскопу. Боже мой, когда же все это кончится.

38.000

25 (вторник)

Мороз и солнце. Все замерзло. Бегали за сахаром, папиросами и в Дом. Дождались О.Н. Там тепло, светло, тихонько говорят о будущем. Сторицын пришел от Бурцева. Вот кого хотел бы я видеть. Юр. не приходил довольно долго. Неожиданно явился Сашенька. Мил, конечно. У Савельевны напечено. [Ада мила?]; топится печурка. Были кое-кто. Не очень было хорошо. На улице теплее.

26 (среда)

Ходили с мамашей, Юр. болен. Там Ремизов, Сомов с сестрой. Все время говорил с милым Константином Андреевичем. Рассыпал он крупу, не справлялся с пакетиками. Я помогал ему. Пили чай дома. Вечером были у Иды Влад[имировны]. Не роман ли у нее со Степановым? Тепло очень. Котенок рыжий, французские книги.

27 (четверг)

Мороз и мороз. Был Милашевский. Юр. притащил О. «Як котка», как говорит мамаша. Пошел ее провожать. Мы ждали и замерзали. Утром был в отделе.

28 (пятн.)

Что же было? Юр. ушел в Дом. Я за ним. Сидит с О. Ходили к Ховину продавать книги. Много эротических книг. Дома ждал Юр. Потом он пошел к Арбениной, я к Мандельштаму. Там тепло, мирно, у девочки свинка. Постояли у печки, потолковали. Будто у Дроссельмайеров из Гофмана. Я уже лег, когда вернулся Юр. В постели ел кашу. Утром Юр. ругал меня за жареную баранину.

6.000

29 (суббота)

Мороз все крепче. Мерзнем, но не безнадежно. Бегал в отдел и союз²³. Тепло и там и там. Юр. еще спал. Есть даже не хотелось. Вышли еще пить чай в Дом. Волосы и вообще хамский вид мой меня удручают. К чаю пришла О. В «Петрополисе» много немецких книг по масонству. Вылезал все-таки и к Мелину. Был мил и блестящ. Все охал, чего я не сделал в своей жизни. Кажется, ему хотелось бы выкорчевать из меня J.Japin'a²⁴. Много нашли прелестных книг. Дома еще жарили картошку /нрзб./

30.000

30 (воскр.)

Что было, не помню. Утром был Мелин, объяснялся с мамашей, а мы спрятались. Вечером, кажется, был Милашевский.

31 (понед.)

Был с утра у Блохов. Согласны. Мне нездоровится. Юр. ходил к Мелину один, наташил книг. Был я в «Петрополе», прибежал Юр. и О.Н., как бродяжки, и чай пить ее приволок. Не ходил ли я еще к ...*

20.000

Февраль 1921

1 (вторн.)

Не помню что-то, что было. Мне нездоровится. Решительно не помню, что было. Кажется, сидела у нас О.Н. Получал я жалованье. Продали «Картинки».

13.000

2 (среда)

Ходил в «Вольную Комедию». Там Кузнецов и Штрайх. Смотрел пантомиму²⁵. Потом прошел к Ремизовым. Приехала Сабашникова. Мила, но все-таки штейнерианка. Меня все прятали от Каплуна. Был Верховский, Алянский**, Форш. Заходили Бруни с ребенком, [словно?] сапожники. Было ничего, приятно. Юр. еще не было дома. Утром ходили ...***

3 (четверг)

Солнце и мороз. Из всех предложений выбрали Саню и Михальцеву. Я был в Доме зачем-то; да, взял аванс у Волковыского. Был там Ремизов, за тем же делом, я думаю. Получал заказы. Пили чай. Не так холодно, как можно было предположить. Вдова Маслова торжественно читала его стихи²⁶. Был Рождественский, очень веселый, смешно рассказывал о домах отдыха. Пирожки. У Михальцевых, куда попали часов в 12, Юр. читал рассказ. Я мерз у печки.

7.000

* Фраза не дописана.

** У Кузмина — Олянский.

*** Фраза не дописана.

4 (пятница)

Ликующий мороз. На солнце стекла оттаивают. С утра болтался в отделе за деньгами. Ругал Беленсона за статью²⁷, и он позвал обедать нас. Видел кучу людей. Юр. еще не вставал, хотя обед был готов уже. Пошли в Дом. Ватсон еще полна воспоминаниями о Надсоновском вечере²⁸. Отдал деньги за чай, хотя, м.б., это и нехорошо. Вечером были у Лулу. Ничего, хорошо посидели. Пил чай у нас Милашевский.

50.000

5 (суббота)

Не помню, что было. Вечером очень хорошо сидели у Тяпы. Юр. пошел на маскарад. Я сидел до 2 ч. и спокойно дошел домой.

6 (воскресенье)

Плоховато. Денег нет, чая тоже. Насилу добудился идти к Беленсонам. Они уже пообедали, думая, что мы не придем. Нас немного кормили. Холодно что-то. Потом забежал Чуковский. Болела голова. Дома света нет, мамаша тоже пошла в костел. Мы отправились к Мандельштамам. Посидели. Дома огонь горит.

7 (понед.)

Послал Юр. в союз. Сам вышел в отдел. Условились сойтись в Доме. Совсем степлено. Далекий путь к Сашеньке казался соблазнительным. В отделе Радлов сидит женихом, Стрельников, Беленсон etc. Получил жалованье. Юр. уже сидел с булками. Пушкинские стихи уже объявлены²⁹. Долго ждали О.Н. Все получают мед³⁰. Сторицын занимал рассказами о Зозуле. Наконец пошел. Приятно. Там уже перестали нас ждать. Была сестра Юл.Ив., пирог с брюквой. Сидели у печки. Вид провинциальной табачной лавки. Сашенька вышел с нами. Еще теплее. На Вознесенском Сашенька вздыхал, чтобы уехать. У Папаригопуло был Милашевский. Юр. читал дневник. Сергей делал себе гороскоп, очень значительный. Дома был еще свет. Утром чая не пил.

27.000

8 (вторн.)

Не так тепло, как вчера, но ничего. Добежал до Тяпы. Она не спит, в розовом халатике, туфлях на босу ногу, лицо заспанное. Выпил чаю. Деньги в четверг. Заходил по дороге в отдел. Из Тамбова получили письма, там форменное восстание³¹. При-

плелся Мелин, разваливающийся, громогласный и pittoresque. Я зашел в Дом. Саня никакого чая не достал. Забежал в «Петрополь». Книжка разрешена³². Дома ставил сам самовар. Юр. притащил огромную булку и конфет. Написал стихи Пушкину. Холодно спать.

9 (среда),

Наши окна все не оттаивают. Солнца нет и недостаточно тепло. Сiju, как в ватерклозете. Это-то меня и удручает больше холода. Вышел поздно в Дом Ученых. Масло не дали. Хлеб и мед убавили, вместо уксуса дали паршивую горчицу. Задержал меня Святловский. Звал к себе. Я не стоял в очереди, а стригся. Там тепло и уютно, пальцы мои отмороженные отошли. Добежали благополучно. Юр. стал собираться, а к нам пришел [Сашок?]. У него болит живот, и вообще элегичен. Потом пришел Милашевский, по дороге в «Петрополь». Сде[лал] превосходный рисунок к Казотту³³. Сашенька все толкует об обложке к «Вечерам», а те хотят Добужинского³⁴, не знаю, как и сделать. Начали уже пить чай, когда пришел Юр. и через час опять убежал. Сидели, мерзли. Милашевский все мечтает о Саратове, но там востание. Читал им дневник 12-го и 7-го года. Первый суетлив и пустоват, второй очень не плох и даже лиричен. Поел еще до Юр. и лег спать. Вернулся он не поздно. О.Н. подарила нам пудры. Спать холодно очень. К оттепели, что ли?

10 (четверг)

Что же было? Сумрачно и холодно. Денег, очевидно, нет. Читаю «Туннель» Келлермана³⁵. Выходил звонить Тяпе: только в субботу. Был у Блохов. Не очень уютно посидел. Юр. пошел с О.Н. за пайком и к обеду опоздал. Все страшно мерзну и скучно мне до смерти. Вышли в «Петрополь». Там был Милашевский, показывал Казотта. Купили сахару и пили чай. Но не писал я и даже не переводил от скуки и холода. Рано лег спать.

5.600

11 (пятница)

Ходил в союз и взял еще денег. Чай пили у нас О.Н. и неожиданный Лисенков. Я очень волновался относительно пушкинского вечера³⁶. Все было торжественно и тепло. Масса знакомых. Очень было приятно. Кажется, стихи понравились. Видел Зиновия.

37.000

12 (суббота)

Вьюга и солнце. Побежал к Тяпе. Мина Самойловна сегодня едет, вертится дядя с деньгами. Милы и домашни. Вьюга все усиливается. Сидели немного в Доме. Ждал Юр. и заскучал. Главное, что нет чая. Вечером были у В.В. Мухина. В двух комнатах, но милы и уютны. Настряпано и вкусный чай.

20.000

13 (воскресенье)

Опять замерзли окна и 9°. Скучно мне очень. После обеда вышли пить чай в Дом. Сидела с нами Лулу. Прямо пошел в театр с Рождественским. Юр. побрел к Мелину. Вечер у бедняжки свободен. В театре был с Милашевским. Скучно было очень. По временам долетала моя же музыка снизу. На улице масса народу из цирка. Юр. сидит в одеяле. Что потеряно мною, а, м.б., им? Что, что? Скорей бы весна!

15 (понед.)

Юр. болен. Мамаша пропала, наверное попалась с чернилами³⁷. Ходил куда-то. Есть — в Дом. Юр. все лежит и не хочет вставать, и есть не хочет. Насилу уговорил его пойти в Дом. Сидели. Пришел Милашевский, с нами домой. Мамаши все нет. Убогая пугала, что кого-то послали в Чесменскую богадельню на 3 месяца. Чая нет, пили, чуть не плача. На вечере было душно, но ничего³⁸. О.Н. тоже нездорова. Что же с мамашей? Вот так понедельник. Да, был в «Литературе»³⁹, где меня очень плохо встретили, в отделе, продал книги в «Петрополе».

16.000

15 (вторн.)

Мороз. Проспали. Ставили самовар, у мамыши нашли хлеба, луку, крупы, картошки, клюквы, масла, сахару. Всего в микроскопических дозах, как у мыши. Вышли: я в комендатуру, Юр. в лавку. Сказали, что она в больнице. Прошли в Дом, поели, потом в отдел, купили булок и зашли к мамаше. Там светло, чисто, топлено. Завтра выпишется. Юр. успокоился. Стряпали обед. Скоро все поспело. Юр. пошел к О.Н., а у меня сидел Папаригопуло. Читал ему дневник. Насилу дошел до Шпалерной, такой мороз и ветер. Там уже все: 2 Леонида, Кира, Люба и Юр. Разговаривали. Пили чай. Луна светит вовсю.

3.250

16 (среда)

Мороз ужасный, но тихо и солнце. Ходили за пайком. Не последний ли? Мамаша дома. Вечером загрустил. Идти к Радловой далеко и холодно. Пошли к Блохам. Они, кажется, не ждали нас, но было ничего, уютно.

17 (четверг)

Мороз продолжается. Чаю не пил. Рано обедали. От холода не пишу. Дремал, смотря, как на ленивом солнце оттаивают окна. В доме пили чай без памяти. Заходили в «Литературу». Будто выздоровление. Помириться с нею? Прямо пошел в союз. Заседание было уютно, но денег еще не прислали. В сумерках по-гофмановски шел к Исаю, но его не было дома. Домой. Луна светит. От Юр. книжки. Вернулся он не поздно. Читали «Гамлета». Видел чудесные сны. Зодиакальные и эротические.

14.000

18 (пятница)

Мороз, холод в комнатах, больные руки и ноги, замороженные окна, безденежье не позволяют мне работать. Бездействие производит уныние, уныние — протрацию. Выходил в отдел. Там какая-то инспекция бродит. После обеда вышел в Дом: пить чай. Все те же: Голлербах, Сторицын, Канкарович, Мазуркевич. Еще в «Петрополь». Дома попили [*и поели*] сухарей и к Лулу. Там была Августа Натановна. Мороз все стоит.

5.000

19/7 (суббота)

Мороз ужасный. Ходил в союз. Там-то тепло. Получает дочь Направника⁴⁰. Денег еще нет. Вечером заходил Юр. к О.Н., а я к Мандельштамам. Там были гости. Я играл даже. Были милы и было тепло. Холод усиливается.

20.000

20 (воскресенье)

Замерзаю ужасно. Не так это катастрофично, как прошлый год, но делать ничего не могу. Да и обленился. В доме ждал, пока Юр. продавал книжечки. Сторицын чая не достал. Августа дала какой-то, вроде зубного порошку. Вечером вздумали пойти к Сане. У него воспаление легких. Посидели, попили чая. Домой идти будто теплее. А дело-то, дело-то как же?!

21 (понедельник)

Был в отделе. Крючкова не поймал, но Петр Ал. сделал. Юр. был дома. Видел я кучу людей. Совсем степлено на улице, но не в комнатах. Были в Доме. Сидели со Сторицыным. Юр. пошел к О.Н. Я мерз дома. Чаю не пили. У Папаригопуло был Милашевский. Довольно уютно сидели. На минуту выходила даже Варвара Фил[ипповна]. Слухи, что Государь жив и находится в Германии.

25.000

22 (вторник)

Будто холоднее. Ходил в Дом Ученых узнавать о записях и пайке. Пакет кукольный: 1 1/2 ф. рыбы, 1/2 ф. крупы, 1/2 ф. сладостей и т.п. К тому же ответ о дальнейшем из Москвы еще не получен. Везде волнения, бунты, солдаты от голода вешаются, нападают на возы с хлебом. Легенды об Иоанне Кронштадтском, о Николае II, который, будто бы, жив. Вообще, мы опять на пороге каких-то событий. Заходил еще в Литературу. Купил [арабов?] и бумаги. После обеда отправились в Дом. Пили чай. Сторицын кормил нас хлебом с маслом. Зашли еще в «Петрополь». Юр. к О.Н., я домой. Пил чай один и брился. У Мозжухиных тепло, мирно, разговоры об интригах, успехах и т.д. Мирно вернулись. Без меня был Ромашков, через кухню произведший сенсацию.

23 (среда)

Ничего что-то у нас нет. Ходили за пайком. [Наш?] продлен. Всего дали понемножку. Превосходно пили чай с медом и мягким хлебом. О.Н. в Дом не пришла еще. Юр. побежал к ней, а я сидел у Иды Влад[имировны]. Там градусов 20, кошка, каша и чай кипят, книжки, а говорить не о чем. Не поздно вернулись. Тепло.

1.000

24 (четверг)

Что же было? Рано пошел в Дом. Говорил со Сторицыным о дневнике. Конечно, это неприлично и невыгодно, но что же делать?⁴¹ На Васильевском Острове беспорядки и серьезные. Стреляют. Похоже на февраль 1917. Побежал Юр. продавать что-то, а я в «Петрополь». Мирно там посидел. Дома пили чай, занимались немного, пошли часов около 1/2 11 к Кагану; были там Блохи и не очень было весело. События все нарастают⁴². Дай-то Бог, хотя и не верится.

25 (пятница)

Не помню, что было. Вечером сидел долго, ждал Юр., замерзал. Осадное положение. Ходить до 11-ти. Беспорядки не уменьшаются. Что-то будет?

26 (суббота)

Холод возобновился. Едва не замерз, пока ходил в союз. Пальмский и Бентович греются у печки и толкуют о беспорядках. На улицах развешены прокламации. Купил булок. Юр. спал. Он болен. После брюквы побежали в Дом Литераторов⁴³. О.Н. прибрела. Напрасно я поручил Сторицыну дело со своим дневником. Что-то есть стыдное в этом. Юр. пошел проводить Арбенину в театр, я в «Петрополь». Рая сидела, стыдилась и колыхалась. Я даже поцеловал у нее руку. Печально было идти. Читал неважно.

60.000

27 (воскресенье)

Ничего решительно не делаю и не могу делать. Обленился, как дрянь, не знаю, как будем жить. Юр. болен, нервится и на всех бросается. Плохо обедали, но 3 часа сидели в Доме и все время чего-то ели. Вечером пошли к Михальцевой. Играли à 4 mains, чуть-чуть читал Юр. Насилу добежали до 11 часов. Говорят, сегодня решительный день и завтра всеобщая забастовка.

28 (понед.)

С утра ходил в «Петрополь», поговорил с Ноевичем. Ничего. Зашел в лавку, взял хлеб. Юр. все спал. Обедал в постели. Ворвался Сторицын, всучил Юр. 10.000 и у меня просил письма к Кузнецову насчет его статьи⁴⁴. В Доме Юр. устраивал оргию с булочками и трубочками. Сидел я там до бесконечности. Занимали меня и Рославлева, и Августа, и Голлербах, и Г.Иванов. Провожали О.Н., [растратились?]. Поговорил и с Каганом насчет дневника. У Сани денег, конечно, нет и неизвестно, когда. Тает.

10.000

Март 1921

1 (вторник)

Солнце и тает. Рано были в Доме. Потом в «Петрополе». Послал Юр. продавать, сам сидел с О.Н. и Сторицыным. С дневником сделано. Слава Богу, покупают Яков Ноевич и Абрам Саулыч. Прислали корректуры «Александрийских песен», и принес

Абрам Саулович снимки с Сомова. Встретил Лавровского и продал ему «Картинки». Вечером читал в Доме для студентов. Дикая какая-то публика.

58.000

2 (среда)

Утром было темно и холодно, потом стало таять. Юр. вскочил рано, так что к ученым попали до 12-ти. Там видели Радловых, Ремизова, Карсавина, Боянуса, Пунина и т.п. Юр. бегал еще за булочками и папиросами. Все-таки поперлись в Дом. Два раза был в «Петрополе», но Кагана не видел. К нам пришел Беленсон и Обневский. Последний за «Картинками», второй [Беленсон] надоедал о «Стрельце»⁴⁵. Еще Папаригопуло. Юр. долго не шел. У Блохов все прибрано. Ужинали, беседовали. Волнения, кажется, еще далеко не ликвидированы. В комнатах тепло.

20.000

3 (четверг)

Вот так дела! Неужели исторический день? Пошел за хлебом, хлеба нет, но осадное положение и выступление генерала Козловского. Говорят, в Кронштадте Савинков* и Верховский⁴⁶. Никакого отпора, кроме арестов и заложников, не предвидится. Бегу домой, но Юр. сегодня очень кисел. В Доме пусто, говорят тихо, радуются. Говорил о дневнике в «Петрополисе». Кажется, это устроится. Господи, благослови! Хотя у меня впечатление, будто я отрезаю часть тела. Поплелся на Николаевскую. Опоздал. Слухи и там. Погода разгуливается. Думал, что вечером поработаю, но мало делал. Без меня был Папаригопуло: Сахар перекладывает визит к ней на 5 час., по-осадному. Спать тепло, даже жарко.

17.000

4 (пятница)

Холоднее и яснее. Точных сведений никаких. Соединились ли они с Финляндией? Господи, помоги нам. Рано обедали, но Юр. топтался все-таки. Сторицын исчез куда-то. Чай у нас вышел весь. «Петрополис» согласился, но даже первые деньги не скоро. Саня ничего не шлет. Из Политпросвета приходили за переводами. Чудаки! Какую теперь «Карманьолу»? У Сахар были Папаригопуло, Евреинов, Чуковский и Нашатырь. Все веселы. [Нрзб.] кучей возвращались. Идем мимо «Привала»⁴⁷. Юр. говорит, что

* У Кузмина — Савенков.

Вера Александровна скоро приедет, как вдруг бежит Алеша: «Вера Александровна уже здесь». Алеша маленький, ласковый, милая мордочка. Я был очень рад его видеть. Дома не очень хорошо сидели. Я что-то загрустил. Но неужели мы на пороге и Пасха будет Пасхой настоящей?

5 (суббота)

Слухи то печальные, то радостные. По-настоящему ничего не известно. С утра пошел в «Петрополь». Сидел тихонько, помогал Елене Исааковне. Я очень люблю утренние лавки. Юр. еще спал; обедал в постели. Потом вышел. Я сидел в Доме. Уже и О.Н. пришла, и Сторицын явился, а Юр. все не было. Пошли проводить Арбенину. На рынке Юр. застрял. У Войтинской были гости, еще 2 [инженера?]. Наготовлено. Звонил Рославлевой. Ужасный ветер. Крыша трещит. Ничего не делаю.

35.000

6 (воскресенье)

Ужасная погода. Бегал за булками, но достал только хлеба. Были у Рославлевой, у ней гости, чай, пироги, окна на светлый запад. Бежали домой без памяти, но чаю она дала мне копорского⁴⁸, увы.

7 (понедельник)

Теплее, но не тает. Ультиматум Кронштадту отложен. Говорят, их дела плохи, никакой Финляндии и Антанты за ними нет. Сидел дома, но ничего не делал. Эта бездеятельность удручает, развращает и тяготит меня до смерти. Юр. бегал, продавал книги. У Папаригопуло было довольно скучно. Был Милашевский и Лисенков. На обратном пути шел с нами Чуковский и разводил панику⁴⁹. Скучно мне до смерти. Были будто пушки, но какое имеет это значение? Хотел бы я в теплом, уютном доме выздоравливать после долгой болезни, и чтобы была весна, масленица и пост. Сколько лет, как спим мы!? Спать было не холодно.

8 (вторник)

Солнце и мороз. Выбегал за хлебом. Вдали палят. Слава Богу, значит, не сдались. После обеда отправился в Дом Ученых; продукты отложены на неопределенное время. Верно, все отдали рабочим. Сволочи эти рабочие были, есть и всегда будут. По Фонтанке тепло, тепло. В Доме Литераторов долго ждал Юр. Яков

Ноевич просьбу мою отклонил, и вообще ничего у нас нет. Дома пили пустой чай и читали «Кота Мурра», но настроение и мое, и Юрочкино, кажется, немного лучше, хотя вообще-то я не знаю, что мы будем делать. На Кронштадт я почему-то не надеюсь, но, конечно, скоро им конец. Неужели еще до Пасхи?!

9 (среда)

Утром ходил в союз. Там тепло и уютно. Купил папирос и булок. Мамашу откомандировали за картошкой. Очень волнуюсь с Кронштадтом, и не надеюсь, и верю, что это начало. Только бы не выдумывали там какого-нибудь социализма.

10 (четверг)

Холодно. Утром ходил за хлебом, но не получил его. Шел с Эйхенбаумом. Что же еще? Конечно, были в Доме. Очень голодно. Продали 2 «Картинки» и раму. Все волнуются. Юр. купил еще хлебцев. Был Милашевский.

24.000

11 (пятница)

Солнце. Чудесный день. Ходил за хлебом. С утра ничего не ели, обеда бедная мамаша не делала. Бранил бедного Юр., что он не встает. Пришел в Дом в 3 часа. С Кронштадтом хорошо. Надежда Александровна угощала меня конфетками и хлебом с маслом. Вышел в «Петрополь». Не очень хорошо мне устроили. Мамашу встретил на лестнице. Палят овсю. Опять в Дом. Встретил Лулу, полна надежд. Сторицын ораторствовал. Домой. Мамаша достала тоже хлеба, купила муки и [масла?]. Юр. пришел с Оленькой. Наташил сахару, булочек, папирос. Во время чая пришла Тяпа. Мила до чрезвычайности, хочет и то, и другое, и третье. Я был очень рад ее видеть. Вечером ели блинчики. Чувствовал себя не плохо, но лег спать рано. Болела голова ночью. Все сны про белых. Тяпа тоже думает уехать, уговаривает и меня.

50.000

12 (суббота)

Чудесная погода. Юр. сидел в Доме, я же пошел к Сане; встретил его на Троицкой и Кагана. Не знали, как быть, хотя откуда-то добыли денег. Вечером был Милашевский. Ясно, тает, палят вдали, но не тот воздух, что мне предчувствовался всегда. Будто бы Дмитрий Павлович⁵⁰ кандидат на престол. У Беленсонов ничего. Сначала уступая какому-то врожденному по отношению

именно к нему садизму, я спорил с ним, потом разговорились мирно. Не помню, зачем-то я ползал еще в «Петрополь». Вечером писал о Сомове⁵¹. Юр. очень понравилось.

13 (воскресенье)

Чудесная погода. Кагана не застал. И в «Петрополисе» никого не было. Юр. встал, пошел в Дом. Потом я к Абраму Сауловичу; дождался, разговаривая с его женой и мальчиком. Юр. ждал меня в Доме. Пошел я домой. Бедная мамаша чистит лед. Посидев, отправился к Войтинской. У нее затеяны блины. Пришел я рано. Дома ели лапшу. Я очень рад, написав статейку, но не следует закисать на этом. Саня занес денежки.

60.000

14 (понедельник)

Юр. совсем болен, нервится, плачет, сам не свой. Я заходил в «Петрополь», купил Юр. книжки. Он пришел с О.Н., ничего, успокоился. Что с ним, с беднягой? Любовные ссоры, что? Встал он довольно поздно. Вечером почитал ему свой дневник. Сухо все это очень написано. Спать было тепло, даже жарко.

15 (вторник)

Туман и холод, стрельба прекратилась. Это молчание ужасно. Послал Юр. в «Петрополь», сам отправился на Мильонную. Нам завтра дают [наек], но микроскопический. Юр. еще не было, но скоро пришел с деньгами. В Доме посидели и отправились к Ховину; много книг, но интересных мало, и все очень дорого. Я зашел домой. Подремал. Заходил Вас.Вас. Мухин, перекладывает нас на субботу. У О[льги] Иоанн[овны] было собрание. Совсем светло. Говорили довольно жутко о хороших вещах. Сведения о Кронштадте довольно невероятные. Будто бы в государи прочат Романа Петровича. Никто о нем даже и не думал. Кирилла Владимировича даже в Париж не пускали за его путешествие в Думу в 17 году⁵². До навигации едва ли будут перемены, кроме вероятного голода у нас. Под вечер совсем разъяснилось. Закат был прелестен, молодой месяц, звезды, но дома было темно, холодно и скучно.

40.000

16 (среда)

С утра туман, рассеивающийся часам к 6. Вечера, когда нужно посидеть дома, прелестны. Побрел один на Мильонную. Оче-

редь адская. Приходила Вероника Карловна. Юр. все-таки послал ее, но я отправил обратно. Стоял с профессорскими кухарками. Разговоры о говеньи, кушаньях, о близком будущем, о Пасхе. Домой пришел. Юр. еще дома. Поели, попили чаю. В Доме упился чаем. Зашел в «Петрополь»: там Стрельников, Ег. Иванов, etc. «Картинок» не дождался и пришел домой вместе с Юр. Хорошо сидели, переби[рали] книги. Спать хорошо, тепло. Рано начали палить, но не понимаю: красные или белые. Подарили мне тетрадку.

17 (четверг)

Странный день. Солнце, тает, палят ужасно. Говорят, привезли тяжелые орудия из Кременчуга и они палят с Крестовского без бетонных площадок. Решено во что бы то ни стало взять Кронштадт. Самое фантастическое предприятие: идти в белых балахонах с лестницами через лед. Какие-то пунические войны. Днем распространился слух, что Кронштадт пал. Ватсон рыдала, Червинская, Наденька, Оленька расстроились. Жида цветут: Сторицын, Саня — отошел призрак погрома. Какие дети! или это легкомыслие отчаяния? Потом оказались эти слухи вздорными. Пальба продолжается. Встретили Юру, обещали зайти, но не успели. Достал чай и «Картинки». Голова болит. Лежал в солнечной комнате. Как давно не было у нас чая. Он пьянит и подбодряет мысли. Вечером сидели. Голова не совсем еще прошла. Пальба стихла. Это меня всегда пугает теперь.

26.000

18 (пятница)

Кажется, действительно Кронштадт пал. Оптимисты что-то еще соображают, но дело, увы, ясно. Мое предчувствие от этого не колеблется. Я не надеялся специально на этот случай, и уж конечно не хотел бы, чтобы восстановление престола произошло от рабочих забастовок. Пальбы нет, город как вымер. Выбегал за булками на рынок. После обеда пошел в Дом. Все унылы. Но ликования нет. И действительно, говорится смутно. Мне противно ходить в дырявых калошах и в еще более дырявых башмаках. Но чай действует и энергия прибывает. Или это гипноз, не все ли, в сущности, равно? Но рассказ мне еще смутен, как слепому щенку, не знаю, можно ли пускаться с таким багажом. Были у кумы⁵³. Внизу живет баронесса, отношения натянуты. Вертится Федорович, на посылках. Что это: новый роман? Одобряю более, чем эту балалайку — Луначарского. Он красив, стро-

ен и марциален*. Мальчики милы. По-старому; пекут, жарят телятину, пьют чай с пасхой. К вечеру опять прелестная погода. Звезды и месяц. Подморозило. Юр. побежал вперед. Я тихо шел, внутри было очень тепло. Дома прекрасно посидели.

20.000

19 (суббота)

Да, все кончено на этот раз. Даже говорить никому не хочется. Ну что же, подождем. Но какой подлый народ. Нет, его спасет только отсутствие надолго, даже в дурацких мечтаниях, каких бы то ни было «советов». Имянины бедного Юр. Еда у нас неважная. Он даже не совсем здоров. В Доме Оленька уже сидела. Сидели с нами Берта и Червинская, потом Саня, Сторицын. Наверху заседание; их теперь кормят обедами, бульоном, пирожками. Солнце отличное. Заходил я в «Петрополь». Там Гумм предлагает свои *orega omnia***, Яков Ноевич говорил и со мной об этом же, но как это устроить, я не знаю: и у Михайлова, и у Гржебина*** это накрепко⁵⁴. Собрать свои *dissecta membra***** — дело нелегкое. Оленька пила чай у нас. Я очень люблю, когда она бывает у нас. Все не могу приступить к рассказу.

20.000

20 (воскресенье)

Солнце. Все кончено. Опять советская ляпка. Многие довольны покоем, театрами, снятием осадного положения. Боязнь перемен, как у больного насмерть человека; цепляются за призрак жизни. Юр. что-то болтал о «Петрополисе», истратив все деньги, но выползли мы только часа в четыре. Немного повздорили. В «Петрополисе» была одна Надина⁵⁵. Юр. сидел в Доме. Я пошел прямо к Блохам, Юр. — погулять. Там хорошо. Каган полон заграничных планов. Хочет и меня, и Сомова издавать. Мне дали корректуры и Пиля⁵⁶. Был Боянус. Кормил меня ужином. Разговоры домашние. Юр. был, конечно, дома. Сидел, голубок, с угасшим самоваром, без папирос. Опять немного колюче поговорили. Потом обошлось. Лег не очень поздно. Что-то будет вообще?

10.000

21 (понедельник)

Не помню, что было. Продали «Картинки» Вере Александровне. О.Ник. провожала нас. Юр. один забегал в «Привал».

* воинственен (от лат. *marcial*).

** полное собрание (лат.).

*** У Кузмина — Гжебина.

**** разъятые члены (лат.)

У Папаригопуло было ничего себе. У мамыши сидели Долиновы и вызывали Милашевского. Веру Александровну встретил, но деньги она дала.

40.000

22 (вторник)

Вот и осадное положение снято, и театры открываются. Я совсем не рад этому. Ходил в союз, но денег там нет. Юр. зауныл. В Доме было ничего. Прошелся с Сологубом. Ольга Афанасьевна вернулась. К нам пришел Кузнецов, Милашевский и Ольга Ник. Было весело, будто все в порядке. Юр. читал рассказ. Так как сегодня пекли кое-что из муки, то было мало. Вечером еще придумали овсяные лепешки. Рад, что написал о Радловой⁵⁷. Мамаша достала дров.

23/10 (среда)

С утра был дождь и снег. Потом прелестная погода. Мамаша пошла в костел и вернулась. Но за пайком идти было не катастрофично. Устал, наверно, бедный Юр. Он продолжает роман с такой же маэстрией. Дал мне письмо О.Н., из которого увидел я, как она меня любит. Встретили массу людей: Крючкова, Голубева, Горького, Добужинского, Блоха, Лозинского и т.п. Торопился из Дома Литераторов в «Петрополис». Послал Юр. за сахаром. А ко мне пришел Папаригопуло звать к Сахар и передать поручение от Коли Петера насчет «12-й ночи»⁵⁸. Какой-то Гайдн и Моцарт преследуют меня. Играл немного «Оберона»⁵⁹. Пили чай и вместе с Борисом Владимировичем отправились. Кума поджидала нас и была рада, мальчики тоже, тесно, но уютно. К Норе попали часов в 11. Там захламлено как-то; едет она в Париж. Луна светит без памяти. Чудесный вид. Наши еще посидели. Юр. даже долго. Какие подлые люди, обрадовались, что можно по вечерам ходить!

100.000

24/11 (четверг)

Такая уже установилась погода: с утра мерзопакость, разгуливается к 4 часам и вечера приличны. Из Дому со мною пришла О.Н. Потом явился Милашевский, как прежде очень мил. Хорошо посидели. Играл я «Забаву»⁶⁰, ели макароны. Но на меня находит какой-то туман: от Бутомо-Названовой, отчего? — не знаю. А главное: ну, этот апрель будут кое-какие деньги, а потом?

25/12 (пятница)

Денег, конечно, уже нет. К Бутомо не пошел. Это несколько меня утешило. В Доме был Коля Щербаков с нами. После чая и Юр. ушел пить спирт к О.Н. Я скучал немного. Погода опять к вечеру разгулялась. Гонят меня завтра на репетицию Гольдони⁶¹. Войтинская отмечает воскресенье, Саня зовет. Вообще, дезгардьяж какой-то. Все это очень меня расстраивает. Мечтали с мамашей, какие были Пасхи прежде. Живем, как поросята.

26/13 (суббота)

Утром солнечным и холодным ходил в «Петрополь». Взял «Картинки». Зашел домой, потом в союз. Деньги получены. Потом в отдел. Получил духи. Сторицын приставал чего-то. Дома Юр. был рад. Сидели поздно в Доме, так что зайдя к Ховину, прямо пошел в театр. Масса знакомых и дел. И Бриан, и Радлов, и Бутомо, и Замятин*. Смотрел с большим удовольствием, хотя и скучал об Юр. идя в солнечный день в театр. Сегодня слухи, что арестованы все Каннегисеры, Мандельштам, Штильман. Юр. и О.Н. даже струхнули. Шел из театра с Рейн. У кумы Юр. еще нет. Сами они расстроены, хотя и милы. Ждали, ждали, я уж начал беспокоиться. И мальчики тоже. Когда он пришел, все радовались. Домой идти темно было. Дома отлично лег спать. По утрам от чая у меня не только хорошее, но какое-то даже экзотическое настроение.

105.000

27 (воскресенье)

Все-таки праздничное настроение есть. Сам ставил самовар. Мамаша в белом чепчике принесла кусочки освященной булки. Обед был скверный. Побежали все-таки в Дом. О.Н. там уже. Тепло, солнце и тает. Зашли к Оленьке. Там Нора и потом пришла Ахматова. Звонили к ней Сологубы. Отвык я от нее немного. Приятно шли по Фонтанке. Встретили Саню, вышел он пройтись. Но дома у них кроме чая и булочек ничего интересного не было. Юр. сцепился с Сергеем, я играл скучного Гайдна. Домой идти было страшно темно и грязно. Юр. все раскрашивает. Утром был у нас Беленсон. Сплетничал о Ремизове и расстроил Юр. Сидели долго. Я писал в это время отчет о спектакле. К вечеру я скис немного.

* У Кузмина — Замятин.

28 (понедельник)

Луна больна и ущебает, поздно встает и беспокоит. И наши силы вместе с нею расстроены и беспомощны: Юр. ничего не может делать, я тоже. А дела по горло, и спешного, и даже выгодного, и даже без которого трудно обойтись, а я ленюсь и бездействую. Позорно и ужасно. Никуда не выходил до Дома. Заходил инженер за «Картинками», за статьей. Гумм и Одоевцева, очевидно, прочитали про Радлову и дошло по адресу, судя по их обращению⁶². Врагов наживу. Но бояться врагов — не жить. Заходила бедная Марья Абрамовна, хочет обратиться к Горькому⁶³. Заходил еще в «Петрополис». Корректуры есть. Денег у них мало, никто не покупает, все продают. Саня тоже денег не привез, только пристаёт с Ионовым. Встретил Либину, проводшую все это время в Кронштадте. Все не так, как писали и как мы думали. Это была вспышка народного негодования с низов. Пили дома хороший чай. Потом на Марсово. Вера Александровна была в банке, в сокращенном виде, недовольна и нервна, но не надута. Пришли потом Бебут и Коля. Мальчишки прелестны, конечно. Владек тихо и воспитанно сидит и двигается по хозяйству, стройный и тихий. Дома я красил, Юр. расстроился, зачем он устал и не может писать романа. «А я-то, я-то, я-то, я-то!»

24.000

29/16 (вторник)

Юр. остался дома, а я отправился в дальний путь к Сашеньке. Погода чудесная, жалко, что не вместе идем. Собственно говоря, идти было гораздо приятнее, чем сидеть на Рижском, хотя там мило по-прежнему. Сашенька поправляется. Была его сестра, рассказывала о Вырице: тронулись реки, прилетели жаворонки и скворцы и т.п. Идя по солнцу всю дорогу, получил мигрень. Дома был Юр. и О.Н., чем-то смутились, никуда он не ходил по делам, я ворчал, кажется. Пошли они купить к чаю кое-чего. Пришел Милашевский и братья Папаригопуло. Потом вернулись и наши побродяжки. У меня очень болела голова, пил чай без аппетита и потом лег на мамашину кровать. Давно уж не болела так голова. Гостям было весело. Владимир Алексеевич и Сережа грохотали, пищала О.Н., Юр. ораторствовал. Все доносилось, как сквозь воду. Юр. не заходил. Потом мамаша сделала постель. Накурено страшно и холодно. Вдруг, часа в два, просыпаюсь — голова свежа. Поел картошки и сладко уснул.

30/17 (среда)

Выспался чудесно. Голова — пустая. Погода скверная. Ходили за пайком. Потом в Дом. Я еще в «Петрополь» за «Картинками» и к Войтинской. Пообедали и сидели недолго. Дома у нас творог и масло. О.Н. страшно расстроилась гороскопом. Утром был Саня. Вечером хорошо сидели, хотя дела, дела, дела меня пугают. Юр. побыл сам.

30.000

31 (четверг)

Юр. еще спал, когда явился Сашенька. Положим, это было уже во втором часу, я уже вернулся из отдела, где видел разных лиц. Сашенька явился ласковым, но у нас, как всегда при нем, поднялась пальба из-за обеда. Насилу отвоевали себе жареной каши и ушли в Дом. Случайно сидела там уже О.Н. Потом я, зайдя к Ховину и взяв немецкие книги, отправился на заседание. Жалованья там не давали. Я дремал. Все говорят о свободной торговле, но в Ораниенбауме опять какой-то бунт. Дома сидели уже Юр. и Ол. Первый побежал за сахаром. О.Н. долго сидела. Скучно читали чего-то. Юр. пошел ее проводить. Мамаша ворчала и проклинала, зачем «голый и босый хлопец» провожает в 2 ч. ночи такую «корову», что это ей, Веронике Карловне для мучения и потери здоровья из пекла прислана такая (к сожалению, не могла сказать, что «жидувка»). Я в прострации. А рассказ-то? Беленсон, наверное, завтра прилетит.

Апрель 1921

1 (пятница)

Не помню уже, что было. Ничего у нас нет. Ходил в «Петрополь», застал Якова Ноевича. Взял 1 «Картинку» и кассу. В Дом пришли рано. Мамаша не ворчит. Еще раз зашел в «Петрополь». Оставил деньги Юр. и пошел на заседание. У Лозинского последние вещи D'Appunzio⁶⁴. Работы представляется масса везде, а я как байбак. Вечером писал ноты.

50.000

2 (суббота)

Чудесный день. Ничего у нас нет. Была пальба с мамашей. Высунулись в 5-м часу. Юр. послал меня к куме. Мила, кормила меня блинами. Владек мрачен. Сидел Бебут. Дети идут на «Пав-

ла»⁶⁵. Денег нет. Ко мне заходил Беленсон с находкой. Взял. Никаких денег нет, конечно. Мил и душевен. Притащил «Милицонера», паршивец⁶⁶. У Ноевича уже заседали Боянус и Каган. Весело и делово. Юр. прибежал поздно. Но какая погода! Вторую ночь со мной или Юр. маленький грех, так что я встаю мокрый по горло.

3 (воскресенье)

Утром взял. Нет, это было завтра⁶⁷. Сегодня были у Радловой, потащили и Оленьку. Там был Покровский и Альтман. Читали стихи. Пироги были. Сидели ничего себе.

20.000

4 (понед.)

С утра (относительно) был в союзе, взял аванс. Купил булочек и папирос. Вечером поздно ходил к Папаригопуло. Сережа совсем спятил, басит и грубит до [отказу?]. Была танцовщица, которую рисовал Милашевский и гусарил. Мамаша все-таки не вылезла. Это так теперь заведено. Идти было темно.

40.000

5 (вторник)

Что-то не помню хорошенько, что было. Болтались бесчинно. Приволокся еще Мелин, а Юр. убежал. Потом я пошел в Дом. Там сидел до бесконечности. Потом О.Н. у нас пила чай. Вечером сидели без толку у кумы, у которой нет денег. Торчал Бебут. Ужином нас не кормили. Идти было темно. У меня болит живот и ничего я не делаю.

6 (среда)

Какое-то беспокойство в душе. В Доме Ученых ничего не дали и не прикрепили, т.к. списки еще не получены, а Волковыский говорит, что не только новых не утвердили, но и старых вычеркнули⁶⁸. Юр. прибежал, забрал хлеб и ушел. Тепло и сумрачно. Ни Беленсон, ни Лавровский, ни посланные от кумы не приходили. Юр. ушел вечером. Я писал музыку. Мамаша все беспокоилась. Ужасная тоска нападает на меня. Не знаю сам, отчего. Пьем последний чай.

7 (четверг)

Что же было? Дождь. Все пишу музыку. Ходил за перьями к Блоху, они в кооперативе. Пробовал в лавку — заперта. В Дом

приходил Мухин, взял «Картинок», но деньги завтра. Саня принес немножко. В «Петрополисе» разные кредиторы. Но мне дали. Дома сидел уже Милашевский. Рисовал Юр[очку], все-таки непохоже. Вечером у Михальцевой. Был там Моргенштерн. Музыканты не пришли. Юр. читал роман, потом Кира Ал. пела *bergeronnetta*.

105.000

8 (пятница)

Должно было быть затмение, но его не было. Сумрачно, а потом стало не холодно и ясно. Ходил в театр и на Мильонную. Получил костюм. Юр. еще спит. Я ворчал на него как-то даже ночью. Чувствую себя отвратительно. Обилие дел, отсутствие денег, или что еще, действуют на меня плохо. Видел Шкловского и Евреинова. В Дом пошел без Юр., который побежал с опозданием к Михальцевой. Пил, ел. Пришла О.Н., потом Ег.Иванов, звать на вечер. Говорит, что Радлова будет читать, если я буду. Юр. купил чаю (!!) и растратился. Я страшно обрадовался, а он оказался копорским. На заседании была Евдокия Петровна. Смотрел опять книги Д'Аннунцио. У окна конторка и редактирование испанского романа. А у нас целый клуб: Тяпа, Анна Дмитриевна и братья Папаригопуло. Все милы, но денег у нас ни гроша и чай копорский. Все курят самокрутки, так что от дыма ничего не видно. Отворяю форточку, еще холодно. Ужасно. Выбегал к Беленсону — нет дома. Домой. Не помню, как досидел до ухода гостей и лег спать; ну, а завтра что же?

9 (суббота)

Что же было? С утра заходил к Беленсону. Сидит там Кузнецов. Денег обещал вечером. Со «Стрельцом» возня. Еще где-то был. Вечером пошли к Ольге Афанасьевне. Она с Лурье и Ахматовой пошла к Сологубам. У Веры Александровны нас не приняли. Мальчишки бегают, как мышки, накрыт обед. Печально пошли домой. Голова болит. Явился Беленсон, но принес всего 25.

25.000

10 (воскресенье)

Чудесная погода, но я проспал до возвращения мамы; слегка болела голова. Юр. вскочил рано и не в духе от рваных сапог. Дома не ели, а пошли блуждать. В Доме, в «Петрополе» купил я об Д'Аннунцио и подарили мне Vollmöbeller'a⁶⁹. Опять в Дом. Там Юр. сцепился с Нельдихеном, а я отправился к Войтинской.

Она торопилась в деревню за продуктами, надела сапоги и халат, дообедывали без нее. Все-таки пошли и к Сане. Там была прекрасная пьянистка, большевичка, о которой рассказывала нам О.Н. Засветло, что теперь не мудрено⁷⁰, пошли на Шпалерную. Там было мило. Толковали о «Голубом круге»⁷¹, философствовали. D'Annunzio и издания немецкого модерниста возбудили желание писать. Чтобы самому относиться к своим писаниям с аппетитом и любовью, нужно благоустроенное житье, обеспеченная еда и чай, светлая теплая комната, книги, вещи, возможность путешествий и отличные канцелярские принадлежности. Написанные торопясь, кое-как, на отвратительных клочках, впроголодь, оборванцами — как они могут быть интересны? Конечно, это глупая слабость, но вот она у меня есть. Я совершенно не имею вкусов пролетарских, аскетических или богемных, хотя волею судьбы и вел все почти время именно такую жизнь. Конечно, никакого Беленсона не было. Письмо от Петникова. Чудак, еще пишет письма, будто мы находимся в мире.

11 (понедельник)

Утром ходил за деньгами. Купил Гетнера^{72*}. Юр. доволен. Не помню, где мы были. Пришел Милашевский и была О.Н., потом вдруг Оленька с Лурье. Он не исправился после отставки⁷³. Она мила, хотя и нездорова. Гумм долбил голову петрополитанцам и требовал соли за стихи немедленно. Утром был еще у Беленсона.

30.000

12 (вторник)

Не помню, что было с утра. Денег нет. Вечером были у Тяпы. Они уже сидели за чаем. Были Радловы, Чудовский и Бай. Крайне мило. Подарили мне 2 альманаха с Ходовецким⁷⁴. Приятно было так далеко ходить. Да, Беленсон утром меня не принял, а потом деньги прислал все-таки.

18.000

13 (среда)

Голодновато, но легко. Ни слова, ни строчки не написал. С утра зашел в «Петрополь», потом к Лавровскому. Он хотел всучить мне копорского чая, показывал какой-то хлам, болтал, был почтительно и лирично циничен. Юр. сошел бы с ума. Но попил у него чая и поел хлеба с маслом. Опять в «Петрополис»,

* У Кузмина — Гетнера.

и вместе с Ноевичем отправились на Милльонную. Там еще не прикрепляют. Яков Ноевич отдал мне свой хлеб. Абордировал нас безумный Пяст, но мы уклонились. Говорили о книгах, о соединении с «Записками Мечтателей»⁹⁵, о Гумме и т.п. Дома поели и попали в Дом в половине пятого. О.Н. уговорила Юр. идти на «Слугу двух господ». Я посидел немного и пошел к Юдовским*. Ипполит обвязал голову и не был особенно интересен, сам папильонничал вкривь и вкось, болтал, врал. Совершенно не знаю, о чем говорить с ними, так это далеко. И неуютно, и не равноправно. Тепло на улице. Юр. дома. Пили настоящий чай отлично. Что-то меняется в жизни.

5.000

14 (четверг)

Мамаша пропала. Утром был в «Петрополисе». Обедали в Доме. И я поплелся под дождем на Николаевскую. Там выдали жалованье. Прошелся по Лиговке. Все продают. Дома обед. Мамаша продала жилетки. Попили и были у Исаея Бенедиктовича. Он еще не вполне опомнился, хотя и хорохорится⁷⁶. Домой пришли засветло.

35.000

15 (пятница)

Долго писал музыку. Поели жареной картошки и пошли в Дом. был уже 4-й час. Юр. бегал куда-то. Все дожди. Зашел домой, потом в «Петрополис». Там Сергей А. Львов угощает орехами. Платили жалованье. Мне что-то не полагается. Заседание было ничего себе, интересно, но Ноевич будто надут слегка. Пошел за папиросами, попал под дождь. Юр., оказывается, заходил домой. Я поел и пил чай. Юр. вернулся рано. Концерт отменен. Выплыть бы с музыкой и рассказом.

30.000

16 (суббота)

Никуда ходить не надо, а я ничего не делаю. Все читал «Mercure de France». Бесплодно возбужден к жизни. Ели оладьи. В Доме долго топтались. Разные люди. Пили чай. У Ольги Афанасьевны [нрзб.] ноты, книги, пирог с кашей, но Артур все-таки какой-то поросенок. Юр. читал роман. Ночью голова заболела.

25.000

* У Кузмина — Юдновским.

17 (воскресенье)

Целый день болит голова, с ночи. И идет дождь, и ничего у нас нет, и вышел чай. И еще что-то. И не работаю. И Юр. сердится, зачем у меня болит голова. Все-таки сидели в Доме. Потом я спал дома. Потом поплелись к Бурцеву. Он в пальто, был в церкви, на аукционе, спал и теперь пьет чай. Жена, в соседней комнате дети: какие-то рослые, розовые молодцы в форме. У него масонские книги, уютные разговоры; Ходовецкий мой жив. У Михальцевых был урок. Потом Юр. читал роман, длинный Леонид свои стихи, играли Моцарта à 4 mains и пили чай. Если бы нормально писать, в день нетрудно было бы делать по $\frac{1}{8}$ листа, 4 листа в месяц, 48 листов в год. О-го! А почему этого нельзя? я не знаю. Голова прошла, но как мы будем жить?

18 (понедельник)

Почти душно и сумрачно. Писал музыку. Ходил в «Петрополь». Там уборка и дым. На Николаевской ничего. В Михайловском театре предполагается «Zauberflöte»⁷⁷ — вот так. Купил папирос и булочку. Есть не хочется. В Доме посидели. Юр. выбежал и купил чаю, настоящего на этот раз. Слава Богу. О.Н. передавала мнение Гумма о легкости моего пера. Выбегал еще раз в «Петрополь». Встретил наших. Юр. побегал на угол. Юр. читал роман, я переписывал. Вместе вышли. Сильный и душный ветер. У канавы мальчики Веры Александровны играют с кроликами. Серые зверюшки милы, как мыши. У Папаригопуло накурено ужасно. Был Милашевский и Радлова. Литературные дразги и сплетни. Она мила, но всецело наполнена собою. Впрочем, это естественно. «Эхо» разрешили⁷⁸. Какие-то планы у Юр. насчет лавки. Голова чуть-чуть болела. Взял «Элегии» Д'Аннунцио.

19 (вторник)

Все писал ноты. Не пошел в театр и вечером. Это меня гложет. Юр. достал денег. Пили чай. О.Н. купила мне Моршнера⁷⁹. Юр. пошел к ней. За мной пришел Лавровский. Угощал меня салом и сыром и рассказывал гадости про всех своих друзей и знакомых. Вот человек! Скучно, что он хочет привязаться к Милашевскому, для чего придет к нам в четверг. Луна и тепло, будто лето. Вот и лето, ну и что же?

24.000

20 (среда)

Целый день теплый дождь. Поплелись на Мильонную: все еще ничего нет и нас не прикрепили. Зашли в Дом, поели. Дома Юр. спал. Мамаша что-то сколдовала и устроила обед. Я писал оркестровку. Юр. побежал к О.Н., я в «Петрополь». Был там и Саня, и Г.Иванов, с которым я /советовался/ объяснялся по поводу «Цеха». О.Н. и Юр. прибежали, хотят идти на вечер поэтов⁸⁰. Я посидел дома и переждал дождь. Потом разгулялось. Погода не освежилась, не гофмановская. У Ноевича ничего, уютно. Мирно посидели и вернулся домой. Юр. только что пришел. Чего-то мне тревожно: дела, деньги, завтрашние гости, сапоги, большевики и т.п. Ах, как трудно мне. До 22[-го] года трудно будет дожить. Да и теперь, как я буду работать, так обленившись, так опустившись за последнее время?

30.000

21 (четверг)

Оркеструю. Темно. К дождю. Мне очень смутно и скучно. Вернулся и долго ждал Юр., со скукой думая, что придет этот дурашливый Лавровский и даже Милашевский. Владимир Алексеевич пришел с хлебом. У нас ничего нет, а архивариус поздно. Орал, развязничал, сидел, сидел. Юр. чем-то расстроен: говорит, что живот болит, но это более душевное. Боже мой, что же с нами будет? Начались клопы — предвестники лета. Все меня удручает и пугает.

22 (пятница)

Не помню, что. Юр. продавал, что ли? Вечером были у девиц Лавровского. Почтительно и несколько скучно. Угощали хорошо, трогательно. Лавровский сидел пашой и капризничал. Юр. писал ночью.

2.500

23 (суббота)

Чудесно на дворе. Я совсем не помню, как таял снег при солнце, я прошлый год помню, хождение к Зиновию и т.п. Все оркестровал. Мамаша долго продавала что-то. В «Петрополе» я усыпал, и все-таки досидел до денег. Там по-праздничному. Яков Ноевич дремлет, Елена Исааковна ходит греться на улицу. Принесли «Подорожник» и «Эписин»⁸¹. Юр. после чая пошел. Я хорошо писал, но света не дали. Ясно представилось безнадежное лето. Я все распродал, что возможно. А дальше как?

19.000

24 (воскресенье)

Еле успели пообедать и я пошел на собрание. Там всякие ихтиозавры, вроде Дейча, нападали на «Петрополь» за Ренье⁸², за меня; я попал в футуристы и, конечно, в порнографы. Юр. пошел на Равеля. Пили чай у нас с Ол.Н. Я писал стихи, присылали за оркестровкой.

30.000

25 (12) (понедельник)

Жарко. Утром ходил в Малый театр. Там не знали еще, что корректура сдана. Беседовали мирно. Не знаю только, когда деньги. Заходил в отдел, но, увидя Беленсона, убежал. Дома мамыши нет. Юр. встал. Пошли в Дом, потом опять в отдел. Купили кое-чего. Дома мамаша кормила нас. Я писал музыку. Вышел с Юр. опять в Дом, потом в «Петрополь». Там еще полны вчерашним собранием. Гум долбил чего-то. На четверг деньги. Беспокоят меня еще очень башмаки мои и Юрочкины, а главное — его беспокойство и будущее наше. Кажется, продавать больше уж нечего. Впрочем, такое положение бывало уже не раз. О.Н. пила у нас чай. Юр. болен что-то. Ходили к Мозжухиным. Разговоры, конечно, все о ролях, но милы по-прежнему. Шли и хорошо говорили об искусстве. Юр. побыл сегодня.

6.600

26 (13) (вторник)

Такая же летняя погода. Ходил, заносил письмо с коробочкой в Дом. Потом в отдел. Там гонорару нет еще. Забежал к Волковыскому. Окна открыты, солнце, чай, булочки. Сидят, как летом, кеифуют. Дома ничего особенного. Юр. пробудился. Пошли на Мильонную. Там столпотворение. Ждали до 6 часов. Юр. выбегал обедать, принес хлеба. Но потом, перед самым входом в лавку, исчез. Я везде его искал, выбегал на улицу, даже до Мойки, пропустил очередь, т.к. был без мешков. Сердился ужасно. А он спал где-то. Поплелись. О.Н. читала Казанову. Встретили Папаригопулу. Пили хорошо чай. Мамаша спекла лепешек. Я написал стихи. Что-то будет?

18.000

27 (14) (среда)

Такие же летние дни. Сегодня чудесная свинина у нас, и чай, и все. К Сане не пошли, но встретили его в «Петрополисе». Слил-ся он с Головиным. Планы о Гофмане и т.д. Зовет в Царское. В «Петрополисе» новые книги. Ходил в театр. Юр. остался. Я все

не могу привыкнуть быть без него. Все представляются его глаза, руки, ноги, которые двигаются где-то в другом месте, и это терзает мне сердце. Вечером он пошел к О.Н., но не застал ее.

28 (15) (четверг)

Утром послали мамашу за хлебом, сами были в Доме. Юр. остался, я дома поел пирога и пошел на Мильонную. Встретил мальчиков Веры Александровны: едут в деревню. Дома никого еще нет. Потом пришел Милашевский. Я красил; потом в «Петрополь». Обещали добавить вечером; у нас была О.Н. и дурашка Лавровский. Вчера он был у Поскочина, очень импрессионирован. Оставил их и пошел к Блохам. Уютно. Издательские разговоры.

190.000

29 (пятница)

Юр. вскочил и пошел на рынок с мамашей. Я ходил на Мильонную. Обратный шел со Шкловским. Он милый и очень талантливый, хотя и ругатель. Потом попал в объятия Кагану. Наших еще нет. Пошли в Дом. Копченый суп, я не ел его. Рождественский как теленочек мил и ласков. Ссорится с «Цехом»⁸³. Опять написал стихи. Это даже стыдно. Пошли с Юр. в Дом Ученых. И с О.Н. Дали капелку хлеба. Вечером прибирался. Горел свет.

30 (суббота)

Не помню, что было. Были в Доме. К нам пришли Папаригопуло. Ничего. Голодновато сегодня. Вечером пришла О.Н., ели кулич и телятину. Пошли в Казанский собор. Юр. подарил мне чудесное старообрядческое яичко, о каком я давно мечтал. Ну, как же теперь с деньгами?

Май 1921

1 (воскресенье)

Встали рано. Зачем-то явился Мандельштам с каким-то жидком, когда мы собирались уходить. Погода отличная. У Оленьки Плетнев и кислый кулич. У кумы заперто все. У Михальцевой стол, сирень, Канкарович, сама обряжена под невесту. Обижены, что мы не были на их вечере. Дома попили чая и все красили. Рано легли спать. Клопы очень кусаются.

2 (14), понедельник

Солнце не так ясно, но тепло и хорошо. Выходили в Дом. О.Н. там была. В «Петрополисе» без аппетита побыл. Почти не обедал дома. Бесцельно играл, потом пили чай. Шли долго, но весело разговаривали. Дождик под солнцем. У Радловых был Лисенков и Тяпа, потом Чудовский и Горнф[ельд]. Была пасха, кулич и заливная рыба. Читали. Дождик лил, потом прошел. Ночь тепла и прозрачна. Юр. после часа еще провожал О.Н. Клопы меня удручали.

3 (вторник)

Какой-то мрачный день. Опоздали в Дом, Юр. проспал, но О.Н. и не была там, оказывается. Прибежала, рассказывала, что они с Колей Щербаковым для развлечения придумали какую-то мистификацию и проболтались целый день. Юр. надулся. Милашевский сидел; ему нездоровится. На Пасхе был у Харламповны, Ремизовых etc. Дурашки не дождались. А Юр. разводил какие-то переживания, убежал под дождем, пропал, вид осужденника. Вернулся опять с О.Н. Оказалось, она решила обвенчаться с Колей для сенсации, и делали визиты. Лавровский пришел, вертелся, болтал, а чаю не принес. Оленька все-таки дуручка более, чем можно было представить. Я понимаю, что ей скучно и хочется пошалить, а Юр. вообще серьезный, и скорее спорщик, чем веселый прогулочник. Вместе провожали О.Н. Тепло и сыро. Переулки тихи по-летнему.

4 (среда)

Туманный и даже дождливый день. Юр. рано отправился за хлебом. Оставшись, я почти ничего не делал. Мне очень мрачно и перспектив никаких. Уныло зашли в «Петрополь». В Дом, домой. Юр. пришел и опять ушел. Каган отгласил нас. Юр. возвращается и уходит. Томится чего-то. О.Н. передает ему дурацкие сплетни и расстраивает его. Он дичится и уединяется от всех людей. Я как-то скучал, хотя это уже прогресс. Какие-то чувства, кроме пайков и большевиков. Конечно, развлечение относительное. Тяготят меня крайне «Барабаны». Неужели не напишу их?⁸⁴ Это предел малодушия и лени. Стишки — это не важно, но и они прекратились. Или все эти ламентации от дождя? Юр. попросил прочесть «Дурную компанию»⁸⁵ и огорчился, что я не нашел ее непонятной. Жизнь в нем еле теплится, как и во мне. Нужно придумать что-нибудь, но, конечно, не фиктивный брак, как бедная Оленька.

5 (четверг)

Погода прелестна и бодро мне. Занимался, как дурак, Вергилием⁸⁶. Юр. вскочил рано. До обеда были дома. Ерунда со Щербаковым продолжается. Меня поймал Сторицын, прося просмотреть его статью. Без нас были и Воинов, и из Дома Искусств, и оркестровка. Юр. пришел с О.Н. Саня был еще. Теперь у него мысль, чтобы я написал жизнь Христа. Вот чудак! Шли хорошо. У Тяпы любезны, ничего. Был Штильман. Но Юр. удручает царскосельская ерунда⁸⁷. В час ночи ворвался к нам Щербаков. Завтра вместо О.Н. идет с ним Лулу. Но откуда будут теперь деньги?

15.000

6 (пятница)

Погода так себе. Нанес хлеба с Мильонной. Целый день питаемся хлебом, но не голодно. Все еще история с Царским Селом не может рассосаться. Даже Гумм забеспокоился. Милашевский пришел к нам, писал меня, а я спал. Потом в «Петрополисе» орал Лавровский. Заседание было. Дома Юр. еще не было. Принес всего. Пили чай. К Залшупиным пошел я один и хорошо сделал. Была там компания: Гум, Егорка и Пентегью*. Скучно, хотя книги очень хорошие, особенно немцы, Volksbucher, романтики и т.п. Юр. опять не было дома. Все составлял списки своих сочинений.

7 (суббота)

Не помню, что было утром; не поспел на Николаевскую, но был в «Петрополисе». Отнес список своих свободных вещей. Был и в Доме. Вечером были у нас О.Н. и Лавровский. Очень долго сидели. Юр. показывал Оленькины стихи, будто пятилетняя писала. Смешно, но даже не оскорбительно⁸⁷

26.400

8 (воскресенье)

Погода ясная. Болит голова, провалился целый день. Только к вечеру встал идти к Каганам. Юр. ходил и в Дом, и к Беленсону. Тот, кажется, умирился. У Абрама Сауловича была Наденька и Блохи. Пили чай, потом играл я к «12-й ночи». Свет все горит.

* У Кузмина — Пентегрю.

9 (понедельник)

Голова прошла, погода чудесная. Ходил в театр и на Николаевскую, сочиняя стихи. Юр. еще не было в Доме. Встретил его на улице. Бежит с хлебом. Потом я вернулся, он же пропадал где-то. Жалко мне его немного. Заходил я в «Петрополис». Потом долго ждал к чаю. Пришел Милашевский, вместе пошли. Сначала у Папаригопуло было сумбурно. Были Кузнецов и Кролль*. Театр их трещит. Теперь спасают «Мистерию-Буфф»⁸⁹. По улицам шел Радлов с учениками куда-то. Вообще было несколько бесчинно. Надоело мне писать стихи и удручает меня вечер в Доме Искусств, который наверное не соберет народа и провалится. Визит к Сомову и «Барабаны» — вот так. Свет горит.

50.000

10 (вторник)

Совершил утром паломничество к Сомову. Жарко, идти приятно, но стихов не сочинял и беспокоили ржавые гвозди в башмаке, от которых на ногах у меня глубокие рыжие дыры. Он сам отворил двери. Хочет что-то работать, открытие комедии Гольдони, *arie antiche*. Книга от Гиги из Ревеля. Мил и любезен, но посидел я недолго. Потом зашел в Дом Искусств. Там полнейший беспорядок. Отложил вечер, да и билетов продано мало. Домой. Юр. еще лежит. Почти совсем не ел сегодня. Заходил в «Петрополь» на минуту. Там Воинов, как сон неотступный и грозный⁹⁰. Забегал Лавровский к нам, ругал Милашевского. Успокоили его. У Софьи Семеновны был пирог и Серафима Павловна, но было не очень весело. Семеновна провожала по-провинциальному. Что-то нам делать?

11 (среда)

Так же ясно. Юр. встал рано и потащил «Дурную компанию» в «Петрополис». Были на углу и в Доме. Дома дремали, опять почти ничего не ел. Пошел к Воинову. Дом этот казенный, в итальянском вкусе, всегда мне нравится. Приятно, что тепло. Внутр[енний] сад запущен. Казаровский. Рассказывал он биографии своих 12 братьев: казак расстрелян, секретарь Великого князя Дмитрия Паловича убежал, Ярослав тоже, еще какой-то тоже. Показывал гравюры Canaletto⁹¹. Дома сидела О.Н. в большой шляпе и белом платье. На сегодня она мне поднадоела. Юр. раскис и лег, она села ему на живот. Сначала меня засадили за

* У Кузмина — Кроль.

«Севильского Цирульника», но я пошел к Ольге Афанасьевне. Их нет; к куме. Она в красном капоте под гетеру. Владек тих, корректен и мил. Ничего. Народу на улицах масса. Как ни в чем не бывало, Юр. идет навстречу. Легли рано. Жарко и душно. Свет горит.

25.000

12 (четверг)

Первая гроза. Был на заседании. Пришел, Юр. нет, оставил ему булку и папиросы, и пошел к Ноевичу. К Михальцевой решил не ходить. Приехал Алянский. Привез обложки Добужинского. Хороши, особенно ко «Вторнику Мэри»⁹². Был Гум. Глупый он. Юр. пришел не очень поздно. Ставили самовар. Господь хранит нас.

90.000

13 (пятница)

Ходили рано в Дом Ученых. Была там сестра Сомова. Милые они люди не только по воспоминанию. Потом Юр. спал. Обедали, ели свинину. Я пошел на заседание. У Кагана с Сомовым все вышло. Дома застал О.Н. и Милашевского. Довольно бесчинно пили чай, но Юр., кажется, было приятно. Утром он читал свой дневник и говорил по дороге о своих отношениях ко мне. Были у Мухиных. У него племянники. Копают гряды, играют в лапту. Мирно. Рано легли спать.

14 (суббота)

Купили сапоги и масла. Мамаша тиха и довольна. В довольстве она была бы мила. Юр. вчера мылся. Денег у нас нет, конечно. Воинов надул, я ходил в «Петрополь». Очень не хотелось идти к Ремизовым. Дома была О.Н. в раскисшем каком-то и подозрительном состоянии. Все-таки поплелись к Ремизовым. Там заседали Алянский и мальчики Фроловы. Потом пришла Семеновна. Свет у нас не зажигали.

15 (воскресенье)

Что же было? Рано поели блинов. Отправились кое-куда. Я в «Петрополь». Получил деньги. Зашел в Дом. Потом домой. Заходил Воинов и Милашевский. Юр. заболтался очень долго. Пришел к нам Борис Владимирович. Хорошо сидели. Владимир Алексеевич рисовал, я перечитывал «Шелковый дождь»⁹³. Вышли пройтись. Ни Лурье, ни кумы не было дома. Встретили Сережу

Папаригопуло. Тепло. Масса народа ходит. Паршиво. Луна ясно светит. Света не дают. Скучно мне чего-то.

50.000

16 (понед.)

Печальный день сегодня. Юр. я совсем не выдаю, и у него все больше выступает нравственная распущенность, неделикатность, болтанье и какое-то хамство от влияния О.Н. Она милый человек, но гимназистка и баба, в конце концов. «И лучшая из змей есть все-таки змея»⁹⁴. Тот же мелкий и поганенький демонизм, что побуждал Оленьку отдаваться Князеву⁹⁵ на моих же диванах, руководит и этой другой Ольгой. Я чуть не застал их [*en*] *flagrant délit*. Юр. 'потом, смеясь, рассказал, что она его заставила раздеться, посмотреть, но это делать у меня, или нечистоплотность, или ненужный демонизм и издевательство. Милашевский был и Воинов. Я его не застал, ждал минут 20. Какой-то деревенский малый сидел, читал и прохаживался мимо меня. Я вспомнил Валечку Нувеля⁹⁶. Была гроза и приятный дождь, как с палубы. О.Н. все киснет и дебелиет. Скоро совсем станет тетехой вместо шекспировского мальчонки. Юр. пропал, конечно, до часу. Пичкали меня кашей и ужасной какой-то мукой. Играл много. С утра, да и весь день было тихо на душе, но загрустил под конец. Приезжал Саня с маркой и *exlibris* Головина⁹⁷. Бестолочь какая-то меня удручает и бесчинность.

17 (вторник)

Ветер и солнце. Пошел в театр. Объявления и репетиции. И о «*Così fan tutti*»⁹⁸. Зашел в союз. Дали немного. Юр. писал дома. Потом обедали. Дремал и отправился к Воинovu. Мирно сидел, писался. Дома был Милашевский, но Юр. еще не было. Он едва не попал в облаву. Пили чай. Я читал Гофмана. Ах, тишины бы, рош, скита, молока! Вышли к Ольге Афанасьевне. Там дома Лурье и Ахматова. Кисло посидели. На дворе встретил Ольгу Афанасьевну. Дома посидели со свечкой. Что-то опять меня обременяет. Вечер, безденежье?

25.000

18 (среда)

Денег нет. Ходил на «Вольное Содружество Поэтов»⁹⁹. Была Радлова, Эрберг, Павлов[ич?]. Толковали. Выйдет ли что, не знаю. На репетицию. Поставили хамски. И с музыкой обращение зверское. На афишах Дома Искусства моего концерта уже нет. Прибегал Коля Щербаков, известить, что приехал Головин

в Мариинский театр и просит зайти. Был еще у Блохов вечером. Томит меня необыкновенно.

19 (четверг)

Заходил утром в «Петрополь». Ничего все не едим. Хотя в Доме как-то и обошлись. Заходил еще в «Петрополь», но не дождался Ноевича. Дома была О.Н. Чаю не пили. Пошли в театр. Было очень плохо. Провалилось все здорово. Видел Алперса, хотел поцеловаться с ним, но что-то удержало меня. Давить все продолжает. Луна светит, тепло. Юр. сидит кротко. Что случилось? Вечер, дела, деньги, — что меня удручает?

20 (пятница)

Безденежье продолжается. Утром заходил в «Петрополис», а бедный Юр. один пошел за пайком. Зашел ко мне. Пошли в Дом. Пили молоко с хлебцами. Потом пошли домой. Я дремал, Юр. писал. Сидел на заседании. Юр. зашел и сказал, что в театр не пойдет. Пошли кучей. Опера, конечно, очаровательна, да и постановка ничего. Много знакомых. И дел много каких-то. Дома отлично пили чай и ели жареный картофель.

26.000

21 (суббота)

Вечер меня удручает¹⁰⁰. Близится гроза или дождь. Выходил в отдел. Видел Чернявского, Радлова, Юрьева. Не слишком ли я разбранил Колю Петера?¹⁰¹ Встретил Саню с корректурами. Поели в Доме и дома я поел. Выходил за хлебом, потом дремал. Юр. пришел с О.Н. Я нервничал от концерта. Пришли под дождем. Билетов мало. В соседней комнате Гум читает какие-то глупости. Вышло не так плохо. Дали мне ландыши с самого начала, и это меня подбодрило. Все дождь. Дома рано легли. Ломился Сторицын ночью.

30.500

22 (воскресенье)

Что-то не помню, что было. Был очень вкусный пирог с рисом. Шоколад Юр. хотел продать. Мне до слез было обидно представить себе, что Юр. стоит и продает. Но он, оказывается, был у кумы и Беленсона. Позировал у Воинова. Дома застал О.Н. и Милашевского. Он ее писал. Пили чай. Пошли потом к Лурье. Была Ахматова и Мозжухин. Мило. Лурье торжествует, получив пост и водворившись в кабинет Марии Федоровны¹⁰².

23 (понедельник)

В «Петрополисе» масса книг хороших. Был Купреянов* опять. Попросил у Ноевича. Ходил утром за хлебом. Болела голова. Жаль мне, что Юрочка заброшен и я тоже. Люблю я его по-прежнему и, м.б., ревную немного. По дороге к Папаригопуло говорили. Там он сцепился спорить с Милашевским. Засиделись. Завтра поеду в Царское. Ночью был пожар. Ужасно горела сажа в трубе. Юр. кричал: «пожар». Пожарные приехали, посмотрели и уехали. Мне напомнило это сказку Андерсена.

25.000

24 (вторник)

Вот поехал. Рано встал. Блохи еще спали. У них всегда почему-то напоминает дачу. Елена Исааковна позабыла трудовую книжку. Яков Ноевич вернулся. Мы шли вдвоем, разговаривая по-домашнему. Бежали за трамваем. Насилу достали билеты и залезли бегом в тронувшийся уже поезд. Зашли к Сане. Там лазарет и беспорядок какой-то чисто еврейский. Звонили Головину. Выбрит, мил и чопорен. Очаровывал, звал заходить чай пить. Погуляли в парке. Ползают личинки и еще не просохшие стрекозы, цветет сирень, бузина, каштаны и жимолость. Царское такое же, но какая жалость, какая жалость! Как все далеко: даже время, когда я ездил к Мухиным, Персиц, куме и Шайкевичам. Солнце, но ветрено. Вернулись. Чудный чай, хлеб с маслом и запечена сладкая каша. Опять еле попали на поезд. Дома Юр. открыл свою комнату и сидит там с О.Н. Как-то неуютно стало мне и неаппетитно пить чай. Ничего у нас нет. Но хоть провожать ее не ходил. Сидели, дремали. Выходил еще относить Фильдинга¹⁰³. Собеседовал с Дорой Яковлевной, по-стариковски. Рано спать лег. Что-то меня продолжает угнетать.

25 (среда)

Что-то не помню. Ветер страшный. Продавали книги и в «Петрополе», и Ирецкому, и Ховину. Вечером сидели дома, по моему. Нет, были у Тяпы, а Юр. отправился к незнакомому господину на ватрушки. У Тяпы Купреянов и Радловы. Спорили; Ронсара она не уступает¹⁰⁴. У Купреянова все-таки есть болванизм вроде Гумилева. Бежали домой втроем. Дома чудесные гренки из размазни. Юр. побыл.

* У Кузмина — Куприянов.

26 (четверг)

Что же было? Утром пошел в отдел, но зайдя [в] «Петрополь» уговорился с Ноевичем к Ахматовой. Погода прелестна, жалкие молочные открылись. В отделе шепчутся, перепуганы, междуцарствие. Кузнецов спасается в академической, Ахматова в агрономической библиотеке¹⁰⁵. В Литераторах Юр. уже не было. Дома. Ели пирог. В союзе весело. Аванс дали. Забрал книги у Саниного брата¹⁰⁶. Юр. пришел поздно. Болтался с Милашевским и О.Н. Милый он. На «Содружество» приползал Сологуб. Была, конечно, и Радлова, и Сюннерберг — 8 человек. Ничего. Дома ставили самовар. Мамаша уже завалилась спать, ни свет ни заря, переведа часы на 3 часа. Очень хорошо пили и разбирали книжки. Юр. купил «Аврору» свою же¹⁰⁷. Свет горит, хотя взяли подписку о нежнении.

50.000

27 (пятница)

Отлично и рано прошлись на Мильонную. Там дали еще свинины. Пошли в Дом. Дома Юр. спал и я дремал. Потом поели свинины. Юр. ушел, я отправился в «Петрополь». Заседание было какое-то скомканное и бесчинное. Заводы все закрыты, чтобы не было голодных беспорядков. Пили дома чай, потом прошлись к куме. Ее нет дома. Просто побродили. Дома писали со светом, хотя и дали подписку. Мамаша все волнуется комнатами и мебелью.

28 (суббота)

Утром ходили в «Петрополь». Написал я «Федру»¹⁰⁸. «Картинки» днем. В Дом. Дома ели макароны. Я поспал. Опять в «Петрополис», купил «Ogrhée aux enfers»¹⁰⁹. Неожиданно пришла О.Н. Отменили спектакль. Была гроза. Света мы не жгли. С новой мебелью и чувствуешь себя немного по-новому.

30.000

29 (воскрес.)

Мамаша пошла на кладбище. Partie de plaisir. Радуетя, как дитя, хотя и стонет. Ходили в Дом и к Ховину, где встретили Ноевича. Мамаша нет еще. Юр. убежал, я пошел к Воинову. Кончили портрет. Дома хорошо принялись было за чай и макароны, но пришел Владимир Алексеевич и Папаригопуло. Юр. замрачнел чего-то, обиделся. У Блохов ничего себе посидели. Огня не жжем и в сумерках ложимся. Жалко мне, что у Юр. что-то не ладится. Арестовывают по городу все каких-то старух.

30 (понедельник)

Утром достал масла, к вечеру Юр. получил деньги. Зашла к нам О.Н. Я ходил на Мильонную, чтобы сочинить стихи. Вечером не помню, ходили ли куда. Не в скучное ли место куда? Вот так. Плохо сплю.

31 (вторник)

Страшная жара. Не помню, что мы делали. Заходили два раза в «Петрополис». Дела там плохи. Все садятся им на шею. Видел Казарозу* и пр. Пили отлично чай. Юр. пошел к О.Н., а я посидел у Блохов по-домашнему. Была у нас [нрзб.]. Плохо очень сплю.

63.000

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В самом конце декабря 1920 (Кузмин понял это в новогоднюю ночь) у Юркуна начался роман с актрисой и художницей О.Н. Гильдебрандт (сценический псевдоним Арбенина; 1899-1980). Она стала его фактической женой до конца жизни. Подробнее см. Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Письмо Ю.И. Юркуну 13.02.1946. Публ. и комм. Г.А. Морева // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С.244-256.

² «В двадцатые годы Юркун работал над романом "Туман за решеткой", который М.Кузмин сравнивал с произведениями Ф.Клингера. По словам В.Милашевского, действие романа переносилось из Америки в Петроград 20-х годов, описание снов героини перемежалось дневниковыми записями» (Никольская Т.Л. Творческий путь Ю.Юркуна // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С.101-102). Об этом романе см. также: Кузмин М. Чешуя в неводе // Стрелец. Сб. третий и последний. Пг., 1922 (перепечатано: Литературная учеба. 1990. №6) и: Милашевский В. Вчера, позавчера... / Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С.168.

³ Имеются в виду Н.С. Гумилев и О.Э. Мандельштам. Оба посвящали Арбениной стихотворения. О взаимоотношениях Гумилева, Мандельштама, Юркуна и Арбениной см. в двух шуточных стихотворениях Г.В. Иванова (Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С.155).

* У Кузмина — Казу Розу.

⁴ Дом Ученых помещался в Петрограде на Миллионной улице, в бывшем дворце вел.кн. Владимира Александровича. Там же находилась ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых), организация, помогавшая научной и творческой интеллигенции. Почти ежедневное упоминание походов на Миллионную свидетельствует о том, что Кузмин был прикреплен к распределителю ЦЕКУБУ и получал т.н. «академический» паек. 12 октября 1920 Кузмин записал о своем первом визите за пайком: «Очередь огромна. Вот место первой главы какого-нибудь романа. Чудовский, Лернер, Головин, Р[имский]-Корсаков — все стоят». О системе распределения паек писал Вл.Ходасевич: «Мы переживали эпоху паек. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. /.../ Когда я туда [в Петроград. — Публ.] перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, т.к. они читали лекции в разных тогдашних институтах. Остановились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо "ученым" выдавалась одежда, которой писатели не получали» (Ходасевич Владислав. Избранная проза в двух томах. Т.1. Белый коридор. Нью-Йорк, 1982. С.168, 215).

⁵ Имеется в виду стихотворение «Любовь чужая зацвела...», впоследствии включенное в сборник «Параболы».

⁶ «Петрополь» — так Кузмин называет кооперативное издательство и книготорговую фирму «Петрополис», основанную в январе 1918 Я.Н. Блохом и начавшую собственную издательскую деятельность с конца 1920. Помещался на Надеждинской ул., 56, где были сняты две, затем четыре комнаты пустовавшей квартиры. Кузмин входил в число пайщиков «Петрополиса», дружил с бессменным секретарем правления Я.С. Блохом (см. Офросимов Ю. О Гумилеве, Кузмине, Мандельштаме... Встреча с издателем // Новое русское слово. 1953, 13 декабря), переписывался с ним (см.: Letters of M.A. Kuzmin to Ja.N. Blox. Ed. by John E.Malmstad // Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband 24. Wien, 1989. P.173-185. Тимофеев А.Г. Михаил Кузмин и издательство «Петрополис» (новые материалы по истории «русского Берлина») // Русская литература. 1991. №1. С.189-204) — отсюда частые упоминания о посещении издательства и книжной лавки. Подробнее об этом издательстве см.: Лозинский Г. «Petropolis» // Временник Общества друзей русской книги. Вып. II. Париж. 1928. С.33-37.

⁷ 7 января 1921 — по старому стилю Рождество (25 декабря 1920). С этим посещением связано стихотворение Кузмина «Звезда качается зелено...» с пометой: «Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло в день Рождества Христова 1920» и датой записи «январь 1921» (Russian Literature Triquarterly. №19 (1986). P.307).

⁸ «Вольная комедия» — театр политической сатиры, созданный по инициативе занимавшего тогда должность начальника Политпросвета Пубалта Л.Никулина; главным режиссером был Н.Петров, режиссером — Н.Н. Евреинов, заведующим художественной частью — Ю.П. Анненков. В январе 1920 располагался в нижнем этаже «Палас-театра» (Итальянская ул., д.13). Фраза в записи Кузмина от 9 января «Я писал рецензии»,

очевидно, связана с посещением театра. См. рецензию Кузмина «"Вольная Комедия" ("Как Иван-дурак правду искал", "Четверть девятого", "Тумба" и др.)» // Жизнь искусства. 1921, 12-13 января. №653-654. Следует отметить, что в состав спектакля входила также пантомима «Итальянские комедианты» на музыку Кузмина.

⁹ «Занавешенные картинки» — книга эротических стихотворений Кузмина, иллюстрированная В.Милашевским и выпущенная издательством «Petropolis» в 1920. Вышла тиражом 307 экземпляров, с обозначением подложного места издания (Амстердам); в продажу не поступала, как бы заранее ориентируясь на библиофильскую редкость. Кузмин и Юркун сами продавали эту книгу коллекционерам и любителям, время от времени получая в книжном магазине «Petropolis'a» по несколько экземпляров книги; упоминания об этом часты в Дневнике.

¹⁰ Дом Искусств (или ДИСК), называемый в Дневнике также просто «Дом», располагался в Петрограде по адресу: Мойка, д.59 (бывшее владение банкира С.П. Елисева). ДИСК был открыт 19 декабря 1919, существовал в своем первоначальном виде до конца 1922. О нем оставили воспоминания многие мемуаристы (Вл.Ходасевич, Н.Берберова, Ю.Анненков и др.). Описание быта ДИСКА дано в романе О.Д. Форш «Сумасшедший корабль».

¹¹ Подразумевается, что торговые ряды пусты, «спят», ввиду ограничения в период военного коммунизма торговли.

¹² Петроградское отделение Театрального отдела Наркомпроса (после 1920 — Петроградский театральный отдел).

¹³ Семья поэта Леонида Иоахимовича (Акимовича) Каннегисера (1897-1918), совершившего 30 августа 1918 террористический акт — убившего председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого. Записи о «Ленечке» Каннегисере часты в Дневнике Кузмина за более ранние годы. См. о нем: Леонид Каннегисер. 1918-1928. Париж, 1928.

¹⁴ «La Faustin» — роман Эдмона Гонкура (в русском переводе — «Актриса Фостэн»), одна из любимых книг Кузмина.

¹⁵ Сборник Кузмина «Осенние озера. Вторая книга стихов» был издан московским издательством «Скорпион» в 1912. Видимо, Кузмин предполагал переиздать сборник, но это не осуществилось.

¹⁶ Ирония Кузмина связана с тем, что в это время И.Одоевцева была автором лишь очень немногих стихотворений.

¹⁷ Эти слухи оказались преувеличенными. Ср. запись в дневнике Сомова от 25 января 1921: «Нотгаф сообщил, что мне назначен ученый паек» (Константин Андреевич Сомов / Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С.202), а также запись в Дневнике Кузмина от 26 января, согласно которой Сомов уже получает свой «академический» паек.

¹⁸ Имеется в виду книга: Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1-4. СПб., 1912-1917.

¹⁹ «Римские чудеса» — незаконченный роман Кузмина, начало которого (гл.1 и 2) было напечатано в 3-м альманахе «Стрелец» (1922). Работа над романом продолжалась и в 1924-1925, однако текст завершенных 3-й и 4-й глав нам неизвестен. Следует отметить, что в хронике сообщалось: «М.А. Кузмин закончил новый роман, озаглавленный "Римские чудеса"» (Жизнь искусства. 1920. 28-31 мая. №742-746).

²⁰ Годовщины «Кровавого воскресенья» в 1920-е отмечались, как революционный праздник. После 1924 были совмещены с т.н. «Днем воспоминаний в годовщину смерти мирового вождя пролетариата В.И. Ленина», отмечались 22 января как нерабочий день до конца 1920-х.

²¹ Так Кузмин звал братьев Папаригопуло.

²² «Плен» — цикл стихов Кузмина 1919 года. Впервые опубликован Дж.Шероном (Wiener Slavistischer Almanach. Bd.14. Wien, 1984). В СССР отдельные стихотворения публиковались Р.Д. Тименчиком (Родник. 1989. №1) и Н.А. Богомоловым (Наше наследие. 1988. №4). Тревога Юркуна вызвана контрреволюционным содержанием цикла.

²³ Петроградское отделение Всероссийского профессионального союза писателей было открыто весной 1920. 4 июля 1920 на общем собрании членов-учредителей было избрано правление, председателем которого стал А.Л. Волынский.

²⁴ Жанен Жюль Габриэль (1804-1874), французский писатель, один из наиболее известных «неистовых романтиков» 1830-х годов.

²⁵ Пантомима «Итальянские комедианты» в театре Вольной Комедии (см. прим.7).

²⁶ Маслов Георгий Владимирович (1895-1920), поэт, умерший в Красноярске, эвакуируясь из Омска с армией Колчака, где служил рядовым. Его вдова Елена Михайловна Тагер (1895-1964) оставила воспоминания о Маслове в виде письма Ю.Г. Оксману (ЦГАЛИ, ф.2567, ор.1, ед.хр.1256) и сохранила в памяти его стихи, т.к. рукописи и газетные вырезки погибли во время ее ареста (там же, ед.хр.1323).

²⁷ Возможно, речь идет о полемике между А.Беленсоном и О.Волжаниным в газете «Жизнь искусства» (1921. 2-4 февраля. №666-668).

²⁸ Незадолго до того в Доме литераторов состоялся вечер памяти С.Я. Надсона, организованный Литературным фондом. Писательница М.В. Ватсон, биограф Надсона, выступала на нем.

²⁹ «Пушкинские стихи» — стихотворение Кузмина «Пушкин», прочитанное в Доме литераторов 11 февраля 1921 на торжественном собрании в ознаменование 84-й годовщины смерти Пушкина (вошло в сборник «Нездешние вечера»). См. также запись от 8 января.

³⁰ Выдача в составе «академического пайка» искусственного меда, приготовлявшегося из патоки и картофельной муки, отмечалась и А.М. Ремизовым («Взвихренная Русь»).

³¹ Т.н. «антоновский мятеж» — начавшееся в 1920 крестьянское антибольшевистское восстание в Тамбовской губернии, возглавленное бывшим политкаторжанином, эсером А.С. Антоновым. Шло под лозунгами, в целом совпадавшими с кронштадтскими: «Долой продразверстку!», «За свободную торговлю!», «За советы без коммунистов!», «За созыв Учредительного Собрания!»

³² Может иметься в виду пьеса «Вторник Мэри», либо (что менее вероятно, т.к. к моменту записи были завершены не все стихотворения) сборник стихов «Нездешние вечера» (обе 1921).

³³ Казотт Жак (1719-1792), французский писатель и дипломат, автор романа «Влюбленный дьявол» (1772), неоднократно упоминаемого Кузминым в стихах и статьях.

³⁴ «Нездешние вечера», книга стихов Кузмина, выпущенная издательством «Петрополис» в 1921 с обложкой М.Добужинского. Репринтное переиздание — М., 1989.

³⁵ Роман Бернгарда Келлермана «Туннель» (1913). Ср. с высказыванием Андрея Белого в письме Иванову-Разумнику от 18 ноября 1923: «Шпенглер при ближайшем ознакомлении оказался совсем небольшим; граф Кайзерлинг — это какая-то сладкая теософическая водица; новых философов — нет (подобные Макс Шеллеру — меня не интересуют); к новым немецким поэтам у меня скоро пропал вкус, и я даже не помню их имен; Мейринг [Г.Мейринк — Публ.] мне не нравится; а все эти Келлерманы, Манны и Вассерманы — все-таки это "мало" и... "не ново"» (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.14, л.5).

³⁶ Описание торжественного собрания в Доме литераторов в ознаменование годовщины смерти Пушкина см.: Свидетельство очевидца. Дневниковые записи Е.П. Казанович. Публ. А. Конечного и В.Сажина // Литературное обозрение. 1980. №10. С.108-109; Ходасевич Владислав. Некрополь. Bruxelles, [1939]. С.123-126.

³⁷ Очевидно, Кузмин беспокоится, не была ли В.К. Амброзевич задержана за «нелегальную» торговлю; подобное несколько раз случалось раньше, о чем есть записи в Дневнике 1918 года.

³⁸ Имеется в виду Пушкинский вечер в Доме литераторов 14 февраля с участием А.Блока, М.Кузмина, Ф.Сологуба, Влад.Ходасевича, Б.М. Эйхенбаума. Кузмин читал стихи; ср. в дневнике К.И. Чуковского: «Стишки М.Кузмина, прошепелявленные не без ужимки, — стихи на случай — очень обыкновенные» (Литературное наследство. Т.92. Кн.2. М., 1981. С.254).

³⁹ Издательство «Всемирная литература» было организовано Горьким в конце 1918, как автономная организация при Наркомпросе. Заведовал

издательством А.Н. Тихонов. Предполагалось, что будет осуществлено издание всей мировой классики от античности до XX века в образцовых переводах, с научной подготовкой текстов, комментариями, библиографией и т.п. На самом же деле в первые послеоктябрьские годы издательство фактически было в первую очередь подспорьем для бедствовавших литераторов. В Петрограде и Москве в издательстве принимали участие около 200 сотрудников — переводчиков и редакторов. «Всемирная литература» закрылась в 1924, выпустив лишь незначительную часть из намеченного. См. стихотворения Кузмина «Я не любим "литературой"...», написанное 2 февраля 1920 (Прометей. Т.4. М., 1967. С.420) и «Всемирная литература...» (черновой автограф с датой: январь [1923] — ЦГАЛИ, ф.232, оп.1, ед.хр.6, л.192 и об. С неточностями опубликовано: Кузмин М. Собрание стихов. Т.3. München, 1977. С.491).

⁴⁰ По-видимому, дочь композитора и дирижера Э.Ф. Направника (1839-1916), бывшего с 1869 до конца жизни капельмейстером Мариинского театра.

⁴¹ Проекты Кузмина как-то поправить свое материальное положение путем издания Дневника, равно как и неудачные попытки продать его в рукописном виде кому-нибудь из коллекционеров, восходят еще к 1918. Об этих замыслах см.: Тимофеев А.Г. Указ. соч. С.190-191. Однако лишь в конце 1933 Кузмину удалось продать Дневник (в составе своего архива) московскому Гослитмузею за 20.000 руб.

⁴² Речь идет о растущем недовольстве в Кронштадте, вылившемся через несколько дней в Кронштадтское восстание, о впечатлении от которого в Петрограде Кузмин дальше довольно подробно пишет. См. также: Милашевский В.А. Цит.соч. С.213-214.

⁴³ Дом Литераторов возник осенью 1918; помещался: Бассейная, д.11. Первоначально ограничивался устройством столовой для голодающих писателей, а с января 1920 началась культурная деятельность; литературные вечера, лекции, доклады, концерты. Издавались журналы «Вестник литературы», «Литературные записки», «Летопись Дома Литераторов». Дом Литераторов был закрыт в 1922.

⁴⁴ Вероятно, речь идет о статье Сторицына «Петроградский театр. Лопе-де-Вега» (Жизнь искусства. 1921. 5-8 марта, №685-687, 9-11 марта, №688-690). Можно предположить, что специальное разрешение требовалось из-за большого объема статьи, не укладывавшейся в один газетный номер.

⁴⁵ Альманах «Стрелец», где печатались и произведения Кузмина, выходил в 1915, 1916 и 1922. Издатель — А.Э. Беленсон.

⁴⁶ Козловский Александр Николаевич (1864-?), бывший генерал, командующий артиллерией Кронштадта, вошедший в образованный 3 марта 1921 штаб обороны Кронштадта. После поражения восстания бежал за границу. А.Некрич полагает, что Козловский не имел отношения к восстанию в Кронштадте, а был объявлен его главой лишь потому, что оста-

вался единственным бывшим генералом в крепости, что позволяло легко превратить движение в «белогвардейскую авантюру» (Утопия у власти. Т.1. London, 1986. С.113).

Верховский Александр Иванович (1886-1938), генерал-майор (с 1917), военный министр в августе-сентябре 1917, перешедший на службу к большевикам с 1919, в 1921 — преподаватель Военной академии РККА, затем — военный историк. Слухи о том, что Верховский примкнул к Кронштадтскому восстанию, не соответствовали действительности и, вероятно, были основаны на том, что в 1918 он арестовывался по делу «Союза возрождения» (см.: Красная книга ВЧК. М., 1989. Т.2. По указателю).

⁴⁷ «Привал комедиантов» — артистическое кабаре, существовавшее в 1916-1919 в Петербурге (Марсово поле, угол наб. Мойки). Владельцы — Б.К. Пронин и В.А.Лишнева. Кузмин был членом правления Петроградского Художественного общества, постоянным автором кабаре, в 1918-1919 регулярным его посетителем. Подробнее см.: Конечный А.М., Мордерер Я., Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С.96-154.

⁴⁸ Копорский чай — суррогат чая, приготовляемый из растения иванчая (по названию с.Копорье в Петроградской губ.). «Листья этого растения служат в России для подделки чая. Приготовленные на манер настоящего чая, они или подмешиваются к нему, или же продаются прямо под именем чая. /.../ Продажа копорского чая запрещена, хотя он не заключает в себе ничего вредного» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т.XV. СПб., 1895. С.85).

⁴⁹ Ср. запись в дневнике К.И. Чуковского за это же число (Новый мир. 1990. №8. С.135-136).

⁵⁰ Великий князь Дмитрий Павлович (1891-1942), участник убийства Григория Распутина.

⁵¹ Статья о Сомове — для книги: К.А. Сомов. Альбом. Текст М.Кузина. Пг., «Камена», 1916-21. Ср. рецензию за подписью «N» (Жизнь искусства. 1921. 19 июля. №776-779).

⁵² Кирилл Владимирович (1876-1938), великий князь, двоюродный брат Николая II. Приветствовал Февральскую революцию; в эмиграции в 1924 был провозглашен российским императором. Различные слухи о Кронштадтском мятеже, записываемые Кузминым, свидетельствуют о полной изоляции восставших и информационной блокаде петроградцев (см. также запись от 12 марта и прим.46).

⁵³ Кумой Кузмин звал В.А. Лишнева, а кумом — Б.К. Пронина, у которых крестил дочь (Душеньку).

⁵⁴ Речь идет о приобретении издательских прав на сочинения Кузина. Как следует из этой записи, в первые пореволюционные годы он уступил

их владельцу издательства «Прометей» Н.И. Михайлову (выпустившему сборники «Вожатый» и «Александрийские песни») и З.И. Гржебину (в его издательстве книги Кузмина не вышли).

⁵⁵ Жена художника Залшупина Надежда Александровна входила в правление книжного кооператива «Петрополис». Стихи, посвященные ей Кузминым перед отъездом Залшупиных за границу, опубликованы Л.Чертковым (Листки из альбома // *Континент*. 1982. №31. С.337), перепечатаны в указ. статье А.Г. Тимофеева.

⁵⁶ В списке литературных работ Кузмина за 1921 (ИРЛИ, ф.372, оп.1, ед.хр.319) значится: «Peel — стихи — перевод». Эту запись пока идентифицировать не удалось; переводы какого автора имеются в виду, неясно.

⁵⁷ Имеется в виду рецензия Кузмина «Голос поэта (Анна Радлова. "Корабли")» // *Жизнь искусства*. 1921. 26-29 марта. №702-705).

⁵⁸ «Двенадцатая ночь, или Что вам угодно» — пьеса Шекспира, поставленная Н.Петровым в 1921 в Большом драматическом театре. Музыка к спектаклю писал Кузмин. См. также прим.98.

⁵⁹ «Оберон» — опера К.Вебера (1826). Музыка Вебера — одно из первых и сильнейших музыкальных впечатлений Кузмина.

⁶⁰ «Забава дев» — оперетта Кузмина. Закончена им в 1909, поставлена в Театре Литературно-художественного общества в 1911. Неопубликованный текст хранится в ГЛМ.

⁶¹ Пьеса К.Гольдони «Слуга двух господ» была поставлена в БДТ в 1921. Посещение репетиции было связано с тем, что Кузмин писал рецензию на эту постановку: «Слуга двух господ» (Большой Драматический театр) // *Жизнь искусства*. 1921. 30 марта — 1 апреля. №706-708).

⁶² В рецензии на сборник стихов А.Радловой «Корабли» Кузмин сделал несколько явных выпадов в сторону Гумилева и его учеников, к которым причислял и И.Одоевцеву: «Выступление ее [Радловой — *Публ.*] резко отличается от гуртовых появлений партийных школ и студий, где сила — в количестве и преданности мэтру и школьной дисциплине. /.../ Вспоминается определение какого-то наивного человека: "Поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке". Сказать можно какую угодно глупость, но вся поэзия и поэзия Анны Радловой как дочь настоящего творчества протестует против этого. /.../ Книгой "Корабли" А.Радлова вступила полноправно и законно в семью больших современных лириков, как Ахматова, Блок, Вяч.Иванов, Мандельштам и Сологуб» (*Жизнь искусства*. 1921. 26-29 марта. №702-705). Приведенные Кузминым слова «наивного человека» принадлежат С.Кольриджу и их часто повторял Гумилев.

⁶³ Обращение к Горькому было, вероятно, связано с хлопотами об освобождении арестованного И.Б. Мандельштама (см. запись от 26/13 марта).

⁶⁴ Г.Д'Аннунцио был одним из самых любимых писателей XX века для Кузмина. См. запись в Дневнике от 21 июня 1925: «Как в эпоху Шекс-

пировских сон[етов], Алекс[андрейских] песен я полон был европеизма и модернизма, соединявшегося у меня с D'Annunzio, к которому я и теперь не охладел, м.б., из чувства благодарности».

⁶⁵ «Дети» — Юркун и Арбенина. «Павел I» — пьеса Д.С. Мережковского (1908), поставленная в 1921 в Государственном Петроградском драматическом театре (бывший Народный Дом).

⁶⁶ Имеется в виду №2-3 журнала «Красный милиционер», литературным отделом которого заведовал А.Э. Беленсон. В журнале печатались Кузмин, Ремизов, Ахматова, Замятин; помещались рисунки Ю.Анненкова.

⁶⁷ Эта запись свидетельствует о том, что Кузмин мог заполнять свой Дневник по прошествии нескольких дней; отсюда происходят и встречающиеся ошибки в числах и днях недели.

⁶⁸ Возможно, речь идет об истории, рассказанной Вл.Ходасевичем (или ей аналогичной): «В марте 1921 г. Горький привез из Москвы еще восемьдесят [пайков — Публ.] /.../ Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам» (Ходасевич Владислав. Избранная проза в 2 томах. Т.1. С.168).

⁶⁹ По-видимому, имеется в виду какая-либо книга немецкого филолога Карла-Густава Фолмеллера (1878-1948).

⁷⁰ Введенное декретом СНК РСФСР с 1 июля 1919 поясное время непривычно сдвигало световой день, и без того сдвинутый на 1 час вперед Временным правительством в конце июля 1917. Путаница в связи с переводом часов неоднократно с раздражением отмечалась Кузминым в Дневнике. Перевод часовых стрелок на три часа вперед, когда, учитывая петроградские белые ночи, в «полночь» нередко над городом светило не зашедшее еще солнце, воспринимался многими как явление апокалиптического порядка, нарушение большевиками самого хода времени, попытка грубо подчинить себе даже ход светил (см., напр., отражение этих настроений во «Взвихренной Руси» А.М. Ремизова).

⁷¹ Установить, что за объединение под названием «Голубой круг» имеет в виду Кузмин, не удалось.

⁷² Речь, вероятно, идет о книге немецкого историка литературы и искусства Г.Геттнера «История литературы 18 века» (в русском переводе А.Н. Пыпина, или же одном из немецких изданий).

⁷³ А.С. Лурье был председателем музыкального отдела Наркомпроса (впоследствии Петроградского музыкального отдела) с 1918. О его деятельности см.: Кралин М. Артур и Анна. Л., 1990. С.145-147. Согласно газетной хронике, Лурье был в январе 1921 сменен на этом посту Б.Б. Красиным (Жизнь искусства. 1921. 2-4 февраля. №666-668).

⁷⁴ Ходовецкий Даниэль Николаус (1726-1801), немецкий художник, иллюстратор. Один из любимых художников Кузмина (см. стих. «Ходовецкий» в сборнике «Нездешние вечера» и др.).

⁷⁵ «Записки мечтателей» — журнал, издававшийся группой писателей-символистов (изд-во «Алконост») в 1919-1922. Всего вышло 6 номеров.

⁷⁶ Вероятно, имеется в виду освобождение И.Б. Мандельштама из-под ареста (см. прим.62).

⁷⁷ «Волшебная флейта» (1791), комическая опера Моцарта, одно из любимых произведений Кузмина (см. цикл стихотворений «Пути Тамино» в сборнике «Параболы»). О предполагавшейся постановке «Волшебной флейты» в Академическом театре комической оперы (бывшем Михайловском) упоминалось в хроникальной заметке «Жизни искусства» (1921. 16-19 апреля. №718-720) как плане будущего сезона. В 1924 Кузмин перевел либретто оперы.

⁷⁸ «Эхо» — сборник стихов Кузмина, вышедший в 1921 в издательстве И.И. Ивича «Картонный домик». Ср. запись в Дневнике Кузмина от 3 октября 1921.

⁷⁹ Кто или что имеется в виду, выяснить не удалось.

⁸⁰ Возможно, имеется в виду вечер поэтов, организованный издательством «Петрополис» в Доме литераторов.

⁸¹ Речь идет об изданиях «Петрополиса»: «Подорожник» (сборник стихов А.Ахматовой) и «Эписин» (пьеса Бена Джонсона открывала задуманную театральную серию издательства; вышла под редакцией и со вступительной статьей Я.Н. Блоха, сценическими указаниями С.К. Боянуса, в переводе Елены и Раисы Блох; эскизы костюмов художника Рыкова, обложка Д.И. Митрохина).

⁸² Речь идет об изданных «Петрополисом» «Занавешенных картинках» и сделанном Кузминым переводе «Семи любовных портретов» А. де Ренье с иллюстрациями Д.И. Митрохина (1920; на титуле 1921; репринтное воспроизведение — М., 1990).

⁸³ Упомянут т.н. «второй» (или, по другому счету, третий «Цех поэтов», созданный Н.С. Гумилевым в начале 1921, куда входили в основном молодые поэты, близкие к акмеизму. Несколько карикатурное описание его деятельности см.: Ходасевич Владислав. Некрополь. С.128-132.

⁸⁴ Рассказ «Глухие барабаны» писался в марте-апреле 1921, но не был закончен и опубликован.

⁸⁵ «Дурная компания» (1917) — повесть Юркуна, иллюстрированная Ю.Анненковым.

⁸⁶ Возможно, имеется в виду стихотворение «Родина Virgiliya» (май 1921, вошло в сборник «Параболы»).

⁸⁷ Царскосельская ерунда — по-видимому, упоминавшаяся выше мистификация Н.А. Щербакова и Арбениной.

⁸⁸ О стихах Арбениной см. ее письмо к В. Брюсову от 7 сентября 1917: «...я никогда не называла мои писания стихами /.../ почему-то моего глупого, обычного дневника — мне не всегда хватает, выходят против воли строки с чем-то вроде ритма и рифм, и их-то я осмелилась прислать» (ГБЛ, ф.386, карт.75, ед.хр.3, л.2-2 об.).

⁸⁹ Имеется в виду Театр народной комедии (1920-1922), организованный С.Э. Радловым, где объединились актеры драматического театра и цирка. Постановка «Мистерии-Буфф» (премьера второй, расширенной редакции которой, в постановке В.Э. Мейерхольда прошла 1 мая 1921 г. в Театре РСФСР 1-м в Москве) в театре Радлова не состоялась.

⁹⁰ Строка Н.Кукольника из стихотворения «Сомнение», положенного на музыку М.Глинкой.

⁹¹ Канадетто Антонио (1697-1768), венецианский живописец и офортист.

⁹² «Вторник Мэри. Представление в 3 частях для кукол живых или деревянных» (Пг., 1921).

⁹³ Повесть Кузмина «Шелковый дождь» была опубликована в альманахе «Эпоха», кн.1, (М., 1918).

⁹⁴ Источник цитаты не установлен.

⁹⁵ Князев Всеволод Гаврилович (1891-1913), поэт, вольноопределяющийся 16-го гусарского Иркутского полка. Сильное увлечение Кузмина Князевым относится к 1910-1912. О сложных отношениях между двумя поэтами и О.А. Глебовой, в результате чего Князев покончил с собой, см.: Тименчик Р. Рижский эпизод в «Поэме без героя» Анны Ахматовой // Даугава. 1984. №2. С.113-121.

⁹⁶ Нувель Вальтер Федорович (1871-1949) — чиновник особых поручений канцелярии Министерства императорского двора, влиятельный в музыкальных кругах Петербурга, один из организаторов «Вечеров современной музыки», ближайший знакомый Кузмина в 1905-1907. В эмиграции с 1919.

⁹⁷ Марка — фирменная марка издательства «Картонный домик» работы А.Я. Головина.

⁹⁸ «Cosi fan tutte» («Все они таковы», или, в русском переводе «Так поступают все женщины»), опера Моцарта (1790). См. рецензию Кузмина «"Cosi fan tutte" (Гос. театр Комической оперы)» // Жизнь искусства. 1921. 28-31 мая. №742-745.

⁹⁹ Каких-либо сведений об этом поэтическом объединении, кроме упоминаний в Дневнике Кузмина (см. также запись от 26 мая), обнаружить не удалось.

¹⁰⁰ Вечер Кузмина в Доме Искусств 21 мая первоначально назначался на 11 мая (см. записи от 9 и 11 мая и хронику «Жизни искусства» 11-13 мая, №727-729 и 21-24 мая, №736-738).

¹⁰¹ Имеется в виду рецензия на спектакль «Двенадцатая ночь» (см. запись от 23 марта) — Жизнь искусства. 1921. 25-27 мая. №739-741.

¹⁰² Андреева Мария Федоровна (1868-1953), актриса, общественная деятельница, вторая жена М.Горького. В 1919-1921 была комиссаром театров и зрелищ Петрограда (заместителем Наркома просвещения по художественным делам, заведующей Петроградским отделением ТЕО Наркомпроса). Смена руководства ПТО произошла в апреле 1921 (Жизнь искусства. 1921. 20-22 апреля. №721-723), однако в коллегия ПТО А.С. Лурье, вопреки своим ожиданиям, избран не был.

¹⁰³ В мае-июне 1921 Кузмин переводил фарсы Г.Фильдинга (черновые автографы переводов сохранились в ИРЛИ).

¹⁰⁴ В числе планов Кузмина по крайней мере с 1917 были переводы стихов П. де Ронсара. Нам не удалось установить, был ли осуществлен этот замысел.

¹⁰⁵ Ахматова действительно служила в 1921 в библиотеке Агрономического института. См., напр.: Кралин М. Артур и Анна. С.26.

¹⁰⁶ Санин брат — Сергей Игнатьевич Бернштейн (1892-1970), языковед. С 1920 в Институте живого слова создавал фонотеку с записями на валиках чтения стихов поэтами (Гумилевым, Андреем Белым, Блоком, Брюсовым, Сологубом, Волошиным, Георгием Ивановым, Ходасевичем, Мандельштамом, Маяковским, Пастернаком, Есениным, Клюевым, Пястом, Ахматовой, Кузминым и др. — в общей сложности 92 поэта), изучал звучание поэтической речи и особенности авторского чтения в своей фонетической лаборатории. «Прибегал поздно Санин брат, тащит меня в Инст[итут] живого слова, чтобы почитать в граммофон», — записывал в Дневнике Кузмин 24 мая 1920. Коллекция валиков оказалась в большей своей части утрачена после ряда реорганизаций (фактического разгрома) Государственного Института истории искусств и бернштейновского Кабинета изучения художественной речи при нем в 1929-1930. О судьбе собрания записей см. письмо С.И. Бернштейна директору Гослитмузея Д.Бонч-Бруевичу от 4 февраля 1934 (ЦГАЛИ, ф.612, оп.1, ед.хр.621), а также работы Л.А. Шилова.

¹⁰⁷ Возможно, говорится о книге Я.Беме «Аугога или Утренняя заря в восхождении» (М., 1914), ранее проданной Гюркуном букинисту.

¹⁰⁸ Имеется в виду стихотворение «Пламень Федры» (вошло в сборник «Параболы»).

¹⁰⁹ «Орфей в аду», оперетта Ж.Оффенбаха (1858).

СЛОВАРЬ ИМЕН,
УПОМИНАЕМЫХ В ДНЕВНИКЕ 1921 ГОДА

Абрам Саулович — см. Каган А.С.

Августа Натановна — А.Н. Рашковская (род. 1898), писательница, литературовед.

Алеша — вероятно, сын В.А. Лишневецкой.

Алперс Борис Владимирович (1894-1974), сотрудник Студии В.Э. Мейерхольда, в 1921-1924 художественный руководитель театра Новой драмы в Петрограде, впоследствии театровед. Член ВКП(б).

Альтман Натан Исаевич (1889-1970), живописец, график, сценограф.

Алянский Самуил Миронович (1891-1974), владелец издательства «Алконост».

Амброзевич Вероника Карловна (ум. в 1938), мать Ю.И. Юркуна.

Анна Андреевна — см. Сомова А.А.

Анненков Юрий Павлович (1889-1974), художник, режиссер, мемуарист. Иллюстрировал произведения Юркуна, написал портрет М.Кузмина (1919). В эмиграции с 1924.

Ахматова Анна Андреевна (1889-1966), поэтесса.

Бай Эммануил С. (умер в США в 1960-е), пианист.

Бебут — возможно, так Кузмин называет Бебутова Валерия Михайловича (1885-1961), режиссера, участника постановки в Театре РСФСР 1-м «Мистерии-Буфф».

Беленсон Александр Эммануилович (1890-1949), поэт, критик, издатель альманаха «Стрелец».

Бентович Борис Ильич (ум. 1930), управляющий делами Драмсоюза (Петроградского общества драматических и музыкальных писателей), член комитета Дома Литераторов.

Берман Лазарь Васильевич (1894-1980), поэт, в 1921 секретарь Союза поэтов. См. о нем: Сажин В. Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. №11. С.91-93.

Блохи: Яков Ноевич (1892-1968), переводчик, секретарь правления кооперативного издательства «Petropolis»; Елена Исааковна, его жена; Дора Яковлевна, его мать; Раиса Ноевна (1899-1943, в немецком концлагере), поэтесса, его сестра. Эмигрировали в 1922.

Божемянов Александр Иванович (ум. 1961), художник-график (обложки и рисунки к 3-й книге стихов Кузмина «Глиняные голубки» и 4-й книге его рассказов «Покойница в доме» — обе в 1914, ко 2-му изданию «Сетей», «Девственному Виктору», «Леску»).

Борис Владимирович — см. Папаригопуло.

Боянус Семен Карлович, профессор, историк западноевропейского театра, германист.

Бриан (Шмаргонер) Мария Исааковна (1886-1965), певица, профессор Петроградской консерватории (с 1920). Неоднократно давала концерты в Доме Искусств.

Бриф Михаил Валерианович, артист Театра народной комедии.

Бруни Лев Александрович (1896-1948), художник, профессор во ВХУТЕИН.

Бурцев Александр Евгеньевич (1833-1937 или 1938), коллекционер, библиофил. О судьбе его коллекции см. очерк И. Андронникова «Личная собственность» и статью С. Шумихина «Письма наркомам» (Знание — сила. 1989. №6).

Бутомо-Названова Ольга Николаевна (1888-1960), певица. После возвращения в Петроград весной 1921 с юга России, где она провела три года, выступала в Доме Искусств с исполнением шумановского цикла «Dichterliebe».

Варвара Филипповна — мать братьев Папаригопуло.

Ватсон Мария Валентиновна (1848-1932), поэтесса, переводчица, сотрудница журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство», биограф С. Я. Надсона.

Вера Александровна — см. Лишневская-Кашницкая В. А.

Вероника Карловна — см. Амброзевич В. К.

Верховский Юрий Никандрович (1878-1956), поэт, историк литературы, переводчик, близкий друг Кузмина и один из издателей «Зеленого сборника» (1905), где состоялся литературный дебют Кузмина.

Владек — вероятно, сын В. А. Лишневской.

Воинов Всеволод Владимирович (1880-1945), художник, искусствовед, сотрудник Эрмитажа и Русского музея.

Войтинская Надежда Савельевна (1886-1966), художница. Автор портрета Кузмина.

Волковыский Николай Моисеевич (1881 - после 1940), литератор. Выслан за границу в 1922.

Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна (1885-1945), актриса, скульптор, танцовщица, первая жена художника С. Ю. Судейкина. В эмиграции с 1923.

Голлербах Эрих Федорович (1895-1942?), искусствовед, литературный и художественный критик.

Головин Александр Яковлевич (1863-1930), художник-декоратор.

Голубев Андрей Андреевич (1881-1961), актер. Управляющий делами ПТО; после переезда ТЕО в Москву некоторое время возглавлял правление Петроградского отделения ТЕО.

Грзевин Зинович Исаевич (1869-1929), художник, издатель.

Гум, Гумм — см. Гумилев Н. С.

Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт.

Дейч — вероятно, Лев Григорьевич (1855-1941), народоволец. В начале 1920-х жил в ДИСКе.

Добужан, младший Добужан — см. Добужинские М. В. и В. М.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957), художник. В эмиграции с 1925.

Доля — вероятно, Добужинский Всеволод Мстиславович (род. 1905), сын М.В. Добужинского, театральный художник.

Долиновы — возможно, семья литератора Анатолия Ивановича Долинова.

Дурашка — см. Лавровский В.К.

Евгений Максимович, сосед Кузмина по коммунальной квартире.

Евреинов Николай Николаевич (1879-1953), драматург, режиссер. В эмиграции с 1925.

Егор (Ег.) Иванов, Егорка — см. Иванов Г.В.

Залшупины: художник-график Сергей Александрович (ум. 1931) и его жена Надежда Александровна (Надина). В эмиграции с 1921.

Замятин — предположительно, описка Кузмина, имеется в виду писатель Е.И. Замятин (1884-1937).

Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944), филолог, исследователь античной культуры, профессор Петроградского университета. Заведовал изданием переводных пьес в редакционной группе репертуарной секции Петроградского отделения ТЕО Наркомпроса. В эмиграции с 1920-х.

Зиновий — см. Гржебин.

Зозуля Ефим Давыдович (1891-1941), писатель.

Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), поэт. В эмиграции с 1922.

Ида Владимировна (в Дневнике Кузмин иногда пишет также «Инна Владимировна») — бывшая жена А.И. Божерянова, в 1921 уже разошедшаяся с ним.

Инженер — возможно, Е.В. Михальцев.

Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887-1942), поэт, издательский деятель (заведовал Ленинградским отделением ГИЗа, затем председатель правления изд-ва «ЗИФ»). Репрессирован.

Ипполит — см. Юдовские.

Ирецкий (Гликман) Виктор Яковлевич (1882-1936), литератор. Выслан в 1922 за границу.

Исай — см. Мандельштам И.Б.

Каган Абрам Саулович (1889-1983), издатель, участник петроградского «Петрополиса». Выслан в 1922 за границу, жил в Германии, затем в США.

Казароза (Шнырева) Белла Григорьевна (1893-1929), певица. Выступала в «Привале комедиантов».

Канкарович Анатолий Исаакович (1885-1956), композитор, дирижер, музыкальный критик.

Каплун Борис Гитманович (1884-?), работник Управления Петросовета.

Карсавин Лев Платонович (1882-1953, в советском концлагере), философ. Брат балерины Т.П. Карсавиной. Выслан за границу в 1922.

Кира Александровна (Алексеевна?) — см. Михальцевы.

Коля, Коля Петер — см. Н.В. Петров.

Кроль Исаак Моисеевич (ум. 1942), режиссер БДТ, затем ГОСЕТа. Крючков Петр Петрович (1889-1938), секретарь вначале М.Ф. Андреевой (управляющий делами Петроградского ТЕО), затем М. Горького. Предполагают, что исполнял задания ГПУ (Ягоды) по слежке за Горьким. На процессе «право-троцкистского антисоветского блока» в марте 1938 признался в участии в убийстве (отравлении) Горького.

Кузнецов Евгений Михайлович (1900-1958), работал с 1919 в Петроградском отделе театров и зрелищ, в «Красной газете», получил впоследствии известность как сценарист и постановщик массовых народных зрелищ, цирковых пантомим и т.п.

Купреянов Николай Васильевич (1894-1933), художник-график, педагог. Был близок к ЛЕФу, преподавал на графическом факультете ВХУТЕМАСа

Лавровский Виктор Константинович, сотрудник Отдела рукописей ГПБ, коллекционер, библиофил, собиратель эротики.

Леонард — см. Пальмский Л.Л.

Лисенков Евгений Григорьевич, искусствовед, специалист по истории нового западноевропейского искусства, действительный член Государственного института истории искусств (ГИИИ).

Лишневская (Кашницкая) Вера Александровна (1894-1924), жена Б.К. Пронина, владельца кабаре «Привал комедиантов».

Лозинский Георгий Леонидович (1899-1942), филолог и переводчик. Участник «Петрополиса». В эмиграции с августа 1921.

Лулу Каннегисер — сестра расстрелянного в 1918 Л.И. Каннегисера, убившего председателя ПЧК Урицкого.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), нарком просвещения РСФСР в 1917-1929.

Лурье Артур Сергеевич (1892-1966), композитор. В 1921 — комиссар Музыкального отдела Наркомпроса в Петрограде. В эмиграции с марта 1922.

Мазуркевич Владимир Александрович (1871-1942), литератор.

Мамаша — см. Амброзевич В.К.

Марья Абрамовна — см. Мандельштамы.

Мандельштамы: Исай Бенедиктович (1885-1954), переводчик, дальний родственник О.Э. Мандельштама; Марья Абрамовна, его жена. См. о них: Минувшее. Вып. 11. С. 382-394.

Мелин Лев Федорович, букинист.

Милашевский Владимир Алексеевич (1893-1976), художник-график, иллюстратор книги Кузмина «Занавешенные картинки».

Михайлов Николай Иванович, владелец издательства «Прометей».

Мина Самойловна, родственница Т.М. Персиц.

Михальцевы: Кира Александровна (Алексеевна?) и ее муж, Евгений Владимирович, инженер-путеец, профессор. Богатые люди, устраивавшие у себя литературно-музыкально-художественный салон.

Мозжухины — актриса Клеопатра Андреевна (Клео Карини) и ее муж Александр Ильич (1878-1952), актер, оперный певец, председатель общест-

ва «Друзья камерной музыки», брат киноактера И.И. Мозжухина. Эмигрировали в 1920-е.

Мроз Елена Константиновна, научный сотрудник Государственной академии материальной культуры, ГИИИ, Русского музея.

Мухин Василий Васильевич, поклонник балерины Т.П. Карсавиной, «романтический и мужественный мужчина», как определяет его Кузмин в записи от 4 августа 1919.

Надежда Александровна — см. Залшупины.

Наденька — возможно, Н.А. Залшупина.

Надина — см. Залшупины.

Нашатырь Георгий Владимирович (род. 1902), художник и коллекционер.

Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891-1942), поэт, участник Цеха поэтов. Репрессирован.

Нора — см. Сахар Н.Я.

Одоевцева Ирина Владимировна (1895-1990), поэтесса, 2-я жена Г.В. Иванова. В эмиграции с 1922.

Оленька — см. Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна.

Олимпов (Фофанов) Константин Константинович (1889-1940), поэт, эгофутурист, сын К.Фофанова.

Павлов[ич?] — в Дневнике фамилия не дописана. Возможно, имеется в виду Павлович Надежда Александровна (1895-1980), писательница.

Пальмский (Бамбашевский) Леонард Леонардович, переводчик и либреттист.

Папаригопуло (в Дневнике также «греки», «братья») — Борис Владимирович (1899-1951), поэт, автор либретто оперы «Джессика» по Дж. Боккаччо (входил в литературную группу эмоционалистов), затем детский писатель, и Сергей Владимирович, литератор (по службе — секретарь военной прокуратуры).

Пентегью — прозвище Ирины Одоевцевой (по герою ее баллады «Роберт Пентегью», опубликованной в альманахе Цеха Поэтов «Дракон», кн. I. Пг., 1921).

Персиц Тамара Михайловна (ум. 1955), дама петербургского окололитературного круга, литератор (псевдоним — Эванс), меценатка (в 1919 издала под маркой издательства «Странствующий энтузиаст» роман Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»).

Петров — возможно, Дмитрий Константинович (ум. не позже 1928), специалист по романским языкам и литературе, профессор Петроградского университета (1918-1922), пайщик «Петрополиса».

Петров Николай Васильевич (1890-1964), актер, режиссер.

Петников Григорий Николаевич (1894-1971), поэт, близкий к футуристам, основатель (вместе с Н.Асеевым и В.Хлебниковым) в Харькове издательства «Лирень», в 1918-1920 редактировал харьковский журнал «Пути творчества».

Плетнев — возможно, Николай Алексеевич, композитор.

Покровский Корнелий Павлович (ум. 1938), знакомый Кузмина. Инженер. Входил в круг А.Д. Радловой. Ему посвящен цикл «Лазарь» в кн. «Форель разбивает лед» (Л., 1927).

Покровский Владимир Павлович, инженер-гидролог, брат предыдущего.

Пунин Николай Николаевич (1888-1953, в советском концлагере), искусствовед.

Пяст (Пестовский) Владимир Александрович (1886-1940), поэт, переводчик, мемуарист.

Радлов Сергей Эрнестович (1892-1958), режиссер, обучался в Студии Мейерхольда.

Радлова Анна Дмитриевна (1891-1949, в советском концлагере), поэтесса, драматург, переводчица, жена С.Э. Радлова.

Рейн Белла Абрамовна (1904-1983), актриса, танцовщица мюзик-холла, жена А.И. Божерянова. Эмигрировала в 1920-е.

Ремизовы Алексей Михайлович (1877-1957) и Серафима Павловна (Довгелло) (1876-1943). В эмиграции с 1921.

Рождественский Всеволод Александрович (1895-1977), поэт.

Ромашков — возможно, Владимир Федорович, актер.

Рославлева — вероятно, Надежда Яковлевна (1902-1942?), поэтесса, актриса. Студентка Петроградского института сценических искусств. См. о ней: Минувшее. Вып.11. С.518.

Сабашникова Маргарита Васильевна (1882-1973), жена М.А. Волошина (1906-1907), знакомая Кузмина по «башне» Вяч.Иванова. Была антропософкой, последовательницей доктора Штейнера. Эмигрировала в 1922.

Савельевна — см. Н.С. Войтинская.

Саня — Игнатий Игнатьевич Бернштейн (1900-1978), критик, владелец эфемерного издательства «Картонный домик». Писал под псевдонимом А.Ивич.

Сахар Нора Яковлевна, писательница. В эмиграции с 1921.

Святловский Владимир Владимирович (1869-1927), экономист, поэт.

Сергей Александрович — см. Залшупин.

Сологубы: Федор Кузьмич (1863-1927) и его жена Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876-1921).

Сомов Константин Андреевич (1889-1939), художник, знакомый Кузмина с 1905 года. В эмиграции с 1923.

Сомова Анна Андреевна (1873-1945), сестра К.А. Сомова.

Сашенька — см. Божерянов А.И.

Сторицын Петр Ильич (1894-1941), театральный критик, поэт. См. упоминание о нем в кн.: Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914-1933). М., 1990. С.366. В ЦГАЛИ в фонде В.Б. Шкловского хранятся незаконченные мемуары Сторицына (главы из задуманной им книги «Мои американские горы»), но Кузмин там не упомянут.

Стрельников (Мезенкампф) Николай Михайлович (1888-1939), композитор, музыкальный критик и театральный дирижер. В 1922-1939 зав. музыкальной частью и дирижер Петроградского/Ленинградского ТЮЗа.

Сюнненберг Константин Александрович (К.Эрберг; 1871-1942), поэт, писатель, художественный критик.

Тамара Наталья Ивановна — актриса петроградских театров (Летний Буфф и др.).

Тяпа — см. Персиц Т.М.

Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961), писательница.

Фроловы, мальчики — возможно, сыновья Александра Матвеевича Фролова, профессора Ленинградских Политехнического института и Института инженеров путей сообщения.

Ховин Виктор Романович (1891 - после 1940), литературный критик, издатель журнала «Книжный угол», владелец одноименной книжной лавки (Караванная, 2, угол Фонтанки, 5). Был в эмиграции, погиб в гитлеровском концлагере.

Хортики: Александр Яковлевич и Вера Яковлевна, певица, секретарь «Кружка друзей камерной музыки».

Чернявский Владимир Степанович (1879-1948), актер Театра-студии С.Э. Радлова.

Чудовский Валериан Адольфович (1891-1938?), критик, стиховед, бывший сотрудник журнала «Аполлон». Многолетний любовник А.Д. Радловой. Репрессирован.

Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882-1969), поэт, критик.

Шайкевичи: Андрей Анатольевич (1879-1947), литератор, балетный критик (оставил воспоминания о Кузмине: Петербургская богема. (М.А. Кузмин) // Орион. Литературный альманах. Париж, 1947), и его жена, артистка балета Клавдия Васильевна Павлова (ум. 1958). В эмиграции с 1918.

Шилов Федор Григорьевич (1879-1962), букинист. Автор «Записок старого книжника» (первое изд.: М., 1959).

Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), писатель, литературовед.

Штрайх Соломон Яковлевич (1879-1957), историк, пушкинист.

Щербаков Николай Александрович (1898-?), артист, ученик студии Мейерхольда.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-1959), литературовед.

Эрберг — см. Сюнненберг.

Юдовский: Григорий Ильич и его сын Ипполит. Г.И. Юдовский был владельцем открывшегося в 1922 г. литературного кафе «Ягодка» на Невском. Роспись стен сделал В.М. Кустодиев. Предполагалось, что Кузмин возьмет на себя заведование литературной частью. В «Ягодке» исполня-

лись некоторые произведения Кузмина. Позже Г.И. Юдовский заведовал художественной частью Свободного театра.

Юрьев Юрий Михайлович (1872-1948), актер, режиссер.

Яковлева-Шапорина Любовь Васильевна (1885-1967), художница, деятельница театра марионеток. В 1917 поставила пьесу Кузмина «Вертеп кукольный».

ANNEX

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абелард (Абеляр) П. 224
Абрамова А.Н. 206
бл.Августин 221, 222, 223
Авербах Л.Л. 362, 365, 367, 369-372, 382
Авксентьев Н.Д. 17
Авриль (ур. Лосская) М.Б. 155
Авриль Ф. 155
Аггеев К.М. 239
Агранов Я.С. 355, 361
*Адалис А. (Ефрон А.Е.) 192, 193, 195, 196, 213
Айналов Д.В. 130
Айхенвальд Ю.А. 343, 349
Айхенвальд Ю.И. 344-349
Аладинский, врач 101, 123, 124
Аладьин, депутат Думы 22
*Алданов (Ландау) М.А. 347-349
Александр Афинянин 153
Александр I, имп. 88, 118
Александр II, имп. 33, 406
Александр III, имп. 63
о.Александр (Дернов) 137, 166
Александра Федоровна, имп. 10, 11, 166
Александров А.М. 177-179, 187
Алексеев В.С. 32, 57, 71, 152
Алексеев М.В. 7, 9-13, 15, 17-22, 24-26
Алекеев-Аскольдов С.А. 32, 57, 71, 151, 152, 158
Алексеева А.С. 57, 71, 152
Алексеева Е.М. 71, 152
патр.Алексий (Симанский) 251, 254, 258
Алперс Б.В. 465, 470, 472, 487
Алтухов М.И. 111, 115
Алчасов, сов. гос. деятель 242
Альтман Н.И. 107, 459, 487
Альфонс Кастильский 235
Алянский С.М. 442, 470, 487
Амальрих (Амори) Бенский 235
Амброзевич В.К. 435-437, 441, 445, 450-459, 462, 464-466, 470, 474, 479, 487, 488, 490
Амфитеатров А.В. 50
Андерсен Г.Х. 473
Андреев Л.Н. 122, 176
Андреева М.Ф. 391, 486, 490
Андреевский С.А. 315, 328, 331, 340
Андронников И.Л. 488
Анненков Ю.П. 67, 365, 437, 476, 477, 483, 484, 487
Анненский И.Ф. 158
Анощенко Н. 397
митр.Антоний (Храповицкий) 119
еп.Антонин 252
Антонов А.С. 479
Анциферов Н.П. 95, 102
*Арбенина (Гильдебрандт) О.Н. 430, 431, 434-436, 438-448, 450-475, 483, 485
Аристофан 135
Арнольдо из Брешии 228
Архангельский А.А. 35
Асафьев Б.В. (*Глебов И.) 96
Асеев Н.Н. 379, 386, 418
Астров В. 365

* Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Астров П.И. 239
- *Ахматова (Горенко) А.А. 69, 107, 110, 172, 187, 378, 385, 432, 456, 460, 471, 472, 474, 482-486
- Афанасьев Б.П. 68, 79, 93, 94, 99
- Афанасьева А. 30, 57, 66, 67, 92, 93
- Ашукин Н.С. 383
- *Багрицкий (Дзюбин) Э.Г. 368
- Базен А. 399
- Бай Э.С. 461, 487
- Бакунин А.И. 150
- Балавинский С.А. 13, 14
- Бальмонт К.Д. 179-181, 188
- Барановский, генерал 19, 24, 25
- Баранцевич З. 394
- Баррер, генерал 23
- Бауэр М. 357, 359
- Бах И.С. 98, 159
- Бахметьев В. 366
- Бахрах А.В. 348
- Бахтин Б. 130, 139
- Бахтин В.В. 76, 117, 118, 128, 139, 155
- Бebutova В.М. 457, 459, 487
- Безант А. 150
- Безродная (ур. Яковлева) Ю.И. 278, 338
- Безыменский А.И. 363
- Бейлис М. 395
- Беклемишев А.А. 346
- Беленсон А.Э. 443, 449, 451, 456, 458-461, 465, 472, 478, 480, 483, 487
- Белоголовая Л. 114
- Белоусов В. 214
- *Белый А. (Бугаев Б.Н.). 57, 58, 60, 61, 122, 144, 152, 167, 342, 343, 348, 349, 350-360, 361, 426, 479, 486
- Беме Я. 486
- Бенедиктов, гимназист 95
- Бениславская Г.А. 191, 194, 195, 198-204, 208, 213-215
- Бентович Б.И. 448, 487
- Бенуа А.Н. 71, 96, 108, 153, 440, 478
- Бенуа Альберт Н. 108
- Берберова Н.Н. 345, 346, 349, 477
- Бердяев Н.А. 128, 129, 145, 149, 163-165
- Бердяева Л.Ю. 128, 145, 163
- Бердяевы, семья 128
- Беренгар Турский 224
- Берзина (Берзинь) А.А. 204, 215
- Берман Л.В. 439, 487
- Бернард Клервосский 228, 234
- Бернштам Л.А. 151
- Бернштейн И.И. 442-444, 446, 448, 451, 453, 454, 456, 458, 460, 461, 464, 465, 468, 471-474, 492
- Бернштейн С.И. 486
- Бескин О. 363
- Бескин Э. 365
- Бестужев-Марлинский А.А. 109
- Бетховен Л. ван 30, 35, 46, 73, 79, 88, 95, 109
- Билль-Белоцерковский В.Н. 362-376
- Бихтер М.А. 96
- Блаватская Е.П. 150
- Блейк У. 339
- Блок А.А. 57, 61, 89, 100, 107, 134, 347, 358, 385, 424, 426, 432, 438, 476, 479, 482, 486
- Блох Д.Я. 473, 487
- Блох Е.И. 450, 464, 473, 484, 487
- Блох Р.Н. 76, 155, 156, 484, 487
- Блох Я.Н. 448, 450, 451, 454, 458, 462, 464, 470, 472-474, 476, 484, 487
- Блох Я.С. 476
- Блохи, семья 439, 442, 444, 446, 447, 449, 454, 455, 466, 468, 472-475
- Боборыкин П.Д. 328, 338, 341
- Боброва А.С. 273
- Богарнэ Е. 161
- Богданов А.А. 112
- Боголепов А.А. 140
- Богомил 225
- Богомоллов Н.А. 273, 423-494

- Бодлер Ш. 169
 Божерянов А.И. 441, 457, 458, 487, 492
 Божерянова И.В. 440, 441, 447, 489
 Бокаччио Д. 98, 491
 Болдырев А.В. 156
 Болдырев Д.В. 32, 150, 156
 Боловина-Починковская, литератор 161
 Болтянский Г. 395, 401, 410, 415-417
 Большаков И. 388
 Бомарше П.О. 70
 Бонч-Бруевич В.Д. 242, 486
 Боровик, певица 107
 Боровой А.А. 343, 344, 348
 Бортнянский Д.С. 38
 Боянус С.К. 439, 449, 454, 459, 484, 487
 Боярский А.И. 119, 252
 Бравая, гимназистка 55, 72
 Бранлоу К. 399
 Бриан (Шмаргонер) М.А. 456, 488
 Брики, семья 380
 Бриф М.В. 488
 Бронштейн Л.Л. 30
 Броуман, уполномочен. 255, 257
 Бругер-Волотова, актриса 56, 114
 Бруни Л.А. 488
 Бруни, семья 442
 Бруцкус В.Д. 140-143
 Брюллов К.П. 34, 63
 Брюсов В.Я. 265, 426, 485, 486
 Бугаев Н.В. 352
 Бугаева К.Н. 152
 Бузони Ф. 98
 Булгаков М.А. 362, 376
 Булгаков С.Н. 239
 Булич С.К. 36
 Бунин И.А. 343, 348, 349
 Буренин В.П. (Гр. Алексис Жасминов) 282, 339
 Бурлюк В.Д. 184, 186
 Бурлюк Д.Д. 183, 184, 186, 188, 377, 381, 386
 Бурлюк Л.Д. 186
 Бурлюк Н.Д. 184, 186
 Бурцев А.Е. 441, 463, 488
 Бутомо-Названова О.Н. 94, 99, 455, 456, 488
 Бухарин Н.И. 122, 363, 371, 418
 Бушен Д.Д. 162
 Быкова Т.А. 74, 75, 98, 154
 Бьёрнсон Б.М. 103
 Вагнер Р. 35
 Ваксберг А. 388
 Вален-Деламот, архитектор 58
 *Валентинов (Вольский) Н.В. 407, 408
 Валишевский С. 378
 Вальдо П. 229
 Вальтер В.Г. 32, 111
 Вандервер Д. 340
 Ван Орен 106
 иером. Варлаам (Сацердоцкий) 251
 Васенко Э.Ф. 116
 Василийд 219
 еп. Василий (Кривошеин) 259, 262
 Васильев П.Н. 349, 351-354, 356, 357, 359-361
 Васильева К.Н. 348-361
 Ватсон М.В. 443, 453, 478, 488
 Вахтель М. 265-273
 Введенский А. 118, 119, 252
 Введенский А.И. 136, 165
 Вебер К. 482
 Ведринская, актриса 43, 85, 110
 Вейнберг П.И. 331, 340, 341
 Велихов Л.А. 177, 178, 187
 Велихов П.А. 140
 Венгеров С.А. 338
 Венгерова З.А. 285, 293, 303, 328, 329, 339
 Вениамин, митр. 81, 82, 101, 112
 иером. Вениамин (Эссен) 251
 Венявский Г. 122
 Вердеревский Д.Н. 18
 Ферди Д. 145
 Вергилий 468
 Веремеенко М. 398
 Веригина В.П. 188
 Верлен П. 313, 335

- Верн Ж. 50
 Вертов Д. 417
 Вертоградский, свящ. 109
 Верховский А.И. 449, 481
 Верховский Ю.Н. 438, 488
 *Веселый А. (Кочуров Н.И.) 385
 Виардо П. 154
 Вивьен Л.С. 43
 Виленкина Е. 56, 73, 95, 114, 134
 Вилль, балерина 68
 Вине Р. 430
 Виноградская С. 191, 203, 213
 Виппер Р.Ю. 120, 121, 128
 Вирт К.Й. 127
 Владимир Александрович, вел. кн. 51, 476
 Воеводин П.И. 388-420
 Вознесенский А.А. 384, 385
 Воинов В.В. 468-472, 474, 488
 Войтинская Н.С. 441, 450, 452, 458, 460, 488
 Волах, делец 133
 Волин Б. 370
 Волковыский Н.М. 127, 132, 140, 438, 442, 459, 465, 488
 Волжанин О. 478
 *Володарский В. (Гольдштейн М. М.) 40
 Волотова, режиссер 134
 Волошин М.А. 486
 Волошина (Сабашникова) М.В. 359, 442, 492
 *Волынский А.Л. (Флексер Х.Л.) 172, 185, 274-341, 478
 Вольпин Н.Д. 189, 190-213, 214, 215
 Вольпин В.И. 211, 215
 Вольф-Израэль Е. 35
 Воронский А.К. 363
 Вырубов В.В. 7, 8-27
 Вырубов Н.В. 7-27
 Вырубова А.А. 83
 архиеп. Гавриил (Воеводин) 251
 Гайдебуров П.П. 56, 103, 104, 130
 Гайдн Ф.Й. 455, 456
 Гак А.М. 387
 Гаккель, аптекарь 31, 32
 Гамсун К. 130
 Ганецкий Я.С. 348
 Ганин А. 197, 214
 Гарднер Д.Д. 167
 Гарибальди Д. 409
 Гаспаров М.Л. 273
 Гаук А.В. 62, 152, 153
 Гаук Э. 152, 153
 Гауптман Г. 122, 169
 Гегель Г.В.Ф. 86
 Геллер М.Я. 163, 414
 Герберштейн З. 108, 159
 Герберштейн Г. 159
 Геренштейн, знакомый А. Волынского 334
 Германова М. 145
 Герцен А.И. 40, 126, 150, 358
 Гете И.В. 103, 265, 266, 273, 343, 437
 Геттнеф Г. 461, 483
 Гильдегарда Бингенская 235
 Гильен Н. 384
 Гинденбург П. фон 9
 Гиндес Н. 138
 Гиппиус З.Н. 274-277, 278-337, 348, 349, 429
 Гиршович, пианистка 38
 *Гитлер (Шикльгрубер) А. 143, 166
 Глаголева Н.А. 387
 Гладков Ф.В. 366
 Глазенап С.П. 134
 Глазков Н. 384
 Глазунов А.К. 136
 Глебов А. 364, 365
 Глебова-Судейкина О.А. 172, 185, 431, 455, 460, 462, 470, 471, 485, 488, 491
 Глинка М.И. 109, 485
 Глинский Б.Б. 279, 281, 338
 Глизр Р.М. 419
 Глюк К.В. 44
 Гляссер И.А. 30, 32, 37, 39, 43, 46, 49, 63, 67, 69, 87, 96, 109, 116, 122, 136
 Гляссер О.Ф. 37, 96
 Гоголь Н.В. 67, 80, 126

- Голиков И.И. 108
 Голлербах Э.Ф. 425, 446, 448, 488
 Головин А.Я. 465, 471, 473, 476, 485, 488
 Головин Н.Н. 25
 Головин Ф.А. 15, 16
 Гольдони К. 85, 456, 469, 482
 Голубев А.А. 455, 488
 Гонкур Э. 477
 Гонтаев, социолог 53
 Горбов Д. 368
 Горбунов Н.П. 242
 Гордиенко М. 406
 Горин-Горайнов, актер 43
 Горлин М. 155
 Горуецкий С.М. 172, 175
 Горунович Н.Я. 97, 101, 111, 113, 116
 *Горький М. (Пешков А.М.) 47, 51, 338, 345, 347-353, 365, 366, 368, 369, 414, 455, 457, 479, 482, 483, 486, 490
 Готшалк 223
 Гофман Э.Т.А. 465, 471
 Грабарь И.Э. 63, 133, 154, 155
 Граменецкая Г. 39
 Граменецкая М. 39, 72, 73, 79, 94, 156
 Гревс И.М. 46, 74, 75, 87, 135, 154
 Грѣз Ж.Б. 68
 Греков И.И. 110
 Греков Б.Д. 127
 Гржебин З.И. 352, 434, 444, 454, 464, 482, 488, 489
 Грибачев Н.М. 383
 Грибоедов А.С. 383
 Григорий VII, папа 228
 Громогласов И.М. 239
 Гронский И.М. 368, 375
 Груздева Т. 56
 Грузинов И.В. 194, 195, 198, 202, 204, 210, 214
 Губель Ю. 50
 Губин Г. 95, 117
 Гузарчик Н. 56, 135
 Гуковский М.А. 76, 128, 155
 Гумилев Н.С. 89, 100, 134, 172, 187, 347, 382, 424, 426, 430, 432, 435, 440, 454, 457, 462, 463, 465, 468, 470, 472, 473, 475, 476, 482, 484, 486-488
 Гуревич Л.Г. 340
 Гуревич Л.Я. 274, 276, 279, 280, 284, 293, 294, 299, 301, 302, 303, 306, 338, 339, 341
 Гуревич Я.Я. 94, 134
 Гус Я. 232, 233
 Гучков А.И. 18
 Гюисманс Ж.К. 339
 Гюнтер И. фон 266
 Давид Динанский 236
 *Давыдов В.Н. (Горелов И.Н.) 110
 Давыдова А.А. 338, 339, 341
 Данте А. 75, 137, 142, 161
 Дедюлины, род 165
 Дейнека А.А. 48
 Дейч Л.Г. 465, 488
 Дельвиг А.А. 109
 Денисов, знакомый А.Волынского 334
 Державин Г.Р. 383
 Дзержинский Ф.Э. 345, 348
 Джооакино дель Фьоре 228, 231, 235
 Джонсон Б. 484
 Лидерихс, фабрикант 46, 49
 Лидерихс Л. 37, 116
 Диккенс Ч. 51, 87, 439
 Дмитрий Павлович, вел.кн. 469, 481
 Добиаш-Рождественская М.А. 102
 Добиаш-Рождественская О.А. 61, 74, 76, 102, 130, 135, 153, 154, 160, 163
 Добкин А.И. 151
 Добролюбов Н.А. 40
 Добужинский В.М. 435, 488, 489
 Добужинский М.В. 70, 110, 444, 455, 470, 479, 488
 Долгинцева (по мужу Вентцель) Е.С. 94, 158

- Долидзе Т. 401
 Долинов А.И. 489
 Долиновы, семья 455
 Дольчино, аббат 231, 235
 *Дон-Аминадо (Шполянский А.П.) 343, 344
 Доре Г. 161
 Доронин И.И. 382
 Достоевская А.Г. 160
 Достоевский Ф.М. 71, 88, 95, 100, 157, 160, 261, 340
 Драбкина Е. 400
 Драгоманов М.П. 168
 Дриго Р. 145
 Дроммер, фермер 31
 Дукельский С. 388
 Дункан А. 111, 161, 197, 214
 Духонин Н.Н. 25, 27
 Дымшиц В.Э. 95, 158

 Евреинов Н.Н. 141, 185, 186, 405, 437, 449, 460, 476, 489
 Евреинова А.А. 166, 338, 339
 Евтухова К. 238-248
 Евлогий, митр. 259
 Евстигнеева А.Л. 274-341
 Екатерина I, имп. 157
 Екатерина II, имп. 31, 35
 Елагин Ю. 364, 365
 Елисеев С.П. 477
 Енукидзе А.С. 390
 Ермилов В.В. 369, 370, 382
 Есенин С.А. 189-215, 378, 382, 486
 Есенин-Вольпин А.С. 189, 207, 215
 Ефремов М. 388

 Животов А. 36, 44
 Жанен Ж.Г. (Janin J.) 441, 478
 *Жига (Смирнов) И. 366
 Жижка Я. 233
 Жирар Ф. 157
 Жирмунский В.М. 87, 89, 130, 267
 Жирмунский М.С. 87
 Жиц Ф. 192, 213
 Жозефина, имп. 161
 Жоффри Ж.Ж. 12
 Жуковский В.А. 33

 Зайцев Б.К. 348, 349
 Зайцев К. 119
 Зайцев Н. 401
 Зайцев П.Н. 349-351, 353-356, 361
 Зайцева, знакомая А.Волынского 298
 Зак Л.В. 145
 Залуские, род 160
 Залшупин С.А. 468, 482, 489, 492
 Залшупина Н.А. 482, 489, 491
 Залшупины, семья 468, 482
 Замятин Е.И. 370, 456, 483, 489
 Зандерс, пастор 65
 Заозерский, проф. 70
 Зарудный А.С. 18
 Заславский Д.И. 364
 Засулич В.И. 100
 Зворыкин Н.Н. 144
 Зданевич И.М. 175, 187, 377
 Зейме, полковник 9
 Зелинский К.Л. 368, 369
 Зелинский Ф.Ф. 75, 76, 155, 161, 435
 Зельцер, предприниматель 40
 Зенкевич М.А. 187
 Златых С. 195
 Зозуля Е.Д. 443, 489
 Зоценко М.М. 80, 92
 Зубашев Е.Л. 140, 144
 Зубов В.П. 124, 163

 Ибсен Г. 122
 Иванов В.И. 163, 265-267, 268-272, 273, 425, 426, 482, 492
 Иванов Г.В. 187, 448, 464, 475, 486, 489
 Иванов Д.В. 273
 Иванов Е. 453, 460
 *Иванов-Разумник (Иванов Р.В.) 59, 121, 349, 351, 479
 Иваск Ю.П. 167
 Ивич И.И. 484
 *Изгоев (Ланде) А.С. 140
 Изгоевы, семья 132
 Изряднов Ю.С. 214
 Икскуль фон Гильдебрандт В.И. 327, 328, 340, 341

- о. Иоанн Кронштадтский 447
 о. Иоанн (Слободской) 42, 56, 101
 Иоанн IV, Грозный 7, 56
 Иоллос Г.Б. 174, 187
 Ионов, слесарь 54
 Ионов Е.П. 189
 *Ионов (Бернштейн) И.И. 457, 489
 митр. Иосиф (Петровых) 253, 254
 Иоффе А.Ф. 151
 *Ирецкий (Гликман) В.Я. 140, 473, 489
- Каберман А.И. 31, 38, 40, 65, 66
 Кавос М.А. 328, 341
 Каган А.С. 140, 447-449, 451, 452, 454, 459, 466-468, 470, 487, 489
 Каган-Шабсай М.Л. 69, 72, 79, 83, 98, 114, 130, 159
 Кадомцев Э. 388
 Казанова Д.Д. 465
 Казанович Е.П. 479
 Казаровский, знакомый М. Кузмина 469
 *Казароза (Шнырева) Б.Г. 475, 489
 Казотт Ж. 444, 479
 Кайзерлинг Г. 479
 Каликина Л.В. 360, 361
 Каляев И.П. 168
 Камарго, балерина 153
 Каменская А.А. 32, 37, 150
 Каменская Т.Д. 77
 Каменский В.В. 184, 188
 Канделаки, семья 32
 Канкарович А.И. 437, 446, 466, 489
 Каннегисер Л. 437, 439, 443, 445, 446, 451, 468, 490
 Каннегисер Л.И. 477, 490
 Каннегисеры, семья 438, 456, 477
 Канова А. 114, 161
 Капица П.Л. 151
 Каплан Ф. 403
 Каплун Б.Г. 442, 489
 Каплуновская В.А. 312, 340
 Каплуновский (*Уманов) В.В. 303, 312, 340
 Кардуччи Д. 75
- Кареев Н.И. 76, 139
 Карл Великий 223
 Кароти А. 391
 Карпов П. 205, 215
 Карпович М.М. 347
 Карсавин Л.П. 75-77, 121, 124, 125, 131, 135, 139-141, 144, 163, 219-237, 449, 489
 Карсавина И.Л. 125, 139
 Карсавина Л.Н. 125, 139
 Карсавина М.Л. 125, 139
 Карсавина С.Л. 125, 139
 Карсавина Т.П. 172, 185, 489, 491
 Карташев А.В. 238, 239
 Катанян Р.П. 349, 360
 Катулл Г.В. 97
 Кациграс А. 398
 Кваренги Д. 157
 Кезельман Е.Н. 354-357, 359, 360
 Келлер, граф 17
 Келлерман Б. 444, 479
 Керенский А.Ф. 9, 12-22, 24-26, 358
 Керенский К.А. 30
 Керенский О.А. 30, 43
 *Керженцев (Лебедев) П.М. 365, 366, 369, 374, 376
 Киль Е.И. 32, 116
 Кирилл Владимирович, вел. кн. 452, 481
 Киршон В.М. 362
 Киселева Л.И. 154, 155, 163
 Климов, регент 105, 106
 Клингер Ф. 475
 Клычков С.А. 195, 197, 214, 362, 372
 Клычкова Е.С. 214
 Ключек, пред. обл. комиссии по культурам 249
 Ключев Н.А. 120, 121, 362, 486
 *Кнут Довид (Фиксман Д.М.) 348
 Князев В.Г. 431, 471, 485
 Князев К.Г. 431
 Князева А. 431
 Князьков С.А. 30, 32, 37, 46, 47, 124, 151
 Ковалевский, полковник 26

- Козлов Н. 124, 127, 140, 144, 163
 Козловский А.Н. 480
 Кокошкин Ф.Ф. 15, 28
 Колов С.П. 189
 Колодный Л. 159, 163
 Колтовская, боярыня 7
 Колчак А.В. 7, 150, 430, 478
 Кольридж С. 482
 *Кольцов (Фридлянд) М.Е. 409, 410
 Коллюбакин А.М. 177
 Комиссаржевская В.Ф. 426
 Кондаков Н.П. 154, 155
 Коненков С.Т. 196, 214
 Конечный А.М. 171, 479, 481
 Кони А.Ф. 95, 99, 288, 339
 Кононов, учитель химии 98
 Константин, имп. 231
 Корабельников Г. 367
 Корбэ, адвокат 47, 48
 Корнилов Л.Г. 8, 9, 11-16, 18-27
 Коровицкая, поэтесса 134
 Короленко В.Г. 36, 96, 100, 174, 338
 Корцов М. 120
 Косарев, большевик 406
 Костиков В. 163, 164, 166, 167
 Котляревский Н.А. 141, 331, 341
 Коцюбинский М.М. 169
 Кралин М. 483, 486
 Крамской И.Н. 133
 Красин Б.Б. 483
 Красин Л.Б. 400
 Красницкий В.Д. 252, 253
 Краснов-Левитин А.Э. 251
 Крафт-Эбинг 425
 Крестовская М.В. 281, 338
 Кролль И.М. 469, 490
 Кромвель О. 409
 Круглова, сотрудница музея 67, 68
 Крумин Г.И. 369
 Крупская Н.К. 395, 400, 401, 403, 407, 411-413
 Крученных А.Е. 172, 175, 185, 187, 377-386
 Крыжанский С. 55
 Крылов И.А. 56
 Крымов А.М. 19
 Крючков П.П. 447, 455, 490
 Кузмин М.А. 423-434, 435-475, 476-486
 Кузнецов, учитель 113
 Кузнецов Е.М. 442, 455, 460, 469, 474, 490
 Кузнецов Н.Д. 239
 Кукольник Н.В. 485
 Кулешов Л.В. 418
 Кульбин Н.И. 172, 175, 183-186
 Купер Э. 46, 96, 105, 153
 Купервассер Т. 65
 Куприянов Н.В. 473, 490
 Куприн А.И. 80, 348, 349
 Курас Г.М. 169
 Курбатов В.Я. 32, 46
 Кусевицкий С. 37
 Кускова Е.Д. 347
 Кустодиев Б.М. 92, 156
 Кустодиева И.Б. 136, 156
 Кутузов М.И. 120
 Лавров А.В. 351
 Лавровский В.К. 459, 461, 463-465, 467-469, 489, 490
 Ладыженский Г.А. 348, 349
 Лазаревский А. 89
 Ландау Б.А. 176, 187
 Ландау Г.А. 432
 Ланкре Н. 73
 Лапшин И.И. 76, 124, 132, 133, 135, 140, 142, 158, 165
 Ларин Б.А. 97, 113, 116, 162
 Лассаль Ф. 40
 Лафатер И.К. 68, 153
 Лебедев Н. 393
 Лебедев (*Полянский) П.И. 375, 376
 прот.Лев (Липеровский) 259
 архим.Лев (Егоров) 251
 Левандовский И.М. 258, 259
 Левина Е.П. 200
 Левицкая, уполномоч. 255
 Левицкий А. 413
 Лелевич Г. 363

- * Ленин (Ульянов) В.И. 62, 91, 93, 111, 168, 169, 201, 215, 242, 387, 389, 390, 392-401, 403-420, 440, 478
 Ленотр Л. 157
 Лентовская, дир. гимназии 71
 Леонардо да Винчи 277
 Леопольдова, уполномоч. 255
 Лепехин М.П. 151
 Лепешинский П.Н. 408
 Лернер Н.О. 476
 Лесков Н.С. 56, 80, 312, 437
 Лесман И.А. 38, 122, 123
 Лесман С.Ф. 116
 Летнев, прозаик 281
 Лещенко Д. 388
 Либедицкий Ю. 364
 Либер, представитель Совета 25, 26
 Либерман Л. 388
 Либина, знакомая М.Кузмина 457
 Ливеровский, инженер 15
 Лившиц Б.К. 186, 187, 384
 Лившиц Е. 191, 192, 201, 213
 Лигский К.А. 359
 * Линдер М. (Левель Г.) 173, 186
 Липавский С. 71
 Лисенков Е.Г. 444, 450, 467, 490
 Лист Ф. 79, 98, 153
 Листов В. 387, 391, 394, 396, 400
 * Литвинов (Валлах) М.М. 411
 Литкенс, сов. гос. деятель 391
 Лихачев Д.С. 151, 404
 Лишневская-Кашницкая В.А. 450, 454, 455, 457, 463, 466, 488
 Лодыженский И.И. 140
 Лозинский Г.Л. 187, 455, 458, 476, 490
 Лонгфелло Г.У. 42, 52
 Лопе-де-Вега 480
 Лопухова, балерина 68
 Лоренцони, учитель итальянского 75
 Лосская А.А. 32, 65, 115, 117, 137
 Лосская М.В. 30, 37-39, 42, 66, 151
 Лосский А.Н. 38, 45, 53, 61, 66, 77, 86, 87, 91, 115, 116, 138, 139, 155, 166, 167
 Лосский Б.Н. 28-167, 258-262
 Лосский В.Н. 28-30, 34, 36-38, 40, 42-45, 47, 48, 55, 56, 63-67, 69, 70, 72-77, 84, 89, 90, 91, 94-96, 98, 103, 108-110, 114, 116-118, 121, 123, 124, 128, 130, 135, 137-143, 148, 153, 154, 161, 165, 258, 259-262
 Лосский Н.О. 28, 31-37, 39, 41-43, 46-48, 51, 53, 56-61, 66, 67, 74, 75, 77, 86, 88, 89, 97, 101-103, 112, 116, 117, 121, 123-127, 133, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147, 152, 155, 156, 158, 161, 165, 258
 Лот Ф. 74, 153, 154
 Лот-Бородина М. 153, 154
 Лохвицкая-Скалон, дир. гимназии 51, 53, 54
 Луговской В.А. 368
 Лукомский А.С. 20, 21
 Лукомский Г. 157
 Луначарский А.В. 362, 363, 369, 380, 382, 401, 414, 430, 453, 490
 Лурье А.С. 460-462, 470-472, 483, 486, 490
 Лутохин Д.А. 140
 Львов В.Н. 12, 13, 238
 Львов Г.Е. 7-11, 13, 18
 Львов Д.И. 167
 Львов Н.А. 167
 Львов С.А. 462
 Львова Е.А. 7
 Львова М.Ф. 167
 Любимов-Ланской Е. 365
 Люблинская А.Д. 154, 155
 Люблинский В.С. 76, 135, 155
 Людендорф Э. 9
 Люком, балерина 68
 Лютер М. 120
 Лядов А.К. 35
 Мазуркевич В.А. 446, 490
 Макарий, архиеп. Любанский 251
 Маквей Г. 189-215, 372
 Маклаков В.А. 8, 16
 Маковский С.К. 167
 Максимов, актер 62
 Максимов Д.Е. 351

- Малашкин С. 363
 Малько Н. 35, 46
 Мальмстад Д. 342-361, 433, 476
 Мамин-Сибиряк Д.Н. 338
 Мандельштам И.Б. 435, 438, 441, 443, 446, 456, 462, 466, 482, 484, 490
 Мандельштам М.А. 457, 490
 Мандельштам О.Э. 172, 175, 187, 383, 430, 435, 475, 476, 482, 486
 Манензен, генерал 9
 Манн Г. 479
 Манн Т. 479
 Манухин И.И. 153
 Мар С. 204, 215
 Марат Ж.П. 100
 Мариво П.К. 426
 Мариенгоф А.Б. 197, 210, 211, 214, 381
 Мариенгоф К.А. 211, 215
 Маринетти Ф.Т. 185
 Мария Федоровна, имп. 31, 32
 Марк, еп. 226
 Марковы, род 165
 Маркс К. 49
 Марсилиус Падуанский 231
 Мартос И.П. 33
 Марциал 57
 Масарик Т. 102
 Маслов Г.В. 442, 478
 Маслов П. 427
 Матвей из Янова 232
 Матоушек, врач 57
 Маяковский В.В. 170, 172-175, 181-184, 186, 187, 365, 371, 375, 377, 380-382, 385, 486
 Медведев, сотр. ОГПУ 255-257
 Медичи Л. 64
 Мейендорф И. 253
 Мейерхольд В.Э. 185, 364, 365, 367, 372, 374, 375, 426, 485, 492
 Мейринк Г. 479
 Мелин Л.Ф. 439, 441, 442, 444, 445, 459, 490
 Менжинский В.Р. 242
 Мензбир М.А. 174, 187
 Мережковский Д.С. 239, 274, 276, 277, 282, 288, 289, 293, 298, 300, 303, 306, 308, 315, 316, 323, 330, 338-341, 349, 426, 483
 Метальниковы, семья 34
 Метерлинк М. 122
 Мехлис Л.З. 371
 Мещерская А.Л. 259
 Мещерский Н.А. 251
 Мёллендорф В. фон 146
 Микеланджело Б. 64, 153
 Милашевский В.А. 185, 435, 437-445, 447, 450, 451, 455, 457, 459-461, 463, 464, 466, 468-475, 477, 480, 490
 Миловзоров Н.М. 115, 162
 Милоков П.Н. 15, 16
 *Минский (Виленкин) Н.М. 288, 293, 294, 298, 303, 328, 338, 339
 Митрохин Д.И. 484
 Михаил Александрович, вел.кн. 11
 Михаил Николаевич, вел.кн. 7
 Михайлов Н.И. 454, 482, 490
 Михайлова, уполномоч. 255
 Михайловский Н.К. 284, 338, 339
 Михальцев Е.В. 490
 Михальцева К.А. 435, 439, 442, 448, 460, 463, 466, 470, 490
 Михеев, учитель 93
 Могилянский М.М. 168-170, 171-184
 Мозжухин А.И. 490, 491
 Мозжухин И.И. 491
 Мозжухина К.А. 490
 Мозжухины, семья 447, 465, 472
 Молчанов И. 365
 *Мольер (Поклен Ж.Б.) 43, 96
 Монахов Н.Ф. 62, 70, 85, 105
 Мопассан Г. де 158
 Моргенштерн М. 357, 460
 Мордерер В.Я. 171, 481
 Морев Г.А. 430, 475
 Морковин, помощник Вырубова 21, 22
 Морозов П.О. 180, 188
 Морозов, сын предыдущего 180, 181
 Моршнер, литератор 463

- Моцарт В.А. 106, 426, 427, 455, 463, 484, 485
 Мроз, семья 72, 153
 Мроз Е.К. 435, 491
 Мроз М. 72, 153
 Музалевский, актер 62
 *Муни (Киссин С.В.) 346
 Муравьев, морской офицер 24
 Мусоргский М.П. 80, 94
 Муссолини Б. 143, 166
 Мухин В.В. 445, 452, 460, 470, 473, 491
 Мюссе А. де 105
- Набоковы, сестры 143
 Надсон С.Я. 169, 443, 478, 488
 Назарова А. 203, 215
 Нансен Ф. 391
 Наполеон I, имп. 65, 67, 143
 Направник Э.Ф. 446, 480
 Нарбут В.И. 172, 175, 187
 Нашатырь Г.В. 449, 491
 Неглюевич К.М. 249, 250, 255-257
 Некрасов В.Н. 13-15, 18
 Некрасов Н.А. 99, 158, 383
 Некрасов Н.В. 177, 187
 Некрич А.М. 480
 Нельдихен С.Е. 460, 491
 Немирович-Данченко В.И. 99, 312
 Нестеров М.В. 71
 Нечаев В.П. 377-386
 Никё М. 362-376
 Никита, папа 226
 Никитин И.С. 136
 Никитин, литератор 348
 Никиш А. 106, 152
 Николаевский Б.И. 414
 Николай, митр. Крутицкий и Коломенский 258
 Николай, архиеп. Клишыйский 258
 Николай, еп. Сестрорецкий 251
 Николай I, имп. 33, 35, 85, 102
 Николай II, имп. 10, 11, 447, 481
 Никольская Т.Л. 475
 Никулин Л.В. 174, 186, 476
 св.Нил Сорский 105
 Нинов А. 362, 376
- Ницше Ф. 343
 Новгородцев П.И. 163
 Нувель В.Ф. 471, 485
- Оберкирх, баронесса 31, 150
 Оберучев К.М. 348, 349
 Обневский, знакомый М.Кузмина 449
 Оболенская, дир. гимназии 340
 Оболенский Д.Д. 259
 Одинцов Б.Н. 124, 140, 163
 Оловцова И.В. 439, 457, 468, 477, 482, 491
 Оккам В. 231
 Оксман Ю.Г. 478
 Оленин А. 210, 211
 Олеша Ю.К. 378
 *Олимпов (Фофанов) К.К. 439, 491
 Ольденбургский П.Г. 40
 Ольминский М.С. 408, 409, 420
 Орешин П.В. 197, 214
 Ориген 221
 Орлов, танцор 68
 Осоргина Т.А. 150
 Остапкович, гимназист 55
 Островский, переводчик 73
 Островский А.Н. 43, 375
 Острогорский, врач 148
 Офросимов Ю. 476
- Павел I, имп. 31-33, 35
 Павлович Н.А. 471, 491
 *Пальмский (Бамбашевский) Л.Л. 448, 490, 491
 Пальчинский П.И. 18
 Панин В.В. 108, 159, 160
 Панин В.В. 159
 Панин Н. 108
 Панина (ур. Мальцева) А.С. 108, 159
 Панина С.В. 30, 122, 150, 159, 160
 Пантелеев А. 395
 Панферов Ф.И. 367
 Пападжанов М.И. 177, 187
 Папаригопуло Б.В. 436, 437, 440, 445-450, 454, 457, 459, 460, 463-466, 469, 473, 474, 478, 491

- Папаригопуло В.Ф. 447, 448
 Папаригопуло С.В. 457, 459, 460, 463, 466, 470, 471, 473, 478, 491
 Парнис А.Е. 170, 171, 186, 433, 481
 Пассек Т.С. 30, 43, 44, 56, 64, 66, 67, 73, 167
 Пастернак Б.Л. 369, 377-380, 486
 Паустовский К.Г. 383
 Пашенко Ф. 95, 114
 Пелагий 222
 Переверзев В.Ф. 363
 Перельман И.Я. 102
 Перетяткович, инженер 102, 103
 Перовская С.Л. 100
 Персиц Т.М. 427, 437, 443-445, 451, 460, 461, 467, 468, 473, 491
 Петников Г.Н. 461, 491
 Петр I, имп. 40, 85, 108, 111, 112, 137, 238
 о.Петр (Скипетров) 244
 Петрищев А.Б. 140
 Петров, сотр. ОГПУ 256
 Петров Д.К. 435, 491
 Петров Н.В. 170, 455, 472, 476, 482, 489
 Петрова, уполномоч. 255
 Петрова, сотрудница гимназии 84, 85
 Петрова Е. 84
 Петрова Э. 72, 84, 85
 Петровский А.С. 349, 357, 359-361
 Петровский, сов. гос. деятель 242
 Петрункевич И.И. 159, 160
 Петрункевич А.М. 29, 30, 37, 47, 122, 150, 160
 Петухова, учительница латыни 75
 *Пильняк (Вогау) Б.А. 369, 370, 374, 375
 Пиотровский, певец 44
 Пискаревский (Пигулевский) оппонент Лосского Н.О. 59, 60
 Пищулин, свящ. 119
 Платон 135
 Плетнев Н.А. 466, 491
 Плеханов Г.В. 168
 Плещеев А.Н. 281, 338
 Плотниковы, семья 101
 Плющик-Плющевский, генерал 22
 По Э. 385
 Подвойский Н.И. 242
 Познер Е. 63, 67, 72, 74, 79, 91, 143
 Познер С.В. 348
 Познеры, семья 66, 91, 101
 Покотило, семья 4
 Покровский К.П. 459, 492
 Покровский В.П. 492
 Полнер С.И. 80, 132, 135, 140, 165
 Полнер Т.И. 165
 *Полонский (Гусин) В.П. 363, 368
 Поль А.М. 30, 122, 150
 Поль В.И. 30, 122, 150
 Поляков, врач 135
 Полякова Е. 97, 98, 113, 131, 138
 Полякова Л. 138
 Померанцева Э.В. 403
 Порай-Кошиц Е.А. 95, 114
 Поскочин, знакомый М.Кузмина 466
 Пржиленцкие, семья 97
 Пронин Б.К. 171, 173, 176, 178-183, 185, 187, 481
 Прошьян П.П. 242
 Пумпянский Л.М. 140
 Пунин Н.Н. 449, 492
 Пушкарева Н.К. 274-341
 Пушкин А.С. 106, 137, 169, 188, 273, 383, 427, 444, 478, 479
 Пыпин А.Н. 483
 *Пяст (Пестовский) В.А. 185, 186, 188, 340, 462, 486, 492
 Равель М. 465
 Радлов С.Э. 443, 449, 456, 461, 467, 469, 472, 473, 485, 492
 Радлов Э.Л. 83, 112, 157
 Радлова А.Д. 446, 449, 455, 457, 459-461: 463, 467, 471, 473, 474, 482, 492
 Раевская-Хьюз О. 414
 Райх З.Н. 204, 214
 Райх К.С. 214

- Райх Т.С. 214
 Рапп Е.Ю. 128
 Распутин (Новых) Г.Е. 83, 166, 481
 Рахманинов С.В. 79
 Рашковская А.Н. 446, 448, 487
 Регельсон Л. 253
 Рейн Б.А. 456, 492
 Рейх Б. 365
 Рембрандт ван Р. 214
 Ремизов А.М. 432, 438, 441, 442, 449, 456, 479, 483, 492
 Ремизова-Довгелло С.П. 469, 476, 492
 Ремизовы, семья 435, 436, 442, 467, 470
 Рензин И. 79, 94
 Ренье А. де 465, 484
 Репин И.Е. 73
 Репина В.И. 73
 Рерих Н.К. 68, 151
 Режикова (урожд. Угримова) В. А. 163, 164, 167
 Римский-Корсаков Н.А. 35, 56, 72, 152
 Риттер Ш.И. 31, 66
 Робер Г. 68
 Родзянко М.В. 23
 Родичев Ф.И. 28, 29, 150
 Родичева А.Ф. 29, 150
 Родичева С.Ф. 29
 Родов С.А. 363
 Рождественский В.А. 442, 466, 492
 Розанов А.С. 151
 Розанов В.В. 42, 151
 Розанова А. 37
 Розанова В.В. 42
 Розанова Н.В. 42
 Розенкамф, генерал 42
 Розенфельд, гимназист 30
 Розит К.Д. 86, 87
 Роллан Р. 146
 Романов И. 142
 Романовский, генерал 22
 Ромашков В.Ф. 447, 492
 Ромм М.И. 388
 Ронсар П. де 473, 486
 Рославлева Н.Я. 448, 450, 492
 Россини Д. 70
 Росцеллиан 224
 Рубинштейн Д.Л. 173, 186
 Рубинштейн И.Л. 172, 185
 Руссо Ж.Ж. 108
 Рыков, художник 484
 Рыльский М.Ф. 383
 Рютин М. 388
 Рябухина А. 85, 86
 Савельевы, сестры 31
 Савинков Б.В. 12-14, 449
 Савич, учитель 100
 Сажин В. 479, 487
 Саккетти Л. 103
 Самойлов П.В. 178, 179, 188
 Сапожникова Т. 49
 Сапунов Н.Н. 171, 172, 185
 Сарбей В.Г. 169
 Сахар Н.Я. 449, 455, 456, 491, 492
 Сахаров А.М. 205-207, 209, 215
 Сахаров Г.А. 206
 Сахаров О.А. 206
 Сахарова А.И. 205-209
 Сахаровы, семья 205
 Сац А.М. 182, 183, 185, 188
 Сац И.А. 182
 Сац Н.А. 182
 Свилова, режиссер 416, 417
 Святловский В.В. 444, 492
 *Северянин И. (Лотарев И.В.) 175
 Селиванов А.Л. 140
 Селивановский А. 372
 митр.Серафим (Чичагов) 251
 Сервантес С.М. де 73
 Сергеев А. 151, 168-188
 Сергеев-Ценский С.Н. 362
 иером.Сергий (Ляпунов) 251
 митр.Сергий (Страгородский) 253, 254
 о.Сергий (Шевич) 259
 Серебрякова В.Д. 154
 Середонины, семья 32
 Серов В.А. 172, 185
 Сигарелли из Пармы 231
 Сигизмунд, король 233

- Сильвестр, папа 231
 Скабичевский А.М. 282, 339
 Скржинская Е.Ч. 76, 125, 163
 Скрябин А.Н. 35
 Случевский К.К. 327, 340
 Смидович П. 249
 Смирнов И. 401
 Смирнова А.П. 38, 77
 Сойкин П.П. 102
 Соколов (*Кречетов) С.А. 343
 Соловьев В.С. 157, 327, 328, 340, 341
 Сологуб Ф.К. 172, 426, 455, 456, 460, 474, 479, 482, 486, 492
 Сологубы, семья 435
 Сомов К.А. 68, 96, 426, 441, 449, 452, 454, 469, 470, 477, 481, 492
 Сомова А.А. 487, 492
 Сорокин П.А. 104, 105, 121, 140, 159
 Соснора В.А. 384
 Софокл 72
 Спасович В.Д. 328, 341
 Стадницкий И.А. 69
 *Сталин (Джугашвили) И.В. 93, 184, 362-371, 372-375, 376, 398, 399, 420
 Станиславский К.С. 51, 145
 Станкевич, комиссар 26, 27
 Стасов В.В. 121, 160, 162
 Стахова, актриса 43, 85
 *Стендаль (Бейль А.) 383
 *Стенич (Сметанич) В.О. 215
 Степанец Г.П. 169
 Степанов А.А. 70, 73, 75, 76, 81, 117, 118, 128, 135, 139, 140, 151, 155
 Степанов В.А. 177, 187, 441
 Степанов Н. 170
 Степанова Е. 70, 73, 95, 98, 114, 117, 139, 140
 Степанова Х.Н. 70, 74, 117
 Степановы, семья 81, 83, 96, 106, 122, 306
 о. Стефан (Фокко) 49, 115, 118
 Стефанович А.Д. 76
 Стефанович Е. 130
 Столетов А.Г. 174, 187
 Сторицын П.И. 441, 446-451, 453, 454, 456, 468, 472, 480, 492
 Стоюнин В.Я. 39, 40, 108, 147, 151, 158, 160, 167
 Стоюнина Е.В. 38, 39
 Стоюнина М.Н. 28, 29, 31, 32, 35-38, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53-56, 65, 66, 68, 69, 79, 85, 87, 93-95, 97, 102, 108, 126, 128, 132, 134, 135, 138, 140, 147, 151, 154-156, 159, 160, 162, 165-167
 Стоюнина-Лосская Л.В. 165, 166
 Стратонов В.В. 144
 Стрельников (Мезенкамф) Н.М. 443, 453, 492
 Стрёмович Е.И. 152
 Стрёмовичи, семья 152
 Струве Г.П. 349
 Струве П.Б. 147, 149
 Суворова К.Н. 433
 Судейкин С.Ю. 171, 172, 185, 438
 Сургучев И.Д. 348, 349
 Сутьрин В. 369
 Сычев, искусствовед 130
 Сьонненберг (*Эрберг К.А. 471, 474, 493
 Тагер Л. 55, 56
 Тагер-Маслова Е.М. 442, 478
 Тагор Р. 38
 Тамара Н.И. 493
 Тан-Богораз В.Г. 108
 Тартаков, певец 96
 Татарина, уполномоч. 255
 Тевяшов, знакомый М.Кузмина 437
 Терапиано Ю.К. 348
 Теренина С.В. 56
 Терещенко М.И. 16, 18, 19
 Термен Л.С. 107, 159
 Тертуллиан 221
 Тименчик Р.Д. 170, 171, 186, 478, 481, 485
 Тимирязев К.А. 174, 187
 Тимофеев А.Г. 476, 480, 482
 Тимофеева В.В. 112, 161

- Тиссэ, оператор 411
 Титлинов В.И. 239
 Титов, дьяк 105
 Титов А. 32, 45, 46
 Титова А. 32
 Тихменев Н. 40, 137
 Тихменева М. 39, 165
 Тихомирова Н.А. 151
 Тихон, патриарх 112, 119, 252
 Тихонов А.Н. 480
 Толстая Л. 384
 Толстой А.К. 179, 188, 266, 267, 272, 334
 Толстой А.Н. 170
 Толстой Л.Н. 166, 173, 186, 277, 328, 338, 340
 Толстой П.М. 10
 Тома де Томон Ж. 32
 Тон К. 120
 Топчиев, ветеринар 34
 Трапезников Т.Г. 359
 Троицкая В.О. 53, 165
 Троицкая И. 56, 72, 132, 139, 165
 Троицкий Б. 98
 Троцкая З. 66, 68, 70, 73, 74, 90, 94
 Троцкая Р.З. 66
 *Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 440
 Грубецкой Е.Н. 239
 Трутовский В.Е. 242
 Туган-Барановский Л.К. 330, 341
 Туган-Барановский М.И. 330, 341
 Тургенев И.С. 12, 154
 Турков А.А. 433
 Тухачевский М.Н. 67
 Тынянов Ю.Н. 57-61
 Тыркова-Вильямс А. 150
 Тэйлор Р. 388
 Тютчев Ф.И. 102, 261, 289

 Уайльд О. 114
 Угримов А.И. 127
 Угримовы, семья 129
 Уиклеф 231, 232
 Уитмэн У. 426
 Умова Е.А. 98, 114, 159
 Умова М.А. 47, 65, 72, 73, 79, 83-85, 98

 Урицкий М.С. 477
 Успенский, большевик 366
 Успенский Г.И. 174
 Ухтомский С.А. 89
 Ушаков С.А. 76, 117, 128
 Уэллс Г.Д. 50

 Фадеев А.А. 367, 369, 370
 Файнберг Е. 114
 Фалеева (урожд. Крошкина) В. 95, 99, 114
 Фармаковский Б.В. 75, 130, 155
 Федорович, знакомый М.Кузмина 453
 Фельштинский Ю. 392
 Фигнер М. 88
 Фидлер Ф.Ф. 300, 340
 Филиппова, уполномоч. 255
 Филоненко Е. 19
 Филоненко М. 15, 18, 19
 Философов Д.В. 239
 Фильдинг Г. 473, 486
 Фительберг Г. 46
 Фихте И.Г. 86
 Фишер Л. 407
 Флейшман Л. 369, 414
 Флоровский Г.В. 148
 Фогт Ф. 66
 Фокко Б.С. 49, 115, 116, 122, 158
 Фокко В.С. 115, 116
 Фокко Л.С. 115, 116
 Фолмеллер К.Г. 483
 Фортунато, подруга М.Н. Стоюниной 121, 160, 162
 Форш О.Д. 121, 152, 442, 477, 493
 Фотиева Л.А. 411
 Фофанов К.М. 491
 Фохт В. 348
 Франк А.С. 129
 Франк В.С. 129
 Франк Виктор С. 129
 Франк Н.С. 129
 Франк С.Л. 129, 145, 164
 Франк Т.С. 129
 св.Франциск Ассизский 230, 231
 Фридрих II, имп. 235
 Фридрих Барбаросса 228

- Фролов, сейатор 83, 117
 Фролов А.М. 493
- Харджиев Н.И. 383
 Харитон С.О. 140
 Харламов Ю.Н. 39, 69, 129, 164
 Харнас А.И. 100, 126
 Хентова С.М. 149, 150, 156, 159
 Хлебников В.В. 188, 377, 380, 384, 433
 Хмара, актер 51
 Хмельницкая Т.Ю. 94, 99, 158
 Ховин В.Р. 441, 452, 456, 458, 473, 474, 493
 Ходасевич В.Ф. 343-349, 352, 381, 476, 477, 479, 483, 484, 486
 Ходовецкий Д.Н. 461, 463, 484
 Ходотов Н.Н. 176, 187
 Хортик А.Я. 493
 Хортик В.Я. 493
 Хортики, семья 436
 Хоружий С.С. 163
 Хржонстовский, инженер 31, 32
 Христенсен, оператор 413
 Хрушев Н.С. 259, 419, 420
 Хьюз Р. 347, 414
- Цветаева М.И. 378, 384, 385
 Целестий 222
 Цесарский, делец 31
 Цимберг, гимназистка 56, 100
 Цыбульский Н.К. 173, 186
- Чайковский П.И. 35, 94, 109
 Чаргонин А. 393, 395
 Чарская Л. 43, 289, 426
 Чеботаревская А.Н. 432, 492
 Червинская Л.Д. 453, 454
 Черемисиновы, семья 84
 Черемисов, генерал 25
 *Черный С. (Гликберг А.М.) 381, 382
 Чернышевский Н.Г. 339
 Чернявский В.С. 472, 493
 Чернявский К. 385
 Чертков Л. 482
 Чесноков П.Г. 103
- Чехов А.П. 174, 339
 Чехов М.А. 362, 364, 367, 372-375
 Чичерин, полицмейстер 58
 Чичерин Г.В. 411, 427, 430
 Чоглоков, певец 56
 Чудовский В.А. 107, 461, 476, 493
 *Чуковский К.И. (Корнейчуков Н.В.) 110, 114, 443, 449, 450, 479, 481, 493
 Чулков Г.И. 102, 429
- Шабловский, чл. комиссии по корниловскому делу 25-27
 Шагал М. 96, 158
 Шайкевич А.А. 493
 Шайкевич К.В. 493
 Шайкевичи, семья 473
 Шальников А.И. 36, 37, 41, 44, 45, 47, 58, 63, 64, 66, 87, 94, 98, 100, 105, 109, 110, 114, 139, 151, 156, 158
 Шалипин Ф.И. 39, 70, 164, 364
 Шапиро, врач 59, 60
 Шацкин, литератор 369
 Шведчиков К. 388
 Шекспир У. 70, 71, 482
 Шеллер М. 479
 Шеллинг Ф.В. 86
 Шёнрок, хозяин отеля 143
 Шерон Д. 478
 Шершеневич В.Г. 197, 214, 381
 Шешуков С. 367
 Шеф Е.Я. 31
 Шеф Х.Я. 31
 Шеф Я.К. 31, 45, 66, 78
 Шидловская, дир. гимназии 28, 30, 79, 156
 Шиллер И.Ф. 70
 Шилов Л.А. 486
 Шилов Ф.Г. 440, 493
 Шимановский, актер 92
 Шингарев А.И. 28
 Широкова Е.Л. 69
 Ширяева О. 44, 56, 67
 Шкаровский М.В. 249-257
 Шкловский В.Б. 186, 396, 460, 466, 492, 493

- Шлихтер А.Г. 242
 Шляпников А.Г. 242
 Шмаков Г.Г. 433
 Шмелев И.С. 348, 349
 Шмидт М. 98
 Шопен Ф. 73
 Шопенгауэр А. 107
 Шор Е.Д. 197
 Шостакович Д.Б. 30, 79, 109, 110
 Шостакович Д.Д. 28, 30, 37, 39, 41, 43, 50, 66, 73, 79, 80, 82, 83, 106, 109, 132, 135, 136, 149, 150, 156, 159, 165
 Шостакович З.Д. 30, 39, 50, 136
 Шостакович М.Д. 30, 37, 39, 41, 43, 50, 66, 79, 109, 136, 156
 Шостакович С.В. 30, 37, 79, 80, 109, 110, 136, 149
 Шоу Б. 130
 Шоу Г. 399
 Шпенглер О. 479
 Штейн, оппонент Лосского Н.О. 58
 Штейнер Р. 354, 358-360, 492
 Штейнингер В.И. 46, 47
 Штейнингер К.И. 46, 47
 Штелин, беллетрист 108
 Штильман, знакомый М.Кузмина 456, 468
 Штирнер М. 343
 Штрайх С.Я. 442, 493
 Штраус И. 35
 Штраус Р. 35
 Шумило Н. 169
 Шумихин С.В. 423-494
 Шумяцкий Б. 388
- Щербаков, режиссер 113, 131, 138
 Щербаков Н.А. 456, 467, 468, 471, 485, 493
 Щербов, знакомый М.Кузмина 435
 Шуко В.А. 62
- Эберман, врач 117
 Эйзенштейн С.М. 81
 Эйхенбаум Б.М. 451, 479, 493
- Экхарт, мейстер 237, 259
 Энгель Е.Е. 126
 Эрдман Н.Р. 375
 Эренбург И.Г. 313, 375, 384
 Эригена И.С. 224, 234, 235
 Эрнст С.Э. 68, 162
 Эс-Хабиб-Вафа 365
 Эфрон Г.С. 384, 385
- Юденич Н.Н. 21, 48, 49
 Юдовский Г.И. 462, 493, 494
 Юдовский И.Г. 493
 Юлиан Отступник 58
 Юлиан Экланский 222
 Юркун Ю.И. 428-432, 434-475, 477, 478, 483, 484, 486, 487
 Юрьев Ю.М. 62, 70, 472, 494
 Юштин, агроном 140, 144
- Ягода Г.Г. 382, 490
 Ягодовский К.П. 131
 Якобсон Р. 383
 Яковлева Т. 382
 Яковлева-Шапорина Л.А. 494
 Якубовский Г. 366
 Якушкин, офицер 24
 Янгиров Р. 387-420
 Янышев И.А. 166
 Ясинский В.И. 127
- ***
- Abensour G. 364
 D'Annunzio 458, 460, 461, 463, 482, 483
 Brown E.J. 367, 369
 Canaletto A. 469, 485
 Chambault D. 259
 Cheron G. 433
 Clément O. 259, 261
 Giison, проф. 259
 Gronicka A. von 267
 D'Huillier P. 259
 Liédet L. 153
 Tumarkin N. 409

АННОТАЦИИ

В о с п о м и н а н и я

В.В. Вырубов. ВОСПОМИНАНИЯ О КОРНИЛОВСКОМ ДЕЛЕ.
Публ. Н.В. Вырубова.

Известный земский деятель, служивший в период Временного правительства товарищем министра внутренних дел, а затем — помощником Главнокомандующего по гражданской части, — рассказывает о перипетиях корниловского «мятежа», в ликвидации которого он принимал активное участие. 1 + 20 с.

Б.Н. Лосский. НАША СЕМЬЯ В ПОРУ ЛИХОЛЕТЬЯ 1914-1922.

Продолжение мемуаров охватывает период от первых месяцев большевистской власти до высылки семьи Лосских из РСФСР, их пребывания в Германии и переезда в Прагу. 122 + 8 с.

М.М. Могилянский. КАБАРЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА». Публ. А.Сергеева.

Публицист и общественный деятель начала века вспоминает об артистическом кабаре Петербурга, о его хозяине и друге рассказчика Б.Пронине, о посетителях и атмосфере «Собаки». Во вступительной статье и комментариях прослеживается жизненный путь Могилянского и дается богатый справочный материал. 3 + 14 + 4 с.

Надежда Вольпин. БЛУДНЫЙ СЫН. 1923-1925. Воспоминания о Сергее Есенине. Публ., вступление и прим. Г.Маквея.

Автор описывает свои отношения с поэтом после возвращения Есенина из заграницы (1923), людей, окружавших его в Москве, обстановку последних лет жизни Есенина. 1 + 24 + 2 с.

У ц е р к о в н ы х с т е н

Л.П. Карсавин. ЦЕРКОВЬ И СЕКТЫ.

Неизданная статья одного из крупнейших русских религиозных мыслителей и историков церкви. 19 с.

ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ. Документы из архива Поместного Собора Православной Российской церкви. 1917-1918. Публ. К.Евтуховой.

Акты Собора, представляющие непосредственную реакцию Церкви на первые декреты большевиков. Вступительная статья воссоздает контекст событий, объясняя резкость соборной позиции. 3 + 7 + 1 с.

ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ. Публ. М.В. Шкаровского.

Рассекреченный протокол совещания инспекторов культов Ленинграда и пригородного района в марте 1933. Вступление обрисовывает положение церкви в один из наиболее тяжелых периодов ее существования при советской власти. 6 + 3 с.

В.Н. Лосский. ВСТРЕЧА С РУССКИМ НАРОДОМ. Публ. Б.Н. Лосского.

Крупный богослов, сын Н.О. Лосского, рассказывает о приезде на родину в составе церковной делегации по приглашению Московской патриархии и о своих впечатлениях после 34-х лет изгнания. 1 + 4 с.

И з и с т о р и и х у д о ж е с т в е н н о й ж и з н и

«РУССКИЙ ФАУСТ» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА. Публ. М.Вахтеля.

Неизвестный ранний текст В.Иванова, написанный в 1887 в Германии, когда поэт учился в Берлинском университете. Вступительная статья и примечания восстанавливают контекст создания поэмы и дают справочный материал. 3 + 5 + 1 с.

ПИСЬМА З.Н. ГИППИУС К А.Л. ВОЛЫНСКОМУ. Публ. А.Л. Евстигнеевой и Н.К. Пушкиревой.

99 писем заключают историю отношений корреспондентов: их знакомства, творческой и личной близости и разрыва. Вступление и комментарий содержат сведения об упоминаемых событиях и лицах. 4 + 61 + 4 с.

ИЗ «СЕКРЕТНЫХ» ФОНДОВ В СССР. Публ. Д.Мальмстада.

Документы, относящиеся к разным эпизодам культурно-общественной жизни России и эмиграции (письма Ходасевича, Бунина, заявления А.Белого в ОГПУ и т.д.) и до недавнего времени находившиеся в «спецхранах» советских архивов. Публикатор показывает бессмыслицу такого рода «хранения», приводящего лишь к обеднению представлений о русской истории. 2 + 18 с.

И.В. Сталин. ОТВЕТ ПИСАТЕЛЯМ-КОММУНИСТАМ ИЗ РАППа (28.02.1929). Публ. М.Никё.

На материале полемики между драматургом Биллем-Белоцерковским и журналом «На литературном посту» и выступления по этому поводу Сталина — исследуются взаимоотношения власти и писательских организаций, партийная политика в области культуры в годы «великого перелома». 10 + 4 + 1 с.

Вячеслав Нечаев. ВСПОМИНАЯ КРУЧЕНЫХ...

Мемуарный текст описывает встречи автора с одним из последних русских футуристов в 1960-е годы. 10 с.

Р. Янгиров. ПЕРВЫЙ КИНОБИОГРАФ ВОЖДЯ.

На обширном архивном материале автор исследует историю Всероссийского Фото-Кино Отдела и рождение системы контроля и партийного руководства советским киноискусством в 1920-е годы. 34 с.

Дневники, записные книжки, маргиналии
Михаил Кузмин. ДНЕВНИК 1921 ГОДА. Публ. Н.А. Богомолова
и С.В. Шумихина.

Фрагмент огромного дневника, который почти ежедневно вел Кузмин с 1905 по 1931 гг., охватывает переломный в жизни поэта и всей русской культуры год: смерть Блока, убийство Гумилева, Кронштадтское восстание, голод, начало НЭПа. Во вступительной статье рассматривается место дневника в творческой биографии Кузмина. Комментарий содержит богатую дополнительную информацию об упоминаемых событиях и лицах. 12 + 41 + 18 с.

ABSTRACTS

M e m o i r s

V.V. Vyubov. **MEMORIES OF THE KORNILOV AFFAIR.** Edited by N.V. Vyubov.

Famous for his involvement in land affairs, Vyubov, who served during the period of the Provisional Government as a colleague of the Minister of the Interior, and then as an aide in the High Command for civil affairs — recounts the course of events of the Kornilov «mutiny», in whose suppression he played an active part. 1 + 20 p.

B.N. Lossky. **OUR FAMILY DURING THE EVIL YEARS 1914-1922.**

The continuation of these memoirs covers the period from the first months of Bolshevik power through to the expulsion of the Lossky family from the Russian Soviet Republic, their stay in Germany and their move to Prague. 122 + 8 p.

M.M. Mogilyansky. **THE «BRODYACHAYA SOBAKA» CABARET.** Edited by A.Sergeev.

This publicist and social figure of the beginning of the century recalls the famous Petersburg cabaret, its owner B.Pronin, who was a friend of the narrator, the atmosphere of «the Dog» and its public. An introductory article and commentaries trace the life of Mogilyansky and a rich body of explanatory material is included. 3 + 14 + 4 p.

Nadezhda Volpin. **THE PRODIGAL SON. 1923-1925. Memories of Sergei Esenin.** Edited with introduction and notes by G.MacVay.

The author describes his relationship with the poet after Esenin's return from abroad in 1923, as well as the people surrounding the poet in Moscow and Esenin's situation during his final years. 1 + 24 + 2 p.

A t t h e C h u r c h w a l l s

L.P. Karsavin. **THE CHURCH AND SECTS.**

An unpublished article by one of Russia's most important religious thinkers and Church historians. 19 p.

THE CHURCH AND REVOLUTION. Documents from the archives of the Synod of the Russian Orthodox Church 1917-1918. Edited by C.Evtuchova.

Church Resolutions which demonstrate the immediacy of the Church's reaction to the first decrees of Bolshevik power. An introductory article describes

the context of these events and explains the sharpness of the Church's position in relation to the new regime. 3 + 7 + 1 p.

UNDER THREAT OF DEATH. Edited by M.V. Shkarovsky.

An unclassified record of the deliberations of the Leningrad Region Church inspectors during March 1933. An introductory article depicts the positions of the Church during one of its most difficult periods under Soviet power. 6 + 3 p.

V.N. Lossky. A MEETING WITH THE RUSSIAN PEOPLE. Edited by B.N. Lossky.

The great theologian, son of N.O. Lossky, describes his visit to his Motherland as a member of a Christian delegation invited by the Moscow Patriarchate, and recounts his impressions after 34 years of exile. 1 + 4 p.

From the history of Art Life

«THE RUSSIAN FAUST» BY VYACHESLAV IVANOV. Edited by M.Wachtel.

An unpublished early text by V.Ivanov, written in 1887 in Germany when the poet was a student at Berlin University. An introductory article and Notes set the scene of the poem's composition and present a rich body of explanatory information. 3 + 5 + 1 p.

THE LETTERS OF Z.N. HIPPIUS TO A.L. VOLYNSKY. Edited by A.L. Evstigneeva and N.K. Pushkareva.

99 letters recount the development of the correspondents' relationship: how they got to know one another, their creative and personal closeness and their separation. An introduction and commentary contain notes on the events and people referred to in the text. 4 + 61 + 4 p.

FROM THE «SECRET» FUNDS OF THE USSR. Edited by J.Malmstad.

Documents relating to various episodes in the socio-cultural life of Russia and the Emigration (including letters of Khodasevich, Bunin, Bely's declarations to the OGPU etc.), which have recently been released from «top-secret» Soviet archives. The Editor demonstrates the senselessness of this kind of «confidentiality», which has only led to the impoverishment of Russian history. 2 + 18 p.

I.V. Stalin. A REPLY TO THE COMMUNIST-WRITERS OF RAPP. (28.02.1929). The story of the disbanding of RAPP. Edited by M.Niqueux.

Against the background of the polemical exchange between the playwright Bill-Belotserkovsky and the Journal «Na literaturnom postu» («The Literary Sentinel»), and Stalin's related intervention, the author studies the relationship between Power and writers' organisations, and party politics within the cul-

tural domain during the period of «the Great Turning Point». 10 + 4 + 1 p.

Vyacheslav Netchaiev. **RECOLLECTING KRUCHENYKH...**

This memoir describes the author's meeting with one of the last Russian futurists in the 1960's. 10 p.

R. Yangirov. **THE LEADER'S FIRST CINEMA BIOGRAPHER.**

Against the background of extensive archive material the author examines the history of the All-Russian Photo-Cinema Department and the birth of a system of control and Party leadership of the Soviet Cinema during the 1920's. 34 p.

D i a r i e s, N o t e b o o k s, M a r g i n a l i a

Mikhail Kuzmin. **DIARY FOR 1921.** Edited by N.A. Bogomolov and S.V. Shumikhin.

A fragment from an immense diary, which Kuzmin kept on an almost daily basis from 1905 to 1931, depicts a year of crisis both for the poet and the Russian culture: the death of Blok, the murder of Gumilev, the Kronstadt uprising, hunger, the beginning of NEP. An introductory article views the role of the diary in the context of Kuzmin's creative development. A Commentary contains rich complementary information about the events and people mentioned in the text. 12 + 41 + 18 p.

СОДЕРЖАНИЕ

Воспоминания

В.В. Вырубов. ВОСПОМИНАНИЯ О КОРНИЛОВСКОМ ДЕЛЕ. Публикация Н.В. Вырубова	7
Б.Н. Лосский. НАША СЕМЬЯ В ПОРУ ЛИХОЛЕТИЯ 1914-1922 . .	28
М.М. Могилянский. КАБАРЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА». Публикация А.Сергеева	168
Надежда Вольпин. БЛУДНЫЙ СЫН. 1923-1925. Воспоминания о Сергее Есенине. Публикация, вступл. и прим. Г.Маквея	189

У церковных стен

Л.П. Карсавин. ЦЕРКОВЬ И СЕКТЫ	219
ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ. Документы из архива Поместного Собора Православной Российской церкви. 1917-1918. Публикация К.Евтуховой	238
ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ. Публикация М.В. Шкаровского	249
В.Н. Лосский. ВСТРЕЧА С РУССКИМ НАРОДОМ. Публикация Б.Н. Лосского	258

Из истории художественной жизни

«РУССКИЙ ФАУСТ» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА. Публикация М.Вахтеля	265
ПИСЬМА З.Н. ГИППИУС К А.Л. ВОЛЫНСКОМУ. Публикация А.Л. Евстигнеевой и Н.К. Пушкаревой	274
ИЗ «СЕКРЕТНЫХ» ФОНДОВ В СССР. Публикация Д.Мальмстада	342
И.Сталин. ОТВЕТ ПИСАТЕЛЯМ-КОММУНИСТАМ ИЗ РАППа. (28.02.1929). К истории роспуска РАППа. Публ. М.Никё	362
Вячеслав Нечаев. ВСПОМИНАЯ КРУЧЕНЫХ...	377
Р.Янгиров. ПЕРВЫЙ КИНОБИОГРАФ ВОЖДЯ	387

Дневники, записные книжки, маргиналии

Михаил Кузмин. ДНЕВНИК 1921 ГОДА. Публикация Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина	423
Аппенх	495

**Учредители совместного советско-французского предприятия
издательство "Феникс":
Издательство "Atheneum" (Париж)
Российский институт искусствознания;
Школа-студия (вуз) им. Вл. И. Немировича-Данченко
при МХАТ им. А. П. Чехова;
Союз театральных деятелей России;
Международная конфедерация театральных союзов**

МИНУВШЕЕ (исторический альманах)

12

"Atheneum" • "Феникс"

НК

Издательство "Феникс": 103009. Москва, Тверская ул., 6, строение 7.

Подписано в печать 20.01.93. Формат 60×88^{1/16}. Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 32,5 п. л. Тираж 3816 экз. Заказ № 3345.

Диапозитивы изготовлены государственной типографией № 4 г. Санкт-Петербурга Министерства печати и информации Российской Федерации. 191126, Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 14.

Отпечатано в Санкт-Петербургской типографии № 1 ВО «Наука». 199034, Санкт-Петербург, 9-я лин., 12.